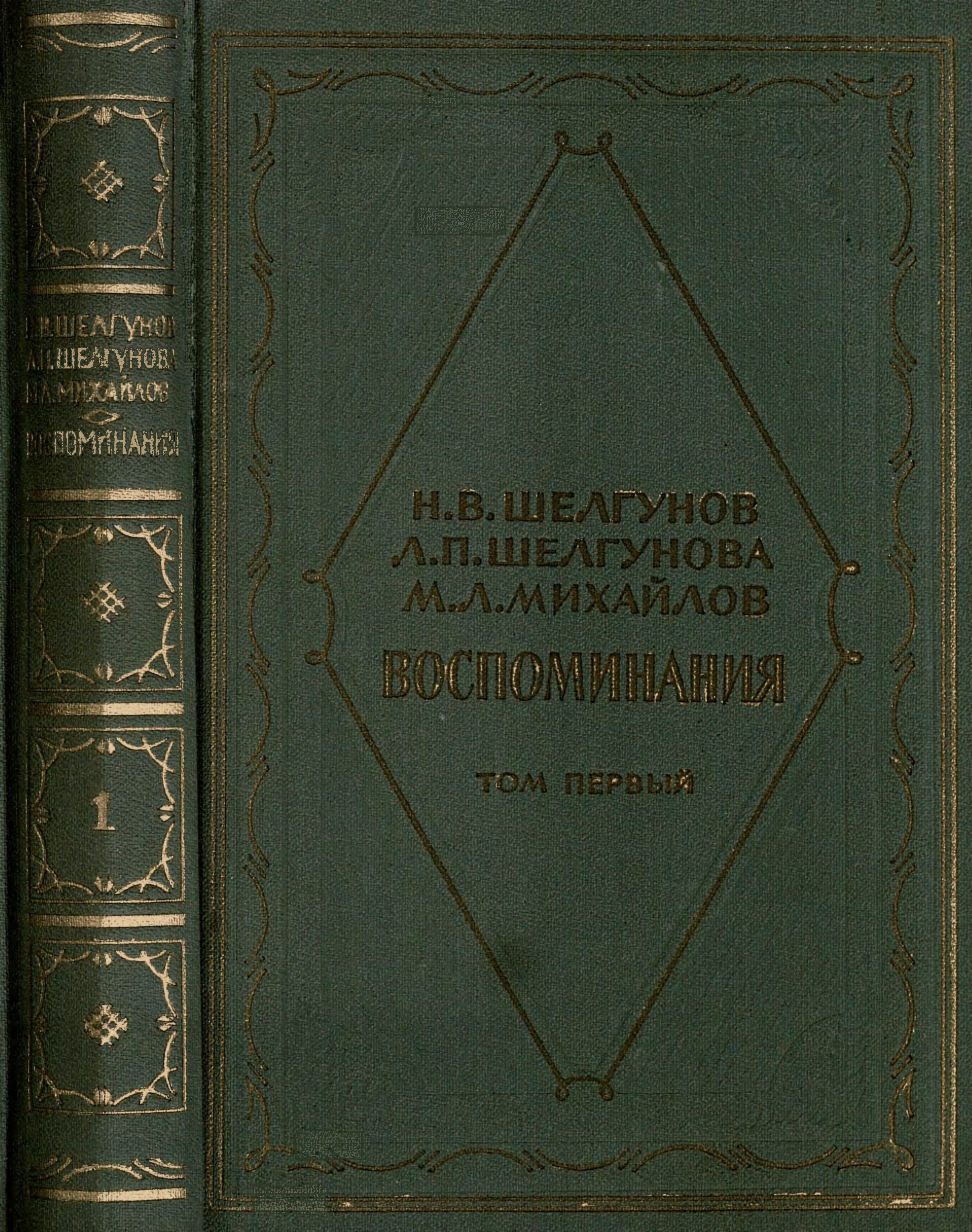

1
Н.В. ШЕЛГУНОВ
Л.П. ШЕЛГУНОВА
М.Л. МИХАЙЛОВ
ВОСПОМИНАНИЯ
ТОМ ПЕРВЫЙ

С Е Р И Я
ЛИТЕРАТУРНЫХ МЕМУАРОВ



Под общей редакцией

В. В. ГРИГОРЕНКО, С. А. МАКАШИНА,
С. И. МАШИНСКОГО, Б. С. РЮРИКОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1967

ВОСПОМИНАНИЯ

В ДВУХ ТОМАХ

ТОМ ПЕРВЫЙ

ВОСПОМИНАНИЯ Н. В. ШЕЛГУНОВА

ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ЛИТЕРАТУРА»
1967

9 (С) 16
Ш 42

Вступительная статья
Э. ВИЛЕНСКОЙ и Л. РОЙТБЕРГ

Подготовка текста и примечания
Э. ВИЛЕНСКОЙ, Е. ОЛЬХОВСКОГО (*«Арест и высылка 1884 года»*) и Л. РОЙТБЕРГ

Оформление художника
Н. ШИШЛОВСКОГО

7-2-2
42-66



Н. В. Шелгунов

Фотография начала 1880-х гг.

ШЕЛГУНОВЫ, МИХАЙЛОВ И ИХ ВОСПОМИНАНИЯ

Мемуарная литература о шестидесятых годах далеко не обширна. Из людей, находившихся в то время в самой гуще освободительной борьбы, оставили свои воспоминания лишь очень немногие. К их числу относятся Николай Васильевич Шелгунов (1824—1891), Людмила Петровна Шелгунова, урожденная Михаэлис (1832—1901) и Михаил Ларионович Михайлов (1829—1865). Эти три имени, вписанные в славную историю освободительного движения шестидесятых годов, три жизни, отданные литературе, публицистике, общественному служению, были крепко спаяны между собой личной дружбой и революционной борьбой.

Они принадлежали к старшему поколению когорты «новых людей», которых под таким именем вывел Чернышевский в романе «Что делать?». Выходцы из дворянства, они фактически не имели корней в помещичьем классе и встали в ряды трудовой бессословной интеллигенции, включившись в движение за демократическое переустройство России, за освобождение народных масс от всех и всяческих форм социального, политического гнета и общественной несправедливости.

Шелгуновы и Михайлов вышли на арену общественной борьбы на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов. Это было время первого демократического подъема в стране, знаменовавшего рождение России капиталистической. Центральным вопросом эпохи являлся вопрос о падении крепостного права. Совершится ли оно путем революции «снизу» или реформы «сверху» — от этого зависел дальнейший ход развития страны, основой которого, однако, и в том и в другом случае оставалось развитие капитализма.

Но сущность происходившего в России исторического процесса не могла быть тогда ясна даже самым выдающимся деятелям.

Лучшие из них были убеждены, что с падением крепостного права и установлением демократического строя крестьянская поземельная община, сохранявшаяся в русской деревне, послужит верной гарантией от капиталистической пролетаризации и обеспечит социалистическое развитие страны.

Недовольство крестьян «царской волей», выразившееся в росте крестьянских волнений, приводило радикальные круги русской интеллигенции к выводу о неотложной необходимости уничтожения самодержавия, продемонстрировавшего на опыте крестьянской реформы свою неспособность в решении важнейших социальных задач, поставленных историей перед страной.

Шелгунов и Михайлов были непосредственными и видными участниками революционной борьбы, близкими как литераторы к ее главным идейным центрам — «Колоколу», «Современнику», «Русскому слову» — и, как деятели формировавшегося революционного подполья, к складывавшемуся тайному обществу, позже принявшему название «Земля и воля». Их основным оружием являлось печатное слово.

Но они не ограничивались участием в легальной подцензурной печати и готовы были взяться за другое оружие, чтобы вместе с крестьянской массой и во главе ее двинуться на помещика, на чиновную знать, на царя.

В эти годы, когда в передовых кругах русской разночинной интеллигенции все было подчинено задаче борьбы с самодержавием и со всеми проявлениями социального гнета, участники этой борьбы стремились быть прежде всего сами людьми с чистой совестью, «хорошими людьми», по словоупотреблению того времени. Они отбрасывали обветшавшие нормы человеческих отношений, основанные на неравенстве, на лицемерии и фальши официальных институтов, и вводили в свой быт неписаный новый моральный кодекс. Многие из них отвергали институт церковного брака с его догматами о неразрывности богом скрепленных уз и о подчинении женщины мужчине. Право женщины на экономическую независимость, личную и духовную свободу возводилось «новыми людьми» почти что в культ. Этот протест против ее подчиненного положения в семье и обществе нашел свое проявление в гражданском браке.

На основе новой этики были построены и отношения между Шелгуновыми и Михайловым. В конце пятидесятых годов брак Шелгуновых был фактически разорван, и Людмила Петровна стала гражданской женой Михайлова. Их отношения, основанные на большом чувстве, на взаимном уважении, честности и искренности, не нарушили дружеского союза этих трех лиц. Духовная общность и совместная революционная борьба еще больше его укрепили.

Воспоминания Шелгунова, Шелгуновой и Михайлова различны и по хронологическому охвату, и по степени разносторонности описываемых событий, и по приемам изложения материала. Да и создавались они в разное время, в непохожих условиях, по неодинаковым поводам. И тем не менее они настолько дополняют друг друга, что в некоторых отношениях могут рассматриваться как единый мемуарный памятник.

Эти воспоминания повествуют преимущественно о шестидесятых годах прошлого столетия, об эпохе первого демократического натиска на самодержавие.

* * *

Обстановка, в которой воспитывались Шелгуновы и Михайлов, была типичной для средних и мелких интеллигентных дворянских семей николаевских времен. Шелгунов, получив образование в Лесном институте, был произведен в офицеры и зачислен на службу в министерство государственных имуществ. Шелгунова окончила частный пансион в Петербурге. На путь общественной борьбы их вывело не воспитание и не семейные традиции, а общественный подъем в стране, нараставший с середины пятидесятых годов. Только на взгляды и интересы Михайлова, несомненно, повлияли и некоторые факты из прошлого его семьи. Сын чиновника, дослужившегося до дворянства, и внук крепостного крестьянина, он с детства хранил в своей памяти предание о кровавых событиях, происшедших на родине его отца, в Уфимском наместничестве Оренбургского края,— о военном усмирении крестьянского «бунта». «Дед мой был тоже жертвою несправедливости,— писал он позже.— Он умер, не вынеся позора от назначенного ему незаслуженного телесного наказания. Такие воспоминания не истребляются из сердца» [1].

По-разному шло умственное формирование Шелгуновых и Михайлова и в годы их ранней молодости. Духовный мир Шелгунова в сороковых годах был ограничен сферой нравственного совершенствования, его этические идеалы носили отвлеченный характер, далекий от потребностей эпохи, а общественные стремления не выходили за рамки служебных дел и научной разработки вопросов лесного хозяйства. У Людмилы Петровны, вышедшей замуж за Шелгунова в 1850 году, вообще еще не сложились к тому времени определенные идейные интересы. Правда, тяга в Петербург, как

---

[1] Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.— Пг. 1923, стр. 106—107.

умственный центр страны, появившаяся у Шелгуновых в начале пятидесятых годов, указывала на внутреннюю неудовлетворенность своим образом жизни, но переезд в столицу в 1851 году не сразу изменил их духовный мир.

Для Михайлова важным фактором его духовного формирования явилось раннее увлечение литературой, в особенности поэзией, которое ввело его в круг общественных интересов еще в юные годы. Его развитию способствовало также пребывание в Петербургском университете и завязавшаяся здесь дружба с молодым Чернышевским, а затем — с весны 1852 года — сотрудничество в «Современнике» и литературные связи. К середине пятидесятых годов он был уже широко известен как автор вольнолюбивых стихов и переводов из Гейне, Беранже, Бернса, Гуда, Лонгфелло и др.

Знакомство Михайлова с Шелгуновыми относится к осени 1855 года. Вскоре перешедшее в самую тесную дружбу, оно для всех троих сыграло решающую роль в их будущих судьбах. Шелгуновы приобщились к иному кругу умственных интересов, к миру иных идей и духовных запросов. Михайлов нашел в Шелгунове близкого по душевному складу и верного друга, а в Людмиле Петровне — любимую женщину, человека несокрушимой энергии и незаурядного ума.

В начале весны 1856 года Михайлов в числе других литераторов принял предложение морского министерства исследовать быт жителей, занимающихся «морским делом и рыболовством», и уехал на родину, в Оренбургскую губернию, и на Урал. Летом 1857 года он сообщал своему приятелю, поэту Я. П. Полонскому: «Поездка моя принесла мне много пользы: и опыт, и встречи с людьми, и ближайшее изучение Руси. Всего этого недоставало мне...» [1]

А Шелгуновы через несколько месяцев после отъезда Михайлова отправились за границу. Пребывание в Западной Европе они оба подробно описали в своих воспоминаниях. Новые впечатления заставили Шелгунова более глубоко задуматься над социальными и политическими вопросами, дали обильный материал для сопоставления всего строя российской жизни с западноевропейским порядком вещей.

Во время пребывания за границей Шелгуновы познакомились с произведениями Герцена, что также сыграло весьма существенную роль в формировании их мировоззрения.

Все это, однако, лишь ускорило совершавшийся уже в Шелгунове процесс переосмысления сложившихся ранее взглядов на цель человеческой жизни, чему способствовало новое окружение,

---

[1] «Шестидесятые годы», М.—Л 1940, стр. 446.

в котором он оказался после знакомства с Михайловым, а главное — новая общественная атмосфера, воцарившаяся в России после смерти Николая I.

Разумеется, превращение Шелгунова в революционера не могло совершиться сразу. Это был процесс постепенного, но неуклонного освобождения от либеральных иллюзий.

С 1858 года, сохраняя формальную связь с лесным ведомством министерства государственных имуществ, Шелгунов фактически порывает со службой в министерстве, хотя продолжает педагогическую работу в Лесном институте и публикует многочисленные статьи по лесоводству.

К этому времени относится вторая поездка Шелгуновых за границу, теперь уже вместе с Михайловым. Они пробыли в Западной Европе около года, а перед возвращением в Россию, в марте 1859 года, посетили Лондон для встречи с Герценом. По словам Н. А. Тучковой-Огаревой, «Шелгунов и особенно Михайлов очень понравились Герцену,— эти люди казались понимающими и вполне преданными благу России»[1]. В альбоме Шелгуновой Герцен оставил небольшую надпись, заканчивавшуюся словами: «...Вспомните иной раз, что в этом тумане и поднесь бродит русский, душевно уважающий вас»[2].

Свои заграничные впечатления Михайлов изложил в серии публицистических очерков «Парижские письма» и «Лондонские заметки», печатавшихся в «Современнике»[3]. Тогда же и там же он выступил со статьями, посвященными вопросам женской эмансипации[4], которые создали ему имя пионера женского вопроса в России. В это время он не только близко стоит к редакции «Современника», но и деятельно сотрудничает в «Русском слове», только что перешедшем в руки Кушелева-Безбородко.

Для Шелгунова конец пятидесятых годов также явился новым жизненным этапом: в 1859 году он впервые приобщается к публицистике, которая с этого времени становится его основной работой. Первые публицистические статьи Шелгунова печатались в «Русском слове», а с 1861 года его работы появляются и в «Современнике». Здесь, в частности, была опубликована его статья «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции», одна из первых работ в русской

---

[1] Н. А. Тучкова-Огарева, Воспоминания, Гослитиздат, М. 1959, стр. 160.

[2] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XXVI, изд. АН СССР, М. 1962, стр. 327.

[3] «Современник», 1858, №№ 9—12; 1859, №№ 1, 2, 6—9.

[4] «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе».— «Современник», 1860, №№ 4, 5, 8.

печати, посвященная рабочему вопросу, представляющая собой изложение труда Ф. Энгельса «Положение рабочего класса в Англии». К этому времени Шелгунов, как и Михайлов, окончательно самоопределяется в лагере активных участников революционной борьбы.

* * *

Крестьянские волнения, вызванные грабительской реформой 19 февраля 1861 года, происходившие на фоне общего брожения в стране и «кризиса верхов», породили в радикальных кругах твердую веру в близость и неизбежность всеобщего восстания, которое положит начало коренному изменению экономического, социального и политического строя России. Если с 1858 года, в период подготовки крестьянской реформы, только наиболее дальновидные и глубокие мыслители и политики, такие, как Чернышевский и Добролюбов, не возлагали никаких надежд на реформаторскую деятельность правительства Александра II, то в более широких кругах передовой интеллигенции эти иллюзии в большей или меньшей степени еще сохранялись. Они начали рассеиваться лишь перед самой реформой, в годы, которые В. И. Ленин охарактеризовал как начало революционной ситуации в стране. Обнародование манифеста и «Положений» 19 февраля окончательно убедило радикальные круги в том, что подлинного освобождения можно добиться только революционным путем.

П. Д. Боборыкин рассказывает в своих воспоминаниях о том, как встретили Манифест 19 февраля в студенческом кружке Е. Михаэлиса, брата Шелгуновой, куда он был вхож. Манифест разбирали «по косточкам. Никого он не удовлетворял <...> Ждали совсем не того, не только по форме, но и по существу». Находившийся тут же Михайлов «прямо называл все это ловушкой и обманом и не предвидел для крестьян ничего, кроме новой формы закрепощения» [1].

Обстановка в стране все более накалялась. Общественный подъем, охвативший почти все слои русского общества, сочетался с крестьянскими волнениями, оживлением демократического движения в Европе, усилением национально-освободительной борьбы в Польше. В этих условиях, как отмечал В. И. Ленин, «самый осторожный и трезвый политик должен был бы признать революционный взрыв вполне возможным и крестьянское восстание — опасностью весьма серьезной» [2].

---

[1] П. Д. Боборыкин, Воспоминания в двух томах, т. I, «Художественная литература», М. 1965, стр. 234.
[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 29—30.

По словам современника и участника революционной борьбы Л. Ф. Пантелеева, неопределенно свободолюбивые настроения среди молодежи приняли резко политический характер. «Вместо прежних оживленных разговоров о тех или других готовящихся реформах стали раздаваться совсем другие речи: довольно хороших слов, пора перейти к делу. А под делом понималась подготовка общества к революционным выступлениям»[1].

Настроения, овладевшие в ту пору радикальными кругами, превосходно отражены в написанном еще до обнародования реформы стихотворении Михайлова «О, сердце скорбное народа...». Проникнутое революционным духом, оно содержало прямые призывы к революции, обращенные к народным массам:

Не жди, чтоб счастье и свобода
К тебе сошли из царских рук.

Теперь, когда революция казалась неотвратимой и желанной, для радикальных элементов «образованного общества», естественно, встал вопрос о необходимости готовиться к восстанию. Первым актом этой подготовки явился выпуск прокламаций — программных документов, призывавших к объединению все прогрессивные силы страны для восстания и решительного боя с самодержавием.

* * *

В условиях полицейского режима самодержавия Шелгуновы и Михайлов не могли раскрыть в воспоминаниях подлинную историю создания первых прокламаций, хотя именно эта деятельность была решающим, поворотным пунктом в их личных судьбах. Даже в записках и набросках, писавшихся не для печати, мемуаристы не решались доверить бумаге факты конспиративной деятельности формировавшегося революционного подполья, осветить их с достаточной полнотой и откровенностью. Лишь после революции 1905—1907 годов, когда в печати смогли появиться некоторые документальные материалы, а особенно после Октябрьской революции, широко раскрывшей исследователям доступ в архивы, стала постепенно вырисовываться картина революционных конспираций эпохи падения крепостного права.

Еще в воспоминаниях Пантелеева, публиковавшихся в 1905—1908 годах, сообщалось, что происшедшая в общественном настроении перемена в 1861 году «была подмечена кружком, группирова-

---

[1] Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, Гослитиздат, М. 1958, стр. 527.

шимся около Чернышевского (Михайлов, Шелгунов, братья Серно-Соловьевичи, В. А. Обручев и др.). И вот начинают появляться прокламации, делается попытка к тайной организации...»[1].

По свидетельству другого участника революционного движения тех лет, позже члена Центрального комитета «Земли и воли» шестидесятых годов А. А. Слепцова, опубликованному лишь в 1923 году, в окружении Чернышевского было задумано «обратиться последовательно, но в сравнительно короткое время, ко всем тем группам, которые должны были реагировать на обманувшую народ реформу 19 февраля. Крестьяне, солдаты, раскольники <...> здесь три страдающих группы. Четвертая — молодежь, их друг, помощник, вдохновитель и учитель». Слепцов далее говорит, что обращения к крестьянам и раскольникам взялся написать Чернышевский, к солдатам — Н. Н. Обручев, а затем Шелгунов, к молодежи — Шелгунов и Михайлов[2]. Это свидетельство совпадает и со сведениями Шелгунова в его «Первоначальных набросках» воспоминаний.

По словам Шелгунова, мысль о выпуске прокламаций возникла в связи с приездом в Петербург отставного корнета, поэта-переводчика В. Д. Костомарова, проживавшего в Москве, и с его сообщением о существовании у него тайной типографии. Тогда-то и были написаны Чернышевским прокламация «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон» и Шелгуновым — «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». Первая — призыв к бывшим крепостным крестьянам собираться с силами для повсеместного восстания, вторая — обращение к солдатам с целью убедить их присоединиться к восставшим. То же утверждал и Костомаров, вставший на путь предательства, в своих показаниях по делам Чернышевского и Шелгунова[3].

Однако из этих свидетельств не ясно, когда и как все это происходило. В специальной литературе до сих пор продолжаются споры о том, относился ли «прокламационный план» к дореформенному или пореформенному времени, принадлежал ли он организационно оформленному тайному обществу или дружескому кружку единомышленников, осуществлялся ли совместно участниками замысла, или же каждый из них действовал независимо.

В настоящее время новейшие опубликованные и архивные данные позволяют осветить эти вопросы. На их основе выясняется, что Костомаров находился в Петербурге со второй половины февраля и числа до 8—9 марта 1861 года и что в это именно время и были

---

[1] Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, стр. 527.
[2] Мих. Лемке, Политические процессы ..., стр. 318.
[3] Там же, стр. 303.

написаны прокламации «Барским крестьянам...» и «Русским солдатам...», а также, что первая из этих прокламаций перерабатывалась в марте и была увезена в Москву для печатания только 27 марта [1]. Первые прокламации, следовательно, писались в момент утверждения царем реформы и даже после ее обнародования, то есть после 5 марта 1861 года.

По утверждению Костомарова, в тот же его приезд Чернышевский продиктовал ему текст прокламации к раскольникам, рукопись которой позднее Костомаров уничтожил. Об этом нет упоминаний ни у Шелгуновых, ни у Михайлова, но достоверность слов Костомарова подтверждается приведенным свидетельством Слепцова.

Не позже середины апреля была написана Шелгуновым (должно быть, при участии Михайлова) и прокламация «К молодому поколению», которую было решено печатать в Лондоне. Так был завершен задуманный в связи с приездом Костомарова план.

На основании имеющихся документальных материалов нельзя определить, был ли известен Чернышевскому текст прокламации «К молодому поколению» и цель поездки Михайлова и Шелгуновых за границу. Пантелеев, ссылаясь на свою неосведомленность в данном вопросе, однако, высказывает убеждение, что «по приезде в Петербург Михайлов тотчас же во все посвятил Чернышевского». Это его мнение основано на рассказе сотрудника «Современника» М. А. Антоновича, который, будучи у Чернышевского одновременно с Михайловым, высказал мысль о целесообразности печатать прокламации за границей и затем переправлять их для распространения в Россию. «Когда Михайлов ушел,— сообщает Пантелеев,— Чернышевский и сказал: «Да ведь вы попали не в бровь, а прямо в глаз: Михайлов именно это и сделал» [2].

Шелгунов же в «Первоначальных набросках» утверждает, что о прокламации «К молодому поколению» не знал никто, кроме него и Михайлова. Это, казалось бы, противоречит сведениям Слепцова. Однако содержание шелгуновской прокламации приводит к выводу, что Чернышевский действительно мог не знать ее текста, так как по одному из важных теоретических вопросов не разделял взглядов, выраженных в этом воззвании.

Прокламация «К молодому поколению» — скорее программная брошюра, чем агитационная листовка,— была горячим призывом к революционной борьбе, к собиранию сил для этой борьбы, к пропаганде революционных идей в народных массах. Она содержала

---

[1] Подробности см. в вводной заметке к прокламации «Русским солдатам от их доброжелателей поклон».

[2] Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, стр. 343.

также острую критику реформы и резкое осуждение самодержавия. Исходной теоретической позицией ее авторов являлись идеи утопического «крестьянского» социализма, основоположниками которых были Герцен и Чернышевский. Однако в некоторых весьма важных теоретических положениях Чернышевский расходился с Герценом. Чернышевский считал, что Россия, хотя в ней сохранилось общинное владение землей (в чем он усматривал фактор, облегчающий переход к социализму), подчинена тем же историческим закономерностям, которые действовали в странах Западной Европы, где уже господствовал капитализм. Герцен же противопоставлял Россию, как носительницу «социалистического начала», западноевропейским странам, историческое развитие которых шло по якобы иным законам. Авторы прокламации здесь следовали за Герценом. Это разногласие Чернышевский справедливо считал результатом недооценки Герценом и его последователями вопроса о власти, а следовательно, пренебрежения политическим фактором. Он не мог поэтому одобрить прокламации «К молодому поколению». Как раз в момент ее подготовки Чернышевский выступил в «Современнике» со статьей «О причинах падения Рима» (1861, № 5), где подверг основательной и жестокой критике герценовскую концепцию, пронизывавшую собой прокламацию Шелгунова. Из этого можно заключить, что единство замысла о выпуске прокламаций не сопровождалось единством его реализации и что окружение «Современника» надо рассматривать не как тайное общество, а только как группу единомышленников.

Для печатания прокламации «К молодому поколению» и организации ее транспортировки в Россию Михайлов и Шелгуновы 25 апреля выехали за границу [1]. Шелгуновы остались на континенте, Михайлов же в начале июня отправился в Лондон [2]. После того как прокламация была напечатана в Вольной русской типографии Герцена в количестве шестисот экземпляров, туда же прибыл и Шелгунов. Весь тираж был увезен в Париж, спрятан за подкладку чемодана, с которым Михайлов не позже 7 июля отправился через Берлин, Штеттин и далее, морем, в Петербург [3].

---

[1] Дата установлена Ю. Левиным.— «Литературный архив». Материалы по истории литературы и общественного движения, изд. АН СССР, т. 6, М.— Л. 1961, стр. 193.

[2] Дата устанавливается неопубликованным письмом Шелгуновой.— Центральный государственный архив Октябрьской революции (далее — ЦГАОР), ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», л. 175.

[3] Дата установлена Ю. Левиным.— «Литературный архив», т. 6, стр. 194.

В распространении прокламации, намечавшемся на сентябрь, когда съедутся студенты на занятия, должен был принять самое энергичное участие Костомаров. Еще до отъезда Михайлова из Парижа Шелгунова писала Костомарову: «Очень бы желала видеть поскорее вас (не думайте, что это галантность). Не приедете ли вы в начале сентября в Питер? Мы уже будем там 20 августа». О необходимости встречи с Костомаровым писал ему и Шелгунов. «Когда мы увидим вас? — спрашивает он.— Но нам в Москву ехать нельзя, одна надежда, что вы приедете в Петербург» [1].

Михайлов возвратился в Россию в середине июля [2] и 20 числа известил Костомарова о своем приезде, а 5 августа перевел ему деньги [3]. 20 августа Костомаров прибыл в Петербург с корректурным оттиском первого листа прокламации «Барским крестьянам...». Из «Записок» Михайлова и его показаний на следствии известно, что он ознакомил Костомарова с воззванием «К молодому поколению» и предлагал ему взять сто экземпляров для распространения в Москве.

Однако все планы были нарушены предательством брата В. Костомарова Николая, который, узнав о тайной типографии, отправил 9 августа в III Отделение донос о «страшном заговоре» в Москве вместе с украденными у В. Костомарова рукописями прокламаций Чернышевского и Шелгунова.

В ночь на 26 августа, сразу по возвращении В. Костомарова из Пётербурга, он был арестован и тут же препровожден в III Отделение, а через десять дней — 4 сентября — обратился к управляющему III Отделением и начальнику корпуса жандармов Шувалову с письмом, в котором обязался сообщить все, что знает по делу московской тайной типографии. О прокламации «К молодому поколению» в письме Костомарова никаких упоминаний не было: он не знал, что как раз в этот день и накануне вечером она была распространена по Петербургу участником революционного движения А. Серно-Соловьевичем, братом Шелгуновой студентом Петербургского университета Е. П. Михаэлисом и самим Михайловым. Но не трудно догадаться, что Шувалов, переполошившийся этой дерзкой акцией, не замедлил воспользоваться предательским покаянием Костомарова, чтобы получить от него сведения и об этой прокламации.

По договоренности с III Отделением, Костомаров, чтобы выйти

[1] ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», лл. 175—177. Письма от 1 июля 1861 г.

[2] См. его показания: Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 103.

[3] Там же, стр. 159—160.

незапятнанным, сфабриковал записку к некоему Я. А. Ростовцеву, будто бы написанную накануне ареста, в которой, сообщая о доносе брата, просил предупредить «М. Мих.» о необходимости уничтожить «М. П.». Записка фигурировала в деле Михайлова как «вещественное доказательство» его вины, случайно попавшее в руки политического сыска. Такова была закулисная история дела Михайлова, оставшаяся ему неизвестной.

* * *

Какое впечатление произвела прокламация «К молодому поколению» на молодежь, видно из воспоминаний участника революционного движения тех лет, студента Петербургского университета Н. Я. Николадзе. Еще до начала студенческих волнений прокламация была вывешена в университете, по-видимому, Михаэлисом. «Кто-то из студентов старшего курса, кажется Неклюдов,— вспоминает Николадзе,— снял со стены этот лист, объявив, что прочтет его всем в соседнем актовом зале <...>. Все в прокламации представляло для нас интерес откровения <...>. Тут звучал прямой призыв к восстанию, не для исправления, а для свержения всего строя <...>. Все были в восторге, что обойдена цензура, что призыв к восстанию гуляет по белу свету под самым носом у ненавистной власти» [1].

Революционная деятельность Михайлова была так мастерски законспирирована, что в литературных кругах его арест (14 сентября) вызвал недоумение. «Когда распространился слух об аресте Михайлова,— сообщает один из современников,— никто не мог даже подозревать, чтобы он находился к ним (прокламациям.— *Э. В.* и *Л. Р.*) в каком-нибудь отношении» [2]. Однако очень скоро стала известна причина ареста Михайлова. 3 октября либеральный профессор Петербургского университета А. В. Никитенко записал в своем дневнике: «Михайлов признался, что он хотел произвести революцию» [3].

Агентурные донесения о настроениях петербургской интеллигенции и дошедшие до нас дневниковые записи современников говорят о большом сочувствии Михайлову со стороны молодежи и передового общества, которое открыто демонстрировало его перед зданием сената во время допросов и суда над Михайловым. Через два дня после его гражданской казни, происходившей 14 декабря,

---

[1] «Каторга и ссылка», 1927, № 4 (33), стр. 35—36.

[2] «Русское прошлое», сб. 2, М.—П. 1923, стр. 146.

[3] А. В. Никитенко, Дневник, т. II, Гослитиздат, Л. 1955, стр. 220.

на костюмированном вечере в Немецком клубе, как сообщалось в агентурном донесении в III Отделение, «всеобщее внимание <...> обратили на себя двое мужчин, на которых было серое арестантское платье с черными покромками, а на голове — черные шапки, совершенно похожие на те, которые надевают преступникам на эшафоте»[1]. По свидетельству Пантелеева, присуждение Михайлова к каторге произвело удручающее впечатление на общество. Его имя «облетело всю Россию и везде вызывало живейшее участие к его участи»[2].

Михайлов был первой жертвой царствования Александра II. Для всех антиправительственных сил он стал знаменем революционной борьбы и героизма. Но мало кто знал о его высшем подвиге — о том, что, жертвуя собой, он принял на себя весь удар и тем спас жизнь близким ему людям, сохранив их для дальнейшей борьбы. В своих «Записках» он был откровенен при описании допросов, условий тюремного режима, в характеристиках следователей, судей, жандармов, но он ни словом не обмолвился о деятельности революционного подполья, о действительных авторах приписывавшихся ему прокламаций (в том числе и «Барским крестьянам...», которую в III Отделении считали переписанной его почерком). Он умалчивал об этом, опасаясь обысков и обнаружения «Записок», ему и в них приходилось придерживаться заявленной им на следствии и суде версии о единоличном авторстве прокламации «К молодому поколению». И до тех пор пока Пантелеев в первом томе своих воспоминаний, опубликованном в 1905 году, не рассказал о том, что автором воззвания «К молодому поколению» был Шелгунов, действительная история этой прокламации оставалась исторической тайной.

* * *

«Записки» Михайлова охватывают короткий отрезок жизни поэта-революционера — не более семи-восьми месяцев. Но этот период оказался самым важным в его судьбе и этапным в истории всего революционного движения шестидесятых годов. Он писал их на Казаковском прииске как рассказ для любимой женщины о пережитом и виденном по неостывшим следам недавних событий, когда все случившееся за последние месяцы было еще свежо в его памяти. Ему, несомненно, помогла и записная книжка, с которой он не расставался на пути в каторгу. Поэтому «Записки» Михайлова отличаются почти протокольной точностью, и их достоверность

---

[1] «Русское прошлое», сб. 2, стр. 152—153.
[2] Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, стр. 275, 341.

подтверждается материалами следственного дела. Живость изложения, позволившая автору нарисовать яркую картину недавнего прошлого, не нарушила документальной точности его воспоминаний, а обращения к Шелгуновой наложили отпечаток особой интимности и искренности на его «Записки».

Однако Михайлов не ограничил свой рассказ изложением только тех событий, которые произошли за время их вынужденной разлуки. Он описал историю обысков и ареста, свидетельницей которых была Шелгунова, а также сообщал факты, связанные с ходом следствия, которые были ей известны задолго до их встречи на Казаковском прииске из тайно пересылавшихся к ней писем поэта, а возможно, и нелегальных личных встреч. В неопубликованном письме Шелгунова к писателю Авдееву от 27 декабря 1861 года содержатся такие подробности допросов и ответов Михайлова, а также предательской роли Костомарова, которые не оставляют никаких сомнений в том, что Шелгуновы получали от Михайлова постоянную информацию[1]. Между тем и эти сведения включены в «Записки», что превращает их в типичный мемуар, имеющий значительно более широкий общественный смысл, чем доверительный рассказ близкому человеку.

«Записки» писались с позиций убежденного революционера, полного непреклонной веры в то, что только революционным путем будет свергнуто иго самодержавия. Это сказалось и на освещении событий, и на всех характеристиках и портретных зарисовках, которыми изобилуют воспоминания поэта. Перед читателем предстает целая армия деятелей политического сыска — от Шувалова до мелких чиновников, мечтающих о чинах и выслуживающихся на крови своих жертв шпионажем, грязными ухищрениями, доносами, подлогами. Мемуарист метит их одним общим клеймом, хотя далеко не лишает каждого из них его индивидуальных черт. Горькая ирония, звучащая постоянно в словах поэта при их изображении, порой перерастает в жестокую сатиру на самодержавие и его «политическое око». В таком же плане показаны Михайловым и сенаторы, вершившие судьбы своих жертв,— «позлащенные бурханы», умственно ограниченные, бездарные, подличающие перед высшей властью. Михайлов воссоздает их образы несколькими скупыми мазками, облекающими, однако, в плоть и кровь каждого из этой плеяды, составлявшей опору трона.

С глубокой горечью рисует мемуарист образы участников общественного движения конца сороковых годов — Петрашевского и Львова, увлеченных местными склоками, борящихся против мест-

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», лл. 8—9 об.

ного произвола, потерявших перспективу широких дел и интересов, а по существу скатившихся в болото мелкого либерализма.

В ином свете показаны Михайловым люди из народа, будь то служители тюрем, солдаты и даже жандармы, сопровождавшие его в пути, встречавшиеся по дороге крестьяне или же арестанты, заключенные за разные преступления. Не идеализируя их и находя для каждого свое расположение света и тени, он прежде всего видит в них жертвы социальной несправедливости и политического неравенства, взращенные всем общественным строем царской России и крепостным правом.

Эти зарисовки и характеристики, как особые новеллы, вставленные в общий ход повествования, поднимают документальный рассказ Михайлова, основанный на подлинных фактах, до уровня не только социально-политического, но и художественного обобщения.

* * *

После ареста Михайлова агенты III Отделения вели секретное наблюдение за Шелгуновым. Они сообщали о его переезде на другую квартиру, в дом Серно-Соловьевичей, о встречах с Чернышевским, о сборе денег для Михайлова, о том, что он добивался служебного перевода в Сибирь и что решил выйти в отставку. Один из агентов 12 марта 1862 года писал: «Этого Шелгунова, преподавателя в Лесном корпусе, следовало бы взять под арест вместе с Михайловым, но тогда гр. Шувалов этого не сделал, и он <Шелгунов> подлежит той же участи, как и Михайлов...» [1] Однако ищейкам III Отделения так и не довелось узнать, что и в это время Шелгунов не прекращал революционной работы.

Из рассказа Шелгуновой исследователю революционного движения М. К. Лемке в 1899 году выясняется, что осенью 1861 года, когда Михайлов уже находился в заключении, Шелгунов написал новый, значительно сокращенный вариант своей погибшей прокламации к солдатам, напечатал его вручную и тогда же распространил [2]. Пантелеев в своих воспоминаниях сообщает, что весной 1862 года Шелгунов принес ему и участнику тайного общества, студенту Петербургского университета Н. И. Утину, целую пачку прокламаций «К офицерам» [3].

В марте 1862 года Шелгунов вышел в отставку, чтобы вместе с Людмилой Петровной и ребенком уехать в далекое Забайкалье

---

1 «Красный архив», 1926, т. 1 (14), стр. 113.
2 Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 149, 151—152.
3 Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, стр. 161—162.

к Михайлову и по возможности облегчить его участь. В конце мая они покинули Петербург.

К весне 1862 года, при явном спаде крестьянского движения (в чем радикалы пока видели лишь затишье перед грозной бурей), общественный подъем достиг высшей точки. Усилился поток прокламационной литературы, в частности, появилось воззвание «Молодая Россия», якобинского характера; ширилось конституционное движение в дворянских кругах, выразившееся в так называемой адресной кампании; ходили упорные слухи, что к тысячелетию России будет дарована или вырвана у царя конституция; создалось и начало развертывать свою деятельность тайное общество, вскоре принявшее название «Земля и воля», под знаменем которого его основатели стремились объединить все антиправительственные элементы. Руководство «Земли и воли» поручило Шелгунову выяснить положение дел в Сибири, возможность ее присоединения к восстанию[1]. Поэтому-то, как видно из письма Шелгуновой к Авдееву от 10 июня 1862 года, Шелгуновы рассчитывали возвратиться из Сибири к лету 1863 года. «Ровно через год,— писала она,— мы с Николаем Васильевичем хотим быть в Петербурге»[2].

На основании свидетельства А. Слепцова в литературе утвердилось мнение, что поездка Шелгуновых имела своей целью устройство побега Михайлова. Исключать такое намерение нет оснований, однако можно считать, что организация побега мыслилась в том лишь случае, если не совершится революция. А вера в то, что она недалека, была в то время очень сильна в России. Эта вера вселяла надежду на скорое и триумфальное возвращение Михайлова. Ее выразил в стихах, адресованных поэту и написанных 23 мая (перед самым выездом Шелгуновых в Сибирь), П. Л. Лавров:

С Балтийского моря на Дальний Восток
Летит бурный ветер свободно,
Несет он на крыльях пустынный песок,
Несет вздох тоски всенародной...
Несет он привет от печальных друзей
Далекому милому другу...
Несет он зародыши грозных идей
От Запада, Севера, Юга...
И шепчет: «Я слышал, в полях, в городах
Уж ходит тревожное слово;

---

[1] А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XVI, Пб, 1920, стр. 75.
[2] ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», л. 6 об.

Бледнеют безумцы в роскошных дворцах...
Грядущее дело готово.
Над русской землею краснеет заря.
Заблещет светило свободы.
И скоро уж спросят отчет у царя
Покорные прежде народы...
На празднике том уж готовят тебе
Друзья твои славное дело,
Торопят друг друга в великой борьбе
И ждут, чтоб мгновенье приспело...
И шлют издалека сердечный привет.
Надежду, тоску ожиданья —
И твердую веру: Свобода придет —
И скоро... Борец, до свиданья!»[1]

Однако надежды на близость революции не оправдались. Самодержавие оказалось прочней, чем это представлялось многим тогда, и в конце концов перешло в решительное наступление. Силы демократии были недостаточны, массовое народное движение спадало, революционная ситуация не завершилась революционным взрывом.

* * *

Цензурные условия восьмидесятых годов, когда писал Шелгунов свои воспоминания, не позволили ему осветить ни поездки в Сибирь, ни возвращения под арестом, ни пребывания в Петропавловской крепости и следствия по новому доносу Костомарова. Он лишь мельком упоминает о том, что Костомаров «приписывал» Чернышевскому прокламацию к народу и обвинял его, Шелгунова, в написании другой прокламации. Но и это упоминание сделано лишь в связи с общей характеристикой Костомарова. Между тем с сибирской поездки Шелгуновых и начались их злоключения.

Почти три месяца продолжался их путь в далекий Нерчинский округ. А в это время в Петербурге произошли тревожные события. 7 июля были арестованы Чернышевский и Н. Серно-Соловьевич, «Современник» и «Русское слово» приостановлены на восемь месяцев. 28 июля было перехвачено письмо Шелгунова к Н. Серно-Соловьевичу из Сибири, указывавшее на их близкие отношения. За Шелгуновым официально установили секретное наблюдение. Выяснилось, что при проезде через Тобольск в конце июня ему удалось под видом сбора статистических сведений побывать в тобольском остроге и видеться с содержавшимся там на пути в каторгу В. А. Обручевым, осужденным за распространение прокламации «Великорусс». Стало также известно, что в Томске Шелгунов

[1] «Былое», 1906, № 5, стр. 185.

сообщил содержателю гостиницы, что он едет в Иркутск для свидания с неким «близким другом». В Красноярске он встретился с находившимся там в ссылке М. В. Петрашевским, в связи с чем у последнего был позже сделан обыск. Из перехваченного письма Шелгуновой к Авдееву стал ясен и дальнейший путь Шелгуновых — на Казаковский прииск. На записке председателя следственной комиссии А. Ф. Голицына, к которому поступили сведения секретного надзора и который доложил царю о «подозрительных» связях Шелгунова и о его поездке в Сибирь, Александр II в августе 1862 года наложил резолюцию: «Его следует арестовать, и по осмотре его бумаг и снятии допроса решу его участь»[1].

В это время Шелгуновы находились уже на Казаковском прииске у Михайлова. Здесь 28 сентября они были обысканы, препровождены в соседнюю Ундинскую слободу и подвергнуты домашнему аресту. В январе 1863 года их отправили в Иркутск. По докладу жандармского подполковника Дувинга, высказавшего мнение, что приезд Шелгуновых объясняется интимными отношениями Шелгуновой и Михайлова, последовало «высочайшее» распоряжение не привлекать их к допросу, оставив в Иркутске под надзором властей.

Однако вскоре разыгрался второй акт предательства В. Костомарова. Воспользовавшись опять своим испытанным приемом — изложением конспиративных сведений в частном письме, будто бы перехваченном III Отделением, он сообщил о принадлежности Чернышевскому и Шелгунову прокламаций, которые взялся напечатать. 16 марта Шелгунов был отправлен из Иркутска, а 15 апреля доставлен в III Отделение и заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости.

Шелгуновой было разрешено возвратиться в Петербург. Она выехала из Иркутска вместе с революционно настроенным сибирским купцом Н. Н. Пестеревым. Из показаний Пестерева, которые ему пришлось давать в следственной комиссии несколько лет спустя, выясняется, что по дороге они вели политические разговоры, Шелгунова рассказывала ему о Михайлове, Н. Серно-Соловьевиче и его библиотеке, имевшей своим назначением пропаганду, о женщинах, работавших в этой библиотеке, об окружении «Современника» и «Русского слова» и т. д. Она же познакомила Пестерева, искавшего революционных связей, с участниками радикальных кружков в Петербурге.

Ранней осенью Шелгунова выехала за границу. Все то немногое, что известно о ее жизни в Швейцарии, свидетельствует о пря-

---

[1] «Голос минувшего», 1915, № 6, стр. 232.

мой причастности Шелгуновой к революционному движению этих лет. Она не только находилась в кругу революционной молодежи — так называемой «молодой эмиграции»,— но содержала в Цюрихе пансион для русских политических эмигрантов, ставший их своеобразным центром. Шелгунова была участницей съезда «молодой эмиграции», организованного на рубеже 1864—1865 годов для встречи с Герценом и обсуждения плана совместной деятельности, и вместе с А. Серно-Соловьевичем стояла на самом крайнем фланге этой эмигрантской группы.

Отъезд Шелгуновой за границу был, видимо, связан как с опасениями дальнейших доносов Костомарова, так и с ее стремлением продолжать начатую борьбу, которую она, скомпрометированная в глазах властей близостью к Михайлову и Шелгунову, вести в России не могла.

* * *

На допросах в следственной комиссии Шелгунов держал себя стойко и отвергал обвинения, выдвинутые Костомаровым против него и Чернышевского. «Честнейший и благороднейший человек Николай Васильевич,— говорил о нем позже Чернышевский,— такие люди редки. Прекрасно держал себя в моем деле» [1].

Дело Шелгунова, как военного в отставке, было передано в военно-судную комиссию при петербургском ордонанс-гаузе, которая, из-за отсутствия доказательств и улик в составлении прокламации «Русским солдатам...», нашла возможным «освободить его от подозрения и предать дело воле божей, пока оно само собою объяснится». Однако это определение, сообщенное в III Отделение 23 июля 1864 года, вызвало там возражения. Генерал-аудиториат — высшее военно-судебное учреждение, рассматривавшее дело о военных в ревизионном порядке,— вынес решение о лишении Шелгунова права на пенсию и мундир и о высылке его под надзор полиции в одну из отдаленных губерний [2] за знакомство с государственными преступниками Михайловым и Костомаровым. 26 октября это решение было утверждено царем [3], и 2 декабря Шелгунов был отправлен в Вологодскую губернию.

Здесь на протяжении четырех с половиной лет он проживал в пяти провинциальных городах. Условия жизни были нелегкими. Нужда и одиночество преследовали его.

---

[1] «Н. Г. Чернышевский в воспоминаниях современников», т. II, Саратов, 1959, стр. 268—269.

[2] «Голос минувшего», 1915, № 6, стр. 236—237.

[3] Мих. Лемке, Политические процессы..., стр. 154.

Тем временем Михайлов был переведен из Казаковского золотого прииска, где он жил у своего брата П. Л. Михайлова, инженер-поручика, заведовавшего прииском, и где ему были созданы льготные условия, в Зерентуйский рудник, а затем в каторжную тюрьму в Кадае. Здесь ему довелось снова встретиться с Чернышевским.

Об их отношениях на каторге сообщает Пантелеев со слов некоего поляка. Последний утверждал, будто «взаимные отношения Николая Гавриловича и Михайлова на каторге поражали не то холодностью, не то какой-то натянутостью». Сам Пантелеев, однако, был убежден, что «это была политика, усвоенная Николаем Гавриловичем: и на каторге показывать вид, что с Михайловым у него никогда не было никаких близких, а тем более интимных отношений, как это он утверждал на следствии и в сенате, отвергая показания Костомарова, обличавшие Николая Гавриловича, что через Михайлова начались переговоры о печатании прокламаций» [1].

Такое мнение Пантелеева подтверждается воспоминаниями члена «Земли и воли» шестидесятых годов И. Г. Жукова, находившегося одновременно с Чернышевским на Александровском заводе и знавшего о его отношениях с Михайловым со слов самого Чернышевского и некоторых поляков, прибывших с Кадаи. По словам Жукова, «последние минуты Михайлова произвели настолько удручающее впечатление на Чернышевского, что он, невзирая на часовых и на стужу, без шапки, в чем сидел дома, бросился в больницу [2], чтобы обнять друга в предсмертной агонии. Но ему не удалось его застать живым: он нашел лишь бездыханное тело, которое и обнял» [3]. Если даже этот рассказ апокрифичен, он все же свидетельствует о сохранившихся в памяти Жукова впечатлениях относительно отношения Чернышевского к Михайлову.

Михайлов не прекращал литературной работы и в каторге. Его переводные и оригинальные стихи печатались в «Современнике» анонимно или под разными псевдонимами. Особое место среди его произведений этого периода занимает перевод последней сцены трагедии Эсхила «Скованный Прометей», написанный еще на пути в Сибирь. В этой своей работе Михайлов, воспользовавшись античным сюжетом, весьма прозрачно говорил о скорой и неизбежной гибели царизма и о своей собственной судьбе. Слова Прометея: «Ничего на все свои допросы от меня ты не узнаешь», «Своей плачевной доли — знай ты это! — я отнюдь не променяю на твое слу-

---

[1] Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, стр. 467.

[2] Ошибка памяти: Михайлов умер не в больнице, а на частной квартире.

[3] «Литературный Саратов», кн. 8, Саратов, 1947, стр. 252.

женье Зевсу», «...Посмотрите, какую я терплю несправедливость!» — и многие другие как бы намекали на участь автора перевода [1].

Жуков, со слов Чернышевского, сообщает, что последний в Кадае жил некоторое время с Михайловым в одной камере. По утрам за чаем Михайлов «начинал импровизации на какую-либо тему». В это время им были созданы многие стихи, печатавшиеся позже в разных журналах, и задуманы научно-популярные очерки о «первобытном человеке», посмертно напечатанные в «Деле» (1869, №№ 3 и 4) под заглавием «За пределами истории. (За миллионы лет)». Замысел очерков Михайлов обсуждал с Чернышевским [2].

Не выдержав тяжких испытаний сибирской каторги, Михайлов, слабый здоровьем, скончался 3 августа 1865 года. Уже после его смерти в «Современнике» печаталась без подписи его статья «Уважение к женщинам» [3], вышел перевод XV тома «Всемирной истории» Шлоссера (1867) и в «Деле» за подписью Шелгуновой появлялись стихи, рассказы, очерки поэта.

* * *

Шелгунов также ни в крепости, ни в ссылке не сложил оружия. Он выступал как радикальный публицист сначала в «Русском слове» Г. Е. Благосветлова, а после его закрытия в 1866 году — в журнале «Дело», основанном тем же Благосветловым. После вологодской ссылки Шелгунову удалось наконец добиться перевода в Калугу, затем в Новгород, Выборг и снова в Новгород. Лишь в июне 1877 года, через четырнадцать лет после ареста, он получил разрешение проживать в Петербурге. Его письма к Людмиле Петровне из ссылки, включенные ею в свои воспоминания, полны глубокой горечи и тоски, которых не мог не испытывать долголетний изгнанник, брошенный в обывательское болото маленьких провинциальных городков России и ограниченный в общественной деятельности и интеллектуальном общении с близкими ему по духу и убеждениям людьми.

---

[1] Политический смысл «Скованного Прометея» был угадан цензурой. Цензор Ф. Еленев при просмотре арестованного и затем сожженного по постановлению цензурного комитета издания стихотворений Михайлова под редакцией Н. В. Гербеля (1866) в своем заключении писал: «Участие Михайлова в политическом заговоре может в уме у читателей вызвать сближение между словами Прометея и замыслами заговорщиков. Помещение этого стихотворения в начале книги еще более наводит на это сближение» (Л. М. Добровольский, Запрещенная книга в России. 1825—1904, М. 1962, стр. 60).

[2] «Литературный Саратов», кн. 8, стр. 252.

[3] «Современник», 1866, №№ 2, 3.

Но было бы ошибочным думать, что ссылка сломила Шелгунова. Только в интимных письмах к близким людям прорываются его жалобы на бесконечные удары судьбы. Болезненно реагировавший на каждый новый удар, он вместе с тем никогда не терял внутренней силы сопротивления. С годами она даже все более накапливалась. В одном из поздних писем к Михайловскому Шелгунов писал: «После твоих печальных известий я упал духом. Обыкновенно я падаю духом на три дня, а на этот раз встал раньше. Погода ли хорошая причиной, или уже явилась привычка к толчкам»[1]. И это признание как нельзя лучше характеризует Шелгунова: он не умел оставаться страждущим и пассивным. И никто из читателей «Дела» никогда бы не догадался, какую тяжелую душевную драму изо дня в день переживал автор многочисленных острокритических, но бодрых статей и обзоров, подписанных то собственным именем Шелгунова, то инициалами, то псевдонимами «Н. Радюкин», «Н. Языков» и др. Чутким ухом прирожденного публициста он, находясь даже в самых глухих медвежьих углах, всегда умел улавливать биение пульса общественной жизни и умственных интересов современности, откликаться статьями, обзорами, очерками на все события, идейные искания, борьбу мнений.

Все годы ссылки, как и последующие (до 1884), он продолжал сотрудничать в «Деле», являясь одним из ведущих публицистов журнала, а после смерти Благосветлова — его редактором (1881—1883).

Не прошло и шести лет после возвращения Шелгунова в Петербург, как он снова подвергся высылке из столицы.

В декабре 1882 года на балу у студентов-технологов, где он был вместе с Михайловским, последний произнес речь, за которую оба поплатились высылкой в Выборг. Правда, на этот раз она была для Шелгунова непродолжительной. Уже в начале апреля 1883 года ему разрешили проживать в Царском Селе, а в середине июля того же года он был совсем освобожден от ссылки. Но эта «свобода» оказалась крайне короткой.

Став редактором «Дела», Шелгунов привлек к участию в журнале видных политических эмигрантов — С. М. Степняка-Кравчинского, В. А. Зайцева, члена исполнительного комитета «Народной воли» Л. А. Тихомирова и др. В начале 1884 года, во время недолгого пребывания Шелгунова за границей, был арестован издатель-редактор «Дела» К. М. Станюкович, а через два месяца после

---

[1] Институт русской литературы (Пушкинский дом) АН СССР (далее — ИРЛИ), Отдел рукописей, архив Н. К. Михайловского, ф. 181, оп. 1, д. 768, лл. 85—85 об.

возвращения Шелгунова в Петербург и он сам. Оба они обвинялись в связях с «Народной волей» и политической эмиграцией. Впервые публикуемые в настоящем издании воспоминания Шелгунова об аресте 1884 года освещают детали этого дела, повлекшего за собой новую высылку, продолжавшуюся почти до самой его смерти.

Местом для отбывания высылки Шелгунов выбрал село Воробьево Смоленской губернии — имение его друзей А. Н. и О. Н. Поповых. В это время обстоятельства сложились особо неблагоприятно для литературной деятельности Шелгунова. В стране воцарилась тяжелая реакция. Журнал «Дело», в котором он сотрудничал почти двадцать лет, перешел в новые руки и утрачивал свой демократический облик. Почти одновременно с Шелгуновым на положении безработных литераторов оказались и сотрудники «Отечественных записок», закрытых правительством весной 1884 года. Цензура зорко следила за тем, чтобы демократические и оппозиционно настроенные писательские силы не сосредоточились вновь в одном журнале, да и редакции немногочисленных прогрессивных изданий, опасаясь цензурных репрессий, действовали с большой осторожностью и оглядкой.

После нескольких неудачных попыток установить связь с некоторыми журналами и газетами Шелгунов наконец договорился с редакцией московского журнала «Русская мысль» и с осени 1885 года стал постоянно здесь сотрудничать. В «Русской мысли» публиковались его воспоминания «Из прошлого и настоящего», «Переходные характеры» и публицистические «Очерки русской жизни», образовавшие постоянный отдел в журнале, который он вел до самой смерти. Эти «Очерки», как ни одна из предыдущих статей Шелгунова, создали ему широкую популярность, и не только в кругах передовой интеллигенции, но и в рабочих кружках. В обстановке правительственной и общественной реакции, апологии «малых дел» и «непротивления злу» он выступил суровым обличителем системы, породившей общественный индифферентизм, ренегатство, обывательщину. Шелгунов сумел раскрыть читателю самую сущность фигуры «восьмидесятника», с его общественной формулой «сидеть у моря и ждать погоды», с его «собственною, новою общественною программой и теорией не только политического бездействия, но и полного бездействия политической мысли» [1].

«...Я пишу прямо на те темы, которые выдвигаются сами вперед...» — замечал он в письме от 26 февраля 1889 года к редактору «Русской мысли» В. А. Гольцеву [2]. Эта способность угадывать

[1] Н. В. Шелгунов, Очерки русской жизни, СПб. 1895, стр. 980, 982.

[2] «Памяти В. А. Гольцева», М. 1910, стр. 181.

социальную значимость тех вопросов, которые еще носятся в воздухе, выделить то основное, что может стать путеводной нитью для читателя в его общественных и нравственных исканиях, вставлять частные, порою, казалось бы, мелкие факты текущей жизни в рамку их общественной значимости подняли Шелгунова на уровень ведущего публициста второй половины восьмидесятых годов. Можно думать, что именно к его «Очеркам» относились слова В. И. Ленина в письме к А. И. Елизаровой от 16 января 1896 года: «Перечитываю с интересом Шелгунова...» [1]

Никогда, пожалуй, жизнь так не баловала Шелгунова-литератора заслуженным общественным признанием, как в последние годы его жизни. Он получает огромное число писем от читателей «Очерков». Особенно трогало Шелгунова то, что его печатное слово доходило до социальных «низов». В письме к Гольцеву он цитировал письмо некоего солдата, выразившего ему свое глубокое уважение и признавшего в нем «руководителя в деле оценки истинного смысла фактов русской текущей жизни» [2].

В начале 1890 года известный прогрессивный издатель Ф. Ф. Павленков предложил Шелгунову издать его литературные труды в двух томах, чтобы представить журнальную деятельность Шелгунова «в концентрированном фокусе избранных сочинений» [3]. Шелгунов горячо принялся за подготовку этого издания. «Я взял только историко-политический раздел,—сообщал он Михайловскому в письме от 11 июня 1890 года,— <...> мотивов <...> немного — право и свобода и идея равного достоинства...» [4] Так вкратце характеризовал сам Шелгунов основные идеи своей публицистики.

В то время дни публициста-демократа уже были сочтены, тяжкий недуг — рак желудка — подточил и без того слабый организм. Но он продолжал жить всецело интересами литературы. Переехав за несколько месяцев до смерти в Петербург, он не прекращал писать «Очерки». Последний из них так и остался незавершенным.

Петербургская демократическая общественность окружила Шелгунова небывалым вниманием. Это вселяло в него сознание не напрасно прожитой жизни и жажду продолжать свою литературную деятельность. «Теперешний мой приезд в Петербург вышел случайно триумфальным,— писал он 27 марта Попову,— я получил

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 55, стр. 21.

[2] «Памяти В. А. Гольцева», стр. 187.

[3] Государственная публичная библиотека им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (далее — ГПБ), Отдел рукописей, архив Е. П. Казанович, ф. 326, д. 270.

[4] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 134.

одиннадцать заявлений о симпатии и уважении. Для меня эти документы драгоценны как публичная нравственная аттестация»[1].

В числе адресов, полученных в это время Шелгуновым, был и адрес от группы петербургских рабочих.

Похороны Шелгунова, скончавшегося 12 апреля 1891 года, превратились в грандиозную демонстрацию, с открытым неподчинением требованиям властей, со столкновениями с полицией. После похорон начались репрессии — высылка участвовавших в похоронах рабочих Крутова и братьев Мефодиевых, литераторов Засодимского и Михайловского, а также большого числа студентов.

Среди множества венков на похоронах был и венок с надписью: «Н. В. Шелгунову — указателю пути к равенству и свободе от петербургских рабочих». Участие петербургских рабочих в демонстрации на похоронах Шелгунова В. И. Ленин в статье «Первые уроки» отметил как важную веху в истории рабочего движения наряду с политическими речами рабочих на петербургской маевке. «Перед нами,— заключал Ленин,— социал-демократическая демонстрация передовиков-рабочих при отсутствии массового движения»[2].

* * *

Впервые мысль оставить воспоминания о шестидесятых годах была подсказана Шелгунову, по его собственным словам, сотрудником «Отечественных записок» Г. З. Елисеевым в 1873 году. За ее осуществление он было принялся во время первой выборгской ссылки (апрель 1875 — апрель 1876 гг.), но из-за недостатка времени сделал лишь небольшие наброски, рассчитанные не на немедленную публикацию, как это видно из их содержания, а писавшиеся для потомства. Поэтому они представляют для нас чрезвычайную ценность. Кроме того что в них названы авторы прокламаций «Барским крестьянам...», «Русским солдатам...» и «К молодому поколению», в этих набросках содержатся весьма любопытные намеки, отчасти приподымающие завесу над некоторыми революционными конспирациями шестидесятых годов[3].

Вторично к воспоминаниям о прошлом Шелгунов задумал вернуться в 1883 году, и на этот раз для выступления в печати. Поводом послужила смерть Тургенева и вызванный ею поток некрологической литературы, искажавшей эпоху шестидесятых годов и образы ее главных деятелей. Но и этот замысел остался незавер-

---

[1] «Современный мир», 1911, № 5, стр. 167.
[2] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 9, стр. 250.
[3] См. постраничные примечания к «Первоначальным наброскам».

шенным. К написанному ранее о знакомстве с Пекарским, Михайловым и Чернышевским добавилось лишь небольшое вступление, объясняющее, что именно побудило автора обратиться к прошлому, а возможно, и набросок о Михаэлисе. Но и на этот раз Шелгунов не продолжил начатого.

Однако проблема реабилитации шестидесятых годов не давала ему покоя. И когда во время вынужденной бездеятельности Шелгунова после освобождения из дома предварительного заключения Михайловский посоветовал ему заняться воспоминаниями, он с радостью ухватился за эту мысль, начав изложением истории ареста, следствия и пребывания в доме предварительного заключения в 1884 году. Но если год назад он хотел обратиться к прошлому, чтобы реабилитировать его в глазах нового поколения, то теперь его главной целью стало противопоставление революционного духа шестидесятых годов духовному и идейному измельчанию русской интеллигенции, антиобщественной тенденции и беспринципному приспособленчеству, все более утверждавшимся в мрачные восьмидесятые годы. Так вплетался в воспоминания острый публицистический элемент, идейная «злоба дня», которой, по существу, и был подчинен отбор материалов и фактов прошлого. Этим же обусловливался и выбор заглавия — «Из прошлого и настоящего», которое Шелгунов сформулировал в письме к Михайловскому от 22 января 1885 года [1] и которое сохранилось за его воспоминаниями, хотя ему и не удалось осуществить свой замысел в полной мере.

Не дошедшая до нас первая мемуарная статья, посланная в «Вестник Европы», была целиком построена на сопоставлении прошлого и настоящего: в нее входили события последних лет наряду с воспоминаниями о шестидесятых годах. Эти разновременные автобиографические эпизоды Шелгунов стремился объединить одной общей мыслью: в шестидесятые годы «Петербург был магнитом, а теперь начался отлив», в то время столица являлась «головой России», а в настоящее, когда «исчезла такая масса газет и журналов и поразогнались писатели,— Петербург головой быть перестал» [2].

Другая тема, которую он начал развивать в первоначальном варианте,— это вопрос о роли и задачах интеллигенции в отношении к народу. В письме к Пыпину от 14 февраля 1885 года, излагая содержание написанных и задуманных глав, он пояснял, что «связующей нитью, придающей идейное единство всем письмам, будет положение интеллигента среди народа» [3]. Искания революционной интеллигенции семидесятых годов, вылившиеся в «хождение

[1] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 40.
[2] Там же, лл. 43 об.— 44.
[3] «Каторга и ссылка», 1933, № 11 (108), стр. 129.

в народ» и организацию деревенских поселений, живо интересовали Шелгунова, особенно в связи с собственным вынужденным оседанием «на землю». Еще до ссылки, в записке о направлении журнала «Дело» в 1883 году в ответ на письмо Л. А. Тихомирова, он определял роль и значение интеллигенции как «передовой умственной силы, единственно обладающей государственным и общественным творчеством». Шелгунов считал, что «только эта сила знает и видит все, и только она дает всему направление, ибо она есть сознающая сила и в этой роли — ее государственная функция» [1]. Идеализация интеллигенции, в противовес народнической идеализации «мужика», вела свое начало от испытанного Шелгуновым сильного влияния идей Писарева, в частности от писаревской теории «мыслящих реалистов». С этих позиций осуждал он известные «Письма из деревни» А. Н. Энгельгардта, замечая в том же письме к Пыпину, что у автора «много вранья и тенденции» и что «он писал в тон «Отечественных записок». Однако возражения против идеализации «мужика» не означали враждебности к «тону» «Отечественных записок» или преодоления народнической идеологии. Шелгунов сам являлся представителем одной из разновидностей этого течения, надеявшимся сохранить равновесие в вопросе о роли интеллигенции и народа в историческом развитии, и если нарушал его, «то скорее в пользу интеллигента» [2].

Шелгунову не удалось затронуть в своих воспоминаниях ни первой, ни второй темы. Сопоставление прошлого с настоящим, хотя бы на основе сугубо личного материала, отпугивало редакции журналов. В результате от темы о Петербурге сохранилась только фраза, что он в пятидесятых — шестидесятых годах служил «магнитом», «головою», то есть был центром умственного движения и освободительных идей, но не осталось прямых параллелей с настоящим. Исчезла и проблема взаимоотношений народа и интеллигенции, которую Шелгунов хотел сделать стержнем своих мемуарных очерков.

Правда, тому и другому он посвятил позже особые статьи в «Очерках русской жизни». Здесь, сопоставив Петербург двух эпох, он отмечал, что город «несомненно, утратил свое значение головы России...» [3]. В другом «Очерке», возражая против призывов к интеллигенции «сесть на землю» и этим «отдать долг народу», слиться с ним, Шелгунов писал: «Нужно не интеллигенции идти в деревню,— нужно, чтобы деревня подошла к интеллигенции, чтобы

---

[1] «Каторга и ссылка», 1929, № 7—8 (57—58), стр. 165.
[2] Там же, 1933, № 11 (108), стр. 129.
[3] Н. В. Шелгунов, Очерки русской жизни, СПб. 1895, стр. 568.

она сама и заполнила разделяющую их пустыню, сама бы создала то посредствующее звено, которого пока еще недостает в русской жизни между ее умственными верхами и народными низами...» [1]

Таким образом, единство первоначального замысла мемуариста как бы раздвоилось: для «настоящего» были отведены «Очерки», которые печатались параллельно с воспоминаниями и в которые он часто вкрапливал мемуарный материал [2], а статьи «Из прошлого и настоящего» превратились в произведения чисто мемуарного жанра.

Когда стало выясняться, что параллели с прошлым придется исключить из воспоминаний и последние утратят во многом публицистическую остроту, Шелгунова охватили сомнения, будет ли нужна его книга в таком виде читателю. Эти сомнения отразились и на страницах его мемуаров, в частности в характеристике личных воспоминаний как «мелкого факта» и в оправдании их тем, что в своей совокупности эти «мелкие факты» отображают эпоху и потому получают право на существование. «...Иногда подумываю и о том,— признавался он Гольцеву,— какое я имею право писать свои воспоминания» [3].

Однако, ограничив свои воспоминания только фактами прошлого, Шелгунов нашел другой способ влить в них сильную публицистическую струю и превратить мемуары без параллелей с настоящим в острое боевое оружие общественной борьбы. Его оценка шестидесятых годов в целом, часто переходившая в сплошной панегирик эпохе, характеристика ее главных деятелей и даже освещение преобразовательной деятельности правительства — все это подчеркнуто противопоставлялось общественному индифферентизму «восьмидесятника», теории «малых дел», правительственной политике контрреформ. По существу, параллели были перенесены Шелгуновым в подтекст.

Не трудно было угадать, например, что шелгуновская характеристика направления общественной мысли на рубеже пятидесятых — шестидесятых годов, выраженная одним словом «свобода» (гл. XII), безмолвно противостояла оппортунизму либеральной и либерально-народнической публицистики, отказавшейся от борьбы с самодержавием и отстаивавшей лишь программу мелких улучшений в рамках господствующего строя. Не менее прозрачный смысл

---

[1] Н. В. Шелгунов, Очерки русской жизни, СПб. 1895, стр. 591.

[2] В письме к Гольцеву от 15 декабря 1886 года Шелгунов писал: «Я предполагал некоторым очеркам сообщить личный характер, примешав в виде совершенно невинной параллели текущему кое-что из прошлого...» («Памяти В. А. Гольцева», стр. 172.)

[3] «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 256.

скрывался за его рассуждениями о том, что в шестидесятые годы идея крепостного и служилого государства сменилась идеей государства свободного. Здесь он выступал против недавних конституционалистов, ушедших теперь от политических проблем. Рассказ Шелгунова об офицерах, которые выходили в отставку, чтобы завести книжную торговлю, библиотеки и другие предприятия, преследовавшие не коммерческие, а просветительные цели, имел своей прямой мишенью дух стяжательства и наживы, охвативший интеллигенцию восьмидесятых годов. Местами эти противопоставления звучали почти открыто. Характеризуя шестидесятые годы как первую попытку общественной самодеятельности и первую пробу сил, Шелгунов замечал: «Этот опыт был бы очень полезен для общества и в будущем, если б он уже не забылся в настоящем». И когда, греша против истины, он писал, будто в шестидесятые годы не было «резкого различия между задачами общества и правительства» и будто «общество и правительство одинаково стремились к одним и тем же переменам», то этим прежде всего обличался реакционный курс правительства Александра III с его политикой контрреформ.

* * *

Подтекст, придававший большое революционное звучание воспоминаниям Шелгунова, был угадан цензурой. В отношении Главного управления по делам печати московскому цензурному комитету весной 1886 года говорилось, что «автор воспоминаний, указывая на возникшее в 1860-х годах революционное движение в некоторой части общества, и особенно среди учащейся молодежи, открыто высказывает свое сочувствие этому движению»[1]. И печатание воспоминаний Шелгунова было прервано на XV главе. Следующие две главы хотя и были набраны для пятой книжки журнала на 1886 год, однако из-за цензурного запрета не появились ни в этом номере, ни в последующих, куда их пытались перенести.

Позднее воспоминания «Из прошлого и настоящего» были включены во второй том сочинений Шелгунова. Там они впервые должны были увидеть свет в полном составе и без смягчений и купюр, делавшихся редакцией «Русской мысли». Но именно эти воспоминания привлекли внимание цензуры и вызвали арест всего издания. На заседании комитета цензор Ведров, изложив содержание воспоминаний, заключал: «Мы привели факты, из которых ясно, что автор рассказал их не только как выражение безотчетное недавнего времени, но с полным сочувствием к идеям и направлению. Смелым

[1] «Вестник Европы», 1911, № 4, стр. 227.

и вдохновенным пером он обновил пагубные влияния, так много причинявшие бедствий нашему отечеству»[1]. Лишь ценою значительных купюр и исключения целых глав из воспоминаний удалось спасти сочинения Шелгунова. В них действительно не было эпического спокойствия. Темперамент борца не позволил Шелгунову писать «осторожно, то есть спокойно и объективно», как заверял он Гольцева в одном из своих писем[2]. Революционный пафос содержится не только в подтексте, но прорывается и в текст, порой переходя в прямую и открытую речь.

Воспоминания Шелгунова прошли через контроль не только цензурных органов, но и «цензуры» «Русской мысли» и самого автора. Хотя он просил Гольцева сглаживать «нецензурные» места, однако очень болезненно относился к редакционным смягчениям, а особенно купюрам. Почти в каждом письме к редактору он упрашивал его не делать урезок, «торговаться» с цензурой и не нарушать цельности статей. Постоянные жалобы на трусость «Русской мысли», на вычеркивания, изменяющие смысл текста, раздаются в его письмах к друзьям и родным.

Но Шелгунов был лишь отчасти прав, упрекая редакцию в трусости. Хотя формально журнал не проходил через предварительную цензуру, однако фактически он находился под самым строгим цензурным наблюдением. О тех мытарствах, которые приходилось испытывать редакции, рассказал сам Гольцев в 1905 году: «Лежит книга уже четвертые сутки, остается иногда лишь час до выхода, и редакция вдруг приглашается пожаловать для объяснений. Предлагается *добровольно* согласиться на ультиматум: или вырезать статью-две, несколько страниц, или книга арестовывается; редакции предоставляется право обжаловать решение. Кому, с какими шансами на успех? А нумер будет лежать арестованным. И вот *добровольно* приходится разброшюровывать книгу, вырывать листы, набирать и печатать новые[3].

По настоянию редакции «Русской мысли», опасавшейся острых тем, Шелгунову пришлось отказаться от освещения многих фактов. «И так мне жаль, что не пришлось говорить подробно о последствиях письма Костомарова, то есть о тех двух делах, о которых я упоминаю»,— писал он Гольцеву 16 февраля, имея в виду сфабрикованное Костомаровым письмо к Соколову[4]. Не удалось Шелгунову по той же причине осветить и многих других событий.

---

[1] «Голос минувшего», 1918, № 4—6, стр. 52.
[2] «Памяти В. А. Гольцева», стр. 168.
[3] «Русские ведомости», 1905, № 41, 12 февраля.
[4] «Памяти В. А. Гольцева», стр. 170.

Цензором воспоминаний по необходимости приходилось быть прежде всего самому автору. Он должен был умалчивать о тех фактах и событиях, которые могли раскрыть наиболее важные революционные конспирации шестидесятых годов. Из своих «Первоначальных набросков» Шелгунов, разумеется, не использовал в очерках «Из прошлого и настоящего» ничего, что могло бы служить хоть малейшей уликой и бросить тень подозрения на еще живых и здравствовавших участников революционного подполья шестидесятых годов. Но и о многих фактах, которые он затрагивал, Шелгунову нередко приходилось говорить вполголоса, ограничиваться намеками. В письмах к Гольцеву он неоднократно признавался, что вынужден «не касаться больных мест», из-за чего в статье «местами неясность», а «местами и совсем пробелы»[1], что «не зная цензурных требований, создаешь сам себе цензуру и пишешь совсем не так»[2], а порой высказывал прямое недовольство собой: «Ах, как робко я пишу...»[3]

Но, пройдя через тройную цензуру — официальную, редакционную и авторскую,— воспоминания Шелгунова тем не менее стали одним из наиболее важных и достоверных мемуарных источников, освещающих историю освободительного движения шестидесятых годов.

* * *

«Из прошлого и настоящего» — самый ранний, появившийся в печати, мемуарный памятник, посвященный шестидесятым годам. «Воспоминания» Панаевой, «Из воспоминаний прошлого» Пантелеева, «На заре жизни» Водовозовой, мемуарные очерки Антоновича, отрывочные записи Елисеева, Слепцова и других деятелей той эпохи печатались, а часто и писались позже (большинство из них и значительно позже) мемуаров Шелгунова. Он первый выступил с воспоминаниями, чтобы поднять голос в защиту шестидесятых годов, и не только оживил картины дорогого для него прошлого, но показал важное значение движения того времени для последующего развития общественных идей и литературных течений.

Мемуары Шелгунова отличает от других воспоминаний о шестидесятых годах также их бóльшая тематическая полнота и разносторонность. Они сочетают в себе и повествование об общественном и революционном движении, то явилось потом главным сюжетом воспоминаний Пантелеева, и характеристику литературной

---

[1] «Памяти В. А. Гольцева», стр. 170.
[2] «Архив В. А. Гольцева», стр. 257.
[3] Там же, стр. 263.

жизни, чему уделила основное внимание Панаева, и зарисовки быта и социальной психологии «новых людей» — предмет специального интереса Водовозовой.

Отличает мемуары Шелгунова от мемуаров других «шестидесятников» и то, что в них очень мало чисто личного, биографического материала. Лишь в первой, вступительной, части, посвященной николаевской эпохе и началу александровского царствования, события, факты и наблюдения мемуариста излагаются им в связи со своей биографией. В последующих же главах «Из прошлого и настоящего», собственно и составляющих центр тяжести этого труда, автор выступает скорее как летописец, чем мемуарист. Здесь Шелгунов рассказывает не столько о себе, своих впечатлениях и своем отношении к событиям и людям, сколько о самих событиях и их участниках. Рассказ ведется как бы не от первого, а от третьего лица. Такой метод изложения лишает отчасти мемуарную прозу живости, привносимой личным, субъективным началом. Однако им достигается более объективный обзор прошлого по сравнению с тем, какой сопутствует обычной позиции мемуариста, вольно или невольно ставящего себя в центре описываемых событий и фактов. Шелгунов, несомненно, руководствовался этим соображением, когда переходил от лично мемуарных свидетельств о прошлом к исторически объективной характеристике его. Кроме того, продолжать рассказ в более тесной связи с личной биографией было невозможно, потому что пришлось бы раскрывать такие факты революционной борьбы, которые нельзя было обнародовать не только в восьмидесятые годы, но и на протяжении последующих двух-трех десятилетий. Сказались здесь и черты характера Шелгунова, отличавшегося чрезвычайной скромностью во всем, что касалось его личности, роли в публицистике и в общественном движении в целом.

Разумеется, мы употребили слово «летописец» применительно к Шелгунову условно. Ему чуждо бесстрастное летописное хроникерство по принципу «добру и злу внимая равнодушно». В его мемуарах всегда видна идейная позиция автора. Его воспоминания насыщены широкими обобщениями, яркими характеристиками и глубокими аналитическими оценками. Шелгунов не только заново переживает прошлое, он заново его осмысливает в свете исторического опыта последующих десятилетий, и прежде всего в свете опыта освободительной борьбы. Благодаря историческому взгляду на прошлое Шелгунов сумел наиболее ярко передать революционный дух шестидесятых годов. В этом отношении его воспоминания также существенно отличаются от мемуаров, например, Пантелеева или записей Слепцова, в которых освещалась преимущественно

внешняя, событийная сторона революционного движения шестидесятых годов, а не его идейное содержание и сущность. «Из прошлого и настоящего» — это мемуары революционера, сохранившего и пронесшего через долгие годы ссылки, цензурных и административных преследований и личных невзгод свои революционные убеждения и боевой пыл непосредственного участника освободительной борьбы.

* * *

Шелгунов характеризует шестидесятые годы с точки зрения идейных сдвигов, а не глубинных социально-экономических процессов, что закономерно для идеолога крестьянской (буржуазной) демократии. Для него шестидесятые годы — это «ряд логических движений мысли и естественный рост общественности». В этом аспекте он и показывает тот перелом, который произошел в русском обществе и отразился на всех событиях того времени, на всех явлениях общественной жизни. Просветительная деятельность и студенческие волнения, распространение прокламаций и надежды на революцию, новая этика и личные отношения людей — все это рассматривается как проявления одного общего процесса формирования новых идей и новых характеров. И именно поэтому такое важное место отводится в мемуарах передовой революционной публицистике — в ней автор усматривает некое руководящее начало, указывавшее дальнейший путь освободительной борьбы. Так изображены Шелгуновым журналы «Современник», «Русское слово».

Но демократические течения шестидесятых годов не представляли собой полного идейного единства, что обнаружилось в полемике, возникшей между «Современником» и «Русским словом», начавшейся еще при Чернышевском и принявшей острые формы в последующие годы. Эта полемика, известная в литературе как «раскол в нигилистах», разделила молодое поколение на «чернышевцев» и «добролюбовцев», с одной стороны, и «писаревцев» — с другой. Смысл разногласия состоял в том, что проповеди идей крестьянского утопического социализма, занимавшей все большее место в статьях «Современника», «Русское слово» противопоставляло, как главную задачу, пропаганду знаний и теорию «мыслящих реалистов».

В этом споре Шелгунов стоял ближе к позиции Писарева, пытаясь в то же время не утратить традиций «Современника» эпохи Чернышевского и Добролюбова. В 1870 году, подводя итоги старым разногласиям, Шелгунов в запрещенной цензурой статье, посвященной выходу в свет собрания сочинений Писарева, доказывал, что никаких разногласий между двумя редакциями, по существу, не

было. Идеи Писарева, вызревшие в новой обстановке и отразившие новые задачи освободительной борьбы, являлись лишь логическим продолжением идей Добролюбова, а не противостояли им, утверждал он [1].

В таком же плане идейной преемственности дается сравнительная характеристика «Современника» и «Русского слова» в воспоминаниях Шелгунова. Возражая фактически против подхода к обоим журналам с единой меркой, Шелгунов высказывает мнение, что первый из них решал социально-политические вопросы, а второй проблемы личности и ее отношения к обществу и прогрессу и что это различие было обусловлено не разными позициями журналов, а различием задач во времена Чернышевского и Писарева. Для мемуариста общественные и личные вопросы являлись лишь двумя сторонами одной проблемы, получавшими большее или меньшее значение в зависимости от политической обстановки.

Эта тенденция во что бы то ни стало сблизить между собой два идейные течения демократической мысли шестидесятых годов отрицательно сказалась и на некоторых частных оценках Шелгунова. Он будто не замечает политического смысла романа Чернышевского «Что делать?», в котором пропаганда социализма была выдвинута как ближайшая задача освободительной борьбы, а сочетание легальных и подпольных методов деятельности — как ее форма. Все значение этого романа сводится им к решению вопросов личного счастья и лучшего устройства жизни индивидуума.

Особое место в воспоминаниях Шелгунова занимают социально-психологические характеристики деятелей эпохи падения крепостного права. Пишет ли он о своих любимых героях и единомышленниках или же о своих идейных противниках и прямых врагах, таких, как В. Костомаров или В. Кельсиев, он прежде всего сосредоточивает внимание на раскрытии их внутреннего облика. Лишь изредка прибегает Шелгунов к обрисовке внешности человека, и то лишь с целью глубже проникнуть в его умственную и душевную сферу.

С особой теплотой, мягкими, как бы пастельными красками написан Шелгуновым образ Михайлова, обаятельного в своей внешней некрасивости и щедро наделенного душевной красотой, женственно-впечатлительного и мужественно-сильного, не способного к самомалейшим компромиссам в области своих убеждений и писательской работы. Этот детальный психологический портрет воспол-

---

[1] «Литературное наследство», т. 25—26, М. 1936, стр. 401—402 и др.

няет собой вынужденную скупость рассказа о деле Михайлова и прокламации «К молодому поколению».

Характеристика Герцена, которому в воспоминаниях уделена целая глава, по глубине психологического анализа должна быть отнесена к числу лучших зарисовок, воссоздающих образ автора «Былого и дум». Мемуарист сумел подметить самые яркие черты личности мыслителя-революционера — сочетание необычайной силы ума, наделенного блеском, глубиной, всесторонностью и редкой способностью «сообщать мысленное единство и стройность» всей сумме знаний, которыми он обладал,— с кипучей энергией борца, общественного деятеля, трибуна. Шелгунов особо подчеркнул художественный склад натуры Герцена, соединявшийся с трезвостью интеллекта.

Однако недоумение читателя может вызвать утверждение Шелгунова, будто «Герцен не верил в революцию», «считал ее невозможной и вредной по последствиям». Если видеть в этом утверждении общую и принципиальную трактовку отношения Герцена к революции, то это противоречит тому, что стало известно об его участии в тайном обществе «Земля и воля» в результате исследований советских ученых (Я. И. Линкова, М. В. Нечкиной, Ш. М. Левина и др.). Но в данном случае замечание Шелгунова касается только позиции Герцена летом 1861 года, когда они виделись в последний раз. Свидетельство Шелгунова об этой позиции может быть понято лишь в свете программного заявления Герцена в марте 1860 года по вопросу о крестьянской революции. Отвечая неизвестному нам до сих пор автору «Письма из провинции», требовавшему, чтобы «Колокол» порвал с либералами, отбросил монархические иллюзии и звал бы Русь «к топору», то есть к немедленному крестьянскому восстанию, Герцен писал: «...Ваша односторонность понятна нам, она близка нашему сердцу <...>. Но *к топору*, к этому ultima ratio[1] притесненных, мы звать не будем *до тех пор, пока останется хоть одна разумная надежда на развязку без топора*[2].

Об отношении Герцена к революции Шелгунов говорит еще раз в том месте своих воспоминаний, где касается пребывания Герцена в Париже в дни революции 1848 года. Из этого эпизода видно, что, скептически относясь к возможности победы восставших, Герцен, однако, не считал себя вправе оставаться сторонним зрителем революционной борьбы. Называя Герцена «революционером мысли»,

---

[1] последнему средству.

[2] А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XIV, М. 1958, стр. 239.

Шелгунов подчеркивает, что именно в этой сфере, а не в революционно-конспиративной практике, заключалась главная сила Герцена, и в этом с ним нельзя не согласиться.

Шелгунов был лишен возможности осветить личность Чернышевского с такой же полнотой, с какой он мог это сделать по отношению к Михайлову и Герцену. Когда он писал свои воспоминания, Чернышевский был еще жив и продолжал находиться под надзором политической полиции. Мемуаристу пришлось ограничиться рассказом о том, какое значение имела диссертация Чернышевского «Эстетические отношения искусства к действительности» в умственном пробуждении русской интеллигенции. Говоря о «Современнике» и его влиянии на передовые круги демократического общества, Шелгунов перечислил проблемы, поставленные в статьях Чернышевского. Большего он в то время сказать не мог. И все же главу, посвященную «Современнику», Шелгунов считал особенно важной частью своего труда. В письме к Гольцеву от 2 мая 1886 года он писал: «Этой статье я придаю большое значение, ибо я ею заключаю часть шестидесятых годов (период «Современника»); без этой статьи все предыдущее потеряет смысл и будет походить на бабушкин болтливый рассказ без идеи и цельности. За эту цельность я и стою»[1].

Для характеристики Писарева Шелгунову не требовалось прибегать к подобному маневру. Однако портретная зарисовка этого критика, перед которым мемуарист преклонялся, получилась у него бледной. Посвященная же Писареву следующая глава выпадает из общего стиля мемуаров, являясь, по существу, апологетическим разбором писаревской критики и публицистики.

* * *

Наиболее развернутые портретно-психологические зарисовки своих современников Шелгунов дал в очерках «Переходные характеры». Читатель знакомится здесь с людьми, идейно и духовно сложившимися еще в дореформенное время. В большинстве своем это лица мало известные или даже вовсе неизвестные. Они интересовали Шелгунова типологически, как представители определенных социально-психологических характеров эпохи.

В «Переходных характерах» автор хотел показать современному читателю ту раздвоенность личности представителей некоторых социальных групп, которую обусловил общественный перелом в России эпохи падения крепостного права. Одни из этих типологических

---

[1] «Архив В. А. Гольцева», стр. 261.

образов уходят корнями в крепостническое прошлое, сохраняя наложенную этим прошлым печать и в изменившейся обстановке. Другие, как будто бы более свободные от влияния крепостнических отношений, адаптировались к новым социальным условиям, но стремятся взять от них преимущественно то, что отвечает их личным интересам. В целом же это типы людей, отставших от одного берега, но не приставших к другому, у которых личное преобладало над общественным. И не они, по мысли автора, делали историю, определяя собой лицо общественного прогресса, а те «другие люди <...>, в которых не сохранилось ничего переходного» и о которых он сказал так много теплых слов в воспоминаниях «Из прошлого и настоящего».

Наибольший интерес в «Переходных характерах» представляет характеристика Благосветлова — «мещанина во дворянстве» в бытовом плане, публициста-демократа без народнической окраски — в идеологическом. Благосветловский демократизм предстает перед читателем со стороны его буржуазной сущности, которую Шелгунов считает необходимым подчеркнуть в первую очередь.

Цензура не тронула «Переходных характеров». Но предварительно они прошли через «цензуру» Гольцева и самого автора, вкусившего горький опыт запрещения последних глав «Из прошлого и настоящего».

* * *

«Все думают <...>, что я стою только за шестидесятые года и за тогдашнюю молодежь,— писал Шелгунов Гольцеву в последний год своей жизни.— Господи, господи, да неужели я не говорю ясно, что стою за идейные верхи и за преемственность идей. Что они против меня выдумывают» [1]. Эти слова Шелгунова относились прежде всего к либеральной тифлисской газете «Новое обозрение», с редактором которой, О. А. Николадзе, он не раз полемизировал в «Очерках русской жизни». Либералы и оппортунисты, сторонники философии и практики «малых дел» действительно упрекали Шелгунова в том, что он застыл на уровне идей почти тридцатилетней давности [2], а жизнь, дескать, ушла вперед и выдвинула новые задачи перед общественным движением. Но это были глубоко несправедливые упреки, продиктованные стремлением людей, вставших на путь при-

---

[1] «Памяти В. А. Гольцева», стр. 179.

[2] Такого же рода оценки, но уже в виде похвалы в адрес Шелгунова, встречаются и в некоторых трудах советских исследователей.

мирения с самодержавием, оправдать свою измену прежним идеалам.

Шелгунов и в восьмидесятые годы стоял на уровне передовой демократической идеологии. Он освободился от идеализации «мужика», в известной мере от идеи особого пути развития России, и если не смог подняться до полного понимания роли рабочего класса в деле революционного изменения общественного строя России, то, во всяком случае, пришел к убеждению, что пролетариат является более восприимчивой почвой для пропаганды революционных идей, чем крестьянство. Дух общественного служения, революционная непримиримость к политическому гнету самодержавия, социальной несправедливости и подавлению человеческого достоинства, которыми была пронизана эпоха первого демократического подъема и которые он называл «идейными верхами» шестидесятых годов, непоколебимо сохранялись в Шелгунове до последних дней жизни.

* * *

Произведение особого жанра представляет собой книга «Из далекого прошлого» Шелгуновой. Собственно воспоминания чередуются тут с отрывками из дневника писательницы и письмами к ней Шелгунова, занимающими бо́льшую часть книги. И хотя эти воспоминания писались в глубокой старости, когда просчеты памяти почти неизбежны, наличие у мемуаристки таких материалов, как дневник и письма, позволяют отнестись к ее свидетельствам с значительной степенью доверия.

Однако эти воспоминания страдают еще большими умолчаниями и недоговоренностями о боевых годах прошлого, чем мемуары Шелгунова. Читая их, можно подумать, будто мемуаристка вообще стояла в стороне от подпольной деятельности близких ей людей. Между тем несомненна не только ее осведомленность об этой деятельности, но есть и данные, указывающие на непосредственную причастность Шелгуновой к революционным конспирациям.

В ее воспоминаниях читатель встретит лишь беглые признания, что еще в 1858 году она «бредила эшафотом» или что некая дама однажды бросила ей: «От вас каторгой пахнет». Этим, собственно, и ограничиваются упоминания Шелгуновой о ее политических настроениях. Но они восполняются отзывами современников.

Близкая к радикальным кругам того времени Е. А. Штакеншнейдер, женщина чрезвычайно наблюдательная, с которой в 1855—1858 годах Михайлов и Шелгуновы были в довольно дружеских отношениях, считала именно Шелгунову инициатором прокламации «К молодому поколению». «...Зная их обоих,— писала она в своем

дневнике, имея в виду Михайлова и Шелгунову,— нельзя сомневаться, что первая мысль о прокламации принадлежит Шелгуновой»[1]. Более осведомленный П. В. Быков, коротко знавший Михайлова и сохранявший приятельские отношения с Шелгуновыми до конца их жизни, в предисловии к подготовленному им собранию сочинений М. Л. Михайлова в четырех томах, утверждал, что Шелгунов писал прокламацию, «усердно поощряемый своей женой»[2], что Михайлов, благодаря ее влиянию, перешел из области мечтаний «к живому делу и ради идеи понес тяжелый крест...», что на ее суд он отдавал все свои произведения, «советовался с ней насчет своих планов литературных, житейских и политических»[3]. Это видно и из стихотворения Михайлова «Зарею обновленья...», в котором он пишет, что, благодаря любви к Шелгуновой, он увидал

...что истинно, что ложно,
Что жизненно, что призрачно, ничтожно
Во мне и вне меня[4].

Из «Записок» Михайлова также можно заключить, что Шелгунова была в курсе всех его конспиративных дел. Отправившись вместе с Шелгуновым и Михайловым в 1861 году за границу, она не могла не знать о цели их поездки при той духовной близости, какая существовала между всеми троими. В этом убеждает и ее письмо к Костомарову из Парижа с приглашением приехать в Петербург к началу сентября, то есть ко времени, на которое намечалась подготовительная работа к распространению прокламации «К молодому поколению». Некоторые намеки, содержащиеся в «Записках» Михайлова, говорят о том, что, приняв на себя авторство и распространение этого воззвания, он спасал не только Шелгунова, но прежде всего Людмилу Петровну.

Такое же впечатление остается и от письма к ней Шелгунова, писавшегося во время его следования под арестом из Иркутска в Петербург. «Мне ужасно стыдно перед тобой,— писал он,— я упросил тебя ехать, ты согласилась, и вот теперь только терпишь через меня»[5]. Этим письмом Шелгунов, несомненно, хотел взять цели-

---

[1] Е. А. Штакеншнейдер, Дневник и записки (1854—1886), «Academia», М. 1934, стр. 344.

[2] «Собрание сочинений М. Л. Михайлова в четырех томах», т. I, СПб. [1912], стр. XXXVI.

[3] Там же, стр. XXVI.

[4] М. Л. Михайлов, Сочинения в трех томах, т. I, Гослитиздат, М. 1958, стр. 95.

[5] Т. А. Богданович, Любовь людей шестидесятых годов, «Academia», Л. 1929, стр. 41.

ком на себя инициативу поездки в Сибирь, отвести подозрения, падавшие на Шелгунову, изобразить ее обычной женщиной, покорно следующей за мужем. Однако, как выясняется из письма Шелгуновой к Авдееву от 2 декабря 1861 года, она намеревалась ехать в Сибирь одна, так как Шелгунову в то время не давали отставки и отправляли его на службу в Астрахань[1]. Наконец, ее жизнь в среде «молодой эмиграции» в середине шестидесятых годов не оставляет никаких сомнений относительно ее участия в деятельности революционного подполья.

Позже она отошла от революционных конспираций. Но и в семидесятых годах участница революционного движения этих лет А. Д. Дементьева (Ткачева) с теплым чувством говорила о Шелгуновой и писала ей: «Где бы я ни была, что бы со мною ни случилось — одно воспоминание о вас будет мне говорить, *как* надо любить всех униженных и оскорбленных, голóдных и холодных».

В своих воспоминаниях мемуаристка, однако, тщательнейшим образом обходит все, что касается революционных конспираций, участницей и свидетельницей которых ей довелось быть, и опускает завесу перед теми картинами, которые вызывают наибольший интерес у читателя и исследователя.

Мимоходом и как мало осведомленное лицо упоминает она о трагических судьбах братьев Н. и А. Серно-Соловьевичей, лишь беглым замечанием дает понять читателю, что у Михайлова было какое-то «дело», а рассказав об аресте Шелгунова и отправке его из Иркутска в Петербург, обрывает дальнейшее повествование, заменяя его письмами Николая Васильевича из Петропавловской крепости, не упоминая даже, где они писались. С предельной скупостью, одной только фразой характеризует Шелгунова и сложившуюся в России обстановку к осени 1861 года. «...Мы попали в самый круговорот,— пишет она о своем возвращении из-за границы.— Все было недовольно, все кругом говорило о реформах». В действительности же в это время в ее кругу шли разговоры не столько о реформах, сколько о революции. С такой же скупостью даны в воспоминаниях Шелгуновой и образы деятелей эпохи падения крепостного права. Говоря о них, она очень редко затрагивает вопросы общественной жизни ее времени и по большей части ограничивается чисто бытовым описанием своего окружения или изображением внешней стороны отдельных событий.

Главной причиной этих умолчаний, недомолвок и скороговорок являлось, несомненно, опасение тех же цензурных рогаток, через которые за несколько лет до того пришлось прорываться Шелгу-

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», л. 4 об.

нову при попытке опубликовать полностью свои воспоминания в собрании сочинений. Но если Шелгунову удалось сохранить, кроме фактов, и широкие обобщения в тексте своих мемуаров, то в воспоминаниях «Из далекого прошлого» отсутствует анализ, вскрывающий сущность социальных явлений.

И тем не менее вкрапленные ею в ткань бытовых и литературных воспоминаний отдельные, казалось бы незначительные, детали и свидетельства, касающиеся революционного движения, приобретают ценность как немаловажные порою дополнения к воспоминаниям Шелгунова и Михайлова.

Она первая рассказала подробно историю передачи Александру II записки Н. Серно-Соловьевича об освобождении крестьян, осветила, хотя в самых «смягченных» тонах, то, что не удалось описать Шелгунову,— поездку в Сибирь к Михайлову, встречу с Петрашевским в Красноярске, арест на Казаковском прииске, пребывание в Ундинской слободе под домашним арестом, жизнь в Иркутске. Из ее же беглых сообщений выясняется близость Шелгуновых к Чернышевскому, в частности, тот факт, что именно Чернышевский свел Шелгуновых с Н. и А. Серно-Соловьевичами. В свете выявленных советской наукой фактов об участии Чернышевского в создании тайного общества «Земля и воля» становится понятным и его желание сблизить людей, ставших организаторами этого общества, и его одобрительное отношение к поездке Шелгуновых в Сибирь, о котором также впервые рассказала Шелгунова.

Только из ее воспоминаний стала известна принадлежность Шелгунову напечатанных в «Современнике» статей «Литературные рабочие» и «Деликатности в науке», последняя из которых долго приписывалась Чернышевскому. Мемуары Шелгуновой, а главным образом включенные в них письма Шелгунова, занимающие в ее труде центральное место, проливают свет на биографию публициста-демократа со времени пребывания его в Алексеевском равелине и до смерти, а также на его деятельность, связи и знакомства этого времени.

Несомненный интерес представляют и литературные воспоминания Шелгуновой, в которые она также ввела документальные материалы, такие, как, например, письмо А. Майкова к Тургеневу от 5 декабря 1857 года. На протяжении долгого времени оно было известно только по ее книге. В ее же мемуарах впервые публиковались неизвестные ранее тексты стихотворений А. Майкова, Михайлова, Полонского, Бенедиктова, Мея. В области литературных воспоминаний Шелгунова чувствовала значительно большую свободу, чем в сфере общественно-политической, могла говорить без умолчаний и не вполголоса. Тут она без опаски рассказывает о встре-

чах, беседах и пр. с Полонским, Тургеневым, Писаревым, Зайцевым и другими.

Но Шелгунова видела и знала несравненно больше того, что поведала она читателю. В ее мемуарах не нашли достаточного отражения ни широта ее общественных и литературных связей, ни собственный очень нелегкий жизненный путь, ни ее деятельность писательницы и переводчицы, познакомившей русского читателя с произведениями Ч. Диккенса, Ж. Верна, В. Скотта, Эркмана-Шатриана и др. И даже ее духовный облик трудно себе представить по воспоминаниям «Из далекого прошлого». А ведь Шелгунова была незаурядной личностью — человеком, которого не могли сломить никакие превратности судьбы и который до последних дней своей жизни оставался деятельным, энергичным и мужественным.

* * *

Долгое столетие, насыщенное грандиозными историческими событиями, отделяет современного читателя от тех времен, которые описаны в печатаемых мемуарах. Перед ним проходит целая плеяда людей, делавших историю и горячо веривших в то, что ни их труды, ни их жертвы не пропадут даром, что борьба, которую они начали, будет подхвачена и расширена следующими поколениями и что эти поколения найдут пути для воплощения в жизнь тех величественных идеалов, которые, как дальний маяк, освещали их жизнь, деятельность, борьбу.

Э. Виленская

Л. Ройтберг

ВОСПОМИНАНИЯ
Н. В. ШЕЛГУНОВА

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО

I

Кому теперь лет шестьдесят, для кого царствование Александра I было свежим, хотя и детским преданием, кто при Николае I воспитался и начал жить, а при Александре II принимал более или менее деятельное участие в борьбе интересов и страстей, тому (и особенно в настоящее время) нельзя не задуматься над странной судьбой нашего умственного роста.

Роды мысли — самые трудные роды, и для России они бывали всегда особенно трудными. Чтобы разрешиться простой мыслью, что для России неизбежно европейское образование, потребовался такой акушер, как Петр Великий, и от его операции Россия и до сих пор не может оправиться. Умственный рост давался нам всегда болезненно и туго. То был даже не рост, а какие-то конвульсивные прыжки и периодические смены движения и застоя. После Петра должны были смениться три-четыре поколения, прежде чем обнаружились первые плоды европейской культуры. Это случилось в «золотой» век Екатерины — время первого возрождения литературно-общественной мысли в лице Новикова и «русской» науки — в лице Ломоносова, Лепехина и др. Впрочем, «золотой» век Екатерины продолжался едва ли более пятнадцати — двадцати лет. Уже в начале восьмидесятых годов, когда началось преследование Новикова, наступают для русской мысли сумерки, превратившиеся вскоре в непроглядную ночь. В первые годы царствования Александра I появляется снова светлый промежуток, через пятнадцать лет сменившийся просветительными заботами Аракчеева и Магницкого. Затем

вступает на престол Николай I, и при нем Россия выставляет своих лучших представителей во всех областях мысли и искусства. В литературе выступают Пушкин, Лермонтов, Гоголь, Белинский, Герцен; в науке — Грановский, Кудрявцев, Соловьев, Кавелин, Мейер; в живописи — Брюллов, Бруни; в музыке — Глинка; на театральной сцене — Щепкин, Мочалов, Каратыгин 1-й, Мартынов. Царствование императора Николая не отличалось особенной мягкостью, и мысль при нем держалась в дисциплине, а между тем — странное дело — Гончаров, Тургенев, Лев Толстой, Достоевский, Писемский, Островский выросли, развились и начали писать при нем; при нем же создались и лучшие профессора начала шестидесятых годов — Сеченов, Менделеев, Пыпин, Спасович; тогда же выросли и воспитались все те, кто в начале шестидесятых годов стоял во главе умственного движения и чьими трудами создались все реформы.

Каким законом следует объяснить, что только при Екатерине и Николае появляются у нас наиболее даровитые люди — и не единично, а повально, толпой — и во всех отраслях мысли и искусства? чтó их создало или вызвало, почему ничего подобного не замечается ни в предыдущие, ни в последующие царствования? При императоре Николае, не особенно покровительствовавшем идеям, появляется целая масса даровитых людей, да еще составляется запас их для последующего царствования; а при мягком Александре II никаких новых талантов и выдающихся умственных сил не появляется и Россия пребывает в сумерках мысли и до сего момента.

У Бокля есть любопытное исследование о влиянии правительственного покровительства на умственные успехи Франции при Людовике XIV. Проследив за всеми отраслями умственного труда, Бокль неопровержимыми фактами доказывает, что «век» Людовика XIV был не золотым веком литературы, науки и искусства, а, напротив, веком их упадка; то был век нищеты, нетерпимости и притеснений; то был век рабства, позора, и бездарности. Причина этого заключалась в правительственном покровительстве, в желании подчинить науку, литературу и искусство правительственным целям. Никогда писатели не были вознаграждаемы с большею щедростью, чем при Людовике XIV, и никогда они не были так низ-

ки духом, так раболепны, так положительно неспособны к выполнению своего великого призвания апостолов знаний и проповедников истины. Для того чтобы приобрести милость короля, даже самые знаменитые писатели жертвовали независимостью духа. Естественным следствием этого были измельчание и раболепие духа, затем упадок знаний, а затем унижение страны, что именно и случилось с Францией Людовика XIV. Только поразительная энергия французского народа, говорит Бокль, могла дать ему возможность оправиться впоследствии от влияния такой расслабляющей системы. Но хотя он оправился, усилия стоили ему дорого: борьба протянулась два поколения и кончилась страшною революциею. Общий вывод Бокля такой: против развращающей системы правительственного закупа окажутся, может быть, способными устоять два-три передовых мыслителя, но, рассматривая человечество в целом, мы убеждены, говорит Бокль, что никакое общество не в состоянии удержать на своей стороне какой-либо класс иначе, как чрез посредство интересов этого класса. Поэтому каждый народ должен бы стараться, чтобы интересы писателей были более на его стороне. Литература есть представительница умственного развития, которое прогрессивно; правительство — представитель порядка, который неподвижен. Покуда обе эти великие силы разделены, они будут дополнять и противодействовать одна другой, и народ должен тут держать весы. Но если эти силы заключат союз, то неизбежным следствием должны быть деспотизм в государственном управлении и раболепие — в литературе. Такова была история Франции при Людовике XIV.

При Людовике XIV и после него (при просвещенном деспотизме) наука и литература поощрялись (к чему это приводило, достаточно доказал Бокль) и правительства очень заботились об успехах знаний и образования. Иосиф II и Фридрих Великий не менее Людовика XIV заботились о просвещении. И у нас Екатерина II явилась покровительницей литературы и наук и сама принимала участие в литературе. Сотрудничая во «Всякой всячине», императрица Екатерина даже полемизировала с «Трутнем». До чего доходила тогдашняя правительственная терпимость, можно видеть из того, что Новиков в одном из своих ответов «Всякой всячине» говорит, что

противница его менее виновата, чем он думал: «Вся ее вина состоит в том, что на русском языке изъясняться не умеет и русских писаний обстоятельно разуметь не может». В «Московском издании» напечатаны Новиковым статьи о государях и их взаимных отношениях с подданными, в которых Новиков высказывает такие вещи: «Государь должен остерегаться увлечения любовью; всякое государство лучше управляемо быть может праздным государем, нежели страстным. Ежели первый иметь будет искусного министра, тогда праздность его обратиться может в пользу народа; страстный же сам управлять не силен и, будучи невольником, повинуется воле любовницы и сам приказать не в состоянии. Как скоро государь отдается любви, то весь его двор почитает за долг чувствовать ту же страсть. Временщики, министры, придворные — одним словом, все показывают нежное сердце. Что же будет из сей прилипчивой любви? Женщины овладеют правительством. Любовницы государя, министров и временщиков, сделав союз, станут раздавать чины и все дела расположат по своим прихотям». И после подобных, для того времени слишком смелых, если не дерзких, мыслей издание Новикова запрещено не было. Понятно, что Новиков имел основание писать вполне искренно: «О, благополучная Россия! О, счастливое отечество наше! Совершается пророчество Петра Великого, что науки и художества, переходя из страны в страну, из государства в государство, приидут наконец в Россию и в ней водворятся. Не видим ли мы счастливого события сего славного предсказания во дни наши, во дни благополучия российского, во дни царствования премудрыя Екатерины? Наступили в России дни златые: цветут науки и художества, появляются российские Орфеи, Архимеды, Птоломеи, Плинии, Ливии, Апеллесы и Праксители».

Но вот французское умственное движение, а затем и революция сразу охлаждают просветительные порывы европейских правительств, и «в августе 1784 года комиссия училищ предъявляет к Новикову иск за напечатание учебников. В сентябре того же года Архаров получает указ императрицы, запрещающий «ругательную» историю иезуитского ордена. Несколькими неделями ранее воспрещается сочинение «О влиянии успеха наук в человеческие нравы и образ мыслей», печатавшееся в при-

бавлениях к «Московским ведомостям». Затем с 7 октября 1785 года идет последовательный ряд указов, повелевающих: освидетельствовать частные училища в Москве, рассмотреть книги, выходящие из типографии Новикова, испытать самого Новикова в христианском законе, осмотреть больницу, заведенную дружеским обществом, опечатать книжную лавку Новикова и т. д., и т. д. Дело продолжается, таким образом, до 1792 года, когда выходит повеление арестовать Новикова, и знаменитого деятеля заключают в Шлиссельбургскую крепость, из которой освободил его только Павел I» (Незеленов, «Н. И. Новиков»).

Для литературы и печати наступила во всех европейских монархических государствах новая система, не имеющая ничего общего с прежней покровительственной системой, но так же, как и она, не давшая ожидаемых результатов. Цензура и запрещение книг хотя были изобретены и в средние века, но теперь получили такое тонкое развитие, что даже транспаранты не могли печататься без разрешения цензуры. Император Павел совсем запретил ввоз иностранных книг. Более мягким царствованием Александра I уже никак нельзя объяснить появления при императоре Николае такой массы талантов: и воспитательная система Магницкого, и политика Аракчеева не могли создать и воспитать Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Белинского. Каким же образом могло повторяться такое странное противоречие, как появление целыми плеядами даровитых людей, когда они были едва только терпимы, или же, как в эпохи реформ, они по первому на них запросу вырастали внезапно, точно из земли? Такое явление в новой истории России повторялось четыре раза: при Петре Великом, при Екатерине II и в начале царствований императоров Александра I и Александра II.

Правительство, неоспоримо, огромная сила, располагающая громадными средствами, но оно сила «порядка», уравновешения. Правительство можно сравнить с дирижером оркестра, который распоряжается готовыми музыкантами, но не создает их. Виртуозов мысли, как и музыкантов, создают общество, жизнь, идеи, находящиеся в обороте. В этом бесконтрольном, внутреннем общественном мышлении, не выражающемся в печати,— в мышлении, свершающемся в семье, у домашнего очага

и в собственном мире растущих поколений, ускользающем даже от контроля родителей, заключается секрет появления людей в такие моменты, когда они призываются жизнью. Создает людей время, а время есть созревшая мысль.

II

Исключительно личные воспоминания настоящей главы могут показаться читателю недостаточно оправдывающими слишком широкое обобщение главы предыдущей. Но если бы каждый, кому так или иначе, много или мало, хорошо или худо, приходилось принимать участие в нашей внутренней жизни последнего реформационного двадцатипятилетия, дал личные воспоминания об условиях, случайностях и обстоятельствах, которые поставили его на ту или другую дорогу и сделали участником того или другого дела, то каждое из этих воспоминаний было бы частичкой того же целого, которому могут служить и мои заметки. Личные воспоминания, конечно, факт мелкий, но ведь и каждый обыкновенный человек — тоже факт мелкий, а между тем сто миллионов подобных мелких фактов в своем обобщении составляют Россию.

Четырех лет меня отдали в Александровский малолетний кадетский корпус. Это оригинальное заведение находилось в Царском Селе и подготовляло к петербургским корпусам малолетних детей и сирот офицеров. Всех воспитанников в корпусе было до пятисот. Предельным возрастом вверх было двенадцать лет, а вниз предела не было. При мне был один воспитанник — грудной.

Нами заведовали и управляли женщины, в спальнях хозяйничали нянюшки, а ротными командирами были вдовы заслуженных офицеров. Единственным мужчиной, которого я помню, был ламповщик, наводивший на нас панический страх, потому что он призывался для чрезвычайных наказаний. В обыкновенных случаях нас секли нянюшки или сами ротные командиры домашним способом: спустят преступнику штанишки, нагнут его, за-

жмут голову между коленами и нахлопают розгами. Ужасный же ламповщик являлся со скамейкой, с длинными розгами и сек «по-настоящему».

Чему нас учили, где учили и кто учил — ничего не помню. Но зато я очень хорошо помню, что моя голова была раз между коленами ротного командира, а в другой раз на меня был надет дурацкий колпак из синей сахарной бумаги с надписью «Вор», и в таком виде я стоял в углу. Вина моя была вот какая: у нянюшек нашей роты в верхнем ящике комода бывали всегда гренки с изюмом, представлявшие для нас необыкновенную привлекательность. И вот, улучив минуту, когда нянюшки уходили, мы свершали в их комнату экспедиции и таскали этот заветный плод, отдавая, конечно, предпочтение изюму перед гренками. Одна из экспедиций оказалась неудачной: товарищи разбежались, а я был пойман.

Не знаю, приписывать ли это воспитательной системе или моей беспамятности, но — странное дело — из жизни в Александровском корпусе я помню только большую спальню с рядами кроватей, длинные рубашки с длинными рукавами, которые мы надевали на ночь, коридор, из него запертую дверь в комнату с изюмом, да два случая наказаний. Затем никаких воспоминаний о каких-либо других нравственных и умственных воздействиях не сохранилось. Помню, что приехал к нам раз император Николай, и когда мы его окружили, он велел нам валить его, что мы и сделали. Помню еще, что всегда радовались приезду государя, потому что нас собирали в рекреационном зале; он затевал какую-нибудь возню, и мы, чувствуя себя гораздо свободнее обыкновенного, пользовались случаем, чтобы в толкотне щипать и тискать наших «командиров».

В половине августа 1833 года (мне еще не было девяти лет) меня отдали в Лесной институт. Это было заведение совсем иного типа, чем Александровский корпус. Институт состоял в ведении графа Канкрина (министра финансов), который очень заботился о развитии лесного образования. Летом Канкрин жил в одном из флигелей института, совсем рядом с домом, в котором

помещались мы, но заглядывал к нам редко, и вообще его близкое соседство с нами не чувствовалось; нас никто не подтягивал, и нам жилось свободно и легко. Канкрина мы любили, во-первых, потому, что его не чувствовали, и, во-вторых, за его «демократизм». Он обращался очень просто, имел привычку говорить «батюшка» (нас тоже звал «батюшками»), и хотя носил военную генеральскую форму, но имел совсем домашний, «штатский» вид. У нас о Канкрине ходили разные анекдоты. Рассказывали, между прочим, что раз к Канкрину приехал генерал Муравьев — и он его не принял, а вслед за тем явился мужик-подрядчик — и он его принял. Это нам очень нравилось.

Лесной институт был заведением штатским, и нас держали очень свободно. Уже с ранней весны начинались практические занятия в питомниках и в институтском лесу, и с утра мы уходили врассыпную, с лопатами, на работу, иногда довольно далеко. Сохранилось у меня воспоминание о «переугливании». Это было уже совсем свободно. Вся работа производилась воспитанниками: мы сами приготовили «место», сложили костер, обложили его землею и дерном, сами подожгли его и управляли горением. Костер нельзя было оставлять без надзора ни днем, ни ночью, и мы, разделившись на партии, ходили на работу по очереди. И все это без всякого начальнического надзора и вмешательства. Переугливание продолжалось недели три, велось очень хорошо, и уголь получился превосходный. Мы очень гордились этим успехом.

В первых моих воспоминаниях о Лесном институте не сохранилось ничего цельного; осталось только общее впечатление чего-то очень свободного, светлого и хорошего. Даже погода тогда была только хорошая; по крайней мере, я не помню никаких других дней, кроме солнечных. Вероятно, по этому же закону ярких воспоминаний я не помню, чему нас учили. Сохранились у меня воспоминания лишь о трех учителях: Александре Александровиче Комарове (друге Белинского), Сорокине и Е. А. Петерсоне. Петерсон воспитывался в нашем же институте, потом был послан за границу, где пробыл около десяти лет, и, по возвращении, поступил к нам преподавателем. Это был новатор и прогрессист, усердно старавшийся пересаживать к нам европейские понятия и

порядки. Впоследствии только ему мы были обязаны тем, что у нас читалась политическая экономия, изгнанная в то время даже из университетов. Политическая экономия называлась у нас официально «энциклопедией камеральных наук», подобно тому как впоследствии «Вильгельм Телль» Россини был переименован в «Карла Смелого».

Энциклопедию камеральных наук читал Шмальц (кажется, сын дерптского профессора), и его политическая экономия отличалась от всех других политических экономий одним новым видом ценности — «индивидуальной», с которой потом мне уже не случалось встречаться ни в одном экономическом сочинении. Шмальц читал бойко, красиво и умел для пояснений подбирать меткие примеры. Когда дело доходило до «индивидуальной» ценности, Шмальц прибавлял: «Например, жених дарит невесте розу».

Комаров и Сорокин были учителями «русского языка» и, как мне помнится, грамматикой нас не обременяли. Тот и другой любили читать нам стихи, и очень часто свои собственные. Хотя Пушкин был в полном развитии своего таланта, но Сорокин предпочитал ему Бенедиктова, который и нам очень нравился. Бенедиктова мы списывали в тетрадки, и некоторые из его особенных почитателей имели даже переплетенные тетради, в которые и записывалось всякое стихотворение, только что появившееся в печати. Больше всего нравились стихи вроде:

Привет мой вам, столпы созданья,
Нерукотворная краса,
Земли могучие восстанья,
Побеги праха в небеса.

Мне же очень нравилась «Наездница». Рядом с Бенедиктовым пользовался большим почетом Марлинский. От него я был в восторге; в особенности пленяли меня «Мулла-Нур» и «Аммалат-Бек». Надпись же на кинжале Аммалат-Бека: «Будь медлен на обиду, но ко мщению скор» — производила на меня чарующее обаяние своим рыцарским благородством. После появления «Жалобы дня» Бенедиктова Сорокин читал нам написанную им в ответ «Жалобу ночи».

Комаров был много даровитее Сорокина. Из его стихотворений я помню «Кузнеца».

Кузнец, раздуй огонь в печи,
Железо раскали краснее,
По нем сильнее и сильнее
Тяжелым молотом стучи.
Ты скуй мне цепь; я цепью этой
Красавицу жену мою
С ночи до позднего рассвета
К постели крепко прикую.

Кончалось стихотворение так:

Она б и рада за ворота,
Да цепь крепка и коротка.

Строгие педагоги теперешнего времени, конечно, найдут, что Сорокин и Комаров делали не «воспитательный» выбор чтения, и я спорить об этом не стану; но я помню, что нам нравилось чтение наших учителей, тем более что оба они читали превосходно, и, уж разумеется, только благодаря им мы полюбили книги. Тогда только что началась «Библиотека для чтения». Откуда и как попадали к нам книжки журнала — не знаю, но помню, что все стихотворения и повести, а в особенности «Литературную летопись» я просто глотал, упиваясь остроумием Сенковского.

Наше чтение было, конечно, беспорядочное. Читалось все, что попадалось: и «Библиотека для чтения», и «Образцовые сочинения», и Жуковский, и Пушкин, и Бенедиктов, и Греч, и Булгарин, и Карамзин, и Шишков, и «Живописное обозрение», и романы Радклиф, и даже «Энциклопедический лексикон» Плюшара (у нас был в чтении и «Фоблаз»). Как это чтение ни было беспорядочно, но оно делало свое дело: частию приобретались кое-какие общие знания, а самое главное — устанавливалась известная умственная складка, в особенности под влиянием холодной, насмешливой, отрицающей иронии Сенковского. Сенковский не занял почетного места в истории литературы и русского просвещения, но он был человек с большими и разносторонними познаниями и неоспоримо умный. Лично на меня он имел большое влияние, и его «Библиотека для чтения» была для меня в детстве таким же воспитательным чтением,

каким для последующих поколений служили «Современник» и «Русское слово».

Мои первые воспоминания — чисто литературные: Комаров, Сорокин, стихи, которые они нам читали, книжки и журналы, которые неизвестно откуда к нам приходили. Из этого времени у меня сохранилось в памяти много стихов и эпиграмм (эпиграммы мне особенно нравились); приведу одну, читанную нам Комаровым. Была ли она напечатана или нет — не знаю, но в печати я ее нигде не встречал.

В России трое есть певцов:
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Ума есть трое супостатов:
Князь Шаховской, Шишков, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой —
Шишков, Шихматов, Шаховской?

Вообще Комаров и Сорокин были для нас источником света, нитью, связывавшей с внешним миром и его интересами, раздвигавшими каменные стены наших классных комнат и выгонявшими из них учебную духоту. Как люди литературные, Комаров и Сорокин вносили к нам и интерес литературный. Я как теперь помню, с каким волнением Комаров рассказывал о дуэли и смерти Пушкина (урок был как раз утром, в день похорон) и мы, оглядываясь, смотрели в окна на Петербург, точно чувствуя себя живыми участниками этого события и похоронной процессии, которая в тот момент совершалась. И мне думается, что *грамматика*, которой нас учили Комаров и Сорокин (я от них не запомнил ни одного грамматического правила), была именно той настоящей наукой, которой следует учить детей тогдашнего моего возраста (мне было девять-десять лет). Конечно, только поэтому я и запомнил на всю жизнь Комарова и Сорокина и точно вижу их теперь перед собою. Комаров был франтоватый, черноволосый, красивый мужчина выше среднего роста, обыкновенно носивший пестрые галстухи, а Сорокин — небольшой блондин, несколько беспорядочный в своем костюме и, сколько мне казалось, не всегда трезвый (Комаров и Сорокин были друзьями). В то же время во мне не сохранилось ни малейшего воспоминания о других учителях, которые, без сомнения, гораздо добросовестнее относились к своему делу.

Есть у меня еще такое, но совершенно безличное воспоминание: черная доска, у доски я, на доске написано $a + b =$, и я пишу: ab. В классном журнале против моей фамилии появляется ноль. Опять большая черная доска, опять у доски я, но на доске написано уже $a - b =$, а я пишу снова: ab. В журнале опять ноль. За леность меня высекли. Но, должно быть, инспектор, который нас сек по субботам, понял, почему $a + b$ и $a - b$ у меня всегда равны ab, и во втором классе я был оставлен на лишний год за «малолетство». Неужели добросовестность учителя алгебры была для нас полезнее, чем недобросовестность Комарова и Сорокина?

За институтом, в так называемых «третьих кустах», был пруд, в котором нам запрещалось купаться, потому что в нем били ключи. Но смельчаки на запрещение не обращали внимания. Один из таких смельчаков был раз пойман на месте преступления и приговорен к розгам. Против розог протеста никакого быть не могло: за ними было гражданское и обычное право, но протест мог явиться против «количества». Приговоренный к розгам Ильин объявил товарищам, что если ему дадут более пятидесяти ударов, то он ударит инспектора. Когда Ильина потребовали наверх (мы уже знали, что это значит), нами овладело тревожно-лихорадочное чувство. Ильин не возвращался, и ожидание стало еще напряженнее. Но вот разносится слух, что Ильин посажен в карцер. Несколько дней инспектор не показывается в классах. Наступило какое-то томительное, напряженное состояние — чего-то мы ждали, чего-то боялись. Опять новый слух: Ильин увезен в солдаты. Затем, через несколько дней, приехал в институт офицер в инженерной форме, построил нас в зале во фронт и так на нас кричал, так он нас бранил, что ни прежде, ни после мне уж не случалось слышать ничего подобного. Присланый офицер оказался капитаном Каменским, лично государем назначенным к нам в ротные командиры. Мы превратились из штатских в военные. Вместе с Каменским явились солдаты, барабанщики, горнисты, дежурные офицеры, и наши прежние мирные надзиратели, штатские служители, и весь наш мирный быт, может быть и своевольный, но тихий и простой, в котором нам жилось хорошо и спокойно, исчез так же внезапно, как меняются декорации в театре. Исчезли и Комаров с Сорокиным.

В штатские времена институт носил печать патриархально-немецкого управления графа Канкрина, и об этом времени я сохранил какие-то сказочные, темные воспоминания. Все было у нас просто, «gemütlich», по-домашнему; не знали мы ни строгостей, ни казенщины, и если бы не инспектор классов (из семинаристов), который сек по субботам, то, кажется, никакое облачко не помрачало бы нашей простой и свободной жизни.

При Канкрине было очень много свободного времени: и перед обедом, и после обеда, и вечером, и летом, и зимой. Свободное время посвящалось играм несколько спартанским (лапта, бары, жгуты, чехарда), которых я описывать не буду. К числу зимних отдыхов принадлежали вечерние рассказы. Был у нас один воспитанник из Сибири (Ветцель), около которого всегда стоял огромный кружок слушателей. Чуть ли не две зимы Ветцель рассказывал разбойничьи похождения Ринальдо Ринальдини. И я ужасно завидовал Ветцелю, что он читал такие хорошие книги. Вообще у нас господствовал «романтизм», и Жуковский, его «Двенадцать спящих дев», «Ундина», «Светлана», поэмы Козлова, романы Радклиф оставались не без влияния: мы верили в привидения и боялись их. Когда вышла «Черная женщина» Греча, у нас прошел слух, что она ходит ночью по комнатам, и я, ложась спать, крепко закутывал голову одеялом и жмурил глаза, чтобы ее не увидеть.

Раз мы сделали такую шалость. У нас был воспитанник Зобов, скромный, тихий и очень религиозный. (В шестидесятых годах (1868) Н. М. Зобов составил первую популярную книжку для народа «Беседы о природе», удостоенную премии комитета грамотности. Книжка эта действительно очень хороша.) Зная религиозное настроение Зобова, мы проделали с ним вот что: в глиняные банки из-под помады налили спирту, зажгли его, укутались с головами в простыни и ночью, подняв кровать со спящим Зобовым, понесли ее с пеньем «Со святыми упокой». Зобов, увидев вокруг могильные синеватые огни и белые фигуры, в ужасе стал кричать,— мы бросили кровать, загасили банки и разбежались. К счастью, эта «шутка» не имела для Зобова никаких последствий.

С водворением капитана Каменского и нового военного директора, флигель-адъютанта полковника графа Ламсдорфа (прежде у нас был директором очень доб-

родушный немец Брейтенбах, который никогда почти к нам не заходил, и мы гораздо лучше знали его огород, из которого таскали кольраби, чем его), окончился героический период нашей жизни. Наши игры и рассказы в зимние вечера — все это кончилось, и исчезла вся поэзия детской жизни. Теперь как-то вдруг мы стали взрослыми и серьезными. Нас причесали, одели; в залах и спальнях завелся паркет, в классах явилась лакированная ясеневая мебель, и в свободное время, когда мы прежде играли и рассказывали сказки, нас учили маршировке, ружейным приемам, гимнастике и танцам. Даже маленькие теперь уж не возились, а только прогуливались кругом по паркетному залу и огромному манежному коридору с серьезным видом, точно большие. Прежде наши воспитанники вели дружбу с медицинскими студентами, вероятно по причинам географическим, потому что и наш институт и медицинская академия помещались на Выборгской стороне. Дружба поддерживалась преимущественно трактиром «Урваном». Теперь все это кончилось, и нам даже запрещали бегать и возиться. Прежде казового конца у нас не было: какими мы были, такими мы и были. Теперь же, когда кончались классы, мы должны были приводить себя в порядок. «Порядок» считался весьма существенною частью «поведения» и в воспитательной программе капитана Каменского занимал видное место. Вся его программа состояла из трех пунктов: «Поведение, учение, фронт». Каменский до того часто повторял нам эту «формулу прогресса», что мы знали ее наизусть. Оставляя классы, мы вступали в область «поведения и фронта», которые требовали особенного внимания и осмотрительности; запачканные куртки или неприглаженные волосы вызывали иногда целую бурю. Каменский накидывался на каждую мелочь и особенно преследовал за «волосы» (длинные волосы считались в то время признаком своеволия и непокорности).

Впрочем, военная цивилизация имела и свои светлые стороны: Каменский и дежурные офицеры старались развивать в нас чувство рыцарства и товарищества; жалоб друг на друга не допускалось, и начальство на этот счет держалось правила той капитанской жены, которая говорила: «Рассуди, кто прав, кто виноват, да обоих и накажи». Раз был такой случай. Каменский приходит

к нам в класс (это был последний, выпускной класс) и объявляет, что один из наших товарищей — шпион и доносит ему, что такие-то и такие-то воспитанники посещают по субботам известные дома. Сделав этим воспитанникам замечание, Каменский отдал шпиона на наш суд. Как раз в это же время шпион был уличен и в краже (украл у товарища часы). Класс порешил шпиона исключить, и его исключили.

В классах мы делали много глупостей, и для этого в нашем распоряжении были два часа: час вечером и час утром, когда мы должны были приготовлять уроки. Этих глупостей в штатские времена у нас не бывало. Умственный уровень был тогда выше, старшие воспитанники были действительно старшими и держали себя солидно. Теперь же Каменский кричал на всех без разбора, а Ламсдорф сек, торжественно, при фронте, сопровождаемый большой свитой. Какая же это школа для достоинства? И вот, запершись в классе, мы передразнивали наше начальство, пели пародии на молитвы, служили обедни и молебны, пели солдатские непристойные песни в барковском стиле (из какой казармы они к нам попали, не знаю), декламировали трагедии Баркова. Подобные молебны, в которых я хотя и не принимал прямого участия, но при которых всегда присутствовал и даже подтягивал в хоре, нисколько не помешали мне потом плакать над Библией и мечтать сделаться проповедником. Фоблаз и барковщина тоже ничему не помешали. Должно быть, этот промежуток в нашей жизни был вроде каменного периода, который тоже не оставил на современном человечестве никаких следов. И не нами создавался этот период, его создавали улица и казарма, к которой нас теперь привязали. И разве Каменский, Ламсдорф и их военный режим могли создать какое-нибудь направление, кроме казарменного и кроме общения с барабанщиками и горнистами, посвящавшими нас теперь в тайны бытия?

Наука нам тоже не давала направления, потому что у нее и самой его не было. [illegible] и какое направление могли дать такие механические знания, как орнитология, энтомология, дендрология, ботаника, технология и другие специальные предметы в их тогдашнем мертвящем преподавании, требовавшем только зубрения? Комарова и Сорокина теперь уже не было, и режим, проводи-

мый Каменским, мог сделать из нас только барабанщиков. И вот мы росли, как растут жеребята,— «естественно». Официально нас не воспитывали, а дрессировали, официальная наука была тоже дрессировкой, а между тем живой душе нужен был выход, и мы нашли его в нашей классной жизни, когда мы пользовались полной свободой. В этом, конечно, была хорошая сторона военного воспитания, требовавшего только видимой, формальной дисциплины и не заглядывавшего в душу. А какая бы ни была наша детская душа, она все-таки была живая душа, недовольная, протестовавшая и достаточно свободная, чтобы развиваться сама по себе. Снаружи нас замуровывали, крыли казенным лаком; нутро же оставляли целым, точно ни для военного, ни для классного начальства его и не существовало.

В шестом, выпускном классе к нам влилась новая свежая струя в виде поступивших шести или восьми поляков. На тридцать воспитанников класса это был хороший процент. Поляки были на целую голову выше нас. Они уж думали, а мы только шалили, они кое-что видели, а мы только маршировали.

С поступлением поляков наши интересы облагородились и расширились. Начались политические разговоры. Это случилось, конечно, не сразу и даже не в первый год, а уж по выпуске, в первом офицерском классе. Тут у нас было больше досуга для разговоров и рассуждений.

При всей кажущейся последовательности такой воспитательной системы, она сама себя разъедала. Прежде всего она создавала строптивость, недовольство и раздражение. В Александровском корпусе мы тискали и щипали командиров, а в Лесном их передразнивали, сочиняли на них памфлеты и ни одного из них не уважали. Если единообразная, стягивающая и запугивающая дисциплина создавала, по мнению ее сторонников, историю сверху, то мы своими детскими протестами создавали ее снизу, хотя об этом и не думали.

Другая особенность старой военно-воспитательной системы заключалась в том, что она не давала ни одной свободной минуты для передышки. Все время было занято, и для бесед и чтений досуга уже не оставалось. В «штатские» времена мы много читали: девяти-десятилетним ребенком я читал гораздо больше, чем потом

почти взрослым. Наше военное начальство книг не признавало (вообще оно было необразовано, а Каменский даже и говорил неправильно, за что мы и прозвали его «жидом»), и мы их не видели, да, правда, и времени не было, чтобы читать. Входило ли такое многозанятпе в программу воспитания, чтобы мы меньше думали, я этого не знаю, но я знаю, что результат получался тот, что мы жили исключительно инстинктами (хорошими и худыми, какие у кого были), а умственно чахли и суживались все больше и больше на тесной специальности и механическом мышлении. Что для нас было закрыто чтение, это, конечно, предохраняло нас от «идей», но в то же время постоянно подавляемое чувство свободы и жизнь под мелочными запрещениями вызывали в нас самую опасную идею — неповиновения, а с нею будили и инстинкт разрушения. Связь, которою держался наш порядок, была чисто внешней. Стоило ей только как-нибудь ослабнуть, чтобы все отдельные интересы распались и запротестовали. Каменский, конечно, ничего этого не понимал и ни о чем подобном никогда не думал; то же, вероятно, повторялось и с людьми, которые стояли повыше его. Во всяком случае, у них не было силы создать лучший порядок; тот же, который они созидали, сам в себе заключал и начало распадения.

Но тогда стоял еще старый, ничем не нарушенный государственный строй в старой, закаменевшей форме, и государство наглядно можно было изобразить в виде пирамиды. Основание его составлял народ, или рабочая сила. Следующий слой составляли помещики, или, по выражению Екатерины II, «сто тысяч полицеймейстеров», управлявшие народом непосредственно. Затем шло духовенство, как сила морально-религиозная. Потом войско — сила, охраняющая внутренний порядок и внешнюю неприкосновенность. Еще выше — бюрократия, или правительственный механизм.

Дореформенная Россия была при императоре Николае еще служилым государством. Все служило государственным целям, и все поглощалось им. Зато и государство брало на себя заботы обо всем, обеспечивая и воспитание, и место, и содержание. В Александровском корпусе, как я говорил, был грудной кадет, и корпус этот воспитывал пятьсот детей — от грудного до двенадцатилетнего возраста. В других заведениях и женских ин-

ститутах давалось тоже даровое образование. Каждый дворянин, каждый офицер, каждый чиновник знал, что государство избавит его от забот воспитания, и никто из родителей не дрожал за материальную судьбу своих детей. Если государство, создавая и воспитывая для себя служилых людей, возлагало на них известные обязательства и учило только тому, что было нужно для государства,— в этом была несомненная последовательность. После смерти императора Николая наступает иной порядок. Лицо становится свободным — оно перестает быть служней; вместо крепостной государственной идеи является идея свободы, и государство предоставляет каждому жить и заботиться о себе, как он знает. Александровский корпус закрыт, и дети, которые прежде нашли бы в нем себе приют, остались теперь на руках родителей; кадетские корпуса тоже сократили даровое воспитание и стали гимназиями; вообще даровое воспитание значительно сократилось и начало озабочивать родителей, как оно их никогда не озабочивало. В смысле нравственного освобождения лица или государства все это очень хорошо, но только родителям теперь стало не под силу воспитание детей, за которых повсюду пришлось платить, не считая уже содержания их дома. Прежнее служилое государство не отказывало детям в образовании, и каждому ребенку было место (даже младенцам), а теперь число учебных заведений не соответствует числу желающих учиться, и явилась толкотня, конкурентные состязания и другие искусственные средства, чтобы заградить доступ тем, кому не оказывается места. Прежнее служилое государство на крепостной основе уступило место новому на свободных основах, но реформы, разрушив прежнюю цельность, новой цельности не создали. Освобожденное лицо очутилось в двойственном положении. Государство по-прежнему предъявляет к нему свои требования, как будто никаких перемен не произошло, и в то же время требует от него общественной самодеятельности, которой для лица еще не существует. Идеи государственности и общественности еще никак не могут ужиться у нас рядом, и в новых юридических формах жизни присутствует старое идейное содержание. От этой непоследовательности живется всем трудно. Поправку в жизнь внесут, вероятно, растущие поколения, как некогда и мы, воспитан-

ные для одних государственных целей, послужили, однако, другим.

Много ли времени прошло со смерти императора Николая, а уж он становится легендарным лицом мифических размеров. Мне случалось (и недавно) видеть молодых людей, которые рассказывали о нем совсем легендарные вещи, приписывая ему подвиги и поступки Наполеона I. Вероятно, в России есть немало стариков, которые, сравнивая «век нынешний и век минувший», рассказывают внукам о чудесах своего времени, а внуки эти рассказы распространяют. Но факт, что император Николай и люди прошлого, по сравнению с нынешними людьми, принимают в глазах молодежи титанические размеры,— факт не безразличный.

III

Прошло восемь лет. Состоя при департаменте таксатором, я ездил по лесам для лесоустройства и жил по деревням, а зимой возвращался в Петербург, чтобы весной снова ехать на лесоустройство. В это время я начал писать, но статьи по своей специальности, которые, однако, находили себе место в изданиях чисто литературных. Начал я в «Сыне отечества» Масальского. Это был первый литератор, с которым я познакомился и к которому являлся не без священного трепета. Затем, в 1845 году (кажется), я поместил ряд статей по лесоводству в «Библиотеке для чтения». Но это была не та «Библиотека для чтения», которой я упивался при Сенковском (он моих лесоводственных статей, конечно бы, не поместил), а «Библиотека» Дерикера. Впрочем, много после, при Лонгинове, «Дело» тоже готово было печатать статьи об египетских древностях.

В 1849 году я был послан в Симбирскую губернию для устройства Мелекесской дачи и зимой оставлен при тамошнем управлении казенными землями, находившемся в Самаре (Самарской губернии еще не было). Эти казенные земли принадлежали калмыкам, которых император Николай велел выселить в степь, а земли их взять в казну. Когда я приехал в Самару, память о калмыках была еще совсем свежа. В Ставрополе мне рассказывали, что когда калмыцкая орда тронулась в путь,

то, отъехав с полверсты от ставропольского бора (небольшой лесок под городом, тоже принадлежавший калмыкам), остановилась. Калмыки сошли с лошадей, упали ничком на землю и начали целовать ее. Не скоро они кончили прощанье с своей родной землей, на которой родились и выросли они, их деды и прадеды. Но вот наконец калмыки поднялись, сели на коней и орда двинулась в степь тихим, похоронным шагом. Только четыре человека, отделившись от орды, заскакали бор с четырех сторон, подожгли его и так же быстро, точно боясь погони, ускакали.

Самарский край в мое время был совсем особенный край. От него веяло еще воздухом степей и безграничной ширью, в которой дышалось легко и свободно. Очень может быть, что в этом просторе было мало гражданственности и порядка, но тем не менее люди чувствовали себя в нем хорошо и не роптали. Но в эту степную ширь проникли наконец гражданственность и порядок, что, конечно, не обошлось без борьбы и столкновений. И борьба происходила не в одних низах. Степные помещики, в памяти которых были еще свежи куролесовские предания, не легко подчинялись гражданственности и неохотно переносили над собою власть. Так, один из симбирских предводителей дворянства постоянно боролся с губернатором, и кончилось это тем, что и губернатор и предводитель поскакали в Петербург искать защиты: первый — своих прав, второй — дворянских вольностей. Губернатор успел приехать ранее и ранее представился императору Николаю. Когда затем явился предводитель дворянства, то Николай, подойдя к нему, погрозил пальцем и сказал: «Прапорщики, я вас уйму!» Повернулся и ушел. Еще любопытнее следующий случай. Казалось бы, что при Николае, когда обер-прокурором святейшего синода был военный генерал (Протасов), никаких сомнений относительно взаимных отношений гражданской и духовной власти и быть не могло. А между тем нашелся архиерей, который впал в сомнение. Кто был этот архиерей, я не помню, но губернатором был Волховской, назначенный в Самару Николаем как человек, способный водворить порядок. В праздник, после молебна в соборе, губернатор подошел, чтобы приложиться ко кресту. Архиерей подал ему крест и затем протянул руку, чтобы он приложился и к ней. Вол-

ховской отшатнулся, но, быстро овладев собою, поцеловал протянутую руку. В следующие молебны архиерей руки, кажется, уж больше не протягивал.

Начальство былого оренбургского края, воспитавшись в степных преданиях и в школе В. А. Перовского (того самого, который делал поход в Хиву), было все вельможное. Такого вельможества теперь не встретишь на самых верхах, а тогда были вельможами даже управляющие удельными конторами. Мне раз случилось ехать с управляющим самарской удельной конторой из села Майны, где он был на ревизии отделения конторы, в Самару (верст сто сорок). Мы ехали в нескольких экипажах, и это была не езда, а торжественный поезд, напоминавший времена Потемкина. На каждой станции нас ждала толпа народа без шапок; впереди толпы стояли деревенские власти; все это низко кланялось, а управляющий с милостивой улыбкой кивал направо и налево головою. На станциях нас ждали подставные лошади, а когда смерклось, впереди и по бокам скакали вершники с фонарями и галдели всю дорогу, показывая начальству свое усердие (ямщики были татары). Нынче в Самарской губернии начальство, вероятно, уж так не ездит.

Но не в этом единоличном степном произволе, захватывавшем более или менее всех, заключалось нравственное нутро самарского края. В его степной шири, в которой каждый чувствовал простор, в котором нашли себе место и молокане и раскольники, убегавшие в скиты, и где в своеволии лучше чувствовалось каждым его личное достоинство, лежало ядро той истинной гражданственности, на традициях которой сложилось и самарское земство.

Самарский край в пятидесятых годах отличался особенно счастливым составом администрации, какого, конечно, не было ни в одной из губерний России (я говорю о Самаре уездной). Тон управлению давала самарская удельная контора, в которой с управляющего и до последнего чиновника все отличались какой-то легендарной, идеальной добросовестностью. Добросовестность эта являлась не вследствие хорошего содержания или процентов с общественных запашек, которые получали чиновники,— она была новым общественным чувством, первым выражением тех стремлений, которые в шести-

десятых годах превратились в общественный энтузиазм. А источником этих новых стремлений были тогдашние университеты: Московский, с Грановским во главе, и Казанский, где кумиром студентов был профессор Мейер. В Самаре служила казанская молодежь, были и из Харьковского университета, были и из Петербургского, но казанцы преобладали. Все это были «новые люди», в которых Самаре посчастливилось. Удельной конторой управлял Манжос (он уже умер), из студентов Казанского университета; казенными землями — Е. Е. Лашкарев, студент петербургский (тоже умер); губернатором был К. К. Грот, тоже новый человек и, кажется, тогда единственный губернатор в чине статского советника. Товарищ прокурора, губернский стряпчий, даже управляющий откупами были новыми людьми, и не только новыми, но и совсем молодыми. Новая молодежь проникала во все управление и давала всему тон. Для Самары это был медовый месяц ее гражданственности. В удельной же конторе служил и Пекарский (будущий академик), с которым я сошелся и сблизился. Пекарский (оренбургский уроженец), казанский студент, был восторженным поклонником Мейера. Таких профессоров нынче уж нет.

Одной из особенностей тогдашней провинциальной молодежи было ее тяготение к Петербургу, чтобы удовлетворить смутному стремлению к чему-то, чего она не находила в родной глуши. Белинский убежал в Петербург даже из Москвы. Со времени Белинского тяготение к Петербургу усилилось еще больше, и Петербург стал для России источником общественных идей. В особенности усилилось тяготение к Петербургу в начале пятидесятых годов, точно люди чувствовали, что они там понадобятся. Пекарский сильно рвался вон из Самары, и у него почти не было других разговоров, кроме как о Петербурге. Припоминая это время, я не могу отдать себе отчета, что́ тянуло нас в Петербург, но что-то тянуло, и ужасно тянуло: он казался нам единственной светлой точкой России, где можно жить. В 1851 году нам с Пекарским наконец удалось попасть в Петербург, но Петербург нам, однако, так и не выяснил, чего мы хотим. Пекарский перешел на службу в канцелярию министра финансов и все неслужебное время проводил в Публичной библиотеке. Занявшись изучением петровской старины, Пекарский ушел в нее с руками, ногами и го-

ловой, но к Петру Великому он относился не особенно почтительно и возмущался его деспотизмом и жестокостью. Бывало, выищет какой-нибудь резкий факт, не вытерпит, бросит чтение, подойдет (я тоже работал в Публичной библиотеке) и начинает рассказывать, возмущаясь и волнуясь, точно это случилось вчера. В это же время работал в Публичной библиотеке А. Н. Пыпин. Он тоже начинал, и его тоже притянул Петербург, как и многих других, с именами которых связаны шестидесятые годы.

Раз Пекарский со своим обыкновенным таинственным видом говорит мне вполголоса, что познакомился с Н. Г. Чернышевским. Пекарский говорил мне о нем, пожалуй, с бо́льшим одушевлением, чем он обыкновенно говорил о профессоре Мейере. От Пекарского я узнал, что Чернышевский учительствует в каком-то корпусе, что он приехал из Саратова и отличается редким умом и познаниями. Несколько времени спустя Пекарский приглашает меня к себе и объявляет с сияющим лицом, что у него будет Чернышевский. Я пришел после восьми часов; совсем не помню, кто был еще у Пекарского, но было немного: человек пять-шесть. Пекарский жил очень скромно, в комнате от хозяев: несколько стульев, неизбежный в то время в каждой холостой квартире «турецкий» диван, превращавшийся на ночь в постель,— вот, кажется, и вся меблировка. Как теперь вижу Чернышевского, скромно сидящего в правом углу «турецкого» дивана. Разговоров почти никаких не выходило; Чернышевский молчал или говорил отрывисто,— было видно, что он чувствовал себя неловко; мы тоже помалчивали. Пекарский волновался, старался оживить беседу, но ничего не выходило. Немного погодя Чернышевский ушел, а вслед за ним и мы, приглашенные. Вечер не удался. Чернышевского притянул тоже Петербург, как и Добролюбова и Писарева, а после Крымской войны магнитность Петербурга и еще усилилась.

Началась Крымская война. Поражения следовали за поражениями в политике и на поле битвы. Люди новой формации понимали необходимость перемен, и в русском воздухе дышалось тогда трудно; каждый чувствовал себя точно под плитою. И, несмотря на это (может быть, именно поэтому), все, что было помоложе и посвежее, читало запрещенные французские и немецкие

книжки, и идеи, как птицы, не хотели признавать политических границ и перелетали к нам контрабандою. В Петербурге книжной контрабанды было много.

Наконец оказалось, что защищать Севастополь больше нельзя: нет ни денег, ни людей. Император Николай умер. Со вступлением на престол Александра II точно небо открылось над нами, куда-то потянуло вверх, в ширь...

Наступили шестидесятые годы.

IV

У шестидесятых годов было два течения: верхнее и нижнее. В верхнем я не участвовал, да и не оно дало свое имя шестидесятым годам. Течения эти явились не на другой день после смерти императора Николая,— у них была уже своя история. Блеск и яркость шестидесятым годам придало только то, что раньше оба течения сонно сочились под спудом, теперь же они пробились на поверхность и увлекли более или менее каждого, кто стоял к ним ближе.

Верхнее течение, создавшее освобождение крестьян, было только «руками» великой идеи, явившейся много раньше и, со времени Екатерины II, переходившей по наследству от одного царствования к другому. И императора Николая не оставляла мысль о «преобразовании» крепостного права, но ему не пришлось довершить того, что в течение двадцати пяти лет он начинал каждый год.

Крепостная Россия представлялась сверху таким прочным и цельным исторически-бытовым сооружением, что из него, казалось, нельзя было вынуть ни одного камня без того, чтобы не заколыхалось все здание. И здание действительно было вполне закончено; все в нем было юридически логично, связано и слито в одну массу. Я хорошо помню николаевское крепостное время; в девять лет моего таксаторства мне пришлось побывать и в костромских лесах, и в разных местах по Волге, и в средних губерниях, и в западных, в Белоруссии и Литве. Везде от крепостного быта веяло вполне организованной устойчивостью и определенностью: каждый знал свое место, отношения были точны, права и обязанности ясны, закон исключал всякие сомнения и скреплял сво-

ей санкцией всю громаду тех нехитрых отношений помещиков к крестьянам, которые превращали крепостную Россию в огромную, но простую и односложную машину. Машина была выстроена по типу пчелиных сотов, в каждой ячейке этого всероссийского сота сидел помещик-самодержец, и вся Россия состояла из более чем ста тысяч маленьких помещичьих самодержавий. Понятно, что в подобном здании было боязно и рискованно вынимать камни.

Но вот на наших глазах свершилось освобождение крестьян, и громадное здание, сооружавшееся несколько веков, рассыпалось тихо и без шума, точно сдутый карточный домик. С крепостным правом случилось то же, что и с московским Успенским собором. Когда Иоанн пригласил Аристотеля Фиоравенти, он начал с того, что сломал всю прежнюю постройку. «Вот,— говорили московские каменщики,— мы клали шесть месяцев, а он пришел и развалил все в две недели». Аристотель Фиоравенти находил, что русские не умеют приготовлять цемента. И в нашем крепостном здании не было никакого цемента,— это была большая куча камней, поддерживавшаяся разными юридическими и уголовными контрфорсами[1].

При императоре Николае не переводились комитеты, в которых рассматривались то те, то другие меры для улучшения положения крепостных, и все эти комитеты были «секретными».

Какая же причина этой таинственности, против которой Киселев справедливо замечал, что «нынешний способ действия полумерами и полутайнами не может произвести ничего доброго»? Причина только в опасении, которое искусственно возбуждали и постоянно поддерживали крепостники. Например, один из них, скрывший свое имя, прислал императору Николаю записку под таким заглавием: «О возмутительных началах, развивающихся в России вследствие указа 8 ноября». А указ этот разрешал крестьянам продававшихся с торгов заложенных помещичьих имений вносить состоявшуюся на торгах сумму и делаться собственниками.

Император Николай был окружен защитниками крепостного права. Из всех сановников только Киселев и Воронцов (Михаил Семенович) стояли за освобожде-

[1] подпорками.

ние. И государь знал, что ни в ком из близких он не находит поддержки. В 1834 году, говоря с Киселевым о своем намерении «преобразовать» крепостное право, государь сказал: «Я говорил со многими из моих сотрудников и ни в одном не нашел прямого сочувствия; даже в семействе моем некоторые (Константин и Михаил Павловичи) были совершенно против. Несмотря на это, я учредил комитет из семи членов для рассмотрения постановлений о крепостном праве. Я нашел противодействие... Помогай мне в деле, которое я почитаю должным передать сыну с возможным облегчением при исполнении».

И императору Николаю действительно пришлось передать это дело своему наследнику.

Император Николай скончался совершенно неожиданно даже для Петербурга, ничего не слышавшего раньше об его болезни. Понятно, что внезапная смерть государя вызвала толки. Между прочим, рассказывали, что умирающий император велел позвать к себе внука, будущего цесаревича. Император лежал в своем кабинете, на походной кровати, под солдатской шинелью. Когда цесаревич вошел, государь будто бы сказал ему: «Учись умирать»,— и это были его последние слова. Но были и другие известия. Рассказывали, что император Николай, потрясенный неудачами Крымской войны, чувствовал недомоганье и затем сильно простудился. Несмотря на болезнь, он назначил смотр войскам. В день парада ударил внезапный мороз, но больной государь отложить парад не нашел удобным. Когда подвели верхового коня, лейб-медик Мандт схватил его за удила и, желая предупредить императора об опасности, будто бы сказал: «Государь, что вы делаете? Это хуже, чем смерть: это — самоубийство»,— но император Николай, ничего не ответив, сел на коня и дал ему шпоры.

В другом рассказе Мандта, напечатанном в первой книжке «Русского архива» 1884 года, говорится, что накануне смерти, когда еще не была утрачена надежда на выздоровление, Мандт тщательно исследовал всю грудь больного при помощи слухового рожка. Мандта поразил зловещий шум в нижней части правого легкого. Это было начало паралича. Сознавая важность минуты и

желая предупредить больного об его безнадежном положении, Мандт завел издали разговор о Бажанове (духовник императора) и затем сказал, что, «сколько он понял из слов императрицы, ее величеству было бы очень приятно, если бы она могла вместе с Бажановым помолиться подле постели государя об умершей дочери и вознести к небу мольбы о скором выздоровлении больного». Император понял, что хотел сказать Мандт, и спросил: «Скажите же мне, разве я должен умереть?» — «Да, ваше величество!» — отвечал Мандт. Минут через шесть или восемь государь сказал: «Позовите ко мне моего старшего сына»,— а затем прибавил: «Не позабудьте известить остальных моих детей и моего сына Константина. Только пощадите императрицу». Император Николай умер истинным христианином, «исполнив обязанности отца, императора и даже милостивого хозяина дома, так как он простился со всеми своими служителями и каждого из них осчастливил прощальным словом»,— говорит Мандт.

В близких ко двору лицах смерть императора вызвала самую искреннюю скорбь. Женщины плакали. Для женщин, да и не для них одних, Николай был легендарным героем, коронованным рыцарем, истинным представителем недосягаемого царственного величия, цельным, последовательным человеком, характером и властелином, поднявшим царское достоинство и обаяние власти до высоты, дальше которой начинается уж только божеское величие.

Смерть императора Николая застигла Россию в самый разгар Севастопольской обороны, исход которой был уже ясен. Россия напрягала последние силы. Государь умер 18 февраля 1855 года, а 27 августа, после жестокого штурма, был взят Малахов курган и нашим войскам приказано отступить. Война кончилась, всем стало легче; но за этим чувством скрывалось чувство стыда и злобы, обидное чувство побежденного народа, до сих пор привыкшего только побеждать. Это было первое общее впечатление. Но были другие люди, которым было больно за весь этот бесплодно погибший героизм, за сотни тысяч убитых и умерших в лазаретах солдат, выступавших чуть не с кремневыми ружьями против европейских штуцеров, за истребленные мужицкие ополчения, ходившие в рукопашную с топорами. И вся

эта страшная севастопольская история случилась как-то вдруг, неожиданно: неожиданно началась война, неожиданно пал Севастополь. Но когда эта громада пала, когда оказалось, что Россия не имеет ни денег, ни людей, чтобы продолжать борьбу, когда две такие неожиданности, как смерть императора Николая и павший Севастополь, точно два громовых удара, повторились один за другим,— Россия точно проснулась от летаргического сна.

Нравственное состояние, в котором очутилась Россия после этих громовых ударов, редко в истории народов, а на памяти русской истории подобное положение еще не бывало. Освобождение России от поляков и смуты в 1612 году, освобождение от двунадесяти языков в 1812 году были, конечно, моментами очень героического напряжения и чудовищной народной энергии, но это были только моменты чувства и инстинкта самосохранения. Теперь было не то, и за свою государственную целость нам бояться было нечего. Все могло бы идти в обычном установившемся порядке. Государь умер; на престол вступил его наследник без потрясений и беспорядков; война кончилась; мир предстоял достаточно почетный; все было тихо, спокойно, мирно, и все могло бы идти опять по-старому, традиционному, с какими-нибудь небольшими починками и преобразованиями. Казалось бы, только радоваться и отдыхать после военных трудов и севастопольских потерь. Но в том-то и дело, что старое уж не могло больше повториться; все чувствовали, что порвался какой-то нерв, что дорога к старому закрылась. Это был один из тех начинающихся исторических моментов, которые подготовляются не годами, а веками, и они так же неустранимы, как лавины в горах, как ливни под экватором. Единоличная воля в таких случаях исчезает, и всеми, сверху до низу, овладевает один общий жизненный порыв, вначале инстинктивный, как глубокий вздох после летаргического сна, как первое светлое пробуждение после горячки; но затем, после бессознательного, инстинктивного душевного движения, является понемногу светлое состояние сознания, человек приходит в себя и с новыми силами принимается за новую работу. То, что происходит с отдельным человеком, повторяется и с народами, когда каждым и всеми овладевает одно и то же душевное состояние, когда

каждый и все чувствуют перелом, когда каждый и все из бессознательного, инстинктивного состояния переходят к работе мысли, когда в каждом и во всех пробуждается критическая мысль и каждый и все начинают думать. В том, что после Севастополя все очнулись, все стали думать и всеми овладело критическое настроение, и заключается разгадка мистического секрета шестидесятых годов. *Все* — вот секрет того времени и секрет успеха всех реформ. Император Николай опирался только на Государственный совет. Император Александр II обратился к чувствам *всех*, к труду *всех*, к тем громадным творческим и сознательным силам, которые хранились в нижнем течении. В этом лишь и заключались то отрицательное наследие и та подготовительная работа, которая была создана всеми предыдущими царствованиями, и преимущественно царствованием императора Николая. Что это было именно так, что это сознавало и само новое правительство, подтверждается мнением, высказанным бароном Корфом в «секретном» комитете 1857 года. Вот как записал этот факт Заблоцкий-Десятовский («Граф Киселев и его время»): «Барон Корф объяснил, что полувековые попытки к освобождению крестьян из крепостного состояния оттого не имели успеха, что соображение истекало сверху, а не снизу и что посему следует предоставить опытности и добрым чувствам дворянства выразить свое мнение». Мнение Корфа поддержали, последовал известный циркуляр Ланского, и началось освобождение. Все остальное сделалось само собою.

V

Стараясь объяснить себе, каким образом мы, поколение, воспитанное и созданное императором Николаем, не думавшие никогда дальше своих личных интересов, вдруг стали реформаторами, я не могу придумать ничего более простого, как остановиться на себе. Таких, как я, были десятки тысяч людей, и принадлежали мы не к той формации, которая выросла из известного московского кружка. О существовании этого кружка и его идеях мы даже и не подозревали.

Я уже говорил, как нас воспитывали. В сущности, мы росли в привычках неповиновения и отрицания. До-

рожить нас не приучили ничем, уважать мы тоже ничего не уважали; но зато начальство, и особенно Каменский, старательно водворяли в нас чувство страха. Но чувство страха — плохой воспитатель, потому что оно учит ничего не бояться. Турок, у которого всякий заптий [1] может отнять последний грош, перестает дорожить и рублем. Мне случилось раз заметить одному крутому начальнику, что его не будут уважать подчиненные, а он мне ответил: «А мне все равно, лишь бы меня боялись». И все русские сто тысяч маленьких самодержавий, да и все остальные русские отношения, стояли на фундаменте из этого дикого камня. Чувство страха — вот все, чем они располагали и чем они управляли. «Но,— говорит Канкрин (конечно, знавший Россию) в своих записках,— хотя чувство страха — одно из могущественных средств, но к нему нужно прибегать изредка». А им у нас постоянно злоупотребляли. Когда же все общественные связи основаны только на страхе и страх наконец исчезает, тогда ничего не остается, кроме пустого пространства, открытого для всех ветров. И вот такое-то пустое пространство и открылось у нас. Но в пустом пространстве жить нельзя, каждому человеку нужно строиться,— мы и начали строиться.

После падения Севастополя общество чувствовало себя в каком-то тумане,— ничего определенного еще не выяснилось. В это время мне предложили место ученого лесничего в Лисинском учебном лесничестве. Ученый лесничий был профессором *всех* лесных наук; это хотя несколько и громко, но верно, ибо Лисинское лесничество было практическим офицерским классом и ученый лесничий должен был летом руководить практическими работами, а зимой читать лекции. Я не считал себя достаточно подготовленным для такого места и заявил, что приму его, если меня отправят за границу. Гамалея (товарищ Киселева) отказал; тогда я просил, чтобы мне позволили ехать на свой счет,— Гамалея опять отказал. Я заготовил докладную записку и отправился к Киселеву. До этого времени я видел Киселева только раза два, на завтраках, которые он давал в первый день пасхи служащим в его министерстве. Киселев был вельможа старых, хотя уже и вымиравших традиций, олимпий-

[1] жандарм.

ского вида. Теперь таких людей нет, да они и невозможны. Меня ввели в зал, в тот самый зал в три окна, который мне был знаком по разговеньям. В зале не было ни души. Тогдашние министры были вообще недоступны; министры открыли у себя приемные дни для просителей при Александре II, когда обаяние министерской власти уже очень ослабело и вообще люди стали меньше ростом. Ждать Киселева мне пришлось недолго. Войдя в боковую дверь, которую быстро распахнули какие-то невидимые для меня силы, Киселев, в полном мундире, с андреевской лентой и со звездами, налетел на меня орлом (он был орлиной породы).

— Что вам нужно? — отрезал Киселев, вероятно думая, что лесничий под судом пришел просить милости.

— Пришел проситься за границу.

— Зачем вам за границу? — спросил Киселев уже совсем просто.

Я объяснил.

— Это верно,— ответил он,— но как же вам ехать: мир еще не заключен.

— В прошедшем году, во время войны, был отпущен за границу генерал Половцев.

— У Половцева была другая причина: у него была больна жена.

— Если нужна подобная причина, то и у меня больна жена,— ответил я.

— Ну, дайте вашу записку.

Я подал. 7 марта мне выдали два паспорта, и чуть ли не восьмого, то есть на другой день, я уже ехал за границу. Паспорты мне выдали даровые, и, вероятно, это считалось большим вниманием, потому что годовой паспорт стоил пятьсот рублей; кроме того, мне сохранили содержание. Все это, конечно, сделал Киселев, а не Гамалея.

И какое это было восторгающее и ошеломляющее время! Я буквально ходил как в чаду, спешил, рвался куда-то вперед, к чему-то другому, и это другое точно лежало сейчас же за шлагбаумом, отделяющим Россию от Европы. Для рассудите. ;ных читателей, впрочем, прибавлю, что у меня уже была привычка к перемене места, создавшаяся девятилетними поездками по России. Кроме того, и от профессоров, и от наших офицеров, которых посылали за границу «для усовершенствования» (это ввел Канкрин), я слышал многое о Германии,

и особенно о Саксонии, и не раз мечтал о возможности побывать за границей. Читал я и «Письма русского путешественника» Карамзина. Таким образом, и с положительной точки зрения мое стремление за границу находило оправдание.

В жизни каждого бывает момент, когда одно новое слово, одно новое понятие производит крутой перелом и все старое выкидывается за борт; и чем старательнее производится эта очистка, тем становится приятнее и дышится легче. Точно железные кандалы сваливаются с ног и пудовые гири с плеч. Моментом такого перелома была для меня поездка за границу. И как же я жадно вглядывался во все мелочи германской жизни и по большим дорогам из окон вагонов, и на месте, в глухих центрах, в медвежьих лесных углах. Все было мне тут ново и любопытно: как мужики живут в штукатуренных домах с черепичными крышами, и как они работают и ездят парами в дышло, и какие у них лошади крупные, и как они не бьют их дрекольем, и как ребятишки с учебниками под мышками бегают толпами в школы,— всю эту новую для меня живую книгу я читал с увлечением и любопытством дикаря, увидевшего в первый раз людей. Для практических занятий я поселился в Вермсдорфе, в Саксонии, рядом с замком Губертусбург, в котором был заключен мир после Семилетней войны. Саксонские леса, с их чистотой, порядками, изумительными культурами и стройной администрацией, над которыми мы смеялись в институте (собственно, мы смеялись над учителями, которые нам говорили все о Германии, а о России — ни слова), мне уже не казались смешными, и я проникся уважением к немецкому гению порядка и организации.

Раз я прихожу домой и вижу, что дворник проваживает пару лошадей; лошади едва могли отдышаться и были так мокры, что с них текло. «Как, однако, измучились лошади»,— говорю я дворнику. «Еще бы,— отвечает он,— ведь кронпринц (наследник) ехал две мили в час» (четырнадцать верст).— «Как, кронпринц?!» — «Да, завтра охота». Итак, я узнал, что будет для наследника охота и на красную дичь, что для меня было тоже ново, а во-вторых, что немецкий кронпринц ездит гораздо тише последнего русского юнкера. Охоты, впрочем, я не видел, а видел только на полях длинные сто-



Н. В. Шелгунов

Фотография начала 1850-х гг.

лы, за которыми наследник и другие охотники завтракали. На другой день я захожу к местному обер-ферстеру, и он мне говорит с сожалением: «Что вы не были вчера на охоте?» — «Да я был».— «Где же вы были?» — «Стоял там-то и видел, как вы завтракали».— «Ай, ай, ай, зачем вы не подошли,— я бы вас представил кронпринцу». И это было сказано так просто, что я видел, что это бы и сделалось.

Я чувствовал что-то успокоивающее и ласкающее в простоте жизни маленькой Саксонии и в мягком, домашнем характере всех ее отношений. Очень может быть, что мои впечатления были преувеличены и действительные отношения Саксонии были иные, чем они мне казались, но если это и было так вследствие резкости перехода от одного порядка вещей к другому, то все-таки преувеличение, усиливавшее энергию желания, чтобы у нас было не хуже, едва ли можно было поставить мне в вину.

Поездка за границу была для меня первым наглядным уроком общественной гуманности и порядочности простого, будничного обихода. Я в первый раз увидел свободных людей, которые без палки и самовластия живут, однако, гораздо лучше и богаче нас; я увидел в первый раз, что мужики едят хлеб, который у нас называется полубелым, на работу для завтрака берут масло и сыр, спят на постелях под одеялами. И у нас Н. В. Верещагин мечтал создать время, когда каждый мужик будет есть за завтраком голландский или швейцарский сыр, но для таких завтраков и до сих пор еще не наступило время; вероятно, оно зависит не от одного сыроварения; пока же, в ожидании голландского сыра и жареной курицы, наш мужик по-прежнему ест пушной хлеб, живет в избе, изображение которой вы можете найти у Герберштейна, и вместо постели валяется на земле вповалку, без различия пола и возраста, покрываясь всякой рванью.

Тогда в Германии не было ее теперешней солдатчины и прусский поручик не был идеалом гражданских доблестей. Жизнь, особенно в маленьких государствах (и Пруссия тогда была маленькой), была проста и уютна; Бисмарк был неизвестен: он только готовился. Но эта маленькая гемютная [1] Германия тоже пережила кое-

[1] уютная.

что и уже производила у себя землетрясения. Бакунина в Саксонии помнили хорошо, и саксонцы добродушно думали, что он был подослан русскими, чтобы испортить саксонцам жизнь. Раз я спрашивал нашего вермсдорфского гаускнехта[1], участвовал ли он в революции. «Покорно вас благодарю,— отвечает он мне,— уж больше никогда я не стану делать революции».— «А что?» — «Только налогов прибавили, и все стало дороже».

Но не одну живую книгу жизни читал я в Германии: читал я книги и печатные. Особенно я отыскивал сочинения о России, которой я не знал ни истории, ни географии.

Во Франции, в которую я проехал из Швейцарии через Доль и Дижон, наш дилижанс ввезли ночью в какие-то темные ворота, заперли их, потом нас окружили жандармы и потребовали паспорты, затем перерыли наши вещи и вообще наделали нам много хлопот, беспокойств и страхов. Тогда было время апогея власти Наполеона (особенно после Севастополя), и все это было в порядке вещей. Но апогей не мешал, однако, Парижу разжигать там и здесь очаги если не революции, то недовольства императорским правительством, и подобный очажок мне пришлось увидеть в Rue de la Michaudiere, в Hôtel Molière, в котором я остановился. Отель содержала m-me Maxime, вместе с Fovetie, редактором маленького «Revue Philosophique». У них был свой кружок, в котором принимала участие известная проповедница женской эмансипации Женни д'Ерикур и еще более известный Массоль, сенсимонист, товарищ и ученик Анфантена. Впрочем, об этом когда-нибудь в другой раз, если придется.

Не скажу, чтобы я возвращался из-за границы с легким сердцем, хотя меня и очень тянуло домой.

VI

Я вернулся из-за границы еще в большем чаду, чем туда поехал. Но в этом чаду было много силы и самых лучших желаний. То был чад молодости, который зовется любовью. Все мы тогда и горели, и любили, и хо-

---

[1] дворника.

тели работать. И с такой коллективно направленной на благо силой можно было произвести чудеса. Несколько чудес и свершилось. Например, такое дело, как освобождение крестьян, которого прежде не могли сделать в пятьдесят лет, теперь кончили в четыре года (в 1857 году был первый секретный комитет, в котором Корф предложил обратиться к нижнему течению, а 19 февраля 1861 года уже явился манифест об освобождении).

Мне, однако, пришлось недолго профессорствовать; наступило время перемен, и события сменялись быстро. Я еще не вернулся из-за границы, как Киселев был назначен послом в Париж, а на место Киселева и по его указанию — Шереметев, в товарищи которому, и тоже по указанию Киселева, определен Хрущов. Шереметев, человек старый и болезненный, был до этого товарищем министра юстиции; Хрущов же, сравнительно еще молодой, служил одно время управляющим петербургской палатой государственных имуществ, а потом был гофмейстером при дворе великой княгини Елены Павловны и директором департамента духовных дел иностранных исповеданий. Хрущова я помнил несколько по его управлению палатой и даже имел с ним «случай». Управляющим Хрущов держал себя очень недоступно и высокомерно; то был тогдашний общий тон всех маленьких начальников, которым хотелось казаться большими. Вероятно, по молодости, но я не мог выносить высокомерного тона, и у меня сейчас же явилось желание нагрубить. Был я командирован для таксации одной лесной дачи Петербургской губернии и, следовательно, состоял в некоторой зависимости от Хрущова. Когда работы подходили к концу, я получил от Хрущова бумагу с каким-то указанием или требованием. Я ответил тоже бумагой, что я командирован министерством, имею инструкции, знаю, как исполнять их, и указания могу получать только от департамента. Я поступил дерзко и неправильно; Хрущов имел право передать мне к руководству свои мнения и желания как хозяин местных государственных имуществ, и я должен был принять их. Это было в 1845 году. Весною 1846 года я был послан на работы в Костромскую губернию, в дикий Ветлужский уезд, и потом узнал, что Хрущов передал «случай» графу Ламсдорфу, и тот, назначив меня

в Костромскую губернию, сказал: «Пускай прохладится».

Шереметевского управления мы и не подозревали, точно и министерство перестало существовать; но вот весной 1857 года разнесся слух, что назначен министром Муравьев, и мы встрепенулись (Шереметева разбил паралич). Помню смутно, что и я являлся к Муравьеву, что он жил в очень маленькой квартирке близ Владимирской церкви, в доме Есаулова (в этом же доме жил потом Чернышевский), и что у Муравьева то входил в зал, то выходил из него генерал, по-видимому чувствовавший себя не совсем на месте. Генералом этим оказался А. А. Зеленый, впоследствии товарищ Муравьева, а потом и министр государственных имуществ.

Непонятные и пугающие воображение события, вроде внезапного появления комет, всегда сопровождаются легендами и пророчествами. Так случилось и с назначением Муравьева в министры. Рассказывали, что Муравьев, женатый на родственнице Шереметева, сам предложил себя в его наместники и получил министерство только при содействии императрицы. Далее легенда говорила, что Муравьев не пользовался расположением императора Николая, который после 14 декабря имел некоторые поводы сомневаться в верности Муравьева и во все свое царствование держал его от себя далеко и не особенно двигал вверх. Еще одна легенда гласила следующее: приезжает к Муравьеву курьер с известием и поздравлением о производстве его в генерал-лейтенанты (приказ уже был подписан, но еще не напечатан); Муравьев покупает генерал-лейтенантские эполеты (при Николае всегда носили эполеты) и отправляется на Невский проспект. День был солнечный и теплый. Император Николай тоже вышел прогуляться и встретил Муравьева. На другой день явился приказ, что генерал-лейтенант Муравьев переименовывается в тайные советники. Ходили еще слухи о губернаторстве Муравьева в Западном крае. Легенд, одним словом, было не мало. Я хочу сказать всем этим, что назначение Муравьева министром произвело впечатление, а назначение Шереметева никакими легендами не сопровождалось. Очевидно, что Муравьев был из другой глины.

Муравьев вступил в управление с очень короткой, но категорической программой, что все киселевское управление никуда не годится, чиновники дурны и нужно произвести очистку. Все это Муравьев и объявил при приеме служащих. Явился всеобщий переполох и трепет. Паника усилилась, когда стало известным, что Муравьев поедет ревизовать местные управления. Я находился в Лисино совершенно вне всех этих волнений, как получил внезапное предписание приехать в Петербург. Оказалось, что Муравьев с дороги (из Новгорода) потребовал, чтобы к нему был прислан лесной офицер, и департамент назначил меня. Со мною было послано несколько докладов, и между прочим, один о назначении меня начальником IV отделения Лесного департамента, вместо полковника Ф. К. Арнольда, пожелавшего занять открывшуюся вакансию профессора Лесного института. Я приехал в Новгород вечером и сейчас же явился к Муравьеву со всеми бумагами, которые ему тут же и доложил. Это был мой экзамен. Доклад о назначении меня начальником отделения Муравьев отложил до осени, предполагая, конечно, испытать меня.

Сделаю маленькое отступление. Раз император Николай приехал к нам в корпус и приказал сделать фронтовое ученье. Государь стоял перед фронтом, лицом к нам, и выдавался настолько своим ростом и величавым видом, что я одного его только и видел. У меня в памяти громадный зал: мы, кадеты, стоим фронтом в длину его; грозная и величественная фигура императора, Каменский перед государем, командующий нами (крикун Каменский был совсем бледный и трусил), да жалкий, испуганный, с опущенной вниз головой штабс-капитан фон-дер-Ноне. Фон-дер-Ноне стоял впереди фронта в общем строе и при одной команде сделал не так полусаблей. Николай взглянул на него своим известным взглядом, и бедняга фон-дер-Ноне побледнел, задрожал и выронил полусаблю от страха. На таких примерах и мы проникались спасительным страхом, и мне думается, что этому много помогало фронтовое ученье. Бывало, стоишь на солнцепеке, на Царицыном лугу в майский парад, в полной амуниции (а у нас она была черная, лакированная), и держишь на «караул» больше часу и не шевельнешь ни одним пальцем, только замрешь; а музыка, трубы, флейты, барабаны гудят трещат, пищат,

производя одуревающий гам и грохот,— не чувствуешь даже, как сердце бьется. Затем, как эхо, передается команда за командой и начинается церемониальный марш. Памятен мне один подобный церемониальный марш. Ночью шел проливной дождь, и на Царицыном лугу образовались большие лужи; я был унтер-офицером и шел в замке,— значит, на виду. Подходя к месту, где стоял император с огромной блестящей свитой, когда хор наших музыкантов перешел в сторону и это значило, что мы приближаемся к грозному судбищу,— я совсем застыл, перестал понимать и видеть; я чувствовал только, что на меня устремлены сотни глаз, и, вытягивая носки, отбивал ногами по всем лужам, твердо помня только, что я должен смотреть в чей-то затылок, чтобы не потерять прямой линии. Когда во время дежурства в корпусе нужно было встретить начальника и отрапортовать ему, я всегда все перезабывал и путал, так что больных оказывалось больше, чем здоровых, а под арестом больше, чем налицо. А между тем, если приходилось драться с товарищами, я дрался очень мужественно. Вот с этим-то чувством страха перед властью я приехал и к Муравьеву. Муравьев был среднего роста, коренаст, приземист, имел короткую шею и приподнятые, широкие плечи. Лицо было у него несколько обрюзглое, усы щетинистые и из-под невысокого лба с густыми, торчащими седыми бровями смотрели маленькие, серые, проницательные и умные глаза. И в то же время это суровое лицо, совсем не созданное, по-видимому, для выражения жалости, умело улыбаться младенческой, кроткой, добродушной улыбкой! Муравьев, как видно, остался доволен впечатлением, которое произвел на меня, и оставил при себе; но он, конечно, не подозревал, что от этого страха я очень скоро избавлюсь.

Наше ревизионное путешествие по России походило скорее на нашествие, чем на ревизию. При Муравьеве состояла масса чиновников, между прочим, и известный Я. А. Соловьев. Ревизовались три ведомства: государственные имущества, удел и межевая часть; но гроза направлялась, собственно, против государственных имуществ, потому что удел и межевое управление уже состояли в ведении Муравьева. Порядок нашествия был такой. Вперед посылались состоявшие при Муравьеве

чиновники,— это были наши партизаны; они рассыпались по ревизуемой губернии и собирали сведения на местах. Кроме того, Муравьев испросил у государя двух флигель-адъютантов, которые тоже собирали по пути сведения из разных опросов. За этими летучими отрядами следовала грозная сила, не уклонявшаяся в сторону и направлявшаяся к пункту ревизии, то есть к губернскому городу. Главную силу составляли три тарантаса, ехавшие один за другим. В первом тарантасе ехал сам Муравьев, и на козлах у него сидел курьер; во втором тарантасе — правитель канцелярии Муравьева по департаменту уделов, и на козлах — курьер; наконец, в третьем тарантасе — я, и тоже на козлах курьер. В губернском городе нас уже ожидал партизанский отряд и представлял Муравьеву ревизионный материал. Затем партизаны опять посылались вперед, а флигель-адъютанты оставались для ревизионной обстановки. Самый акт ревизии совершался так: за присутственным столом, на председательском месте, сидел Муравьев, по сторонам его, против углов стола и несколько сзади, сидели флигель-адъютанты; за столом — управляющий палатой, советники, асессор и еще кто-то, а против Муравьева на другом конце стола — я. Если присутственная комната была довольно велика, то вокруг у стен стояли чиновники палаты, если же комната была тесна, то чиновники толпой стояли у дверей. Одним словом, ревизия производилась гласно и в назидание всем.

Наш приезд в губернский город производил всеобщий переполох, и действительно провинция еще в первый раз видела подобную ревизию и по массе чиновников, и по внушительной обстановке, и по сосредоточению в руках одного лица тройной власти. Начиная с губернатора к Муравьеву являлись все чины; иногда собиралось их, как мне казалось, человек до ста. И с каждым Муравьев умел и знал, о чем говорить; он умел и озадачить вопросом, если это было нужно, и пошутить, и добродушно улыбнуться; но умел и насупиться или же сделать публично грозный, внушающий прием с приказанием оставить службу; а за грозой опять для кого-нибудь проглядывало солнце, и Муравьев ласково улыбался. Мне случалось видеть и других начальников с генеральскими эполетами; они обыкновенно держали себя очень прямо и придавали себе внушающий вид выпук-

лой грудью, но из этой груди большею частию ничего не выходило. Муравьев держал себя совсем просто, никакой внешней важности не напускал, но говорил всегда умно и содержательно, и, кроме того, каждый чувствовал, что у этого человека не дрогнет рука подписать что хотите. Этого было совершенно достаточно, чтобы одним своим именем возбуждать в робких панический страх. Рассказывали, что два чиновника от нашей ревизии умерли со страха. Это могло случиться. Припоминаю еще случай. Поехал Муравьев в Лесной институт и взял меня с собою (вероятно, в назидание воспитанникам). Обыкновенные генералы всегда начинали с фрунтового ученья. Муравьев велел выстроить воспитанников и затем пошел по рядам, останавливался, спрашивал у воспитанника, в котором он классе, и предлагал вопросы из математики или из других предметов (преимущественно из математики, которую Муравьев знал хорошо), но такие, на которые воспитанники не находили ответов. В сущности, это был экзамен, и после нашего отъезда воспитанники, вероятно, не смеялись над Муравьевым, как это они делали над фрунтовыми начальниками.

Муравьев умел хорошо читать цифры и верно понимал ведомости, которые ему представляли. К ревизии он готовился тщательно, с вечера пересмотрит все ведомости и записки, которые ему представят ревизоры, загнет уголки, где ему нужно, и, несмотря на то что ведомостей и записок наберется целая груда, Муравьев не забудет своих уголков и в них не ошибется. Говорил он хорошо, просто, русским складом, коротко и метко.

Муравьев не был ни администратором, ни реформатором; он был разрушитель и умел ломать превосходно. Вообще эта натура была революционная. Задумав очистить министерство от лиц, он очистил его и от идей. Крестьян он обрезал землею, набавил платежей, поощрял личное землевладение, и в момент, когда государственный вопрос заключался в улучшении быта крестьян, Муравьев ухудшал этот быт. Но Муравьев любопытен как тип, как характер. Таких людей могла создавать только Россия, и только в ней могли настолько портиться богатые умственные и душевные средства. Муравьев был личник и придавал большое значение личной энергии; но он без нужды напрягал чужую энергию

больше, чем это требовалось для дела, и возбуждал ее чувством страха. Когда что-нибудь поручалось нескольким лицам, Муравьев всегда спрашивал: «А с кого я буду взыскивать?» Ему непременно нужно было взыскивать. Людей вообще он ценил не высоко; если ему говорили, что для такого-то дела нет человека, он отвечал: «Было бы болото». Раз, когда я заступался за кого-то, он мне сказал: «Поживите с мое, и вы увидите, что люди ничего не стоят». Но этот же самый Муравьев умел и уважать. Даля, который был тогда управляющим нижегородской удельной конторой, Муравьев принимал не как министр подчиненного, а как какого-нибудь президента академии. С необыкновенным уважением и теплотой он отзывался о Канкрине и своими чувствами к отцу дорожил, как святыней. Отец Муравьева перевел Тэра и сделал к переводу примечания. У Муравьева был экземпляр книги с пометками отца на полях, и сын благоговейно хранил этот экземпляр, как Евангелие. Хотя Муравьев и получил французское воспитание, но был «патриотом», считал себя вполне русским человеком и в то же время был способен переломить весь русский быт, если бы ему это позволили. Муравьев был честолюбив, властолюбив и деспотичен; прощать он не умел и всегда увлекался личными чувствами (не переносил ли Муравьев своих личных чувств к Киселеву на его министерство?). Насколько в таких случаях он был мелочен, приведу факты. Нужно было от Муравьева (по Лесному департаменту) написать о чем-то к председателю Государственного совета, которым был великий князь Константин Николаевич. Я привез к Муравьеву бумагу; он хотел ее уже подписать, но остановился. «Почему это так?» — спрашивает он меня, указывая на «послесловие». Я ответил, что министр подписывается к председателю Государственного совета по форме (кажется) двадцать (были такие формы, в которых указывалось, как должно быть соблюдаемо чинопочитание в подписях). «Покажите». Я подал форму. Муравьев долго ее рассматривал, потом показал пальцем на два нумера ниже, то есть менее почтительно, и сказал: «Велите по этой». Или в Саратове, Муравьев внезапно переменил дни ревизий и ревизию палаты государственных имуществ назначил ранее удельной конторы. Я не успел приготовиться и явился без всего, не сказав об

этом Муравьеву. Когда дошла очередь до лесного отделения, Муравьев обращается ко мне: «Капитан Шелгунов!» Я немного приподнялся и ответил: «У меня не готово». Так это и кончилось; но когда пришлось уезжать из Саратова, Муравьев с правителем канцелярии прислал мне сказать, чтобы я ехал луговой дорогой (сам он поехал горной, почтовой), и отнял от меня курьера, которого я получил, и я опять попал в свиту Муравьева только в Нижнем-Новгороде. Или: в 1858 году Зеленый предложил мне ехать за границу (я отказался от управления отделением, и Муравьев на меня рассердился), и нужно было составить об этом всеподданнейший доклад. Я составил доклад и послал его к Муравьеву. Муравьев подчеркнул какое-то слово синим карандашом, поставил сбоку NB и доклад возвратил. Я послал второй доклад, и с ним случилось опять то же; послал третий — то же. К Муравьеву было послано десять докладов, и только одиннадцатый он повез к государю. А так как Муравьев имел один доклад в неделю, то разрешение затянулось на десять недель.

Муравьев был очень доступен, может быть, потому, что любил быть центром власти, и приемная его была по утрам битком набита. Несмотря на свой деспотизм, Муравьев умел выслушивать, но власти из своих рук выпускать не любил. Один из штатских генералов департамента корабельных лесов, посланный для ревизии бузулукского бора, где были злоупотребления, представил толстейшую тетрадь всяких своих соображений и предположений и думал этим выслужиться. Муравьев велел мне доложить, и я в докладе пункт за пунктом опроверг предположения генерала. Сначала Муравьев слушал терпеливо, но потом уставился на меня сердито через очки, стал торопить. «Ну, ну»,— наконец не вытерпел и говорит: «Чего же вы хотите?!» Я ответил, что генерал, ревизовавший бузулукский бор, ничего не сказал такого, чего бы мы не знали гораздо лучше его из немецких и русских книг о мерах охранения лесов; но ведь тут не в них дело. «А в чем же?» — «Да в том, что М. (лесничий) — вор». Муравьев, ни слова не ответив, взял от меня доклад и утвердил. После ревизионного нашествия я представил Муравьеву записку о результатах ревизии с моими выводами и заключениями. Когда я ему стал докладывать, он опять начал сердиться и придираться

к каждому моему заключению, но я все продолжал. Увидев, что я не понимаю его «намеков», Муравьев сказал, что от меня он требует только фактов, а выводы он сделает сам. Ему даже мои выводы показались посягательством на его власть.

Муравьев, как я сказал, не был реформатором, и сомнительно, чтобы он сочувствовал реформам; хотя своего несочувствия он никогда не высказывал, но оно както сквозило во всей его деятельности. Даже и в том, что он ломал, не было заметно системы. Одно время он был сильно против монахов и духовенства, не соглашался ни на какие их просьбы и при всяком случае их урезывал. Но вот раз поступает просьба московской Сергиевой лавры об отводе ей порядочно большого лесного участка (монастырям полагалось 150 десятин). Я готовил доклад в смысле отказа, но Муравьев, против всякого ожидания, стал мягко меня убеждать (точно это зависело от меня), что нужно войти в положение монастыря и т. д., и велел составить всеподданнейший доклад. Муравьев служил хорошим показателем «поворота», который наметился за много ранее до 19 февраля 1861 года. В 1857 году не было такого доклада, уничтожающего старое, с которым бы Муравьев не согласился, но уже в 1859 году он стал обнаруживать какую-то попятность. Например, я был командирован за границу для изучения европейского лесного законодательства и затем, с согласия Муравьева, составил проект изменений VIII тома и проект нового устава. Когда я представил эту работу Муравьеву, он одобрил ее, но не согласился на перемены сразу, а назначил комитет для рассмотрения «по частям». В 1857 году Муравьев этого бы не сделал.

Раз Муравьев говорит мне: «А какого я вам дал директора: молодого, энергичного!» И действительно, вместо доброго старика Норова, еще из киселевских людей, Муравьев дал полковника и флигель-адъютанта (своего племянника) А. Г. Лашкарева. С этих пор у нас пошла ужасная кутерьма (ее было и прежде немало). В подробности я вдаваться не стану, потому что они вовсе не интересны; уже и о Муравьеве я говорил много, но он представляет интерес как министр и известный во многих отношениях государственный деятель, чего о Лашкареве и его директорстве сказать нельзя. Я решил оставить департамент и поехал к А. А. Зеленому

с просьбой освободить меня от управления отделением. Зеленый спросил меня о причине, и я ему ее объяснил, хотя не вполне, потому что умолчал о Муравьеве. «Хотите ехать за границу?» — ответил на мою просьбу Зеленый неожиданно. Я поблагодарил его, рапортовался больным, перестал ходить в департамент, и вот тут-то и последовали те одиннадцать докладов, о которых я говорил. Муравьев догадывался, что я убежал от него.

Мой «петербургский период» продолжался менее года. Летом 1857 года я поступил к Муравьеву и участвовал в знаменитой ревизии, в октябре того же года был сделан начальником отделения, а в мае 1858 года уже уехал за границу, распростившись с муравьевской реформацией.

VII

Да, это были не реформы, а только перемены; очистка — но людей, а не принципов и порядков. Жизнь была не в этом чиновном и министерском мире, и не он давал цвет и содержание тому, чем люди жили; жизнь была дальше, там, где начиналась уже крестьянская реформа, работали губернские комитеты, волновалась общественная мысль. Но, кроме этого течения, которое фактически выносило на себе крестьянское дело, было еще течение более широкое и глубокое, лежавшее еще ниже, дававшее красоту жизни, тон и направление общественной мысли, цвет своей эпохе. Этим широким, могучим течением была печать.

Еще никогда не бывало в России такой массы листков, газет и журналов, какая явилась в 1856—1858 годах. Издания появлялись как грибы, хотя точнее было бы сказать, как водяные пузыри в дождь, потому что как много их появлялось, так же много и исчезало. Одними объявлениями об изданиях можно было бы оклеить башню московского Ивана Великого. Издания были всевозможных фасонов, размеров и направлений, большие и малые, дешевые и дорогие, серьезные и юмористические, литературные и научные, политические и вовсе не политические. Появлялись даже летучие уличные листки. Вся печать, с официальной, доходила до двухсот пятидесяти изданий.

Главными местами изданий, как и главными очагами русской мысли, были Москва и Петербург. В петербургских изданиях следилось преимущественно за интересами дня, за тем, что делалось в русском мире, за вопросами, которые намечались и разрешались. Петербургская печать была передовым и главным боевым полком. Она стремилась руководить и не одним общественным мнением и ставила иногда вопросы, если и не опережавшие правительственную мысль, то пытавшиеся расчистить ей путь и в действительности его расчищавшие. Москва больше теорезировала и углублялась в основы русского духа. Как только явилась бо́льшая свобода и повеяло духом перемен, Москва принялась издавать славянофильские и полуславянофильские органы, объявила войну истории Запада и Петру Великому (конечно, вместе с Петербургом), и в поддержку «Русской беседы» Кошелева явился «Парус» Ив. Аксакова. Но та же Москва создала и солидный орган на западноевропейской подкладке — «Русский вестник», основанный в 1856 году в умеренно-либеральном направлении и сразу завоевавший популярность интересом и дельностью содержания; но уже в 1857 году возник в «Русском вестнике» раскол по вопросу о централизации, и часть его сотрудников, отделившись, основала «Атеней» (погибший скоро «в борьбе с равнодушием публики»). В Москве же издавался тогда критический орган «Московское обозрение», в котором участвовали только безыменные сотрудники, поставившие себе задачей полную свободу и независимость от авторитетов.

Но умственный центр был не «в сердце» России, а в ее голове,— в Петербурге, где начал издаваться и занял первое место между журналами «Современник». За «Современником» стояли «Отечественные записки» и «Библиотека для чтения». Петербург не уступил Москве, а превзошел ее обилием и разнообразием новых органов. В Петербурге явился «Экономический указатель», проповедовавший свободу торговли, неограниченную конкуренцию и личную поземельную собственность; «Искра», юмористический и сатирический журнал, основанный В. Курочкиным с целой компанией поэтов и юмористов; «Русский дневник» Павла Мельникова, а в 1858 году — «Русское слово» графа Кушелева.

Это было удивительное время,— время, когда всякий

захотел думать, читать и учиться и когда каждый, у кого было что-нибудь за душой, хотел высказать это громко. Спавшая до того времени мысль заколыхалась, дрогнула и начала работать. Порыв ее был сильный и задачи громадные. Не о сегодняшнем дне шла тут речь, обдумывались и решались судьбы будущих поколений, будущие судьбы всей России, становившиеся в зависимость от того или другого разрешения реформ. Эта заманчивая работа потянула к себе всех более даровитых и способных людей и выдвинула массу молодых публицистов, литераторов и ученых, имена которых навсегда связались с историей русского просвещения и с блестящим, но коротким моментом шестидесятых годов, надолго давшим свое направление умственному движению России, как бы оно по временам ни затихало. В 1857 и 1858 годах, о которых пока речь, свершалось только начало этого громадного умственного труда; блестящий же, самый оживленный и зрелый момент журналистики был еще впереди и начался после 1859 года.

С этого года мои личные воспоминания получают другой характер. Я вступаю в сношения с людьми, память о которых связана с лучшими годами моей жизни. И какая же это память, какая благоговейная память, и как она дорога мне! Самая широкая гуманность и великодушные чувства нашли в этих людях лучших своих поборников. Если у меня, старика, у которого уже нет будущего, бывают еще теплые и светлые минуты в жизни, то только в воспоминаниях о них.

VIII

Между моей первой и второй поездками за границу прошло полтора года, а полтора года было тогда очень большое время: люди и идеи росли очень скоро, в год свершалось столько дел и событий, сколько в другие времена не свершится и в десять — двадцать лет. Теперешнему, стоящему на одном месте человеку даже и не понять, что значит полтора года,— год или десять лет стоять на месте, как факир, не все ли равно: тут забудешь даже считать время. И мы его тоже не считали, но по другой причине. Говорят, что немец делает все хорошо потому, что рассчитывает прожить сто лет, рус-

ский же думает, что он умрет завтра, и потому делает все кое-как. Мы тоже, должно быть, боялись умереть завтра и очень спешили, но делали хорошо, по-немецки. Если семидесятые года хотели явиться умственной поправкой шестидесятых годов, а восьмидесятые года — поправкой тогдашних дел, то из этого вовсе не следует, чтобы люди семидесятых годов думали лучше, а люди восьмидесятых годов делали лучше, чем думали и делали люди шестидесятых годов.

В 1856 году, когда я отправился за границу сейчас же после Севастополя, над Россией носился хаос желаний, стремлений, порывов и вещи больше чувствовались, чем понимались. И я в качестве частички, оторвавшейся от этого хаоса, носился по Европе, точно дикая, необузданная сила. Прошло полтора года, и в русском хаосе образовалось светлое ядро, из хаоса понятий возникла ясная, точно определенная центральная идея — освобождение крестьян. Но идея эта, ясная в основе, не только не разрешала подробностей, а, напротив, их вызывала и громоздила одни на другие. Как создастся освобождение, на каких условиях, с землей ли, без земли (даже немецкие ученые приглашались разрешать этот вопрос), с выкупом или без выкупа, на личном или общинном начале, что, по очереди вопросов, последует за освобождением, каковы будут новые общественные устои, на которых утвердится обновление не только России, но и Европы? Да, Европы! Мы думали и об обновлении Запада русскими началами, и об этом мечтали не одни славянофилы, но и западники. Не смейтесь, читатель. У этого русского порыва к обновлению Европы было вполне западническое основание. Европа, несмотря на свои недавние неудачи, еще не утратила ни веры, ни надежды в возможность лучшего. Традиции великих идей конца XVIII столетия не порвались, как это случилось после. Во Франции еще были живы такие упрямцы, как Луи Блан, Феликс Пия, Ледрю Роллен, Бланки, Барбес, а с ними Виктор Гюго и вся эта ученая, адвокатствующая и журнальная Франция, изгнанная Наполеоном III, которая и в изгнании оставалась верна своему прошлому и не теряла надежды найти поддержку и союзников. Центром, где собралась европейская эмиграция — французская, итальянская, польская, русская, немецкая и венгерская с Кошутом во главе — был Лондон. Матери-

ально эмиграции жилось плохо; например, магнат Кошут существовал уроками и публичными лекциями; но люди еще веровали в идею освобождения, и она была для них не только великой идеей, но и единственной религией, хотя никто не знал, откуда придет мессия. Потом эта вера сменилась отчаянием и полным безверием не только в силы отдельных людей, но и целых народов, и те же энтузиасты стали призывать во имя цивилизации и прогресса стихийные разрушительные силы. Один из французских эмигрантов, бежавший в Испанию, серьезно верил и писал, что европейскую цивилизацию нужно смести с лица земли и что это может сделать только Россия (Николай) своими казаками, и когда Европа будет разрушена этими полчищами нового Аттилы, возникнет из наступившего хаоса идея гармонии и порядка и все народы славянской и латино-германской рас сольются в одно всеобщее социалистическое государство.

Так далеко мы не шли и казацкого нашествия на Европу делать не хотели, но мы были не прочь предложить Европе наш общинный порядок и наши общественно-экономические основы, да и сами не находили нужным проходить тот тяжелый путь индивидуалистического экономизма и капитализма, которым прошла Европа. Не мне одному — многим думалось, что в русской жизни, сохранившей черты быта, уже исчезнувшего в Европе, есть что предложить Западу, да и у себя из-под заимствованных наслоений, преимущественно византийских, нашлось бы немало бытовых особенностей, нуждавшихся в очистке. Как все это сделать, я не знал (да, вероятно, и не я один). Но вопрос на первое время заключался не в том, как делать, а в том, что́ именно сделать. Прежде чем началось освобождение крестьян, тоже не знали, как его сделать; знали только, что освобождение сделать нужно. Вопрос, значит, заключался в том, чтобы справедливая идея была признана справедливой и чтобы оказались налицо кое-какие счастливые случайности. Разве при Алексее Михайловиче можно было предвидеть, что родится Петр Великий и на долю России выпадет европейская историческая роль? Разве при императоре Николае можно было предвидеть, что в 1861 году свершится освобождение крестьян и в России явится целый ряд европейских учреждений, начиная

гласным судом и кончая всеобщей воинской повинностью? Кроме последовательности, в истории играет роль и случайность, двигающая человечество иногда вперед, а иногда и назад. Разве Наполеон I не был такой попятной случайностью и разве поколение восьмидесятых годов не могло явиться продолжением поколения годов шестидесятых? В 1858 году я не только верил в возможность самого полного обновления России на гуманных и справедливых началах, но и был убежден в возможности этого. И верилось мне не только потому, что все молодые верили этому в России, но потому, что и в Европе шла сильная обновительная и освободительная работа. Тогдашняя Европа была не такой, какая она теперь. Неудачи последних попыток еще никого не охладили, у каждой страны еще были живы ее великие мученики за свободу. Ничего, что они жили не у себя дома, что Кошут, Маццини, Виктор Гюго с другими эмигрантами жили в Англии. Они оставались по-прежнему высокими и яркими маяками, освещавшими родные низины и путь, которым нужно идти. Идея освобождения проникала все европейские народы. Венгрия еще далеко не успокоилась оттого, что ей пришлось сложить оружие перед русской армией. Италия тоже продолжала свою работу и стояла накануне того, чтобы выставить Гарибальди и Кавура. Франция, несмотря на весь блеск Второй империи, кишела кружками недовольных и готова была скинуть Наполеона при первой возможности. Славянские племена Турции и Австрии если не волновались, то достаточно громко шипели; поляки и не думали расставаться со своими надеждами на независимость. Такова была вся политическая атмосфера Европы, и в общем стремлении к освобождению принимали участие не одни революционные элементы. Ни Виктор-Эммануил, ни Кавур, ни тем более Наполеон III, не были революционерами, а между тем они действовали как заговорщики. В такой атмосфере было много простора для всяких желаний и стремлений: все волновались, все горели, все искали освободительного дела. Как же подобной европейской волне было не охватить и Россию? В качестве молодого народа, начавшего такой радикальной реформой, как освобождение, мы не могли не быть решительнее в своих требованиях и, конечно, были более готовы на всякие, самые крайние перемены. Это была про-

стая логика факта или, как выразился бы историк, неустранимое следствие солидарности народов. Всеобщность освободительного движения связывала все народы, и национальное дело легко переходило в международное и космополитическое, точно наступило время братства народов. И действительно, общие идеи связывали людей чуть ли не сильнее кровных народных уз. Немецкие и французские рабочие понимали друг друга лучше, чем своих однокровных бюргеров и буржуа.

В армии Гарибальди было немало русских, не только мужчин, но и женщин. В одном из сражений был взят в плен адъютант Гарибальди и заключен в крепость. Через два дня он был бы расстрелян. Надо было его спасти. Гарибальди устроил все для его побега; нужно было его предупредить и передать записку. Но как это сделать? Гарибальдийцев к нему не пропускали, и нужно было найти человека, который бы не возбудил подозрений. Взялась за это русская (А. Н. Якоби). Она отправилась к коменданту, всеми святыми умоляла его о последнем свидании, расплакалась, и комендант, не устояв против слез молодой красивой женщины, разрешил свидание. Когда перед Якоби открылись двери тюрьмы, она, не дав опомниться заключенному, кинулась на него с открытыми объятиями начала целовать его и сунула ему за шею записочку. Ни Якоби, ни адъютант не знали раньше друг друга, и сцена последнего прощанья обманула не только тюремщиков, но, вероятно, и самих прощавшихся. Через два дня адъютант убежал. Конечно, Якоби рисковала не ради национального чувства, да я и не говорю о качествах или свойствах идей и порывов, а говорю о свойствах общественного настроения того времени. Припоминаю еще, что из одной финляндской деревни, в которой стояли русские уланы, в одно прекрасное утро исчез русский офицер; после него остался чемодан с военной формой. Загадочное исчезновение офицера заставило много говорить, называли и фамилию его, но никто не знал, куда он делся. Так эта история и замолкла. В апреле 1863 года я был заключен в Алексеевский равелин. Не успел я еще хорошенько основаться в новой для меня обстановке, как сосед с правой стороны начал вызывать на разговор энергическим стучанием. Из неукротимости, с какою сосед барабанил в стену, я понимал, насколько он

желает установить сношение, а потому-то и не отвечал ему. После нескольких дней бесплодных вызываний на разговор сосед стучать перестал. Так прошло месяца три-четыре. Раз меня привезли в суд. В первом зале, в ожидании допроса, стояло уже несколько человек, и между ними, у противоположной мне стены, молодой артиллерийский офицер, а рядом с ним два часовых с ружьями (у меня были такие же ассистенты). Для меня до сих пор остается секретом, каким наитием офицер этот узнал, откуда я; но, порывисто отделившись от стены, он быстрым военным шагом подошел ко мне в упор, и вот наш разговор, который кончился прежде, чем часовые успели прийти в себя.

— В котором номере? — спросил меня офицер.

Я ответил.

— Чернышевский сидит в таком-то номере.

— А кто со мной рядом? — спросил я артиллериста, проникнувшись уважением к его авторитетному всезнанию.

— Бейдеман. Вы за что?

Я ответил.

— А вы?

— За то-то.

И так же порывисто офицер повернулся и стал между своими часовыми.

Как только я вернулся к себе, я самым энергическим и дружеским образом стал стучать соседу. Он оказался незлопамятным и отозвался. Когда прошел первый порыв обмена чувств, сосед, сделав короткую паузу, ударил в стену один раз «тук»; затем, через паузу, два раза — «тук-тук», потом три раза. Я понял, что сосед учит меня азбуке, приостановил его, взял карандаш и бумагу, затем опять вызвал его и записал всю азбуку, которую он мне простучал. Соседом оказался тот самый офицер Бейдеман, который так таинственно исчез из Финляндии. Он убежал к Гарибальди, сражался за освобождение Италии, но был схвачен, арестован и заключен в Алексеевский равелин. В 1863 году Бейдеману было двадцать три года. В 1864 году меня освободили так внезапно, что я не успел проститься с Бейдеманом и не знаю ничего об его дальнейшей судьбе.

Для характеристики времени расскажу о стремительном артиллерийском офицере. Это был подпоручик или

поручик Кувязев, отданный под военный суд за распространение прокламаций. Способ Кувязева был даже наивен по своей простоте. Он запасся, не знаю где и какими, прокламациями и, проезжая по почтовой дороге по подорожной на почтовых, раздавал прокламации ямщикам и оставлял их в станционных домах. Свойство листков, конечно, сейчас же выяснилось, взглянули в книгу для записывания подорожных и Кувязева арестовали на следующей станции.

Все это уже «дела давно минувших дней, преданье старины глубокой», для которой наступила история: волна сошла, ее сменила другая, и деды рассказывают внукам о днях своей юности.

Тот слой, в котором мне пришлось вращаться за границей «по делам службы», совсем не отвечал верхам европейских идей. Немецкие лесничие — люди неоспоримо хорошие, простые, исполнительные и знающие — отличались патриархальною преданностию своим герцогам, великим герцогам и королям и чувствовали себя на своем месте только в лесу; во всяком же безлесном пространстве они застывали, как червяки на морозе. Исключение составлял только Денглер, лесной ревизор великого герцогства Баденского. Этот любил говорить о политике, но преимущественно баденской, и каждый вечер ораторствовал в одном пивном кабачке Карлсруэ, в котором собирались баденские политики. Раз мы очень долго ждали Денглера, и без этого нашего центрального человека у нас ничего не выходило. Наконец, уже часов в одиннадцать, пришел Денглер.

— Где вы это были? — накинулись мы на него.

— За мной присылал великий герцог.

И затем Денглер рассказал, о чем с ним герцог советовался. Для меня, приехавшего из большой страны, где все делалось совсем иначе, была непостижима эта домашняя простота политических отношений маленького государства. Но зато Денглер огорчил меня в другом. Я был с ним довольно близок и ходил к нему свободно то парадным, то домашним ходом, смотря по обстоятельствам. Раз, часов в двенадцать дня, я прошел к Денглеру домашним ходом и увидел в детской такую картину: простой крашеный стол, обтянутый черной клеенкой, вокруг стола сидят дети и едят вареный картофель с солью. Мне стало жаль и Денглера, и его детей,

но потом я узнал, что вареный картофель только с солью в домашней экономии немецкого чиновника не составляет ничего исключительного и никому не кажется ужасным.

Потому что Денглер был политический человек, его, как мне казалось, не особенно огорчали мыши, зайцы и червяки, вредившие лесам, да и ко мне, по той же причине, он относился ровнее. Но другие лесничие, и особенно саксонские, были способны проникаться самым непритворным ужасом ко всякой порче леса и в долгоносиках, короедах, рогачах, мышах и зайцах видели личных врагов, с которыми вели самые ожесточенные и непримиримые войны. Нападение curculio pini на молодые сосновые деревца повергало каждого саксонского лесничего в такое искреннее отчаяние, что, казалось бы, он отдал охотнее на жертву оспе или холере своих собственных детей. Сейчас нанимались деревенские мальчишки и девчонки и снабжались бутылками, в которые должны были собирать жучков. За бутылку, полную долгоносиков, платилось по одному нейгрошу (три к.). И с каким же торжеством считал потом лесничий эти бутылки и победоносно радовался, что на столько-то бутылок убавилось его смертельных врагов. Для меня, видевшего ветлужские леса, которым не только долгоносики, но даже настоящие индийские слоны не могли бы сделать никакого вреда, curculio pini казался несколько комическим, и в этом обстоятельстве заключалась, конечно, та глубокая пропасть, которая отделяла меня от немецких лесничих. Я был для них пришлецом из полуварварской страны, еще не доросшей до утонченной культуры и «рациональных» мер охранения лесов. Тем не менее этот полуварвар был все-таки «свой» (Fachmann), и в баденском оберланде, где я участвовал в одном ферейне[1], меня избрали в почетные члены и выдали диплом. Это была, конечно, только международная любезность.

Тогда в Европе никто не сомневался, что в Петербурге и Москве ходят по улицам медведи и что сейчас же за Эйдкуненом начинается Сибирь. Понятно, что человек из такой страны не мог не возбуждать любопытства и в то же время не мог стоять высоко в мнении

[1] союзе.

культурных европейцев. Припоминаю глупости, которые делал в Париже Поляков. Это был пройдоха мужик, не побоявшийся провести даже Муравьева. Чтобы поднять льноводство в Псковской губернии, Муравьев задумал послать в Бельгию знающего человека, который бы изучил это дело на месте и устроил сношения. Почему выбор пал на Полякова — не знаю; кажется, потому, что Полякову пришла та же мысль и он обратился к Муравьеву за поддержкой. (Щуки поляковской породы выплыли уже тогда, потом их только прибавилось, когда течение им стало помогать.) «Простой русский мужичок» был, конечно, обласкан, получил казенные деньги, но только вместо Бельгии он изучал льноводство в Париже, где я его и видел. В то же время жила в Париже русская генеральша-вдова (тоже поляковской породы). На пенсию, которую получала генеральша, ей в России было жить нельзя, и потому она переселилась в Париж. У генеральши была шестнадцатилетняя дочь, очень красивая, которую маменька, как рассказывали, желала пристроить к Наполеону III или по меньшей мере к какому-нибудь принцу. В ожидании осуществления такой честолюбивой мечты сама маменька пристроилась к Полякову. Сначала генеральша говорила Полякову «ты», потому что как же говорить иначе с мужиком, а потом и мужик стал говорить «ты» генеральше. Поляков носил канаусовую рубашку и штаны, лакированные щегольские высокие сапоги и черную бархатную поддевку, а на голове ямскую шляпу с павлиньими перьями. Поляков очень заботился о гармонии цветов и имел рубашки красные, желтые, синие, белые и таких же цветов штаны, и цвет штанов у него был всегда в гармонии с цветом рубашки. Вероятно, об этом заботилась генеральша. Нарядившись шутом, Поляков шлялся по бульварам или около семи часов ездил верхом по Елисейским полям; в театре обыкновенно сидел в первом ряду кресел, чтобы удобнее позировать и рисоваться в антрактах, и настолько намозолил глаза французам, что его «русский» костюм составлял предмет разговоров, и раз Наполеон III, чтобы лучше рассмотреть Полякова, приподнялся в своей ложе. К этому же времени относится приезд в Париж двух купеческих сынков, детей известного и очень богатого купца. В Париже они хотели развернуться по-московски, то есть вовсю, и показать

французам, как следует кутить. Забравшись в один — «такой» — дом, они перепоили всех шампанским, сами перепились и перебили все зеркала. Париж пришел в ужас: ни один француз никогда ничего подобного не слышал, не видел и не мог себе представить. Страх был такой, как если бы приехали в Париж путешествующие гориллы. Надо было, конечно, спасти от них Париж, и полиция предложила «сынкам» оставить город. Это был пока русский чернозем, но потом Европа увидела у себя и нашего культурного человека, когда то там, то здесь стали появляться на скамьях подсудимых за мошенничество и воровство русские червонные валеты. Некоторые из них, как князь Гокчайский, составили себе легендарную известность.

Раз, в Брюсселе, я захожу в сапожный магазин и в разговоре, зная достоинство нашей кожи (это было тогда, теперь иностранная кожа лучше нашей), спрашиваю хозяина, отчего он не выписывает русскую кожу.

— А вот видите эту полку,— и хозяин показал на верхнюю полку во всю стену,— все это русская кожа.

— Ну так что ж?

— А то, что образчик мне прислали хороший, а когда пришла партия, то вся оказалась гнилою, вот она теперь и лежит.

Или приезжаю я во Франкфурт-на-Майне. Заезжаю в одну гостиницу, все занято для русской императрицы (Александры Федоровны, жены императора Николая); заезжаю в другую гостиницу — тоже. Это было на окраинах; еду в город и останавливаюсь у очень большой гостиницы, меня высаживают, берут мой чемодан, и швейцар спрашивает:

— Вы в свите русской императрицы?

Я покачал отрицательно головой.

— Но ведь вы русский?

(Я не сказал еще ни одного слова.)

— Откуда вы это знаете?

— Да ваш чемодан пахнет дегтем.

Эти и подобные им факты не давали мне особенного повода чувствовать подъем моего национального чувства, а в отношениях немецких чиновников и лесничих, которых я видел довольно, очень часто обнаруживалось не совсем искусно скрытое сознание превосходства их тевтонской расы над моей славянской. Вообще в глазах

немцев я был «русский», а это слово имело для них определенный смысл. Впрочем, их отношение было всегда мягкое и добродушное, и когда заходили разговоры о русских порядках, то мне в разных местах Германии пришлось слышать рассказ о русской большой пчеле, которая пролезала в леток гораздо меньший ее, потому что «er muss»[1]. (В этом «er muss» и заключалась вся соль анекдота.) Не скажу, чтобы анекдот был вовсе лишен политической иронии. И не одни лесничие и чиновники смотрели на Россию так. В Берлине я был у Энгеля, он уже тогда был известный статистик и заведовал статистическим бюро. Выслушав ряд вопросов (вопросы эти были смешанные: лесоводственные, экономические и даже литературные), на которые я желал бы получить из статистического бюро сведения, Энгель с мягкой иронией мне ответил:

— Может быть, у вас в России («у вас в России» он подчеркнул) можно найти эти сведения, но у нас их нет.

Наконец, в Швеции был со мной такой случай. Я приехал в Мальме с рекомендательными письмами к тамошнему лесничему и с ним объехал (на лошадях) южные шведские лесничества. Нам пришлось сделать больше двухсот верст. Когда мы отправились в путь, лесничий мне говорит:

— Не говорите нигде, что вы русский, я буду выдавать вас за немца, иначе я за вас не ручаюсь.

— Это почему?!

— Шведы еще не могут забыть русским Аландских островов.

Вообще я чувствовал себя в Германии в положении жертвы, на которую взвалили ответственность за все русские прегрешения, за нашу историю, политику, просвещение, даже за наши снега и морозы. Точно во всем этом был виноват только я.

Во Франции мне было легче, хотя и там не обошлось без глупостей. В Париже мне нужно было быть у директора департамента французских лесов. Я отправился в министерство, послал директору визитную карточку, и он сейчас же принял меня у себя в кабинете, не заставив ждать ни минуты. (Во Франции и в Германии мне никогда не приходилось ждать приема, и я никогда не

---

[1] была обязана.

мог понять, почему у нас в приемных директоров и министров приходится сидеть целые часы.) Директор принял меня очень любезно, и, кончив, что мне было нужно, я встал, чтобы откланяться. Директор рукою пригласил меня снова сесть. Затем, сказав несколько слов, встал, и тут только я понял, что директор давал мне аудиенцию. Вообще все отношения во Франции были легче и даже знакомее; если в них недоставало немецкого гемюта, зато было больше ума и ясности. Понятия французских лесничих были гораздо шире (зато их лесоводство было настолько же хуже немецкого), и все они были люди политические, так или иначе уже участвовавшие в политических событиях своей родины. В большинстве они были то, что нынче называют оппортюнистами. Других политиков Наполеон, конечно, и не стал бы терпеть у себя на службе. Я знал одного чиновника, который вышел в отставку, «потому что не разделял убеждений императора». Для меня такое объяснение причины отставки было равносильно открытию Америки. Этот же чиновник прислал мне потом в Брюссель пригласительный билет на свадьбу своей дочери. Билет был задним числом; француз очень хорошо знал, что я не поеду из Брюсселя куда-то там на юг Франции, и все-таки прислал приглашение. Вежливость чисто французская. Но ближе всех я был с директором Лесной академии в Нанси, Парадом, с которым я уж был знаком в первую поездку, и с отрекомендованным им мне лесничим в Hagenau (в Эльзасе, по французскому произношению, Агно), Пажон де Гранпре. Парад рекомендовал мне его как одного из лучших лесничих Франции, у которого я изучу лучше всего все административные, судебные и хозяйственные порядки. И это оказалось действительно. Целый месяц возился со мной Пажон де Гранпре, изо дня в день, как нянька, и по судам, и в лесу, и в канцелярии. И с Парадом и с Пажоном у нас бывали всякие разговоры; это были люди уже осевшие, свившие себе гнезда. Моим проектам обновления Франции русскими социальными началами они давали мало веры и настолько же сомневались, что Россия создаст свой особенный путь для русско-славянского прогресса. «Поверьте, что вы не создадите ничего своего и пойдете нашим, общеевропейским путем»,— слышал я не раз от Парада.

Раз мы встретились с Парадом в поезде железной дороги, мы сели вместе, и пошли наши старые разговоры все на ту же тему обновления. У меня тогда не было других мыслей и желаний, кроме желания переделать Россию сверху донизу и превратить ее в рай. Когда разговор на эту тему истощился, Парад говорит мне:

— Я думаю, у вас много орденов,— и провел пальцем по груди.— О, я знаю, русское правительство очень великодушно.

(Потом я узнал, что Парад спрашивал обо мне у другого нашего офицера, командированного тоже за границу, и вообразил, что я занимаю важное, влиятельное место.)

Я промолчал.

Как ни беззастенчив был вопрос Парада, но француз был прав, что его участие в моих занятиях нельзя было оставить так. Я, правда, привез Параду в подарок из России медведя под письменный стол; такой же подарок я сделал и директору Тарантской академии, которого тоже уже знал по предыдущей поездке за границу, но это было выражение моего личного внимания. Теперь же я исполнял правительственное поручение, и Парад оказывал услугу власти, которая меня послала, что Парад и понимал очень хорошо. С моей точки зрения, тут было нехорошо только то, что он сам спросил себе «бакшиш».

Когда я вернулся в Петербург и явился к Муравьеву, я ему объяснил, насколько иностранцы помогли мне в моих занятиях и что нельзя некоторых из тамошних лесничих оставить без награды, тем более что и вперед предполагаются посылки офицеров за границу. Муравьев согласился.

— Что же им дать?

— Французам, конечно, кресты, потому что они падки на отличия.

Муравьев и на это согласился и приказал представить к орденам Парада, Пажона де Гранпре и одного баварского советника, который тоже был мне очень полезен. Я заметил Муравьеву, что дать немцу небольшой орден неудобно.

— Кто же он такой?

— Нечто вроде нашего товарища министра.

— Ну, так напишите ему письмо от моего имени.

Не знаю, удовлетворился ли баварский товарищ министра письмом Муравьева, но посылка французам орденов имела такое последствие. Раз утром раздается звонок. Я отворил, и вошел курьер с красным воротником и с огромной связкой книг под мышкой. Такого курьера я ранее и не видывал. Курьер оказался не то нашего министерства иностранных дел, не то французского посольства. Курьер вручил мне два письма. Одно было от Парада, который благодарил за орден (Анна 3-й степени) и посылал мне все свои сочинения, а другое от Пажона де Гранпре. Его письмо, к сожалению, у меня не сохранилось. Необыкновенно вычурно и тщательно составленное, как какой-нибудь дипломатический адрес, оно заключало такую мысль: «Пажон проникнут благоговейной признательностью за оказанное ему высокое внимание и просит меня повергнуть его глубочайшую признательность и чувство глубочайшей преданности к подножию трона русского императора». Пажон, конечно, думал, что, после того как он получил через меня Станислава 3-й степени, мне уже ничего не стоит исполнить его просьбу и что официальные письма в Россию нельзя писать иначе, как бухарским слогом.

Я уже говорил, какая участь постигла мой проект лесного устава: Муравьев велел рассмотреть его в комиссии «по частям». Работой я своей был очень доволен, потому что это был первый опыт разграничения статей инструкционных от чисто законодательных и критической оценки каждой отдельной статьи. Но, кроме инструкционного характера лесного устава, в нем было много статей, совершенно потерявших всякое значение или таких, которые никогда никакого значения иметь и не могли. Например, одна статья гласила, что дозволяется всем производить свободно и беспрепятственно торг дровами, оптом и в розницу. Это все равно как если бы закон сказал, что дозволяется всякому свободно ходить, ездить, печь хлебы и пить воду. После сортировки статей, сделанной мною на новом основании (основание это было французское), вместо 1744 статей действовавшего устава (1669 ст. VIII т. и 75 в Уложении о наказаниях) получилось в моем проекте меньше трехсот статей. Резолюцией Муравьева моя работа оказалась погребенной в «долгом ящике» Лесного департамента. Чтобы найти

нравственное удовлетворение за свой труд и извлечь его, так сказать, из секрета, я просил Зеленого разрешить мне напечатать объяснительную записку к проекту. Зеленый разрешил, и я, озаглавив ее «Материалы для лесного устава», отвез к Н. В. Калачеву, издававшему тогда «Юридический вестник». Калачев остался очень доволен статьей и напечатал ее в «Юридическом вестнике» 1861 года, затем, и в том же году, еще ряд статей — «Законы о лесах в Западной Европе». Это было точкой, которую я поставил моей служебной деятельности, а в марте 1862 года я оставил и совсем правительственную службу.

IX

В эту вторую поездку я пробыл за границей год, из которого четыре месяца провел с Михайловым: месяц в Париже, месяц в Лондоне и затем опять в Париже.

С Михаилом Ларионовичем Михайловым познакомил меня тоже Пекарский (они были земляки). Пекарский в моей жизни сыграл роль «случая», но я был гостеприимнее того сказочного крестьянина, который не отворял случаю двери, когда тот стучался. Не припомню точно, когда я познакомился с Михайловым, но к концу Крымской войны мы уже были знакомы очень близко.

Рассказав в «Семейной хронике» историю Куролесова, С. Т. Аксаков прибавляет: «Без сомнения, скоропостижная смерть Куролесова повела бы за собою уголовное следствие, если бы в Парашине не было в конторе очень молодого писца, которого звали также Михаилом Максимовичем и который только недавно был привезен в Чурасово. Этот молодой человек, необыкновенно умный и ловкий, уладил все дело...» Затем автор ставит две строки точек и продолжает: «Впоследствии он был поверенным, главным управителем всех имений и пользовался полною доверенностью Прасковьи Ивановны (вдова Куролесова). Под именем Михайлушки он был известен всем и каждому в Симбирской и Оренбургской губерниях. Этот замечательно умный и деловой человек нажил себе большие деньги, долго держался скромного образа жизни, но, отпущенный на волю после кончины Прасковьи Ивановны, потеряв любимую жену, спился

и умер в бедности. Кто-то из его детей, как мне помнится, вышел в чиновники и, наконец, в дворяне».

Замечательно умный и деловой человек, известный всем и каждому в двух губерниях, был дед Михаила Ларионовича Михайлова; но он умер не потому, что спился на воле, а вот почему. После смерти Прасковьи Ивановны Михайлушка был отпущен на волю, но вольная была сделана не по форме. Этим воспользовались наследники и всех уволенных Прасковьей Ивановной, в том числе и Михайлушку, опять закрепостили. Дед Михаила Михайлова протестовал, за что его заключили в острог, судили и высекли, как бунтовщика. Вот отчего он умер; очень может быть, что он и запил, но уже, конечно, не оттого, как объясняет Аксаков (крестьяне были Аксаковых), что Михайлушка «держался скромного образа жизни», пока был крепостным, и разбаловался на свободе. «Вышел в чиновники, а потом и в дворяне» отец М. Л. Михайлова, бывший потом управляющим Илецкой соляной защитой.

М. Л. Михайлов получил хорошее домашнее воспитание. У него было три гувернера: ссыльный поляк (тогда Илецкая защита была ссыльным местом), немец и француз Шевалье, живший у Михайловых с женою и сыном. По обычаю тогдашнего времени, каждый должен был служить, и отец пристроил Михаила Ларионовича на службу в нижегородское соляное правление. Но молодой Михайлов (ему было тогда шестнадцать лет) думал другую думу, да и русская судьба, должно быть, хотела создать ему другую будущность, хотя и по тому же горному ведомству (Михайлов умер в Кадаинском руднике, в пятидесяти верстах от Нерчинского завода, в августе 1865 года, тридцати шести лет).

Литературная жилка сказалась в М. Л. Михайлове рано, и, как большинство писателей, он начал стихами, которые стал писать чуть ли не ребенком. Первое его печатное стихотворение явилось в 1847 году в «Литературной газете» Зотова, который Михайлова очень обласкал, и к В. Р. Зотову Михайлов чувствовал всегда самое теплое, признательное чувство. Второю вещью была повесть в прозе: «Адам Адамыч». Эта повесть была напечатана в пятидесятых годах в «Москвитянине» Погодина, в том «Москвитянине», о котором Герцен сострил, что в Москве издается только один журнал, да и тот

«Москвитянин». Михайлов писал много, даже большие романы, но лучше «Адама Адамыча», в котором он дал художественный портрет своего добродушного гувернера-немца, он не написал ничего. В этой повести как бы вылилось все, что накопилось в душе Михайлова за время его счастливого и спокойного детства, когда он был окружен лаской и любовью; собственно, это не художественный образ немца-гувернера, привязанного всеми силами души к своему маленькому воспитаннику, а выражение той свежести, искренности, гуманности и любви, которыми был полон сам Михайлов. Вместе с тем «Адам Адамыч» был тем роковым первым опытом, который навсегда решил судьбу Михайлова. Известно, что человек, написавший хоть пол-листа с несомненным успехом, становится писателем. То же случилось и с Михайловым. Одобрения и похвалы только подняли то, что уже таилось на дне его души и ждало лишь толчка. Михайлов оставил нижегородское соляное правление и на гонорар, полученный из «Москвитянина», приехал в Петербург,— в тот заманчивый, магнитный Петербург, который всегда тянул к себе всех даровитых людей увлекательными мечтами о широкой деятельности, известности и славе.

В Петербурге Михаил Ларионович поступил вольным слушателем в университет и на первой лекции встретил студента, обратившего на себя его внимание. Студент был в поношенном форменном сюртуке.

— Вы, верно, на второй год остались? — спросил Михайлов студента.

— Нет; а это вы насчет сюртука? — ответил студент.

— Да.

— Так я старенький купил.

Студент этот был Н. Г. Чернышевский (пишу со слов Михайлова).

Когда я познакомился с Михайловым, он хотя и не был начинающим литератором, но его литературная физиономия не выяснилась еще вполне. Сам Михайлов считал себя беллетристом и, кажется, мало ценил себя как переводчика и знатока иностранной литературы. А другого подобного знатока тогда не было. Михайлов был ходячей библиографией иностранной литературы, и не было в английской, немецкой и французской литературах такого беллетриста или поэта, которых бы он не

знал. Как переводчик Михайлов, можно сказать, оставил вечное наследие, и любимым его поэтом был Гейне,— конечно, потому, что у Михайлова был тот же душевный склад, те же переходы от серьезного настроения к внезапной иронии или шутке и тот же острый, тонкий ум, умевший схватывать оттенки мыслей и чувств. Михайлов облюбливал или вещи с гражданскими мотивами, или такие, где глубокая мысль разрешалась внезапной злой иронией. Для примера приведу «Вопросы». У полночного пустынного моря стоит грустный юноша и просит волны разрешить ему загадку жизни, над которой с сотворения мира думало много голов и ничего не разрешило: что есть человек? Откуда пришел он? Куда он пойдет? и кто там, над нами, на звездах живет?

Волны журчат своим вечным журчаньем;
Веет ветер; бегут облака;
Блещут звезды, безучастно-холодные...
И дурак ожидает ответа!

Можно сказать, что без Михайлова Россия не знала бы многих произведений европейских поэтов. Михайлов же перевел и «Песнь о рубашке» Томаса Гуда. Некрасов, знавший людей и умевший находить тех, которые ему были нужны, пригласил Михайлова вести в «Современнике» отдел иностранной литературы.

Михайлов был небольшого роста, тонкий и стройный. Он держался несколько прямо, как все люди небольшого роста. В его изящной фигуре было что-то такое, что сообщало всем его манерам и движениям стройность, грацию и какую-то опрятность. Это природное изящество сообщалось Михайловым всему, что он носил. Галстух, самый обыкновенный на других, на Михайлове смотрел совсем иначе, и это зависело от того, что Михайлов своими тонкими, «умными» пальцами умел завязать его с женской аккуратностью и изяществом. Самый обыкновенный сюртук, сшитый самым обыкновенным портным, принимал на Михайлове стройный, опрятный вид, точно с иголочки (в лучшие времена Михайлов шил платье у портных-французов). Это происходило просто от чистоплотности и физической порядочности. Михайлов не был красив: маленькие, узкие, вкось, как у киргиза, разрезанные глаза и бледно-смуглый цвет лица имели что-то восточно-степное, оренбургское; а приподнятые и загнутые

дугой брови придавали его лицу своеобразную оригинальность. Но именно эта-то оригинальность лица и гармонировала со всей его фигурой; казалось, что фигура его была бы совсем другою, если бы у него было другое лицо. Ему нужно было делать усилие бровями, чтобы открыть глаза; от этого и вся фигура его получала какой-то приподнятый вид, точно усилие бровей приподнять веки приподнимало и всего его самого. И это-то некрасивое лицо светилось внутренней красотой, лучилось успокаивающей кротостью и мягкостью, чем-то таким симпатичным и женственно привлекающим, что Михайлова нельзя было не любить. И его все любили. В незлобивой натуре Михайлова было слишком много нервности чисто женской, его было легко огорчить и вызвать на глазах слезы. Но огорчения его обыкновенно быстро сменялись веселым настроением, и вообще Михайлов, как все люди живого темперамента, отличался порядочной долей легкомыслия. Я говорю это не в смысле порицания, потому что легкомыслие не есть недостаток; оно — красивая принадлежность известных натур, делающая их более привлекательными. Часто легкомысленные бывают пустыми и глупыми людьми, но не было также ни одного гениального и даровитого человека, который бы не был легкомыслен. Только скучные не легкомысленны. Легкомыслие состоит из чувства веры и надежды, двух лучших человеческих чувств, этих наших ангелов-хранителей, помогающих так легко переносить тяжелые случайности и удары жизни. Песталоцци говорит, что только легкомыслие спасало его в несчастии. Вот этим-то легкомыслием, составляющим основу мужества, создающим быстрые переходы настроений и сообщающим душе светлый, праздничный характер, был богат Михайлов. С посторонними Михайлов держал себя с приветливостью, не допускавшей особенной близости, и с авторитетом, что происходило частью от сильно развитого в нем чувства литературного достоинства, а частью оттого, что в нем, как во всех художественных натурах, было сильно чувство формы. Свое литературное достоинство Михайлов нес высоко и тщательно оберегал. Михайлов развился на тех старых литературных преданиях, когда талант считался даром неба, а писатель — носителем искры божией. Это чувство известной исключительности не только поднимало человека в его



А. И. Герцен

Фотография 1869 г.

собственных глазах, но и возлагало на него моральное обязательство охранять свое достоинство, создавало чувство литературной чести, литературного благородства, литературной независимости. Писатель с настоящим, живым, деятельным чувством свободы не продавал своей независимости за чечевичную похлебку. Таким именно писателем и был Михайлов, а его внешний, несколько вызывающий и импонирующий вид служил только показателем той внутренней цены, которую он себе придавал.

Тогда, правда, и время было такое, что на пиру русской природы первое место принадлежало литератору. Никогда, ни раньше, ни после, писатель не занимал у нас в России такого почетного места. Когда на литературных чтениях (они начались тогда впервые) являлся на эстраде писатель, пользующийся симпатиями публики, стон стоял от криков восторга, аплодисментов и стучанья стульями и каблуками. Это был не энтузиазм, а какое-то беснованье, но совершенно верно выражавшее то воодушевление, которое вызывал писатель в публике. И действительно, между тем временем, когда можно было рассказывать (и все верили), что Пушкина высекли за какое-то стихотворение, и шестидесятыми годами легла уже целая пропасть; теперь писатель встал сразу на какую-то исключительную высоту. В умственную пору, когда, по общему мнению, Пушкина можно было высечь, писатель не имел корней в обществе и по своим интересам был для общества недосягаем. Поэт и беллетрист услаждали тогда лишь праздный досуг, доставляли занимательное чтение, а вкусы и требования были еще настолько неразвиты, что в известной части «образованной» публики трагедии Баркова были понятнее и выше «Полтавы» Пушкина. В шестидесятых годах точно чудом каким-то создался внезапно совсем новый, небывалый читатель с общественными чувствами, общественными мыслями и интересами, желавший думать об общественных делах, желавший научиться тому, что он хотел знать. Когда можно было верить, что высекли Пушкина, у нас была только литература (Сенковский уверял, что у нас была тогда не литература, а только книжная торговля); теперь же явилась печать, то есть литература общественно-воспитательная, литература поучающая и учащая, а писатель, как творец этой литературы, стал общественным учителем, воспитателем

и пророком, открывавшим горизонты будущего, указывавшим идеалы и цели стремлениям. Отношения между читателем и писателем установились теперь вполне практические, осязательные, так сказать, земные, утилитарные; писатель перестал только развлекать праздный досуг,— он стал наставником и учителем общественного строительства. В этом высоком положении заключалось для писателя и его нравственное обязательство быть достойным высоты, на которую его поставили общественные обязанности. Оценка писателям была строгая, и проба людям делалась быстро. Помню такой случай. Раз к нам (я жил с Михайловым) обещал приехать вечером Писемский. Михайлов сказал, что за ужином Писемскому должна быть поставлена отдельная бутылка хересу, что и было исполнено. За ужином зашли разговоры о текущих делах. Государственный банк уже понизил тогда проценты по вкладам, явился курс, явились процентные бумаги. Когда заговорили о реформах, Писемский начал раздражаться и, достав из бокового кармана бумажник (довольно толстый, замечу), щелкнул по нем пальцами и сказал: «Вот тут тысяча рублей, а почем я знаю, что она будет завтра,— может, из тысячи останется шестьсот». И меня сразу отрубило от Писемского, и не потому, что он любил деньги, а потому, что я почувствовал, что он не «наш», что в нем сидит враждебное чувство к переменам, которых он не понимает, что он не стоит на высоте понятий, для него, как писателя, обязательных, что он не вождь.

Когда весь успех реформ зависел от общественного развития, нельзя было не ставить высоко тех, кто творил это развитие. Даже специальные издания того времени расширили свои программы и сделали это не из «моды», а потому, что нельзя было иначе. После Парижского мира, когда прогрессивные стремления охватили официальную Россию и проникли в правительственные и высшие сферы, правительственные органы взяли на себя тоже воспитательную роль и стали печатать не только беллетристику и этнографию, но даже ввели отделы критики и политики. К таким официальным изданиям, перешагнувшим через свою специальность, принадлежали «Военный сборник» и «Морской сборник». «Военный сборник» пригласил в сотрудники Чернышевского, а «Морской сборник» уж и совсем выскочил из

своей программы. Морское министерство (по мысли великого князя Константина Николаевича), пригласив нескольких литераторов, предложило им ехать в разные местности России для их изучения, с тем чтобы результаты этого изучения, то есть статьи, печатать в «Морском сборнике». Были приглашены Мих. Михайлов, С. В. Максимов, Писемский, А. Н. Майков и еще кто-то. Михайлов уехал на Урал, С. В. Максимов — на север, остальные не помню куда, да это и не важно, потому что только Михайлов и Максимов исполнили свои обязательства.

Я писем вообще не хранил, потому что по обстоятельствам моей жизни это было неудобно, но у меня как-то сбереглось одно письмо Михайлова из этой его поездки. Я приведу его целиком, без всякой фальшивой скромности. Чувства, которые питал ко мне Михайлов,— его личные чувства, и ни для кого они не обязательны; мне просто приятно не скрывать их от читателя. Письмо это лучше объяснит, какого рода услуг ожидал «Морской сборник» от писателей. К сожалению, его ожидания не оправдались и приглашение литераторов для этнографических описаний кончилось после первого опыта.

«Уральск, 25 февраля 1857 года.

Милый друг Николай Васильевич!

В настоящую минуту у меня три желания: во-первых, обнять тебя поскорее; во-вторых, быть таким же хорошим человеком, как ты, чтобы тебе не совестно было обнимать меня; в-третьих, быть богатым, чтобы не брать вперед никаких поручений от морского министерства, и если странствовать, то странствовать по своей воле, а лучше всего оставаться с теми, кого любишь. Но, взявшись за гуж, будь дюж. Надо хоть в исполнении этой пословицы быть похожим на тебя. Я, по мере сил, стараюсь об этом. Есть и некоторый успех. В статьях моих об оренбургском крае будет, надеюсь, кое-что новое. Надо тебе заметить, что я, между прочим, выучился, сколько успел, по-татарски, что и дало мне возможность заняться совсем не тронутым предметом — башкирскими преданиями, которыми полна Оренбургская губерния. Нет такой реки, нет такой горы, про которую не существовало бы легенды или песни. И таковых собрал я из-

рядное количество. Кроме текстов, записал даже несколько мелодий с помощью брата. Ты их сыграешь на рожке? а? Курая, который я привезу с собой, ты, конечно, не сумеешь и в рот взять: я, сколько ни маялся, и один, и с учителем, не мог извлечь ни единого звука. Должно быть, зуб со свистом. Кроме очерков Башкирии, значительную часть моих заметок об оренбургском крае составит описание уральских казаков. Везде стараюсь, по мере возможности, говорить откровенно, без прикрас о положении края. Гадостей несть числа. Образчик моих рассказов увидишь ты в апреле в «Морском сборнике». Это описание багренья. Боюсь, что половина его застрянет в цензуре. По поводу багренья ты, вероятно, думаешь, что я объедаюсь здесь икрой. Оставь эту сладкую мысль! Урал так беднеет с каждым годом рыбой, что нынче икра стала вначале один р. серебром за фунт, а потом немногим дешевле. Почем должна она быть в Петербурге? А при Палласе пуд стоил два с полтиной ассигнациями. Кстати, кланяюсь тебе за Палласа до земли. Скоро еду в Гурьев, а оттуда катну на пароходе на Мангышлак. Не мешает ведь побывать? Твои статьи читал и остался ими очень доволен, только мне попались всего три. Разве только? Как мне совестно перед «Лесной газетой», если бы ты знал! Теперь покраснел даже. Если б деньги... Да нет их. Время позднее, пора спать, а потому целую тебя и крепко обнимаю, хороший и добрый человек. Не забывай искренно любящего тебя *Михайлова*».

Кое-что в этом письме нужно объяснить. Михайлов, как я уже сказал, был настоящий литератор. Это значит, что он жил исключительно литературным трудом, но хотя он зарабатывал, и довольно, в особенности в «Современнике» Некрасова, а денег у него все-таки никогда не было. Припоминаю по поводу безденежья Михайлова вот что. В нашем обществе сложилось убеждение, неоспоримое и непреложное, как аксиома, что люди сороковых годов были идеалисты, а люди шестидесятых — реалисты. Эту аксиому знает всякий гимназист. Теперь, когда обществу опять стали говорить об «утраченных идеалах», аксиома становится еще непреложнее. Разве то, что мы видим вокруг, проистекает не из проповеди реализма шестидесятых годов? Ну, конечно.

И вот басню об идеалистах сороковых годов и реалистах шестидесятых заучивает каждый «дурак, ожидающий от моря ответов» на свои глупые вопросы; старая истина становится новой истиной, и общество еще тверже заучивает, что люди сороковых годов были идеалисты, а шестидесятых — реалисты, народившие всю ту нечисть, от которой теперь всякий человек, сохранивший «душу живу», ищет спасения. Но странное дело, отчего все «идеалисты» сороковых годов так твердо знали землю и ее блага, умели вести им верный счет и знали хорошо вкус чечевичной похлебки? Я уже говорил о Писемском (тоже идеалист сороковых годов); а разве Тургенев знал хуже счет? Про Достоевского уже не говорю. Не могу, да и не хочу позволить себе говорить о последних могиканах сороковых годов, доживающих теперь свои последние годы. Дело в том, что во всякой художественной натуре есть двойственность, составляющая ее психический закон, особенно резко обнаруживающийся в чистых художниках. Художник, а еще более поэт, переживая какое-нибудь явление жизни в образах, находит в этом свое полное удовлетворение. Явление пережито в идее и затем на земле, по которой ходит художник, для него уже ничего не остается, кроме его самого. Небо он отводит для других, и на упрек, что все это «слова», художник отвечает, что «слово есть то же дело». Реалисты шестидесятых годов слили теснее слово с делом; для них, пожалуй, слова уж и не было; оно было сказано до них, и на земле для них осталось только дело. Они были не отвлеченные художники, а идеалисты земли, и, уж конечно, в России еще не бывало бо́льших идеалистов, совсем забывших о себе, о своей личной пользе и личном интересе, как так называемые «реалисты» шестидесятых годов. Припомните судьбу каждого из них. Эти люди точно стыдились материальных благ и кончали свою жизнь не на шелке и бархате. Если от подобных бессеребреников-отцов народились не такие же дети, не знаю, кого тут винить; думаю, однако, что не виноваты ни отцы, ни дети. Это все я сказал так, к слову, эпизодически; а теперь опять перейду к Михайлову.

Мы в шутку звали Михайлова «безденежным литератором», и это его всегда задевало. Необходимость заработка заставила его принять и предложение морского

министерства и обещать статьи для «Газеты лесоводства и охоты». Но зависимость его очень тяготила. И вот не раз, сидя после обеда перед камельком, мы мечтали о своей газете и о редакторстве. Я думаю, каждый начинающий литератор мечтает о редакторстве, как прапорщик о генеральстве. Но, должно быть, справедлива не та поговорка, которая сулит казаку атаманство, а та, которая говорит: «Терпи, казак,— атаманом не будешь». Мы тогда в атаманство еще верили, да оно бы и могло явиться, если бы Михайлова и моя жизнь сложились иначе. Я, впрочем, наконец достиг того, о чем мечтал двадцатью годами ранее, но как та белка, которой достался золотой орех, когда у нее не было зубов.

Одно время возможность редакторства улыбнулась Михайлову довольно близко, и вот что он писал мне в июле 1859 года: «Прежде всего хочу сообщить тебе, дорогой друг Николай Васильевич, радостную для меня весть. Помнишь ли наши толки об издании журнала «Век»? Эти толки теперь осуществляются. Если только позволят, что будет известно па днях, с будущего же 1860 года будет выходить в Петербурге большая политическая и литературная газета, еженедельно два раза. Я соединился с Гербелем, чтобы издавать ее. С его стороны деньги, с моей — труд, а барыши, разумеется, пополам. Барыши, конечно, не последнее дело для нашего брата Исаакия; но главное, мне кажется, газета может быть хороша, а стало быть, и полезна. По цене (7 р.) она будет срединой между «Спб. ведомостями» и «Сыном отечества», стало быть,— доступна для большого круга читателей. В ней не будет того безразличия мнений, каким отличаются «Ведомости», и, уж разумеется, не будет такой пошлости, как в «Сыне». Одним словом, это должна быть серьезная газета с благородным и определенным направлением. Гербель в этом, как и в материальном, отношении товарищ драгоценный. Он не будет стеснять направление газеты, потому что подчинится ему и сам. Я надеюсь на тебя как на каменную стену (сравнение вышло глупо, ну да извини, уже написалось), что ты тоже станешь помогать нам и словом и делом. Я даже придумал для тебя специальность в газете; но обо всем этом надо говорить слишком много, а потому лучше оставить до свидания...»

Сколько мне помнится, Гербель право издания получил, но почему газета не началась — не припомню. Должно быть, однако, в книге судеб было предопределено иметь России в 1860 году «Век», потому что в этом году «Век» все-таки явился, если и не Гербеля, то П. И. Вейнберга.

Я, однако, забежал немного вперед. В Париже, как и раньше, я остановился в «Мишодьерке», как мы называли Hôtel Molière. Михайлов был уже там и не только познакомился, но и сблизился с m-me Maxime и со всею ее компаниею. Компания эта была по преимуществу женская, и в беседах ее преобладал «женский вопрос». Политические убеждения компании были республиканские. Наполеона ненавидели. M-me Maxime делала иногда для своих друзей вечера, и тогда очищался средний, самый большой номер бельэтажа гостиницы, где и принимались гости. Разговор, по крайней мере за мое время, вертелся на Наполеоне III и на Прудоне. Наполеону доставалось за его императорство, а Прудону — за его нападки на женщин. Вечера эти всегда были очень оживленные и шумливые, а иногда даже пелись и песни политического содержания (стихи, особенно политические, французы сейчас же перекладывают на музыку). Когда предлагалось компании пропеть что-нибудь, ставни на улицу запирались. Самой горячей и неукротимой во всей компании была сама m-me Maxime, полная, некрасивая и неопрятная женщина, шея которой, как говорил Михайлов, была всегда черна, как сапог. Во всяком случае, Михайлов был наполовину прав. За нею следовала Женни д'Эрикур, тонкая, нервная молодая женщина, непримиримый враг Прудона, и еще, тоже нервная, тонкая и молодая женщина, и тоже непримиримый враг Прудона, и тоже Женни, но фамилию ее я забыл, хотя она была умнее и талантливее m-me д'Эрикур. Эти горячие люди, мечтавшие о свободе и равенстве, всегда были наэлектризованы и всегда ждали какой-то перемены. Раз m-me Maxime, несколько опоздавшая, приходит в волнении, точно за ней гналась по пятам революция, и таинственным шепотом говорит:

— S'echauffe, s'echauffe![1]

Но никакого «s'echauffe» не оказалось, и в Париже

[1] Возмущение растет, возмущение растет!

все было спокойно. Это «s'echauffe» выражало только настроение и желания самой m-me Maxime. Не знаю, дожила ли она до теперешней республики.

В 1858 году (когда мы были в Париже) вышла книга Прудона «De la Justice dans la Révolution et dans l'Eglise[1]. В этой книге Прудон, между прочим, определяет роль женщины в новом обществе, что она вносит в его развитие, и затем, на основании ее заслуг, устанавливает ее права. Брачный союз Прудон признает социальной единицей, но равенства полов не допускает и говорит, что в семье, как и в обществе, мужчина относится к женщине как три к двум. Понятно, что подобная книга должна была произвести в Hôtel Moliere целую бурю. Если бы Наполеон III сделал три государственных переворота в одну неделю, Hôtel Moliere волновался бы менее, чем от этого неожиданного оскорбления. Но, кроме Hôtel Moliere, на Прудона обрушилось и императорское правительство, начав против него судебное преследование. Прудон был приговорен к трехлетнему тюремному заключению и к четырем тысячам франков штрафу. Не раз уже сидевший в тюрьме, Прудон на этот раз предпочел свободу заключению и бежал в Бельгию. Но Бельгия спасла его только от тюрьмы, но не от полемики, с которой на него теперь обрушились друзья женщин, и в особенности Hôtel Moliere. Прудона забросали письмами, брошюрами и даже целыми книгами, и всех неукротимее и плодовитее были Женни Л. и Женни д'Эрикур. Прудон складывал тщательно в хронологическом порядке и под особым заголовком всю эту полемику как материал для будущей работы и наконец написал «Pornocratie» (посмертное неоконченное сочинение). Книга эта есть ответ Hôtel'ю Moliere и начинается так:

«M-mes J*** L*** et Jenny d'H***
Mesdames» и т. д.

Не скажу, чтобы эта книга прибавила новые лавры к прежней славе Прудона.

Для русских романистов того времени, а следовательно и для Михайлова, женский вопрос не был новостью: вместе с жоржсандизмом он был наследием со-

---

[1] О справедливости в революции и в церкви.

роковых годов. Но разговоры и рассуждения в Hôtel Moliere и «De la Justice» Прудона были все-таки ближайшей причиной, заставившей Михайлова разработать женский вопрос в серьезной статье. Статью эту (о женщинах) Михайлов писал в Трувиле, и она давалась ему не совсем легко. Трудности заключались, конечно, не в общей идее статьи, а в мелочах, преимущественно практического характера, в которых было легко переступить границу возможного и дать противникам повод к нежелательным выводам. В статье была частичка и моего меду, потому что в вопросах преимущественно экономических Михайлов обыкновенно советовался со мной.

Статья Михайлова была напечатана в «Современнике» и произвела в русских умах землетрясение. Тогда, при повышенной умственной восприимчивости, землетрясения вызывались легко. Все вопросы носились в воздухе, ожидая своих толкователей. И женский вопрос носился в воздухе. Михайлов его только пришпилил и дал ему форму и логическую цельность. Вопрос из воздушного тумана спустился на землю, из отвлеченного и теоретического стал практическим и осязательным, так что каждый мог взять его в руки, каждый мог уже думать о нем ясно и говорить ясно. А так как думающих было много и все заговорили сразу, то и получился общественный энтузиазм, а Михайлов провозглашен творцом женского вопроса. Впрочем, Чернышевский и статье Михайлова, и женскому вопросу вообще не придавал особого значения. Чернышевский находил, что женский вопрос хорош тогда, когда нет других вопросов. Михайлов же чувствовал теперь себя как бы законным вождем женского движения и обязательным защитником женщин. Когда г-жа Толмачева на литературном вечере в Тамбове читала «Египетские ночи» Пушкина и затем Камень Виногоров (Петр Вейнберг) осмеял ее в «Веке» и нашел выбор для чтения неприличным, то этот «безобразный поступок» «Века» вызвал такое всеобщее негодование, что оказалось невозможным оставить его без протеста. Михайлов выступил с резкой статьей, порицающей и негодующей; за этой статьей явилась еще масса статей (между прочим, и я согрешил фельетонной статейкой; редакции газет брали их охотно), и не столько пристыженный, сколько заклеванный Вейнберг принес, сколько мне помнится, публичное покаяние. Не

так давно (года три-четыре назад) одна петербургская газета, припоминая этот забытый случай, сказала, что Михайлов спустил на П. И. Вейнберга «свору собак». Это было сказано «немножко сильно», и весь случай был такого рода, что не было особенной причины негодовать задним числом и звать людей собаками. Года два назад П. И. Вейнберг припомнил как-то в разговоре со мной эту совсем старую историю, говорил о ней с своим обычным незлобивым и безобидным юмором, и это было умно.

Из Трувиля Михайлов поехал в Париж, а я по моим казенным делам — в Эльзас, а потом в Бельгию, где в Брюсселе получил от Михайлова письмо с такою припиской: «Мне кажется, вовсе не zweckmässig[1] приглашать с собой в Лондон Гербеля. Ведь ты думаешь быть у Герцена; он, пожалуй, тоже вздумает. Не знаю, как ты; что касается до меня, я вовсе не желал бы представлять его туда. Притом, как бы после не вышло в России каких сплетен». Посещение Герцена считалось тогда не совсем осторожным, и некоторым лицам, по крайней мере близким ко двору, их визиты Герцену не прошли так. Но мое положение было другое, сплетен я не боялся и потому из своей поездки в Лондон никакого секрета не делал, но совета Михайлова относительно третьего лица послушался.

В январе 1859 года я вернулся в Париж, а в конце февраля, визировав паспорт в Англию, отправился в Лондон. Михайлов уехал дня за три ранее, чтобы приискать. между прочим, квартиру. В этом ему помог Герцен, отрекомендовав нас в одном boarding-house'е[2]. Помню, что этот boarding-house помещался в тихой местности (хотя и в центре города), недалеко от какого-то сквера, недалеко от Британского музея, недалеко от гауптвахты, с двумя неподвижными, стоявшими в нишах, конными часовыми в красных мундирах; помню еще, что каждое воскресенье за утренним чаем хозяйка говорила нам, что «греческая церковь недалеко», а мы в следующее воскресенье давали ей снова повод повторять то же, и так до самого отъезда. Так греческого богослужения мы в Лондоне и не увидели.

---

[1] целесообразно.
[2] пансионе.

X

Я не стану описывать наружности Герцена, не буду говорить и об его сочинениях (в следующем поколении они, вероятно, войдут в русские библиотеки), но я попытаюсь сделать легкую характеристику его, потому что политическая физиономия Герцена нашей публике, как кажется, совсем не ясна.

Есть так называемые умные люди, которые говорят хорошо и логично, но еще красивее и лучше они спорят, умеют тонко подмечать сходства и различия и находить противоположения; но обыкновенно в вещах они видят только одну сторону. Герцен принадлежал не к этому сорту относительно умных людей. Он видел в каждой вещи все ее стороны и сразу находил отношение этой вещи ко всем другим вещам. В этой всеобхватывающей способности понимания и заключалась сила ума Герцена. Это был ум глубокий, но не отвлеченный, а жизненный, реальный, схватывавший идеальную и практическую сущность каждого предмета и каждого понятия. Такой широкий, захватывающий ум не мог удовлетвориться какой-нибудь одной областью мысли или сферой знания, и Герцену действительно «была звездная книга дана, и с ним говорила морская волна». В естествознании, в математике (Герцен был студент математического факультета), философии, истории, политике, в литературе европейской (уже конечно, и русской) Герцен овладел тем внутренним смыслом этих знаний, который сливает их в одно целое и сообщает мысленное единство и стройность. Художник и глубокий психолог, Герцен понимал самые тонкие движения души и умел с изумительным искусством и меткостью делать анализ всякого болевого душевного состояния. Все это разнообразие умственных сил и способностей связывалось в Герцене, как цементом, широкой гуманностью и тем всеобхватывающим чувством любви, которые делали из Герцена не только замечательного общественного мыслителя, но и высокодаровитого писателя-художника.

Для широкой, порывистой натуры Герцена требовался простор; требовалась возможность не только мыслить свободно, но и выражать свои мысли свободно; его личное чувство независимости нуждалось в таких внешних условиях, в которых бы оно могло найти себе удовлет-

ворение, а как таких условий Герцен в тогдашней русской жизни не нашел, то он оставил Россию и переселился в Западную Европу. Последние лет пятнадцать Герцен жил исключительно в Лондоне.

Как человек первого номера, Герцен, конечно, сблизился в Европе с людьми того же умственного роста и того же общественного развития. Близкими людьми ему были Маццини, Кошут, Луи Блан, Ворцель, у Прудона он был сотрудником по газете. Человек слишком кипучий и живой, чтобы встать в стороне от жизни, Герцен не походил на Гофмана, который, расписывая в Варшаве театральный плафон, негодовал на Наполеона I, проходившего с двунадесятью языками, что он мешает ему рисовать. У Герцена была другая кровь: ему нужны были улица, шум, движение, дело; ему были нужны слушатели. Но в то же время у него был слишком трезвый и ясный ум, чтобы не видеть последствий всякого дела и не оценить верно его возможностей и успеха. От этого Герцен не был, да и не мог быть, революционером, ни таким, как Бланки и Барбес, ни таким, как Ледрю Роллен и Луи Блан. Когда в 1848 году революционеры, собравшиеся в одном кафе в Париже, вели разговор о баррикадах, Герцен, понимавший, что из этих баррикад ничего не будет, даже в случае успеха, потому что революционерам нечего дать народу, сказал, что из всего этого выйдут только глупости.

— А, так вы, значит, не хотите идти с нами! — закричали на него.

— Нет, господа, я не говорю, что не делаю никогда глупостей,— отвечал Герцен,— извольте, я иду с вами.

И пошел.

Герцен не верил в успех февральской революции и в ее мастерские, он понимал всю неясность и неопределенность программы, которую выставили французские вожаки; в их формуле — «право на труд» — Герцен не находил никакого практического содержания. Еще меньше верил он (уже много после) надеждам и мечтам Маццини, Луи Блана, Ворцеля, Кошута, когда они доживали свои дни в Лондоне, и со скорбью смотрел на этих исстрадавшихся мучеников, не желая огорчить их даже четвертью той правды, которая была ему ясна вся. Герцен говорил о французских эмигрантах, что между ними есть люди умные, готовые на всякие жерт-

вы, но людей, понимающих и способных исследовать свое положение, нет.

Широко развитое чувство свободы делало для Герцена невыносимым всякое насилие, в какой бы форме и где бы оно ни свершалось; он не выносил ничего грубого, ничего царапающего, ничего, что так или иначе оскорбляло личность. Это широкое чувство свободы, которое он так высоко ставил, было для него также священно и в других; поэтому, как политический деятель и писатель, он являлся только самым горячим защитником личной и общественной свободы, и только в этом и заключалась вся его программа. Это была художественная натура на политической основе; это был скорее клубист, проповедник свободы, оратор независимости, чем политический уличный деятель. Для улицы с баррикадами он был недостаточно демократичен и по привычкам, и по умственному темпераменту и слишком аристократичен по умственным требованиям и развитию. В этом же обстоятельстве заключалась причина, почему он разошелся с русской заграничной молодежью.

Уже в Лондоне начались царапающие отношения между Герценом и посещавшими его русскими эмигрантами, и наконец в Швейцарии эти отношения кончились полным взаимным отчуждением. Обе стороны не понимали друг друга и разошлись с горьким враждебным чувством. Началось, кажется, с требования от Герцена денег; это его оскорбляло, потому что было требование. Затем стал исчезать и взаимный умственный интерес; умственный горизонт эмигрантов казался Герцену слишком узким: он привык к умственному простору, которого, конечно, тут бы и не мог найти. Люди оказались слишком разного умственного роста. Но не одна разница в горизонтах отделяла Герцена от эмигрантов. Кстати, припомню такой случай. В один из приездов в Петербург Тургенев пожелал познакомиться с новой молодежью, и для Тургенева устроили вечер. Между приглашенными «образцами» был и Русанов, совсем еще молодой, горячий и речистый. Тургенев и Русанов сидели на диване рядом, и Русанов целых два часа развивал Тургеневу свои экономическо-социальные идеи. Тургенев молчал и внимательно слушал. Когда Русанов кончил, Тургенев встал, развел руками и сказал: «Не понимаю!» Вот это-то самое «не понимаю» разъединяло и Герцена

с новыми людьми, которых он встретил. Их разъединял весь склад мышления, разное понимание всех моральных отношений, личных и общественных, разные привычки жизни, то, что Герцен называл «бесцеремонным самолюбием, закусившим удила», и, наконец, разница политических программ. Было из-за чего не понимать друг друга.

Я уже сказал, что Герцен не верил в революцию. Он считал ее невозможной и вредной по последствиям. И кто должен был взять на свою совесть ответственность за жертвы в случае неудачи? Фатализма Герцен не допускал, не допускал, что личность должна быть орудием обстоятельств и событий. Для такого фатализма у Герцена было слишком сильно развито чувство личности. Он допускал только один верховный голос, имеющий право власти над личностью,— разум и понимание. Отрицая логику ломки и грубую силу, Герцен находил, что нужны проповедники, апостолы, поучающие своих и не своих, а не саперы разрушения.

Герцен понимал, что та часть русских, с которою он так враждебно столкнулся за границей, еще не вся Россия, и, как говорят, в последние годы Герцену очень хотелось посмотреть на Россию освобожденную. Так ли это, не знаю, но припоминаю, что, когда покойный государь позволил Николаю Тургеневу вернуться в Россию, Тургенев, приехав в Петербург, прожил в нем две недели и уехал за границу навсегда. Вероятно, то же случилось бы и с Герценом.

Я видел Герцена в апогее его популярности: лондонские издания его и «Колокол» расходились с возрастающим успехом, и каждый русский, приезжавший в Лондон, считал своим долгом сходить к нему на поклонение. По свободным манерам Герцен походил немножко на студента. Обращение его было простое, дружеское, и с ним было легко и свободно. Я думаю, что это происходило оттого, что Герцен все понимал. В разговоре он был такой же, как и в статьях, с той же вечно наготове шпилькой и такой же умный. Герцен быстро переходил от одного предмета к другому, электризовал мысль собеседника, не давал ей покоя, поднимал ее, заставлял идти вперед. Разговор его был самый разнообразный, как блестящий калейдоскоп,— и современные вопросы, и освобождение крестьян, и будущие русские

реформы, и эпизодически какой-нибудь остроумный анекдот, и Виктор Гюго, и Гете, и философия, и история, и политика. Герцену можно было бы сказать: «С вами ходишь точно по краю пропасти»; у непривычного могла закружиться голова. Огарев появлялся только к обеду и к чаю, и, распределяясь, должно быть, по тяготениям, я садился всегда рядом с Огаревым, а Михайлов — с Герценом. Мне казалось, что у Огарева было больше работы, по крайней мере, по «Колоколу». Но Герцен был занят тогда новым изданием: «Былое и думы».

Первые лондонские издания Герцена начались в 1853 году, когда он завел русскую типографию, «Колокол» же начался с июля 1857 года. В первый год Герцен выпускал по одному номеру в месяц, а с 1858 года — по номеру каждую неделю, и спрос на издание усилился настолько, что в начале шестидесятых годов «Колокол» расходился в 2500 экземплярах. Но в 1863 году, когда началось польское восстание, продажа «Колокола» упала сразу до 500 экземпляров. Этот упадок Герцен приписывал тому, что он писал в «Колоколе» статьи в пользу поляков. Едва ли Герцен не ошибался. В обществе уже свершился переворот, начавшийся еще раньше польского восстания. Восстание его только подчеркнуло и лишь выдвинуло больше вперед тех, кто держался до сих пор в тени. Впрочем, и подъем патриотического чувства, вызванного восстанием, был тоже не мал. Я не был тогда в Петербурге, но мне рассказывали, что в одно из представлений «Жизни за царя», когда начались польские танцы, всегда приводившие публику в восторг, и особенно мазурка с Кшесинским в первой паре, публика разразилась таким шиканьем, свистками и криками негодования, что должны были опустить занавес. При таком настроении общества «Колокол» должен был лишиться большей части читателей, даже если бы в нем и не было статей в защиту поляков. Начавшийся отлив уже не останавливался, время «Колокола» кончалось, а с ним и яркий период популярности Герцена.

Из Лондона мы вернулись в Париж, а вскоре приехал туда же и Герцен. Раз я прихожу к нему и застаю такую картину. В мягком большом кресле сидит величавый старик (таких стариков я еще не видывал) с длинными по плечи и белыми как снег волосами; в лице и во всей фигуре почтенного старика, откинувше-

гося на спинку кресла, было что-то патриаршее, спокойное; в прямом ясном взгляде чувствовалась душевная правота и та уверенность в себе, которая дается хорошо прожитой жизнью и спокойной совестью. Перед стариком стоял Герцен, относившийся к нему с такой сыновней, предупредительной почтительностью и берегущей любовью, которую если нужно уметь вызвать, то еще больше нужно уметь носить в себе. Этот патриарх-старик был декабрист князь Волконский. Возвращенный из Сибири императором Александром II, князь Волконский был лишен возможности жить в Петербурге, но ему не было запрещено жить за границей, и он уехал в Париж.

В этот же приезд в Париж я имел случай видеть Дембинского. Седой и тоже с волосами по плечи, с невысоким лбом и с толстым носом в виде груши, старик Дембинский (ему было уже семьдесят лет) не имел ничего ни величавого, ни патриаршего. Но жизнь этого старика, не поражавшего старческой красотой, была почти вся отдана на служение свободе. Теперь старец доживал в маленьком пансионе Парижа последние дни своей полной приключениями жизни. Краковский поляк, Дембинский начал военную карьеру в польском легионе Наполеона I и делал поход в Россию; в польское восстание 1830 года Дембинский командовал польскими войсками под Остроленкой, затем участвовал в венгерской войне против русских и, разбитый под Темешваром, бежал в Турцию, а в 1850 году переселился во Францию. В Париже мне говорили, что перед Крымской войной Наполеон III обсуждал с Дембинским план войны с Россией и будто бы Дембинский советовал высадку в Крыму. Вот этот-то Дембинский раз мне говорит:

— А знаете, какая разница между нами, поляками, и вами, русскими?

— Какая?

— Мы, поляки, каждого мужика хотим сделать барином, а вы — каждого барина мужиком.

В этом была правда, которой я тогда понять вполне еще не мог, но потом я ее понял, когда в семидесятых годах был сделан опыт превращения интеллигентов в мужиков.

XI

В зиму 1858/59 годов жил в Париже Я. П. Полонский (поэт), был и граф Кушелев, издатель «Русского слова». Граф Кушелев задумал издание журнала, вероятно, потому, что имел литературные наклонности и пописывал. Иметь свой журнал, чтобы печатать свои произведения, конечно, удобно. Как беллетрист, граф Кушелев, вероятно, думал, что и редактор журнала должен быть по меньшей мере беллетрист, а еще лучше — поэт. Может быть, Кушелев думал и иначе, но, во всяком случае, он пригласил в редакторы Я. П. Полонского. «Русского слова» под редакцией Я. П. Полонского я не видал, но помню заметку «Свистка» по поводу критической статьи Аполлона Григорьева о Лажечникове, в которой А. Григорьев говорит, что Лажечников есть не что иное, как «полнейшее оправдание мысли о допотопных организациях в мире искусства». «Просим читателей,— заключает Добролюбов заметку,— самих вдуматься в необычайное открытие о значении Лажечникова *до потопа»*.

Не знаю о причинах, по которым Я. П. Полонский оставил редакторство «Русского слова», но уже с осени 1859 года начал рыскать по Петербургу, набирать сотрудников и выпрашивать статьи новый уполномоченный графа Кушелева г. Хмельницкий. Г. Хмельницкий был пожилой человек лет пятидесяти, небольшого роста, худощавый, желчный и грубый, с резкими и быстрыми манерами, с вечно оттопыренным карманом сюртука, в котором у него лежал толстый бумажник, и всегда куда-то спешивший. Впрочем, с сотрудниками, которыми Хмельницкий дорожил, он был не только мягок, но даже искателен и вкрадчив. Откуда пришел в журналистику г. Хмельницкий — никто не знал; говорили, что он сам явился к графу Кушелеву и сам предложил себя в управляющие «Русским словом». Хмельницкий именно управлял «Русским словом», как он бы управлял домом, заботясь только о хороших жильцах. Он гонялся за именами, и известность была для него все, чего он требовал от писателя. Считая пятиэтажный дом лучше трехэтажного, Хмельницкий старался превратить «Русское слово» в пятиэтажный журнал и доводил книжки до пятидесяти листов. Не знаю, что это стоило Кушелеву, но

думаю, что и для его состояния (Кушелев имел пятьсот тысяч в год доходу) управление Хмельницкого было не из дешевых. С графом Кушелевым Хмельницкий обходился грубо и хвалился тем, что не печатает его повестей. Эта грубость была ненужная и несправедливая, потому что повести Кушелева не были хуже тех, которые, однако, Хмельницкий печатал.

Хмельницкий очень ухаживал за Михайловым и бывал у нас нередко. Не знаю, кто указал Хмельницкому на меня, но в один из приездов он просил у меня статью о русском лесоводстве, и я обещал. Статья под заглавием «Одна из административных каст» была напечатана в ноябрьской и декабрьской книжках «Русского слова» 1859 года. Это статья была моей лебединой песнью в лесоводстве и первой статьей, с которой я вступил в общую журналистику, введенный в нее Хмельницким. Хмельницкий познакомил меня и с графом Кушелевым, дом которого превратился скоро в сборное место *всех писателей*.

Кушелев давал для сотрудников обеды, а на вечера к нему собирались *все*. Для Кушелева мир петербургских писателей (сотрудники «Современника» у него не бывали) должен был казаться настолько же невиданным и новым, как американские пампасы, а демократическая струя, особенно с такой волной, как Хмельницкий, впервые проникшая в раззолоченные залы его аристократического палаццо на Гагаринской набережной, могла изумить многих. Но тогда все еще спутывалось в один клубок, и размежевание наступило после.

Закончу чисто личным воспоминанием. Утром в день моего рождения я нашел у себя на столе поднос с разными мелкими вещами и следующее стихотворение:

Встала младая из мрака с перстами пурпурными Эос,
Мирный покинула сон Николаева сила святая.
Встал он и видит, в ковчеге лежат драгоценном (подносом
Этот ковчег в просторечье зовется) подарки от милых
Сердцу его домочадцев: два чудной работы чугунных
Тяжких сосуда, чтоб пепел с сигар отряхать в кабинете —
В виде корзины один, другой же дракону подобный;
Восемь пар превосходных носков, и самой Пенелопой
Лучше б не связанных, а папиросница темныя кожи
С внутренним малым карманом, к хранению денег удобным,
Если они не поют петухами, просяся на волю.
О Шелгунов, лесоводственный муж, Николай благородный!

Сам на эти дары напросился ты хитростной речью
Так же, как древле в гостях у святой Алкиноевой силы
Выклянчил много подарков себе Одиссей хитроумный.

«Чудной работы чугунные сосуды» в двадцать шесть лет, что прошли с этих пор, уже утратились; но это стихотворение Михайлова, писанное его рукою, я храню.

XII

До 1860 года общественное внимание было занято освобождением крестьян, теперь же, когда все основания освобождения определились и шла редакционная работа Положения 19 февраля, у общества явился досуг подумать и о другом. Поэтому с 1860 года начинается как бы иной «период» в работе общественной мысли. Работа эта не представляла особенной трудности, потому что ее программа была очень проста и заключалась всего в одном слове «свобода». Внизу освобождались крестьяне от крепостного права, вверху освобождалась интеллигенция от служилого государства и от старых московских понятий. И более великого момента, как этот переход от идеи крепостного и служилого государства к идее государства свободного, в нашей истории не было, да, пожалуй, и не будет. Мы, современники этого перелома, стремясь к личной и общественной свободе и работая только для нее, конечно, не имели времени думать, делаем ли мы что-нибудь великое или не великое. Мы просто стремились к простору, и каждый освобождался где и как он мог и от чего ему было нужно. Хотя работа эта была, по-видимому, мелкая, так сказать, единоличная, потому что каждый действовал за свой страх и для себя, но именно от этого общественное движение оказывалось сильнее, неудержимее, стихийнее. Идея свободы, охватившая всех, проникала повсюду, и свершалось действительно что-то небывалое и невиданное. Офицеры выходили в отставку, чтобы завести лавочку или магазин белья, чтобы открыть книжную торговлю, заняться издательством или основать журнал. Петербургские читатели, вероятно, помнят магазин «Феникс» на углу Невского и Садовой (в окне этого магазина стояло какое-то чучело вроде водолаза), и покупатели этого магазина, конечно, не подозревали, что маленький,

скромный и совсем штатский хозяин его был офицером. Тут же на Невском помещался книжный магазин для иногородних, открытый тоже офицером; на том же Невском явился еще книжный магазин Серно-Соловьевича (впоследствии Черкесова).

Любопытно, что офицеры дали наибольшее число освободившихся людей и принимали очень деятельное участие в движении идей и даже в «поступках».

Припоминаю такой случай. Серно-Соловьевичу нужно было быть у Суворова, тогдашнего петербургского генерал-губернатора, для разъяснения чего-то по магазину. Обходя просителей, Суворов подходит к Серно-Соловьевичу.

— Кто вы? — спрашивает Суворов.

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

Суворов любил заговаривать на иностранных языках. Увидев пристойного и благовидного купца, Суворов заговорил с ним по-французски. Серно-Соловьевич ответил. Суворов заговорил по-немецки. Серно-Соловьевич ответил.

— Кто же вы такой?! — повторил свой вопрос немного изумленный Суворов.

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

Суворов начал по-английски, Серно-Соловьевич ответил; Суворов делает ему вопрос по-итальянски и получает ответ итальянский.

— Фу ты! — говорит озадаченный Суворов,— да кто же вы такой?

— Купец первой гильдии Серно-Соловьевич.

— Где вы учились?

— В Лицее.

— Служили вы где-нибудь?

— Служил.

— Где?

— В Государственном совете.

Суворов совсем вышел из себя от изумления: ничего подобного он не мог себе представить. И Серно-Соловьевич был не один. Каждый способный и энергичный человек становился тогда на новую дорогу, создавал себе новое, подходящее к способностям дело, искал своего места в природе. Учащаяся молодежь тоже стремилась в более широкую область мысли. Семинаристы толпами уходили в университет. Даже правоведы и лицеисты

оставляли свои привилегированные заведения ради университета. Это было золотое время Петербургского университета, когда число студентов с трехсот возросло внезапно до полутора тысяч. Никогда еще не было такого сильного умственного напряжения и такого всеобщего стремления к образованию. И университет того времени не только давал лучшие средства для развития, но и отвечал полнее всего требованиям времени, когда нужны были не сухие формальные знания, а общие идеи и общечеловеческие понятия.

Освободительный порыв только и поддерживался общественно-гуманными идеалами, только они создали все реформы, и только благодаря освободительным, гуманным идеалам Россия шестидесятых годов выдвинула такую массу замечательных людей в литературе, в журналистике, в художестве, в музыке, на общественном поприще и в сфере государственных преобразований. В короткий период трех-четырех лет обществу была дана такая масса идей, понятий и знаний, большая часть которых и до сих пор не дождалась практического осуществления. К этому же времени принадлежат первые попытки женщин к высшему образованию (в начале шла пока речь о допущении женщин слушать лекции в университете, против чего, замечу кстати, Ив. Аксаков написал статью в газете «День»). Был поднят вопрос даже о вольном университете. Одним словом, общество напрягало все силы, чтобы создать себе новое независимое положение и перенести центр тяжести общественной инициативы на себя. И правительство (по крайней мере, в начале) не видело в этом ничего несогласного с его желанием. Правительство сознавало, что при новых усложненных требованиях более развитой жизни продолжать старую систему казенного управления у него недостанет сил, и оно стало продавать или закрывать казенные фабрики и заводы, поощряло и поддерживало акционерные предприятия, создало «Русское общество пароходства и торговли», открыло возможность учреждения частных банков, передало постройки железных дорог частным предпринимателям. Одним словом, реакция против прежнего всепоглощающего государственного вмешательства и казенного руководительства была не только всеобщей, но и легла в основу общественно-экономических реформ и всей системы государственного

хозяйства прошедшего царствования. Но и в то время, богатое людьми — смелыми, энергическими, решительными,— людей почина было не особенно много.

К этим людям принадлежал Николай Серно-Соловьевич (его очень любил и ценил Герцен). Книжный магазин, который устроил Серно-Соловьевич, был делом не торговым, а идейным; таким же идейным делом были для Серно-Соловьевича воскресные школы, в которых он принимал самое деятельное участие (мысль об устройстве воскресных школ принадлежала профессору Павлову). Серно-Соловьевич умер в Иркутске в 1866 году, магазин его перешел к Черкесову, а теперь не существует совсем и книжной фирмы Черкесова. Помню, как Петербург был изумлен, когда в магазине Серно-Соловьевича явилась за прилавком молодая красивая женщина в синих очках. Этой первой продавщицей была А. Н. Энгельгардт, жена артиллерийского офицера, впоследствии известного автора «Писем из деревни». Встать женщине за прилавок было тогда так же необыкновенно, как лицеисту, служащему в Государственном совете, сделаться купцом. Теперь тысячи женщин стоят за прилавками, и для этого не нужно ничего, кроме нужды. Но тогда и стоянье за прилавком было идейным делом, было практической пропагандой нового поведения, демократическим отрешением от сословности и предрассудков, прав рождения. А чтобы выступить с таким протестом, требовался не только смелый и энергический ум, но смелый и энергический характер.

Обыкновенно думают (и не раз это высказывали наши ретроградные газеты), что журналистика шестидесятых годов терроризировала общественное мнение и деспотически направляла его в ту сторону, в которую это было нужно журналистам. Эта мысль тенденциозная, и высказывалась она только для того, чтобы вызывать и оправдывать меры против печати. Трудно сказать, кто давал больше тон жизни — печать или общество. Базарова Тургенев списал с живого человека, который именно и заставил Тургенева подумать об отцах и детях. Семейные идеалы в романе «Что делать?» взяты тоже из фактов живой жизни, существовавших ранее романа. Общество думает и без журналов; журналистика и печать только облегчают обществу работу мысли. То же повторилось и в шестидесятых годах. Тогда

думали все, и думали очень дружно и согласно. Если «Современник», а потом «Русское слово» находили в обществе такое сочувствие, то только потому, что говорили обществу то, что оно хотело слышать и знать. Очень часто публика шла гораздо дальше, стремилась неудержимее и, так сказать, опережала печать,— вот откуда явилось известное мнение, что тогдашний читатель был очень чуткий и читал между строк. Читатель был действительно чуток в том отношении, что ему хотелось все большего и большего, не на словах только, а в жизни, в возможностях простора; и смелые люди делали смелые выводы. Вот эти-то смелые люди и читали между строк то, чего автор иногда совсем и не думал. Я, конечно, этим не хочу сказать, что журналистика того времени была вполне цензурна (когда же она бывает цензурна?) и что авторы вовсе не рассчитывали на проницательность читателя. Я говорю только, что печать и читатели шестидесятых годов стоили друг друга, что между ними были самые тесные умственные симпатии и что в практических выводах читатель шел дальше печати.

Особенность тогдашнего общества (то есть печати и читателя) составляла гуманность — этот самый лучший, самый благородный и великодушный протест шестидесятых годов против тупости, грубости и жестокости прежнего общественного и домашнего строя.

Я помню хорошо то страшное «доброе старое время», когда все общественные порядки и отношения цементировались шпицрутенами. Тогда даже детей секли, как солдат. У нас в корпусе был воспитанник, которого секли восемнадцать раз. Моему товарищу, мальчику двенадцати лет, дали двести пятьдесят солдатских ударов двухаршинными розгами. Это была картина возмутительная не только по ненужной жестокости, но и по ее торжественной тупости. Нас выстроили в зале фронтом. Потом солдаты принесли скамейку и огромный пук розог — длинных, тонких, рассчитанных на боль. Затем фронту скомандовали «смирно» и среди воцарившейся мертвой тишины вошел в зал директор с блестящей свитой. Мне даже как будто помнится, что свита была в мундирах, точно она пришла на праздник. «Климш»,— выкрикнул директор, и несчастный Климш выступил из фронта. Директор сказал назидательную речь, которая

к нам относилась, пожалуй, больше, чем к Климшу (и секли его, как видно, только в назидание нам), и заключил ее приказанием: «Ложитесь». Началась возмутительная сцена насилия над двенадцатилетним ребенком. Несмотря на всю строгость военной дисциплины, весь фронт повернул головы в сторону. Во все время наказания Климш не издал ни одного стона, но встал бледный, как полотно. Через полгода его исключили, потому что он бросил учиться и не ставил начальство ни во что. В дворянском полку директор Пущин сек воспитанника с утра до вечера и дал ему две тысячи ударов. Воспитанник умер, но Пущин остался директором, чтобы не колебать дисциплины и уважения к власти.

В тех, кто вынес на себе это страшное время, не могла не явиться реакция против подобных порядков. Реакция была полная, не только против телесных наказаний, но и против всякого общественного и семейного деспотизма и насилия. Конечно, не «Записки из Мертвого дома», создали эту реакцию: они только познакомили общество с судьбой целой категории несчастных людей, показали только один из уголков русской жизни (кажется, и теперь остающийся таким же). Тогда рассказывали, что «Записки из Мертвого дома» читала покойная императрица и плакала. Я думаю, что можно заплакать, их читая. И Островский приподнял завесу тоже немалого уголка русской жизни, показав, как живут люди в средней купеческой и чиновной семье. Параллели и выводы для читателей уже были не трудны. Еще больше помогло «Темное царство» Добролюбова, уяснив непроглядную и, в сущности, вовсе не злобную, а просто животную тупость отцов-самодуров и всяких утеснителей, не ведавших, что они творят, и такую же тупость всех этих безмолвно покорных своей судьбе и безропотно подавленных, загнанных людей, влачивших свое зависимое, страдательное существование. «Темное царство» Добролюбова читалось с увлечением, с каким не читалась тогда, пожалуй, ни одна журнальная статья. Молодежь носилась с этой статьей, как с откровением, и она действительно была откровением для всех слабых и угнетенных, показав им их врага. Но и «Темное царство», давшее работу общественному сознанию, не могло усилить общественного доброжелательства и тех гуманных, жалостливых чувств, которые уже достаточно накопились в

обществе. Заслуга «Темного царства» не в том, что оно прибавило чувств, а в том, что оно укрепило общественный протест против утеснителей, против условий, их создающих, что оно дало размах общественной мысли, ширь общественному сознанию и имело общественно-воспитательное значение. И вот под совокупностью всех этих влияний совершилось действительное чудо. Чудо заключалось в общем крутом повороте от тупой жестокости к гуманности, в явившемся преобладании небывалой до того мягкости в общественном и семейном воспитании и в семейных отношениях. В шестидесятых годах все потребности общества точно будто предупреждались и предусматривались. Кто кого предупреждал — литература ли общество или общество литературу,— вопрос существенно не важный. Важно то, что, когда общество пожелало узнать, как лучше воспитывать детей, к его услугам уже были готовы переводные и русские руководства и педагогические журналы. Матери, и прежде любившие своих детей, тут точно просветлели и в первый раз поняли, что значит любить и как нужно любить. Теперь дети стали первыми людьми в семье, им начали отводить самые лучшие комнаты, светлые, просторные. Прежде о физическом воспитании никто ничего не слышал,— теперь оно стало предметом самой главной семейной заботы. Явилось даже небывалое понятие о физической нравственности. Небольшая книжка Маутнера о физическом воспитании разошлась в громадном числе экземпляров. Теперь есть книжки много лучше. «Мать» г. Жука, конечно, неизмеримо выше по подробностям и по богатству содержания тоненькой книжечки Маутнера, но едва ли она будет иметь то общественное значение, какое имел Маутнер. Тогда было такое время, что все получало общественный характер, все являлось во множественном числе. Такое дело, как воспитание детей, ограниченное стенами детской, кажется, дело совсем маленькое, домашнее, но если это маленькое дело является переломом в прежней системе и реакцией против прежних воспитательных порядков, если новая система проникает сразу в десятки тысяч семейств,— такое маленькое дело становится большим общественным делом, тем более что оно делается горячо, с увлечением, поспешно. И вопросы в этом новом деле являлись вовсе уж не такие простые. Например, хоть бы вопрос о том:

пеленать или не пеленать ребенка. Маутнер вместо пеленанья предлагал «конвертики». Положим, что старый способ имел много недостатков, но этот способ все-таки испытанный, а кто знает, к чему приведут «конвертики»? Чтобы перейти к новому, требовалось мужество решимости, а его при общем стремлении к новому и при общем протесте против старого у общества было довольно. Но воспитание детей не исчерпывалось одними «конвертиками»; было немало и других вопросов, требовавших разрешения, и все эти вопросы вызывали рассуждения, толки, споры, возбуждали страсти, поднимали мысль от забот о грудном ребенке дальше к домашнему и общественному воспитанию, к будущему детей, к последующей ожидающей их жизни, к общим условиям этой жизни. Одним словом, мысль, зачинавшаяся в детской с физического воспитания грудного ребенка, уходила затем очень далеко.

Считаю необходимым оговориться. Все, что я говорю о шестидесятых годах, я говорю более чем серьезно, придавая большое значение прогрессивным мелочам, повлиявшим на изменение умственного склада общества. Шестидесятые года — слишком серьезное явление в исторической жизни России, и они заключали в себе такую всеобщую обновляющую силу, что о них следует или совсем не говорить, или говорить только с тем глубоким уважением к людям и идеям того времени и к вожакам общественного сознания, какое вызывается величием самого явления и прогрессивным местом, которое оно занимает в ряду других явлений русской истории. И второстепенные деятели, и рядовая масса, шедшая вперед, занимают такое же почетное место. Не генералы только творят военные победы, а творят их армии, те массы рядовых людей, стремления, желания и порывы которых находят свое выражение в военачальниках. Когда говорят о военных подвигах армий или народов, никто не вспоминает мелких случаев трусости, неспособности или неудач; им нет и места в итоге общей славы. И в шестидесятых годах были свои ошибки, которыми только и пользовались враги и порицатели общественного движения того времени. Что сказать о том летописце, который, описывая нашу народную кампанию двенадцатого года, собрал бы отдельные случаи неудач и просмотрел Бородино и Москву? Такие же непрошеные

летописцы были и у шестидесятых годов, и я не думаю, чтобы эти летописцы стяжали себе почетную известность даже у тех, кому были на руку их писанья. Я уже не говорю о мелких писателях, но даже и крупные люди, как Писемский, не были в состоянии ничего понять в движении шестидесятых годов. Теперь пора острого отношения к тому времени уже миновала, и если для него еще не наступила пора беспристрастной истории, то несомненно, что наступила пора сравнения, а эту пробу шестидесятые года и люди того времени, конечно, выдержат.

Перемены и перестройки в семье не обошлись без борьбы, когда они коснулись людей, уже вышедших из детской. Если вообще отцы и мужья оказались достойными своего времени и свобода и гуманность были для них не одним красивым, модным словом, но и действительным делом, то встречались и такие случаи, когда семья говорила на разных языках и никакое примирение оказывалось невозможным. Это печальное явление породило и печальные результаты. Вот семья (я сообщаю факт): отец — старомодный чиновник, застрахованный от всяких новых понятий и способный к крутым «законным» средствам. Мать — скромная, добрая, хорошая женщина, натерпевшаяся уже довольно от своего «характерного» сожителя. У них двое детей, сын и дочь, оба даровитые, пылкие, всецело захваченные движением шестидесятых годов. Сын потом сделался известным журналистом, а когда последующее время не оправдало его общественных ожиданий, он уехал за границу, где и умер. Но не сын стал предметом преследования отца, а дочь; пошли неудовольствия, раздоры, обе стороны обнаружили одинаковую неподатливость, и разрешить ее мог только какой-нибудь кризис. Кризис этот создала «законная» власть отца и начавшиеся угрозы, что он на непокорную дочь пожалуется III Отделению. Сначала угрозам не верили, но потом пришлось убедиться, что отец не шутит; даже был им назначен день, когда он поедет с жалобой. Надо было на что-нибудь решиться, и, главное, быстро. И решение нашлось необыкновенное — фиктивный брак. Девушка венчается с тем, чтобы сейчас после обряда разъехаться с мужем в разные стороны, легальный муж перенимает легальные права отца, и девушка свободна. Подобных фиктивных браков было

тогда немало. Для тех, кто склонен придать этому факту иное толкование и думать, что в спасители девушки предложил себя какой-нибудь шаршавый, нечесаный, пропащий человек, которому терять нечего, прибавлю, что фиктивным мужем был молодой человек с законченным высшим образованием, родовитый, титулованный (князь Голицын), с большим состоянием. И подобных фиктивных браков было тогда немало. Фиктивный брак был, конечно, мерой отчаянной. Он являлся последним средством для выхода, когда не оставалось никаких других средств. Конечно, он был явлением ненормальным, но ведь и порядок, вызвавший его, был тоже ненормальным, и если подобный порядок не мог разрешиться правильно, он должен был разрешиться неправильно. Когда при безвыходном положении приходилось выбирать между такими средствами, как колодезь или фиктивный брак, то последний выход был, разумеется, благоразумнее и практичнее. Прибавлю к чести отцов того времени, что к выбору между колодцем и фиктивным браком приходилось прибегать немногим.

Вообще недоразумения между отцами и детьми разрешались в шестидесятых годах легко, и прежняя форма семейного управления уступила сама собой свое место новой форме, основанной на большем равенстве и свободе. Когда я был маленьким, нас учили говорить: «папенька», «маменька» и «вы»; потом стали говорить: «папа», «мама» и тоже «вы»; в шестидесятых годах резкая реакция ниспровергла эти мягкие формы, и сами отцы учили детей говорить: «отец», «мать», «ты». Теперь говорят: «папа», «мама» и тоже «ты». Вот краткая и наглядная история вопроса об отцах и детях за шестьдесят лет.

Труднее была другая сторона семейного вопроса — отношение между мужем и женой; но и этот вопрос, насколько он зависел от идеи свободы и равенства, разрешился тоже легко. Несмотря на грубую внешность отношений: «отец», «мать», «ты», за нею скрывалось много мягких, гуманных, любящих чувств. Впрочем, и реакция заключалась только в том, что против прежней жестокости и грубости выступила жалость и уступчивость. Поэтому большие сами постарались стать меньше, маленькие сделались больше, и все вышли ровнее и ближе. Теперешним людям новый порядок семейных отношений

достался простою наследственною передачею, и вопросы, которые волновали нас, для теперешних людей даже вовсе и не вопросы. Какая женщина пойдет теперь смотреть на комедии Островского, чтобы переживать в них свое личное положение; кому из мужчин станет стыдно и больно за общество и его нравы, которые рисует Островский? А ведь тогда это была живая, сочащаяся, болевая общественная рана, в которую каждый неверующий мог вложить свою руку. Шестидесятые года все это пережили и изменили и сдали теперешнему поколению «темное царство» Островского как историческое воспоминание о чем-то давно минувшем. Новые дети растут уже не в глупом страхе перед грозным домашним повелителем, перед которым все ходит на цыпочках, и на вопрос повелителя: «Кто меня может обидеть?» — отвечают: «Кто тебя обидит, ты сам всякого обидишь»,— теперешняя семья вырастает в мягких нравах простою механическою привычкою и получает готовые каштаны, которые испекло ему предыдущее поколение. Но, разрешив то, что можно было разрешить новыми понятиями о свободе и равенстве, общество дальше этого разрешения и уйти не могло. Оно могло покончить с грубыми нравами, оно могло поднять значение женщины и жены, но решить тех случаев, когда непримиримое несходство разделяло мужа и жену, общество не могло. Разрешение лежало только в разводе, новое же законодательство о разводе на помощь обществу не пришло. И вот общество поступило так, как ранее поступали дочери, искавшие спасения от родительского гнета в фиктивном браке. Никогда еще не было в России столько жен и мужей, живущих отдельно, сколько их явилось в шестидесятых и после шестидесятых годов. Разделившиеся неудачные семьи составляли затем новые семьи, но уже нелегальные, и общество относилось к этим нелегальным союзам с неизбежною полною снисходительностью. Вопрос о том, легальная или нелегальная у кого жена, стал невозможным, не имеющим смысла. Общество настолько освятило своим признанием этот порядок отношений, что даже закон о браке утратил свое прежнее значение, и рядом с законным браком распространилось теперь сожительство гражданское. Таким образом, закон о разводе, не явившийся вовремя на помощь обществу, вместо того чтобы укрепить легальный брак, укре-

пил брак нелегальный и практику гражданского сожительства, оставшуюся единственным выходом для тех, кому был закрыт законный брак. С этим вместе изменился, конечно, взгляд на так называемых «незаконных» детей. Впрочем, суровый закон не отнял от них ни университета, ни высшего технического и специального образования; он закрыл от них только право на титулы да заведения, требовавшие дворянской грамоты. Затем весь широкий и длинный путь жизни стоит для них открытым. Жизнь давно уже обогнала закон и даже забыла, что он существует.

С шестидесятых годов, как видит читатель, семейные отношения испытали полную революцию: все стало в них гуманнее, порядочнее, чище, а главное — правдивее. Правдивость, искренность и свобода сделали русскую семью ровнее, ближе, счастливее и создали ей внутренний мир, какого она прежде не знала. Такой сравнительно полный успех получился, нужно думать, оттого, что семейный переворот, предоставленный собственным силам общества, не испытывал внешнего вмешательства. Никакой доморощенный химик не стоял над ним, чтобы руководить брожением или чтобы закрыть крышку котла, когда это показалось бы нужным химику. Котел работал свободно и до сих пор продолжает еще свою нескончаемую работу. Старая и вечно новая история стремления человека к личному счастью!

Боюсь, что эта глава, написанная слишком обще, не удовлетворит читателя, и особенно читательницу. Женщины в семейных вопросах ищут подробностей, наводящих на размышление. Но если бы я стал рассказывать семейные истории (а я мог бы это сделать, потому что знаю довольно семейных историй и был не совсем в стороне и от «женского вопроса»), мое изложение потеряло бы свой обобщающий характер. Далее, хотя я и приурочил семейный вопрос к 1860 году, но это — вопрос не одного этого года, хотя несомненно, что с 1859 года, когда явилась статья Михайлова о женщинах и затем «Темное царство» Добролюбова, семейное движение получило более определенный и сильный толчок и стало более широким и всеобщим, но затем оно и не останавливалось. Конечно, самая широкая струя

этого потока принадлежит шестидесятым годам, когда она промыла себе русло. Теперь течет только ручей, хотя и по тому же руслу, но течение это характера общественного движения не имеет.

XIII

Мои личные воспоминания о Петербургском университете начинаются довольно рано: я помню студентами людей, которые нынче достигли уже степеней известных и занимают видные места в литературе. Тогда это были юноши очень симпатичные, чистенькие, благовоспитанные и ничем не отличавшиеся от других студентов. А петербургские студенты того времени именно выделялись своею внешнею благовоспитанностью и благопристойностью. Мундирчики были у них всегда с иголочки, сшитые стройно, воротники у мундиров свежие и безукоризненно синие, с блестящими петлицами, шпаги маленькие, изящные, вообще студенты того времени имели франтоватый, изящный вид и очень гордились своим званием. Для гимназистов студенчество было предметом стремлений и тайных мечтаний, а для кадетов и воспитанников юнкерских школ — предметом зависти, не без примеси некоторого священного страха перед высшим образованием. Равновесие устанавливалось только тем, что студент был все-таки «штатский». Но этот штатский удерживал с достоинством свое положение и в гостиных, и на танцевальных вечерах и балах, был предметом гордости своих маменек и тайных вздохов и мечтаний барышень. В дореформенное время петербургский студент был по преимуществу благовоспитанный юноша и светский молодой человек. Публика знала университет еще и по его воскресным концертам, которые устроил в 1847 году инспектор студентов Фицтум фон Экштед, большой любитель музыки. Концерты эти более десяти лет собирали в белом мраморном актовом зале университета петербургскую публику и служили одной из немалых причин популярности тогдашних студентов. Общество любило и уважало студентов. Университет, как рассадник людей высшего образования, стоял высоко в общественном мнении, а университетское образование открывало не только более широкие пути в жизни, но

и создавало привилегии, в особенности когда число студентов в университетах было ограничено. В провинции университетские были редки, а потому на них смотрели еще с большим уважением; конечно, это не обходилось и без того, чтобы их не подозревали в «фармазонстве». Но что бы там ни было, а в провинции университетские играли ту же привилегированную роль, какую играли офицеры Генерального штаба в армии: они садились на шею служакам. Кандидат университета, лет двадцати пяти, занимал место асессора, а иногда и советника палаты, тогда как обыкновенным порядком эти места доставались уже в таком возрасте, когда человек нажил себе седые волосы или лысину. Вообще университет был привилегированным заведением, а чиновники из университетских — привилегированными людьми. Их было вообще мало, и ими очень дорожили. И, отдавая должное, нельзя не признать, что университеты внесли много света в русскую жизнь и очень расчистили и подготовили пути для всего последующего умственного движения шестидесятых годов.

Порядок внутренней жизни Петербургского университета был тогда очень прост. Говорят, что у университета был устав (устав 1835 года действительно был); но в чем заключался этот устав, не знал ни один студент, да едва ли знали и профессора. Университет всецело управлялся попечителем, а попечителем был Мусин-Пушкин (он был сначала попечителем Казанского округа, а в 1845 году сделан попечителем Петербургского). Мусин-Пушкин управлял университетом «отечески», «патриархально». Это значило, что для него не существовало университетского устава, а он руководствовался личными соображениями и обстоятельствами минуты и соответственно им издавал циркуляры и частные постановления, которыми в конце концов устав оказался почти совсем отмененным. Про Мусина-Пушкина говорят, что он был добряк, но также не подлежит сомнению, что он был груб, резок и что студенты боялись его как огня (вероятно, и профессорам не дышалось при нем особенно свободно). В 1856 году Мусин-Пушкин уступил свое место новому попечителю, князю Г. А. Щербатову, и с этого времени взошло над университетом солнце, все отогрелись и оттаяли от патриархального управления Мусина-Пушкина, совсем было заморозив-



О. С. Гончаров (Гончар)

Гравюра И. И. Матюшина с рисунка П. Ф. Бореля

шего университетское образование. Оставлять университет под этим патриархальным режимом было невозможно, да, конечно, не для этого был назначен князь Щербатов. Университет нуждался в уставе, в точно определенных правилах управления, в органическом статуте, который бы устанавливал основы университета как учено-учебной корпорации. Преобразовательные замыслы князя Щербатова были широки и либеральны и отвечали вполне тогдашнему настроению общества. В летописях Петербургского университета князь Щербатов займет, конечно, самое видное место. При князе Щербатове университет встрепенулся и ожил, и только теперь студенты поняли, какой большой, тяжелый и дикий камень лежал на университете в виде «патриархального» попечительства Мусина-Пушкина. Г. А. Щербатов сразу привлек к себе симпатии не только студентов и профессоров, но и петербургского общественного мнения. В новом попечителе личная порядочность, деликатность и мягкость соединялись с ясным прогрессивным умом, способным к широким преобразовательным планам, и если бы эти планы были осуществлены, если бы университет получил те широкие права, которые замышлял дать ему князь Щербатов, не последовало бы тех печальных недоразумений и тяжелых возмутительных сцен, которые явились после удаления Щербатова; не было бы и ненужных жертв этих печальных недоразумений. Студенческие истории показали еще раз, насколько «печальные недоразумения» кроются далеко не в ошибках тех, кто становится их жертвой, и насколько не требуется жертв для разрешения таких недоразумений.

Составление проекта нового университетского устава по широким замыслам князя Щербатова требовало времени, и, пока проект реформ составлялся и обсуждался, князь Щербатов разрешил студентам иметь кассу, библиотеку, читальню, издавать «Сборник», для заведования этими частями студенческого хозяйства избирать депутатов и редакторов, а для обсуждения вопросов хозяйства составлять сходки. Студенческая жизнь получила более широкий смысл и содержание, еще недавние «ученики» теперь выросли, ожили, почувствовали себя общественным организмом и стали гораздо серьезнее относиться к учебным занятиям. Насколько подъем духа действовал оживотворяющим образом на занятия сту-

дентов, служат доказательством два напечатанных тома «Студенческого сборника» и литографированные студентами лекции. Ничего подобного Петербургский университет при последующих порядках создать не мог. И, несмотря на резкий переход от отеческого управления Мусина-Пушкина к свободной и несколько шумливой жизни, вызванной князем Щербатовым, жизнь эта текла мирно и спокойно. При Щербатове не было ни одного случая так называемых нарушений порядка, ничего, что бы указывало хоть на малейшее нарушение внутренней гармонии корпоративного студенческого самоуправления и каких-либо шероховатостей в отношениях студенческой корпорации к заведовавшей университетом власти. Но вот мирное течение этой жизни нарушается и наступают так называемые студенческие истории.

Мирное течение нарушилось сейчас же с выходом в 1860 году в отставку князя Щербатова. При князе Щербатове, как и при Мусине-Пушкине, не было никакого университетского устава и все зависело от воли попечителя. Но эта воля была мягкая, благорасположенная, гуманная, понимавшая природу молодежи и бережливо относившаяся к ее чувству достоинства. Отношения между попечителем и студентами были чисто личные, как бы добровольные, не скрепленные никаким писаным регламентом. Поэтому-то еще большего удивления и похвалы заслуживают тактичность и искусство управления князя Щербатова такой многолюдной корпорацией, как университет, и в такое время всеобщего возбуждения, какое было тогда. После князя Щербатова наступает время писаных учреждений и перемена в личном составе министерства народного просвещения. 1860 год прошел еще сравнительно мирно, хотя студенты уже начинали волноваться, но роковым временем для Петербургского университета был 1861 год. В мае этого года были утверждены новые правила для студентов, отменявшие форменную одежду и сдававшие в архив традиционный студенческий мундир с синим воротником, запрещавшие сходки и ограничивавшие число освобождаемых от платы за лекции.

Правила эти совпали с назначением министром народного просвещения моряка, адмирала Путятина. Попечителем же был сменивший князя Щербатова кавказский генерал Филипсон. В автобиографии Костомарова

сделана такая характеристика Путятина и Филипсона: «Назначили нового министра народного просвещения Путятина. Он позвал к себе профессоров и начал читать им грозную речь: «Знаю, ваше дело! (это было после шествия в Колокольную). Между вами есть такие, которые волнуют студентов! Я доберусь, разберу эти дела! Вы понимаете, господа, я говорю откровенно!» О Филипсоне же Костомаров приводит отзыв генерала Ребиндера: «Попечитель Филипсон — добрый малый, но это просто несчастная подставная палка!» Не знаю, насколько безошибочна эта характеристика, по крайней мере, о подобном приеме министром профессоров ни слова не говорит г. Спасович в своей статье о Петербургском университете. Граф Е. Ф. Путятин, моряк школы Лазарева и его любимец, известен заключением торгового договора с Японией в 1854 году и Тяньдзинского трактата с Китаем в 1858 году. Генерал Г. И. Филипсон — офицер Генерального штаба, служивший на Кавказе у Раевского и пользовавшийся его доверием. Этими ссылками я хочу сказать, что и Путятин и Филипсон не были рядовыми генералами, взятыми из строя. Мало того что Путятин не был рядовым генералом, но у него была точно определенная программа, с которой он вступил в управление министерством. Граф Путятин желал преобразовать университеты в закрытые заведения по английскому образцу, дарового высшего образования он не допускал, чтобы не заставлять бедный народ платить за образование людей состоятельных. Это, несомненно, была программа очень определенная. Все несчастье программы заключалось в том, что она готова была обрушиться на университет внезапно и что выполнителями ее явились военные люди, и по воспитанию, и по роду занятий совершенно чуждые университету, но зато очень способные применить к нему приемы той школы, в которой они воспитались: граф Путятин — черноморской школы адмирала Лазарева, а генерал Филипсон — кавказской школы Раевского. Как скоро реформа университета и высшее его управление впали в полную зависимость от военных взглядов и привычек, не могли не явиться и те последствия, которые явились.

В течение лета 1861 года, когда занятия в университете прекратились, составлялись новые правила для студентов.

Правилами этими сразу вычеркивалось все, к чему студенты уже привыкли при князе Щербатове. Ими запрещались сходки, упразднялись публичные лекции, которые читали профессора для увеличения средств студенческой кассы, упразднялись концерты, которые тоже давали порядочный доход, библиотека и касса подлежали закрытию, студенческая корпорация упразднялась, наконец, каждый студент обязан был взять матрикулы. Сами по себе матрикулы не заключали ничего такого, что могло бы привести университет в возбужденное состояние. Это были особые книжки, служившие видом на жительство и в которых помещались правила поведения студентов и вообще, так сказать, студенческая конституция. Но студенты обобщили матрикулы с теми запрещениями и ограничениями, которые были введены, и взять матрикулы — значило признать новые стеснительные правила и им подчиниться. Не матрикул не хотели студенты — они не хотели лишиться прав, которыми уже несколько лет пользовались при Щербатове; студенты не могли понять, почему их лишили внезапно этих прав, почему то, что еще можно было вчера, нельзя сегодня. При большем такте и мягкости, Филипсон мог бы не довести дела до катастрофы, хотя совсем устранить беспорядки едва ли было возможно. Не нужно было манить студентов корпоративным самоуправлением, чтобы потом отнять и то и другое внезапно. Тут, очевидно, ошибка заключалась в отсутствии общей системы для управления университетами, а не в Филипсоне.

Уже до открытия курсов студенты знали о предстоящих переменах, но новые правила не были ни напечатаны, ни объявлены студентам. Когда курсы были открыты, студенты после молебна составили сходку и отправили депутацию к попечителю просить его прийти на сходку, чтобы пояснить, в чем заключаются новые правила. Попечитель ответил иронически депутатам, что он не оратор, и советовал им заняться науками, а не сходками. Такой ответ, конечно, меньше всего мог успокоить волновавшуюся молодежь. Между тем лекции начались, а вместе с ними каждый день в пустых свободных аудиториях собирались сходки, и с каждым разом волнение росло. Университетская власть растерялась; не зная, как поступить, она сочла лучшим совсем не показываться, а студенты, предоставленные себе, от этого, конечно, не

становились спокойнее. Наконец начальство придумало успокоительную меру: оно велело запереть на ключ те аудитории, в которых собирались сходки. Найдя двери запертыми, студенты направились к актовому залу, но и двери актового зала были тоже заперты. Толпа заволновалась, зашумела, надавила на двери, не выдержавшие напора, и хлынула в зал. Началась сходка. Предметом обсуждения был вопрос о бедных студентах, которые по новым правилам не могли слушать лекции даром. Бедным студентам это внезапное установление закрывало университет. Было о чем подумать. Студенты, желая выяснить этот очень важный для них вопрос, послали просить на сходку ректора. Явился Срезневский (Плетнев был за границей); он старался успокоить студентов, просил их разойтись, но ничего из этого, конечно, не вышло. Затем к вечеру, когда университет опустел, попечитель с инспектором и с субинспекторами освидетельствовали дверь актового зала и составили протокол о взломе (для чего был нужен этот протокол?), и по докладу попечителя лекции были прекращены и университет на время закрыт. Все это случилось 23 и 24 сентября.

На другой день, уже с раннего утра, студенты собрались к университету огромной толпой, но в университет никого не пускали. Студенты знали, что университет закрыт, но сколько времени не будут читаться лекции, какие причины закрытия университета, что затем будет, куда деваться студентам — все это тревожило и волновало молодежь. Никто ничего не знал. Чтобы разрешить недоумение, студенты решили обратиться к попечителю. Хотя Филипсон и был тогда в университете, но велел сказать, что его нет, и кто-то предложил идти к Филипсону на квартиру. Он жил в Колокольной. Толпа, как один человек, тронулась в стройном порядке по набережной, на Дворцовый мост, по Невскому. Это было действительно еще никогда не виданное зрелище. Студенты длинной колонной, в ширину панели, шли медленно по Невскому, привлекая толпы любопытных, не понимавших, что это за процессия и куда она направляется. Пока студенты медленно подвигались, полиция дала знать по начальству, и студенческую процессию встретили в Колокольной с.-петербургский военный генерал-губернатор Игнатьев, обер-полицеймейстер Пат-

куль и рота солдат стрелкового батальона. Рота эта явилась случайно, она шла занимать караулы, и ее вернули с дороги. Почему потребовалось привлечь в Колокольную вооруженную силу — неизвестно; и так же неизвестно, чем все это могло бы кончиться, если бы не приехал попечитель, в первый раз наконец явившийся для объяснений. Филипсон понимал, как далеко он завел дело. Он старался успокоить студентов, просил полицию и военное начальство не вмешиваться и согласился принять студентов для объяснений, но не на квартире, а в университете, куда и обещал сейчас же приехать. Студенты, помня, как Филипсон уклонялся от объяснений, не поверили обещанию и просили его отправиться в университет вместе с ними. Шествие двинулось обратно с Филипсоном во главе; у Гостиного двора Филипсон сел на дрожки, но его просили ехать шагом, и вся процессия тем же путем, через Дворцовый мост, медленно подошла к университету. Студенческая толпа осталась на улице и на дворе, и Филипсон принял для объяснения трех депутатов. Объяснение заключалось в том, примут ли студенты матрикулы. Депутаты ответили, что если студенты и примут матрикулы, то только потому, что нельзя иначе, но будут ли исполняться правила — они не знают. Чтобы успокоить студентов, попечитель сказал, что лекции начнутся на следующей неделе, и просил разойтись. Толпа разошлась. Ночью были аресты.

Университетское начальство думало, что, арестовав «зачинщиков» и отняв у движения предводителей, оно прекратит беспорядки. Но вышло, однако, не так. Шествие в Колокольную происходило в понедельник, 25 сентября, а во вторник оно было уже предметом общих разговоров. Арест тридцати студентов не уменьшил, а, напротив, увеличил волнение еще более потому, что некоторые были арестованы по недоразумению или по ошибке. Прекращение лекций, хоть и временное, тоже не заключало в себе ничего успокоительного. Наконец, полторы тысячи студентов, считавших себя участниками этого дела, внесли живой интерес к их судьбе, по крайней мере, в четырех-пяти тысячах семейств, более или менее близких к университетской молодежи и ей сочувствующих, Даже воспитанники других заведений были живо заинтересованы университетским делом, считая

себя солидарными со студентами. Дело как бы принимало характер общеучебного дела и еще более расширяло симпатии к студентам. Молодежь (неучащаяся), в особенности офицеры военных академий, тоже принимала горячее участие в студентах. Говорили даже, что и воспитанники военно-учебных заведений собираются на сходки и замышляют демонстрации. Что же касается студентов, то они волновались чуть ли еще не более, чем раньше, и решили опять собраться в университете. Вся эта подготовительная работа происходила во вторник.

По вторникам вечером у профессора Артиллерийской академии, полковника Лаврова, собирался кружок преимущественно из артиллеристов; собрались и в этот вторник. Конечно, университетская история была главным предметом разговоров. Лавров откуда-то узнал, что сделано распоряжение, чтобы в среду у университета была наготове вооруженная сила. Это известие всех очень встревожило. Боялись каких-нибудь нечаянных столкновений, какого-нибудь глупого, непредвиденного обстоятельства, которое могло, однако, привести к последствиям очень печальным и никому не желательным. Чтобы предупредить всякие случайности, Лавров думал, что было бы лучше, если бы между собравшимися студентами было побольше офицеров, что тогда и командиры войск и солдаты будут сдержаннее и не рискнут решительными действиями. План этот был приведен в исполнение таким образом: утром в среду два артиллерийских офицера встали по обеим сторонам Литейного моста, у Литейной, и всех офицеров (академистов) и студентов-медиков, шедших в город, останавливали, объясняли им, что у университета будет сходка, что явится войско, что студентов нужно выручить, и направляли идущих назад, через мост, на Васильевский остров. Перед университетом действительно собралась толпа студентов, и на этот раз более многочисленная: тут были и студенты, и штатские, и офицеры. Студенты явились, чтобы добиться освобождения арестованных товарищей, а если этого нельзя, то чтобы арестовали всех. Генерал-губернатор, обер-полицеймейстер и министр народного просвещения находились в зале совета, а перед университетом стоял батальон Финляндского полка, жандармы и полицейские. Возбуждение в толпе было сильное, вид вооруженной

силы приводил молодежь в экзальтированное состояние, чуть не дошло до столкновения; жандармского офицера, въехавшего в толпу, едва не стащили с лошади; полицеймейстер, полковник Золотницкий, взял одного офицера за руку, и тот обнажил против него саблю; другого офицера генерал-губернатор арестовал и велел солдатам его отвести. Это было нарушением военной дисциплины. Отойдя несколько шагов, офицер скомандовал солдатам: «Налево, кругом марш!» — и солдаты исполнили команду, а офицер ушел. Ни до чего серьезного, впрочем, не дошло, и около трех часов студенты разошлись, а войско возвратилось в казармы. Усиленные патрули ходили до ночи по Васильевскому острову, а ночью снова были аресты. В следующие дни сходки продолжались, и так почти регулярно каждый день; приходила полиция, приходили войска; войска были поставлены в манеже I корпуса, и, наконец, было сделано распоряжение, что университетский двор, сени и нижний коридор подчиняются генерал-губернатору. Университет как бы находился в осадном положении. Так продолжалось до октября. Государь был в Крыму, и все меры против университета принимались генерал-губернатором и графом Путятиным.

В начале октября явилось в газетах объявление министра, которым студенты, желающие продолжать занятия в университете, приглашались взять матрикулы и прислать прошение об этом по городской почте на имя ректора; не приславшие прошений признавались оставившими университет. Распоряжение это было задумано довольно ловко и не могло не внести смуты между студентами. Было очевидно, что прошений поступит немало, и действительно из полутора тысяч студентов пятьсот обратились к ректору с просьбой о выдаче матрикул. Наступало начало конца, но конец был не простой, а с шумным финалом. В день открытия университета у дверей были поставлены сторожа, не пропускавшие никого без матрикул, но и матрикулистов явилось немного. Человек сорок — пятьдесят ходили как потерянные по коридорам, в аудитории не заглядывали, и лекций не было. То же повторилось и на другой день, и в университете царила полная пустота. Но не то было перед университетом. Здесь собралась огромная толпа студентов-матрикулистов и нематрикулистов, и не-

матрикулисты, как видно, не теряли надежды одержать верх. И действительно, их энергия и возбуждение оказались настолько заразительными, что более слабые, уже заявившие готовность подчиниться новым правилам, ощутили прилив мужества, стали рвать матрикулы и перешли на сторону непокорных. Волнение росло, и чем все это могло кончиться, предсказать было трудно. Конец волнению положила военная сила. Студентов, стоявших толпою у двери, как наиболее беспокойных, окружили тройною цепью солдат и увели на двор университета через задние ворота со стороны Малой Невы. Студенты шли, не оказывая никакого сопротивления, были веселы и даже довольны. На дворе полиция переписала имена арестованных, и затем их вывели под конвоем из ворот, чтобы вести в крепость. У ворот между тем собралась большая толпа публики и студентов, не попавших под арест. С шумом и возгласами встретила толпа арестованных, одни прощались с ними, другие с криком кидали вверх фуражки, махали платками, наконец, многие требовали, чтобы и их тоже отвели в крепость. Вся эта шумящая толпа была окружена солдатами и уведена в крепость. К сожалению, этот арест не обошелся так спокойно: солдаты, вероятно, были возбуждены, так что пустили в ход приклады, и один из публики получил удар штыком по голове до крови. Это обстоятельство комментировалось затем Петербургом на разные лады. Говорили, что солдаты были очень озлоблены, что чуть не произошла рукопашная стычка, что приклады работали довольно энергически, что одному из арестованных разбили голову прикладом. Так как этими действовавшими солдатами была рота преображенцев, то заинтересованное общественное мнение не поскупилось порицанием и чувством негодования по адресу всего Преображенского полка. Несомненно, что в прикладах и кровопролитии надобности никакой не было.

Во все время студенческой истории было арестовано человек триста, и так как для всей массы не нашлось места в Петропавловской крепости, то последнеарестованных отправили на пароходах в Кронштадт. Правительство, как видно, относилось к арестованным не строго, да и всей вообще студенческой истории не придавало серьезного значения. Студентов держали в крепости

в общих камерах и не стесняли их ни в чем. Арестованные получали книги, газеты, свободно ходили из одной камеры в другую и устраивали разные развлечения: литературные вечера и даже спектакли.

Для следствия над студентами была назначена особая комиссия, в которой депутатом от университета был профессор Андреевский. Следствие продолжалось месяца полтора и закончилось административным распоряжением: пятеро студентов были сосланы, тридцать два студента исключены из университета, остальные освобождены, а университет снова открыт. Но этот открытый официально университет не был уже живым организмом,— это был труп без души. Лекции хотя и начались, но их никто не посещал, и «матрикулисты» в аудитории не заглядывали; наконец и профессора перестали ходить на лекции. Возбужденное состояние молодежи тоже продолжалось, все были как-то натянуты, во всех, не только в студентах, но и в профессорах, и в университетском начальстве, чувствовалось недовольство, неудовлетворение, тревога; студенты пытались составлять сходки, были настроены враждебно, строптиво и легко переходили к неповиновению. Такой университет, конечно, не мог существовать, и 20 декабря он был закрыт окончательно до пересмотра университетского устава. Вслед за закрытием университета вместо графа Путятина был назначен министром народного просвещения А. В. Головнин.

Перед этим окончательным финалом университетской истории случилось еще одно обстоятельство, имевшее для университета, конечно, не малое значение и составлявшее предмет общих разговоров. Университет оставили лучшие его профессора: Борис Утин, Кавелин, Спасович, Пыпин и Стасюлевич. Это был, во всяком случае, гражданский подвиг, к которому очень сочувственно отнеслось общественное мнение. Причиной отставки было то, что профессора не видели никакой возможности служить с пользой университету, не имея убеждения, что новый порядок вещей, устанавливаемый графом Путятиным, принесет пользу. В это же время оставил университет и его ректор Плетнев, больше двадцати лет занимавший эту должность. Таким образом, граф Путятин, принявший университет цветущим, полным жизни, сдал его через год в виде развалин.

В университетских историях участвовал мой близкий родственник, с которым мы жили вместе, студент первого курса Е. П. Михаэлис. Это был замечательно даровитый, энергический и глубоко нравственный юноша, каких и в то время, богатое людьми, было немного. Он-то и был тем нервом, через который мы чувствовали биение университетского пульса. Пылкий, умный и смелый, Михаэлис, несмотря на свои восемнадцать лет, сумел выделиться настолько, что был выбран в депутаты, имел влияние и, к сожалению, попал в категорию первых пяти. Вместе с студентом Геном он был выслан в Петрозаводск, а потом, по представлению губернатора Арсеньева, отправлен в Тару, Тобольской губернии. Поводом послужило ничтожное обстоятельство. Устраивалась свадьба одной девушки помимо воли родителей. Такие свадьбы всегда бывали, всегда бывало и то, что подобные свадьбы делались тайно,— не на глазах же тех, кто не позволяет венчаться! И тут венчание происходило за городом, на первой почтовой станции. Был ли Михаэлис только шафером или принимал более деятельное участие (что при его характере и чувствах было возможно), послужило ли поводом то, что Михаэлис выезжал из города, чего он не имел права делать,— но эта тайная свадьба, не имевшая никакой связи с университетским движением, за которое Михаэлис попал в Петрозаводск, привела его в Тару. Ссылка в Сибирь, да еще в Тару, восемнадцатилетнего юноши, взятого с первого курса, уж конечно, не могла помочь раскрытию для юноши горизонтов будущего. Так Михаэлис в Сибири и остался.

С даровитым Михаэлисом повторилась наша старая-престарая история. Никогда Россия не была богата умственными людьми, и в то же время она никогда не берегла и не ценила своих даровитых и способных людей, точно их у нас такие неистощимые запасы, что экономничать ими вовсе и не нужно. Наше внутреннее народно-государственное хозяйство было всегда только пространственное, и как при Иване III мы только собирали и укрепляли землю, так то же хозяйство продолжаем и до сих пор. Периода интеллектуального, когда все силы страны направляются на развитие ее умственных средств, для нас не наступило; мы все еще пока растем, но не умнеем; мы даже боимся сильного и энерги-

ческого умственного возбуждения, какое было у нас, например, при Петре, в начале царствования Александра I и в шестидесятых годах; скоро утомляемся и затем уходим в реакцию. Постоянно кипучую жизнь, какую ведут другие европейские народы, мы вести не можем, и в нашей так называемой интеллигенции есть пока очень небольшая часть, способная на постоянную и энергическую, поступательную и критическую умственную работу. У Гейне есть одно очень меткое замечание относительно Франции первой революции. Гейне говорит, что Франция отрубила тогда свои лучшие головы, и когда потом ей нужно было думать, у нее не нашлось для этого способных голов. Мы тоже всегда боялись лучших голов и потому всегда оставались с худшими. Все это я говорил по поводу Михаэлиса, способности которого нельзя было не ценить; из него, несомненно, вышел бы превосходный профессор-натуралист и выдающийся ученый, но судьба устроила иначе. Именно судьба. Петрозаводская ссылка его могла бы иметь и другой конец, если бы в конце письма к государю, написанного Михаэлисом, не вышел случайно чернильный жид. Эту историю я слышал потом, уже много лет спустя, от князя А. А. Суворова. Я жил тогда в Кадникове, куда приехал Суворов. После покушения 4 апреля (Каракозова) Суворов оставил петербургское генерал-губернаторство и был замещен генералом Треповым. Приезжал ли Суворов в Вологодскую губернию для инспекции войск или как вологодский помещик, не помню, но я нашел его в передней в мундире, с орденами, принимавшим ординарцев. Князь Суворов встретил меня дружески, точно он был рад увидеть человека, которому мог передать, чем болела его душа. А душа у него болела. Суворов увел меня в гостиную (ему была отведена квартира у помощника исправника), сел на диван, посадил меня рядом, на кресло, и стал припоминать все недавние события, нити которых так или иначе были в его руках как генерал-губернатора. Выстрел Каракозова и затем недоверие, выраженное к управлению Суворова, глубоко его обижало. Это была еще совсем живая, сочащаяся рана, не дававшая ему покоя, и он, точно нарочно, бередил ее. Ему было больно и обидно, что были предпочтены ему менее преданные. В особенности не любил Суворов Муравьева и не ску-

пился на эпитеты, для него не особенно лестные. «Я люблю государя, я предан ему, я глубокий монархист,— говорил Суворов,— но...» — и затем он относился порицательно ко всей системе Муравьева, к его жестокости и к запоздалым мерам преследования. «Лаврова,— говорил Суворов,— надо было сослать в 1862 году, а не теперь; я ничего не мог сделать, ведь это случай (покушение Каракозова), у меня и средств не было тех, а разве они предупредили покушение Березовского? Я поступал иначе; мне доносят, что подготовляется движение, я посылаю за Чернышевским (передаю буквально), говорю ему: «Пожалуйста, устройте, чтобы этого не было». Он дает мне слово, и я еду к государю и докладываю, что все будет спокойно. Вот как я поступал!» (Еще раз повторяю, что пишу с буквальной точностью, слышу эти слова как бы теперь.) Затем воспоминания перешли к университетским волнениям. Часть их свершалась уже при Суворове, сменившем Игнатьева. К студентам Суворов относился с замечательною мягкостью и добротой. Он искренно любил молодежь, был всегда внимателен к ее нуждам, помогал чем и в чем мог, и студенты платили Суворову любовью и популярностью. Михаэлиса Суворов знал. На одной из сходок Михаэлис (еще с кем-то) был выбран депутатом и послан к Суворову для переговоров. Суворов обещал исполнить желание студентов, если Михаэлис даст слово, что сходка разойдется и не произойдет беспорядка. Михаэлис дал слово, явился в университет, с бочки или с дров произнес речь, и сходка разошлась. Своим уменьем ладить со студентами Суворов тоже гордился, а весь его секрет заключался в том, что он с ними говорил почеловечески и не боялся вежливостью и гуманностью уронить свое достоинство и авторитет власти. Когда мы вспомнили о Михаэлисе, Суворов рассказал мне историю о злополучном чернильном жиде, изменившем всю судьбу Михаэлиса. Не явись случайно этот жид, Михаэлис был бы возвращен в Петербург и не попал бы в Тару. Михаэлис и Ген написали из Петрозаводска письмо к государю с просьбой о позволении вступить снова в университет и, по торопливости или небрежности, сделали в конце письма чернильное пятно; вместо того чтобы переписать письмо, они слизнули пятно языком. Про-

читав письмо и увидев в конце его пятно, государь остался недоволен и не дал просьбе движения. «Государь не привык получать такие письма»,— заметил Суворов серьезно.

XIV

Осенью или зимою 1860 года приехал из Москвы в Петербург с письмом от А. Н. Плещеева к Михайлову Костомаров (Всеволод Дмитриевич, племянник историка Костомарова). Тогда, конечно, никто не думал, что знакомство это будет таким роковым. А. Н. Плещеев рекомендовал Всеволода Костомарова как поэта и переводчика Гейне и просил Михайлова оказать ему содействие и помочь в чем можно (так мне помнится). Рекомендация была чисто литературная. Но у Костомарова была и своя рекомендация, и совсем иного свойства. Он привез напечатанное на отдельных листках совсем нецензурное стихотворение, внизу которого стояло пропечатанное всеми буквами «Костомаров». Это было тогда настолько ново и настолько смело, что не могло не казаться чем-то выдающимся, особенно когда Костомаров объявил, что и печатал он сам, что у него дома, в Москве, есть шрифт и все, что нужно для печатанья. Не припомню, начали ли появляться уже тогда в Петербурге прокламации, или произведение Костомарова было первым запрещенным плодом этого рода.

Впоследствии (да и в это время, когда они стали появляться) значение прокламаций было преувеличено. Очень может быть, что, если бы они свершили свой полный цикл, получился бы иной результат, но ничего этого не случилось. В Петербурге явилось несколько прокламаций: «Великорусс», «К молодому поколению», «Молодая Россия» и еще какие-то мелкие; были, говорят, прокламации на Волге. У прокламаций не было ни общего центра, ни общего руководительства, это были, скорее, партизанские действия неизвестных отдельных кружков, не имевших никакой связи. По своему содержанию прокламации не отличались тоже ничем, что бы заставляло бояться за их воздействие, но они очень волновали общество и волновали не содержанием, а просто актом смелости, который они собой выражали, и риском опасности, которую вызывала эта смелость.

Я говорю, собственно, об обществе. Те, кто писал и печатал прокламации, вероятно, имели в виду не это одно, а хотели и пропагандировать известные идеи или выяснить народу условия и обстоятельства предстоящего ему освобождения. Такою, вероятно, и была прокламация «К народу», найденная у Костомарова наполовину напечатанной. Я, впрочем, не знаю, за что судился Костомаров и за что он был разжалован в солдаты. В свои приезды из Москвы Костомаров жаловался на брата, что тот хочет на него донести и раз даже просил сто пятьдесят рублей, которые брат требовал за молчание. Очень может быть, что ничего этого не было, но тогда Костомарову верили. Был, впрочем, слух, что на Костомарова донес брат. Во всей костомаровской истории было что-то темное.

Костомаров был уланский корнет и, несмотря на военную форму, имел как бы подавленный, несколько жалкий вид; в нем чувствовались беднота и не то какая-то робость, не то какая-то зависимость. Вообще он на свое положение жаловался и, как видно, очень нуждался. У Костомарова был узкий кверху и убегающий назад, совершенно ровный, без возвышений лоб и под гребенку остриженная голова. Костомаров обыкновенно смотрел вниз и редко заглядывал в глаза, а если это и случалось, то он сейчас же опускал глаза книзу. Разговаривал Костомаров мало, да и говорил вообще немного и имел вид человека молчаливого и сосредоточенного. На меня эта молчаливость, глаза, опущенные книзу, и убегающий, узкий, гладкий лоб производили впечатление силы и решимости. Нужно думать, что такое впечатление производил Костомаров и не на меня одного. Во всяком случае, ему верили, его жалели, ему старались помочь и помогали в действительности. В зиму 1860/61 года Костомаров приезжал в Петербург раза четыре.

Летом 1861 года мы с Михайловым уехали за границу, сначала в Наугейм, на воды, потом я уехал в Париж, а Михайлов — в Лондон. Из-за границы Михайлов вернулся месяцем раньше меня. Я приехал только к сентябрю, к началу лекций, и узнал от Михайлова, что он виделся несколько раз с Костомаровым. В эти свидания Михайлов не находил нужным ничего скрывать от Костомарова и даже дал ему один экземпляр привезенной

Михайловым из Лондона прокламации. Затем прошел слух, что Костомаров арестован, но за что, никто не знал. Обвиняли брата. Арест Костомарова прошел незаметно, потому что никто Костомарова не знал, но Михайлова этот арест кольнул в сердце и заставил тревожиться. Он как бы увидел уж над собою тучу, и предчувствие его не обмануло.

Прокламация «К молодому поколению» была распространена с большим шумом и с замечательной смелостью. В это «прокламационное время» прокламации вообще распространялись с большой смелостью и довольно открыто. Случалось встречать знакомых с оттопыренными боковыми карманами, и на вопрос: «Что это у вас?» — получался совершенно спокойный ответ: «Прокламации», точно это какое-нибудь дозволенное и даже одобренное произведение печати. Или у вас звонят. Вы отворяете дверь и видите знакомого, который, не говоря ни слова и даже делая вид, что не узнал вас, сует вам в руку пук прокламаций и торопливо уходит с таким же инкогнито. Прокламации раскладывали в театре на кресла, в виде афиш, приклеивали к стенам в концертных залах, совали, как рассказывают, даже в карманы; а про прокламацию «К молодому поколению» говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево. Наконец, прокламации рассылались по почте. С особенной смелостью распространялась и прокламация «К офицерам». Она была распространена в Христову заутреню и, как рассказывали, раздавалась даже в церквах. Я уже говорил, что этого рода мелкие прокламации были просто актом смелости и производили впечатление хлопающих петард. По отношению к обществу они не имели никакого значения.

На другой день после распространения прокламации «К молодому поколению» у Михайлова был обыск, очень тщательный, окончившийся только к седьмому часу утра. Ничего компрометирующего найдено не было. В числе лиц, производивших обыск, был молодой и благовидный господин в штатском, с бриллиантовым перстнем на пальце. Господин этот прямого участия в обыске не принимал, так что роль его казалась несколько таинственной. Дня через два таинственный человек обогнал меня на Миллионной, он

ехал в эгоистке, на сером рысаке. Через несколько времени мне нужно было быть у Суворова, и, когда начался прием, вошел этот самый таинственный человек, но уже не в штатской, а в полицейской форме, и с «Станиславом» на шее. Суворов подошел к нему, поговорил и отпустил. Таинственным человеком оказался известный в то время сыщик Путилин, способностями которого теперь думали пользоваться в политических дознаниях.

По окончании обыска лица, его производившие, были как бы в нерешительности, как им поступить. Была написана записка, послана куда-то с жандармом, прошло более получаса томительного для всех ожидания, но наконец жандарм вернулся с ответом. Михайлова просили одеться и увезли. Вечером я поехал к Добролюбову и передал ему все подробности обыска и ареста.

Арест Михайлова произвел большое впечатление, особенно в литературном кружке. Это был первый арест лица, уже имевшего известное общественное положение и популярное имя. Арест Михайлова был, во всяком случае, событием крупным и действием серьезным, возбудившим тревогу и боязнь за его судьбу. Дня через два или три у графа Кушелева собрались почти все петербургские литераторы, чтобы обсудить это дело, посоветоваться и предпринять что-нибудь в пользу Михайлова. Толпа была большая, по крайней мере, человек до ста, совещались в бильярдной и решили подать министру народного просвещения (печать состояла тогда в его ведении) петицию от сословия литераторов, с просьбой принять участие в судьбе Михайлова, и если в действиях его есть что-нибудь несомненно подвергающее его ответственности, то к следствию назначить депутата от литераторов. По крайней мере, в таком виде у меня удержалось в памяти наше решение. Прошение к министру поручено было составить Громеке, который тут же, на бильярде, редактировал его, и редакция была одобрена. Громека был жандармский штаб-офицер, литератор, и отличался энергическим, сильным стилем. Это тот самый Громека, о котором Добролюбов сказал, что он:

...с силой адской
Все о полиции писал.

С такой же «силой адской» было составлено и наше прошение.

Чтобы представить его министру, были выбраны депутатами граф Кушелев, Краевский и Громека. На второй или на третий день депутация отправилась к министру и просила о себе доложить. Путятин, уже достаточно искушенный университетскими историями, попросил к себе в кабинет одного графа Кушелева. Когда Кушелев объяснил, что он не один, а что с ним и другие депутаты, явившиеся от сословия литераторов с просьбой принять участие в судьбе Михайлова, то Путятин ответил, что «сословия» литераторов в России нет, но просьбу принял. Понятно, что для Михайлова полезных последствий она никаких иметь не могла, но зато имела неприятные последствия для депутатов. Государь велел посадить их на одну или две недели (кажется) на гауптвахту, но потом простил.

Через неделю прошел слух, что Михайлов во всем сознался и затем был передан суду сената.

Михайлов содержался в крепости, и содержался очень хорошо. Свидания с ним, конечно, никому не разрешались; но дозволялось посылать ему книги, съестное, папиросы. Так как большинство этих предметов проходило через мои руки и доставлялось женщинами, то не думаю, чтобы было преувеличением, если я скажу, что Михайлов, конечно, во всю жизнь не ел столько рябчиков и всяких родов варенья, сколько ему теперь посылалось. Вообще он вызывал к себе большое сочувствие, тем более что по роду обвинения было уже ясно, чтó может его ожидать. Сибирь и каторжная работа, предстоявшие Михайлову, леденили кровь даже при одном упоминании о них. Михайлов же был очень слабого сложения и страдал болезнью сердца. Понятно, насколько близкие к нему люди старались принять заблаговременно меры, чтобы по возможности облегчить ему хотя бы только путешествие по Сибири. Но для этого требовались средства, а их у Михайлова не было. И вот в разных кружках пошла подписка, в энергии и успешности которой мужчины соперничали даже с женщинами. Женщины, однако, я думаю, были все-таки энергичнее. Они, например, собрали сто рублей серебряными пятачками, чтобы Михайлов не нуждался в дороге в мелких деньгах.

Суд над Михайловым происходил очень торжественно; торжественность заключалась уже в одном том, что

это был суд сената. Но, кроме того, этот первый, давно уже не виданный обществом суд по политическому преступлению и над человеком известным, и в ту пору общего возбуждения, когда волновали общество еще и университетские истории, не мог не повышать впечатлительности и без того уже наэлектризованного общества. Волновалась, конечно, больше всего молодежь. В день суда у ворот Галерной, в самых воротах и на задней лестнице сената в этих воротах стояла толпа молодежи и не молодежи, ожидая, когда привезут Михайлова, и расходилась только тогда, когда Михайлова опять увозили в крепость.

Дело Михайлова шло быстро и кончилось в два месяца. Сенат приговорил его к пятнадцати годам каторжной работы в рудниках, но государь помиловал и уменьшил срок до семи лет. Теперь наступило время снаряжения Михайлова в дорогу. Я составил записку и отправился с нею к Потапову, управляющему III Отделением. В записке я объяснял, что у Михайлова нет никого в Петербурге родных, кто бы мог принять участие в его судьбе, что он слабого здоровья, что длинный сибирский путь зимою может быть для него гибелью и что поэтому я, как самый близкий человек к Михайлову, прошу дозволить мне доставить ему вещи, необходимые на дорогу. Потапов, прочитав записку, взглянул на меня вбок и сказал: «Вы, кажется, жили с Михайловым в одном доме?» Я поклонился, но ничего не ответил (я жил с Михайловым в одной квартире). Разрешение Потапов мне дал. Я купил хороший зимний троичный возок и массу теплых вещей и все это доставил куда следует. Кроме того, Михайлову был сшит ватный нагрудник, простеганный в клетку, и в каждой клетке была зашита рублевая бумажка, и их было, кажется, сто; купил Евангелие, в крышках переплета которого были заклеены тоже деньги. Это делалось потому, что каторжным денег иметь при себе нельзя, а нагрудник и Евангелие иметь можно. Нагрудник и Евангелие я доставил, для передачи их Михайлову, крепостному коменданту.

Время отправления Михайлова приближалось, и хотя я и знал, что по закону дворяне от кандалов освобождаются, но для большей уверенности, что это так и будет, поехал переговорить к Суворову. Суворов никак

не соглашался отправить без кандалов, сколько я ни ссылался на закон, стоял на своем и указывал на декабристов, которые отправлены были в кандалах. Оставалось, конечно, только подчиниться. В этих хлопотах с отправкой мне случилось не раз бывать у Суворова, который делал все, что он мог, чтобы облегчить положение Михайлова; такого доброго, мягкого и простого в обращении генерала мне еще не случалось встречать. В последнее посещение, когда я просил разрешения проститься с Михайловым, Суворов мне говорил: «Знайте, что, если будет какое-нибудь покушение, чтобы освободить Михайлова, жандармам отдано приказание его застрелить». Я понимал, что Суворов пугает, но ответил, что Михайлова никто освобождать не хочет, да и прежде, чем освобождать, нужно еще спросить, захочет ли он, чтобы его освобождали. Но тем не менее Суворов принял меры предосторожности, и Михайлов был вывезен из Петербурга в крытых санях, и только со станции Шальдихи (за Шлиссельбургом) Михайлова повезли в его возке и обычным порядком — с жандармами.

В то время о Сибири знали по «Запискам из Мертвого дома», и этого, конечно, было вполне достаточно, чтобы бояться за Михайлова. И я поехал к Суворову просить его написать к местным властям, чтобы Михайлову было оказано возможное снисхождение. Суворов обещал и написал письма к соответственным властям (к кому именно — я не знаю). Письма эти помогли Михайлову, но вместе с тем породили и некоторые недоразумения, имевшие печальный конец,— не для Михайлова, конечно, свершившего дорогу спокойно и благополучно. Теперь прошло уже четверть века с тех пор, но не только теперь, когда все страсти давно уже успокоились, но и тогда нельзя было не отнестись с полной признательностью ко всем лицам, от которых так или иначе зависела судьба Михайлова. Я уже не говорю о Суворове — этом действительно добром, гуманном и вполне культурном человеке, сочувствовавшем каждому человеческому страданию; но и все остальные властные лица, от высших до низших, начиная с крепости и кончая сибирскими властями, относились к Михайлову с бережливостью и внимательностью, которая делала им большую честь. Такое уж было время.

Прибавлю, что Герцен не одобрял прокламации «К молодому поколению», и мне думается, что он боялся за Михайлова.

В то время как дело Михайлова и судьба его привлекали к себе общее внимание, Костомаров сидел в заключении, и никто не интересовался ни им, ни его судьбой. Прошло года полтора. Костомаров был разжалован в солдаты и отправлен на Кавказ. Но он был отправлен способом не совсем обычным: его сопровождал жандармский офицер, капитан Чулков. В Туле Костомаров заболел, и, вероятно, настолько серьезно, что почувствовал потребность написать откровенное и задушевное письмо к близкому ему человеку. Этим близким лицом оказались не мать, не кто-нибудь из родных его, а совершенно посторонний человек, некто Николай Иванович Соловьев. Соловьев, как показывал Костомаров, был почтенный старик, у которого Костомаров брал уроки греческого и санскритского языков. Старик полюбил Костомарова, который тоже к нему привязался. Вот этому-то почтенному и близкому по душе человеку Костомаров излагал свой взгляд на внутреннее состояние России и на ее общественное движение последнего времени. Костомаров в порядках России не находил ничего такого, что могло бы вызывать против них неудовольствия, а тем более протесты. Главную причину, порождавшую смуту в умах и приводившую к беспорядкам, Костомаров усматривал в поведении отдельных лиц. И между ними он считал особенно виновными Чернышевского, которому приписывал прокламацию к народу (наполовину набранную Костомаровым и у него арестованную), Михайлова, написавшего прокламацию «К молодому поколению», и меня (следовало обвинение тоже в прокламации). Это письмо, адресованное «До востребования» в Петербург, имело несчастье попасть не по своему адресу и дало основание для двух новых судебных дел. Дел этих я здесь касаться не стану, потому что имею в виду сделать только характеристику Костомарова.

Для выяснения личности Николая Ивановича Соловьева были сделаны справки, и в Петербурге оказались три Николая Ивановича, и все они Соловьевы, и все они надворные советники (как и тот, к которому писал Костомаров), но когда их показали Костомарову, а Костомарова им, ни Костомаров не признал их зна-

комыми, ни они Костомарова. Очень может быть, что тот Соловьев, которому писал Костомаров, не был лицом мифическим, но, во всяком случае, во время справок его в Петербурге не оказалось. Да и для чего бы Костомарову изобретать мифического корреспондента, когда то, что он писал, он мог бы написать и матери и брату, хотя бы даже и тому, который на него донес. Ведь сущность заключалась не в лице, которому писалось, а в письме, которое писалось. Костомаров, когда я уже потом стал всматриваться в него, особенно после некоторых фактов, показался мне не в «порядке». Откуда его озлобление, мрачное, подавленное, сосредоточенное состояние и выдумки, похожие на бред человека, страдающего галлюцинациями? Он просто сочинял обвинения и выдумывал чистые несообразности, которые всем и сразу были очевидны. И все это он делал с какой-то упрямой, злой настойчивостью, по своему обыкновению опустив глаза вниз, точно он в этом злом упрямстве черпал мужество обвинения и боялся, что оно исчезнет, если он взглянет в глаза. И странное дело, этот обвинитель возбуждал сострадание: в нем чувствовалось что-то ноющее, какая-то внутренняя болеющая точка. Вся мрачная, молчаливая подавленность, которая замечалась и ранее в Костомарове, приняла двойные размеры, и в то же время ни одной искры теплого чувства не выскакивало теперь из его мрачного, холодного и злого взгляда. Костомаров точно весь застыл, закалился и ушел в себя. Раз мы стояли с Костомаровым на двух противоположных концах довольно длинного канцелярского стола, оба должны были писать поочереди. Чернильница стояла у моего конца. Когда очередь дошла до Костомарова и он потянулся с пером к чернильнице, я взял ее и подвинул к нему. Это была даже и не вежливость: я видел, что человеку неудобно, и просто сделал то, что он бы и сам мог сделать. Костомаров взглянул на меня таким стальным, острым, злым взглядом, каким нормальный человек в подобном случае никогда бы не взглянул. Причины для ненависти ко мне у Костомарова быть не могло. Лично у меня с Костомаровым почти не было никаких отношений, и не знаю, сказал ли я с ним во все наше знакомство больше десяти слов. А между тем именно я стал главным «объектом»

его фантазии и озлобления. Так этот вопрос и остался для меня темным.

Главными отличительными чертами характера Костомарова, как мне кажется, были трусость и хвастливость. Хвастливость довела его и до либеральных стишков, и до их печатания. Вообще это натура была придавленная, приниженная и пассивная. И вот когда уж и так урезанная жизнь Костомарова кончилась заключением и солдатчиной, этого оказалось слишком, чтобы он мог вынести без протеста, но протеста в форме жалобы и обвинения других. Это обыкновенная форма протеста всех слабых людей, привыкших повиноваться чужой воле. Слабый и неумный, Костомаров, потеряв душевное равновесие, потерял и способность правильно понимать свои поступки. Личное чувство, и так уже в нем, должно быть, безмерное, в заключении развилось еще больше; он преувеличил свое несчастье и озлобился. Неоспоримо, что это был человек больной и несчастный. Теперь уже его нет в живых. Костомаров не пережил шестидесятых годов, в которых не нашел себе места.

XV

Как я уже сказал, в 1860 году П. И. Вейнберг начал издавать «Век». П. И. Вейнберг рассчитывал на «имена» и пригласил в сотрудники солидных ученых и известных писателей. Но в то время требовались от публицистического органа нерв, чуткость и живое слово, а не солидная ученость — такое уж было живое время; в головных же ученых нерва не было. Я приведу отзыв о «Веке» Добролюбова (в «Свистке») и сделаю это, чтобы было виднее, чего публицисты того времени требовали от публицистики. «В нынешнем году,— говорит «Свисток»,— водворился новый «Век» в русской литературе. О наступлении его возвещено было задолго до нового года; появление его было приветствовано громкими рукоплесканиями. Все стремились к этому журналу, в котором обещалось верное и нелицеприятное служение науке и полное уважение к высоким принципам современной цивилизации. Все журналы почтительно обратили свои взоры на нового собрата, в редакции которого участвовали такие лица, как К. Д. Каве-

лин, А. В. Дружинин, В. И. Безобразов и П. И. Вейнберг. После выхода первого нумера написано было даже восторженное стихотворение, неизвестно почему не появившееся в печати:

НОВЫЙ ВЕК

Зреет все, что было зелено,
Правде зиждется престол;
Век Дружинина, Кавелина,
Безобразова пришел.
  Век Пожарского и Минина,
  Дружбу князя с мясником,
  «Век» Кавелина, Дружинина
  Возвратил нам целиком.
В «Веке» Вейнберга, Кавелина
Будет всюду тишь да гладь,
Ибо в нем для счастья велено
Все законы изучать.
  «Век» счастливый Безобразова
  Бедняка обогатит,
  Зрячим сделает безглазого
  И банкруту даст кредит...
Будет зрело все, что зелено,
И свершится человек...
«Век» Дружинина, Кавелина,
Чернокнижникова «Век».

В шутливой форме Добролюбов высказал серьезную правду. О зрелости и незрелости уж и тогда много говорили, а от «имен» в журнале могла получиться только «тишь да гладь». Но тогда, кажется, и ее не дали солидные служители науки, и «Век», начавший громко и имевший в первый год несколько тысяч подписчиков, на второй имел их сотни.

Как и кому пришла мысль издавать артельный журнал, не припомню, но в 1861 году образовалась такая артель все из молодых писателей, и после разных совещаний было порешено приобрести «Век» от П. И. Вейнберга. Пайщиков набралось тридцать два человека. Тут были Г. З. Елисеев, Щапов, А. Потехин, Н. и А. Серно-Соловьевичи, А. Н. Энгельгардт, Стопановский, Курочкин (остальных помню без уверенности). Каждый пайщик должен был внести сто рублей. Редактором единогласно был избран Г. З. Елисеев, у которого (он жил тогда на Литейной, близ Невского) и собирались раз или два раза в неделю все пайщики. Скажу несколько слов о двух выдающихся пайщиках нашей артели, по-

тому что говорить о них едва ли представится еще случай,— о Г. З. Елисееве и Щапове.

Подробности жизни Григория Захаровича Елисеева мне известны недостаточно точно, да не в них и дело. Последнее время до приезда в Петербург Григорий Захарович был профессором русской истории в Казанской духовной академии. Из воспоминаний Шашкова я знаю, что рациональное, живое слово Г. З. Елисеева среди царившей до него схоластики уже прокладывало путь новому умственному движению и создавало новое направление. Шашков, слушавший Григория Захаровича в Казанской академии, считал себя многим ему обязанным. Г. З. Елисеев принадлежит к людям редкого ума, тонкого, проницательного, понимающего вещи и людей в самой их сущности, насквозь. Это — муж по преимуществу разума и совета, занимающий первое место. По умственному складу, умственным симпатиям и по условиям среды, имевшим влияние на его развитие (Елисеев — из духовного звания и сибиряк),— он разночинец-народник. Своими «внутренними обозрениями» Г. З. Елисеев вносил существенное содержание в «Современник» и затем был главным руководителем и направителем «Отечественных записок» Некрасова. «Мужик», который занимал так много места в «Отечественных записках» и давал им цвет, обязан во всем Елисееву. Конечно, не Елисеев его выдумал, но он его сконцентрировал в журнале, которого был душою, и можно сказать, что Елисееву «мужик» обязан более всего тем, что к нему повернуло общественное мнение и что наконец явилась даже «мужицкая» внутренняя политика. Эта заслуга останется за Елисеевым.

Елисеев много работал и в «Современнике», и в «Отечественных записках». «Внутренние обозрения» и того и другого журнала, которые он, однако, никогда не подписывал, принадлежали ему. Статьи же свои (больше статистические) он подписывал псевдонимом «Грицько». В истории русской журналистики Г. З. Елисеев, как крупная, выдающаяся сила, займет одно из видных мест, и если его имя было мало известно обыкновенной читающей публике, то оно было хорошо известно и пользовалось большим уважением в литературном мире и в круге читателей, к нему (литературному миру) более

близком. Теперь Г. З. Елисеев уже оставил журнальную работу, расстроив на ней окончательно свои силы.

Щапов был тоже профессором истории и занял кафедру ее в момент начавшегося уже пробуждения мысли. Щапов принадлежал к тем редким натурам, которые произносят новое слово. Появление его на кафедре русской истории было яркой искрой, блеснувшей в царившем вокруг умственном мраке. Щапов вполне отвечал умственным и нравственным требованиям молодежи, хотевшей служить идее, чему-то благородному, прекрасному, возвышенному и свободному. Всем верилось, что наступило время водворения правды на земле и бесповоротного нового времени, когда не будет больше ни обиженных, ни угнетенных, ни бедных, ни несчастных. Людям, прошедшим бурсу, хотелось больше, чем кому-нибудь, верить этому и стремиться к его осуществлению (Щапов был семинарист). Юристы того времени мечтали явиться защитниками и адвокатами всех несчастных и угнетенных, и их пленял общественный характер их дела, его рыцарская сторона. И вот в момент такого настроения Щапов, в 1860 году, занимает кафедру истории в Казанском университете. Первая его лекция произвела в Казани целое землетрясение, и колебание распространилось по всей России. Лекция эта начиналась так: «Скажу наперед, не с мыслию о государственности, не с идеей о централизации, а с идеей народности и областности я вступаю на университетскую кафедру русской истории». Эта простая мысль была высказана с такой силой внутреннего убеждения и с таким воодушевлением (Щапов был фанатической натурой), что по аудитории пронесся гул, все вскочили со своих мест и тесно окружили молодого профессора. После панихиды по Антоне Петрове Щапов должен был оставить Казань, жил некоторое время в нужде в Петербурге, который тоже должен был оставить, и умер в полной нищете в Иркутске.

И этих двух крупных сил, казалось бы, достаточно для «Века», но в нем участвовали еще и другие, тоже способные и энергические силы. Но вопрос заключался не в силах, а в единстве сил, а его-то и не было. Сплотить же силы и соединить в согласное целое было невозможно: одни шли в крайнее направление, составляли крайнюю левую и, не удовлетворяясь «Современником»,

хотели идти дальше (во главе левой стоял Николай Серно-Соловьевич), другие держались более практического и возможного (Елисеев), и крайние обвиняли их в том, что они хотят идти в хвосте «Современника». Внешним поводом к разрыву послужила статья А. Н. Энгельгардта, написанная против И. Аксакова, который напечатал в «Дне» статью против допущения женщин в университет. Этой статьи Елисеев не хотел печатать, и его несогласие вызвало раскол, до сих пор не имевший случая выразиться. Собрание было бурное и горячее. Запальчивее всех говорил Серно-Соловьевич, настаивавший на том, что нам нужно иметь свой орган. Когда Елисеев спросил, для чего нам свой орган, Серно-Соловьевич ответил: «Для того, чтобы во всякую минуту, когда в нем будет нужда, он был готов». После этого вечера многие из артели оставили «Век» (сколько мне помнится, это было уже в декабре 1861 года или в январе 1862 года). Затем «Век» пошел к распадению; в мае я уехал из Петербурга и не знаю дальнейших подробностей о судьбе «Века». Кажется, Г. З. Елисееву пришлось поплатиться за разбежавшуюся артель.

XVI

Зима 1861/62 года была особенно богата в Петербурге наделавшими шума событиями, которые прошли на глазах у всех, но о приезде Кельсиева и о последствиях этого приезда не знали даже жильцы тех домов, которые посещал Кельсиев.

Кельсиев в свое время приобрел печальную известность, но теперь забылась и эта «известность», и ее герой, и нынешнему поколению едва ли даже и известно имя Кельсиева. И Кельсиев, и Всеволод Костомаров составляли нижнюю, теневую сторону шестидесятых годов и, вероятно, были неизбежны для полноты картины, хотя было бы лучше, если бы картина осталась без этой полноты. Впрочем, между Всеволодом Костомаровым и Кельсиевым — большая и существенная разница. Кельсиев по умственному складу и стремлениям был типическим представителем того времени (да и до сих пор имеет еще свое продолжение), тогда как Все-

волода Костомарова нельзя представить себе во множественном числе.

Кельсиев начал, как начинало большинство молодежи того времени; только он кончил иначе. Он начал отрицанием и проверкой, внутреннею перестройкой всех умственных, нравственных и общественных понятий, в которых вырос. То была ликвидация старых понятий, порядков и форм жизни, в которой каждый, начавший думать, принял участие. Перетряхалось не только все русское прошлое, но с тою же безжалостностию проверялось прошлое и настоящее Европы. Пристав сразу к крайней левой Европы, мы ушли сейчас же дальше, и никто не хотел верить, чтобы это далекое не могло быть начато теперь же. Центральною точкой протеста было негодование против экономических непорядков современного общественного строя и в силу этого — ненависть к нему. Выход представлялся только в новых социально-экономических теориях, на изучение которых и накинулись. К этому умственному типу принадлежал и Кельсиев. Его задела новая волна, столкнула со старого берега, и он с головою кинулся в неведомое для него море, выплыть из которого у него, однако, недостало сил.

В этом-то периоде умственного брожения и неустойчивого равновесия Кельсиев оставил Россию, чтобы ехать на службу в Ситху. Это было в 1859 году. Зачем Кельсиеву вздумалось ехать на службу на край света, я не знаю. Но и в то время, и много после какое-то непоседливое бродяжеское чувство выталкивало многих из дому. Люди уходили и в Европу и в Америку (особенно в Америку), чтобы чему-то учиться, что-то делать, но не то, что они делали дома, чтобы наконец создать себе какое-нибудь иное существование, больше их удовлетворяющее. Интеллигенты, до́ма, вероятно не ставшие бы заниматься физическим трудом, в Америке работали как простые поденщики, нанимались в сельскохозяйственные батраки, в помощники конюхов, корчевали пни, на лесопильных заводах таскали бревна, работали в слесарнях и кузницах и вообще не гнушались никакою черною работой. Другим удавалось устроиться лучше: были из них такие, что приобретали фермы, делались хозяевами, заводили плантации апельсинных и померанцевых дерев и оставались в Америке навсегда. Многие,

однако, вернулись домой, вероятно не найдя того, чего искали. И в самом деле, русскому, при его тогдашней повышенной чувствительности и фанатическом стремлении к общественному переустройству (что зачастую и выталкивало на бродяжество), американский индивидуализм мог только напретить. Такие просто возвращались. Но были и другие, которых американский индивидуализм заполонял настолько, что они возвращались с желанием насадить его и дома.

Что случилось бы с Кельсиевым, если бы он добрался до Ситхи, конечно, никто не знает; но Кельсиев до Ситхи не добрался, а добрался только до Плимута. Здесь он, забыв и Ситху, и российско-американскую кампанию, порешил сделаться эмигрантом. Он явился к Герцену, который принял в нем самое живое и теплое участие и сильно отговаривал его от эмигрантства. «Не закрывайте себе дороги к возврату, не изведав жизни на чужбине»,— говорил Герцен, сам горьким опытом изведавший оторванную от родного жизнь, но Кельсиев упрямо стоял на своем. Он хотел учиться, работать, но не дома, хотя дома для каждой силы нашлось бы довольно работы. Нечего было делать. Пришлось спасать человека хоть от голодной смерти, потому что у Кельсиева не было ничего; положение его было тем ужаснее, что с ним были жена и маленький ребенок. Герцен достал ему корректуру Священного писания, издаваемого по-русски лондонским библейским обществом, а затем передал ему массу рукописей о русском расколе, присланных к нему в разное время из России. Это была работа совсем в духе Кельсиева, и он ушел в нее с головой и руками, увлекаясь идеями и учением молокан, духоборцев и т. д. В короткое время он разобрал рукописи и издал «Сборник о расколе», напечатанный в Лондоне у Трюбнера (шесть частей, 1860—1863). Теперь этот «Сборник» имеет только историческое значение, но тогда он вводил русское образованное общество в раскольничий мир, никому не ведомый, разве чиновникам министерства внутренних дел. Вслед за появлением «Сборника» Кельсиева и у нас вышло разрешение печатать о расколе, и, таким образом, Кельсиев первый снял таинственное покрывало с одного из наиболее загадочных явлений русской жизни и сделал для общества доступным знакомство с ним. Кельсиев предпринял и другую работу, но она

ему не удалась: перевод с еврейского на русский Библии. Работу эту он, кажется, и не кончил.

Вопрос о расколе, как и все остальные вопросы русской жизни, ведет свое начало с шестидесятых годов. Конечно, он существовал и ранее, да только не в таком виде. До шестидесятых годов общество знало о расколе только по романам Зотова и Масальского, а для правительства раскол служил наковальней, на которой оттачивались и испытывались меры нетерпимости и преследования. Теперь наступила пора, когда на раскол взглянули как на общественное явление и сделали первые попытки для его объяснения и идейного освещения. При тогдашнем преимущественно политическом настроении и объяснение расколу давалось тоже политическое. В нем видели как бы религиозное казачество. Шестидесятые годы выработали и в правительстве более терпимости по отношению к раскольникам (правда, не всех сект), но это случилось несколько позже. В то же время, о котором я говорю, и для правительства, и для политически настроенной части русского общества раскол служил ареной для демонстраций, которых уж никак нельзя было назвать мирными. К этому же времени созрело и польское восстание, вожаки которого и в России и за границей думали встретить существенную поддержку как в политически настроенной части русского общества, так и в раскольниках, по мнению многих представлявших солидную силу, если суметь привести ее в движение. Предполагая верным политическое происхождение раскола, следовало допустить и верность этого расчета. Раскольников всех сект считали тогда миллионов десять. Конечно, это была громадная сила, и расчет на нее оказался бы верным, если бы в расколе было действительно то, что в нем хотели видеть. Хотя при тогдашнем политическом возбуждении и это толкование, и этот расчет были логической неизбежностью (теперь происхождение раскола объясняют уже церковным неустройством), но действительность не оправдала ожиданий и дала другие результаты.

Кельсиев изданием «Сведений о раскольниках» приобрел такую известность, что стал маленьким центриком и, во всяком случае, представлялся известной силой, которую нельзя было оставить без внимания. И вот в начале 1862 года эта самая «сила» оставляет Лондон

и с турецким паспортом является сначала в Москве, а потом и в Петербурге, чтобы завести и устроить прочные связи с раскольниками. Для подобного предприятия требовалась большая смелость.

Я жил в то время на Царскосельском проспекте (Михайлов был уже увезен в Сибирь) в доме Серно-Соловьевичей, дверь против двери с их квартирой. Раз приходит ко мне младший Серно-Соловьевич (Александр) и таинственно предупреждает, что в течение трех-четырех дней к ним будет заходить неудобно. Это предупреждение Серно-Соловьевич сделал из предосторожности. Теперь каждые шаги по лестнице имели для меня что-то таинственное. Вот кто-то поднимается, останавливается на нашей площадке, и я притаиваю дыхание, прислушиваюсь, жду, что будет дальше; дверь отворяется, сейчас же затворяется, таинственный посетитель исчезает, и опять водворяется гробовая тишина, еще больше настраивающая меня в чувстве тревожного ожидания. Не скажу, чтобы это чувство было приятное. Шаги таинственных посетителей слышались и днем, и вечером, и ночью, и чем они слышались позже, тем больше их таинственная загадочность возбуждала во мне тревогу, хотя я нисколько не боялся ни за Серно-Соловьевичей, ни за себя. Тогда в Петербурге жилось еще патриархально и все делалось довольно открыто. Если случалось собираться молодежи, то в какой бы поздний час она потом ни расходилась, она высыпала из ворот или из подъезда «трубой», с шумом, гамом, говором и смехом. Иначе поступали поляки. Собираясь, даже для самых невинных целей, они выходили по одиночке, с сторожливой осторожностью и расходились в разные стороны: один поворачивал направо, другой шел налево, третий, с скромным видом одинокого путника, переходил на противоположную сторону улицы. Конечно, эта искусственная таинственность была подозрительнее русской «трубы», но как нравы тогда были еще простые, то и «труба» и таинственность одинаково не обращали на себя ничьего внимания. Вероятно, никем не была замечена и осторожность Серно-Соловьевичей. Когда Серно-Соловьевич снял с меня запрещение, все получило свой обыкновенный вид и жизнь потекла по-прежнему. Кельсиев вернулся благополучно в Лондон. Серно-Соловьевичи были спокойны.

Когда я переехал к Серно-Соловьевичам, у них служил какой-то необыкновенный лакей: изящный, красивый, с салонными манерами, говоривший интеллигентным языком. Все это было подозрительно, а в особенности никому не нравилась внимательность, с которой интеллигентный лакей относился к разговорам. Николай Серно-Соловьевич, более доверчивый, смотрел на интеллигентного камердинера довольно безразлично, но Александр думал иначе и был склонен подозревать в нем не простого лакея, получающего жалованье только от Серно-Соловьевичей. Конечно, в этом щекотливом вопросе не могли не принять участия друзья, которые и позаботились обставить Серно-Соловьевичей прислугой более подходящей. По рекомендации друзей, место интеллигентного лакея занял деревенский парень, в красной русской рубашке и штанами в сапоги бутылками, взятый из одного книжного магазина; а в кухарки была отрекомендована девушка (уже немолодая) из верной и хорошей мещанской семьи. Судя по тому, что Кельсиев успел уехать благополучно, нужно думать, что приезд его сделался известным уже после и, всего вероятнее, по чьей-нибудь неосторожной откровенности. Мы, русские, кажется, больше всех народов оправдываем справедливость известного евангельского изречения, что «нет ничего тайного, что не сделалось бы известным людям». Мне один жандармский штаб-офицер (он уже умер), под надзором которого я состоял, говорил, что ему совсем незачем держать агентов. «Сидя дома, я знаю все, что делается в городе; каждый, кто приезжает ко мне с визитом или в гости, рассказывает все, что он видел или слышал»,— и улыбка, которою полковник комментировал свои слова, говорила ясно, как он оценял эти наивные услуги своих посетителей. Но каким бы способом приезд Кельсиева ни огласился, последствия огласки оказались очень печальными: Николай Серно-Соловьевич был арестован. Через несколько времени был арестован и деревенский парень и взята к допросу и «верная» кухарка. Парень долго не делал никаких показаний и говорил, что ничего не знает, но «верная» кухарка оказалась всезнающей и на очных ставках с парнем запальчиво, с налетом, уличала его в том, что он говорит неправду, что к Серно-Соловьевичам ходили такие-то и такие-то лица. Чтобы покончить с упорством парня,



Н. Г. Чернышевский
Фотография 1853 г.

были употреблены угрозы, и парень наконец подтвердил слова «верной» кухарки. После этого парня выпустили, кухарку оставили в покое, но они к Серно-Соловьевичам уже больше не поступили: Николай Серно-Соловьевич сидел в крепости, а Александр убежал за границу.

Подробностей дела Серно-Соловьевича я не знаю. Случилось мне, правда, встретиться потом с Николаем Серно-Соловьевичем, но при такой обстановке, которая для собеседования не представляла особенных удобств. Даже об аресте Николая Серно-Соловьевича я узнал случайно, находясь уже в Алексеевском равелине. Проходя по коридору на прогулки, я слышал постоянно в одном из номеров мерные глухие удары как бы падающего мягкого тела. Меня очень заинтриговало, отчего могут происходить такие странные звуки. Спросить же у стражи, с тем чтобы не получить ответа, мне не хотелось. Но раз меня провожал наш брадобрей, солдат, с которым я был в приятельских отношениях. Подходя к таинственному номеру, я опять слышу те же непонятные для меня звуки. «Что это такое?» — спрашиваю я моего провожатого. «Это Серно-Соловьевич играет мечиком»,— ответил он (он сказал не мячиком, а «мечиком»). Таким образом, я узнал две приятные вещи, что Николай Серно-Соловьевич мой сожитель и играет в мячик и что я могу тоже питать надежду пользоваться таким же гигиеническим развлечением. Но сюрприз более приятный судьба берегла для меня впереди. Шел я раз на свиданье, и только что мы (я со стражей) повернули из нашего коридора в другой, как с противоположной стороны вышел из-за угла Серно-Соловьевич (тоже со стражей), но в халате: значит, возвращался с прогулки. Ничего не оставалось делать, как той и другой партии продолжать свое шествие. И обе партии, не изменив шагу, шли мерно навстречу одна другой; вот мы приближаемся, я смотрю прямо в лицо Серно-Соловьевичу, не делая вида, что его знаю; только чувствую, что в глазах моих светится радость. Серно-Соловьевич держит себя точно так же, но и у него глаза радуются. Наконец мы сходимся, даем друг другу дорогу... это была самая приятная минута, и затем каждый продолжает свой путь с тою же наружной холодной сдержанностью. Со стороны стражи это была непростительная оплошность, но, конечно, не ради нее я заговорил об этом случае. Раз

ко мне в комнату забрался трубочист (печи топились из коридора, а трубы открывались в комнате); потом страж, впустивший его, просил меня самым убедительным образом как-нибудь не проговориться смотрителю или старшему. Но тут никто ни о чем не просил, само собою понималось, и всем было ясно, что этот случай настолько необычайный, даже невозможный, что всякая мысль о нем должна умереть, точно ничего никогда не было. Больше Серно-Соловьевича я не видел, но потом я слышал, что он умер в Иркутске, вероятно на пути куда-нибудь подальше.

В приезд свой в Петербург Кельсиев бывал у известного тогда книгопродавца Кожанчикова, тоже раскольника, и у Краевского, но их не постигли никакие неприятности. Или это не сделалось известным, или же нужен был только Серно-Соловьевич. Тогда некоторых намеченных людей начали уже удалять из общества.

Поездка в Москву и в Петербург очень разожгла Кельсиева: корректурная работа и перевод Священного писания теперь его не удовлетворяли: захотелось другого дела. В воображении Кельсиева раскрывались широкие горизонты новой деятельности, более льстившей его самолюбию, и он, отказавшись от кабинетной работы, задумал уйти в Турцию, чтобы устроить связи с раскольниками и проповедовать им вольную церковь и общинное житье. Герцен отговаривал его от этого проблематического предприятия, советовал приняться за работу в Лондоне, но Кельсиев не послушался и ушел. Кельсиев поселился в Тульче, куда приехал к нему брат, убежавший из России, потом присоединились еще два эмигранта (офицеры), и жизнь маленькой колонии текла пока мирно и покойно. Кельсиев был доволен и казаками, и раскольниками, и турками, сошелся с атаманом некрасовцев, и все шло пока хорошо. Но вот умирает брат Кельсиева, один из офицеров-эмигрантов застрелился, другой ушел; Кельсиев затосковал. Забрав жену и детей, Кельсиев бросил Тульчу и пошел бродить по Турции, отыскивая работы и куска хлеба. Мечты об общинном житье и проповедовании новых начал кончились местом надзирателя за шоссейными работами в Галаце, да и то после долгих исканий. Но не для надзора же за шоссейными работами ушел Кельсиев в Турцию! Мечты его кончились; вера дрогнула во все — и в

людей, и в идеи, и в себя; а тут один за одним умерли дети в холере, а за ними и жена — в чахотке. Кельсиев решил отдаться в руки русского правительства и просил, чтобы его арестовали на границе. Так это и случилось. Получив прощение, Кельсиев издал брошюру, возмутившую всех резкостью перехода от одного берега к другому, цинизмом покаяния и своим неприличным тоном. Куда делся затем Кельсиев — я не знаю.

Двойственный тип, к которому принадлежал Кельсиев, не составляет редкости, и именно у нас, в России, но шестидесятые годы выдвинули его только в количестве более обыкновенного. Формы этого типа были не только разные, но и многообразные, ядро же оставалось всегда одно и то же. Немножко склонности к увлечению, немножко критической мысли и отрицания, немножко доброжелательных чувств, очень много самолюбия, желания играть роль и стоять на первом месте, преувеличивание своих сил, воображение, увлекающее заманчивыми картинами широкой деятельности, немножко даже хвастливости, все из тех же побуждений самолюбия и удовольствия видеть себя в ореоле, и всегда очень много трусости. Не у всякого, конечно, из людей этого типа хватало мужества, чтобы разрешиться всенародно исповедью, полною цинического отношения к своему прошлому, и публично заявить неуважение к самому себе, как это сделал Кельсиев. Натуры более деликатные и менее смелые сламывались мягче, без шума и разыгрывания публично роли кающегося грешника. Для такой игры нужна большая доза способности не краснеть, пренебрегая мнением тех, кого прежде уважал. Более резкий двойственный тип, теряя постепенно свою бравурную и циническую окраску, принимал все менее и менее яркий цвет и, увеличиваясь численно, становился наконец частью общественного мнения. Такую часть общественного мнения сформировали все те, кто приняли сначала участие в движении идей шестидесятых годов, затем стали думать иначе и к своей лучшей и самой яркой поре жизни начали относиться с высокомерием, называя шестидесятые годы эпохой незрелого увлечения. Едва ли, однако, эти люди имели и имеют право обобщать в себе все то время. Если бы вся та масса, которая потом стала думать иначе, удержалась на высоте своего первого

мышления, то прогрессивные последствия шестидесятых годов были бы не теми, какими мы их видим.

Конечно, для выполнения задачи, за которую взялся Кельсиев, требовался человек более сильный, но в самой задаче не было ничего невыполнимого, даже если бы Кельсиев питал и широкие политические замыслы. Впрочем, для политической деятельности Кельсиев был не способен, хотя вначале он сошелся с атаманом некрасовцев, Гончаром, и, вероятно, поманил его настолько разными возможностями, что хитрый старик вылез из своей берлоги и решился съездить в Париж и Лондон, понюхать воздух и посмотреть, чего откуда ждать. Я заговорил нарочно о Гончаре; этот человек законченного и определенного типа дает повод к такой поучительной параллели с Кельсиевым и людьми его типа, что я не могу себе в ней отказать. (Пользуюсь характеристикой Гончара, сделанной Герценом.)

Не зная ни одного слова, кроме как по-русски и по-турецки, Гончар отправился в Марсель и оттуда в Париж. В Париже он виделся с Чарторижским и Замойским; говорят, что его возили даже к Наполеону. Переговоры ни к чему не привели, и седой казак, качая головой и щуря лукавыми глазами, написал каракулями семнадцатого столетия письмо к Герцену, в котором, называя его «графом», спрашивал, может ли он приехать в Лондон и как найти Герцена. Так как добраться в Лондоне к Герцену без языка было довольно трудно, то Герцен и отправился на железную дорогу, чтобы встретить Гончара. Выходит из вагона старый русский мужик, из зажиточных, в сером кафтане, с русской бородой, скорее худощавый, но крепкий, мускулистый, довольно высокий и загорелый, несет узелок в цветном платке.

— Вы Осип Семенович? — спрашивает Герцен.

— Я, батюшка, я.— И Гончар подал Герцену руку.

Кафтан распахнулся и открыл на поддевке большую турецкую звезду. Поддевка была синяя, отороченная широкой пестрой тесьмой. Не только обороты речи, но и произношение у Гончара было великорусское, крестьянское.

Гончар прожил у Герцена три дня. Первые дни он ничего не ел, кроме сухого хлеба, который привез с собой, и пил одну воду. На третий день было воскресенье,

и Гончар разрешил себе стакан молока, рыбу, вареную в воде, и рюмку хересу.

Русское «себе на уме», восточная хитрость, осмотрительность охотника, сдержанность человека, привыкшего с детских лет к полному бесправию и к соседству сильных врагов, долгая жизнь, проведенная в борьбе, в настойчивом труде, в опасностях,— все это так и сквозило из-за мнимопростых черт и простых слов седого казака. Он постоянно оговаривался, употреблял уклончивые фразы, тексты из Священного писания, делал скромный вид, очень сознательно рассказывая о своих успехах, и если иногда увлекался в рассказах о прошлом, то, наверное, никогда не проговаривался о том, о чем хотел молчать.

В успех польского дела Гончар уже не верил и говорил о своих парижских переговорах, покачивая головой. В Лондон он приехал, чтобы узнать, какие у русских эмигрантов связи с раскольниками и какие опоры в крае; ему хотелось ощупать своими руками, может ли тут быть для него какая-нибудь практическая польза. В сущности, как говорит Герцен, для Гончара было все равно, с кем идти: он пошел бы одинаково с Польшей и Австрией, с русскими эмигрантами и греками, с Россией и с Турцией, лишь бы это было выгодно для его некрасовцев. Он и из Лондона уехал, качая головой. В конце концов Гончар подал адрес государю.

Как мыслил Гончар, так мыслило, конечно, и большинство раскольников. И в Турции и в России жизнь научила их кое-чему. Поэтому устраивать с ними связи и при этом сулить лишь журавля в небе было не совсем легко и просто. Кончилось бы, конечно, взаимным непониманием. Да и что мог предложить им Кельсиев, какая стояла за ним сила? И это отлично понимал Гончар, а потом понял и сам Кельсиев; только в Москве думали иначе. Кельсиевскую «коммуну» в Тульче, состоявшую всего из четырех человек да жены Кельсиева с двумя ребятами, московская охранительная печать раздула в какую-то «агенцию», а Кельсиева, занимавшегося школой и огородом, превратила в опасного агитатора, виновность которого могла быть искуплена лишь чрезвычайным и всенародным покаянием. Кажется, под конец и сам Кельсиев стал верить этому.

И мне тоже случилось «устраивать связи» с расколь-

никами. Это было летом 1862 года. Я плыл на пароходе от Тюмени до Томска. Плавание было скучное, тянулось оно три недели; наш буксирный пароход, тащивший баржу, полз как черепаха. Особенно тосклива была Обь, разлившаяся на сто верст (матросы уверяли, что она разлилась до Ледовитого океана). Между «серыми» пассажирами парохода был только один не совсем серый. Молодой, лет тридцати, с русой, маленькой, закругленной бородкой, с мужицким пробором посередине, намасленными волосами и в долгополом кафтане, пассажир этот напоминал мелкого торговца, какие встречаются по деревням (он и действительно торговал скотом). Пассажир оказался раскольником. Почти все время скучного плавания, и особенно по вечерам, мы проводили вместе на палубе, и, как мне помнится, я говорил гораздо больше, чем мой собеседник, из которого выудить что-нибудь было очень не легко. Мне думается, что он жалел даже о том, что сказал мне, что он раскольник. Вообще он на Гончара не походил. Если тот напоминал старую лисицу и чувствовал свою силу (недаром же он получил турецкую звезду), то этот напоминал сторожливого, озирающегося зверька, заметающего свой след. Раскольник был грамотный, начитанный, с познаниями и светских книг не боялся. Видя меня иногда с книгой, он просил дать ему что-нибудь почитать, конечно зная, что это не будет божественное. У меня были только ученые путешествия по России, и я дал ему одну из книжек. Направления раскольник был «патриотического» и к Западу с его знаниями и прогрессом относился без почтения. Ему думалось, что мы знаем не меньше. Раз я ему говорил о «точке жизни» Флуранса, но оказалось, что раскольник ее знает, и, чтобы не оставить во мне на этот счет никаких сомнений, он в одной из прибрежных деревень, где пароход запасался дровами и провизией, действительно доказал, что знает, где у теленка точка жизни. Теленок упал мертвым, точно пораженный громом. И это было сделано с уверенностию, чистотой и ловкостию хирурга. Вот наконец завиднелся и Томск, пароход подходит к пристани, я поднялся на палубу, чтобы проститься с моим спутником; его нет. Пароход причалил, положили сходни, но мой дорожный товарищ не показывается; я схожу на берег почти последним, высматриваю тех, кто впереди,

оглядываюсь назад — раскольника нет. Так он и провалился сквозь землю вместе с моей книжкой, оставив мне на память об этом случае разрозненное издание. Вот материал, с которым, как внизу, так и вверху, приходилось у нас иметь всегда дело общественному движению. Европа подобного типа не знает, там нет этой запуганной осторожности, нет этого рассыпчатого бегства в одиночку, когда каждый прячется в первую попавшуюся норку и оттуда выглядывает, миновала ли беда, чтобы опять выйти на свет божий, когда снова проглянет солнышко.

Шестидесятые годы были не только первой попыткой общественной самодеятельности, но и первой пробой сил,— пробой характеров и изучения общественных типов. Этот опыт был бы очень полезен для общества и в будущем, если бы он уж не забылся в настоящем. Многое из того, что находили ненужным, бесплодным, бесцельным и даже напрасно губившим молодые силы, было естественным следствием небывалого простора, который каждый теперь почувствовал. Все это было естественно, неизбежно и необходимо, и ни для кого и никакой опасности тут не было, кроме самих тех, кто пробовал свои силы. Как птицы, начинающие летать, пробуя силу своих молодых крыльев, бравируют опасностью и совершают смелые полеты, так и в шестидесятых годах многое и многими делалось просто потому, что это смелость и что в смелости ради смелости ощущается наслаждение силы. Каждому тогда нравилось нести высоко, гордо и смело голову, чувствуя свое личное достоинство, личную неприкосновенность и относительную свободу. Рядом с первыми попытками свободной мысли и свободного слова это были первые попытки и свободного поведения, и общественной независимости, первые пробные шаги к огульности и разрешению самим обществом того, что оно хотело считать своими вопросами.

И такое направление в отдельных лицах, пытавшихся дать ему общественный характер, не было вовсе следствием недоразумения. Это была общая черта времени, когда все сливались в одну общую силу, стремившуюся к одной цели. Резкого различия между задачами общества и правительства тогда не только не было, а, напротив, и общество и правительство одинаково стремились к одним и тем же переменам. Чтобы провести свои

реформы, правительство обратилось к обществу, и весь необходимый для этого многосложный материал был доставлен людьми из общества и разработан ими и печатью. Я уже говорил, что после Парижского мира прогрессивные стремления, охватившие официальную Россию, проникли и в высшие правительственные сферы, а правительственные органы печати взяли на себя воспитательную роль. Так «Военный сборник» и «Морской сборник» совсем вышли из пределов своей прежней программы и ничем не отличались от обыкновенных толстых журналов. Это было простым следствием слияния общественных и правительственных интересов и дружного, совместного движения общества и правительства. В этот-то момент солидарности общества и правительства и были возможны, например, такие факты, что жандармский штаб-офицер Громека участвует не только в газетах и журналах, но избирается редактором петиции литераторов к министру народного просвещения и членом депутации от литераторов. Нельзя сказать, чтобы в подобном союзе совсем не было частички недоразумения, но оно не было тогда еще достаточно ясно. Размежевание началось после, когда участие общества в преобразованиях стало оказываться менее нужным и когда правительство, более обособляясь, заняло положение строго определенное. Заметнее всего стало это в министерство графа Валуева, когда между официальной и неофициальной средой была проведена уже довольно резкая грань. Теперь, например, занятие литературой считалось несовместным с официальным положением лица и чиновникам было прямо запрещено принимать участие в печати. Громека в образе депутата от литераторов был бы теперь, уж конечно, немыслим. Но вначале было не то, даже настолько не то, что лица официальные сообщали о намерениях и секретных предположениях правительства тем, кому это менее всего следовало знать (известное дело о тринадцати тверских мировых посредниках). Министерские мнения того времени частию под влиянием господствовавшего недоразумения, а частию и вследствие общности интересов утрачивали свой исключительно правительственный, а иногда и секретный характер и становились общественным достоянием. Громадный секретный материал министерства внутренних дел о раскольниках весь по частям

был списан и выслан Герцену в Лондон. О размере этого материала можно судить по шести томам «Сборника» Кельсиева. А сколько, кроме того, высылалось копий с официальных столичных и провинциальных распоряжений и постановлений, записок, докладов и т. д. и всяких других негласных сведений для напечатания в «Колоколе». Чем секретнее была мера или распоряжение, тем было больше вероятия, что о ней уже будет напечатано в «Колоколе». Достаточно чтобы в правительственной канцелярии завелся один человек, «охваченный волной времени», чтобы секреты канцелярии перестали быть секретами; а тогда «охваченных» были десятки, сотни в каждом министерстве. Официальный мир и печать не составляли тогда изолированных миров, а заходили один в другой. Это только теперь печать очутилась вне всякой связи с официальным миром (кроме некоторых органов, стоящих зато и среди печати изолированно). Даже между коренными чиновниками (не охваченными) являлись любители, которые частию «так», для себя, а частию удовлетворяя явившемуся спросу, снимали копии с секретных дел и бумаг иногда за несколько лет и составляли сборники, разумеется, не для того, чтобы хранить их у себя.

Кроме канцелярских тайн литературного характера, случались разглашения более серьезные, уже несомненных секретов. Бывало, что лицо, у которого предполагался обыск, предупреждалось об этом письмом. Предупреждались и об арестах. Так, был предупрежден Н. Утин, убежавший за границу, был предупрежден и Александр Серно-Соловьевич, поступивший так же.

Об Александре Серно-Соловьевиче сохранились у меня самые светлые воспоминания. Это был человек кипучей энергии, горячий, скорый, смелый и очень умный. Когда я с ним познакомился, ему было лет двадцать пять. Он был именно способен ехать среди белого дня на рысаке по Невскому и разбрасывать направо и налево прокламации. В Швейцарии, где он поселился, он стал вождем и трибуном рабочих. Когда он умер, швейцарские рабочие поставили на его могиле памятник. Это нужно было заслужить. Вначале Серно-Соловьевич сблизился с Герценом, но потом разошелся и кончил печатной с ним полемикой. В ней Серно-Соловьевич обнаружил большой талант и по едкости, блеску и остро-

умию брал решительный верх над Герценом. Постоянное сильное возбуждение, экзальтация и жизнь вовсю разбили наконец сильный организм Серно-Соловьевича, и он сошел с ума. Вначале болезнь перемежалась с светлыми промежутками, и когда светлый промежуток приходил к концу и наступали приступы болезни, Серно-Соловьевичем овладевало сильное беспокойство и он очень мучился. Но, должно быть, состояние помешательства было еще мучительнее и томило нравственно гордого и самолюбивого Серно-Соловьевича, потому что он просил директора заведения, в котором лечился, сказать ему, когда наступит последний светлый промежуток. И доктор имел неосторожность исполнить просьбу больного. Тогда Серно-Соловьевич поставил на ночь к себе в комнату жаровню с калеными угольями, лег — и кончилась его боевая, деятельная и рано погибшая, несчастная жизнь. А впрочем, может быть, то был и лучший исход? По энергии темперамента, по пылкой страстности характера, по быстроте соображения, тонкому, ироническому уму и по беззаветности, с какой Серно-Соловьевич отдавался делу, не думая о себе, он был один из очень немногих людей того времени. И эта замечательная, протестующая и реформационная сила не нашла себе места. Мне думается, что подобные люди должны рождаться для таких эпох, как эпоха Петра Великого. Для этого типа людей требуется очень много дела, и крупного дела, а между тем их страшная сила уходит на мелочи, а подчас на дрязги.

Н. И. Костомаров рассказывает, между прочим, в своей автобиографии о литературном вечере, устроенном Тибленом в зале Руадзе, на котором читали Чернышевский и Павлов. Вечер был устроен не Тибленом, а другими; Тиблен же был только подставным распорядителем. Вечер устраивался в пользу учащихся, но известная сумма сбора была выговорена в пользу Михайлова. Воспоминанья Чернышевского о Добролюбове вызвали целую бурю криков и рукоплесканий; но главным центром вечера, против ожидания, оказался профессор русской истории Платон Васильевич Павлов, незадолго перед тем перешедший из Киевского университета в Петербургский. Около того же времени перешел на петербургскую митрополию и киевский митрополит Исидор. Павлов явился в Петербург с репутацией поколеб-

ленной. Повод же был такой: показывая знакомым киевские пещеры, Павлов делал объяснения такого рода, что монах, сопровождавший посетителей, счел долгом передать слышанное настоятелю лавры, а тот доложил митрополиту. Вот этот-то самый неблагонамеренный профессор Павлов читал на вечере статью о тысячелетии России. Статья была пропущена для публичного чтения цензурой и ничего особенного не заключала. Но Павлов в чтении изменил знаки препинания, и получился неожиданный эффект. Например, после параллели настоящего с прошедшим у Павлова стояло: «не увлекайтесь» — с простой точкой; в чтении же он произнес «не увлекайтесь» с тремя восклицательными знаками. И так он прочел свою статью. В зале стоял гул, раздавались какие-то вопли неистового восторга, стучали стульями, каблуками. Я сидел за сценой, тут же сидел, между прочим, и Некрасов, ожидая своей очереди. Прибегает взволнованный Егор Петрович Ковалевский и, обращаясь к нам, говорит:

— Удержите его, удержите! Завтра его сошлют!

Но из-за сцены удержать Павлова было невозможно; увлекаясь все больше и больше, он среди оглушительных криков публики кончил чтение и сошел со сцены. Назавтра пророчество Ковалевского сбылось: в двенадцать часов дня Павлов уехал с провожатыми в Кострому. В публике сидел между прочими оренбургский генерал-губернатор Безак. Он попал на вечер по указанию Николая Михайлова (брата Михаила Ларионовича), состоявшего при Безаке чиновником особых поручений. На другой день князь Долгорукий нашел нужным заметить Безаку, что вечер этот имел характер демонстрации против правительства и присутствие на нем официального лица едва ли было удобно.

XVII

Зима 1861 года прошла спокойно, без всяких событий, но тем не менее горизонт уже начал заволакиваться и конец года оказался роковым. Отдельные случаи, нарушавшие будничное течение жизни, например кельсиевская история, студенческое движение, прокламации, дело Михайлова, хотя и возбуждали тревоги в некото-

рой части общества и усиливали осторожность и бдительность правительства, но не обнаруживали пока решающего влияния на его поведение. Но вот летом 1862 года случился пожар Щукина двора, и в Петербурге (и тоже в известной части общества) распространилась паника. Молва, под свежим впечатлением студенческих историй, приписывала пожар студентам. Конечно, это был очевидный вздор, слух мог быть пущен даже намеренно кем-нибудь, но это не разбиралось; при всяких других обстоятельствах пожар прошел бы незамеченным (ведь Петербург видал пожары и больше, при императоре Николае сгорел даже Зимний дворец); теперь он имел роковое влияние на дальнейший ход внутренних мер и привел к последствиям совершенно неожиданным. Решено было принять деятельные меры к устранению причин, будто бы создававших волнения и поддерживавших общество в возбужденном состоянии. А причиной этого считали либеральную журналистику, и в особенности некоторых ее представителей. «Современник» и «Русское слово» были по высочайшему повелению приостановлены на шесть месяцев, и арестован Чернышевский. Обыск у него не обнаружил ничего компрометирующего, и фактических обвинений против него никаких не было. Так прошло шесть месяцев. Но вот в марте 1863 года было послано Всеволодом Костомаровым письмо к Соловьеву «До востребования» (о содержании которого я уже говорил), и затем в дорожном мешке того же Всеволода Костомарова нашлась забытая им записка на клочке бумаги такого содержания: «Вместо *срочнообязанные,* наберите везде *временнообязанные*. Н. Ч.» Для обвинительной власти такой материал представлял очень серьезное значение. Чернышевский отрицал подлинность записки и даже просил разрешить ему доказать это при помощи увеличительного стекла, но секретарями-экспертами было уже признано, что большинство букв тождественно с почерком Чернышевского, и обвинение Всеволода Костомарова было признано доказанным.

Со смертью Добролюбова, исчезновением с литературного горизонта Чернышевкого и с закрытием «Современника» кончился первый и самый яркий литературный период шестидесятых годов. Возникшие затем «Отечественные записки» новой редакции были уже иными

и по составу сотрудников, и по содержанию, и по направлению. Журнал стал серьезнее, даже ученее, но пульса жизни в нем уже не чувствовалось.

О шестидесятых годах наше общество имеет или очень смутное понятие, или ровно никакого, и я думаю, что меньше всего ясно понимали и понимают то время его порицатели. Говорят, что эпоха шестидесятых годов была временем какого-то движения, брожения, временем чего-то нарушившего стройное и правильное развитие жизни и вдвинувшегося в русский прогресс в виде постороннего клина. Все это неверно. Не было тут ни клина, ни брожения, ни нарушения, а был простой ряд логических движений мысли и естественный рост общественности. Если в этом росте оказалась деятельной только одна небольшая часть общества, а другая явилась или антитезой этого роста, или просто инертной массой, которая раз по инерции шла вперед, а потом по той же инерции остановилась или даже пошла назад, то это только исторический факт, повторявшийся и не у нас одних. У нас он вышел несколько резче и явился быстрее, обнаруживши слишком большой диссонанс с светлым, радостным и дружным возбуждением, охватившим своей увлекающей волной сначала всех. Но уже с первого движения этой волны, с первой минуты начавшегося освобождения, в стремительном потоке наметилась попятная струйка, которой суждено было наконец разрастись и расшириться настолько, что первоначальный поток и сам смешался наконец с этим обратным течением.

Любопытно, что о шестидесятых годах не появилось до сих пор ни одного известия, в котором бы не слышалось более или менее сильное скрежетание зубов. Все, что о них печаталось у нас и за границей, могло иметь только одну цель — поселить к ним ужас и отвращение, спасти русское общество от их тлетворной, разрушающей силы, изобразить их в виде самума, уничтожающего всякую жизнь и оставляющего за собою только смерть. В другом виде о шестидесятых годах «друзья» их и не писали. Начиная с Шедо-Ферроти (псевдоним), напечатавшего в 1867 году за границей книжку о русском нигилизме по-французски, и кончая Николаем Карло́вич (тоже псевдоним), напечатавшим в 1880 году, и тоже за границей, книжку о русском нигилизме

по-немецки, не имеется о шестидесятых годах ничего, кроме полемических увлечений и памфлетов. Из отечественных произведений этого рода первое место принадлежит бесспорно полемическим брошюркам г. Цитовича. Весь этот богатый материал нашел в лице известного Иоганна Шерра трудолюбивого бытописца, изобразившего русский нигилизм (непременно нигилизм) в последовательной исторической картине, начиная с Петра Великого и до наших дней (Die Nihilisten v. Joh. Scherr, Leipzig, 1885), в которой шестидесятые годы занимают одно из звеньев, соединяющих реформы Петра Великого с Первым марта. И по этой-то книжке, переполненной полемическим задором, немцы знакомятся с историей движения общественных идей в России! Если с шестидесятыми годами полемизируют Шедо-Ферроти, Николай Карлович или г. Цитович — это понять можно. Сами русские, они, охваченные водоворотом новых идей, которому хотели противиться и в котором не находили себе места, могли увлечься страстью и в пылу борьбы забыть всякое благоразумие в выборе оружия для нападения. Но о чем хлопочет немец Иоганн Шерр, которому, вероятно, нет особенных причин брать близко к сердцу русскую историю и волноваться, что в России явилось земство и гласный суд, о которых он отзывается с полемическим задором сотрудника «Гражданина». И вот историк, у которого если не Европа, то, по крайней мере, Германия принуждена знакомиться с лучшей порой русского общественного сознания. Образчик шерровской оценки шестидесятых годов читатель может увидеть из следующей характеристики Добролюбова. По словам Шерра, в Добролюбове (Чернышевском и др.) царил полнейший мрак непонимания и безграничного невежества относительно прав и нравов, литературы и искусства и всех благ и приобретений цивилизации. Шерр уверяет, что Добролюбов и писатели его направления признавали только физические, химические и физиологические процессы, а затем не допускали уже никаких психических и моральных мотивов в людских отношениях — ни брака, ни семьи, ни воспитания, ни образования (усматривая во всем этом только разные виды психического насилия); они оправдывали убийство и воровство, доказывая, что убийца не может не убивать, а вор не может не воровать. Конечно, Шерр

(написавший некогда «трагикомедию человеческой истории», но которого потом, во время франко-прусской войны, укусила муха) не повинен в том, что не читал Добролюбова ни одной строчки; но Николай Карлович и те, кто спешил переводить брошюры г. Цитовича на иностранные языки, несомненно, повинны в том, что распространяли в Европе нелепости о писателях, составляющих нашу гордость и занимающих в истории нашего литературного развития одно из первых мест.

Сущность шестидесятых годов заключалась совсем не во внешних событиях или в фактах, придававших тому времени характер некоторого своеволия. Все эти факты, заставлявшие говорить о себе, волновавшие, пугавшие или приводившие иногда к тому, что кто-нибудь то здесь, то там выходил в тираж, не составляли содержания и души времени. Прокламации могли являться, а могли бы и не являться; студенческие истории могли быть, а могли и не быть,— развитие идей и понятий от этого нисколько бы не изменилось. И в появлении новых идей и понятий не было тоже ничего произвольного, ничего такого, что могло бы быть объяснено случайностью, заносом, что походило бы на кафтан с чужих плеч. Некогда новые идеи разносила по Европе французская армия, но к нам никакая армия с новыми идеями тогда не доходила, и никакого умственного подарка мы ни от кого не получили. Все умственное движение шестидесятых годов явилось так же неизбежно и органически, как является свежая молодая поросль в лесу на освещенной поляне. Как только Крымская война кончилась и все дохнули новым, более свободным воздухом, все, что было в России интеллигентного, с крайних верхов и до крайних низов, начало думать, как оно еще никогда прежде не думало. Думать заставил Севастополь, и он же пробудил во всех критическую мысль, ставшую всеобщим достоянием. Тут никто ничего не мог ни поделать, ни изменить. Все стали думать, и думать в одном направлении, в направлении свободы, в направлении разработки лучших условий жизни для всех и для каждого. Счастливой случайностью или подарком природы были, пожалуй, те люди, которые явились как бы представителями или толкователями общих стремлений, выразили их точными идеями и указали точные формулы жизни. Да и то еще вопрос, была

ли это счастливая случайность, или она была тоже логической неизбежностью.

Умственное направление шестидесятых годов (я говорю преимущественно о литературном движении мысли), выразившееся наиболее ярко с 1859 по 1862 год, создалось не в эти годы. Оно проходит через целый ряд годов и в первый раз в своем зачаточном виде было провозглашено в 1855 году на публичном диспуте в Петербургском университете. Я говорю о публичной защите Чернышевским его диссертации: «О эстетических отношениях искусства к действительности». Задолго до публичной защиты о ней было уже известно в кружках, более близких к автору. Пекарский, как всегда не без известной таинственности и некоторого священного трепета сообщивший мне об этом, с волнением ожидал приближения знаменательного дня. Мы отправились вместе. Небольшая аудитория, отведенная для диспута, была битком набита слушателями. Тут были и студенты, но, кажется, было больше посторонних, офицеров и статской молодежи. Тесно было очень, так что слушатели стояли на окнах. Я тоже был в числе этих, а рядом со мной стоял Сераковский (офицер Генерального штаба, впоследствии принявший участие в польском восстании и повешенный Муравьевым). Во время диспута Сераковский приходил в самый шумливый восторг и увлекался до невозможности (Сераковский был горячий и увлекающийся человек). Чернышевский защищал диссертацию со своей обычной скромностью, но с твердостью непоколебимого убеждения. После диспута Плетнев (председательствовавший) обратился к Чернышевскому с таким замечанием: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!» И действительно, Плетнев читал не то, а то, что он читал, было бы не в состоянии привести публику в тот восторг, в который ее привела диссертация. В ней было все ново и все заманчиво: и новые мысли, и аргументация, и простота, и ясность изложения. Но так на диссертацию смотрела только аудитория. Плетнев ограничился своим замечанием, обычного поздравления не последовало, а диссертация была положена под сукно. Факультет, впрочем, готов был признать Чернышевского магистром, но об его диссертации счел долгом довести до сведения министра народного просвещения И. И. Давыдова,— и утверждение

не состоялось. Если Чернышевский готовился для университетской кафедры, то этот диспут, конечно, закрыл ему к ней путь, но зато он открыл ему возможность отдать теперь все свои силы журналистике. Я напомню читателям главное содержание диссертации.

Уважение к действительной жизни, недоверчивость к априористическим, хотя бы и приятным для фантазии, гипотезам — вот характер направления, господствующего ныне в науке; к тому же знаменателю следует привести и наши эстетические убеждения, говорил молодой магистрант. Наука о прекрасном, эстетика, имеет разумное право на существование только в том случае, если прекрасное имеет самостоятельное значение, независимое от бесконечного разнообразия личных вкусов. Здоровый человек встречает в действительности очень много таких предметов и явлений, смотря на которые не приходит ему в голову желать, чтобы они были не так, как есть, или были лучше. Мнение, будто человеку непременно нужно «совершенство»,— мнение фантастическое, если под «совершенством» понимать такой вид предмета, который бы совмещал всевозможные достоинства и был чужд всех недостатков. Прихотливая строгость требований ведет только к праздности, холодности и пресыщенности. Русские женщины не так красивы, как итальянки, которых рисовал Рафаэль, но как бы ни было велико наше недовольство этим, русские женщины от него не похорошеют. Недовольство действительностью совершенно бесплодно и нелепо, когда оно обращено на красоту и, напротив того, оно необходимо, когда направлено против житейских неудобств, устроенных умами и руками людей. «Прекрасное есть жизнь; прекрасно то существо, в котором видим мы жизнь такою, какова должна быть она по нашим понятиям; прекрасен тот предмет, который выказывает в себе жизнь или напоминает нам о жизни». Искусство не может создавать таких чудес красоты, каких не бывает в действительности, и оно должно воспроизводить действительность, то есть, все то, что интересно для человека в жизни. Для чего же нужно это воспроизведение? А вот для чего. Потребность, рождающая искусство в эстетическом смысле слова (изящные искусства), есть та же самая, которая очень ясно выказывается в портретной живописи. Портрет пишется не потому, что черты живого

человека не удовлетворяли нас, а для того, чтобы помочь нашему воспоминанию о живом человеке, когда его нет перед нашими глазами, и дать о нем некоторое понятие тем людям, которые не имели случая его видеть. Искусство только напоминает нам своими воспроизведениями о том, что интересно для нас в жизни, и старается до некоторой степени познакомить нас с теми интересными сторонами жизни, которых не имели мы случая испытать или наблюдать в действительности. Содержание, достойное внимания мыслящего человека, одно только в состоянии избавить искусство от упрека, будто оно пустая забава, чем оно и действительно бывает чрезвычайно часто; художественная форма не спасет от презрения или сострадательной улыбки произведение искусства, если оно важностью своей идеи не в состоянии дать ответа на вопрос: да стоило ли трудиться над подобными пустяками? Бесполезное не имеет права на уважение. Человек сам себе цель; но дела человека должны иметь цель в потребностях человека, а не в самих себе. В этом отношении чаще других погрешали поэты. Привычка изображать любовь, любовь и вечно любовь заставляет поэтов забывать, что жизнь имеет другие стороны, гораздо более интересующие человека; вообще вся поэзия и изображаемая в ней жизнь принимает какой-то сентиментальный, розовый колорит; вместо серьезного изображения человеческой жизни произведения искусства представляют какой-то слишком юный взгляд на жизнь, и поэт является обыкновенно молодым, очень молодым юношею, которого рассказы интересны только для людей того же нравственного или физиологического возраста. Наука не думает быть выше действительности; это не стыд для нее. Искусство также не должно думать быть выше действительности; это не унизительно для него. Наука не стыдится говорить, что цель ее — понять и объяснить действительность, потом применить к пользе человечества свои объяснения; пусть и искусство не стыдится признаться, что цель его — для вознаграждения человека, в случае отсутствия полнейшего эстетического наслаждения, доставляемого действительностью,— воспроизвести по мере сил эту драгоценную действительность и ко благу человека объяснить ее. Пусть искусство довольствуется своим высоким, прекрасным назначением: в случае от-

сутствия действительности быть некоторою заменою ее и быть для человека учебником жизни.

Эти прекрасные мысли, выраженные с такой страстной любовью к людям, и до сих пор дышат свежестью и будят в душе благородные чувства. Какой же увлекающей силой они явились тридцать лет назад! Это была целая проповедь гуманизма, целое откровение любви к человечеству, на служение которому призывалось искусство. Вот в чем заключалась влекущая сила этого нового слова, приведшего в восторг всех, кто был на диспуте, но не тронувшего только Плетнева и заседавших с ним профессоров. Плетнев, гордившийся тем, что он угадывал и поощрял новые таланты, тут не угадал и не прозрел ничего; он даже и не предчувствовал, что перед ним восстала во всем своем будущем величии новая идея, которой суждено овладеть всем движением мысли и указать новый путь, которым и пойдет затем наша литература и журналистика. Теперешние читатели могут заметить, что в мыслях, высказанных в диссертации, о которой идет речь, нет ничего нового; они могут сказать: «Мы все это знаем». (Мне случалось встречать таких.) Да, верно, что вы все это знаете, но откуда вы это узнали? Вы, пожалуй, даже и не узнавали ниоткуда; вы просто выросли на литературе и критике, которая вся создавалась уже по этому рецепту и шла этим путем, впервые указанным ей тридцать лет назад.

Явись эта диссертация только шестью-семью годами раньше, когда кончал Белинский и выступал В. Майков, влияние ее, конечно, не перешло бы литературных пределов. Но теперь было другое время, теперь мы уж узнали Севастополь. Общественное внимание хотя и смутно, но уже устремилось к оценке действительности. И момент не мог быть выбран более удачно, чтобы сказать обществу, что никакого другого дела у него не может и не должно быть, как только думать о своих делах. Еще внушительнее и необходимее было это указание для художников слова, раньше не знавших, о чем им следует говорить. «Говорите о жизни, и только о жизни,— возвестил им один из лучших представителей своего времени,— отражайте действительность, а если люди не живут по-человечески, учите их жить, рисуйте им картины жизни хороших людей и благоустроенных

обществ». Но эта задача была нелегкая и, во всяком случае, очень многосложная.

Россия того времени походила на ту девяностолетнюю бабу, которая во всю свою жизнь ни разу не выходила из своей деревни. Арсенал наших знаний, особенно общественных, был очень скуден. Было известно, что на свете существует Франция, король которой, Людовик XIV, говорил: «Государство — это я», и за это был назван великим; знали, что в Германии, и в особенности в Пруссии, солдаты очень хорошо маршируют; наконец, краеугольное знание заключалось в том, что Россия — страна самая большая, богатая и сильная, что она служит «житницей» Европы, и если захочет, то может оставить Европу без хлеба, а в крайности, если вынудят, то и покорить все народы. Хотя после Севастополя уверенность в непогрешимости некоторых из этих истин и поколебалась, но новых на смену их в наличности не было, и их, во всяком случае, приходилось частью создать, частью найти. Одним словом, работу приходилось начинать с самого начала, а где было это начало и как мало было у общества познаний,— приведу следующий факт, который может показаться даже невероятным. В 1863 году мне довольно часто приходилось беседовать с офицерами, моими судьями. Обыкновенно беседы эти происходили в ожидании приезда презуса [1] военного суда. В одну из подобных бесед разговор коснулся Стеньки Разина, и один из членов суда (моряк, капитан-лейтенант) выразил большое изумление, услыхав о подвигах Разина. (Это было, конечно, тем изумительнее, что монография Н. Костомарова была уже в продаже.) Тем не менее капитан-лейтенант слышал имя Стеньки Разина в первый раз. (После этой беседы я принялся за популярную статью из русской истории: «Россия до Петра Великого».) Или такой случай. При аресте у меня была взята рукопись, начало перевода первых глав двенадцатого тома «Всемирной истории» Шлоссера, где, между прочим, была глава о «крестьянских войнах». Эта глава дала повод к вопросам, на которые я объяснил, что о «крестьянских войнах» пишет Шлоссер, а я только перевожу двенадцатый том его «Всемирной истории», едва ли имеющей отно-

[1] председателя.

шение к моему делу. И все это понятно. Я учился около того же времени, как и капитан-лейтенант и другие члены военного суда, а если и не совсем в то время, то, во всяком случае, при том же воспитательном режиме. И у нас не включался в курс русской истории Стенька Разин, не был известен и Пугачев, а еще меньше сообщалось о каких-либо народных волнениях. История, которой нас учили, была история благополучия и прославления русской мудрости, величия, мужества и доблестей. Оканчивалась она царствованием императрицы Екатерины II, и все последующее время представлялось нам в виде туманного пятна с большим вопросительным знаком.

Первые статьи «Современника», до возникновения крестьянского вопроса, были чисто популярные и отвечали потребности в ближайших общих знаниях. То был ряд статей о гоголевском периоде русской литературы и затем ряд статей по Шлоссеру из его «Истории XVIII столетия». Завеса, закрывавшая до сих пор от публики политические и исторические отношения Европы, была приподнята. Картина европейских порядков оказывалась поразительною: с одной стороны — беспутство, разврат и мотовство правителей и придворных, с другой — бедствие и нищета разоренных дурным управлением народов представляли резкий контраст и вызывали поучительные сравнения. Публика читала и думала. И в это и в последующее время козлом отпущения служила обыкновенно Австрия. Несмотря на «свободу», которою теперь пахнуло и на цензуру, оказывалось все-таки невозможным обходиться без иносказательности, и Австрия, явившаяся на выручку писателей, учила и читателей проницательности и уменью понимать иносказания. Постепенно, шаг за шагом (мысль, впрочем, шагала тогда большими шагами) само собою, по инерции общество начинало думать политически и понимать, какую роль в истории народов играют государственные учреждения, то есть порядки, устроенные умами и руками людей. Начавшиеся реформы послужили лишь практическим подтверждением того, что сначала понималось лишь теоретически. Крепостное право было учреждением, уничтожение его было опять новым учреждением; все перемены, какие были предприняты тогда и в крупных и в мелких общественных отноше-

ниях, были лишь изменениями учреждений. Все эти перемены только отвечали требованиям жизни, выразителем которых являлся «Современник», занявший передовое место как орган и представитель политического и социально-экономического мышления. «Прекрасное есть жизнь; прекрасно то, что создает счастье и довольство» — стало теперь основною формулой, из которой исходило все общественное мышление и к чему стремились все желания. Но прекрасное виделось не в одном том, что делалось, но и в том, что́ должно было делаться. И такое требование не было ни увлечением, ни мечтой, а простым логическим движением мысли, вставшей на пути перемен: это было просто лозунгом всех тех, кто видел неизбежность и логическую необходимость всеобщего обновления русских условий общественного существования на началах справедливости. Не юноши только рвались вперед (эти всегда рвутся); мне случалось видеть семидесятилетних стариков, для которых «Современник» был «учебником жизни» и руководителем для правильного понимания разрешавшихся тогда вопросов. Особенную услугу оказал «Современник» общественному сознанию своей полемикой с «Экономическим указателем», находившим для крестьян более выгодным быть освобожденными без земли. «Современник» стоял за освобождение с землей, за общину, за круговую поруку. «Современник» же познакомил русское общество с исследованием Гакстгаузена. Наконец, «Современник» дал перевод Стюарта Милля с теми поправками и дополнениями, которые были необходимы для лучшего уяснения мыслей Милля или для их поправки. Для сохранения исторического беспристрастия прибавлю, что читался и «Русский вестник» (вначале). М. Н. Катков был тогда англоман и поучал английской конституции, хотя обнаруживал уже направление, стяжавшее ему впоследствии известность не особенно передового борца за общественные интересы. «Полемические красоты», несомненно, помогли публике понять вернее задачи, которые преследовал орган Каткова. И Европа точно вторила нашему общему стремлению к переменам, точно хотела поддержать в нас энергию преобразований, точно желала предостеречь от влияния доморощенных консерваторов, понимавших под консерватизмом возвращение к крепостным порядкам. Консервативный (конечно, на

английский, а не на русский лад) «Times» находил, что России совсем не приходится ссылаться на английский консерватизм. «Мы консерваторы потому, что довольны своими порядками, а чем же быть довольною России? Для нее выход — только в переменах»,— писал «Times». И путь перемен, на который мы вступили, привлек к нам симпатии Европы. Европа радовалась, что в реформенной России она найдет прогрессивного союзника и Россия перестанет изображать в европейском концерте консервативный устой и служить поддержкой европейским правительствам против их же собственных недовольных подданных. Европа еще помнила и итальянский поход императора Павла, и Венский конгресс, и Священный союз, и венгерскую кампанию.

Еще шире и общественнее стал захват «Современника», когда толкователем новой эстетической теории в применении к литературной критике явился такой высокоодаренный и полный страстной любви к людям человек, как Добролюбов. Пускай читатель прочтет внимательно его «Темное царство», чтобы оценить, к каким широким выводам привела вновь установленная точка зрения на задачи и цели литературы и искусства. Справедливо было замечено, что Островского создал Добролюбов. Но не Островского он создал, он создал нечто более важное, чем Островский. Бессознательное творчество Островского дало ему повод показать и осветить ту страшную пучину грязи, в которой ходили, пачкались и гибли целые ряды поколений, систематически воспитанных в собственном обезличении. «Темное царство» Добролюбова было не критикой, не протестом против отношений, делающих невозможным никакое правильное общежитие,— это было целым поворотом общественного сознания на новый путь понятий. Я не преувеличу, если скажу, что это было эпохой перелома всех домашних отношений, новым кодексом для воспитания свободных людей в свободной семье. Добролюбов был именно глашатаем этого перелома в отношениях, неотразимым, страстным проповедником нравственного достоинства и тех облагораживающих условий жизни, идеалом которых служит свободный человек в свободном государстве. Добролюбов пользовался всеми разнообразными средствами своего замечательного ясного ума и многостороннего таланта, чтобы очистить много-

вековый мусор нравственных понятий, накопившийся веками. Чтобы раскидать всю эту кучу непреложных истин сильвестровского Домостроя, требовался могучий работник, и таким могучим работником и был именно Добролюбов. Замечательно, какую громадную умственную работу свершили эти два человека (Чернышевский и Добролюбов) каждый в своей области и как, пополняя один другого, они составляли одно законченное целое. Всё они знали, всё они понимали, всё они могли разрешить. Едва ли в какую-либо будущую эпоху умственного пробуждения России будет возможно что-нибудь подобное этому медовому месяцу нашего общественного мышления, этому громадному напору накопившейся силы и той энергии, с какой эта сила стремилась разрушить косность и расчистить ниву для ростков новой жизни.

Добролюбов поражал своей сосредоточенной, замкнутой силой, объективным спокойствием, с каким он обыкновенно держал себя при людях, ему мало знакомых. К нему было вполне применимо замечание Гейне о неподвижном взгляде богов. У Добролюбова был именно этот взгляд богов, неподвижно устремленный как бы в беспредметную точку. Но за этим спокойным, неподвижным взглядом скрывалась затаенно-страстная, сильная и цельная натура, а внешняя спокойная бесстрастность и служила именно признаком громадной внутренней силы. Добролюбов жил в лучшую пору стремлений и надежд русского общества в наступающее светлое будущее. И он верил, и он надеялся, и с этой верой и надеждой он и умер. Я был у него за три-четыре дня до его смерти, когда он лежал у Некрасова. Это был разгар дела Михайлова, общественного возбуждения, вызванного судом над ним и студенческими историями. Я торопливо передавал Добролюбову некоторые подробности этих дел, и он, приподнявшись на диване, на котором лежал, смотрел на меня, но уже не неподвижным взглядом богов: его прекрасные, умные глаза горели, и в них светилась надежда и вера в то лучшее будущее, на служение которому он отдал свои лучшие годы и свои лучшие силы. 17 ноября Добролюбова не стало.

Я уже говорил, что смертью Добролюбова и удалением Чернышевского с литературного поприща закончился первый период шестидесятых годов. Это был самый яркий расцвет их. Теперь, во второй период шестидесятых годов, тоже очень короткий, выдвигается «Русское слово», с Писаревым во главе. Любители определений называли «Современник» журналом молодого поколения, а «Русское слово» — журналом юного поколения. Это определение, конечно, ничего не объясняет. «Современник» был чисто политическим и социально-экономическим органом, и политическое направление известного оттенка давало ему главный цвет. От этого и читатели его были по преимуществу политические, искавшие общих политических и экономических руководящих понятий. «Русское слово» не было политическим органом. Употребляя для характеристики его не совсем точное, а главное, затасканное выражение, пришлось бы назвать его органом нигилистическим. Цвет ему давало крайнее отрицательное направление, во главе которого выступили Писарев и Зайцев.

XVIII

Я познакомился с Писаревым зимой 1861 года у Благосветлова. Благосветлов был уже редактором «Русского слова» и жил в доме Кушелева, в отдельной небольшой квартире (на дворе), где помещалась и редакция.

Раз утром зашел я к Благосветлову. В первой комнате у конторки стоял щеголевато одетый, совсем еще молодой человек, почти юноша, с открытым, ясным лицом, большим, хорошо очерченным умным лбом и с большими умными красивыми глазами. Юноша держал себя несколько прямо, точно его что-то поднимало, и во всей его фигуре чувствовалась боевая готовность. Это был Писарев. Благосветлов назвал нас по фамилии, мы пожали друг другу руку и перекинулись какими-то незначительными фразами.

В ту же зиму я видел Писарева еще раза два на литературных сборищах Кушелева. Писарев совершенно стушевывался в многолюдной толпе, вероятно чувствуя себя начинающим. Тогда никто не предвидел будущего

значения этого «начинающего», и сам начинающий, конечно, тоже ничего не предвидел.

В 1862 году я оставил Петербург, и мои личные отношения к Писареву на этом и остановились. В 1863 году, когда я находился в Алексеевском равелине, я узнал от Полисадова (бывшего тогда протоиереем Петропавловского собора), что Писарев находится тоже в заключении. И к Писареву, и ко мне отец Полисадов проявлял большое внимание и часто к нам заходил. Писарев не доверял Полисадову и приписывал его посещения причинам, которых нельзя было бы оправдать, если бы Писарев не ошибался. Полисадов был в этом отношении вне всяких подозрений и держал себя умно, с тактом, и осторожно (по крайней мере, таким я его помню). От Полисадова я знал, что Писарев находился постоянно в сильно возбужденном состоянии. Был даже такой случай. Раздражившись на Полисадова, Писарев выгнал его из своей камеры и бросил за ним по коридору книгой. Полисадов отзывался о Писареве с глубоким уважением и сочувствием и видимо старался облегчить ему его одиночество.

Прошло еще года три. Писарев, отсидев срок (четыре года), в конце 1866 года был выпущен на свободу. Я жил тогда в Вологодской губернии, и Писарев, через мою жену, предложил «заботиться о моих умственных интересах», то есть попросту высылать мне книги. Я поблагодарил его за внимание и получил в ответ следующее письмо:

«Николай Васильевич! Мне было в высшей степени приятно получить ваше милое, дружеское письмо. Я часто думал о том, как бы нам хорошо было жить в одном городе, часто видаться, много говорить о тех вещах, которые нас обоих интересуют, и вообще по возможности помогать друг другу в размышлениях и работах. Виделись мы с вами, если я не ошибаюсь, счетом три раза, но я читал вас постоянно года три или четыре при такой обстановке, когда читается особенно хорошо и когда книга составляет единственный доступный источник наслаждения. Поэтому я вас хорошо знаю и давно люблю, как старого друга и драгоценного собрата.

Я предложил Людмиле Петровне служить вам по части выбора книг, но, право, не знаю, сумею ли я в

скором времени быть вам полезным. Скажу вам откровенно, Николай Васильевич, что я теперь сам не свой и что голова у меня преглупая. Я все-таки живой человек, и на меня нахлынули такие впечатления, которых я был лишен в продолжение четырех лет, когда был вашим близким соседом. Вы видите, что в письме моем нет ничего дельного и пишу я его к вам, собственно, для того, чтобы показать вам, что я очень дорожу перепискою с вами, что я вас уважаю и люблю. Надеюсь, что когда-нибудь я поумнею снова и буду иметь возможность быть вам полезным».

Письмо это было писано Писаревым вскоре после освобождения и само говорит за себя. Четыре года заключения были для Писарева временем самой производительной умственной деятельности, временем, когда он написал свои лучшие статьи, но зато и временем такого усиленно-возбужденного нервного состояния, которого бы не выдержал и чугунный организм. Сосредоточенная сила создала изумительные результаты, но зато и съела сама себя, как съедает яркая лампада масло. За крайне возбужденным состоянием последовало такое же угнетение, и Писарев вышел на свободу уже не тем, чем он был даже накануне. Ему следовало бы уехать куда-нибудь, ну хоть за границу, года на два, чтобы окрепнуть и собраться с силами, но этого не случилось, и эта замечательная сила погибла, не сказав последнего слова.

Историю заключения Писарева я слышал в таком виде. Приходит к Писареву какой-то господин (кажется, студент) и просит написать прокламацию. Писарев отвечает: «Извольте»,— и пишет. Затем у «господина» происходит обыск, находят прокламацию, спрашивают об ее происхождении, господин указывает на Писарева, и сенат приговаривает его к четырем годам крепостного заключения. Последствия заключения были, однако, для Писарева легче, чем для других, потому что он остался в Петербурге, тогда как обыкновенно за заключением следовала высылка.

Месяца через два я получил от Писарева еще письмо, но такого неожиданного содержания, что совсем расстроился. Вот сюрприз, которым поразил меня Писарев:

«Николай Васильевич! Я перед вами виноват без оправдания. Вызвавшись в разговоре с Людмилой Петровной заботиться об интересах вашей умственной жизни, я до сих пор не только не указал вам ни одной книги и не сказал вам ни одного дельного слова, но и вообще не ответил толком ни на одно из ваших писем. Теперь я пишу к вам, чтобы сообщить известие, которое, по всей вероятности, будет вам очень неприятно и, может быть, значительно уронит меня в ваших глазах. Я разошелся с тем журналом, в котором мы с вами работали, и должен вам признаться, что разошелся не из принципов и даже не из-за денег, а просто из-за личных неудовольствий с Григорием Евлампиевичем (Благосветловым). Он поступил невежливо с одною из моих родственниц, отказался извиниться, когда я этого потребовал от него, и тут же заметил мне, что если отношения мои к журналу могут поколебаться от каждой мелочи, то этими отношениями нечего и дорожить. У меня уже заранее было решено, что, если Григорий Евлампиевич не извинится, я покончу с ним всякие отношения. Когда я увидел из его слов, что он считает себя за олицетворение журнала и смотрит на своих главных сотрудников как на наемных работников, которых в одну минуту можно заменить новым комплектом поденщиков, то я немедленно раскланялся с ним, принявши меры к обеспечению того долга, который остался на мне. Эта история произошла в последних числах мая. Так как я не имею возможности содержать в Петербурге целое семейство, то моя мать и младшая сестра в начале июня уехали в деревню, а я остался, ищу себе переводной работы и веду студенческую жизнь. Теперешний адрес мой: на Малой Таврической, д. № 23, кв. 2. Вы, может быть, скажете, Николай Васильевич, что из любви к идее мне следовало бы уступить и уклониться от разрыва. Может быть, это действительно было бы более достойно серьезного общественного деятеля. Но признаюсь вам, что я на это не способен. Я решительно не могу, да и не хочу, сделаться настолько рабом какой бы то ни было идеи, чтобы отказаться для нее от своих личных интересов, желаний и страстей. Я глубокий эгоист не только по убеждению, но и по природе. До свиданья. Глубоко уважающий вас *Д. Писарев. 1867 г., 15 июня»*.

После этого письма у меня так же сжалось сердце, как если бы мне написали, что «Дело» закрывается. Журнал только что начинался (историю «Дела» я расскажу в следующей статье), начинался с верой и надеждой, что в нем опять соединятся прежние силы, опять окажется более или менее возможно продолжить на время прерванное журнальное дело, опять явится орган, безусловно необходимый для умственных интересов общества и в интересах его общественного сознания; сколько было положено труда и энергии, чтобы обойти разные мели и подводные камни, которых такую массу встретило возникавшее «Дело», и вот когда журнал был готов занять свое место, лучшая сила оставляет его. Я чувствовал, что что-то порывается, что из журнала улетает его душа, что открывается пустота, которой никому из нас, остальных сотрудников «Дела», не наполнить. Не зная подробностей размолвки и характера Благосветлова, я считал примирение нетрудным и думал, что Благосветлов не затруднится сделать первый шаг. В этом смысле я сейчас написал Благосветлову и получил от него такой ответ:

«Вы пишете мне, чтобы я подал Писареву первый руку примирения; я охотно и даже с удовольствием сделал бы это, но я перестал его уважать. А как скоро я перестаю кого-нибудь уважать, пусть горят хоть два Рима: спасать я их не буду. Не знаю, в каком виде передана вам наша размолвка... Дело было так: я поставил в объявлении между известными вам лицами имя Марко Вовчок, поставил на том основании, что она участвовала в «Русском слове» и изъявила желание участвовать в «Деле». Кажется, в этом вины еще нет особенной. На это воспоследовал вопрос со стороны этой г-жи, каким образом редакция смеет распоряжаться ее именем? Ответил я, что ведь сама же она упрашивала редакцию дать ей работу в «Деле», прибавив при этом, что «Дело» определяется только тремя именами. Затем явился Писарев и потребовал от меня, чтобы я ехал к Марко Вовчок извиняться, или он оставит журнал. Такие отношения к органу, успехом которого больше всех следовало бы дорожить именно Писареву, такой взгляд на свою общественную деятельность мне показался до такой степени мелким, что... пошляк я был бы в своих

собственных глазах, если бы позволил себе хоть один шаг сделать вперед ради таких отношений... Вы, кажется, считаете меня очень запальчивым? Нет, Николай Васильевич; никто так не дорожит хорошими человеческими отношениями, как я, и мне очень больно порывать их так резко и глупо, но что же делать в болоте, где все гниет и ползет врозь...»

Мне стало больно, что я привел эти письма, точно я оскорбил память Писарева, этого изумительно хорошего и правдивого человека, память о котором для всех, кто его знал и читал, была так же светла и ясна, как была ясна и светла его действительно чистая душа. Но эпизода этого нельзя же было вычеркнуть, когда приходилось говорить, почему Писарев, создавший «Русское слово» и затем (когда оно было закрыто) вступивший в «Дело», перешел потом в «Отечественные записки». Конечно, историк литературы сказал бы, что Писарев оставил «Дело» вследствие размолвки с его редактором. Но я еще не историк, да и читателю нужна не история, а живая жизнь, какой она была.

В этой размолвке и в обстоятельствах, ее вызвавших, не приходится искать ни правых, ни виноватых; тут просто сложились роковым образом различные случайности, и умный, блестяще умный Писарев, ум которого, по выражению того же Благосветлова, был светел и ясен, как кристалл, не выдержал ни невозможного для человеческих сил напряжения в последние четыре года, ни нахлынувших на него новых живых впечатлений. Писарев отлично это чувствовал и понимал. «Я все-таки живой человек»,— писал он. И живой человек не устоял. Надорванные силы совсем порвались, и ровно через год Петербург провожал труп Писарева на Волково кладбище.

Оставив «Дело», Писарев очутился без места в природе. Всякий заурядный писатель нашел бы себе место в каком-нибудь из второстепенных журналов, но Писареву нужно было занимать или первое место, или никакого; первое же место было возможно для него лишь в «Деле», единственном по направлению журнале, в котором Писарев мог бы найти себе полный простор. Отказываясь же от «Дела», приходилось отказываться от журналистики, и как раз в такое время, когда она походила на утлый челн, получивший пробоину. «Совре-

менник» и «Русское слово» были закрыты окончательно; остались только такие журналы, как «Отечественные записки», «Литературная библиотека», «Библиотека для чтения», «Женский вестник», «Русский вестник», в которых для писателей «Современника» и «Русского слова» места быть не могло. «Дело», едва возникшее на развалинах «Русского слова», не могло одно спасти утлого челна, готового, казалось, совсем погибнуть. Но нужно сказать к чести «Дела», что оно очень энергично боролось за собственное существование и подавало признаки сильной живучести. Место «Современника» пока еще не было занято, но и в его сотрудниках сказывалась живая струйка, и, во всяком случае, люди верили, надеялись, и пожалуй, и знали, что пробоина в утлом челне будет заделана и челн не утонет.

Вот к этому-то времени, когда и верилось и боялось, Писарев в ноябре 1867 года писал мне:

«Николай Васильевич! Я все лето собирался написать к вам, а осенью уже перестал собираться и подумал, что, должно быть, не напишу никогда. Вчера я получил ваше письмо и сегодня отвечаю на него. Вы желаете знать подробности о положении нашей журналистики. Я сам стою теперь в стороне от нее. С «Делом» я разошелся в конце мая вследствие личных неудовольствий и с тех пор не сходился с ним. Получая книжки «Дела» и видя мое имя в каждой из них, вы могли думать, что мы помирились. Но этого нет и, вероятно, не будет. В «Деле» печаталась и печатается до сих пор моя большая историческая работа, которая была отдана туда задолго до нашего разрыва и которую я не считал себя вправе брать назад, тем более что начало ее было уже отпечатано. Я не участвую ни в «Деле», ни в каком бы то ни было другом журнале. Что же у нас теперь, кроме «Дела», есть в журналистике? «Отечественные записки» — известный вам разлагающийся труп, в котором скоро и червям нечего будет есть. «Всемирный труд», в котором роль первого критика играет Николай Соловьев; «Литературная библиотека», или, вернее, собрание литературных инсинуаций и абсурдов; «Женский вестник», которого издательница

ведет постоянно до сорока процессов в мировых судах по поводу отжиливанья денег.

Все, что здесь доступно оку,
Спит, покой ценя,
Нет, не дряхлому Востоку
Покорить меня!

И, конечно, не этим журналам заманить меня. Есть действительно слухи о том, что затевается новый журнал, в котором будут участвовать некоторые из прежних сотрудников «Современника». Но эти слухи много раз проносились и оказывались ложными или, по крайней мере, преждевременными. Как бы то ни было, но до сих пор я не получил никакого приглашения участвовать в этом ожидаемом журнале. И, вероятно, я его не получу. Партия «Современника» меня не любит и несколько раз доказывала печатно, что я очень глуп. Искренно ли было это мнение — не знаю, но, во всяком случае, сомневаюсь, чтобы Антонович и Жуковский захотели работать со мною в одном журнале...»

В то время как Писарев писал мне это письмо, Некрасов уже кончил переговоры с А. А. Краевским, и с 1868 года «Отечественные записки» стали выходить под редакцией Некрасова при новом составе сотрудников. В число их вступил и Писарев. Нужно думать, что он был доволен своим положением; по крайней мере, в феврале 1868 года он мне писал, что работает в «Отечественных записках», поступивших под редакцию Некрасова. «Это журнал бесцензурный,— писал Писарев, и я пользуюсь в нем тою степенью свободы, которая совместна с интересами целого, то есть именно тою степенью свободы, которою я сам желаю пользоваться».

«Если вы будете иметь в руках «Отечественные записки» и читать в этом журнале мои работы и статьи других сотрудников, то по прошествии года вы, более чем теперь, будете в состоянии решить, насколько я был прав или неправ, приняв участие в этом журнале».

Но решить мне этого не пришлось. 10 июля Благосветлов мне писал: «Печальная новость! Писарев утонул, то есть утопился, в душевно-расстроенном состоянии. Великая потеря, если бы Писарев сделался прежним Писаревым; но если нет, то слава богу. Он умер уже давно, как умственный деятель, то есть умер в конце

Фальшивка В. Д. Костомарова и показание Н. Г. Чернышевского, разоблачающее ее: «Эта записка была мне предъявлена комиссиею, и я не признаю ее своей. Этот почерк красивее и ровнее моего. Отставной титулярный советник *Н. Чернышевский. 16 марта 1863*».

прошлого года. Я знаю, что эта скверная новость неприятно отзовется в вашем сердце, как она отозвалась в моем. Но будем верить, что люди умирают, а идеи, честные и хорошие идеи,— живут. Ужасно жалко Писарева...» Эта скверная новость действительно отозвалась на мне тяжело; положение журналистики было трудное, очень трудное, ряды наших сотрудников редели: одни отделялись по робости, другие куда-то исчезали, а тут смерть начала косить свою жатву, когда и без того людей было мало.

Действительно ли Писарев «утопился в душевно-расстроенном состоянии», или это была только догадка Благосветлова — я не знаю. Я знаю только, что Писарев уехал на лето на морские купанья в Дуббельн и в одно из купаний был вынут из воды мертвым.

Тридцатого июля Благосветлов мне писал: «Сегодня похоронили Писарева. Свинцовый гроб его (около сорока пудов) несли до самой могилы, верст пять, молодые люди, и даже молодые дамы помогали. Человек двести шло за гробом, и я радовался, что кружок умных и честных людей понемножку растет. При похоронах Добролюбова, несмотря на то что они были в ноябре, то есть при полном сборе людей, понимающих его, я видел не более пятидесяти человек. После нескольких слов, сказанных мною над могилой Писарева, две дамы, заливаясь слезами, бросились на его могилу и стали целовать ее. Я дальше не мог говорить и сам заплакал».

Писарева схоронили на Волковом кладбище, в том же месте, где лежат Добролюбов и Белинский. Тут же на могиле, во время похорон, была открыта подписка, но не на памятник, а для стипендии имени Писарева. «И без памятника не потеряется его могила,— писал Благосветлов,— а это все, что и нужно. Собрано было на могиле рублей семьсот, и авось цифра достигнет того итога, какой нужен хоть для уплаты двух матрикул двум бедным студентам».

Какая удивительная судьба! В 1860—1861 годах (будучи двадцати лет) Писарев, едва вступивший в журналистику, сразу обращает на себя внимание; следующие за тем четыре года он проводит в заключении и создает себе громкую известность и широкое влияние; обессиленный излишне напряженной нервной жизнью, Писарев выходит на свободу с надорванными силами, а че-

рез полтора года друзья и почитатели его уже плачут над его могилой. Едва ли есть другой пример так быстро и так ярко сгоревшей жизни, лишенной всего того, что люди обыкновенно зовут счастьем. У Писарева не было личной жизни и в обыденном и в необыденном смысле: сначала он к чему-то готовился, потом напряженно думал, потом, охваченный нахлынувшими впечатлениями, которых он был лишен в продолжение четырех лет, потерял равновесие и внезапно умер. И это чувство жизни, оставшееся неудовлетворенным и постоянно напоминавшее о себе, служит разгадкою характера Писарева и характера его дум и размышлений. Он, кажется, и в самом деле считал себя глубоким эгоистом и по убеждению, и по природе. Как же поступал этот глубокий эгоист и на что он потратил свою жизнь? Всю эту жизнь, все свои силы Писарев истратил, «проповедуя, несмотря ни на что и в безвыходном уединении, свою честную идею, к которой он шел прямо, не оглядываясь ни назад, ни вперед, к своей цели»,— как сказал на могиле его Благосветлов. На могиле другого такого же эгоиста, Добролюбова, Некрасов сказал: «Бедное детство в доме бедного сельского священника; бедное, полуголодное ученье; потом четыре года лихорадочного, неутомимого труда, и наконец, год за границей, проведенный в предчувствиях смерти,— вот и вся биография Добролюбова». А Чернышевский над тою же могилою и тогда же сказал: «Добролюбов умер оттого, что был честен». Биография Писарева не длиннее биографии Добролюбова, и Писарев умер от того же, что был честен. Когда опускали гроб Добролюбова в могилу рядом с Белинским, Чернышевский указал на третье свободное место и сказал: «Но нет для него человека в России». Это третье свободное место подле Белинского и Добролюбова Писарев не занял: его похоронили против Добролюбова, через дорожку.

XIX

О «Современнике» сложилось уже давно очень точное и определенное мнение; о «Русском слове» же и тогда, когда оно выходило, и после, когда о нем заходила в печати речь, редко высказывалось что-нибудь

ясное и вполне его характеризующее. Было известно лишь, что «Русское слово» есть журнал подрастающего поколения, в отличие от «Современника», который считался журналом поколения молодого. Читатели «Современника» смотрели на «Русское слово» с оттенком некоторого высокомерия, как на журнал начинающих писателей для начинающих читателей. Между теперешними зрелыми людьми вы найдете многих, считающих себя умственно обязанными во всем «Современнику» и у которых для «Русского слова» не сохранилось никаких благодарных воспоминаний. Но нужно думать, что и у «Русского слова» были свои ученики, сохранившие о нем тоже благодарную память. Когда, года три тому назад, умер Зайцев, я получил из провинции письмо от неизвестного мне корреспондента, исполненное такого трогательного уважения и таких почтительных чувств к умершему, которые могли явиться лишь к человеку, сумевшему внушить их плодотворным умственным и нравственным влиянием. К сожалению, письма этого у меня нет. Я отослал его к сестре Варфоломея Александровича Зайцева, в семействе которой все, что касается памяти его, чтится, уважается и хранится, как святыня. Неизвестный корреспондент настаивал, чтобы были изданы сочинения Зайцева и написана его биография. Сочинения его едва ли бы оказалось возможным издать, даже и помимо внешних препятствий; что же касается его биографии, несомненно имевшей бы большой и поучительный интерес, как изображение необыкновенно честного, правдивого и последовательного характера, то и ее, к сожалению, мне не удалось достать. Я очень убедительно просил одного известного писателя, хорошо знавшего Зайцева, дать для «Дела» его биографию, но получил ответ, более похожий на молчание.

В ходячей характеристике «Современника» и «Русского слова», вероятно, была и правда, вероятно, было для нее и основание, но тем не менее оценка эта не давала об этих журналах ни точного понятия, ни устанавливала осязательной между ними разницы.

Теперь, когда прошла целая четверть века, что эти журналы уступили свое место другим журналам, когда успело народиться уже новое поколение, когда нравы, понятия и сама жизнь изменились настолько, что даже не верится, что у нас были сороковые и шестидесятые

годы, делать характеристику «Современника» и «Русского слова» как журналов было бы, уж конечно, и скучно для того, кто взялся бы за эту работу, и еще скучнее для того, кому пришлось бы ее читать. Если каждый писатель не переживает своего поколения, то так же не переживает его и журнал, в котором работал этот самый писатель. Живым людям нужно живое, нужно то, чем они живут в свое время, что близко им, что заставляет их думать и волноваться, и чувствовать, и размышлять. Поэтому, говоря о «Современнике» и «Русском слове», я вовсе не думаю беспокоить тени этих сослуживших свою общественную службу публицистских органов; я буду делать собственно характеристику того времени, его течений, его направлений, его стремлений, симпатий и умственного темперамента.

«Современник» действительно был журнал более серьезный и разрешавший иные вопросы, чем «Русское слово». Может быть, это зависело от состава его сотрудников, но, пожалуй, еще больше и от времени, в которое он издавался. «Современник» начал занимать свое руководящее положение в 1855 году, когда «Русского слова» еще не существовало. Когда же «Русское слово» начало приобретать значение, то есть когда в 1860—1861 годах в нем явились Писарев и Зайцев, Добролюбов уже умер, освобождение крестьян свершилось, а вскоре выбыл из «Современника» и Чернышевский. Таким образом, «Современник» и «Русское слово» прежде всего принадлежат разному времени.

Пока не начались реформы, «Современник» отдал свои силы популяризации общих исторических понятий и первоначальных общих идей из области литературы. В это первое время, когда в жизни пахнуло чем-то освежающим и свободным, и читатели и писатели только готовились еще для того будущего, которое их ждало и было впереди. Это будущее наступило вместе с первыми идеями реформ, и задачами реформ определились и задачи журналистики. Статьи «Современника», с которыми он выступил на разрешение выдвинувшихся вопросов, составляли действительно настолько замечательное и самостоятельное явление, что даже европейская экономическая литература, считавшая за собою никак не менее ста лет, не имела у себя ничего подобного. Я перечислю только некоторые из статей Чернышев-

ского, посвященных крестьянскому вопросу. Статья по поводу «Русской беседы», об общинном владении; статья по поводу книги Гакстгаузена, «О поземельной собственности», «Критика философских предубеждений против общинного владения», «Экономическая деятельность и законодательство», «Суеверие и правила логики», «Труден ли выкуп земли?», «О необходимости держаться возможно умеренных цифр при определении величины выкупа усадеб», наконец, перевод политической экономии Стюарта Милля и примечания к нему. Затем, в области беллетристики, представителями которой явились теперь Тургенев и Островский с навеянными на них временем вопросами, содержание произведений зависело вполне от общего умственного движения. Новое содержание беллетристики, в связи с изменениями внутренних и общих условий, определило и характер критики Добролюбова. Это был плотный клубок, в котором все было тесно связано одно с другим и зависело одно от другого. Тут ничего нельзя было ни выпустить, ни прибавить,— до того все общественное мышление, какие бы оно ни принимало формы, было цельно и последовательно-логично.

И «Русское слово» создалось тою же логичностью общественного мышления. Оно явилось уже в такое время, когда острый момент всех вопросов миновал. Освобождение крестьян (худо или хорошо) теперь уже свершилось, а остальные реформы, последовавшие за освобождением, конечно, не могли заполнить всей журналистики или составить ее исключительный интерес. О судебной реформе, о земстве было достаточно двух-трех статей. Что же затем могло составить содержание ежедневной печати и журналистики, в чем могли заключаться интересы общества, что ему было нужно, о чем оно думало или хотело думать? Внутренняя политика в своих дальнейших вопросах стояла вне компетенции общества и журналистики и до обсуждения не допускалась. А между тем освобождение и новый суд, а потом и земские учреждения открывали очень широкий простор для новых вопросов и идей, непосредственно с ними связанных и как бы на время заслоненных таким грандиозным делом, как освобождение. Этим новым очередным вопросом было выяснение личности, ее положения, ее развития, ее общественного сознания и вообще ее внутреннего значения, содержания и отношения к

обществу и к общему прогрессу. До сих пор, думая о реформах и переменах в учреждениях, как бы забывалось, что их на своих плечах должна вынести личность; говорили только о новых мехах, до времени умалчивая о вине. Нельзя сказать, чтобы и о вине не было речи. О нем хорошо помнила консервативная печать, и «Русский вестник» усиленно доказывал, что, прежде чем шить новые мехи, нужно приготовить вино, то есть отложить реформы, пока подготовятся люди. Но если не приготовить раньше новых мехов, куда же влить новое вино? Кажется, прогрессивная печать была в этом отношении последовательнее.

Итак, личность как личность не составляла задачи «Современника», и задача эта досталась на долю той последующей журналистики, для которой реформы и ближайшие, связанные с ними вопросы являлись уже чем-то прошлым. Для этой части журналистики настоящее заключалось в вопросе о личности, которой теперь, как кажется, и наступила очередь занять главное внимание общества. Любопытно, что Н. Г. Чернышевский в это же время, когда Писарев выступил с разрешением личных вопросов в «Русском слове», написал «Что делать?» — роман, специально посвященный вопросу о личном счастье и лучшем личном устройстве жизни. Очевидно, что в новом движении его мысли была логическая связь с предыдущим движением.

Конечно, не Писарев и не Зайцев создали вопрос о личности; еще за много до них этот вопрос нашел в Герцене даровитого исследователя и популяризатора, как в том, что́ он писал в России начиная с «Кто виноват?», так и в том, что он писал за границей. Мне случалось встречать многих, теперь уже сорока- и сорокапятилетних людей, которые именно из Герцена усвоили себе теорию личности (и в практическом ее приложении не сделали чести своему учителю), а из Писарева, которого они хотя и читали, не усвоили ничего. Случилось это потому, что между тем, что говорил Писарев, и тем, что говорил Герцен, была разница частию в содержании, а еще более в объеме и характере их умственного захвата. Как сказали бы в то время, Герцен был эстетик, Писарев — реалист (нигилист). Поэтому Герцен был менее радикален (хотя и считался революционером мысли) и оберегал известные традиции, которых как бы не

признавал Писарев. Я говорю «как бы» потому, что и Писарев не рубил всех традиций и часто пугал и вводил в недоразумение лишь резкостью своих приговоров.

«Русское слово», взявшее на себя ответы на запросы личности, вовсе не являлось чем-то обособленным. Оно было лишь другой стороной медали, первую сторону которой представлял «Современник». Если «Современник» говорил преимущественно о новых мехах, то «Русское слово» говорило о новом вине, которое должно их наполнить. Но как «Современник», разрешая экономические, общественные и политические вопросы, не обходил вопросов бытовых и личных, так и «Русское слово», разрабатывая личные вопросы, не обходило и всех остальных. Таким образом, «Современник» примыкал своими бытовыми и личными вопросами к «Русскому слову», а «Русское слово» статьями политического, общественного и экономического содержания примыкало к «Современнику». Оба журнала, несмотря на то что хронологически шли один за другим, принадлежали к одному периоду движения общественной мысли и являлись первыми пионерами в области тех вопросов, разрешение которых сообщало им специальный цвет и характер, создало каждому законченную и определенную физиономию. Областью «Современника» были учреждения и порядки, областью «Русского слова» — интеллигентная личность.

Умственная физиономия Писарева выяснилась достаточно определенно уже в его первых статьях. Первою большою статьею, с которой Писарев выступил в «Русском слове», был «Аполлоний Тианский» (кандидатская диссертация Писарева; в собрание сочинений его она не вошла). В этой диссертации, написанной по источникам и обнаружившей большую начитанность, Писарев высказывает вполне определенный взгляд на политику, общество, религию (второе заглавие диссертации: «Агония древнего римского общества в его политическом, нравственном и религиозном состоянии») и на общем фоне картины, на первом его плане, выдвигает замечательную личность Аполлония Тианского, хотевшего обновить нравственно погибавший древний мир. Аполлония хотя и обоготворили, но учение его не нашло себе ревностных последователей, и обновить мира ему не удалось. Учение его было философией, а не религией.

Реформировать принцип существующей религии Аполлоний не мог потому, что поддерживал существующее, стараясь только подкладывать в него другой смысл, которого, однако, масса не сознавала. Восставая против отдельных уклонений от нравственности, он не дал нового, лучшего кодекса. «Мудрость оставалась замкнутою святынею и ни разу не спускалась до понимания малых сих и нищих духом»,— так кончает Писарев.

Не в том, что Писарев говорит, а в том, чего он не говорит, с чем он не соглашается и что он отрицает, видно, чего он хочет. Выбор темы для диссертации был, очевидно, навеян на Писарева обстоятельствами времени и параллелями, которые при чтении источников не могли не возникнуть в нем, как в мыслящем человеке. И величавая, строгая, серьезная личность глубоко нравственного Аполлония Тианского, остановившая на себе внимание Писарева, тоже указывает на значение, которое он уже придавал личности. Наконец, во всей диссертации проходит отрицательный прием изложения и чувствуется смелость мысли, не пугающейся никаких логических выводов и решительных заключений. Сравнительно с тем, что́ писал потом Писарев, «Аполлоний Тианский», конечно, изложен относительно скромно, потому что все-таки это была диссертация; но в то же время эта диссертация наметила уже, куда и как пойдет Писарев.

В «Схоластике XIX века», написанной года два спустя после «Аполлония Тианского» и напечатанной в «Русском слове» в одно с ним время (1861 год; статья эта, как мне помнится, тоже не вошла в собрание сочинений Писарева), Писарев выступает уже публицистом и выставляет определенную программу, которой потом и держится. «Наша изящная словесность,— говорит он,— представляет интерес преимущественно психологический, она рассматривает человека, а не гражданина. Главные пружины романического интереса обыкновенно скрываются во внутреннем развитии отдельных характеров. В этом отношении литература служит верным отражением жизни; у нас каждый занят собою и своим семейным бытом; гражданские доблести и патриотическое чувство пробуждаются только тогда, когда всем угрожает опасность. Но и тут соединяют людей отдельные личные интересы» (Писарев прибавляет: «Мне ка-

жется»). «Трудно решить a priori,— говорит он,— составляет ли эта разрозненность черту русского характера или простое временное следствие внешней организации нашего общества; но как бы то ни было, факт существует, и из него нужно извлечь пользу. Вместо того чтобы проповедовать гласом вопиющего в пустыне о вопросах народности и гражданской жизни, о которых молчит изящная словесность, наша критика сделала бы очень хорошо, если бы обратила побольше внимания на общечеловеческие вопросы, на вопросы частной нравственности и житейских отношений. В уяснении этих вопросов нуждается всякий; они затемнены и запутаны разным старым хламом, который не мешало бы отодвинуть в сторону, чтобы всем и каждому можно было непредубежденными глазами взглянуть на свет божий и на добрых людей. Наша беллетристика дает повод к обсуждению разных сторон нашей вседневной жизни; а эти стороны нуждаются в пересмотре и в расчищении. Это выразил еще в «Петербургском сборнике» талантливый и рыцарски честный человек, автор статьи «Капризы и раздумье» (Герцен), и эта мысль нашла себе полное сочувствие в теплой душе Белинского. Отношения между мужем и женою, между отцом и сыном, матерью и дочерью, между воспитателем и воспитанником — все это должно быть обсуживаемо и рассматриваемо с самых разнообразных точек зрения. И это обсуждение не должно привести к составлению законов семейной нравственности. Боже упаси! Догматизм вреден в таких отношениях, в которых не должно быть ничего условного, в которых понятие обязанности должно совершенно уступить место свободному влечению и непосредственному чувству. Выражать свои мысли и убеждения об условиях домашней жизни должно не для того, чтобы навязать эти мысли современному обществу, а для того, чтобы натолкнуть его на мысль о необходимости подвергнуть тщательному и смелому пересмотру существующие формы, освященные веками и потому подернувшиеся вековою плесенью».

Эти мысли повторяет Писарев не раз в своих последующих статьях. «Дайте мне человека, с человеком хочу возиться»,— говорит он. И этому человеку он нигде не навязывает своих взглядов, не дает ему катехизиса, не предписывает ему заповедей. Он хочет действовать, как

фермент, шевеля и расшевеливая мысль и возбуждая ее на самостоятельную работу. Он не поучает, он только думает и вызывает читателя думать вместе с собою. Вывести мысль из инерции, возбудить критическую самостоятельность мысли и пробудить личное чувство — вот все, к чему Писарев стремится и чего он желает достигнуть. В одной из статей Писарев говорит, что с каждым в жизни бывает, когда одна какая-нибудь мысль, одно слово заставляют его очнуться и приняться за внутреннюю перестройку, и тогда-то начинается генеральное выкидывание за борт. Это-то «выкидывание за борт» и есть начало того спасительного обновления, без которого невозможна разумная жизнь. И Писарев во всех своих статьях роется на всякие лады в своей душе и в душе читателя, возбуждая его на подобную работу. Считая умную и развитую личность основанием всякого порядочного общежития, Писарев заботится только о ней и думает, что всякое другое понимание общественно-критических задач не приведет ни к чему. Поэтому ему кажется, что наша литературная критика берется за дело не с того конца. Если у нас есть только личность, но нет общества, то как же судить об обществе, как наблюдать за проявлениями его жизни, когда общества нет и когда жизнь общества ни в чем не проявляется? «Задача действительно мудреная,— говорит Писарев («Схоластика XIX века»),— и за решение этой задачи критика наша берется («сколько мне кажется»,— прибавляет он) не так, как следовало бы. За неимением общества она старается его выдумать; она пытается привить к нам общественные интересы и истощается в благородных, но бесполезных усилиях; она забывает, что критика может только обсуживать существующие явления, выражать потребности, носящиеся в обществе, а не порождать новые явления и не будить в обществе такие потребности, для которых еще нет почвы в действительности». Таким образом, Писарев желает, чтобы общественно-умственное движение шло снизу вверх, а не сверху вниз, и политическим прогрессивным влияниям противупоставляет психологические влияния.

Это любопытная особенность в критике-публицисте того времени, когда шло такое сильное обновление в области политических понятий. Но это объясняется его

взглядом на политическую зрелость. В «Реалистах» он говорит: «Кто в Англии считается дураком, тот в Турции мог бы прослыть за очень порядочного человека. Когда общество доходит до известной высоты развития, тогда оно начинает требовать от своих членов, чтобы у них были определенные и сознательные убеждения и чтобы они держались за свои убеждения. Кроме обыкновенной честности, является тогда еще высшая честность — честность политическая. Воспитавши в самом себе великое чувство политической честности, общество начинает вменять его в обязанность каждому из своих членов, и тем более таким людям, которые, опираясь на свои умственные дарования, присвоивают себе право действовать словом или пером на развитие общественных убеждений». Таким образом, как бы отодвигая политическую зрелость и устраняя политику из критической области, Писарев в других своих не критических статьях отводил ей место и в политических и экономических вопросах шел рука в руку с Чернышевским. Только в вопросах бытовых и личных он держал себя вполне независимо и, при всем своем глубоком уважении к Добролюбову, обвинял его не раз в уступчивости и непоследовательности. В одном месте «Реалистов» Писарев говорит, что если бы Белинский и Добролюбов поговорили между собою с глазу на глаз, с полною откровенностью, то они разошлись бы между собою на очень многих пунктах. «А если бы мы (Писарев) поговорили таким же образом с Добролюбовым, то мы не сошлись бы с ним почти ни на одном пункте. Читатели «Русского слова» знают уже, как радикально мы разошлись с Добролюбовым во взгляде на Катерину, то есть в таком основном вопросе, как оценка светлых явлений в нашей народной жизни». Добролюбов говорит, что Катерина — «светлый луч в темном царстве», а Писарев делает ей такую характеристику: «Вся жизнь Катерины состоит из постоянных внутренних противоречий; она ежеминутно кидается из одной крайности в другую; она сегодня раскаивается в том, что делала вчера, а между тем сама не знает, что будет делать завтра; она на каждом шагу путает и свою собственную жизнь, и жизнь других людей; наконец, перепутавши все, что было у нее под руками, она разрубает затянувшиеся узлы самым глупым средством — самоубийством, да еще таким

самоубийством, которое является совершенно неожиданно для нее самой». Оценку Добролюбова Катерины Писарев называет увлечением; он говорит, что Добролюбов поддался порыву эстетического чувства и что «ни одно светлое явление не может ни возникнуть, ни сложиться в «темном царстве» патриархальной русской семьи, выведенной на сцену в драме Островского».

В возражениях, которые делал Добролюбову Писарев, выразилась только его последовательность. Писарев глубоко уважал Добролюбова. Но он не мирился с тем, что́ называл «эстетикой», которую он считал игрой в красивые слова и чувства, самым прочным элементом умственного застоя и самым надежным врагом разумного прогресса. Конечно, Писарев понимал эстетику только в этом смысле, то есть как помеху для здравого критического анализа явлений жизни, чувств и поступков людей, а не в том, что сапоги — выше Шекспира. «Литературные противники нашего реализма,— говорит Писарев,— простодушно убеждены в том, что мы затвердили несколько филантропических фраз и во имя этих афоризмов отрицаем сплошь все то, из чего нельзя изготовить обед, сшить платье или выстроить жилище голодным и прозябшим людям». Конечно, подобные обвинения не были серьезны и делались лишь в пылу полемического задора, который Писарев имел талант вызывать.

Проповедуя, что только мысль может переделать и обновить весь строй человеческой жизни, Писарев называл безусловно полезным только то, что заставляет людей задумываться и что помогает им мыслить. «Конечная же цель всего нашего мышления и всей деятельности каждого честного человека,— говорит Писарев,— состоит все-таки в том, чтобы разрешить навсегда неизбежный вопрос о голодных и раздетых людях; вне этого вопроса нет ничего, о чем бы стоило заботиться, размышлять и хлопотать». И, перенося эту цель в область художественного творчества, Писарев требовал, чтобы поэт, например, понимал вполне глубокий смысл каждой пульсации общественной жизни, чтобы поэт знал и понимал все, что в данную минуту интересует самых лучших, самых умных и самых просвещенных представителей его века и его народа, и чтобы каждый писатель писал, как Бёрне, кровью своего сердца и соком

своих нервов. «Кто пишет иначе, тому следует шить сапоги и печь кулебяки».

Как высоко ставил Писарев призвание и задачи поэта, читатель увидит из следующей, довольно длинной выписки из «Реалистов», которую я считаю необходимым сделать в умственных интересах самого читателя, если он недостаточно знаком с Писаревым. «Чтобы действительно писать кровью сердца и соком нервов, необходимо беспредельно и глубоко сознательно любить и ненавидеть. А чтобы любить и ненавидеть и чтобы эта любовь и эта ненависть были чисты от всяких примесей личной корысти и мелкого тщеславия, необходимо много передумать и много узнать. А когда все это сделано, когда поэт охватил своим сильным умом весь великий смысл человеческой жизни, человеческой борьбы и человеческого горя, когда он вдумался в причины, когда он уловил крепкую связь между отдельными явлениями, когда он понял, что́ надо и что́ можно сделать, в каком направлении и какими пружинами следует действовать на умы читающих людей, тогда бессознательное и бесцельное творчество делается для него безусловно невозможным. Общая цель его жизни и деятельности не дает ему ни минуты покоя; эта цель манит и тянет его к себе; он счастлив, когда видит ее перед собою яснее и как будто ближе; он приходит в восхищение, когда видит, что другие люди понимают его пожирающую страсть и сами с трепетом томительной надежды смотрят вдаль, на ту же великую цель; он страдает и злится, когда цель исчезает в тумане человеческих глупостей и когда окружающие его люди бродят ощупью, сбивая друг друга с прямого пути».

Предъявив поэтам такое требование, Писарев не мог не прийти к заключению, «что у нас поэтов нет, никогда не было, никогда не могло быть и, по всей вероятности, очень долго еще не будет». «У нас,— говорит Писарев,— были или зародыши поэтов, или пародии на поэта». К зародышам он причисляет Лермонтова, Гоголя, Полежаева, Крылова, Грибоедова, а к пародиям — Пушкина и Жуковского. Первые остались на всю жизнь в положении зародышей, потому что им нечем было питаться и некуда было развиться; силы у них были, но не было ни впечатлений, ни простора. Что же касается «пародий», то Писарев относится к ним очень сурово.

Он думает, что Жуковский и Пушкин (процветавшие, «яко крин», и щебетавшие, как птицы певчие) ничем уже не связаны с современным развитием нашей умственной жизни и потому имена их должны скоро забыться или превратиться для русских людей в такие же пустые звуки, в какие уже давно превратились имена Ломоносова, Сумарокова, Державина. «С именем Жуковского уже свершилось это превращение,— говорит Писарев,— но Пушкина мы все еще не решаемся забыть, или, вернее, мы боимся признаться самим себе, что мы его почти совсем забыли».

Этот страстно и последовательно мысливший, отважный и бесстрашный идейный боец, в течение многих лет лишенный живых, непосредственных впечатлений и оттого думавший еще сосредоточеннее, должен был на тех, кого он звал эстетиками, производить своими решительными приговорами весьма понятное впечатление. Конечно, эстетики не могли думать так, как думал Писарев, и мало того, что они не могли думать, как он, они не были в состоянии и понять, почему он так думает. Следовательно, исчезала даже малейшая возможность для умственного сближения. Отсюда неизбежно должно было получиться то ауканье, о котором говорит Писарев, разъясняя отношения Базарова к его старикам. Базаров, по сравнению Писарева, взобрался слишком высоко на дерево, откуда и ходу нет назад и спуститься невозможно, а старикам так же невозможно подняться кверху. И Писарев не мог не забраться на крайние умственные верхи, не мог ни думать иначе, ни говорить иначе. В Писареве свершалась глубокая и сильная внутренняя работа и полная перестройка понятий, которая при его страстности принимала чуть не горячечный характер. Это был целый громадный внутренний переворот, справиться с которым мог только очень сильный ум, способный глядеть лишь вперед и расставаться без жалости с тем, что оставлял он назади. Такой именно ум и был у Писарева. Масса новых открытий и истин, созданных колоссальными успехами новейшего естествознания и точных наук, и новейшие исследования в области политических и экономических знаний вошли в него какой-то светозарной силой, разлили повсюду свой свет и осветили все его умственные потемки. И всем своим существом Писарев почувство-

вал, что только в этом свете и заключается та истина, которая, наполнив все его существование, составляет нескончаемый источник его умственного и нравственного существования. Насколько страстно Писарев воспринял этот новый свет, настолько же он явился и страстным проповедником тех новых мыслей и идей, которые этот свет в нем вызвали. Несмотря на массу работы, которую Писарев произвел, он считал ее еще далеко не оконченной. Он хотел перебрать и пересмотреть всю массу литературных памятников, оставленных нам отжившими поколениями, чтобы выбрать из этой массы то, что может содействовать нашему умственному развитию и объяснить, каким образом мы должны распоряжаться этим отборным материалом. «Такая обширная задача,— говорит Писарев,— не по силам одному человеку, но я, с своей стороны, постараюсь все-таки со временем подвинуть это дело вперед, представляя моим читателям ряд критических статей о тех писателях, которых чтение я считаю необходимым для общего литературного образования каждого мыслящего человека». Статья «Пушкин и Белинский» была, кажется, началом этой работы, которой Писареву окончить не пришлось.

Значение Писарева заключается не в умственном наследии, которое он оставил. Пройдет еще несколько лет, и его так же не будут читать, как не будут читать тех авторов, по поводу которых он писал. Писарев был слишком живой человек, слишком человек своего времени, чтобы не жить исключительно его горестями и радостями. Время вызвало его и на всю ту работу, которую он произвел и которую он сознательно считал необходимою. К Писареву вполне применимо то, что он говорит о Белинском, подобном же страстном и искреннем борце за истину и просвещение. «Для мыслителей, подобных Белинскому, необходима живая и беспрерывная умственная связь с настоящими страданиями и радостями настоящих людей. Для них необходимо размышлять о действительной жизни и откровенно передавать свои размышления всем тем людям, которые могут и желают их понимать. Эти мыслители только тем и счастливы, только тем и живут, что пробуждают в человеческих умах деятельность мысли и сознательное стремление к разумному, светлому и далекому, очень далекому будущему». И вся литературная критика Писарева

имела этот же жизненный характер; ему было нужно не литературное произведение, а люди, которые в нем изображены, чтобы разобрать, как они живут, чем они сами себе портят жизнь и отчего они несчастны. Поэтому, вероятно, найдутся историки литературы, которые затруднятся поставить его имя рядом с Белинским и Добролюбовым.

К Писареву совсем неприменим обыкновенный прием оценки писателей. Все его идеи как бы концентрируются на его собственной личности, на его внутренних силах; это не ученый, оставляющий какое-нибудь открытие, не мыслитель, создающий руководящую систему; Писарев не сделал никакого открытия и не создал никакой системы. Во всем, что он писал, вы чувствуете на первом плане его собственную личность, с обуревающими ее вопросами, с открыто происходящей внутри ее работой, заключающейся не столько в указании того, что́ нужно для правильного вывода, сколько в отрицании того, что́ ему мешает. Писарев очень хорошо понимал, что именно в этом приеме и заключалась его сила, и в положительные построения не пускался, желая лишь возбуждать мысль и ее критическую самодеятельность. Поэтому он и своих мыслей и заключений не считал ни безошибочными, ни обязательными. Отрицая умственный деспотизм и требуя не того, чтобы с ним соглашались, Писарев хотел, чтобы каждый думал самостоятельно и сам, без частных указаний, устраивал свою жизнь на общих началах правды, добра, любви и справедливости. В этом и заключалась теория эгоизма, которую он проповедовал.

XX

«Русское слово» было так же невозможно без Зайцева, как оно было невозможно без Писарева. Только вместе, пополняя один другого, они составляли одно целое, совершенно как в «Современнике», в котором цельность была возможна лишь при совместной работе Чернышевского и Добролюбова.

Разница между Писаревым и Зайцевым заключалась не в содержании их идей — они думали одинако, а в употреблении, которое они из них делали. Писарев был пропагандист, Зайцев — боец; Писарев проклады-

вал широкую дорогу и рубил крупные деревья, Зайцев занимался больше подробностями этой дороги. Писарев бил более сильным и далеким ударом, Зайцев — ударами близкими, мелкими и частыми. Соответственно этому разному характеру сил была разница и в том, что они писали. Писарев вел критический отдел, Зайцев — библиографический листок. Но читатель очень ошибется, если подумает, что этот листок Зайцев вел, как ведут обыкновенно библиографию. У Зайцева библиография была не сухим и скучным отзывом о книгах,— это была пропаганда и публицистика в форме библиографии, живая, горячая, боевая, писанная именно кровью сердца и соком нервов. Каждый отдельный отзыв заключал в себе цельную, законченную мысль, и все эти отдельные мысли составляли одно законченное общее, проникнутое одной идеей. Зайцев имел хорошее специальное (сколько мне помнится, он был медик) и широкое, законченное образование. Поэтому Зайцев во всех областях — в литературе русской и иностранной, в истории, политике, естествознании — чувствовал себя хозяином и, как хозяин, распоряжался со своим материалом, сообщая ему ту или иную группировку. Теперь этот прием не практикуется, да, может быть, он и не нужен; но тогда, когда читатель рос и воспитывался иа общих идеях, для публицистского органа, как «Русское слово», именно этот-то прием и был силой, ибо сообщал журналу полное единство.

По темпераменту и складу понятий Зайцеву удавались больше всего политические, боевые статьи, как большие, так и малые; в них была вся его сила, и он это знал. Статьи критические и теоретические ему не удавались и проходили незамеченными (их, впрочем, он почти и не писал). Но зато там, где требовалось напасть на противника, подметить слабые стороны, выискать нелепости и противоречия, Зайцев был незаменим и неподражаем. Свежесть, молодость, последовательность, свободное и игривое изложение делали каждую библиографию и политическую статью Зайцева цельной, живой, блестящей вещью, читать которую было истинным наслаждением. Яркий талант Зайцева не мог не привлекать к нему симпатий свежих и молодых читателей, и те, кто его читали, так же не забудут его, как и своей молодости.

Но не один талант составлял привлекательность Зайцева. К нему тянула его искренность, правдивость и та не знавшая никаких уступок страстность, с какой он обличал всякую фальшь и ложь, с какой он выступал на защиту всего слабого и претерпевающего. Привлекали не одни его хорошие слова, а то, что чувствовались у него и такие же хорошие дела.

Кроме библиографического листка и отдельных статей, Зайцев давал время от времени обзор текущей печати под общим заглавием «Перлы и адаманты русской журналистики». Для такого искусного открывателя перлов и адамантов, каким был Зайцев, время было особенно благоприятно. Внешние события (начиная с 1862 года) заключались в пожаре Щукина двора, в приостановлении «Современника» и «Русского слова» на полгода и в польском восстании. События эти произвели полный переполох в общественном мнении и совершенно подавили журналистику. Растерянность ее была до того велика, что писатели, казалось, вполне установившегося образа мыслей складывали свое либеральное знамя и переходили в издания, в которых они прежде считали бы за стыд работать. Что же касается таких журналов, как «Библиотека для чтения», «Отечественные записки», «Эпоха» Достоевского, сменившая его же «Время», и даже либеральный «Голос» («Русский вестник» уж и раньше начал обнаруживать твердость), то они в одно и то же время старались делать и шаг вперед, и шаг назад. С одной стороны, они чувствовали, что нельзя не идти вперед, с другой — их пугало, что либерализм порождает нигилизм, а нигилизм приводит к событиям. Впрочем, более последовательные, не затрудняясь ни колебаниями, ни сомнениями, ополчились без всяких размышлений против «нигилистов» и «стриженых барышень», точно это они произвели все смуты и польское восстание. Дошло даже до сравнения нигилистов с коровами. Так, один московский поэт сказал, что нигилист обязан уважать корову как свою родственницу, но находящуюся пока в диком и необразованном состоянии.

Вот в это-то время общего умственного омрачения и явился ряд таких общественно-обличительных романов, как «Взбаломученное море», «Некуда», «Марево», и в каждой книжке каждого журнала проскакивало

какое-нибудь обвинение против нигилистов, а кстати (чаще — некстати) приплеталось и «Русское слово». Растерявшаяся журналистика ничего не могла сообразить и решительно не знала, о чем ей думать и как думать. «Отечественные записки» впали, по выражению Зайцева, в детство, «Библиотека для чтения» печатала в одно время и «Некуда», и статьи Евгении Тур, совмещая, таким образом, несовместимое и раскрывая свою полную умственную наготу; такой же наготой отличалась и «Эпоха», которую, впрочем, она старалась прикрыть «почвой»; что же касается беллетристики, то, как сказал Зайцев, она и драмы перекладывала в романы («Разлад» Я. Полонского). Характеризуя это умственно-смутное время, «Эпоха» сказала, что «славянофилы победили», а «Московские ведомости» — что общество отрезвилось. Какими же внешними признаками выразилась «победа славянофилов»?

Когда общество и журналистика усумнились в самих себе, когда все разбежались врассыпную и недавнее еще умственное возбуждение сменилось умственной паникой, жизнь, отвернувшаяся от общественных задач, потеряла всякий смысл, а умственные силы, направлявшиеся раньше на разрешение общественных вопросов, оказались теперь свободными. Томительное душевное состояние, явившееся вслед за этой паникой, охватившей общественную мысль, разрешилось, как и всегда в подобных случаях, отыскиванием лично виноватых и обвинением друг друга. Вместо рассуждения об общих делах теперь стали говорить о личных, и, вместо того чтобы успокоить встревоженную мысль на общих идеях, раздраженное и неудовлетворенное личное чувство искало дела в личной полемике. Полемика, точно поветрие, точно повальная болезнь, охватила всех, и никогда еще не доходила до таких поистине чудовищных размеров, когда исчез не только всякий такт и благопристойность, но исчез даже всякий стыд перед печатным словом. Противники подыскивали самые крупные и отборные ругательства, и нужно отдать полемизаторам справедливость, что они ушли по этому пути так далеко, что уж дальше идти было некуда. В виде небольшого образчика той художественности, до которой дошла теперь полемика, приведу одно полемическое выражение «Отечественных записок» (Дудышкина). Жур-

нал этот сказал, что «Русское слово» только тем и дышит, что пережевывает мертвую слюну Добролюбова. «Перебранки,— говорит Зайцев, перечисляя перлы и адаманты журналистики,— доходящие до таких изумительных непристойностей и составляющие главную и самую видную часть журналистики, свидетельствуют о плачевном состоянии литературы. Они показывают, что область, подлежащая литературе, доведена до самых микроскопических размеров, что на ней не осталось ровно ничего, кроме самой журналистики и личностей, подвизающихся на поприще ее. Журналы друг другу и сами себе опротивели до крайности, но за неимением другого дела должны заниматься друг другом, что не способствует смягчению и умиротворению их взаимных отношений. Дело доходит, наконец, до того, что существование какого-нибудь направления в журнале объявляется нелепостию, подвергается шуткам и насмешкам. Возвещается, что в жизни нет ничего, что бы могло дать журналу какое-нибудь направление» (слова «Библиотеки для чтения»).

Даже «Современник» и «Русское слово», журналы, отличавшиеся наибольшим самообладанием, были увлечены общим настроением. Разноречие между «Русским словом» и «Современником» (редакции гг. Антоновича и Жуковского) началось с появления «Отцов и детей». Критик «Современника» и Писарев резко разошлись во взглядах на этот роман. Находя, что Тургенев отнесся несочувственно к своему герою и, следовательно, питает подобное же несочувствие и ко всему молодому поколению, «Современник» отозвался не только очень резко о самом романе, но даже отрицал и существование базаровского типа, считая его за карикатуру. Напротив, Писарев, оставляя в стороне намерения Тургенева, высказал, что подобный тип не только существует, но что он даже полезен обществу. Тургенев, как эстетик и человек другого поколения, разумеется, не мог уловить и вполне выяснить черты своего героя, но отнесся к нему, как к представителю современного реализма, беспристрастно. Критике осталось только разъяснить и дополнить черты, которые Тургенев упустил из виду. Таково было мнение Писарева. Через два года после первого обмена мнений в 1862 году «Современник» в разгаре общего полемического настроения, разбирая «Взбаломученное море» Писемского, снова коснулся Базарова

и хотя не назвал критика «Русского слова», но по его адресу послал фразу о «критиках-детях» и о «простоватых слушателях, принимающих за комплименты деликатные колкости Тургенева», статью же «Нерешенный вопрос» («Реалисты») принял как прямой вызов. «Русское слово», однако, уклонилось на этот раз от полемики и ответило короткой заметкой, что не желает полемизировать, потому что сознает всю бесполезность полемики, особенно в такое время, когда она, «кроме удовольствия нашему журнальному стаду», не может оказать существенных услуг литературе. Писарев не только уклонился от полемики, но в «Нерешенном вопросе» взял на себя защиту базаровского типа от клеветы, которую взвела на него остальная журналистика, и задумал показать значение базаровского элемента в жизни общественной и семейной, в науке и искусстве. Защищая базаровский тип, Писарев защищал собственно молодое поколение. Но что могла поделать эта защита и кого мог успокоить и убедить голос одного Писарева, тем более что причины общего разъединения лежали не в базаровском типе.

К этому времени применяется вполне то, что писал мне Благосветлов двумя годами позже по поводу «Дела», из которого ушли Писарев и Зайцев. «Причина разъединения лежит не во мне,— писал Благосветлов,— а в духе времени, в том боязненном настроении общества и в личных интересах, которые управляют всем. И Писарев и Зайцев — оба утонули в этой каше. Я подал бы всегда руку примирения своему злейшему врагу ради общего хорошего дела, но бесполезно. Достаточно какой-нибудь сплетни, чтобы опять разъединить и поссорить. Плохо наше молодое поколение...»

Конечно, в поводах к этому письму примешивалось немного личного чувства и самого Благосветлова, но что настроение было вообще болезненное, что разъединение было той кашей, в которой утонули даже лучшие люди, что раздор проник в самое сердце журналистики — в этом Благосветлов не ошибался. В зиму 1865/66 года жил я уже в Вологодской губернии и получил от Зайцева приглашение вступить в коалицию против Благосветлова. Предполагалось свершить coup d'etat[1] и устра-

[1] государственный переворот.

нить Благосветлова (не помню, от главенства или совсем от журнала). Зайцев уже списался с Писаревым, находившимся в заключении, и получил его согласие. Мне казалось, что, заняв втроем место Благосветлова, мы все-таки не разрешили бы общего вопроса,— кто-нибудь оказался бы четвертым, то есть вне нас троих; кроме того, мне не думалось, чтобы в том положении, в котором мы все тогда находились (один только Зайцев был на свободе), было возможно ведение журнала, и в этом смысле я ответил Зайцеву. Характерно, что к этому же времени относится и намерение сотрудников «Современника» свершить нечто подобное с Некрасовым. Разлад и разъединение чувствовались везде и во всем, но скоро стало и еще хуже...

В 1866 году «Современник» и «Русское слово» были запрещены совсем, но это было лишь видимою смертью этих двух главных представителей журналистики шестидесятых годов. «Современник» уже умер со смертью Добролюбова и удалением Чернышевского. «Русское слово» жило дольше потому, что жить начало позже, но и оно готовилось к смерти и само не могло существовать при тогдашних общественных условиях. Когда я приглашал к участию в «Деле» Зайцева, и мне еще верилось, что от нас самих, то есть работников, зависит вернуть лучшие журнальные времена, и в числе доводов указывал на умственные интересы молодого поколения, то Зайцев мне ответил, что из личных причин готов бы согласиться на мое предложение. «При этом, конечно,— писал он,— я нимало не увлекался теми соображениями об интересах молодого поколения, которые вы представляли мне. Я слишком хорошо знаю сущность журналистики нашей, чтобы связывать с ней что бы то ни было высокое, хорошее и честное. Восстановление прежнего «Русского слова» — дело невозможное ни при каких условиях, а тем более при нынешних. Это невозможно, как нельзя возвратить себе юношеские годы с их иллюзиями, как нельзя забыть опыт жизни и все пережитое до сих пор».

<ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАБРОСКИ>

20 сентября 1883 года

Лет десять назад, после разговора о моей поездке в Сибирь, Григорий Захарьевич Елисеев заметил: «А вам бы написать свои воспоминания». Мысль эта, высказанная Елисеевым, может быть, вскользь, мне понравилась. Лет через пять, живя в Выборге, я написал кое-что о моем первом знакомстве с Пекарским, Михайловым, Чернышевским. Не знаю, нашлось ли бы время продолжать то, что я начал в Выборге, если бы не похороны Тургенева.

Не вчера и не сегодня начались нападки на людей шестидесятых годов, но после убийства Александра II, с воцарением Александра III, когда убийство его отца прямо приписывали влиянию идей шестидесятых годов, единственная цель правительственной политики заключалась в том, чтобы и людей и понятия шестидесятых годов совсем стереть с лица земли.

Смерть Тургенева вызвала целую газетную литературу. Пришлось освежить в памяти многое уже пережитое, а пожалуй, и забытое. Пришлось вновь определить значение Тургенева, его влияние на свое время, его отношение ко времени, к которому он не принадлежал, и к «молодому поколению», которого он не понимал и против которого у него был «зуб». В литературной деятельности Тургенева «Отцы и дети», эта история двух поколений, явилась рубежом его собственного общественного значения. По ту сторону стоял молодой Тургенев, поклявшийся когда-то бороться против крепостного права, а по сю — Тургенев, протестующий против тех, кто тем же путем пошел дальше. В воспоминаниях Тургенева

все его симпатии обращены только к сверстникам. Затем идет ряд других лиц: Добролюбов, Писарев и целое новое умственное движение, которому Тургенев не сочувствует и которого он не одобряет. Может быть, Тургенев и более прав, чем я, но меня глубоко задела его несправедливость, его субъективность, от которой не спасла его даже художественность. Человек, который должен был быть другом, поставил себя врагом, человек, обвиняющий Добролюбова, что он статьей против Кавура сыграл в руку врагам, повторил то же самое. И Тургенев действительно сыграл в руку врагам той самой свободы, которой он хотел служить. То было величайшее недоразумение, с которым Тургенев и умер. А сколько людей с подобным недоразумением живо. Сколько из них даже и не подозревают, чем они обязаны шестидесятым годам, какой толчок дали эти годы всему последующему движению русской мысли. Я знаю, что мои воспоминания не суд истории, восстанавляющий истину, но я просто не могу молчать, когда чувствую несправедливость и вижу неправду. Мне и обидно и досадно не только за истину, но и за тех лучших, чистейших и умнейших людей, которых шестидесятые года выставили в лице Чернышевского, Писарева, Добролюбова и именем которых зовется целое время. При торжестве этих идей я, может быть, не говорил бы ни слова, но теперь, когда против движения шестидесятых годов и правительство и газетная печать, когда защитники Тургенева позволяют себе клеветать на Лаврова и позорят себя шутками на его счет или уверяют, что Тургенев с сожалением смотрел на политическое движение молодежи, я даже считаю позорным не протестовать и трусливым молчанием играть позорную роль отступника. Достаточны или недостаточны для других эти причины, чтобы мне писать мои воспоминания, но для меня эти причины настолько повелительны, что я решился.

Когда в Петербурге сделалось известным, что нас разбили под Черной, я встретил на улице Пекарского. Тогда он еще не был академиком. Пекарский шел опустив голову, выглядывал исподлобья и с подавленным и худо скрытым довольством; вообще он имел вид за-

говорщика, уверенного в успехе, но в глазах его светилась худо скрытая радость. Заметив меня, Пекарский зашагал крупнее, пожал мне руку и шепнул таинственно, в самое ухо: «Нас разбили».

Пекарский начал свою карьеру в пятидесятых годах маленьким чиновником в удельной конторе и принадлежал к людям новой формации. Их признаком было чиновное бескорыстие, в провинции тогда не особенно частое. Новая формация в эпоху движения составляла целую массу «тайных учеников» и «Никодимов». Карамзин назвал бы их либералистами. Это были люди искренние и честные, они гордились чиновным бескорыстием, что тогда было редкостью, но немножко трусливее и уже вовсе не...[1]. Они служили в правительственных канцеляриях и в то же время разносили революционные прокламации; секретари сената предупреждали о вопросах, которые будут задаваться политическим преступникам; плац-адъютанты устраивали свидания с заключенными, передавали им записки, жандармы и полицейские чиновники предупреждали об обысках и об арестах, дочери жандармских штаб-офицеров посылали букеты политическим каторжникам. Это было время, когда все перепуталось, все соскочило с рельсов и Николай Серно-Соловьевич передал государю лично в руки в Царскосельском саду проект конституции. Но русский штоф был крепко запечатан и после пожара Щукина двора. Во время революционного движения в 1848 году во Франции явилась карикатура. Себя Франция изобразила в виде бутылки шампанского, из которой вырвало пробку и разнесло и трон, и корону, и закон. Россия изображалась в виде штофа, в котором не шевелилась ни одна искорка, а на пробке сидел император. В шестидесятых годах русский штоф запенился и зашумел, но на нем сидел Александр II еще крепче, чем Николай I. К тому времени, как я встретил Пекарского, в русском штофе явились искры, и со дна его начали подниматься пузырьки. Но недовольство еще не смело поднять голову и злорадствовало втихомолку. Новая формация смутно чувствовала необходимость перемен, в русском воздухе дышалось еще очень трудно, преступлением считалась даже мысль. Но как Николай ни сидел плотно

[1] Пропуск в рукописи.

на пробке, какие он ни строил стены, идеи, как птицы, не хотели знать политической географии и перелетали к нам контрабандою в одиночку. Молодежь читала под сурдинкой историю великой французской революции, «Историю десяти лет» Луи Блана, читала Фейербаха, Прудона, Кабэ, Сен-Симона, как раз все то, что особенно запрещалось, и пропитывалась революционными мыслями и чувствами. Что бы сталось с Россиею, если бы мы победили, решать незачем. Но уже, конечно, время реформ отодвинулось бы и история России в наше время была бы иной. Но победили не мы. Перед началом Крымской войны повсюду распевали патриотическую песню, сочиненную актером Григорьевым:

Вот в воинственном азарте
Воевода Пальмерстон
Поражает Русь на карте
Указательным перстом.

Французы, узнав об этой песне, ответили, что они имеют привычку петь не в начале, а в конце. И в конце пришлось петь действительно не нам.

Впрочем, наше патриотическое увлечение не доходило до чувств двенадцатого года; правда, и война была не народная, да и дух уж был не тот: в воздухе носился патриотический либерализм, и число радующихся поражениям увеличивалось. Наконец, оказалось, что защищать Севастополь больше нельзя: нет ни денег ни людей. Николай умер.

Надо было жить в то время, чтобы понять ликующий восторг «новых людей», точно небо открылось над ними, точно у каждого свалился с груди пудовый камень, куда-то потянулись вверх, вширь, захотелось летать.

Причина смерти Николая не осталась тайной. Рассказывают, что, позвав своего лейб-медика Мандта, Николай велел ему прописать порошок. Мандт исполнил, Николай принял. Но когда порошок начал действовать, Николай спросил противоядие. Мандт молча поклонился и развел отрицательно руками. Рассказывают еще, что Николай покрылся своей походною шинелью и велел позвать своего внука, будущего Николая II (умер в 1865 году), и сказал ему: «Учись умирать». Если это и анекдот, то он нисколько не противоречит общему характеру Николая. Народная молва заговорила об от-

равлении сейчас же после смерти Николая, и, конечно, Мандт поступил благоразумно, удрав за границу.

Николай оставил целую массу людей, боготворивших его. Во внешности Николая было столько властительски обаятельного, что он не мог не нравиться, особенно женщинам. Какое впечатление он способен был производить, я представляю себе из одного воспоминания моего детства. Раз Николай приехал в корпус, где я воспитывался, и приказал построиться для ученья. Николай стоял перед фронтом и выдавался настолько выше всех и ростом, и своим величественным видом, что я только одного его и видел. В памяти у меня огромный зал — мы, кадеты, фронтом, грозная фигура Николая да жалкий, испуганный, с опущенной головою штабс-капитан фон-дер Ноне. Фон-дер Ноне стоял в середине фронта, в общем строе между двумя ротами, и при одной команде сделал ошибку полусаблей.

Николай взглянул на него так, что он побледнел, задрожал и у него вывалилась из рук полусабля.

Помню еще, что на парадах я проникался каким-то особенным чувством, которого определить и назвать одним словом не умею. Стоишь, бывало, на солнопеке на Царицынском лугу в полной амуниции и держишь «на караул» больше часу и не шевельнешь ни одним пальцем, точно замрешь, а музыка, трубы, барабаны производят какое-то головокружение, сердце бьется, замирает, и хорошо и страшно; хорошо оттого, что много шума, а страшно — не знаю отчего. Вообще мы росли в каком-то бессознательном страхе перед властью, и вполне я освободился от этого чувства только очень поздно.

Наследник, впоследствии Александр II, слыл очень добрым и мягкосердечным и, как все наследники, стоял в оппозиции. Но вот характеристика его, сделанная женою Суворова, княгиней Александрой Аркадьевной, характеристика, оказавшаяся пророчеством. Николай, по словам Суворовой, благоговевшей перед ним,— образец чести, благородства, твердости и рыцарских чувств, «а этот (Александр), вы увидите,— говорила она,— у него рука не дрогнет подписать никакой смертный приговор». Увы, это оказалось настолько справедливым, что Годенер говорит о России: «При обыкновенных обстоятельствах, для обыкновенных преступлений в России не существует смертной казни, а только для преступлений

политических, и эти казни совершаются массами. Так, по официальным источникам в Польше и Литве в 1863 году было расстреляно и повешено 289 человек» («Vergleichende Statistik von Europa», 1865). Конечно, это извиняется «чрезвычайными» обстоятельствами; но для России все время царствования императора Александра II чрезвычайные обстоятельства не прекращались, и много было смертных казней вовсе не нужных, а еще хуже — над неповинными.

В 1851 году я постоянно посещал Публичную библиотеку. В это же время Пекарский писал свою историю русской литературы при Петре Великом и работал тоже в библиотеке. Постоянным посетителем ее был и Пыпин, тоже начинавший свою дорогу.

Раз Пекарский с своим обыкновенным таинственным видом говорит мне вполголоса, что познакомился с Чернышевским. Пекарский говорил о нем еще с бо́льшим восторгом, чем он говорил о профессоре Мейере. Мейер — это Грановский Казанского университета и тоже рано умерший.

От Пекарского я узнал, что Чернышевский учитель в каком-то корпусе, что он приехал из Саратова, и затем полушепотом и таинственно он говорил мне о его необыкновенных познаниях, о его необыкновенном уме. Несколько времени спустя Пекарский приглашает меня к себе и объявляет с сияющим лицом, что у него будет Чернышевский. Я, конечно, пошел.

Помню маленькую комнату, диван холостого вида с двумя валиками по концам, на диване сидел Чернышевский, но почти не говорил; я тоже сидел на диване и только слушал и смотрел. Пекарский старался оживить беседу, но ничего не выходило, и вечер вообще не удался. Чернышевский не произвел на меня того впечатления, к которому я подготовился со слов Пекарского.

Чернышевский наружным видом не мог производить особенного впечатления. Небольшого роста, совсем белокурый, с легким оттенком рыжеватости, худощавый, тонкий, нервный, но с приятными, умными, добрыми голубыми глазами, Чернышевский смотрел потупившись, говорил как бы с усмешкой, имел привычку прибавлять «с» — «да-с», «нет-с». Общий вид его был очень симпатичный, влекущий и располагающий. Хотя Чернышевский был из семинаристов, но в нем, как и в Добролю-

бове и в Помяловском, чувствовались душевная мягкость, женственность, тонина и в то же время какая-то нервная сила, которая, несмотря на уступчивость манер, сама собой давала себя знать и подчиняла ему. Чернышевский был очень застенчив и скромен в манерах. Львом он являлся только в своих статьях, и тогда это был действительно лев, учитель, «власть имущий».

Чернышевский сознавал эту власть, хотя, может быть, и не думал, что история русской мысли назовет шестидесятые годы его именем, как сороковые — именем Белинского.

Я вовсе не хочу делать параллель между теми и другими. Скажу только, что теперешнее время еще само не знает себя и само не в состоянии понять, какой в лице Чернышевского оно сделало шаг вперед после Белинского. То было честное, хорошее время, энтузиазм его был благороден. Но разве Чернышевский по честности, благородству, энтузиазму был ниже?

Что же касается до зрелости мысли, до законченной выработки понятий и до политического понимания, то Чернышевский стоял на целое столетие выше Белинского. Может быть, я увлекаюсь и оттого преувеличиваю; но для меня лично в Чернышевском, как в фокусе, соединяются мои лучшие чувства и стремления, все, чем тогда так жилось хорошо, и все, что потом умерло. А мученичество! Не судом, не за вину отправили Чернышевского в каторгу, а потом в Якутский край, в Вилюйск на поселение, а потому только, что боялись его слов, его влияния как публициста и вождя, боялись в нем опасного писателя. (Кавелина, который был опасным профессором, Николай сделал начальником отделения. Это все-таки великодушнее.) Чернышевский готовил себя к ученой карьере, но он не был кабинетным ученым, теоретиком,— он был человеком критического ума с социально-политической подкладкой и революционером мысли. На кафедре Чернышевский, конечно бы, соскучился, да и время было тогда не такое, хотелось делать, а не говорить...

В 1855 году Чернышевский представил на степень магистра диссертацию об «Эстетических отношениях искусства к действительности». Это была первая молния, которую он кинул. Нужно удивляться не тому, что Чернышевский выступил с такой диссертацией, а тому, что ученый факультет университета в первый раз слышал

такие мысли, первые кончики тех львиных когтей, которые он показал потом. Все здание русской эстетики Чернышевский сбрасывал с пьедестала и старался доказать, что жизнь выше искусства и что искусство только старается ей подражать.

Мысль была настолько отважная и в России новая, что ректор университета Плетнев сказал в конце диспута Чернышевскому: «Я, кажется, вам читал совсем иную теорию искусства». И потому, что Плетнев читал иную теорию, он положил магистерский диплом под сукно. Чернышевский стал заниматься литературой.

Чернышевский обладал замечательною ясностью мысли и редким талантом популяризации. Вопросы, повидимому, самые запутанные выходили у него просты, ясны и азбучно понятны. По строю и красоте мысли он более всего напоминал английских писателей и имел общее со Стюартом Миллем.

При освобождении крестьян полемика Чернышевского с бывшим профессором политической экономии Вернадским и другими русскими экономистами выяснила многое редакционной комиссии, и я думаю, что собственно Чернышевскому обязана Россия, что положение 19 февраля не уничтожило общину.

У Чернышевского, как у всех замечательно умных людей, была необыкновенная память. Про него, перефразируя Сийеса, можно сказать, что он «прочитал все, он знал все, он помнил все». Начиная Гегелем и Фейербахом и кончая лубочными французскими романами, Чернышевский прочитал все. И в этом его величайшая разница с Белинским. Белинский складывался и формировался на глазах своих читателей и умер, не окончив развития. Чернышевский выступил готовым публицистом и сразу установил свой тон. Оттого Чернышевский и действовал так сильно и так понимался легко. Молодежи нужно давать готовое, а у Чернышевского оно было. Чернышевский отличался ехидством языка, и чуткая молодежь умела отлично читать между строками его революционное отрицание всякой власти.

Александр II, пожалуй, не ошибся, не сделав его начальником отделения.

Со времени ссылки Чернышевского в 1864 году имя его исчезло из русской печати, и произносить его не позволяют, как имя Герцена и Михайлова.

И с Михайловым познакомил меня тот же Пекарский. Вообще Пекарский в моей жизни играет роль моего рока. Впрочем, древний рок, кажется, не покидал человека до его смерти, а Пекарский покинул всех нас еще раньше, чем сделался академиком. Как и при каких обстоятельствах я познакомился с Михайловым, не припомню. Случилось это, кажется, в 1854 или 1855 году. Хотя Михайлов и не был тогда начинающим литератором, но его литературная физиономия не выяснилась еще вполне. Сам Михайлов считал себя беллетристом и, кажется, мало ценил себя как переводчика и знатока иностранной литературы. А другого подобного знатока тогда не было. Михайлов был ходячая библиография иностранной литературы; не было такого поэта или романиста или беллетристического сочинения, которого бы он не знал. Как Чернышевский знал все в политической, философской и экономической литературе и истории, так Михайлов чувствовал себя дома в иностранной и русской изящной литературе.

Как человек, Михайлов отличался задушевностью и какой-то женской нервностью; его легко было расстроить и вызвать на глазах слезы. Но это было легко тем, кого он любил. С посторонними или далекими людьми он держал себя с приветливостью, не допускающей особенно близко, и даже с оттенком авторитетного достоинства. Точно у него в кармане всегда были колючки, которые он держал наготове. Нечто подобное было в Добролюбове, державшем себя замкнуто и смотревшем неподвижными глазами, «как бог». У Чернышевского этой манеры не было. Он как бы ставил себя на второе место и старался согреть, обласкать, приблизить. Чернышевский отогревал и делал робкого смелым, Михайлов и Добролюбов ставили перегородку и возбуждали если не страх, то некоторую робость. Чернышевский отличался простотой манер и внешней форме не придавал значения. Добролюбов и Михайлов — напротив. Михайлов отличался даже щеголеватостью и обладал особенным талантом, что все на нем выходило как-то хорошо, изящно и опрятно. Этому помогала его тонкая, стройная, прямая фигура. Михайлов не был красив, скорее даже некрасив, но он привлекал к себе симпатичностью и сердечностью. Вообще эти люди, которых, как злодеев, хотевших залить Россию потоками крови,

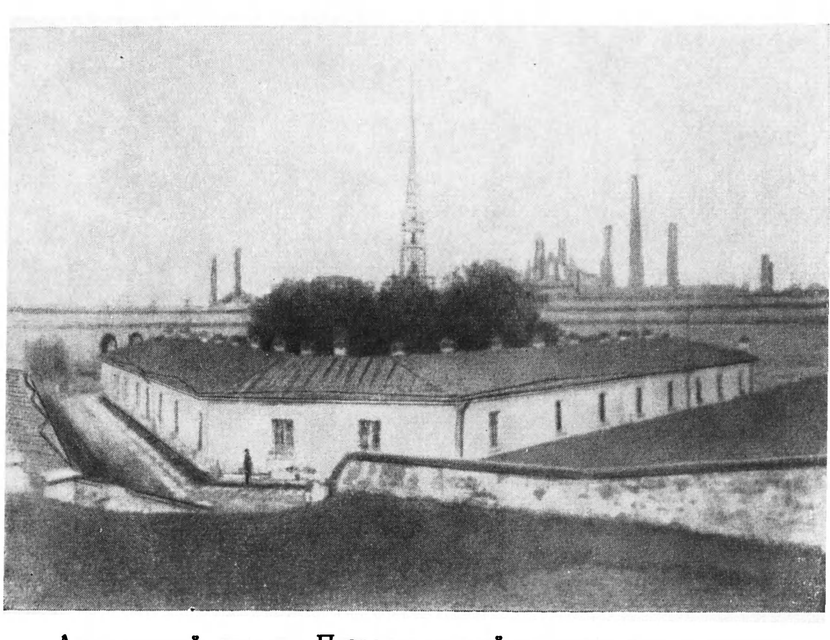
уморили в каторге, отличались такими тонкими, развитыми чувствами и кротостью, каких, конечно, не бывало никогда у сославшего их русского правительства. Эти люди подтвердили еще раз истину, что только мученики с женской любящей душой — истинно мужественные и честные люди. Впрочем, Добролюбов избег каторги только потому, что умер, не дождавшись ареста Чернышевского. Проживи он еще год, и он попал бы в крепость за ту же вину, как и Чернышевский,— что не мог быть хорошим начальником отделения. Я буду потом говорить еще о Берви. По чувствам это был Христос и в то же время самый фанатический народник, самый ярый революционер. Должно быть, революционеры все такие.

Михайлов шестидесятым годам был известен как автор статьи о женщинах и как первая жертва.

Вот история статьи о женщинах.

В 1859 году мы были с Михайловым в Париже и остановились в Rue de la Michaudière в Hôtel Molière, что рядом с Итальянским бульваром, недалеко от Пале-Рояля, театров и вообще в очень удобном месте. Hôtel Molière держала m-me Maxime и Fauvetie, редактор маленького «Revue philosophique». У них был свой кружок рассыпавшихся остатков сен-симонизма; главенствовал недавно умерший последователь Анфантена — Моссоль, главными лицами кружка были: Женни д'Эрикур и Женни Ламбер.

Женский вопрос стоял, конечно, на первом плане, тем более что Прудон в «De la justice» только что высказал свою знаменитую формулу, что мужчина относится к женщине, как 3 : 2. Маленький Hôtel Molière пришел в негодование. M-me д'Эрикур и Женни Ламбер написали против Прудона целый ряд весьма резких возражений. Прудон, конечно, отнесся с иронией к своим противникам и к, так сказать, философскому «Revue» Фовти и посмертное свое сочинение «La Pornocratie» посвятил специально женскому вопросу и своим противникам, советуя им перечитать «Ученых женщин» Мольера и понять лучше эту философию. Под этим-то влиянием Михайлов и задумал написать для России статью о женщинах, и, конечно, против Прудона. Статья была напечатана в «Современнике». Чернышевский не придавал ей особенного значения, потому что «женский вопрос» не считал первым и думал другую думу; но



Алексеевский равелин Петропавловской крепости, где с апреля 1863 г. по ноябрь 1864 г. содержался Н. В. Шелгунов.

Фотография 1873 г.

читатели, особенно женщины, отнеслись к проповеди о равенстве и свободе иначе, и статья читалась нарасхват. Не смею утверждать, что именно статья Михайлова создала в России «женский вопрос», но верно то, что она его очень двинула вперед.

Но на стороне Чернышевского было больше политической правды, ореол над Михайловым создала не его статья о женщинах, а политическое мученичество. Михайлов, сосланный на каторгу, стал святым даже для тех, кто не прочел ни одной его строчки. Да и какие тут строчки! В воздухе чувствовалось политическое электричество, все были возбуждены, никто не чувствовал даже земли под собою, все чего-то хотели, куда-то готовились идти, ждали чего-то, точно не сегодня, а завтра явится неведомый мессия. Явись такой вождь, наэлектризованная молодежь повторила бы с ним крестовый поход. И вдруг среди этого всеобщего возбуждения неожиданный удар грома и внезапно вырванная жертва. Каждый точно чувствовал в Михайлове частичку себя, и процесс его стал личным делом всякого. Карточки его раскупались нарасхват, у сената толпились массы, чтобы встретить и проводить его и, если можно, так взглянуть на него. Некоторым удавалось забраться в ворота и на черную лестницу, где проводили Михайлова в заседание сената, и счастливцы были так довольны, что видели, как он шел, сопровождаемый двумя жандармами. Михайлов тоже как будто вырос, его радовало общее внимание, и, довольный, он приветливо кланялся знакомым. Было что-то праздничное во всем этом.

Когда князь Васильчиков предложил императору Александру I список офицеров своего полка, замешанных в тайное общество, Александр ему ответил: «Князь, вы лучше, чем кто-либо, знаете, что я причиной этого, что я дал повод. Возьмите ваш список, я не хочу его знать». Александр II никогда не смотрел так. Он, конечно, и не подозревал, что общее революционное направление, так долго подавляемое Николаем, создало все его реформы и что он освободил крестьян чисто революционным способом. Но этого мало: Александр II сам разжигал революционное чувство, возбуждая преувеличенные ожидания. Освобождение совершилось в такой тайне, и общее внимание было так напряжено, что каждый ждал гораздо большего, чем получил. Не-

удовлетворение вызвало недовольство, а недовольство создало революционное брожение. Вот источник эпохи прокламаций. Кому принадлежит первая прокламация — неизвестно; но прокламации, точно по уговору, явились все в одно время. Все они принадлежали очень небольшому кружку людей, действовавших отдельно и в глубокой тайне. Паника и надежды были гораздо сильнее, чем бы им следовало быть. И правительство преувеличивало опасность, и молодежь ошибалась насчет силы, за которой она готова была идти.

Я буду говорить только о трех прокламациях, о которых знаю достоверно: «К молодому поколению», «К крестьянам», «К солдатам».

Зимою 1860 года приехал из Москвы в Петербург Всеволод Костомаров (племянник историка) с рекомендательным письмом к Михайлову от Плещеева (поэта). Когда Михайлов был сослан в каторгу, Плещеев сильно укорял себя за эту злополучную рекомендацию, но точно что-нибудь можно было предвидеть!

Костомаров был уже немного известен как переводчик Гейне; но, не удовлетворяясь этою известностью и рекомендацией Плещеева, он отрекомендовал себя еще и сам. Он привез революционное стихотворение,— к сожалению, его не помню,— напечатанное домашними средствами и с пропечатанной внизу фамилией: «В. Костомаров». Это хвастовство оказалось лучшей рекомендациею. Костомаров служил уланом и стоял, кажется, в Твери, а его мать жила в Москве. Несмотря на кавалерийский мундир, Костомаров имел довольно жалкий, бедный вид. Но в лице его было что-то, что я объяснял себе совершенно иначе. Лоб у Костомарова был убегающий назад, несколько сжатый кверху, ровный, гладкий, холодный. Костомаров никогда не глядел в глаза и смотрел или вниз, или исподлобья. Не знаю, как Михайлову или Чернышевскому, но мне все это казалось признаком характера, даже постоянная мрачность Костомарова с оттенком какой-то убитости казалась мне чем-то римским. Сухой и нервный, всегда мрачный и не особенно речистый, он мне напоминал прежних заговорщиков времен Цезаря.

Костомаров много рассказывал о своей бедности и тех неудовольствиях, которые он выносит дома; особенно он жаловался на брата. Костомаров рассказывал,

что, когда он завел станок и отпечатал кое-что, брат объявил ему, что донесет на него, если он не заплатит ему полтораста рублей. Мы не особенно внимательно отнеслись к этому пункту, или, вернее, отнеслись особенно внимательно, но не в ту сторону: Костомарову были даны вперед деньги, Чернышевский дал ему работу в «Современнике», и вообще его окружили таким участием и вниманием, на которое он едва ли рассчитывал. Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать.

В ту же зиму, то есть в 1861 году, я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову. Разговоров вообще было у нас мало, а о прокламациях тем более. Я переписал прокламацию измененным почерком, и как все переговоры велись Михайловым, то я отдал прокламацию ему, а он передал ее Костомарову. Впрочем, Костомаров знал, что писал я. В половине зимы Костомаров уехал в Москву.

В ту же зиму я написал прокламацию «К молодому поколению», но мы решили печатать ее в Лондоне «в русской печатне». Об этой прокламации никто не знал, кроме Михайлова и меня. Содержание прокламаций «К народу», «К солдатам» я забыл, но «К молодому поколению» — помню. В ней повторена мысль известного памфлета Сен-Симона-отца, что если бы сегодня вымерли все генералы и генерал-адъютанты, и все флигель-адъютанты, и все камер-юнкеры и камергеры, умер бы даже наследник престола, то никакой беды от этого бы не случилось: завтра можно было бы произвести вдвое более генералов, и флигель-адъютантов, и придворных, и камер-юнкеров, и камергеров. Но вымри сегодня литераторы, ученые, вымри интеллигенция страны, где ее взять? Карл Великий говорил, что каждый день он может делать по тысяче рыцарей, но одного ученого он не в состоянии создать и в тысячу лет. Далее говорилось, что напрасно так боятся революции, что войны истребляют миллионы людей и что́ значит какая-нибудь сотня тысяч людей, если ее смертью можно купить благо народа. Это ли место было центром тяжести прокламации — не помню, но оно вышло центром тяжести обвинения. Пойди мысль еще на шаг вперед, и Михайлов был бы приговорен к смертной казни.

Герцен не одобрил прокламации, он уже пережил тогда революционный период и в «Колоколе» и в «Полярной звезде» соблюдал, собственно, правительственный авторитет и снимал с него ореол священности и демократизировал власть. Но мы не переживали 1848 года в Европе, подобно Герцену, и потому верили в то, во что он уже не верил. Мы пенились, Герцен перестал пениться. Конечно, правда оказалась на стороне того, кто пениться перестал. А пока мы пенились и верили и считали себя «накануне». Укажу следующий случай, забегая вперед. В 1861 году несколько литераторов задумали издавать артельный журнал. Новые журналы уже и тогда разрешали с трудом. Вейнберга «Век» шел плохо, и артель приобрела его. Артель состояла из тридцати двух литераторов, и замыслы были чисто литературные, но не все думали так; редактором был выбран Елисеев. Елисеев вел в «Современнике» внутреннее обозрение. Чернышевский говорил о нем, что это — единственный человек, который умеет писать. Пожалуй, это была правда. В Елисееве было много лукавства и критического смысла. Он очень хорошо отличал возможное от невозможного и вообще не увлекался, может быть, оттого, что был много старше всех нас. Впрочем, Елисеев пенился по-своему и был большой мастер подзадоривать, оставляя для себя лазейку. Таким же он был и в своих статьях; а мы же писали слишком прямо. Кажется, уж после первого нумера «Века» обнаружился в артели раскол. Елисеев хотел, чтобы руководящее главенство оставалось за «Современником». «Век» только повторял его. К Елисееву пристал кружок Курочкина и...[1]. Другие хотели идти дальше «Современника» и сделать «Век» органом крайних. Во главе других стоял Николай Серно-Соловьевич. Вначале споры бывали хотя и горячие, однако бури еще не предчувствовалось. Но вот раз Елисеев не принял статьи Энгельгардта и, как помнится, статьи Н. Серно-Соловьевича. Наша партия зашевелилась. В ближайшее заседание — и заседания производились у Елисеева — мы явились с перунами, и буря разразилась. Когда Елисеев спросил, для чего нам нужен свой орган, Серно-Соловьевич ответил, что он нужен нам «на случай восстания». Может быть, Соловьевич

[1] Пропуск в рукописи.

ответил и не этими словами, но смысл их был тот. Мы серьезно считали себя «накануне». Этот маленький эпизод из эпохи шестидесятых годов случился после распространения прокламации «К молодому поколению», в то время когда судился Михайлов. То было время самого славного возбуждения.

Михайлов с рукописью прокламации уехал раньше меня — и прямо в Лондон; у меня были другие дела за границей, и я приехал в Лондон, когда прокламация была уже напечатана. Ее было напечатано всего шестьсот экземпляров, и по размеру она была похожа скорее на очень смелую и резкую журнальную статью. Теперь вопрос заключался в том, как ее провезти. Хотя таможни в это время еще не были особенно строги, но открыто везти пук прокламаций было все-таки очень доверчиво. Я отклеил в нижней части чемодана Михайлова подкладку, уложил ровно и тщательно все листы, потом прикрыл все листом папки и наклеил снова подкладку. Этим мы занялись в том же революционном Hôtel Molière, где задумалась и статья о женщинах. Секрет оказался непроницаемым.

Чемодан не возбуждал никаких подозрений, и мы были счастливы! Михайлов с прокламациями уехал в Россию — это было в августе (1861 года), а я остался еще за границей. Но хотя я и верил в непроницаемость секрета, а сердце все-таки билось сомнением, и с беспокойством ждал от Михайлова письма. Наконец письмо пришло, Михайлов доехал благополучно. В эту же поездку случился совсем ничтожный факт, которому, однако, суждено было фигурировать в моем «деле». Из Наугейма мы писали к Костомарову; мое письмо было шуточное, с иллюстрациями пером: я нарисовал голландского бургомистра, с которым мы обыкновенно обедали, и еще какие-то карикатуры, ну, одним словом, вздор и пустяки. Письмо это послужило потом юридическим доказательством моего знакомства с Костомаровым.

Возвратившись в Петербург, Михайлов застал в нем Костомарова. Костомаров привез одну форму прокламации «К народу», а прокламацию «К солдатам» еще не начинал набирать. Как и зимой, он опять плакался на своих братьев и сестер и опять повторял, что брат стращает его доносом. Все это уже наводило на подозрения

и, во всяком случае, должно было заставить остерегаться Костомарова. Не знаю, сделал ли Михайлов ошибку, дав Костомарову прокламации «К молодому поколению», но если бы он не дал, случилось бы не совсем то.

По приезде в Петербург, в сентябре, я видел Костомарова один раз, но мы не говорили с ним почти ни слова. Он был более мрачен и молчалив, чем зимою, и никогда еще так ужасно не смотрел вниз.

Недели через две пронесся слух, что Костомаров арестован. Нас это кольнуло. Мы нисколько не сомневались, что у него нашли прокламацию «К молодому поколению». Как бы поступили другие, не знаю, но мы порешили прокламацию распространить и сделать это как можно скорее. Распространить прокламацию было, конечно, рискованнее и труднее, чем ее напечатать, потому что вдвоем сделать это было почти невозможно. Мы посвятили в нашу тайну брата моей жены, студента Петербургского университета Михаэлиса, и Александра Серно-Соловьевича.

Михаэлис был замечательный юноша, лучший из молодых людей, каких я только видел. Нет — больше! Таких я никогда уж больше не видел. В его открытом лице было что-то львиное, смелое, энергичное, прямое. Необыкновенно решительный и отважный, пылкий и страстный до самозабвения, он в то же время обладал какой-то сдержанностью, наивной, добродушной веселостью и способностью к самой тонкой, нежной привязанности. Он был слабым, золотушным ребенком, постоянно больным, и казался очень изнеженным женским уходом. Нельзя было думать, что из такого болезненного ребенка сложится кровяная сила, способная внушить к себе уважение даже одним своим массивным видом.

Способностей Михаэлис был замечательных. Подготовившись дома, он хотел поступить в Горный корпус, но директор его, Волков, нашел, что он слишком смел и дерзок, и не нашел удобным принять такую овцу, которая бы испортила все его горное стадо. Вышло ли кому-нибудь от этого лучше или хуже — не знаю, но Михаэлис поступил в гимназию и за даровитость был переведен в Лицей. Лицей еще со времен Пушкина отличался «свободомыслием», и в шестидесятых годах ли-

цейское свободомыслие не могло удовлетворить более политически развитую молодежь, и Михаэлис перешел в университет.

В университете тогда пенилось очень сильно пиво; он был, так сказать, газометром, указывавшим высоту и давление паров; Чернышевский, Добролюбов были пророками университетской молодежи, приходившей в неистовый восторг от того, что они находили в строках, а еще больше от того, что читали потом между строками. Чем крайнее и смелее были статьи, тем они сильнее действовали на студентов, в особенности если побивался какой-нибудь авторитет и сбрасывался с пьедестала какой-нибудь кумир. Я помню, как ликовал Михаэлис, прочитав Добролюбова «Иллюзии, разрушенные розгами», где сшибался педагогический авторитет Пирогова, и Чернышевского «Антропологический принцип в философии», где опровергался Лавров; Чернышевский доказывал, что бога нет. Цензура этой статьи сначала не разобрала, как это было впоследствии с книгой Берви «Азбука социальных наук», но потом, когда догадались, в чем дело, то за первую был дан выговор цензору Крузе, цензуровавшему «Современник», а вторая была отобрана у книгопродавцев. В доказательство способностей Михаэлиса я могу привести вот какой факт. Книжку «Современника» в тридцать печатных листов Михаэлис прочитывал от первой до последней страницы ровно в три часа. Он читал все: повести, и романы, и стихи, и критику, и ученые статьи. Одним словом, не было ничего ни серьезного, ни легкого, ни смешного, чего бы он не прочитал в книжке, и он помнил каждое слово, он верно понимал каждую мысль со всеми ее оттенками.

Поступив в университет, Михаэлис сразу нашел свое место и выдался из всей молодежи.

ПЕРЕХОДНЫЕ ХАРАКТЕРЫ

Говорят, что еще не так давно люди у нас были крупнее, а теперь из поколения в поколение все мельчают. Это вы услышите не только от стариков, но и от молодых. И, припоминая свое детство, я точно живыми вижу этих крупных людей, которых теперь уже больше не встречаю.

Не знаю, какими кажутся нынешним кадетам их ротные и батальонные командиры, но на нас ротный командир Каменский наводил совсем панический страх, особенно летом и на ученье. Когда, бывало, измученные, мы маршировали не прямою линией, вогнутою, середина западала, а фланги выдавались вперед или, еще того хуже, шли линией ломаной, точно вразброд, а ружья едва держали в отекших руках, тут-то Каменский на нас и набрасывался. «Бабы, чепчики на вас надеть, метлы вам в руки...» — закричит он громовым голосом, и каждый из нас боялся, что вот-вот его сейчас же Каменский вытащит из фронта. Мне, по крайней мере, Каменский в своей треугольной шляпе, надетой «по форме», казался очень крупным, в особенности когда он кричал. Даже одной своей шляпой Каменский наводил панический страх. Шляпа у Каменского была огромная, настоящая форменная, и надевал он ее поперек головы, несколько назад и набок. Вероятно, вы видели портреты императора Александра I. Император стоит и держит шляпу в правой руке. Ну, вот такая же шляпа была и у Каменского. У нынешних шляп футляры гораздо меньше. Такие громадные шляпы назывались форменными, и их носили служаки. Франты и либеральная военная молодежь носили шляпы маленькие. Потом, в шестидесятых годах, когда шляпы исчезли, служаки

(консерваторы) отличались от либеральной молодежи прической. Консерваторы зачесывали виски вперед, а либералы — назад. Но теперь виски вперед уже не производили такого панического страха, как прежняя форменная шляпа. Люди уж начали мельчать.

Сохранилось у меня одно детское воспоминание, и такое яркое, точно дело было вчера. Тогда, то есть лет пятьдесят назад, в Петербурге было гораздо холоднее, чем теперь. Двадцатиградусные морозы были очень обыкновенны, а доходили морозы иногда до двадцати пяти и даже тридцати градусов. Но, несмотря на такие холода, нас и зимой одевали почти по-летнему. Вся разница заключалась в том, что летом мы носили белые холщовые панталоны, а зимой — суконные. Шинель же и летом и зимой была одна и та же, то есть летняя. Подкладка холщовая, в один ряд, была только на спине и на груди, а полы были безо всего. Такие шинели назывались почему-то «подбитыми уксусом». Подбитая уксусом шинель превращалась из летней, холодной, в теплую, зимнюю, тем, что в десять и более градусов морозу надевалась в рукава. Зимний костюм завершался наушниками и рукавицами, которые надевались тоже после десяти (а может быть, и пяти) градусов мороза. Нам, лесным, приходилось делать из отпуска конец в свой Лесной институт верст в десять. Выйдем из дому часов в шесть и идем по этому-то морозу часа полтора-два: совсем закоченеешь. Раз, в подобный мертвящий холод, возвратившись из отпуска совсем застывший и оцепенелый, я прошел прямо в дежурную комнату, вытянулся перед дежурным офицером за два шага, как это требовалось, произнес: «Честь имею явиться»,— и подал отпускной билет. Офицер окинул меня быстрым взглядом, ткнул пальцем в подбородок и сказал: «Чешуя». Я молча сделал налево кругом, отошел шагов пятнадцать, ощупал чешую кивера, и — о ужас! — она оказалась расстегнутой. Я был рад, что отделался так дешево, но, однако, ждал от Каменского замечания. Прошло дня два-три — ни замечания, ни наказания никакого не последовало, я совсем успокоился и записался на следующий отпуск. А следующий отпуск был на 6 декабря, мои именины. Когда возвращались списки от Каменского, мы накидывались на них толпой, ближние читают, а из задних рядов со всех концов кричат:

«Посмотри меня». Крикнул и я товарищу: «Посмотри меня!» — и получил в ответ: «Шелгунов, ты вычеркнут». Это было так неожиданно, что я даже не заплакал, а ушел молча в класс, совсем растерянный и глубоко несчастный. Так я и не увидел дома своих именин.

Каменский вообще умел делать нас несчастными, но он очень хорошо знал, что он делает, только мы этого не понимали. Раз на Каменского написал кто-то пасквиль. Каменский узнал об этом, выстроил нас в зале и сказал нам такую речь; я запомнил ее слово в слово: «Пушкин был титулярный советник и гений, и того высекли, а вы не больше как мальчишки, и всякого из вас можно высечь. Знаете ли, кого вы оскорбили в моем лице? Оскорбив меня, вы оскорбили баталионного командира, который выше меня; оскорбив баталионного командира, вы оскорбили директора; оскорбив директора, вы оскорбили министра, и, оскорбив министра, вы оскорбили государя императора, назначившего меня вашим ротным командиром». И Каменский был искренно убежден, что он составляет прямое продолжение императора Николая, что он — лишь одна из ступеней той власти, которая, начинаясь с крайнего верха, проходит непрерывною нитью через всю иерархическую лестницу до самого ее низа.

В том виде, как понимал Каменский власть, в ней было что-то очень грандиозное, всепоглощающее и цельное. Это была идея, способная всецело покорить себе человека не только своим широким захватом, просто, как сила громадная и подавляющая, но еще и своею логическою законченностью, как система, а наконец и тем, что личному достоинству каждого человека система эта отводила точное место. Тогда я этого ничего не понимал, а теперь, припоминая Каменского и все наше остальное начальство, я изумляюсь простоте и ясности этой удивительной системы и доступности ее всякому. Ее сила именно и заключалась в том, что ее понимал всякий с первого же разу и ее теоретическую безошибочность мог проверить сейчас же практически. Каменский знал твердо одно, что порядок держится властью и, для того чтобы повелевать, следует уметь повиноваться. И Каменский безусловно повиновался всему, что было выше его, и с буквальной точностью исполнял, что было раз установлено. Шляпа у него была форменная,

громадная и уродливая; сюртук форменный, ниже колен; полусабля форменная, большая и тяжелая; перчатки форменные, из толстой замши, шитые сапожным швом. Одним словом, это был человек форменный, исполнительный, перпендикулярный. Но, повинуясь безусловно тому, что стояло выше, Каменский приучал и нас к безусловному повиновению и исполнительности. Сомнений в границе между тем, что повелевало, и тем, что повиновалось, и быть не могло. Все, что ниже, то должно повиноваться, все, что выше, должно повелевать. А так как у каждого был кто-нибудь выше его и был кто-нибудь ниже его, то один и тот же человек в одну сторону повиновался, а в другую — повелевал.

Сколько я помню, офицеры повыше и большие начальники старались подражать императору Николаю, а офицеры поменьше — великому князю Михаилу Павловичу. Михаил Павлович называл себя первым слугой царя и, как первый слуга, хотел быть первым верноподданным и первым примером того, как следует служить и повиноваться. Михаил Павлович давал первый тон и в одежде. Шляпа у него была громадная, сюртук длинный, полусабля большая, тяжелая, калош он не носил и строго следил за тем, чтоб и офицеры их не носили. Каменский и в форме, и в манере обращения с подчиненными, то есть с нами, копировал Михаила Павловича. Даже называя нас «бабами», он только повторял его, но был человек добрый, любил детей и наводил на нас страх, вероятно, тоже потому, что так же поступал и великий князь.

Еще крупнее казался нам баталионный командир, полковник Павлов, которого мы боялись больше Каменского, хотя он никогда на нас не кричал и в обращении был всегда вежлив. Мы его видели обыкновенно раз в день, через классные стеклянные двери, когда он проходил по коридору, сопровождаемый свитой из ротного командира, дежурного офицера, эконома и т. д. Самым же большим человеком был директор, полковник граф Ламсдорф. Он тоже имел обыкновение проходить по коридору, когда мы сидели в классах, но свита его была полнее и торжественнее, потому что в ней участвовал уже и баталионный командир. Наш страх усиливался еще и тем, что граф Ламсдорф говорил певучим тенором. Голос его слышался уж издалека, затем становился

все громче и громче, потом в стеклянных дверях мелькала стройная фигура графа Ламсдорфа, а за нею его свита, и нам ясно, отчетливо слышалось его певучее картавленье, потом голос, постепенно стихая, замирал в отдаленье — наше напряженное состояние кончалось, и как будто, мне помнится, что это напряженное состояние разрешалось общим вздохом, в котором принимали участие и учителя.

Обыкновенно граф Ламсдорф в классы не заглядывал. Он ведал только общее благоустройство и благочиние и старался воспитывать в нас хорошие манеры. Для этого он приходил иногда на уроки танцев и даже сам показывал, как в пятой фигуре французской кадрили следует делать грациозное соло. Но случалось, что, проходя мимо класса, граф Ламсдорф сам отворял дверь и звучным, громким голосом произносил чью-нибудь фамилию. Что за тем происходило, пожалуй, даже не поддается описанию. Расскажу один случай. В классах стояли у нас очень широкие шкапы с ящиками. У каждого воспитанника был свой ящик, в котором держались книги, бумага, тетради, перья. Ниже ящиков было большое свободное дно, очень удобное для спанья. Кто не знал урока, обыкновенно ложился на это дно, шкап запирали, и, если учитель вызывал спрятавшегося воспитанника, мы отвечали: «Болен». Вот таким больным сделался раз Белопольский, самый высокий из нашего класса, и если я не ошибаюсь, то и самый ленивый. Граф Ламсдорф, проходя по коридору, подойдя к нашему классу, отворил дверь, звучным картавым тенором произнес: «Белопольский»,— и прошел дальше. Белопольский выскочил из шкапа, совершенно растерянный и бледный, как полотно: забыл он тут и класс, и учителя, удивленного внезапным появлением Белопольского из шкапа, и, обращаясь то к тому, то к другому из товарищей, дрожащим шепотом выкрикивал: «Дай мне ножик, дай мне ножик»,— «Зачем тебе ножик?» — «Я обрежу палец». Ножика Белопольскому, конечно, никто не дал, и он в паническом страхе ушел на расправу.

Мои воспоминания о графе Ламсдорфе очень неполны. Я только и помню, что его «кавалькады» с блестящею свитой по классному коридору, помню его громкий, звучный тенор, помню, как на одном из танцевальных уроков он учил нас делать грациозное соло,

помню случай с Белопольским, наконец, помню, как мы стояли в зале, выстроенные фронтом, как нам скомандовали «смирно», и мы притаили дыхание, как затем пришел граф Ламсдорф с большой блестящею свитой и за блестящею свитой солдаты внесли скамейку и розги; наконец, помню, что граф Ламсдорф после блестящей речи, с которой он к нам обратился, произвел жестокую экзекуцию над двенадцатилетним воспитанником. Я графа Ламсдорфа очень боялся, и, сравнительно с Каменским, он мне представлялся олицетворением ужаса.

Холодная, головная жестокость графа Ламсдорфа была его личной чертой, совсем не требовалась системой и только отталкивала нас от него. Мы чувствовали, что между нами и графом Ламсдорфом лежит целая непроходимая ледяная пустыня, мы не хотели ни в чем походить на него и, наперекор ему, даже соло не хотели танцевать грациозно. Каменский был ближе к нам, и хотя он и держал себя с некоторой отдаленностью, которая требовалась его достоинством ротного командира, но он все-таки был наш ближайший и единственный воспитатель. Воспитательная же система Каменского была очень проста. Прежде всего следовало выучиться повиноваться, и это было уж потому не особенно трудно, что за всяким «нарушением» следовало сейчас же наказание. После того что Каменский вычеркнул меня из списка, я уж тщательно всякий раз ощупывал чешую, прежде чем явиться к офицеру. Выучившись повиноваться и, следовательно, достигнув известной степени благонравия, можно было подняться и на первые ступени иерархической лестницы, то есть быть произведенным в ефрейторы, в младшие, а потом и старшие унтер-офицеры, а наконец, и в фельдфебели. Подобное более возвышенное положение не делало дальнейшего воспитания более трудным, пожалуй, оно даже облегчало его. В области исполнительности унтер-офицер, например, чувствовал себя гораздо свободнее, а повелевать-то было уж и совсем не трудно, тем более что власть сейчас развивала известные аппетиты. Унтер-офицер мог оставить воспитанника без обеда, а фельдфебель даже и без отпуска. «Чиновники» следили и за внешним поведением воспитанников, за обедом они разливали суп, раскладывали кушанья и очень легко проникались сознанием своего более возвышенного положения. Одним словом, наука

власти давалась легко и не требовала никакого умственного напряжения. Это была единственная наука, в которой воспитанники со средними способностями делали наибольшие успехи.

Как ни казались нам крупными наши корпусные командиры, но были люди и еще их крупнее,— крупные уж не для нас, кадет только, а даже и для наших командиров. Об этих крупных людях мы, кадеты, имели очень слабое представление. Директора департамента Брадке мы видели не больше одного раза в год. Я помню только, что Брадке был очень маленького роста, что он был штатский, что он всегда заходил в классы и что его приезд производил у нас полнейший переполох. Что же касается министра (тогда министром государственных имуществ был Киселев), то он был для нас такою отдаленною и невидимою величиной, о которой мы не имели ровно никакого понятия. Даже уж потом, офицером, я видел Киселева всего два раза в десять лет. Вот какой он был крупный.

Киселев был вельможа. Может быть, были люди еще вельможнее и его, но, по крайней мере, я их не видел и о вельможестве составил себе представление только по Киселеву. Киселев держал себя очень величественно и властно. В оба раза, что я видел Киселева, он был в полном мундире, с андреевскою лентой чрез плечо, блестел золотом, звездами, орденами, бриллиантовыми знаками и вообще производил ослепительное впечатление. При всем своем вельможестве, Киселев был доступнее других министров и не чуждался своих подчиненных. В первый день пасхи он устраивал у себя разговенье, каждый из его подчиненных мог приходить к нему на завтрак, и Киселев был, видимо, доволен разномундирною толпой, толкавшеюся вокруг стола, уставленного пасхами, куличами, окороками и бутылками.

Остальные министры были совсем недоступны ни для публики, ни для подчиненных. Они, кажется, чувствовали в себе такое количество власти, что, кажется, даже боялись, чтобы не покачнулся мир, если они шевельнут головою. И все-таки нашелся министр, который из этой всеобщей министерской грозности и недоступности сумел выделиться еще большею грозностию. Им оказался граф Лев Алексеевич Перовский, тогдашний министр внутренних дел. Это была невидимая, но громадная си-

ла,— громадная до того, что сами губернаторы, тоже очень большие люди, были пред нею не больше теперешних урядников.

Вот какой анекдот рассказывался тогда в чиновничьем мире об этом самом грозном Перовском. За достоверность анекдота не ручаюсь, но повторяю, что слышал. Между Перовским и министром финансов затеялась какая-то длинная переписка, и никак она не приходила к концу. Чтобы выяснить недоразумения и покончить скорее дело, Перовский просил Вронченко прислать к нему своего чиновника, и Вронченко ответил, что пришлет титулярного советника Булгакова. Булгаков приехал к Перовскому и приказал о себе доложить. Доложили. Булгаков входит в кабинет и видит, что Перовский лежит на кушетке головой к двери. Булгаков останавливается и громко произносит: «Титулярный советник Булгаков». Перовский, не поворачивая головы, отвечает: «Разве у министра финансов не нашлось никого другого, чтобы прислать ко мне?» — «Мне кажется, что ваше сиятельство должны быть довольны, что прислан именно я, потому что, если бы прислали другого, вы должны были бы встать»,— ответил отчетливо и почтительно Булгаков. Перовский вскочил с кушетки точно ужаленный, налетел на Булгакова в упор и крикнул: «Кто вы такой?» — «Титулярный советник Булгаков»,— ответил Булгаков по-прежнему отчетливо и почтительно... Дерзкий Булгаков настолько понравился Перовскому, что он перевел его к себе в министерство и очень скоро сделал губернатором. Перед самым освобождением этот самый Булгаков, бывший тогда генерал-интендантом Финляндии, предложил на одном обеде тост за первого освободителя крестьян — Пугачева, и был за это уволен со службы.

Рост провинциальных начальников был, пожалуй, еще заметнее, чем петербургских, потому что с ними приходилось чаще встречаться. Тот же самый Булгаков, сделавшись губернатором, подражал, как рассказывали, Петру Великому и ходил по улицам с дубинкой. Другие губернаторы этого не делали, но были тоже всевластны, велики и грозны, особенно военные губернаторы. Даже управляющие палатами старались держать себя с величественностию министров и, кажется, тоже боялись шевелить головами, чтобы не потрясти губернских

городов. Особенно сановничали управляющие казенными палатами и палатами государственных имуществ. Я мог бы назвать многих управляющих палатами государственных имуществ, которые все были вылеплены в одну форму. Такой уж был тогда общий тон. Все они держали себя сановниками, потому что ощущали в себе большую силу, которой в других людях не было; все они жили барами, разъезжали в собственных экипажах, а жены их воображали себя статс-дамами. Впрочем, некоторым управляющим было и этого недостаточно, и они придумывали для себя специальные отличия. Приказывали, например, делать для себя особенно величественные председательские кресла, напоминающие трон, а управляющий самарскою палатой Калакуцкий велел повесить в передней палаты ямской колокольчик. Когда Калакуцкий входил в переднюю, сторож громко звонил; палата затихала, чиновники в комнатах, через которые проходил Калакуцкий, вставали, низко ему кланялись, затем он проходил в присутствие, двери запирались, у дверей становился сторож для доклада, и вся палата проникалась ощущением невидимо осеняющей ее высшей силы. И все это делалось только для того, чтобы подчиненные проникались чувством почтения к начальству. Чувство страха возводилось в систему совсем не потому, чтобы в людях не признавалось других чувств, а только потому, что страхом действовалось проще.

Весь крепостной быт держался исключительно чувством страха, а крепостной быт служил основой для всех остальных общественных отношений. Они все были тоже крепостные. Калакуцкий, заседавший на кресле в виде трона и требовавший, чтобы звонили в колокол при его приходе, чувствовал себя помещиком своих подчиненных, а советников и асессора палаты считал своими старостами и бурмистрами. Все тогда были помещики, и каждый помещик и не помещик измеряли свой рост лишь количеством страха, которое он мог напустить. Кто мог пугать больше, тот и был больше, а кто мог пугать меньше, тот и был меньше. Но и каждый маленький человек был достаточно велик, потому что мог любого из своих крестьян сослать в Сибирь, отдать в солдаты, женить, на ком ему вздумается, и сечь, сколько ему хочется. Я знал в Тульской губернии очень образован-

ного и гуманного помещика, отличного сельского хозяина, человека, живавшего подолгу за границей, любившего говорить о политике. И этот-то гуманный, много читавший и любивший политику человек сделал вот что: он велел у всех своих рессорных экипажей снять запятки с кузовов и поставить их прямо на заднюю ось. «Зачем вы это сделали?» — спросил я его. «А пусть это хамово отродье трясется»,— ответил он, кивая головой на лакея.

В то время, о котором я говорю, помещики попорядочнее держали своих людей в дисциплине больше подобными вспомогательными способами, но уж не дрались собственноручно и не секли лично. Но и того, что все, то есть они и мужики, знали, что все можно делать, было совершенно достаточно для «гармонии» взаимных отношений и для поддержания достоинства помещичьей власти. Одно только было худо в этом, что власть очень развязывала каждому его поведение и воспитывала в привычках неуважения к людям вообще, то есть не только вниз, но и вверх.

В Самарской губернии знал я богатого помещика Дмитрия Азарьевича Путилова, который в этом отношении составил себе громкую известность, и чуть ли не весь Оренбургский край боялся его остроумия. Вот несколько его образчиков.

Путилов имел на Дворянской улице, в Самаре, одноэтажный дом, а по другую сторону улицы, как раз против дома Путилова, стоял двухэтажный дом помещика Обухова. Из верхнего этажа обуховского дома был превосходный вид на Волгу. Путилов не любил Обухова и всегда над ним издевался в глаза и за глаза. Но издевательства на словах показалось Путилову мало, и он придумал на крыше своего дома выстроить три щита, приказав разрисовать их в виде декораций мезонинов, и был очень доволен, что загородил Обухову вид на Волгу.

Или едет мимо дома Путилова чужой кучер с бочкой воды, и несмазанные колеса визжат на всю улицу. Путилов высылает людей подмазать колеса. Дворня выбегает толпой, останавливает бочку, выпрягает лошадь, смазывает колеса, а Путилов сидит у окна и, смеясь, смотрит на всю эту сцену.

Приходит к Путилову монах за сбором, Путилов принимает его с распростертыми объятиями, сажает,

беседует о делах монастыря с самым искренним участием, вообще очаровывает монаха, делает пожертвование и в книге для сборов вписывает, что просит отцов молиться об избавлении его, Путилова, «от глада, хлада и станового пристава Ромейки».

Имел Путилов тяжбу с своим родствеником Лопатиным, и в одном из прошений Путилова стояла фраза: «Я не такой дурак, Лопатин...» и т. д. Путилов велел выскоблить «дурак, Лопатин» и по скобленному написать те же слова, в выноске сделав оговорку: «а что по скобленному написано «дурак Лопатин» (без запятой), тому верить».

В Симбирске, на вечере в Дворянском собрании, в одной из боковых комнат разговаривали, стоя кучкой, несколько помещиков. Все они были высокого роста (Путилов был тоже высок и очень толст). Между этими слонами замешался помещик маленького роста и горбун. В комнате было очень жарко, и маленький помещик, помахивая платком себе в лицо, заметил: «Фу, как жарко».— «Не знаю, как у вас там, внизу, а у нас здесь ничего»,— ответил Путилов.

Задумал Путилов ехать на Лондонскую всемирную выставку 1851 года. Для тогдашнего степного помещика и для тогдашней глухой Самары такая поездка была необычайным подвигом. И о своем предстоящем подвиге Путилов заговорил за полгода, заговорила вся Самара. Некоторые, однако, уверяли, что Путилов только острит. Но он не острил, а, заложив имение в двадцать пять тысяч, собрался и действительно уехал. Доехав до Москвы, Путилов нанял квартиру в тридцать комнат и зажил как у себя в деревне. Через два месяца он вернулся в Самару и привез два необыкновенных бронзовых светильника. Это были действительно светильники вышиною аршина в два, со множеством подсвечников и самых причудливых завитков. Когда в подсвечниках зажигали все свечи, то получалось нечто вроде рождественской елки. Светильники стоили восемьсот рублей, и это было все, что привез Путилов из двадцати пяти тысяч рублей. Оказалось, что действительно Путилов только сострил.

Поклонники Путилова во всем, что́ он говорил или делал, старались отыскивать остроумие даже и тогда, когда Путилов не думал ни шутить, ни острить. Раз

Путилов привез из Нижнего каких-то редких кур, а так как он вез их на крышке тарантаса, то и об этом рассказывали, как об остроте.

Но в Путилове, уж несомненно, сказалось новое веяние. Времена Куролесовых, очевидно, прошли безвозвратно, и человеческое своеволие не находило себе удовлетворения только в физическом насилии. Время делало свое и смягчало нравы. Женские институты и корпуса давали провинции «новых» женщин и «новых» мужчин. И провинциальные балы были именно тою ареной, на которой эти новые люди являлись в полном блеске. Губернские балы, особенно в дворянских собраниях, были вполне маленькими копиями петербургских аристократических, а может быть, даже и придворных балов. Дамы отличались изяществом и роскошью туалетов, а кавалеры, особенно военные,— гвардейским лоском и гусарскою ловкостью. Это была именно пора той переходной культуры, когда институтки и военные популяризировали в провинции петербургский аристократизм. Для высшего провинциального круга он был обязателен, пожалуй, и ранее, теперь же этот круг стал шире и свежее, и вообще внешний аристократизм нашел себе в помещичьем быту благоприятную почву.

Погоня за аристократизмом была своего рода несчастием, а пожалуй, даже и мукой. Я знал в Самаре одну даму, жену председателя, которая располагала, по-видимому, всеми возможностями, чтобы быть аристократкой (уж одно, что она имела тридцать тысяч в год доходу), и все-таки она могла быть аристократкой только в уездном городе, а не в губернском. Дом ее был поставлен вполне по образцу высших петербургских домов; везде была дорогая мебель, дорогие драпри, бронза, золото, хрусталь, зеркала; гостиная явилась целиком из французского мебельного магазина, ее будуар походил на изящно убранную душистую коробочку, белье свое она посылала стирать в Москву, детей одевала маленькими шотландцами и миниатюрными леди, которых кружевные панталончики были изящнее даже бумажных кружев конфектных коробочек; маленьких шотландцев и миниатюрных леди держали всегда наверху потому, что они делали внизу беспорядок, и потому еще, что так принято в хороших домах в Петербурге. Сама она выходила в гостиную ровно в три часа, разодетая в кружева и ленты

и слегка напудренная, и открывала прием. Раньше трех часов ее увидать было нельзя. И жизнь ее текла мирно, спокойно и красиво, и, казалось, она нашла себе полное счастье в кружевах и лентах; но вот приехал из Симбирска губернатор, князь Черкасский (Самара была еще уездным городом), а из Петербурга чиновник особых поручений Лашкарев — оба с манерой того времени говорить по-русски только о делах,— и душевный мир ее исчез, и она почувствовала себя глубоко униженной. Я помню такой случай. Черкасскому кто-то из местных представителей дал парадный обед, и Черкасского посадили рядом с нею. Черкасский громко, на весь стол обратился к ней с французскою фразой, и вся кровь бросилась ей в лицо, потому что она могла отвечать только по-русски... Через год, впрочем, она говорила по-французски не хуже князя Черкасского. А между тем это была женщина, несомненно, умная, но с болезненно развитым чувством аристократического достоинства.

Аристократизм, с его внешним благообразием, изяществом, блеском и величием, был высшею формой нашей тогдашней культуры. Но этот красивый цветок вырос на почве крепостного права, которое совершенно перепутывало все понятия. Каждый чувствовал свое достоинство только в первенстве, каждый хотел быть выше другого, иметь власть над ним, чем-нибудь от него отличаться; каждый хотел быть первым, и никто не хотел быть равным. Гвардеец чувствовал себя выше кавалериста, кавалерист — выше армейца, армеец — выше штатского. В этом заключалось достоинство положения. Но были еще и другие человеческие достоинства. Так, одни отличались богатством, другие — ростом, третьи — происхождением, четвертые — манерами и безукоризненным знанием французского языка. Тот, кто танцевал «легкие» танцы, считал себя выше того, кто умел танцевать только французскую кадриль и уклонялся галопировать в шестой фигуре; были кавалеры, достоинство которых заключалось в уменье танцевать мазурку, а в Самаре был один молодой танцор, отличавшийся тем, что он необыкновенно легко скользил в вальсе и галопе, точно катался на коньках. Потом обнаружилось, что он намазывал подошвы сапогов салом (и перепортил в Самаре весь паркет).

Несмотря, однако, на кажущуюся личность тогдашнего человеческого достоинства, оно было скорее стадным, чем личным,— оно было достоинством положения и принадлежности к чему-то, что, собственно, и давало значение человеку. Тогда, например, непомерно высоко ставилась честь мундира, достоинство дворянского звания, достоинство положения начальника. Поэтому можно было оскорбить в помещике его дворянское достоинство, нисколько не оскорбляя человека лично. Это даже как будто и непонятно, но становится вполне понятным, если представить себе человека, все достоинство которого зависит только от его прав. Совершенно подобное можно увидеть нынче на деревенских старшинах. Был человек простым, серым мужиком и всегда чувствовал себя маленьким, и вдруг этого маленького человека выбирают старшим, дают ему «право»,— ну и проникнется «достоинством», заколобродит, даже сечь начнет. А отнимите от него власть и право — и он станет опять прежним серым, маленьким и хорошим мужиком.

Институты и корпуса (а особенно, но уж это потом, университеты) много смягчили эту грубую форму права и власти, и аристократизм поднял достоинство личности и очень выдвинул вперед значение личных качеств. Это личное могло заключаться хотя бы только в уменье хорошо танцевать мазурку или легко скользить по паркету на сальных подошвах, и все-таки это было особенностию личной, несомненною принадлежностию отдельного человека, его собственной изобретательностью, собственною ловкостью, собственным умом. Еще больше подняли значение личности университеты, создав интеллигентное сознание.

Но институты и корпуса и интеллигентное сознание на первое время только еще более усилили расстояние между людьми и сообщили лишь внешнюю мягкость отношениям, оставив в них сущность прежнюю. Я уже говорил, как ехал раз ночью из села Майны в Самару с управляющим удельною конторой, как нас мчали с быстротою ветра, как от станции до станции скакали впереди нас вершники, с фонарями в руках, и освещали дорогу, как на станциях встречали сельские власти и крестьяне, стоявшие без шапок, и кланялись нам в пояс, и с каким величественно сановитым достоинст-

вом управляющий, проходя в станционную избу, благосклонно кивал головою направо и налево. Это был начальник из «новых», кончивший курс в Казанском университете. Он уже не сидел в присутствии на троне и не возвещал о своем приходе ямским колоколом — это было хорошо для какого-нибудь Калакуцкого, выслужившегося из приказных. Новые люди умели вносить обаяние власти, но боялись их, пожалуй, еще больше. Путилов хотя и не из университетских, но умел держать себя так, что ему было достаточно сдвинуть брови, и весь дом заходил на цыпочках. Он был очень хорош со своими крестьянами, еще лучше — с дворовыми; у него лакеи были из музыкантов, и в комнатах и за столом прислуживали несколько человек, все скрипачи. Эти скрипачи, а особенно первый скрипач Дмитрий, любимец Путилова, были настоящими артистами в услуге. Им не нужно было приказывать,— они знали привычки барина лучше, чем свои скрипки, и читали Путилова, как ноты, понимали каждый его взгляд, понимали тон его голоса, а Дмитрий, казалось, читал и его мысли. Этого, разумеется, нужно было достигнуть, и я не знаю, чему тут следует более удивляться — искусству ли, с которым власть достигла такого обаяния, или силе, с которой она могла до такой степени подавить человека.

В той же Самаре, и в то же время, управлял откупом совсем еще молодой человек из «новых» купцов, кончивший курс в Петербургском коммерческом училище и проживший затем в разных местах за границей два года. Я был с ним знаком очень коротко и только через год узнал (посещая его почти каждый день), что у него есть сестра. Он стыдился ее показывать, потому что она не говорила по-французски и получила простое домашнее воспитание, держал ее дома взаперти, как держали в старину женщин в теремах, никогда на улице не показывался с нею вместе и ужасно боялся, чтобы «необразованная» сестра не уронила его во мнении высшего самарского общества, в котором он был принят. А между тем сестра его была прекрасная, добрая и умная девушка, понимавшая многие вещи лучше своего «образованного» брата. Такого скверного стыда прежняя полудикая Россия не знала, и он явился к ней лишь вместе с аристократизмом.

Знал я в Самаре молодого асессора палаты, в котором сознание, что он университетский (он был из Казанского университета), развило невозможную щепетильность и обидчивость. У него, кажется, не было другого чувства, кроме боязни — не сделать что-нибудь такого, что могло бы нарушить равновесие его интеллигентного достоинства и чтобы кто-нибудь другой тоже не учинил подобного нарушения. Он был одет всегда безукоризненно чисто, в черном сюртуке, на котором не было ни пылинки, ни складочки, перчаток он не снимал, цилиндра не выпускал из рук и, как мне помнится, никогда не садился. Так он держал себя, когда приходил запросто. На балах и вечерах он никогда не танцевал, а стоял, прислонившись к колонне, к двери или стене, заложив правую руку за жилет и, конечно, не выпуская из левой руки цилиндра, и посматривал на танцующих с легкой, иронической, одобрительной улыбкой. Сдержан он был до невозможности, и с ним было ужасно трудно быть знакомым. Он считался визитами не только с самыми короткими знакомыми, но был просто невозможен своею щепетильною боязнью утратить нравственную независимость. Вот, например, один из способов, которым он ее восстановлял. Я был с ним знаком коротко, но он у меня не снимал перчаток и не расставался с своим цилиндром; случалось, что за закуской он съест у меня два пирожка и затем, в ближайший раз, когда я к нему приеду, я обязательно должен был съесть у него тоже два пирожка. Если я съедал три пирожка, он делался очень доволен. (О моей нравственной независимости он, очевидно, не заботился.) И таких-то людей, способных убить всякую простоту отношений и даже всякую общественность, вырабатывал теперь вновь народившийся умственный аристократизм с его умственным деспотизмом. Вот уже именно по пословице: не мытьем, так катаньем,— если нельзя уж было давить старыми способами, люди стали давить новыми.

И все-таки люди тут были ни при чем. Умственный аристократизм, несомненно, увеличивал общественный разлад, он даже разъедал семью, потому что «образованный» брат стыдился «необразованной» сестры и образованные дети стыдились необразованных родителей. К прежнему делению людей на богатых и небогатых, повелевающих и повинующихся прибавилось новое

деление на образованных и необразованных, умных и глупых; но ведь все это и не могло быть иначе, если весь общественный быт был основан на том, что одни должны быть непременно больше, а другие — непременно меньше, и если только в стремлении к большему росту и к большей власти над людьми, какая бы она там ни была, заключался весь смысл жизни и все человеческое честолюбие.

Умственный и светский аристократизм бросался в глаза преимущественно в городской жизни, а в деревенской, то есть в помещичьих усадьбах, он был заметен не так резко. Хотя и в деревнях богатые и крупные владельцы держались только богатых и крупных, а мелкие — мелких, но и тех и других все-таки разделяло пространство, и они могли прожить целый век, не видя друг друга. В городах же пространства не было, и аристократическое общество стояло без всякого промежутка и совсем рядом с обществом неаристократическим. Человек низов, сидя у окна, мог видеть, как аристократическое общество несется на тройках на пикник или собирается на бал в Дворянское собрание, и знал он при этом, что если у него нет умственного или светского ценза, то уж ему никогда не попасть ни на шумный и блестящий аристократический пикник, ни на бал Дворянского собрания и не подняться с низшей общественной ступени на высшую. В этом заключалась роковая судьба человека, определявшая и устанавливавшая все его будущее. Например, сестра говорившего по-французски управляющего откупом этой самой роковою судьбой была обречена держаться тех общественных низов, для которых были закрыты двери и мраморных зал Дворянского собрания, и петербургской гостиной честолюбивой жены управляющего (хотя для ее брата двери эти были открыты), и выйти замуж за секретаря думы. А секретарь думы — человек очень умный и способный, но тоже не имевший светского ценза и учившийся только в семинарии, той же роковой судьбой был обречен остаться навсегда секретарем.

Казалось бы, что светский и умственный ценз, так легко поднимавший человека, что достаточно было одного французского языка, чтобы попасть в верхи, давал и очень легкую возможность маленькому человеку стать побольше. Но в том-то и дело, что это вовсе не было

так легко. Крепостное деление людей на больших и малых, властных и безвластных предрешало каждому уже при его рождении его будущее место. Это был тот кальвинизм, который роковым образом делил всех заранее на осужденных и спасенных. Клубок только затягивался, запутывался, прибавлялись к нему новые узлы и петли, но роковой кальвинизм держал всех в своих руках. Вся жизнь, все людское честолюбие, все стремления и желания отдельных людей сводились к глупым, бессмысленным мелочам и к ничтожным удовлетворениям ничтожными средствами ничтожного достоинства, вроде восстановления своей нравственной независимости двумя пирожками, или к честолюбивому стремлению заговорить наконец с князем Черкасским по-французски, или скользить в галопе на сальных подошвах. Даже умные от природы люди тратили свои способности на унижение ближних издевательствами и на бесплодное остроумничанье. Очевидно, что умственный и светский аристократизм не спас никого и не создал лучших и более человеческих, справедливых отношений. Общество тупело и дичало и не могло найти никакого выхода из своей общественной бессознательности. И в то же время оно скучало, оно было нравственно не удовлетворено, куда-то рвалось, хотело чего-то другого и не находило в своей жизни никакого разумного удовлетворения. Отдельный человек имел как будто и ясно сознанную цель — создать себе достоинство, но теми средствами и возможностями, которые были в его распоряжении, какое же достоинство можно было себе создать!

То, что сейчас я говорил, относится к 1851 году. Прошло ровно десять лет, свершилось освобождение, экономический строй изменился, а с ним исчез, как думали, крепостной строй жизни. Теперь и прежние люди стали как бы совсем иными, явились у них иные дела, а с иными делами пошли и другие мысли, возникли иные стремления и явились даже общественные идеалы.

Особенно резко обнаружилась новая разница в росте людей. Былые крупные люди, наводившие такой страх, теперь этого страха не наводили и сразу стали гораздо

меньше; а те, кто их так боялся, бояться перестали и сразу стали гораздо больше. Люди, лишившись власти друг над другом, не только сравнялись в правах, но стали равнее и умственно.

Прежней крепостной России ни думать, ни знать что-нибудь не было причины. Теперь же, только готовясь к освобождению, Россия в пять лет передумала и перечитала столько, что сразу ушла на тысячу лет вперед. Я знаю, что на аптекарских весах не свесить знаний, мыслей и идей и что нет календаря, которым бы можно было определить умственную зрелость страны годами. Но несомненно, что если народу приходится перестраивать свой быт и ради этого нужно думать и знать, то он развивает в себе внезапно такую громадную умственную силу, умственное движение обнимает такую массу людей, что страна сразу поднимается на небывалую интеллигентную высоту и легко разрешает самые трудные и запутанные общественные задачи. Так это и случилось в период освобождения. Теперь думающий и читающий человек перестал быть редкостью, как это было в крепостное время, да и думать ему пришлось о таких вопросах, которым прежде он не знал и названия. Все стали умнее, все стали умственно больше, выделиться из этой массы умственно выросших людей прежним крупным людям было уже нечем, потому что они стали толпой, а чтобы стать выше новой умственной толпы, требовался уж и совсем другой рост, какого прежде не бывало. Только в этом и причина, что новые поколения кажутся мельче. Люди стали меньше потому, что сделались больше.

Но не одно освобождение сблизило людей и изменило их величину — помогло этому и усилившееся сношение, помогли железные дороги, пароходы, даже конки. Прежде военный генерал был совсем большая и почти недоступная особа, с трепетом, бывало, встретишь его на улице и отдаешь честь с боязнью, чтобы не нашел каких-нибудь нарушений или отступлений от формы. Я помню, как на Сергиевской встретил раз великого князя Михаила Павловича. Улица была почти пуста. Избегнуть встречи было невозможно. Я незаметно, под шинелью спрятал цепочку от часов, провел по всем пуговицам, вообще привел себя в порядок и, остановившись за четыре шага, сбросил шинель с правого плеча

и приложил руку к шляпе. Сбрасывая шинель, я старательно закрыл ею ноги, чтобы их совсем не было видно; сделал я это по чувству страха — так, на всякий случай, все безопаснее. Великий князь, поравнявшись со мной, осмотрел меня с ног до головы, отдал честь и прошел мимо. Я даже не помнил себя от радости, что все кончилось так хорошо, и был особенно доволен, что ловко спрятал ноги.

Бывали и генералы такие же строгие, с которыми страшно было встретиться на улице, а теперь с этим же самым страшным генералом усядешься рядом в конке и ничего не боишься. Министра Киселева я видел в десять лет всего два раза, а сменившего его Муравьева мог видеть каждый день, если б это было нужно. В «Гражданине» есть теперь даже особая рубрика: *«Приемные дни у гг. министров»*. Когда после дела М. Л. Михайлова меня назначили на службу в Астрахань и я подал в отставку, то товарищ министра А. А. Зеленый (военный генерал) призвал меня к себе, усадил в гостиной в кресло и убеждал (именно убеждал) ехать в Астрахань и не ездить в Сибирь, куда я ему сказал, что хочу ехать. Товарища же министра Киселева, Гамалея, я видел во всю свою службу только раз, да и то по случаю необычайной командировки.

Прежде солдаты обегали Невский проспект, боясь беспрестанных встреч с офицерами, потому что перед каждым офицером следовало остановиться, снять шапку и вытянуться. Теперь же и солдаты стали ходить по Невскому бестрепетно. В провинции, в деревне, повсюду явились подобные же упрощенные отношения. Былой помещик совсем не говорил с мужиком, а только посылал ему приказания через старосту или бурмистра, теперешний же стал входить с ним в непосредственные сношения, сам нанимает его на работы, сам продает или покупает хлеб и толкует с ним о земских делах.

Впрочем, все это были больше внешние, механические отношения — они устанавливались сравнительно легко, и трудности заключались не в них. Трудности заключались в том, чтобы переходный человек нашел себе место в новой природе и создал бы себе новое достоинство, потому что старое уже не годилось. Переходный человек в этом отношении напоминал лубочную картинку, на которой изображен юноша между добро-

детелью и пороком. Добродетель тянет его в одну сторону, порок — в другую, а юноша стоит с печальным лицом, растопырив ноги, и не подается ни в ту, ни в другую.

Нечто подобное у нас именно и случилось с личностью после освобождения крепостных. Я говорю только о среднем человеке, который составляет массу, служит для жизни широким основанием и играет в ней главную роль только потому, что этого среднего человека всегда очень много и что всегда и повсюду, то есть не у нас одних, он образует правящее поколение. Право на такое положение ему дает еще и возраст. Освобождение свершилось всего двадцать шесть лет назад. Следовательно, теперешний сорокалетний человек вырос в привычках, повадках, а частию и понятиях прежнего русского обихода. А так как возраст правящего поколения считается от тридцати до шестидесяти лет, то нынешнему сорокалетнему среднему человеку остается быть в правящем поколении еще двадцать лет. Может быть, эта «математическая» теория прогресса и не вполне непогрешима, но практически она все-таки уясняет, что нам еще долго ждать чего-нибудь хорошего.

Из числа этих людей среднего уровня мне пришлось встретить один очень любопытный образчик переходности, любопытный именно по своей сложности и по тому, что в нем путалась и обособливалась личная наследственность и крепостные повадки с последующим умственным влиянием.

Я познакомился с К., когда ему было лет тридцать. Он произвел на меня впечатление очень сдержанного, скромного и конфузливого человека, да таким он и был в действительности. Знакомство наше было больше внешнее, и случай узнать его представился мне много после. Но и тут, когда, казалось, ему уж не было причины передо мной скрываться, мне не скоро удалось проникнуть в его нутро и разгадать эту замкнутую и, по-видимому, загадочную натуру.

По умственному и душевному содержанию это был, по-видимому, средний русский человек, каких, пожалуй, много, и в то же время это был особенный человек, каких мало. Его внутренний мир был для него святилищем, истинным святая святых, в которое он не только никого не пускал, но если он замечал, что посторонний

глаз туда проникает, сейчас же сжимался или старался себя замаскировать. Это делалось в нем совершенно непроизвольно,— так же непроизвольно, как сжимается мимоза от постороннего прикосновения.

В нем изумительным образом перемешивались самые резкие крайности — великодушие с безжалостностью, нежность с грубостию, щедрость со скупостью, застенчивость и скромность с резким наскоком. То бывал он уступчив и мягок, то без всякой видимой причины всем и во всем противоречил. Он выслушивал иногда самую неприкрашенную правду, а то не переносил ни малейшего возражения.

Активность и пассивность перепутывались в нем самым капризным образом. Иногда он бывал мягок, предупредителен и уступчив в активном состоянии, а то внезапно начинал импонировать, ораторствовать, командовать, давить всех деспотизмом и требовать, чтобы все делалось, как ему хочется. Вообще он постоянно колебался между деятельным и недеятельным состоянием. В недеятельном состоянии в нем клубились смутные чувства, неясные ощущения, путались противуположные душевные течения, и он задумывался и затихал. Когда же наступал деятельный момент, в нем сразу развивалась очень сильная внешняя энергия, его «я» вдруг вырастало, и он становился маленьким самодержцем.

Но и в деятельном и в недеятельном состоянии в нем чувствовалось что-то вечно протестующее, вечно защищающееся и отстаивающее свое «я»; он всегда был настороже, готовый охранять себя от каких-то покушений, воображаемых или действительных, но всегда возбуждавших в нем недоверчивость. Жизнь не была для него «отношениями»; вся житейская многосложность сводилась в нем к одному упрощенному итогу взаимных покушений. Во всем и везде ему виделись только покушения людей друг на друга, и то же ему казалось и по отношению к нему. Ему думалось, что все хотят его эксплуатировать, пользоваться им для своих личных целей, и всю свою жизнь он свел к борьбе, к самозащите, к сторожливой самоохране.

Это было какое-то безмерное «я», беспредельно развитое чувство личности, болезненно впечатлительное и искусственно возбужденное, какая-то подвинченная нравственная упругость. Его можно было сравнить с

огнестрельным снарядом, который обнаруживает тем большую упругость газов, чем сильнее сдерживающее давление. И он именно вырос под влиянием подобного давления.

Корпус, в котором он воспитывался, развил и укрепил в нем привычки повиновения и исполнительности, требовательности и формализма и вообще имел на него большое воспитательное влияние. Эти четыре привычки сливались в нем в одно цельное общее, но господствующей, повелевающей и руководящей силой была в нем исполнительность. К. был изумительный исполнитель, и этому, кроме привычки повиновения, которую он приобрел в корпусе, помогли, конечно, и его личные особенности. Исполнительность он понимал как чувство долга, но это не было то общественное чувство, которое выражается в наследственном доброжелательстве; его чувство долга выросло из дисциплины и было лишь добросовестным выполнением взятых на себя обязанностей. К. был добросовестный и честный человек, и свою добросовестность и честность он именно и понимал в неупустительном, доходящем до педантизма исполнении обязательств. Я знал К. уже влиятельным лицом на общественной службе, и это влиятельное лицо работало с такою неутомимою энергией, так оно вникало во все и повсюду, что казалось, что им одним все и делалось.

Исполнительность К. была очень прямолинейной и превращалась в нем даже в искусство для искусства. Вообще корпус выработал в нем в совершенстве исполнительный орган и в то же время не вложил в К. идеи порядка. Это было заметно на всем его хозяйстве и во всем его домашнем обиходе. Его комната, например, была настоящей кучей Плюшкина (он сам называл ее так): гвозди, книги, бумаги, жестянки с красками и лаком, скипидар, веревки, ломаное железо, свертки старых обоев были перемешаны у него в живописном беспорядке, а письменный стол его был буквально загроможден бог знает чем. И ему было решительно некогда устроить у себя порядок, потому что он спешил что-то сделать и вечно суетился. Это была просто дурная корпусная привычка, потому что в корпусе все делалось по часам и всегда нужно было торопиться, чтобы успеть.

Привычка к исполнительности как бы совсем уничтожила в нем работу критической мысли. А между тем

К. был человек положительно неглупый, а иногда даже излишне головной и холодно рассудочный. Мне даже казалось, что эта холодная рассудочность создалась в нем привычкой исполнительности. Для него человек исчезал в исполнителе. Он никогда не справлялся: сыт ли, одет ли человек, сколько у него сил, что и как на душе. Все живое, человеческое было для него как бы посторонним и к делу не относящимся. Требовалось только исполнение, и точное исполнение. Поэтому к слабосильным или болезненным людям он относился без участия, и вовсе не потому, чтобы в нем не было жалостливости, а только потому, что слабый и болезненный сделает менее сильного и здорового. Вообще человек с его нуждами, потребностями и желаниями для него как бы не существовал, человек был для него лишь механическим, исполнительным орудием чего-то, а в чем заключалось или должно было заключаться это «что-то», воспитание ему не открыло.

Может быть, он не обращал внимания на чужие нужды и потребности еще и по другой причине. В самоограничении, самопожертвовании, лишениях, перенесении трудностей он видел силу и проникался к ней инстинктивным уважением, а усложненные потребности и наклонности к материальным удобствам казались ему слабостию и вызывали в нем чувство пренебрежения. Вообще он высоко ставил физическое мужество. Если бы такое тяготение к ограничениям нужд и потребностей доходило в нем до сознательного стоицизма, то это было бы целое мировоззрение, но дело так далеко не шло. Его стоицизм был скорее зачаточным ощущением и сводился к представлению о молодцеватости, которое он высоко ценил в других и развил привычкою в себе. В нем самом инстинкт и привычка к самоограничению и лишению доходили даже до смешного. Если ему представлялся выбор между удобством и неудобством, излишеством или лишением, он непременно выбирал неудобство и лишение. Имея рессорный экипаж, он никогда в нем не ездил; отправляясь рано утром в дорогу, он никогда не пил чаю и не закусывал, чтобы быть налегке; в холодную осеннюю погоду он отправлялся в путь в летнем пальто, точно он совершал военный переход, в котором все лишнее было бы помехой; в дороге он питался только хлебом и чаем; приезжая в город,

например в Петербург, он держал себя тоже впроголодь, на чае и белом хлебе; он всегда ходил пешком и совершал иногда поистине суворовские переходы. Подобным «стоицизмом» и насмешками над «изнеженностию» он, особенно в молодежи, вызывал к себе почтительное изумление.

Тяготение к лишениям, в сторону минусов, а не плюсов, доходило в нем почти до самомучительства. Он, конечно, не мог сравняться в этом отношении с Достоевским, находившим наслаждение в зубной боли; но страдательное положение было для него настолько обычным, что он оставался к нему совершенно пассивным и не делал ничего, чтобы из него выйти. Надо было, чтобы зубная боль промучила его дня три, чтобы на четвертый он решился прибегнуть к какому-нибудь средству. «Пройдет!» — говаривал он обыкновенно, и в большинстве случаев действительно проходило. По отношению к другим он держался того же правила.

Он был, по-видимому, уступчив и деликатен, но в то же время мог внезапно переменить тон и держать себя не только повелительно, но даже резко и грубо, если б ему показалось, что его властительское достоинство чем-нибудь нарушено. Иногда он принимал генеральский тон, и без всяких поводов, а просто так — не то по забывчивости, не то по внезапно явившемуся настроению или потому, что его кто-нибудь рассердил.

В доме он не считал себя хозяином, хотя ему было очень приятно, если ему оказывали исключительное внимание; но вне дома, в хозяйстве, он держал себя абсолютным владыкой и никакого постороннего вмешательства или разделения власти не допускал. Он был абсолютист и по привычкам воспитания, и по убеждению, и если допускал двоевластие в доме, то смотрел на это как на добровольную уступку, собственно для облегчения своей власти и в ее же интересах. В принципе же ему принадлежало первое место повсюду, и дом, семья были лишь видоизменением его «я», узаконенным его выражением, усложненною формой, усиливавшею и возвышавшею его достоинство и сообщавшею его «я» законченность и определенное положение в жизни.

Семейное чувство было в нем сильно, но тоже только потому, что семья была лишь его придатком, создавшим его дом, а «дом» — значило продолжение его рода, даль-

нейшее продолжение его самого. Вообще родовое чувство было развито в нем очень сильно, и оно придавало ему особенную цену в его собственных глазах. Другие его личные качества, умственные или нравственные, при сравнении с подобными же качествами других людей, могли еще возбуждать сомнение, хотя при сравнении себя с другими он, как и большинство людей с приподнятым личным чувством, гораздо легче замечал то, что было меньше его, чем то, что было больше, а потому сравнение всегда оказывалось в его пользу; но относительно его родовитости никаких сомнений быть не могло, достоинство его происхождения и его улучшенной породы (он был обыкновенный, не титулованный дворянин) было для него настолько же несомненно, насколько несомненно, что утучненный чернозем лучше тощего песка.

И в то же время этот горделивый своим происхождением человек имел все привычки мужика и был настоящим омужичившимся барином. Деревня была его стихией; он не только любил землю, но и весь смысл жизни исчезал для него вне земли. Он только и жил полною жизнью среди своих полей, яблонь, пчел, коров, свиней. Каждое свое животное он знал, знал его нрав и характер, каждому он давал имя и обращался с коровами и свиньями гораздо ласковее, чем с людьми. Он гладил и похлопывал с нежностью коров, чесал свиней за ушами, очищал им носы от грязи и был совершенно счастлив, когда на его ласки животные отвечали ласками.

Деревня наложила на него ту же печать, как и на мужика, дала ему ту же практичность, то же здравомыслие, то же понимание только возможного и осуществимого. Поэтому он считал непроизводительным все то, что не давало непосредственного практического результата. Дороги у него были грязные, даже в его усадьбе нельзя было пройти никуда без высоких сапогов, совершенно как в мужицком дворе, постройки у него были тоже мужицкие, везде дуло и текло; вообще ни внешние удобства, ни чистота для него не существовали, и не было у него в них никакой потребности.

И его «аскетизм», его урезывание себя во всем, его нечувствительность к потребностям и даже к человеческим страданиям получали в деревне смысл. В нем, как

и в мужике, недоставало многих чувств и понятий, которым самою практикой деревенской жизни не приготовлено никакого места. Ну, что поделает мужик и не мужик со всеми деревенскими, болеющими то «лихоманкой», то «нутром», то «сердцем», то «всем», то порубившими себе руки или ноги, то изуродованными разными опухолями? Или что поделает с ежегодными погорельцами, с нуждой, отправляющейся в «кусочки», или из года в год просящей у вас хлеба и семян? В этом отношении деревня вырабатывает всех одинаково; выработала она и К. «Помогай себе сам, потому что другой тебе не поможет»,— сделалось его теоретическим выводом из деревенской действительности. Иногда его рассуждения на подобные темы могли казаться просто жестокими, но он жесток не был, а только жалостливые разговоры считал пустыми словами, потому что из них ничего не выходит.

Мужика он ставил невысоко и его словам и обещаниям не верил. Этому научили его практические деревенские отношения и сношения с торгующим и промышленным людом. Первое время деревенская «нечестность» волновала К.; он возмущался, что люди не держат слова, что на них нельзя положиться, что они думают только о себе. Но потом он понял, что мужицкий «эгоизм» происходит от того, что мужик и не может глядеть дальше своей личной нужды и сегодняшнего дня. И вот К. не то чтоб уж совсем примирился с подобными фактами, но он их заметил, объяснил себе их истинную сущность и затем стал держать себя насторо́же, не доверяя ни торговцу, ни мужику.

В К., точно в какой-нибудь геологической породе, можно было наблюдать разные напластования, принадлежавшие разным эпохам. В нем было, собственно, три «я»: одно — естественное, натуральное, с которым К. родился, «я» с добрыми инстинктами, с хорошими наследственными чувствами, вообще с общественными задатками и наклонностями. Другое «я» было создано в нем воспитательными влияниями и состояло исключительно из разных привычек, положительных и отрицательных. Первые из них годились для общежития, а вторые совсем для него не годились. Наконец третье «я», зрелое и сознательное, вышло наружу уже в последний период жизни К., в эпоху освобождения; его создало частью

чтение, а большею частью — новые отношения и земская служба.

Эти три «я» в К. не сливались и не могли слиться в одно целое. Крепостные привычки действовали в нем с силой инстинкта, толкавшего его в одну сторону, а идеи и понятия, принятые им после освобождения, заставляли поступать совсем по-другому. И вот получилась непримиримая двойственность и шаткость в поведении и мыслях. Я не скажу, чтобы К. поступал одним образом, а рассуждал другим (что так обыкновенно у теперешних переходных людей), но он часто рассуждал двойственно. Иногда в нем так и слышался крепостник, но довольно было даже самого легкого возражения, чтобы К. поправился и начал высказывать правильные мысли. В К. было очень сильно чувство стыда, он искал одобрения и похвалы, дорожил общественным мнением и, как добрый человек, был склонен к добру. Поэтому в выборе между справедливым и несправедливым он всегда склонялся к справедливому.

И тем не менее ветхий человек, именно тот человек, который заключался в его привычках «стоицизма», самоурезывания и лишения, имел над ним большую умственную власть и, перенесенный в общественную деятельность, приносил свои плоды. Стоицизм этого ветхого человека не был тем стоицизмом, который мы знаем как философскую систему древних. Стоицизм древних был продуктом гордого сознания не смиряющегося человеческого духа. Древние стоики учили, что в мире глупцов, наслаждающихся жизнью, истинно свободен только тот, кто постигнет все ничтожество внешних благ. Известен ответ Диогена Александру Македонскому; глупые придворные засмеялись, но Александр понял Диогена. Конечно, этот стоицизм не давал бедным ничего, кроме нравственного удовлетворения, но зато он возвышал человеческое достоинство бедняка. Если знатные и богатые кичатся своими богатствами, то бедные, незнатные должны искать удовлетворения в гордом сознании своего нравственного достоинства и в презрении к суетности и тщеславию богачей. Но стоицизм, в привычках и понятиях которого вырос К., учил совсем не этому. Это был тот же стоицизм, которому поучал и Достоевский. Древний стоицизм вырос из гордого сознания человеческого величия, тогда как стоицизм, который внушили

К., вырос из сознания человеческой малости. Первый стоицизм был поэтому учением общественным, второй — противуобщественным. Один протестовал, другой смирялся; один уравновешивал, другой еще больше нарушал равновесие. Для первого — человек был частью природы, имеющею в ней свою долю счастья, для второго — человек является лишь механическим, исполнительным орудием чего-то и должен был этому «чему-то» служить. И К., выросший в привычках этого умаляющего стоицизма, превращал работника чуть не в раба его труда, точно труд был его вечным проклятием. Очевидно, что идея такого стоицизма не имела ничего общего со стоицизмом свободного грека и была применением к гражданскому общежитию аскетического смиреномудрия, самоумаления и добровольного поста. К. до того привык смотреть всегда в сторону умаления, что лишение стало для него аршином, которым он мерил благосостояние. Бессилие и бедность он сравнивал не с силой и богатством, а с бо́льшею бедностью и даже с нуждой. Он совершенно серьезно уверял, что русский мужик вовсе не так беден: есть у него изба, хлеб, корова, огород, сыт он и одет — чего же ему еще нужно? По словам К., ни одна русская губерния не могла жаловаться на свое положение, потому что во всякой другой губернии живут так же. Очень может быть, что и в таком рассуждении сказывалась практичность К., думавшего, что неблагоразумно питать неудовольствие, когда ничего не поделаешь, но еще больше, как кажется, сказывался тут «аскетизм» и убеждение, что мужику больше и не нужно.

Знал я еще один любопытный характер, и тоже с непомерно развитым чувством личности. В Т. было много общего с К., но он был много проще, однопредметнее и понятнее. Их общее заключалось в приподнятой оценке себя, в безграничной гордыне, в беспричинном внутреннем убеждении, что они лучше, так, просто сами по себе, по природе и по наследственности. Т., впрочем, считая себя человеком шестидесятых годов, не мог, разумеется, гордиться своим родом, но он гордился своим отцом, генералом, любил говорить о его стойкости, честности и неподкупности и хотел дать понять, что все эти качества он унаследовал.

Во всей фигуре Т., в его малейшем движении все

говорило, как он высоко себя ценит. Голову он нес не только высоко, но даже закидывал назад; он часто встряхивал волосами с каким-то вызывающим видом, держал себя уверенно, с спокойным достоинством, и в каждом движении его крупного, прямого и, от излишнего вытягивания себя, как бы выгнутого назад тела чувствовалось полнейшее самоудовлетворение. Походка у него была медленная, твердая, покачивающаяся, самодовольная; все нутро его как будто пело, и в каждой складке его лица прорывалось скрытое довольство.

Т. считал себя интеллигентом и борцом за свободу и достоинство личности, но в нем были настолько сильны крепостные привычки, в которых он вырос, и в него так въелась привычка повелевать и командовать еще в доме отца денщиками и вестовыми, что проповеди о свободе личности он применял только к себе, а затем давил всех своим авторитетом и непогрешимостью. Это был истинный нравственный деспот, так сказать, нравственный крепостник, сам создавший себе право говорить каждому то, что он называл «правдой».

Если бы он был священник, то весьма вероятно, что из него вышел бы хороший моралист-проповедник; если бы он принялся за изобличение общественных зол, из него, может быть, выработался бы хороший публицист; но он вздумал исправлять отдельных людей и поучать честности и достоинству только своих знакомых и родных, и из него вышел лишь несносный человек, мешавшийся не в свое дело. Привычка возиться с отдельными людьми и следить за их повседневными поступками и взаимными отношениями сделала то, что он зарылся совсем в мелочах, обабился, перестал различать серьезное от пустого, общественное от частного и опустился почти до дрязг и сплетен.

Перечень людских недостатков, которые он преследовал, был довольно обширен. Он корил легкомыслие, праздность, барство, суетность, бесчестность, лживость (ее особенно), слабохарактерность, вообще — все те недостатки, которыми, как он говорил, напретило ему крепостное общество еще в молодости и устранением которых только и могла создаться честная и энергичная личность, в которой нуждалась Россия. Это была теория личного прогресса, пропагандированию которой он себя и посвятил.

Привычка к поучениям сообщила ему менторский тон и поставила его в противоречие с самим собою. С одной стороны, он был человек как все и тянулся к людям как равный; с другой — он чувствовал, что он все-таки не как все и стоит головой выше. Являясь в общество, он обыкновенно занимал наблюдательный пост (в особенности если были незнакомые), молчал, всех выглядывал и высматривал, точно следил за каждым (он и действительно следил), и подавлял всех своей крупной, подтянутой фигурой. Лишенный всякой упругости и эластичности мысли, он давил своим неповоротливым умственным деспотизмом и как бы подтягивал всех к себе. Он судил всех только по своей совести, и я помню, как он был изумлен, когда я ему сказал, что справедливость только в том и заключается, чтобы уметь понимать ближнего и судить его по *его* совести. Т., конечно, был прав, что должна же быть на свете и общая совесть, но он был неправ, считая этой общей совестью лишь свою собственную.

С теми же личными основаниями, но с иными душевными подробностями был Р. Это был тоже крайний личник и барин, но с большим практическим тактом и с более гибким умом, чем Т. и К. В Р. не чувствовалось ничего фанатического, прямолинейности в нем не было, моральными проповедями он не занимался, и человек был общежительный. Но в то же время в Р. не было и той идейности, бессознательным олицетворением которой являлись К. и Т.

Сами по себе, то есть по развитию и умственным средствам, К. и Т. не были идейными людьми. К. был практик, исполнитель, хозяин — и только. В отвлеченности и обобщения он не пускался, к «теориям» не имел склонности, а любил заниматься насущными делами и к ним только и чувствовал влечение. И тем не менее этот самый К. своею жизнию, повседневным поведением изображал уже очень точную идею. Эгоист, по-видимому, до мозга костей, человек, для которого все имело интерес лишь настолько, насколько это связывалось с ним, человек, отдавшийся весь мелочам сельского хозяйства и зарывшийся в черноземе, он был все-таки носителем идеи. Он страстно любил землю, именно вот этот самый чернозем, который ему принадлежал и в который он зарылся. Он считал земледелие своим чело-

веческим и гражданским долгом; он был хозяином не ради одних доходов, а еще и потому, что земледелие дает человеку положение, создает его достоинство, сообщает ему силу, независимость, отводит ему место в природе. Уж одной своею любовью к земле и тем, что он делал для нее ради этой любви, К. сам собою являлся прогрессивною идеей.

Т. тоже изображал из себя идею. Несмотря на свою бестактность и неумелость, несмотря на всю личность своего поведения, он служил и работал для свободы и независимости человеческого «я», хотя средства для того выбрал и неудачные. Всю свою жизнь он потратил на проповеди о достоинстве личности, состарелся на этом, истратил на это все свои силы и, действуя, по-видимому, частно, лично для себя, действовал все-таки в общем направлении. И в К. и в Т. было много аристократизма, излишне приподнятого личного чувства, самовозвеличивания и самообожания, и обыкновенных людей они не считали себе ровней. Но за всем этим вы чувствовали в этих людях как бы совсем не зависевшую от их личного «я» идею общего блага, помимо их воли выражавшуюся в известных результатах, которые все-таки создавали они. От этих людей, несмотря на их жесткую внешность, веяло теплом, и они принадлежали к числу таких людей, которые лично производят далеко не влекущее впечатление, а когда от них отойдешь, когда глядишь на них издали и освободишься от их личного впечатления, то чувствуешь их свет и тепло и научаешься их любить и ценить.

В К. и Т. все их достоинства происходили от их недостатков (а может быть, и наоборот — их недостатки от их достоинств), и они вышли моралистами, потому что слишком высоко ценили себя, считали себя непогрешимыми и слишком любовно относились к каждому своему действию и к каждой своей привычке; им казалось даже совсем непонятным, чтобы люди могли поступать как следует, не поступая, как они. На К. и Т. было до очевидности ясно, насколько морализм не может быть руководящим общественным принципом, потому что он ведет лишь к перенесению крепостных привычек в нравственную и умственную область, к подавлению лица лицом и к непризнанию в людях равного достоинства.

Не знаю, чем бы вышли К. и Т. при продолжающемся крепостном праве, но несомненно, что у них были сильные корни в привычках и влияниях прошлого, и это-то прошлое с его средствами и выработало их такими, какими они стали.

Р. представлял уже дальнейшую ступень переходности: он умел думать политически и был не моралист, а психолог. Для личника-моралиста психология, и формы жизни, и общественные порядки не заключают в себе ничего существенного. Т., например, был совершенно искренно убежден и даже не стеснялся высказывать, что если все будут поступать так, как поступал он, достигая личной независимости и освобождаясь от предрассудков, то это все, чего и следует желать и что́ следует внушать каждому. Для Т. все сводилось к личным качествам и к самоисправлению. Но люди с политическим мышлением думают несколько иначе. И они не отрицают личного усовершенствования, которое должно создаться более правильным пониманием вещей и отношений, но вещам и отношениям они придают все-таки большее значение и думают, что с переменами в них люди скорее сделаются лучшими уж по одному тому, что справедливые порядки и людей, склонных к несправедливости, заставят поступать справедливо. Поэтому же люди с политическим мышлением не обвиняют и не оправдывают человека лично и лично от него многого не требуют; они человека стараются только понять и объяснить в связи с условиями, от которых он зависит. Эта точка зрения и справедливее и гуманнее моральной, потому что при ней не приходится ни казнить, ни распинать слабого только за то, что он слабый.

Р. производил очень хорошее личное впечатление. Он был боек, подвижен, говорлив, умел быть привлекательным и нравился женщинам. Нравился он им, впрочем, не наружностию, а складом мышления и тем, что любил рыться в человеческой душе. Он умел всегда завести интересный разговор и располагал к себе кажущеюся искренностию и откровенностию. Но в то время как Т. говорил о себе лишь в превосходной степени, Р. чаще всего или подсмеивался над собой, или говорил о себе порицательно. Но это порицание было лишь формой похвалы, и за ним скрывалось самое глубокое самообожание и желание всегда думать и говорить

только о себе. Р. был переполнен собою, наивысшие интересы мысли заключались для него только в нем самом, в нем всегда играло довольное чувство.

Р. был наблюдателен, видел много людей, испытал сам много практических положений, и его сильно развитая наблюдательность привела к тому, что из него вышел глубокий циник. Он не верил ни в женскую, ни в мужскую добродетель, любовь сводил к простому половому чувству, верности не признавал, честность в человеческих отношениях отрицал и уверял, что под внешними благородными словами и напускным достоинством скрывается всегда самая глубокая нравственная мерзость и скотская животность.

Сильно развитая наблюдательность, потребность, а потом и привычка вникать в побуждения и причины поступков людей были основною силой, которая дала Р. его нравственное и умственное содержание и создала его общественную и личную физиономию. По пониманию жизни К. и Т. были настоящими младенцами. Они были точно замуравлены в себе и смотрели только внутрь себя, тогда как Р. своими быстрыми, проницательными глазами видел все, что происходит и делается вокруг, и читал в сердцах людей, как читают книги. Мне никогда не случалось видеть, чтобы в обществе он увлекся общим удовольствием. Чем было больше людей, тем он внимательнее и холоднее их наблюдал, и чем люди больше увлекались, тем он становился сдержаннее, тем спокойнее он в них всматривался и, к сожалению, никогда не мог найти в них ничего другого, кроме мерзостей.

Р. не был зол, но он был холоден; первое впечатление в нем всегда задерживалось, переходило в спокойное наблюдение, выжидание, и уже затем только его холодный ум искал выхода из положения. Привычку эту создало в нем деспотическое и запугивающее воспитание и последующая служба, отличавшаяся строгостию и суровою дисциплиною. Он оканчивал воспитание и начал служить, когда Крымская война кончалась, подготовлялось освобождение и в общество уже проникли освободительные идеи. И вот необходимость подчиняться безмолвно и безропотно подавляющей власти и в то же время возникшая в нем работа мысли нашли в нем своеобразное равновесие. Личное чувство в нем возму-

щалось, а между тем приходилось молча все выслушивать и выносить, и он формально исполнял то, что ему приказывали, а в его крутящихся острых серых глазах смотрела насмешка, и он, как бы намеренно подчеркивая, давал чувствовать, что покоряется давящей силе только внешним образом, а сам над нею смеется. Такая форма протеста сохранилась в нем навсегда. Если кто-нибудь раздражался против Р., он не противоречил и не возражал; иногда случалось, что он поддакивал, как бы соглашаясь с противником, и в то же время его глаза кружились и смеялись. В подобных случаях в Р. точно поднимался какой-то бес, и он находил злорадное удовольствие поддразнивать, злить, доводить человека до сознания бессилия.

Друзей Р. не имел, но у него были приятели и даже поклонники, к которым он относился с покровительственной, мягкой и легко-иронической верховитостью; равенства же он, как кажется, не выносил, и ему всегда было нужно занимать первое место. Если нельзя было приобрести его дружбы, то легко было в нем нажить врага. Иногда простой сплетни, что такой-то относится к нему неодобрительно, было достаточно, чтобы возбудить в нем враждебность. Тогда в нем поднималось боевое чувство, и он был способен к самому мелкому, упорному и не прекращающемуся преследованию. Вообще Р. был боец, но он боролся не открыто и не шел напролом, как это делал прямолинейный Т.

Р. умел хорошо скрывать свои личные побуждения и всегда придавал им общий характер. Можно было подумать, что им управляют идейные побуждения, тогда как побуждения его всегда были личные. Для него идеи и дела имели значение не сами по себе, а по степени прикосновенности к ним его «я». Личное чувство разрослось в нем до непомерного самолюбия. Самолюбием определялось его внешнее поведение и даже его общественная нравственность. Оно было в нем силой, и побуждающей и берегущей. Ради самолюбия, ради того, чтобы о нем заговорили, он мог отважиться на очень многое, и ради того же самолюбия он не сделал бы никогда пакости. По себе ли судя или из наблюдения над другими, но он придавал самолюбию особенное значение и считал его чуть ли не главною способностью души, двигающей человека на великие дела. Нравственности же

он особенного значения не придавал и думал, что дела делаются не ею.

Р. был вообще натура протестующая, не склонная к подчинению, поэтому, при каком бы деле он ни состоял, он всегда являлся в оппозиции, точно хотел сбросить стоявшую над ним власть. И в то же время его аристократическая, захватывающая все в себя натура, с широкими барскими размахами и аппетитами, не позволяла ему ничем делиться с другими. Люди, хорошо знавшие Р., говорили, что у него щучьи наклонности.

В Р. уже замечался нарождающийся делец, и, вероятно, он бы им и сделался, если бы его не удерживали частью самолюбие, а частью его общественные наклонности. В нем было сильно политическое кокетство, а в то же время твердо установившихся политических понятий у него не было. Вообще это была натура скорее с политическими склонностями, чем с политическими идеями и идеалами. Рядом с этим в нем сидел возникающий делец, которому опять помешало бы сделаться буржуа и капиталистом его понятие о «барине» и высокое представление о себе, как о белой кости. Одним словом, если К. и Т. двоились, то Р. троился.

Еще попытаюсь очертить характер человека, и тоже переходного, который в свое время, то есть когда он был жив, навлекал на себя много нареканий. Человек этот — известный редактор и издатель журналов «Русское слово» и «Дело» Григорий Евлампиевич Благосветлов.

Я познакомился с Благосветловым в 1860 или 1861 году, когда граф Кушелев пригласил его в редакторы «Русского слова». Благосветлов жил в доме Кушелева, на Гагаринской набережной (нынче дом князя Волконского), во дворе, и имел небольшую, но приличную и удобную квартиру. В этой же квартире у Благосветлова я увидал в первый раз и Писарева. О Благосветлове, как редакторе, и о моих к нему журнальных отношениях я напишу когда-нибудь особо, а теперь буду говорить о нем с другою целью.

Благосветлова молодым, то есть когда я с ним познакомился, я не упомню, но я сохранил его в памяти, каким он был в последние годы перед смертью. Это был человек среднего роста, скорее даже малого, не полный, но и не худой, с коротко остриженными, почти совсем седыми, густыми, зачесанными назад волосами,

с несколько нависшими бровями, с подстриженными, наравне с верхней губой, щетинистыми седыми усами и всегда чисто выбритый. Брился Благосветлов чуть не каждый день сам, очень тщательно, и обращал особенное внимание на симметричность своих усов. Благосветлов был некрасив, не отличался ни барством, ни изысканностью манер и держал себя твердо и уверенно, хотя и просто. В его манере чувствовался хозяин и делец, привыкший вести свои дела сам. Особенной мягкости, угодливости или услужливости в нем не было. Он всегда и со всеми держал себя хозяином и напоминал скорее французского буржуа, чем редактора журнала и писателя.

Личное впечатление Благосветлов производил приятное: он умел быть мягким, по-видимому, уступчивым, говорил умно, видно было, что он знал хорошо людей (хотя и не с особенно хорошей стороны) и придавал разговору о людях несколько иронический и даже высмеивающий характер. Но он был человек тугой, неподатливый, замкнутый, не открывающий своей души, недоверчивый и подозрительный, вообще неудовлетворенный жизнию, сумрачный и искавший уединения.

И у Благосветлова была своя наследственность, которою он гордился. Во время Пугачевского бунта одна из шаек Пугачева подошла к селу, в котором дед Благосветлова был дьячком. Дед взобрался на колокольню и стал бить в набат. Пугачевцы вошли уже в село, а дед все звонит; ему кричат, чтобы он перестал и сошел с колокольни, а он звонит да звонит. Пугачевцы сволокли упрямого старика с колокольни и убили. «Вот и я такой же»,— заключал свой рассказ о деде Благосветлов.

В одном из писем ко мне, хотя и не по поводу размолвки, о которой я уже говорил, Писарев делает такую характеристику Благосветлова: «...сблизиться с «Делом» — значит все-таки сойтись с Благосветловым, с человеком, который не вносит в свое занятие ни ума, ни знаний, ни таланта, ни даже порядочных денежных средств и который во всякую данную минуту может все испортить, расстроить, перепутать и оскандалить своею суетливостью, раздражительностью, близоруким задором и печальною страстью к полемическому красноречию. Я не считаю его за дурного и низкого человека, но я не вижу никакого основания превращать его в воплощение идеи и думать, что, помимо Благосветлова, нет множе-

ства других гораздо более удобных средств действовать на читающее общество...»

Эта характеристика была сделана Писаревым в минуту еще не совсем успокоившегося раздражения. Но, устранив выражения, в которых оно сказывалось, получается то, что было в действительности.

Благосветлов был очень упрям, очень раздражителен и очень запальчив. Потом, с годами, он научился сдерживаться, но если ему не удавалось или он был уж очень возбужден, то действительно мог испортить всякое дело и разорвать всякие отношения. Кроме Писарева, мне приходилось примирять его еще с одним членом редакции, и тоже безуспешно. Первого шага Благосветлов делать не умел и не был способен на уступки, хотя и писал, что «извиниться не беда, даже и в том, в чем не чувствуешь никакой вины». Я, впрочем, не слышал о случаях, когда бы Благосветлов извинялся.

У Благосветлова была упрямая, неповоротливая мысль, и гибкостию ума он не обладал. Это упрямство много мешало Благосветлову и в обыкновенных отношениях, а в денежных делах оно составило ему дурную репутацию и подавало не раз повод к несправедливому обвинению в скупости, которой в нем вовсе не было. Известна его история с П. И. Вейнбергом, которому Благосветлов послал рублевую бумажку. Тут не в деньгах было дело, а была другая причина, раздражившая Благосветлова, и ему нужно было чем-нибудь сорвать свое неудовольствие и обидеть П. И. Вейнберга. Благосветлов бросал иногда десятки и сотни рублей просто так, почти на ветер. У него была скорее широкая, размашистая, степная натура (Благосветлов был саратовец), чем прижимистая. На обедах и вечерах, которые он иногда давал, бывало всегда всего в изобилии, и все это изобилие было хорошее и дорогое. Или накупит он в Милютиных лавках дюшес и всяких дорогих плодов, просто так, чтобы полакомить детей. Квартира его была отделана очень дорого, хотя и без вкуса. Двери были красного дерева, полированные, подоконники мраморные; везде хрусталь и бронза. Пианино было от Плейеля, рояль тоже его или Бехштейна, превосходные, купленные за границей. Любил он покупать дорогие картины. Все его вещи были хорошие, и уж по вещам было видно, что за них заплачены хорошие деньги. Благосветлов именно

любил все дорогое и в этом дорогом никогда себе не отказывал. Но вот в этом хорошем и дорогом, в котором Благосветлов себе не отказывал, и заключается ключ к его объяснению.

Благосветлов относился высокомерно к «барству» и к «барским замашкам», в которых, впрочем, обвинял Писарева больше по досаде. А в то же время жил сам в роскошно отделанной квартире, имел карету, лошадей, два каменных дома, купил в Харьковской губернии имение и одно время завел даже лакея-негра. Правда, ему было стыдно за негра — и через три месяца он его отпустил. Что же все это было? Барство? Нет!

Барство — значит власть, крепостная власть; кроме того, оно еще и праздность, жизнь в свое удовольствие, наслаждение жизнию. Конечно, Благосветлов не был таким барином. Он простой, неизбалованный семинарист, чернорабочий, сам собственными руками пробивший дорогу, собственным горбом создавший себе дома и карету,— человек с умеренными привычками и ограниченными потребностями, не знавший других развлечений, кроме нескончаемой работы, просиживавший до двух-трех часов ночи у себя в кабинете за корректурами,— он, такой Благосветлов, сознававший все это хорошо, гордился своими мозолистыми руками. Двери красного дерева, бронза, хрусталь, рояль Бехштейна, картины в золоченых рамах были только как бы осязательными результатами его каторжной трудовой жизни (так сам он ее называл иногда, жалуясь на сотрудников), и он смотрел с удовольствием, даже с гордостью на всю эту роскошь, потому что она говорила ему, какое он прошел расстояние в жизни, начав ее бедным семинаристом. Не барство поднимало в Благосветлове чувство личности, как у тех господ, о которых я говорил, а богатство и деньги, дававшие ему власть над людьми.

И Благосветлов был настоящим разбогатевшим буржуа,— не «буржуем», как обозвал Г. И. Успенский русского разжиревшего и грубого кулака, а именно буржуа по французскому образцу. Благосветлов был слишком образованный человек, чтобы стать «буржуем». Он кончил университет, три года прожил в Лондоне и в Париже у Герцена домашним учителем его детей, и это было как раз в то время, когда он сформировал себе общественные и политические понятия. Он изучил исто-

рию, политические и юридические науки, политическую экономию и вообще имел вполне законченное общественно-политическое мировоззрение, с которым и вернулся в Россию, чтобы редактировать «Русское слово». Не могу утвердительно сказать, были ли бы возможны в «Русском слове» Писарев и Зайцев, когда его редактировал Я. П. Полонский (поэт), но несомненно, что они явились в этом журнале, когда Благосветлов сменил г. Полонского.

Благосветлов был именно хозяин-буржуа, а его грубость, запальчивость и деспотизм в отношениях к сотрудникам, к рабочим типографии, к фактору и метранпажу Королькову, который прожил у Благосветлова более пятнадцати лет и умер у него почти в типографии,— все это было не барством, а настоящею буржуазностию, и нередко низкого сорта. От этого-то Благосветлов и доходил иногда до столкновений, кончавшихся у мирового. Будь он полированнее и сдержаннее, этого бы не случилось, но сущность отношений осталась бы все та же. Это был бы тот же «капиталист» и тот же хозяин.

Несмотря на свой хозяйский деспотизм, Благосветлов вносил в отношения все-таки больше равенства, чем господа, о которых я говорил. Он не считал себя белою костью, не считал себя выше других, и его недостатки были лишь его личными недостатками, а не недостатками его общественно-политических убеждений. Как публицист и общественный деятель, Благосветлов оставался всегда верен себе и был в этом отношении истинным внуком своего упрямого деда. Он твердо держался одних и тех же политических и общественных принципов, никогда и ни при каких обстоятельствах (а он их тоже испытал) не изменял своим политическим убеждениям и составил себе репутацию человека, вполне честного политически. И Благосветлов был прав, когда гордился своим наследственным упрямством и тем, что не боится бедности и в этом чувствует свою силу. Это была опять черта, которою он ставил себя выше «бар».

Но особенность буржуазности в том и заключается, что она может проповедовать политическое братство и свободу и, при них и ни в чем не изменяя им, отлично устраивать свои дела. Сделавшись богатым хозяином, Благосветлов тоже начал обнаруживать двойственность, которая раньше, когда он был беднее, была или слабее,

или менее заметна. Его царапали статьи, в которых говорилось против эксплуатации и в защиту труженика, рабочего и мужика. Мужика он вообще недолюбливал. В подобных статьях он точно читал упрек себе, а может быть, ему казалось, что автор и прямо думал или говорил о нем. Статьи он принимал и печатал, но, кажется, был бы довольнее, если бы подобных статей ему не доставляли.

Очевидно, что в Благосветлове еще было общественное сознание и он понимал, что он делает. Но также было ясно, что внутренний человек состоял в нем из двух слоев, не слившихся в один. В нижнем слое лежали у него традиции и привычки его семинарской молодости и быта, в котором он вырос (тоже крепостной), а верхний слой составляли головные представления о политических отношениях, усвоенные им гораздо позднее. И получился двойственный человек, честный политически и в то же время давивший экономически,— человек, признававший полное равенство в политических правах и не допускавший равенства между собою и теми, кому он платил жалованье и кто на него работал. Живя в роскоши, он не думал о чужой бедности и не обнаруживал к ней сочувствия. В этом отношении он был очень тверд. Он как будто находил даже удовлетворение в том, что его подручные были беднее его, точно это поднимало его над ними и денежная их зависимость от него возвышала его авторитет и льстила его чувству власти. В этом и в политической честности он и полагал свое достоинство.

Я назвал приведенные образчики переходными характерами потому, что в них в той или в другой форме давал себя чувствовать дореформенный человек. Новое, послереформенное, заставило этих людей самою силою вещей тянуться кверху, а привычки и замашки, в которых они выросли, держали их крепко внизу. И получились люди, не способные ни думать справедливо, ни устроить даже подле себя какую-нибудь сносную справедливость. Люди буржуазного типа, захотевшие занять место «белой кости», оказались не более ее способными к справедливости. Они были дальше ее только тем, что, желая занять ее место, понимали, что для этого нужны кое-какие перемены, которые дали бы им больший простор. Но они были политиками только для себя. Они

не желали позволить садиться верхом лишь на себя, а на других садились охотно. Разница против прежнего оказалась в том, что получилось больше седоков. Строгие же моралисты из белой кости, проповедуя «честность», «достоинство личности» и требуя «идеалов», менее всего понимали, в чем заключается это достоинство, и лучший прибор на пиру природы приберегали для себя. Но что бы сказали эти пророки, обвиняющие других в том, что они утратили «идеалы», если бы перед ними явился тоже проповедник и доказал бы им, что у них-то именно никогда и не было живого идеала. Не для этих людей, а для читателя я приведу здесь слова одного умного немца, которые я было думал поставить эпиграфом. «Не забывай ни на минуту,— сказал этот умный немец, писавший о земной жизни Иисуса Христа,— что ты человек, а не просто часть природы,— ни на минуту, что и все другие — также люди, то есть что, при всем своем личном разнообразии, они то же, что ты, с одинаковыми с тобою потребностями и правами. В этом вся нравственность». Этой-то именно нравственности у переходных людей и не оказалось, а потому не оказалось у них и ясного, точного, сознательного общественного идеала.

Но были (и есть) еще другие люди (я знал их только между писателями), в которых не сохранилось ничего переходного. Ясно и просто уразумели они отношения между вещами, поняли, какими вещи должны быть, и то, что они поняли, стало их природой. С таким счастливым умом явились они уж на свет божий, и вся сила этого счастья заключалась в том, что они понимали, что они такие же люди, как другие.

<АРЕСТ И ВЫСЫЛКА 1884 года>

<1>

В среду, 27 июня, я отправился в редакцию — это был мой последний редакционный день. Кончив занятие, я вместе с Вольфсоном и новым переводчиком, которым он хотел заменить наших прежних заграничных переводчиков, пошли обедать к Палкину. С А. М. Скабичевским я переговорил окончательно накануне, и теперь мне хотелось кончить с Вольфсоном. Я говорил ему уже ранее, что считаю себя лишним в редакции, и теперь повторил ему еще раз то же самое. «Может быть, вы *гнушаетесь* работать со мною?» — сказал мне Вольфсон. Это «гнушание» было не совсем точным да, пожалуй, и не совсем уместным выражением, особенно оно было неуместно в устах Вольфсона, принадлежащего к числу тех честолюбивых и тщеславных евреев, которые не любят замешиваться в толпе и протираются вперед на локтях. Я ответил, что гнушаться им не гнушаюсь, но при новых условиях в редакции мне будет не совсем удобно быть, что я измучен и хотел бы отдохнуть и, оставляя редакцию, желал бы, однако, сохранить за собою ведение «Домашней хроники». Так и порешили, что я оставляю редакцию, Скабичевский вступает в нее и «Домашняя хроника» остается за мной.

Разговор наш вертелся, конечно, на «Деле». Было ясно, что над ним носится что-то зловещее; но в чем оно заключается — никто не знал. Толстого в Петербурге не было, Феоктистова тоже. Адикаевский, по обычаю, двуличничал, но вел свою линию, то есть действовал так, чтобы угодить начальству. В прошении, которое подал Вольфсон, Адикаевский заставил его написать, что редакция «Дела» будет изменена, эмигранты участ-

вовать не будут и направление журнала будет совершенно изменено. Я, к сожалению, забыл подробности этого любопытного документа, копию с которого Вольфсон носил в своем бумажнике, но и сам Вольфсон стыдился своего предательства и смотрел на свою подписку как на военную хитрость. Ему очень хотелось сделаться хозяином толстого журнала, и для этого он соглашался на всевозможные подписки, с тем чтобы потом их не исполнить. Вольфсону, вероятно, казалось, что он поступает, как Галилей. Но в Главном управлении в нем видели «жида», а по «народной политике» журнал должен был принадлежать русскому. Для журнала беда заключалась не в том, что Вольфсон «жид», а в том, что, не говоря уже о Благосветлове, но и в сравнении с Станюковичем, Вольфсон был просто нравственный и умственный карапузик. С первого появления Вольфсона в редакции было ясно, что журналом он управлять не может: у него не было ни политического, ни литературного воспитания и ни на волос художественного чутья. При этом Вольфсон был самонадеян и заносчив и принимал тон начальника; Федору (наш рассыльный) Вольфсон кивал головой, как генерал, а секретарю кланялся приветливо и более дружески, но не давал руки. Все это было очень глупо и совсем не в обычае.

Вернулся я домой из Петербурга измученный, как это и всегда бывало со мною в редакционные дни, и посещение Скабичевского отложил на завтра; но завтра оказалось уже не моим. В третьем часу ночи меня разбудил резкий, бесцеремонный стук. Я сразу понял, что это значит, и, пока отворяли жандармам дверь, наскоро умылся, причесался и начал одеваться. Посетителей оказалась целая толпа: жандармский офицер и с ним два жандарма, прокурор, исправник, сотский или старшина и еще три крестьянина. Обыск не был особенно строгий; но все писанное осматривали внимательно. Производил обыск, собственно, жандармский офицер, исправник сидел на диване и курил; прокурор для облегчения жандарма пересматривал, без особенного усердия, рукописи. Я старался по возможности освобождать мои письма и бумаги из жандармских и прокурорских тисков и всякий раз предупреждал, какую они берут рукопись. После одной взятой прокурором я говорю ему: «Это записки гласного Нечаева Новгородского гу-

бернского земского собрания».— «А вы знакомы с Нечаевым?» — «Приятели»,— отвечаю я. И приятельство с Нечаевым сейчас же изменило душевный климат сурового прокурора. Мы сели и стали беседовать о новгородских знакомых, даже касались общественных вопросов, а обыск производил один жандарм. Впрочем, я старался по возможности облегчить его тяжелую миссию; ему приходилось осматривать три шкапа с книгами, и, когда он садился на корточки, чтобы осматривать нижние полки, я подставлял ему стул. Жандарм просил меня не беспокоиться, но все-таки садился.

По окончании осмотра офицер просил меня отправиться с ним в жандармское управление. Это был уже арест, но пока замаскированный, и я знал, что домой уже не вернусь. В жандармском управлении нас уже ждали, и меня пригласили сейчас же в комнату следователя. Подполковник Жолкевич (жандарм, следователь) мне отрекомендовался, протянул руку и просил садиться. Все это делалось очень вежливо и даже приторно. Не успели мы сесть, как вошло новое лицо и тоже отрекомендовалось: «Прокурор окружного суда Богданович». Опять рукопожатие, опять сели — и начался допрос.

— Какие у вас были в тысяча восемьсот восемьдесят втором году сношения в Киеве? — спрашивает Богданович.

— Никаких сношений в Киеве у меня не было,— ответил я.

— Господин Шелгунов, потрудитесь говорить правду,— сказал Богданович, возвысив голос.

— Да я вам и говорю правду.

— Это ваша телеграмма?

— Позвольте.

Богданович передал мне телеграмму. Это была моя телеграмма из Киева к Станюковичу, чтобы он выслал сейчас же двести рублей к Кольцову в Ростов-на-Дону, адресуя на имя Михайлова.

— Телеграмма эта моя.

— Почему вы ее послали?

— Я получил от Кольцова письмо, в котором он просит выслать ему скорее двести рублей, а так как деньги высылает контора, то я и телеграфировал в Петербург на Станюковича.

— Отчего же вы не писали письмом, а послали теле-

грамму и так спешили,— ехидно улыбаясь, вставляет вопрос Жолкевич.— Вы в одном письме к Станюковичу жалуетесь, что у вас нет денег, и тратите три рубля на телеграмму.

— Очень просто; потому что Кольцов просил прислать деньги скорее; что касается трех рублей, то это вовсе не такие большие деньги, чтобы не послать телеграммы.

— Кольцов был в Киеве? — спрашивает Богданович.

— Нет, в Киеве его не было.

— Как же вы узнали, что ему нужны деньги, и почему вы были в Киеве?

— В Киев я попал случайно. Я ехал отдохнуть и лечиться в Кренине; но в Киеве мне очень хвалили местность Боярки, где можно пить кумыс, и я остался в Киеве. Уезжая из Петербурга, я просил секретаря высылать ко мне все письма, которые будут приходить на мое имя, и письмо Кольцова (точно я не помню) было выслано ко мне в Киев.

— Где и как вы познакомились с Кольцовым?

Я ответил.

— Знали ли вы, что это Тихомиров?

— Сначала не знал, а потом узнал.

— Напишите все это.

Мне дали лист бумаги, в заголовке которого было напечатано, что при прокуроре следователем, подполковником Жолкевичем, производился допрос «обвиняемому» Николаю Шелгунову. Когда я кончил показание, мне дали еще лист, на котором уже заранее было написано, что я обвиняюсь по 250 ст. уложения о наказаниях и по распоряжению прокурора подвергаюсь заключению под стражу. Все это было данью легальности, хотя в то же время и жандармы и прокуроры очень хорошо знали, что они только играют законом. Когда мне предъявили обвинение по 250 ст. и я под ним подписался (законность), я попросил Жолкевича показать мне 250 ст. Вероятно, к нему обращаются часто с подобными просьбами, потому что уложение оказалось на полке на виду, и он сейчас же открыл статью. Статья говорила о сообществе с целью ниспровержения в более или менее отдаленном будущем существующего порядка и назначала наказание: максимум восемь лет каторжной работы и минимум один год и четыре месяца

крепостного заключения. Жолкевич и сам видел, что по отношению ко мне все это «слишком», и сказал, что максимум едва ли будет ко мне применен. Но я вовсе не желал и минимума и думал, что и его нельзя применить ко мне, хотя при нашей легальности все могло случиться.

Когда Богданович начал допрос, я больше думал о том, почему он предлагает подобные вопросы. Было ясно, что он приступал ко мне с готовым мнением: я поехал в Киев, чтобы видеться с Тихомировым, и, конечно, с разрушительными целями (сношение); чтобы привести их в исполнение, нужны деньги, и я телеграфирую в Петербург. Затем Тихомиров уезжает в Ростов-на-Дону и, получив деньги, бежит за границу (конечно, тоже с разрушительными целями). Но так как ничего подобного в действительности не было, то все составленные заранее Богдановичем умозаключения оказались вздорными.

При допросах мне пришлось не раз убедиться в крайней умственной ограниченности жандармов и прокуроров. Они, конечно, могут быть и умными людьми в чемнибудь другом, но как следователям им просто недостает школы. К каждому обвиняемому они приступают с готовым мнением, и, если это мнение не подкрепляется, они подозревают обвиняемого в запирательстве и тогда пускают в ход угрозы и даже пытку. Я не преувеличиваю. Кривенко, ответы которого им не нравились, они перевели из дома предварительного заключения в крепость, где и казематы сырые, и кормят из котла, так что человек или болеет, или впадает в истощение сил. Ваничку (фамилию не помню, это был четвертый метальщик) обессилило до того крепостное заключение, что его перевели в лазарет предварительного заключения, где его поправляли пять месяцев, чтобы он мог отправиться в путь (на двадцать лет в каторгу). Это мне рассказывал фельдшер дома предварительного заключения. Капитан Иванов, сменивший Судейкина, до того бесится при допросах, если отвечают не то, чего ему хочется, что при допросе, кажется, того же Кривенко рванул себя от нетерпения за борты сюртука с такою силою, что разорвал часовую цепочку. Это уже просто неприлично во всяких отношениях. По нашему делу были приглашены для допроса (как свидетели) Павленков и Благосветлова, Павленков по

поводу каких-то статей Кольцова (Тихомирова), а Благосветлова, чтобы получить от нее конторские книги за 1881 год (мое редакторство). Но когда Павленков и Благосветлова обнаружили некоторую несговорчивость, то Богданович так на них раскричался, что Благосветлова заплакала. Если так обращаются с свидетелями, то, уж конечно, с обвиняемыми церемонятся еще меньше. Со мною, впрочем, обращались с очень изысканной вежливостию, которой вообще отличаются жандармы старого типа. Говорят, по инструкции, составленной еще при Бенкендорфе, жандармы должны уподобляться по кротости первым христианам. Жандарм должен сносить безответно не только брань и ругательства, но даже и побои. Жандармы нового типа этой инструкции, должно быть, не знают, по крайней мере капитан Иванов, составивший себе репутацию зверя. Зато Жолкевич был безукоризнен: мало того, что при допросах он потчевал меня чаем и всегда спрашивал меня, каких я желаю булок, но раз, обещая продержать меня больше обыкновенного, послал даже в трактир за обедом. Когда, в начале знакомства, я отказывался от чая, Жолкевич мне говорил несколько раз: «Ведь это чай мой».

Прошло ровно двадцать лет, как явились «Судебные уставы», а с ними прокуроры и следователи, а между тем нет людей, которые бы умели вести следствие. Если так плохи следователи по политическим делам, для которых, конечно, назначают лучших людей, то чего же нужно ждать от обыкновенных следователей. Мне пришлось иметь дело с тремя следователями: Богдановичем, Жолкевичем и товарищем прокурора судебной палаты Котляревским. Богданович был следователь грубый, и допросы его топорные. Он бросает прямо в лицо обвинением, вроде вопроса, который я уже приводил: «Какие у вас были сношения?» — и если не получает утвердительного ответа, то пускает в ход насилие. Жолкевич, постоянно вежливый и не изменяющий себе, винтит душу, как инквизитор, точно запускает в вас пробочник. Вопросы его были всегда мелочные и крайне назойливые. Как привяжется к одному, так он не отстанет, пока не измучит и себя и меня. Так он допытывался, как я познакомился с Кольцовым, какие у нас были отношения. Отношений не было никаких (в том смысле, как думал Жолкевич), а познакомился очень

просто: пришел Кольцов ко мне, и только. О чем тут писать? Но Жолкевичу было желательно получить нечто систематическое, вроде «Истории Государства Российского», и на нескольких допросах он приставал ко мне, чтобы я изложил подробно, как познакомился с Кольцовым и какие были у нас отношения, но так я этого и не написал. В другой раз он пристал ко мне с петербургским адресом Кольцова.

— Я не знал его адреса.

— Быть не может, чтобы вы не знали.

— Нет, не знал, да и знать было незачем.

— Ну полноте, может ли быть, чтобы в редакции не знали адреса сотрудника? Я очень хорошо знаю редакционные порядки (ничего он в них не знает); бывает нужно поговорить, изменить что-нибудь (1 сл. нрзб.), послать книжку, отправить журнал; адрес должен быть известен.

— И мы все-таки не знали его адреса, да и сношений у нас не было таких, чтобы нужно было знать его адрес; статьи он приносил сам, книжки журнала и деньги получал в конторе. Наконец, он жил в Петербурге только наездом. Если есть его адрес, то он должен быть в редакционной книге адресов. (Я очень хорошо знал, что адреса Кольцова в книге нет, и это также хорошо знал и Жолкевич.)

— Не поверю, чтобы вам не был известен его адрес,— опять винтил Жолкевич.— Если бы вы сказали его, это очень бы ускорило окончание вашего дела, а теперь я все-таки его узнаю, но только вы заставите меня обратиться к подвальной аристократии, а мне бы не хотелось в литературном деле, где только показания литераторов и образованных людей, примешивать показания мужиков.

— Что это за подвальная аристократия?

— Старшие дворники.

Но увы! Я все-таки не мог удовлетворить желание Жолкевича, потому что действительно никогда не знал адреса Кольцова.

У Жолкевича был странный ум, пригодный для мелкой, подробной работы, но совсем неспособный различать важное от неважного, существенное от несущественного. Это свойство ума Жолкевича, вероятно, знал хорошо и Котляревский, потому что поручал ему или предварительные, подготовительные допросы, или по-

следующую подчистку и пополнение пропусков, а главные допросы брал на себя.

Порядок допроса был обыкновенно такой. Вхожу к Жолкевичу, и на моем месте уже лежит допросный лист с заголовками, что «допрос обвиняемому Николаю Васильевичу Шелгунову производил следователь подполковник Жолкевич (он очень гордился тем, что следователь) при товарище прокурора судебной палаты Котляревском». Начинались мелочи, или в разъяснение предыдущих показаний, или новые; затем в середине допроса входил Котляревский и давал мне генеральное сражение.

Котляревский не был мучителем, но в нем зато был сильный охотничий инстинкт; если Богданович бил обухом по голове, Жолкевич — пытал и тянул жилы, то Котляревский травил. Хохол с мягкими, вкрадчивыми манерами, образованный, начитанный, а главное, умный, Котляревский не придавал значения мелочам и бил в точку. Он тоже приступил к допросу предвзято, но, как мастер своего дела и генерал от прокуратуры, мерил не вершками, подобно Жолкевичу, а большими саженями. Он нюхом понял, что ни в какой «политике» или «сношениях» обвинить меня нельзя, и ненужных этого рода вопросов мне не делал. Центр тяжести обвинения он видел (и это было правильно) в моем сношении с нелегальным человеком; и все свои допросы сосредоточил на получении от меня показаний, когда я познакомился с Кольцовым, знал ли я, что он Тихомиров и скрывается под вымышленными именами от преследования правительства. Это и был единственный пункт, за который я мог быть подвергнут ответственности (конечно, только по соображениям администрации, а не по суду и не по закону).

На главном допросе, когда должен был выясниться этот главный пункт, Котляревский прибегнул к своему обычному приему — логической травле. Между прочими поличными было арестовано у Станюковича мое письмо к нему, отправленное мною в дополнение к телеграмме. Письмо начиналось так: «Михайлов просит» — и т. д. Мне помнилось, что Кольцов в письме ко мне о деньгах подписался «Михайлов», в то же время он просил и выслать деньги на имя Михайлова. Вот на этом-то Михайлове и вертелись все комбинации допроса. «Получив письмо с подписью Михай-

лова, вы, конечно, не могли не обратить на нее внимания», «зная же ранее, что Тихомиров называется то Каратаевым, то Кольцовым, вы не могли не видеть в этом желания скрыть свое имя», «следовательно, не могли не догадываться, что должна же быть для этого причина», «а если есть причины и человек является к вам под разными фамилиями, то самая перемена фамилии уже обнаруживает его нелегальность»; «поэтому вы не могли не подумать, что Кольцов человек нелегальный, и цели, конечно, его знали», «если же вы знали, что Кольцов нелегальный, вам не могла не быть известной его фамилия», «зная же, что это Тихомиров, вы, конечно, знали, в чем его вина перед правительством». Вот в каком сорте были вопросы Котляревского, которыми он меня прижимал и в действительности прижал к стене. Уверять, что я не знал о нелегальности Кольцова, было бы глупо. Но Котляревского не удовлетворило и это. Он хотел еще определить, когда я узнал об этом. Мне же этот вопрос казался праздным. Котляревский, однако, знал, что он делал. Кольцов считался членом Исполнительного комитета и соучастником (совещательным) в убийстве императора Александра. Сношения с таким лицом, даже литературные, имели уже совсем иной оттенок, и вот почему Котляревский добивался определить, когда именно я узнал, что Кольцов есть Тихомиров.

Я вдавался в подробности допросов только для того, чтобы показать, каким следователям поручается расследование политических дел и как жалко, не умно они его производят.

Никто из них не производит исследования беспристрастного, не предвзятого, как производит, например, исследования натуралист; вместо исследования прямо приступают к обвинениям и добиваются сознания. И Котляревский травил меня, чтобы вырвать сознание. И вот что из этого вышло. Навели справки в Ростове-на-Дону о Михайлове, и такой нашелся, но уже не в Ростове, а в Харькове. Приволокли беднягу в Петербург, посадили в предварительное, подвергли допросу, и, конечно, ничего не оказалось. Этот Михайлов маленький человечек, служивший в Харькове на железной дороге (Кольцов, вероятно, только нанимал у него квартиру). Вслед за Михайловым приехала в Петербург и его жена, просить, чтобы выпустили ее мужа на поруки.

«Внесите пятьсот рублей, мы его выпустим»,— говорит ей Котляревский. «Пятьсот рублей! Да я здесь отрезала и продала косу, чтобы что-нибудь есть, а вы спрашиваете пятьсот рублей»,— ответила она, показав свои стриженые волосы. Продержали Михайлова неделю и выпустили без залога. На следующем допросе Котляревский и Жолкевич бранили мне Кольцова, который так «бессовестно» подвел Михайлова; точно Кольцов подвел его, а не глупая жандармская система, по которой, не разобрав сначала ничего, тащут всякого и сажают в тюрьму. Такого переполнения предварительного политическими арестантами не бывало еще никогда. Два этажа в мужском отделении (около ста камер) заняты постоянно; не успеет утром очиститься номер, уже к вечеру занято. Кроме предварительного, наполнена крепость. Это в Петербурге. А в Киеве, в Одессе, в Москве, в Варшаве свои аресты и свои суды. Говорят, что в нынешнюю осень выслано из Петербурга более шестисот человек «неблагонадежных». Это делается по простому, ничем не мотивированному подозрению или по доносу шпиона. Жандармский офицер, который возил меня к допросу, рассказывал мне, что ему было очень жаль одной девушки, которую арестовали без всякой причины, но на другой же день и выпустили. Сами жандармы видят, что арестовывают напрасно, и все-таки арестуют. Попав в омут допросов и в предварительное, я чувствовал, что в этом омуте возможно всякое насилие, всякая несправедливость и бесполезно искать какой-либо правды. Сами прокуроры и жандармы не больше как такие же жертвы системы, которой они служат. Кто раз попал в это колесо, будет вертеться в нем, как белка, без конца. Раз я говорю Котляревскому: «Как же вы обвиняете меня по двести пятидесятой статье, разве я к ней подхожу?» — «Да нет другой»,— отвечает мне Котляревский. И у человека при этом ответе не шевельнулось никакое чувство, не явилась никакая мысль. По системе, я должен быть арестован, а уже закон подбирается потом, какой и дойдет. Так со мной поступили и в первый раз, когда военный суд приговорил к лишению мундира, пенсии и ссылке, *применяясь* к 32 ст. положения о дисциплинарных взысканиях.

В Вологде, когда я жил в ней, судили рядового Степанова, будто бы ударившего офицера в кабаке. Уда-

рил не Степанов, а другой. Адъютант полка, рассказывавший мне этот случай, возмущался несправедливостью обвинения, но в качестве члена суда все-таки подписался под смертным приговором невинному. Вот что делает эта несчастная правительственная система с людьми, которые могли быть порядочными и честными (Котляревский, Жолкевич, Богданович и другие прокуроры, которых я видел в предварительном и в жандармском управлении, в обыкновенных отношениях, несомненно, порядочные люди). Но, чтобы существовать, люди эти идут на службу правительству и превращаются в бездушное орудие правительственного произвола, против которого они и сами протестуют. На одном из допросов Котляревский говорит мне, что не считает запрещение «Отечественных записок» правильным,— можно преследовать людей, подвергать взысканию их, а не печатный орган. (Вероятно, он хотел сказать, что с «Делом» они поступают справедливее, потому что, не запрещая журнала, посадили в тюрьму почти всю его редакцию.) Я ответил ему, что всякий журнал составляют лица, и, преследуя лиц, преследуют журнал. При этом же разговоре я заметил Котляревскому, что преследование «Дела» начал Плеве (директор департамента полиции) и что он отлично знал, что с арестом Станюковича и меня и с удалением Острогорского «Дело» остановится. На это Котляревский мне ответил: «Поверьте, что ни Плеве, ни я в этом деле не можем ничего ни изменить, ни сделать — это началось не от нас» (следовало понять, что от гр. Толстого). Но несомненно и то, что и Плеве и Котляревский отлично знали, что стоит только сделать жандармский обыск, чтобы опять найти какой-нибудь обвиняющий лоскуток, а затем подвести обвинение под 250 ст. (потому что другой нет) и посадить человека в тюрьму. Даже срок заключения предрешается административным произволом. По крайней мере, так было со мной.

После первого допроса, когда Богданович дал мне подписать постановление о заключении меня под стражу, я спросил его, не могу ли быть освобожден под залог или на поруки. Богданович сказал, что ранее месяца это едва ли определится. «А какой потребуется залог?» — спросил я. «Тысячи две». Когда через месяц я спросил о том же Котляревского, он мне ответил, что

я не могу быть выпущен до окончания дела, и дружески советовал не просить об освобождении, потому что оно будет зачтено мне в наказание (наказание за несуществующую вину!). «Ну а долго ли может протянуться вся эта история?» — спрашиваю я. «Да месяца четыре. Уж лучше посидите это время, и тогда вы будете совсем свободны»,— ответил Котляревский. Это же самое Котляревский повторял потом несколько раз, несмотря на то, что допросы меня были уже кончены. Я был заключен 28 июня, последний допрос был 13 июля, а выпущен я был 25 октября, то есть просидел почти три с половиной месяца лишних исключительно по «административным соображениям». Как мне показалось, соображения эти принадлежали Котляревскому и Дурново (директор департамента полиции). Уже в начале следствия выяснилось, что по 250 ст. меня обвинять нельзя, и следовательно, и нельзя держать в заключении. Если Богданович распорядился моим арестом, то, казалось, он же мог бы распорядиться и моим освобождением. Но ведь это был бы произвол. Поэтому делу было дано «законное движение», и оно поступило к прокурору судебной палаты. Но и прокурор судебной палаты знал, что я не должен быть в заключении, и знал он это из записки, которую я ему подал и в которой именно объяснял, что не подхожу под 250 ст., знал он об этом и от Котляревского; но он знал также, что мне решено зачесть заключение в наказание и что заключение это не должно быть меньше четырех месяцев. И вот ровно 25 октября меня освобождают «на законном основании» по распоряжению прокурора судебной палаты. Чистое шулерство! И нет выхода из него, и негде искать правды и закона. В политических делах администрация, или, точнее, департамент полиции и министр внутренних дел, решают все как им вздумается, даже прокурор судебной палаты не больше как чиновник, делающий то, что ему прикажут. И это ровно через двадцать лет после судебной реформы и нового суда — «скорого, милостивого и равного для всех». Скоро же мы преуспеваем. Я помню николаевское время с его произволом; но в том произволе, право, было больше «законности» и было кому на него жаловаться. Теперь же и жаловаться некому. Вас обвиняют в навязываемой вам вине (на основании административных соображе-

ний), по тем же соображениям заключают в тюрьму (но приводят при этом неподходящую статью закона), опять по тем же соображениям выдерживают в тюрьме решенный заранее срок и, когда он кончается, выпускают из тюрьмы по распоряжению прокурора (по закону). Если бы я вздумал выяснить всю эту безалаберность административного произвола, маскирующегося законом, и обратился бы с прошением к министру юстиции, единственный результат этого был бы тот, что министр внутренних дел (Толстой) сослал бы меня в какой-нибудь Сольвычегодск или Яранск. Дело, по которому я сидел под арестом, называлось «литературным», и таким же оно называлось в доме предварительного заключения. Это было единственное дело с тех пор, как существует в России литература. Начали это дело Толстой и Плеве, которые всю смуту и даже 1 марта приписывали журналистам и журналистике. «Дело» никогда не пользовалось хорошей репутацией, но в настоящем случае им казалось, что они откроют кое-какие нити, в особенности в сношениях с Тихомировым и Штейном; <Степняк-Кравчинский> известен им как убийца Мезенцева и переводил у нас под фамилией Штейна, Бэльдинского и Горского. Жолкевич на двух или трех допросах приставал ко мне с особенной назойливостью относительно Штейна и того, что я не мог не знать, кто скрывается под этим псевдонимом. Я давал уклончивые ответы, которыми, конечно, Жолкевича не удовлетворил. Но иначе и не могло быть. Жолкевич искал все «политику» и «сношения», а я не признавал с сотрудниками никаких других сношений, кроме журнальных. Жолкевича, разумеется, я переубедить не мог, но мне было важно поставить на верную точку зрения тех, кто будет рассматривать наше дело, и 13 октября, когда следствие поступило к прокурору судебной палаты, я отправил к нему записку, из которой, как мне казалось, и прокурор и комиссия могли понять, что не редакция «Дела», а правительственная администрация виновата во всей этой каше и в тех неприятных последствиях, которые обрушились на журнал и его редакторов. Вот эта записка:

«Ровно двадцать пять лет, что я участвую в «Русском слове» и «Деле», и за все это время я не припом-

ню, чтобы в этих журналах когда-либо не работали заграничные сотрудники — русские и иностранцы.

Перед самой смертью Благосветлова (в ноябре 1880 года), когда вступили в «Дело» Русанов и Кольцов, и затем Онгирский, Протопопов, Анненский, Абрамов, Лесевич и др., прежний традиционный порядок пошатнулся, и одним фактом вступления новых лиц участие заграничных сотрудников очень уменьшилось. Если бы нынешней весной «Дело» не постигла катастрофа — оно бы в силу естественных причин пришло в то нормальное положение, на путь к которому становилось.

Политического значения своим заграничным сотрудникам «Дело» никогда и никакого не придавало. Они ценились за большую талантливость, за большее знание и за лучшее образование. И в отношении правительства к сотрудникам из эмигрантов если не было прямой поддержки, то не было и прямого запрещения. Граф П. А. Шувалов по поводу сотрудничества в «Деле» П. Л. Лаврова выразился так: «Пускай он лучше пишет в здешнем подцензурном издании, чем будет писать глупости за границей». (Это мне говорил Благосветлов.)

Цензура относилась с такою же терпимостию к статьям эмигрантов, зная их псевдонимы. Закон не говорил ничего. Таким образом, участие эмигрантов в русской печати всегда существовало без точного юридического его установления.

Нужен был случай, чтобы вопрос этот встал на очередь, и этот случай выпал на долю теперешней редакции «Дело», которая при тех условиях, в которых она находилась, не имела никакой возможности изменить порядок, существовавший больше двадцати лет. Он установился временем и мог измениться только временем.

Но допуская, что вопрос об участии политических эмигрантов есть вопрос редакционного такта, я, при всем моем желании, не мог бы миновать нарекания и ответственности. Только при допросах для меня, например, выяснилось, что Москвин (барон Эльсниц) есть эмигрант важный, а Драгоманов не важный, тогда как я именно и считал Драгоманова за серьезного эмигранта, а Москвина эмигрантом почти не считал. Цензура, существующая для печати, давала хотя приблизительные указания, о чем можно и о чем нельзя писать; но цензура, существующая на имена и авторов, никаких

указаний редакциям не делала. Если бы редакции знали, какие авторы запрещены, уж конечно, статьи их в печати бы не явились.

Насколько участие эмигрантов не составляло тайны, приведу следующий факт. Ткачев, много лет работавший в «Деле», сделавшись эмигрантом, остался для наборщиков типографии тем же Ткачевым, под каким бы он псевдонимом ни писал. Каждый мальчик типографии знал его руку и звал не иначе, как «Ткачевым», до того все это было открыто, всем известно, допускаемо и терпимо. При такой практике отношений являлась, естественно, известная безразличность к именам, псевдонимам и местам, откуда приходят статьи. В последнее время, кроме усиленного поступления заграничных статей, стали приходить статьи из Сибири и отдаленных губерний (конечно, от политических ссыльных, которых явилось уже слишком много).

Относительно Кольцова, мне думается, я мог бы еще с большим правом повторить ту же мысль. Кольцов является в «Деле» неизвестным человеком и неизвестным сотрудником. Только почти через два года и совершенно неожиданно для редакции он является эмигрантом. Но нецензурность его имени и сотрудничества устанавливается далеко не сейчас. Появляются какие-то смутные слухи частию о Кольцове (на этот раз как о Тихомирове), частию о предстоящих обысках и арестах литераторов (это было осенью, в октябре или ноябре прошлого 1883 года) — и только с закрытием «Отечественных записок» и с напечатанием «Правительственного сообщения» в «Правительственном вестнике» явилось официальное указание — и то слишком общее,— какого рода сотрудники в печать не должны быть допускаемы.

При установившейся журнальной традиции и при терпимости, какая существовала по отношению к сотрудничеству эмигрантов, я — журналист старой традиции — не придавал заграничному сотрудничеству решительно никакого угрожающего значения. Я, например, настолько мало интересовался псевдонимами, что фамилию Москвина (бар. Эльсниц), работающего в «Деле» чуть не десять лет, узнал только в прошедшем году. И это вполне натурально. У редакции журнала не может быть другой точки зрения на сотрудников, кроме журнальной. Поэтому и редакция «Дела», в том числе и я,

не могли не относиться к печатанию статей отсутствующих сотрудников и эмигрантов (Кольцова тоже) с тем спокойствием, которое создается уверенностью, что редакция не нарушает ни одной из своих обязанностей.

В интересах истины я не могу не обособить деятельности новой редакции, вступившей в управление журналом с 1881 года, от деятельности редакции предыдущей. При новой «Дело» вступило в момент перелома, вызванного поворотом идей к новой внутренней политике. И в этот-то момент, когда журнал еще выяснял себе свои задачи и жил исключительно журнальными целями, на меня обрушивается обвинение по 250 ст. уложения о наказаниях с заключением под стражу, на основании фактов, хотя и представлявших некоторую политическую очевидность, но внутреннее значение которых было совсем иное».

При освобождении меня повторилась еще раз комедия если не произвола, то многовластия. Лицам, справлявшимся обо мне у прокурора судебной палаты, прокурор сказал, что сделает распоряжение о моем освобождении и что меня «выпустят на все четыре стороны». Я ждал этих четырех сторон так нетерпеливо, что даже потерял аппетит. Прошло, однако, больше двух недель, а о четырех сторонах ни слуху ни духу, да и узнать не у кого. Наконец 25 октября, в девять часов утра щелкает замок моей двери, и старший объявляет: «Извольте собирать вещи, вы освобождаетесь». Внизу на «главном посту» ждал меня поручик Легапп, и на этот раз один, без жандармов. Карету нагрузили моими вещами — и отправились в жандармское управление. Жолкевич принял меня не в том кабинете, в котором производил допрос, и с большими удобствами. Рядом с его письменным столом стоял стол секретаря. Когда я вошел к Жолкевичу, он писал что-то. Я стал против него и закурил папиросу. (Пишу об этом, чтобы показать либерализм жандармских нравов.) «Вы едете в Смоленскую губернию?» — спрашивает Жолкевич. «Да»,— отвечаю я. «А где ваша родина? — «В Девятой линии Васильевского острова». Жолкевич замолчал и стал опять писать. Писание Жолкевича оказалось жандармским постановлением, которым я отдаюсь «под особый надзор полиции». «Куда же вы едете в Смоленскую губернию?» — спросил опять Жолкевич. «В сельцо Во-

робьево Красиинского уезда». Записал Жолкевич и это. Таким образом, в постановлении получилось, что я еду в с. Воробьево Красиинского уезда, где и отдаюсь под особый надзор полиции. Постановление это Жолкевич дал мне подписать, точно и я участвовал в его составлении. «А что значит *особый* надзор?» — спрашиваю я Жолкевича. «Да ничего, это так, слово». И он мне показал «закон», в котором действительно стояло «особый», но без всяких разъяснений.

Но каким образом Жолкевич узнал, что я желаю ехать в Смоленскую губернию, и почему он спросил меня о родине? О родине спросил он меня потому, что если бы оказалось, что я родился в Восточной Сибири, то жандармское управление отдало бы предпочтение моей родине пред Смоленской губернией и сослало бы меня в Сибирь. Так в Сибирь (на место родины) был выслан из Петербурга Щапов. А почему Жолкевич знал, что я желаю уехать в Смоленскую губернию, это для меня выяснилось из следующего. Перед секретарем лежала на столе целая куча писем, поручик Легапп подсел к столу и, как человек, принимающийся за обычное дело, начал читать их и пристукивать клеймом. «Вы кладете штемпель жандармского управления?» — спрашиваю я его. «Нет, товарища прокурора судебной палаты».— «А вам приходится читать много писем?» — «Ужасно много,— отвечает секретарь,— просто времени нет, еще спасибо, что поручик помогает, а то бы не успеть». Значит, все письма, которые я получал и отправлял, читали или секретарь, или поручик Легапп, то есть жандармы, а мы, арестованные, простодушно думали, что корреспонденцию просматривает прокурорский надзор. Но, конечно, содержание писем докладывалось Жолкевичу.

Подписав постановление, Жолкевич просил меня отправиться в «секретное отделение», в то «секретное отделение», которое при новом правительстве стало пугалом петербургской молодежи. Теперь убитого Судейкина сменил капитан Иванов (при Екатерине II он был бы Шешковским). Иванов встретил меня тем, что я через три дня должен оставить Петербург. «Как через три дня?! Но мне нужно привести в порядок свои дела, и в три дня я не успею ничего окончить; нельзя ли остаться мне в Петербурге дней десять?» — «Подож-

дите в приемной, я доложу». Ждал я долго, даже очень долго, и, потеряв терпение, пошел наводить справки о пропавшем капитане Иванове. Но в то время когда я искал Иванова, меня искали чиновники того же секретного отделения.

«Вы господин Шелгунов?» — «Я».— «Пожалуйте сюда». И чиновник отворил мне дверь в небольшой, изящно меблированный кабинет. «Я должен сообщить вам неприятное распоряжение, вам разрешено остаться в Петербурге четыре дня, и двадцать девятого октября вы должны выехать, потрудитесь дать подписку в этом смысле». Чиновник говорил не только вежливо, но даже ласково и задушевно, точно он сам чувствовал за меня всю неприятность этого сообщения. Затем он просил меня прочесть «постановление», в котором говорилось, что по сношению градоначальника с министром внутренних дел и на основании высочайшего повеления (был обозначен год, месяц и число) я не имею права жить в Петербурге и в Петербургской губернии и должен оставить столицу 29 октября. Подписал я и это постановление. Тогда чиновник сказал мне, что на проезд мне будет выдан «пропуск», что я должен ехать прямым путем, нигде не ночевать, не останавливаться в Москве и по приезде в Воробьево явиться к местной полицейской власти, от которой и получу свой вид. «Да какая же там полицейская власть — сотский!» — «Ну да, вы получите вид от сотского и затем можете ехать куда вам угодно». Странное распоряжение: для того чтобы ехать куда мне угодно, я должен сначала прокатиться за полторы тысячи верст!

На другой день ко мне пришел помощник пристава и, потребовав мой вид, отдал взамен его «пропуск», подписанный капитаном Ивановым. Не зная, справлюсь ли я с своим временем, я спрашиваю помощника пристава: «Ну а если мне окажется невозможным выехать двадцать девятого числа?» — «Да вы и не выезжайте»,— отвечает полицейский. «Но ведь вы в таком случае донесете, что я не выехал?» — «Конечно,— впрочем, это ничего: пока мы донесем и пока придет предписание от градоначальника, вы в это время и уедете».— «А как же вы узнаете, что я уехал,— пожалуй, вы вышлете на станцию целую ватагу полицейских?» — «О, не беспокойтесь, у нас для этого есть агенты». И действительно,

полицейских не было, но зато был нахальнейший агент, какого только можно придумать. Он почти не отходил от меня и провожавших меня друзей (а нас было человек пятнадцать); он ходил взад и вперед мимо нас и даже нисколько не смущался, когда громко кто-нибудь из нас замечал, что это агент. Затем он сел в один вагон со мною, и за Колпином я его уже не видел: вероятно, вернулся для донесения.

И вот я ехал прямым путем, не останавливался ни в Любани, где сначала думал пробыть у Михайловского несколько дней, ни в Москве и, приехав в Воробьево, отослал «пропуск» к уряднику. Прошло больше двух недель, и я стал беспокоиться, что могу оказаться пришпиленным к Воробьеву, как совершенно неожиданно является становой с урядником. И откуда правительство берет таких красивых полицейских? Этот красивый полицейский с стыдливостью, отличающей наших полицейских и жандармов вообще, делал вид, что он приехал не то в гости, не то мимоездом, случайно. Немец не стыдится быть искренним полицейским и жандармом и тащить преступника с откровенностью, не заслуживающей порицания за ее искренность. Мы же, вероятно, в качестве молодого народа, еще не сложившего свою «государственность», уподобляемся Еве, не потерявшей еще своей стыдливости. Впрочем, в Петербурге эта стыдливость начинает понемногу исчезать, и школа Валуева и Толстого приносит уже свои плоды: чиновник становится исполнителен и суров и проникается чувством долга, не заигрывая с теми, кого ему нужно связать, запереть и вообще подвергнуть каким-нибудь «политическим экспериментам». В Богдановиче я не заметил подобной стыдливости, он суровил и грубил с сознанием своего прокурорского права, но Жолкевич был сладок, меня при допросах он звал не иначе, как Николай Васильевич, и даже лицам, которые приходили к нему, чтобы просить свидания со мною, звал меня по имени и отчеству. Котляревский держал себя если не либеральничая, то и не с прокурорским достоинством и как внимательный и образованный собеседник. Он рассуждал со мной о литературе, об идеях в журналистике, по поводу Драгоманова и участия его в «Деле», рассказал целую историю его эмиграции и насколько Чубинский поступил умнее, не уехав за границу, гово-

рил о малороссийском сепаратизме и вообще превращал допрос в беседу, в которой «следствие» являлось чем-то привходящим. На главном допросе, когда Котляревский мягко и вкрадчиво травил меня силлогизмами и когда я затем просил его продиктовать мне показание (я всегда писал под его диктовку, во-первых, потому, что я был очень измучен и мне было легче механически записывать готовые фразы, и, во-вторых, Котляревский лучше меня знал, где требуется юридическая краткость, и лучше меня владел форменным языком),— он мне ответил: «Мне будет тяжело диктовать вам это показание». В одном письме к Станюковичу я писал: «Иван Григорьевич (Тихомиров) прислал статью в «Отечественные записки», а к нам, злодей, небось не прислал». «Ну, вот и напишите,— говорит мне, улыбаясь, Котляревский,— как вы объясните это место письма?» Но когда я объяснил, что никаких точных указаний дать не могу, ни относительно названия статьи, ни того, кому она была прислана, и даже не убежден в том, чтобы статья была действительно выслана и все это могло быть только слухом, то Котляревский продиктовал мне показание еще лучше, чем я его сделал. На одном допросе, на котором Жолкевич винтил меня самым безжалостным образом, Котляревский спас меня от этого мучителя. Дело было вот в чем.

Перед моим арестом пришел в редакцию какой-то юноша. «Возьмете вы статью об Успенском из Парижа?» — спросил он меня.— «Возьмем, если подойдет»,— ответил я. Вот и весь наш разговор. Затем дня через два пришла рукопись об Успенском (из-за границы) и при ней письмо, подписанное Тилло. Письмо не было именным и начиналось так: «Господин редактор!» — И сверху было приписано: «Н. В. Шелгунову». Рукопись была от Тихомирова, и письмо тоже от него. И я отправил рукопись в типографию для набора на июньскую книжку. Но так как Жолкевич производил следствие «доскональное» и дорывался до корней (вероятно, надеясь получить полковника), то, кроме конторских книг, он вытребовал из типографии и все рукописи на июньскую книжку. (Жолкевич совсем очистил редакцию и контору: у него были все книжки «Дела» с 1881 года, все конторские и редакционные книги и все рукописи.) Было, впрочем, ясно, что в аре-

сте рукописей на июньскую книжку был не без греха Паршеков (наш конторщик и секретарь). Паршеков не был доносчиком, но его просто запугали. И из трусости он представил Жолкевичу и письмо Тилло. Допрос. «Рукопись об Успенском Тихомирова?» — спрашивает Жолкевич. «Нет, не Тихомирова»,— отвечаю я.

— Ну полноте.

— Да ведь эта рукопись подписана Тилло.

— Но ведь она не Тилло, а Тихомирова.

— Чтобы я мог с точностью сказать, что рукопись Тихомирова, я должен иметь несомненные данные.

— Однако в письме говорится: «...ожидаемая редакцией статья».

— Действительно, эта фраза может возбуждать вопросы; но мне думается, что Тилло, или кто бы там ни был автор статьи, мог слышать, что статьи об Успенском ожидаются редакцией, но из этого еще ровно ничего не следует. Теперь об Успенском можно ожидать много статей, потому что выходит полное собрание его сочинений, мог написать эту статью и Тихомиров, и я все-таки не имею основания утверждать, что статья написана им. Все статьи Тихомиров писал своей рукой, письма тоже; а эта рукопись и письмо при ней написаны рукой мне незнакомой, и письмо подписано Тилло. Какое же я имею основание сказать, что рукопись Тихомирова?

— Ну да ведь вы настолько опытны, что можете сейчас же угадать по слогу.

— Не совсем так. Расскажу вам такой факт.

И я рассказал, как, находясь в Ницце, я одну статью в «Деле», подписанную «М. А.», принял за статью Антоновича, а она была написана Протопоповым.

— Все-таки невозможно, чтобы вы не догадались, что статья от Тихомирова...

Котляревский, присутствовавший при допросе, конечно, понимал, что мы с Жолкевичем говорим «на разных языках», и прекратил его допрос, заметив, что действительно у меня не было оснований считать статью об Успенском статьей непременно Тихомирова. Может быть, я и не совсем прав, приписывая заступничество и мягкость Котляревского либеральничанью. В Киеве при политических допросах он стяжал себе славу жестокого и беспощадного следователя и никаким либерализмом не отличался. Весьма вероятно, что со мной он

держал себя иначе, потому что видел, как нелепо обвинение по 250 ст. Но, однако, думаю, что, и видя нелепость, Котляревский оказался бы последовательнее, если бы держал себя вполне официально, не высказывая своего неодобрения запрещению «Отечественных записок» и не делая намеков, что мой арест зависит не от него и не от Плеве (а от Толстого) и что мое заключение должно смягчить, как очистительная жертва, какого-то невидимого Аримана, который иначе не успокоится. Дело принимало такой вид, что Котляревский являлся моим защитником и спасал тем, что выдерживал меня в тюрьме. Впрочем, может быть и то, что Котляревский, человек литературного образования, производя следствие над литературным делом, старался и держать себя литературно.

В теперешнее время обаяние писателя уже кончилось, но все еще попадаются люди, которые подходят к литератору с некоторою робостию. Вероятно, они смешивают литераторов с корреспондентами. Раз в предварительном приходит ко мне доктор, очень встревоженный, и спрашивает, как я нахожу воздух в камере. Я не понял вопроса. Но затем доктор мне объяснил, что в «Новом времени» была статья о доме предварительного заключения и автор ее говорит, что воздух в камерах до того сух, что коробятся и выпадают из головы волосы. Доктор тревожился так, точно он строил дом предварительного заключения и он его отапливал. Когда Дубецкого (интеллигентный мазурик) выпустили из-под ареста, на другой же день в «Новом времени» явилась статья о доме предварительного заключения, но хвалебная. Случалось не раз, что фельдшер мне говорил: «Вот вы об этом напишите». И весьма вероятно, что моя литературность несколько содействовала вниманию, которым я пользовался. Кравченко, например (старший помощник управляющего домом), похожий несколько на того майора Томского острога, о котором пишет Достоевский, что он накидывался на арестантов, был со мною не только вежлив, но даже мягок. Этот Кравченко управлял церковным хором из арестантов и заведовал мастерскими. Доска, на которой я писал, лопнула, и я просил ее склеить. Кравченко сейчас же прислал ко мне своего помощника, и, несмотря на праздник, доска была склеена на другой же день. Случалось, что во

время прогулки он подходил к моей клетке и разговаривал со мною совсем о посторонних делах, часто жаловался он на то, что просто сил недостает у него, что целый день с утра до ночи приходится бегать и суетиться и не бывать дома, так что и «детей-то некогда поласкать».

Смотритель дома (полковник из сибирских казаков, только при мне поступивший) обнаруживал наибольшую наклонность к либеральной лживости. Он заходил ко мне довольно часто и всегда припирал дверь и в разговоре заглядывал на нее, точно боялся, что за дверью стоят уши. Говорил со мною полковник о таких вещах, о которых смотрителю дома с арестантом говорить не полагается. Он мне сообщил о побеге, который предполагался у уголовных из лазарета, но не состоялся, потому что явился доносчик, он мне передавал известия о Станюковиче и Кривенко и что Станюковичу предлагали высылку в Ташкент (сомнительно, чтобы Толстой или департамент полиции стал «предлагать»), но он пожелал в Восточную Сибирь, рассчитывая найти место на приисках; однажды рассказал мне, что уголовные теперь очень спокойны и что это не перед добром, ибо за затишьем всегда следует буря; затем вскоре после этого сообщил, что уголовные сговариваются перебить все стекла. Все эти сообщения, конечно не совсем удобные в устах начальника тюрьмы, оказываются вполне невинными в сравнении с постоянным порицанием жандармского управления, которое полковник недолюбливал, вероятно, по казачьей традиции. Полковник совсем всерьез возмущался страстью жандармской власти к заключению: «Сажают зря, без толку и без всякой причины, а потом выпускают». Еще больше возмущался полковник предложением, которое было ему сделано: сажать в соседние камеры с арестованными шпионов. «Я им сказал (кому, полковник не объяснил), пускай дадут мне предписание, я его исполню, но иначе не могу, а они (?) не хотят дать предписания». В своем порицании жандармского управления и прокурорского надзора полковник дошел даже до отрицания дома предварительного заключения. «Арест есть мера предупредительная, а они превратили его в меру карательную и на каждого заключенного смотрят как уже на обвиняемого, и дом предварительного заключения пре-

вратили в исправительную тюрьму»,— говорил мне полковник. Все это было бы справедливо, если бы это говорил не начальник тюрьмы, каждый вечер в половине девятого подсматривавший в «секреты», что делают арестанты в своих камерах. Этот же самый негодующий на неправду человек, когда в одно из его посещений я показал ему мои войлочные туфли, сказал мне, что он завел такие же, чтобы вечерами ходить по галереям (конечно, для подсматривания и чтобы ловить врасплох надзирателей). Мне думается, что полковник отступал от своих обязанностей из невинного умственного кокетства: чтобы показать, что он не тюремщик, а образованный человек; из того же кокетства он говорил, что «дом предварительного заключения превратили в исправительную тюрьму». Эти мысли для самого полковника были новостью, и очень может быть, что он только что вычитал ее в книге Никитина («Тюрьма и ссылка»). Впрочем, не один полковник не желал, чтобы его считали тюремщиком. Когда в разговоре с одним надзирателем я назвал дом предварительного заключения тюрьмой, он меня поправил: «Это не тюрьма, а дом».

Возвращаюсь, однако, к становому, вызвавшему меня на это отступление. Становому тоже не хотелось быть полицейским, как полковнику — тюремщиком. Я знал очень хорошо, что становой приехал ради меня, и все-таки он усиливался заводить какие-то разговоры, из которых ничего не выходило. Первый приступ к делу сделал я. Тогда все пошло, как и должно быть. Становой возвратил мне мой вид и взял с меня подписку, что о каждом выезде из Воробьева я буду его извещать. Таким образом, обещание прокурора, что я буду выпущен на все четыре стороны, осуществлялось только теперь; но я должен был для этого проехать полторы тысячи верст. Если отобранием вида и выдачей «пропуска» желали, чтобы я не скрылся, то эта цель вполне достиглась; но ведь кто же может помешать мне уехать теперь, куда бы я ни захотел? Одним словом, нельзя понять, для чего потребовалось все это усложнение.

Еще любопытнее «особый» надзор, под которым я очутился. Мне, конечно, не хотелось, чтобы деревенские власти следили за мной и проверяли мои действия, и я спросил станового, не вздумает ли он поручить надзор надо мной ближайшему сотскому или волостному прав-

лению, что это было бы для меня во многих отношениях очень неудобно. «Нет, этого не будет, и они совсем не будут знать, что вы под надзором»,— ответил становой. И я действительно не вижу никакой полиции — ни деревенской, ни городской — и не чувствую ни «особого», ни вообще какого бы то ни было надзора. Правительство, конечно, завело бы с большим удовольствием жандармов и в деревнях, но слава богу, у него для этого еще нет средств. Впрочем, в Петребурге, по всей вероятности, урядников считают достаточно всевидящим оком, чтобы не особенно тревожиться за провинцию.

<2>

Ожидая ареста, я не то чтобы ему радовался, но не особенно и огорчался. Как всегда, во всякой беде отыскивают что-нибудь хорошее, чтобы найти какое-нибудь примирение, так и я утешал себя тем, что узнаю, что такое дом предварительного заключения.

По принятому порядку, меня отвезли в четырехместной карете с опущенными сторами. Рядом со мной сидел жандармский офицер, и напротив два жандарма с револьверами. Я спросил у офицера, заряжены ли револьверы, и офицер ответил, что заряжены. Все это было слишком много для одного арестанта.

Карета въехала во двор тюрьмы, через ворота, которые сейчас же заперлись, и остановилась у вторых ворот, тоже запертых. Первым вышел жандармский офицер, затем я, и за мной два жандарма; нам отворили калитку, впустили, затем калитку заперли. Пройдя под воротами несколько шагов, мы новыми решетчатыми воротами направо вошли в переднюю. Прямо за решетчатыми воротами я увидел длинный широкий коридор, а направо, за такой же решеткой,— письменный стол и около него несколько человек в форменных, статского фасона, сюртуках с изображением на воротнике двух ключей накрест: эмблема заключения. Мне предложили стул (дом предварительного заключения отличается изысканной вежливостью) и самым вежливым образом стали подвергать очень невежливому обыску: потребовали мой кошелек и бумажник, высыпали все деньги, сосчитали их и записали, потом ото-

брали золотые запонки, но часов не взяли. Затем спросили имя, отчество, фамилию, звание и лета и все это внесли в книгу. Предусматривая арест, я взял три сотни папирос, их вытрясли из коробок и пересмотрели. Когда со мной уже больше ничего не оставалось делать, меня сдали надзирателю, который вытряс мои папиросы, чтобы отвести в 279 номер. Я с любопытством смотрел на коридор, лестницы, галереи, которыми проходил; все было чисто, красиво, даже изящно и не производило впечатления тюрьмы. Мой 279 номер оказался по шестой галерее, то есть в шестом этаже, в конце здания. Эта галерея и пятая назначены для политических арестантов, в остальных четырех этажах держат уголовных. Почему для политических назначены верхние этажи, я не знаю, но, во всяком случае, они лучше — светлее, суше и лучше воздухом.

Когда меня провели в номер, то дежурный старший, «принявший» меня от надзирателя, сделал мне новый осмотр. Стараясь быть вежливым, он просил меня отдать все, что есть у меня недозволенного, потому что иначе могут выйти неприятности ему и мне. Но мне отдавать уже больше было нечего.

Когда я остался один и защелкнулся замок в двери, я занялся осмотром камеры. Он не занял много времени. Кровать оказалась железной и привинченной к стене, стол и стул подъемные и тоже железные, и тоже приделаны к стене. Затем судно, тоже железное. Новостью были для меня кран для воды и раковина под ним, и газовый рожок, и пуговка у двери для звонка. Но тюрьма все-таки была тюрьмой, и не скажу, чтоб я чувствовал себя счастливым. Теперь, когда я пишу эти записки, мне противно все в этом страшном, мерзком доме. Противны его железные ворота и решетки, противны и полковник, и его помощник, и все старшие и надзиратели. В особенности противны те, кто лгал своей фальшивой вежливостью и мягкостью и предупредительностью. До сих пор еще живо и остро во мне какое-то злое, ненавистное чувство ко всему этому поганому и ненужному учреждению, и возмущает то ненужное унижение, которое мне пришлось переносить целых четыре месяца. При императоре Николае тюрьма была тюрьмой. С вами обращались сурово, но прямо; теперь же вас пытают с приятной улыбкой и, выпуская кровь

по капле, беседуют при этом о посторонних светских предметах, точно вы сидите в салоне.

Если взглянуть на дом предварительного заключения с птичьего полета, то его можно принять за фабрику: внутренний (надворный) фасад с маленькими окнами совсем фабричный; но железные решетки в окнах открывают секрет тюрьмы, а выглядывающие через окна головы арестованных (хотя это и запрещено) производят щемящее впечатление. Все заключенные — несчастные только более или менее, и труднее всех переносят заключение «интеллигенты». Я видел, как плакали навзрыд, как дети, седые старики. Дубецкий, герой черной банды, когда поступил в тюрьму, весил семь пудов, а высидев год — только четыре пуда. Это мне говорил фельдшер, не имевший никакой причины говорить неправду. Это доставляло немалое развлечение, особенно вначале, потому что приходилось слышать разные разговоры, иногда очень интересные. На одной из прогулок я разобрал из слов Дубецкого: «Да ведь у меня одиннадцать человек детей, чем им жить... держат больше года!.. Ну пойду в каторгу, по крайней мере, буду знать, за что... А теперь, ах они подлецы, палачи... они бы заглянули ко мне в душу, всю вымотали...» Больше других страдал Сафонов (банкир, заключенный за мошенничество). С ним делались какие-то нервные припадки. Иногда внезапно раздастся отчаянный крик, точно душа лопнула или человек расстается с жизнью: «Палачи, разбойники, сосите кровь!» Это кричал Сафонов, и его страшный крик проникал в каждую камеру, и вслед за тем то здесь, то там раздаются какие-то рычания, и вся тюрьма чувствует переполох. А то раздается дребезжание разбитых стекол: это какой-нибудь заключенный в порыве отчаяния разбил у себя раму. И точно электрическая искра пробежит по всем камерам, и все арестанты начинают бить у себя стекла. Битье стекол практиковалось в доме предварительного заключения довольно часто. И к нему привыкли все, не исключая и начальства. Вначале, не зная, в чем дело, я после одной подобной истории спрашиваю надзирателя: «Что это такое?» — «Это арестанты бьют стекла»,— ответил мне совсем спокойно надзиратель. Битьем стекол выражали свой протест только уголовные, «привилегированные» (уголовные) больше нерв-

ничали. С Сафоновым, например, случались аффекты, и он бывал иногда до того возбужден, что походил на сумасшедшего. Когда власти являлись к нему в камеру для его укрощения, Сафонов говорил, что он не может справиться с собой и сам не знает, что с ним делается. Так что наконец его решили перевести в больницу умалишенных. Казак Уваров (офицер, разжалованный за воровство и опять судившийся за воровство) и на моих глазах в четыре месяца очень изменился: старел и плешивел. Аффекты его выражались в том, что он открывал себе кровь. Раз он выпустил из руки целую тарелку крови и послал ее к прокурору. Миронович, судившийся за убийство, отличался усиленной религиозностью. Он не пропускал ни одной обедни. В церкви почти всю службу стоял на коленях и беспрестанно клал земные поклоны. Это он делал вовсе не напоказ. У себя в камере он тоже молился беспрестанно, и нередко ночью, часа в два-три, его видели надзиратели (в секрет) молящимся на коленях.

Помню еще одного уголовного, личность загадочную и меня заинтересовавшую. Он помещался надо мною и обыкновенно ходил почти всю ночь. Вначале это меня очень раздражало, но потом или оттого, что я привык, или из симпатии к верхнему соседу, а его ночная ходьба возбуждала во мне к нему участие. От фельдшера я узнал вот что. Мой ночной беспокойный сосед — убийца, осужденный за убийство и бежавший из Сибири. Он содержится уже три года, сперва приговорен к каторге и к шестидесяти ударам плетей. От заключения ли или от приговора суда, бедняга заболел падучей болезнью и страдал сильным расстройством всей нервной системы. Арестант вообще тихий, приличный и, как видно, человек образованный. В этом мне пришлось скоро убедиться.

Нас, лазаретных, держали гораздо свободнее, по крайней мере, по отношению к уголовникам, так что, выводя на прогулку, совсем от них и не отделяли. С прогулки я обыкновенно возвращался, сопровождаемый целым хвостом больных общих — уголовных. Раз моего верхнего соседа и меня выпустили так, что мы сошлись с ним на первой площадке. Я уже видел его раньше на гулянье, в клетке. Это был человек лет тридцати или больше, с высоким, убегающим лбом, с худым и длинным лицом, ходивший с низко понуренной голо-

вой и размеренной тяжелой походкой, как человек, занятый сильной внутренней работой. В нем чувствовался человек сильно страдающий. Мы спускались в одно время, я шел впереди; на первой площадке я остановился и дал ему дорогу.

— Проходите,— сказал ему.

— Успею.

— Вы, кажется, надо мною: я слышу, как вы ходите.

— Если это вас тревожит, я не буду.

— Что вы, что вы! Ходите сколько хотите.

Раз он не пошел на прогулку, и на другой день я ему говорю:

— А вы вчера не гуляли.

— Не мог.

— А вам нужен воздух.

Затем мы встретились на лестнице еще раз, и на этот раз последний.

— Здравствуйте,— говорю я ему.

— Здравствуйте.

— Вы давно здесь?

— Три года.

— Ах вы бедняга, бедняга.

Пройдя первую площадку, он меня спрашивает:

— Вы государственный?

— Государственный.

— По какому делу?

— По своему.

Он, идя впереди меня, что-то стал говорить, но я не разобрал — что.

Наконец на дворе, у клетки, он спрашивает меня:

— Вы были в Сибири?

— Был.

— Где?

— В Забайкалье, в Нерчинском округе...

Мы подошли к клеткам, и нас развели.

Дня через четыре его увезли в сумасшедший дом.

Я не слышал, чтобы этот убийца протестовал против своей судьбы каким-нибудь внешним образом. Он перегорал внутренно, его угнетала мысль о Сибири и телесном наказании, к которому его приговорил «милостивый» суд, и, наконец, его постоянно угнетенное состояние разрешилось падучей болезнью, пароксизмы которой повторялись у него в последнее время довольно часто.

Политические заключенные также жили больше внутренними процессами (их вообще считали тихими, и прислуге и начальству они не делали хлопот). Причина этого и понятна. Люди эти по преимуществу головные, тогда как уголовные, не исключая и «привилегированных», как Сафонов, Уваров, больше люди чувства, инстинкта и порыва. Довольно было услышать Сафонова или Уварова раз, чтобы заметить, что у них в голове недоставало какой-то клепки.

Но простые уголовные составляли решительное исключение и порядочно надоедали всем, не исключая и остальных заключенных. Для них заключение точно и не представляло ничего особенного, так они относились к нему, по-видимому, равнодушно. В особенности этим равнодушием и даже веселым настроением отличались малолетние преступники; и их было довольно. Я имел возможность наблюдать население дома предварительного заключения во время прогулки и, конечно, видел одну сторону жизни, факты только одного рода, по которым и сужу. Хотя общим уголовным строго запрещалось говорить с одиночными, но Сафонов, Уваров и Дубецкий (это были главные мутилы, позволявшие себе очень много) на это запрещение обращали очень мало внимания. Конечно, стража знала очень хорошо, что от этих разговоров особого вреда произойти не может, и только этим и объясняется ее снисходительность. Раз Уваров, подсев на скамейку против клетки моего соседа по прогулке, вступил с ним в такой разговор:

— Ты за что?

— За кражу.

— Что украл?

— Жилетку на Апраксином.

— Здесь давно?

— Три месяца.

— А сидел прежде?

— Сидел.

— За что?

— А все за воровство.

— Много раз?

— Да раз двадцать.

— Ну!

— Право.

— Сколько же тебе лет?

— Года двадцать два есть.

Сосед, конечно, хвастал, но что он был стреляная птица, это несомненно. Таких, которые сидели в предварительном раз по пять и даже более, было немало. Они являлись уже как люди свои и держали себя с надзирателями как старые знакомые. Их и по фамилиям все знали.

Или среди всеобщей тишины раздается по двору громкий голос: «Твое дело когда слушается, Ваня?» И Ваня отвечает точно так же на весь двор: «Назначено на тринадцатое сентября».

Откуда, из какой камеры раздается вопрос, из камеры, из клетки или со двора последовал на него ответ, этого никто не знает. И подобные вопросы и ответы из пространства, громкие, на весь двор, происходили постоянно. Надзиратели иногда старались поймать неизвестных разговорщиков, но попытки их кончались ничем. По направлению голоса надзиратель глядит в одну сторону, а в это время с новой стороны раздается новая фраза: «Саша! подай прошение прокурору». Конечно, трем надзирателям, наблюдавшим за гуляющими и не всегда бывавшим в полном числе, потому что они же отводили и приводили на прогулку, было трудно усмотреть за шестьюдесятью гуляющими внутри двора, на который четыре стены тюрьмы смотрят пятьюстами окнами камер одиночных, общих и лазаретных. Наблюдение затруднялось еще и тем, что все заключенные, не исключая и политических, находились в негласном, но тем не менее дружном заговоре против тюремной власти. Большинство из них — например, все петербургские карманники и мелкие и крупные воры — знали друг друга или сидели по одному и тому же делу. Сношение между ними было неизбежно, и этому сношению помогали все остальные. Иногда из какой-нибудь камеры раздастся голос: «Щавинский, передай Саше». И затем падает завернутая в мякиш бумажка, которую Щавинский, подходя крадучись и озираясь на надзирателя, подкидывает Саше, гуляющему в клетке. Предмет усиленных сношений составляли еще папиросы и табак. Этот предмет был в большом запросе, потому что курили почти все, а имели что курить только те, у кого были деньги. Эти богачи и служили частию предметом зависти и эксплуатации тех, кому курить было нечего.

Через неделю, после того как меня перевели в лазарет, «ватерклозетный» (была такая должность), явившись утром ко мне в камеру и исполнив свою обязанность, сунул мне под подушку что-то — это он сделал очень быстро и ловко, так что надзиратель ничего не заметил. Я был тогда еще новичком и потому озадачился этими для меня новыми, а для ватерклозетного, вероятно, очень обычными действиями. Под подушкой оказалась тщательно сложенная в маленький формат бумажка, на которой писарским почерком заключалась просьба о папиросах, чае и сахаре. В конце просьбы говорилось: «Положите сзади ватерклозета, а я при уборке возьму. Если вам нужно будет передать кому-нибудь записку, то положите туда же, будьте уверены, что передам верно и никто не узнает». Подписи не было никакой. Ватерклозетные и другие служители — они были из арестантов Литовского замка, значит опытные,— нужно думать, были комиссионерами, услуги которых вошли в тюремную практику. Раз в клетке на гулянье я заметил что-то нацарапанное на стене карандашом; я, конечно, полюбопытствовал узнать, что это такое, и прочел: «Здесь заключен Шелгунов и сидит в № 279». Это было совершенно верно, и, конечно, подобное сведение можно было достать через ватерклозетного или другого служителя. В другой раз на прогулке я заметил одного арестанта, который поглядывал на меня какими-то особенными внимательными взглядами, все ходил около моей клетки почти вплоть, точно выжидая удобной минуты. Я тоже насторожился и держался ближе к решетке; наконец, когда надзиратель обратился в другую сторону, арестант бросил мне записку, которую я и спрятал в карман. Вернувшись с прогулки, я принял все предосторожности, чтобы прочесть записку, лег на кровать, развернул книгу, в которую положил записку, и прочел вот что: «Благодетельная особа!» Затем следовала просьба о табаке, чае и сахаре, как и у ватерклозетного, но написанная по обыкновенной форме просительных писем и не с тем достоинством, как у ватерклозетного, который не просил, а предлагал обмен услуг — и в конце подпись «Щавинский». Конечно, эта подпись была доказательством доверия, но, во всяком случае, была неосторожностью. Ватерклозетного и еще двух лазаретных служителей (тоже из Литовского замка) я нашел

возможность снабжать чаем, сахаром и табаком законным порядком, то есть писал требование на имя эконома, который и выдавал им. Но относительно Щавинского законный способ был неудобен; если бы я вздумал сослаться на его просьбу, то этим бы обнаружил его сношение со мною; обозначить в требовании его фамилию — значило бы обнаружить, что я его знаю. Вообще «законный» путь был невозможен; пытался было я послать чай, сахар и папиросы (и даже приготовил их, уложив в корзиночку) через фельдшера, но ни один из них не брался передать, да и мне не советовали посылать, потому что тогда не будет отбою от просителей. Но видно, что и одного моего желания исполнить просьбу Щавинского было уже достаточно, чтобы вызвать новые обращения. На одной из прогулок я заметил на окне лазарета заключенного, кивавшего мне приветливо головой. Я не понял, что это значит; но затем тот же Щавинский подбросил мне в клетку записку, а арестант на окне снова стал кивать головою: письменная просьба, очевидно, подкреплялась личной. Просьба заключалась, как и у Щавинского, в чае, сахаре и табаке. Что для людей, привыкших к чаю и табаку, лишение их трудно выносимо, это ясно само собою, и, кажется, это было единственное лишение, к которому уголовные арестанты относились серьезно. Вообще они держали себя неизмеримо спокойнее уголовных привилегированных и ни в чем не обнаруживали такой нервности, как «господа». Особенно весело держали себя «малолетние». На прогулке они обыкновенно шалили, играли, подшучивали друг над другом, и ни в одном из них не замечалась та сосредоточенная задумчивость и внутренняя подавленность, какую, например, можно было наблюдать у «политических».

Распределение прогулок было такое: с семи часов утра и до двенадцати часов гуляли в клетках политические, и двор был пуст. С часу гуляли общие, и в клетках — уголовные одиночные. Двор делился рогатками на две части: в одной гуляли общие привилегированные, в другой — уголовные непривилегированные. С трех до шести часов выводили лазаретных; политические и уголовные — подследственные — гуляли в клетках, а остальные больные на дворе — и тоже на две части: приви-

легированные отдельно от непривилегированных. Так как, прежде чем попасть в лазарет, я сидел в камере и знал, в котором часу выводят гулять политических, то утром, отворяя окно, я обыкновенно высматривал гуляющих в клетках.

Все политические (между ними было немало офицеров, и в особенности артиллеристов) имели очень сосредоточенный вид. Обыкновенно они ходили с такою же понуренной головой и сосредоточенной думой, как и мой лазаретный сосед, приговоренный к каторге и плетям. И аналогия между ними и соседом была, тогда как с обыкновенными уголовными ее и быть не могло. Обыкновенные воришки, как те малолетние, которые шутили и играли, очень хорошо знали, к чему их приговорят и насколько. Судьба их была им ясна. Но положение политических было настоящей нравственной пыткой, и пыткой преднамеренной, жестокой, ненужной и незаконной, хотя и исходящей из законности. Уж если меня, не подходившего ни под какое обвинение, прикрываясь законом, продержали четыре месяца, то что же могли ждать те, за кем находили вины? От полковника Жолкевича я знал, что Станюкович обвинялся в том, что давал деньги в пользу политических ссыльных,— а кто же их не давал? Усова — в том, что «была сборщицей денег для Красного Креста», то есть тоже политических ссыльных,— и таких было много. Нет закона, который бы запрещал помощь политическим ссыльным; уголовным эта помощь практиковалась открыто, и никого за это не преследовали. Но гр. Толстой и Плеве решили, что положение политических должно быть доведено до состояния полной физической и нравственной муки, чтобы, глядя на них, и «другим не повадно было». В этом случае они желали подражать Наполеону III, который высылал на смерть в Кайену; наши же наполеоны высылали на смерть в Сибирь или заключали в казематы, из которых едва ли кто-нибудь вышел живым. Задавшись великодушной мыслию изморить политических, они, конечно, поставили всякого заключенного в такое положение, что ему нельзя было не задуматься над своей судьбой. Мое дело было сравнительно ничтожное, и я был уверен, что оно не кончится ничем. И однако, после каждого допроса и ожиданий нового (а я всегда спрашивал Жолкевича,

потребуют ли меня и скоро ли) я всегда придумывал всякие возможные и даже невозможные вопросы и подготовлял на них ответы. Но как же должны были готовиться к допросам те, за кем имелось что-нибудь, хотя бы даже такое невинное, как помощь политическим ссыльным, или сбор для них денег, или же знакомство с кем-нибудь из сосланных или заключенных. Всякий необдуманный ответ, оставляющий хвостик, сейчас же давал новый,— еще хорошо, если только к новому вопросу, а то и, пожалуй, к новому аресту. А собственная судьба! Дубецкий был прав, обзывая прокуроров палачами и кровопийцами, хотя в уголовных делах произвол был значительно меньше, чем в политических. Но как же назвать представителей той власти, которая поставила себе целью «искоренить» политические преступления — и для этого чуть не избивали младенцев в утробе матерей. В Якутскую область ссылали гимназистов за то, что порой у них находили запрещенные издания или шрифт. Казнили людей заведомо невинных за то только, что они были знакомы с Желябовым — это делалось для примера. Наконец, без нужды держали в предварительном по году и более. Кривенко и Усова арестованы 3 января, Станюкович 20 апреля 1884 и сидят до сих пор (апрель 1885 года), и когда кончится их дело — неизвестно. Новый прокурор судебной палаты Волков обратил внимание (на основании закона) на слишком продолжительное заключение и дал знать, что посетит дом предварительного заключения. Наше начальство готовилось к этому визиту не без страха. Ко мне пришел фельдшер и отобрал все лишние пустые пузырьки и баночки; эконом, обыкновенно никогда не появлявшийся, на этот раз обнаружил такое внимание, что, предупреждая о посещении прокурора...

ПРИЛОЖЕНИЯ

I. ПРОКЛАМАЦИИ Н. В. ШЕЛГУНОВА

РУССКИМ СОЛДАТАМ ОТ ИХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ПОКЛОН

Братцы!

Помните ли вы последнюю польскую войну, помните ли вы войну венгерскую? Спрашивали ли вы себя, для чего вас посылали командиры? Для кого нужна, кому выгодна была эта война? Нет, вы этого не спрашивали, и вы не знали, для чего вас посылают. Если бы вы знали, вы поняли бы, что вас посылают, как палачей, убивать людей невинных, побивать свою братью, таких же людей и христиан, как вы; вы поняли бы, что и вас самих посылают, как баранов, на убой; вы поняли бы все, все это — и не пошли бы. Вот что вам следовало сделать и чего вы не сделали.

Тех солдат, что делали походы польский и венгерский, осталось в полках немного, но которые остались еще — пусть подумают, хорошее ли дело они делали, — шли они в чужую землю, проливали кровь неповинную, убивали людей, которые не сделали им ничего дурного. Кому нужна была эта война? Уж конечно, не вам, братцы. Россия не вышла от того богаче, что вас посылали убивать поляков и венгерцев, а только была для вас тягота, да поубавилось вас самих, и сделали вы разорение в чужой земле. Дурное это дело, и бог не простит вам его. Что бы вы сказали, если бы посторонний какой-нибудь человек зашел в чужую избу да стал выгонять из нее хозяина и бить его, чтобы самому сделаться хозяином чужого дома? Вы бы назвали такого человека разбойником. А если бы вы случились при этом, кому бы вы помогли? Вы помогли бы хозяину,

а не разбойнику. Так ли, братцы? Так. Так поступать сам бог велел. А разве Польша и Венгрия для нас не такие же чужие избы? Разве с поляками и венгерцами мы не поступили как разбойники? Поступили — и вот почему.

Польшу взяли к России при императрице Екатерине II, той самой, которая вольных малороссийских казаков сделала крепостными. Поляки не хотели присоединения; они хотели быть вольными, но мы зашли к ним силой, дали им свое управление и стали мешаться в их дела. Поляки терпели более пятидесяти лет, но наконец захотели от нас освободиться и сделали бунт. Император Николай послал на них войска, и мы побили их, потому что нашей силы было втрое против ихней.

Нечего было делать бедным: страну их разорили, войско уничтожили, поневоле пришлось притихнуть. Но теперь поляки снова думают отделиться от нас, не хотят они нашего управления, не хотят наших командиров. Доброе дело! Всякий народ должен быть вольный. Пусть освобождаются. Да поможет им бог! Помогите и вы им, братцы!

С венгерцами поступили мы еще хуже. Венгерцы были такой же свободный народ, как и поляки, но их забрали немцы (австрийцы). Как полякам не нравилось наше управление, так венгерцам не нравилась неволя от немцев. А не нравилась им неволя потому, что нет такого человека, которому бы она нравилась. Венгерцы захотели освободиться от австрийцев и освободились бы, если бы не мы. Австрийский император, видя, что у него силы мало, просил нашего царя помочь ему, и вот царь послал вас. А вы, сами не зная, что делаете, пошли рубить и колоть народ неповинный, вся вина которого была в том, что он не хотел неволи. Да разве кому-нибудь она мила? Разве мы сами отдались бы кому-нибудь в неволю? Припомните последнюю войну: всеми силами защищались мы от французов, англичан и турок, которые высадились у нас в Крыму и брали Севастополь. Все нас хвалили, даже сами неприятели, что мы крепко стояли за свою землю. И это дело было святое. А французы и англичане, которые осаждали нас, делали дело проклятое. Так и в польскую и в венгерскую войну поляки и венгерцы стояли за святое дело, за свою родину; а мы стояли за дело проклятое, потому что, как раз-

бойники, пришли в чужую землю, чтобы грабить и разорять ее и народ, вольный от бога, отдать в неволю.

Худые все это дела; но вы, братцы, по неведению, делали дела и еще хуже. Это когда шли против своего народа, против таких же православных, как вы. Случалось, что помещик притеснял очень народ; бедняжки терпят, терпят, жалуются начальству, жалуются царю, но никакого не выходит им от этого толку. Все идет попрежнему, и правды добиться не могут. Вот они и откажутся работать. Помещик с жалобой — бунтуют, говорит. А какой тут бунт, просто пришло невтерпеж! Ни государь, ни начальство не разберут хорошенько дела; они не догадаются, что уж если народ стал бунтовать, значит ему приходит очень тяжело, что не видит он себе другого спасенья. Пошлют солдат; а те, как звери лютые, примутся стрелять в своих и военным постоем разоряют вконец и без того уж разоренного крестьянина. Этим делам и названья нет, так они дурны. Каин, по крайности, убил своего брата из зависти, что жертва Авеля была угоднее богу. А вы-то из-за чего убиваете и грабите свою братью — крестьян? Или вы забыли, что вы такие же православные, как они; что и вы были крестьянами; что и вы терпели от помещиков и от начальства; что, кончив службу, пойдете к себе домой и многие из вас сделаются снова крестьянами? Да, вы не понимаете ничего этого. Если бы вы понимали, крестьянам бы не было так тяжело под помещиками. Если бы вы понимали, вы бы не шли на народ, и помещики бы знали, что им нет защиты в неправом деле; они не притесняли бы крестьян, и народ бы не бунтовал, и все бы шло по чести и спокойно. И было бы хорошо и народу, а следовательно, и вам, и смотрел бы на вас народ как на своих защитников, и была бы вам от народа честь и слава. А теперь вам нет ни славы, ни чести, потому что вы ходите для дел дурных, что вы грабите и убиваете своих братьев православных, да еще беззащитных, да еще прежде вас обиженных и разоренных своими помещиками. Вот на какие дела вас посылали. Грех и бесчестье!

Но не все же из вас не понимают этого. Есть и такие, что знают, что обижать безвинного — стыдно и грешно. Так зачем же они обижают? Мы ответим вам

за них: они боятся присяги; а боятся они ее потому, что не понимают ее, и ни попы ни командиры не расскажут вам, что требуется от вас по присяге.

Все мы даем присягу — и войска, и народ, и чиновники. Присягу дает также и царь, когда вступает на престол. Царь дает клятву богу, что он будет управлять на счастье народу и будет царствовать так, что всем нам будет хорошо. Мы же присягаем в том, что будем исполнять волю царя. А воля царя должна быть только добрая, в ней только он и клялся богу. Оно и понятно. Слыхали ли вы, чтобы богу давалась клятва на дела дурные? Нет, потому что не на зло родится человек и дурных дел богу не нужно. Вот почему и мы все связаны присягой только на дела добрые. А если царь, забыв свою клятву, станет делать народу худо, он, значит, не исполняет своей присяги. Если он вас посылает бить своих же православных, он, значит, не делает того, в чем клялся перед богом, он нарушает присягу. А если вы, зная, что бить своих грешно, не станете их бить,— вы сохраняете свою присягу; потому что вы присягали на добро, а не на зло. Когда вас посылают на народ, то царь и командиры, которые вас посылают — клятвопреступники; а если вы их слушаете — вы тоже клятвопреступники, потому что не на такие дела вы присягали. Вы присягали защищать страну от врагов, а разве народ может быть врагом своей страны? Нет. Враг страны тот, кто делает зло народу. Французы и англичане, которые шли к нам с войной, были враги наши, потому что они шли разорять нашу страну и разорять народ. А если и вы, братцы, забыв присягу, пойдете на народ и станете разорять его, вы такие же враги нашей родной страны, как французы и англичане, когда они идут войной на нас.

Подумайте, братцы, о том, что мы вам говорим. А говорим мы вам правду, потому что желаем и вам и народу добра; потому что не хотим видеть разорение родной страны. И народ ждет от вас добра, а не зла. Не на разоренье ему вы сделались солдатами: вы служите для защиты его и страны. Кто делает зло народу, тот враг страны, кто бы он ни был, тот общий враг всех нас, и против него нужно отстаивать народ. А враг этот близко, и живет он у нас дома.

Слышали ли вы о вольной, что дали народу? Поговорите с крестьянами, и вы узнаете от них, что это воля не настоящая, так только по губам помазали. Притеснений от помещиков и от начальства будет народу немало. Слыханное ли дело, чтобы купить землю, на которой и сам крестьянин, и отец, и дед, и прадед его родились. Помещиков еще не было, а крестьяне были; значит, и земля крестьянам принадлежала ранее, чем помещикам. А теперь говорят крестьянину — откупи от помещика землю; да чем ему ее откупить? Целый век разоряли помещики крестьян, да, видно, им мало,— хотят разорить вконец. Да что земля! Даже избу, выстроенную самим крестьянином, и огороды, им сделанные, и за то заплати помещику. Разве такая бывает воля? Это не воля, а кабала. Во всем хотят разорить народ русский и ограбить его. Вот вам и царь, вот вам и клятва его перед богом царствовать на добро!

Не останется народ доволен ни царем, ни своей волей, ни помещиками, ни начальством. И не найдет народ расправы, не найдет он справедливости, потому что все начальство будет из помещиков и будет стоять оно не за народ, а за своего брата дворянина; и пойдут в народе тогда смуты и неудовольствия, и пошлют вас на него.

Вспомните тогда, братцы, что и вы родились в тех же избах, которые помещики отнимают у крестьян, и крестили вас в той же церкви, в которой молятся они богу, чтобы освободил их от неправды и насилия, что на том же погосте, где схоронят их, забитых и засеченных, лежат ваши отцы и матери, ближние и кровные. Не думайте, что если вы пойдете и не на свою родную деревню, не на свое родное село, то греха не будет на вашей душе. Вы пойдете против чужих; а другие пойдут против ваших. И выйдет дело одно на одно. А как не пойдете вы, и те не пойдут, вздохнет вся Русская земля спокойно!

А теперь прощайте, братцы, покамест. Скоро пришлем мы вам еще весточку.

Ваши доброжелатели.

К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

Печатано без цензуры в С.-Петербурге, в сентябре 1861 года.

Я ль буду в роковое время
Позорить гражданина сан
И подражать тебе, изнеженное племя
Переродившихся славян?
Нет, не способен я в объятьях сладострастья,
В постыдной праздности влачить свой век младой
И изнывать кипящею душой
Под тяжким игом самовластья.—
Пусть юноши, не разгадав судьбы,
Постигнуть не хотят предназначенья века
И не готовятся для будущей борьбы
За угнетенную свободу человека.
Пусть с хладнокровием бросают хладный взор
На бедствия страдающей отчизны
И не читают в них грядущий свой позор
И справедливые потомков укоризны.
Они раскаются, когда народ, восстав,
Застанет их в объятьях праздной неги,
И в бурном мятеже, ища свободных прав,
В них не найдет ни Брута, ни Риеги.

Рылеев

Когда манифест о воле был уже готов и оставалось только объявить его, русское правительство прежде всего струсило; оно испугалось своего собственного дела,— ну а если вся Россия поднимется? если народ пойдет на Зимний дворец? И решили объявить народу волю в великом посту, а балаганы на время масленицы отнесли подальше от дворца — на Царицын луг. О, знание сердца человеческого! О, знание русского народа! Ведь правительство думало, что оно осчастливит свой народ? Где же слыхано, чтобы человек счастливый пошел бить стекла и колотить встречных? Если же правительство боялось народа — значит, оно имело причины его бояться. И точно, причина была: во-первых, государь обманул ожидание народа — дал ему волю не настоящую, не ту, о которой народ мечтал и какая ему нужна. Во-вторых, он украл у него радость, объявил манифест в великом посту, а не 19 февраля. В-третьих, организацией комиссий, составлявших и рассматривавших «Положение», государь показал полнейшее презре-

ние ко всему народу и к лучшей, то есть к образованнейшей, честнейшей и способнейшей, части русского общества — к народной партии: все дело велось в глубочайшем секрете, вопрос разрешался государем и помещиками, никто из народа не принимал участия в работе, журналистика не смела пикнуть — царь давал народу волю как милость, как бросают сердящемуся псу сухую кость, чтобы его успокоить на время и спасти свои икры.

Все это не может и не должно быть прощено правительству. Не народ существует для правительства, а правительство для народа. Следовательно, очевидно, что правительство, которое не понимает народа, не знает его нужд и потребностей, которое, считая себя помещиком, действует исключительно в своекорыстных целях, которое, наконец, презирает народ, им управляемый, недостойно этого народа. Романовы, вероятно, забыли, что они свалились не с неба, а выбраны народом, потому что их считали способнее управлять Россией, чем каких-нибудь польских и шведских королевичей. Вот почему, если они не оправдывают надежд народа,— долой их! Нам не нужна власть, оскорбляющая нас; нам не нужна власть, мешающая умственному, гражданскому и экономическому развитию страны; нам не нужна власть, имеющая своим лозунгом разврат и своекорыстие.

Нам нужен не царь, не император, не помазанник божий, не горностаевая мантия, прикрывающая наследственную неспособность; мы хотим иметь главой простого смертного, человека земли, понимающего жизнь и народ, его избравший. Нам нужен не император, помазанный маслом в Успенском соборе, а выборный старшина, получающий за свою службу жалованье.

Освобождение крестьян и последние четыре года показали, что новое правительство, при своем настоящем составе и при тех правах, которыми оно пользуется, решительно никуда не годится. Все та же сиятельная тупость и подлость окружают царя; все те же казнокрады, Адлерберги и Муравьевы, стоят во главе правительства; России правительство не знает и знать не хочет; общественного мнения для него не существует, как не существует для него русского общества, как не существует для помещика мнения его крестьян. Правительство наше знает только себя и делает только то, что

ему выгодно. Укажите нам людей, довольных правительством! Адлерберги да Муравьевы, наживающиеся добром, собранным с народа? Десять человек, из-за которых страдают шестьдесят миллионов? И это правительство, и это императорская власть!

Мы не знаем ни одного сословия в России, которое бы не было оскорблено императорской властью. Обижены все. Последняя обида нанесена как раз в то время, когда императорская власть думала, что она творит великое дело, что она кладет первый камень великому будущему России. Мы не отвергаем важности факта, заявленного манифестом 19 февраля; но мы видим важность его не в том, в чем видит его важность правительство. Освобождение крестьян есть первый шаг или к великому будущему России, или к ее несчастию; к благосостоянию политическому и экономическому или к экономическому и политическому пролетариату. От нас самих зависит избрать путь к тому или к другому. Момент освобождения велик потому, что им посажено первое зерно всеобщего неудовольствия правительством. И мы пользуемся этим, чтобы напомнить России ее настоящее положение. Мы хотим напомнить ей, что наступила пора сделать с нашим правительством то, что сделали крестьяне одного именья Тамбовской губернии с своими управляющими из немцев. Когда манифест о воле был прочитан крестьянам, они запрягли лошадей в телеги, вежливо попросили своих управляющих садиться, довезли их до границы именья и так же вежливо просили их вылезть. «Мы вам очень благодарны за ваше управление,— сказали крестьяне немцам,— но больше его не хотим; ступайте с богом куда вам угодно, но уж к нам больше не возвращайтесь».

Правительство наше, вероятно, не догадывается, что, положив конец помещичьему праву, оно подкосило свою собственную императорскую власть. Император был крепок только помещиками, и Екатерина II отлично понимала это, называя себя первой помещицей. Кончились помещики, кончилось и императорство — у него нет больше почвы, осталось имя без сущности, форма без содержания.

Из всей русской истории мы знаем только один случай, когда деспотизм явился на помощь народу. «Хочу, чтобы крестьяне были свободны»,— сказал царь, и сто

тысяч помещиков низким поклоном выразили полную готовность повиноваться воле монаршей. Но это была последняя вспышка умирающего деспотизма. Этим он кончил. Ему больше нет дела в России, ждать от него больше нечего. Сословия уже начинают понимать, какую жалкую роль они играли до сих пор, освобожденные крестьяне уже думают о своем безвыходном положении — они недовольны. Недовольные везде; все ждут чего-то... императорская Россия разлагается.

Если Александр II не понимает этого и не хочет добровольно сделать уступку народу — тем хуже для него. Общее неудовольствие могло бы еще быть успокоено; но если царь не пойдет на уступки, если вспыхнет общее восстание, недовольные будут последовательны — они придут к крайним требованиям. Пусть подумает об этом правительство, время поправить беду еще не ушло; но пусть же оно и не медлит.

Но, с другой стороны, и мы должны помнить, что имеем дело с правительством ненадежным, с правительством, которое временными уступками будет успокаивать нас и из личных, временных выгод готово испортить все будущее всей страны — для десяти подлецов ничего не значит счастье шестидесяти миллионов.

Молодое поколение! не забывайте этого. Не забывайте того, что мы обращаемся к вам по преимуществу, что только в вас мы видим людей, способных пожертвовать личными интересами благу всей страны. Мы обращаемся к вам потому, что считаем вас людьми, более всего способными спасти Россию, вы — настоящая ее сила, вы — вожаки народа, вы должны объяснить народу и войску все зло, сделанное нам императорской властью, вы должны показать народу, что тут нет никакого помазания, что бог познается в делах общего блага, в делах добрых, а где добра нет, там действует злая сила — дух тьмы, а этот-то дух и есть русская императорская власть в том виде, как она существовала до сих пор.

Вы должны объяснить народу, что у него есть доброжелатели, что есть люди, желающие, чтобы он владел землей, а не находился в вечной зависимости от землевладельцев; есть люди, желающие убавить ему подати и всякие платежи, водворить правду в суде, избавить народ от лишних нянек и опекунов.

Не забудьте и солдат. Объясните им, что и у них есть доброжелатели, которые хотели бы убавить солдатам срок службы, дать им больше жалованья, избавить их от палок.

Объясните все это народу и солдатам, но не забудьте прибавить, что помехой всему царь и его министры, для которых это не выгодно.

В последнее время расплодилось у нас много преждевременных старцев, жалких экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек. Эти господа не понимают, что экономизм нищает нас в духовном отношении, что он приучает нас только считать гроши, что он разъединяет нас, толкая в тесный индивидуализм. Они не понимают, что не идеи идут за выгодами, а выгоды за идеями. Начиная материальными стремлениями, еще придем ли к благосостоянию? — односторонняя экономическая наука нас не выручит из беды. Напротив, откинув копеечные расчеты и стремясь к свободе, к восстановлению своих прав, мы завоюем благоденствие, а с ним, разумеется, и благосостояние, то есть то, чего нам так хочется,— деньги.

А эти, к несчастью, плодящиеся у нас конституционные и экономические тенденции ведут к консерватизму; они черствят человека; они ведут к сословному разъединению, к привилегированным классам. Хотят сделать из России Англию и напитать нас английскою зрелостью. Но разве Россия по своему географическому положению, по своим естественным богатствам, по почвенным условиям, по количеству и качеству земель имеет что-нибудь общего с Англией? Разве англичане на русской земле вышли бы тем, чем они вышли на своем острове? Мы уж довольно были обезьянами французов и немцев, неужели нам нужно сделаться еще и обезьянами англичан? Нет, мы не хотим английской экономической зрелости, она не может вариться русским желудком.

Нет, нет, наш путь иной,
И крест не нам нести...

Пусть несет его Европа. Да и кто может утверждать, что мы должны идти путем Европы, путем какой-нибудь Саксонии, или Англии, или Франции? Кто берет на себя ответственность за будущее России, кто может

сказать, что он умнее шестидесяти миллионов, умнее всего населения страны, что он знает, что ей нужно, что он приведет ее к счастию? Где та наука, которая научила его этому, которая сказала ему, что его взгляд безошибочен? По крайней мере, мы не знаем такой науки; мы знаем только, что Гнейсты, Бастиа, Моли, Рау, Рошеры раскапывают навозные кучи и гниль прошедших веков хотят сделать законом для будущего. Пусть этот закон будет ихним законом; а мы для себя попытаемся поискать закон другой.

Для неверующих мы делаем следующий пример. Существует Китай; ближайшие соседи его не знают другой страны, более цивилизованной. Рошеры и Моли Китая утверждают, что закон, по которому развивалась жизнь в Китае и слагалась тамошняя цивилизация, есть именно тот закон, по которому должны развиваться все народы. Соседи верят глубокомысленным ученым и, не видя жизни и цивилизации выше китайской, лезут сами из всех сил в Китай. Но вдруг оказывается, что есть другие страны, что у других народов существуют стремления, неизвестные китайцам. Следует ли из этого, что стремления эти вздор? что только китайская цивилизация и политические убеждения китайцев одни истинны? Человек, видевший только Европу, сотни немецких королевств с их кенигами, герцогами и принцами, или Францию с ее Наполеоном, разумеется, удивится, узнав, что в Америке порядки совсем другие. Почему же России не прийти еще к новым порядкам, неизвестным даже и Америке? Мы не только можем, мы должны прийти к другому. В нашей жизни лежат начала, вовсе не известные европейцам. Немцы уверяют, что мы придем к тому же, к чему пришла Европа. Это ложь. Мы можем точно прийти, если наденем на себя петлю европейских учреждений и ее экономических порядков; но мы можем прийти и к другому, если разовьем те начала, какие живут в народе. Европа сложилась из остатков древнего мира; тысячу лет назад в Европе была монархия; уж тогда Европа разбилась на могучих собственников и на бессильных рабов, не имевших земельной собственности; уж тогда было положено в ней начало того экономического и политического неравенства, которое привело и к пролетариату и вызвало социализм.

Европа попыталась было выйти из своего крайнего положения, но партия привилегированных людей была слишком сильна; вековые традиции были слишком крепки и в народе, и в тамошнем мещанстве; а социальные теории настолько смутны и слабы своей организационной стороной, что 1848 год должен был привести к неудаче. А этой-то неудачи струсили и наши западники, и наши доморощенные политикоэкономы.

Припомните, как легко Рошер решил вопрос об освобождении крестьян. И с немецкой точки зрения дело не могло быть решено иначе. Отчего же наш народ недоволен царской милостью, недоволен тем, от чего немцы пришли бы в восторг? А недоволен народ потому, что он не может представить себя без земельной собственности, он не может представить себя вне земледельческой общины. Ему нужно равенство прав и владения; он не верит и не хочет верить в законность такого порядка, по которому у тридцати миллионов крестьян есть своя земельная собственность, а у остальных двадцати трех миллионов земля чужая, принадлежащая какой-нибудь сотне тысяч владельцев. В Европе сидят еще и до сих пор остатки феодального права; а мы его не знали и не знаем; наше дворянство, наши помещики не европейская аристократия; наши — просто незаконнорожденная власть, вышедшая из того же народа, искусственно созданная императорской властью и особенно расплодившаяся со времен Екатерины II; она должна осесть в народ и осядет с падением власти императорской.

Неудача 1848 года, если что-нибудь и доказывает, так доказывает только одно — неудачу попытки для Европы; но не говорит ничего против невозможности других порядков у нас, в России. Разве экономические, земельные условия Европы те же самые, что и у нас? Разве у них существует и возможна земледельческая община? Разве у них каждый крестьянин и каждый гражданин может быть земельным собственником? Нет. А у нас может. У нас земли столько, что достанет ее нам на десятки тысяч лет.

Мы народ запоздалый, и в этом наше спасенье. Мы должны благословлять судьбу, что не жили жизнью Европы. Ее несчастия, ее безвыходное положение — урок для нас. Мы не хотим ее пролетариата, ее аристокра-

тизма, ее государственного начала и ее императорской власти.

До сих пор народ наш жил своей жизнью, не мешаясь в дела правительства и не понимая их, и он был прав. Правительство тоже не знало народа, да ему было и некогда за политическими бирюльками. А между тем русская мысль зрела, мы изучали экономическое и политическое устройство Европы; мы увидели, что́ у них неладно, и тут-то мы поняли, что имеем полнейшую возможность избегнуть жалкой участи Европы настоящего времени.

Мы похожи на новых поселенцев: нам ломать нечего. Оставимте наше народное поле в покое, как оно есть; но нам нужно выполоть ту негодную траву, которая выросла из семян, налетевших к нам с немецкими идеями об экономизме и государстве. Нам не нужно ни того, ни другого в той форме, как это проповедовали и проповедуют нам наш профессор — правительство и разные последователи Рошера и Гнейста.

Европа не понимает, да и не может понять, наших социальных стремлений; значит, она нам не учитель в экономических вопросах. Никто нейдет так далеко в отрицании, как мы, русские. А отчего это? Оттого, что у нас нет политического прошедшего, мы не связаны никакими традициями, мы стоим на новине и, нисколько не пленяясь немецкими садиками и рощами, хотим разделить свое поле не по немецкой методе, не в заграничном вкусе, а как делилась земля встарь, когда еще людям не было тесно,— и мы можем сделать это. Вот отчего у нас нет страха пред будущим, как у Западной Европы; вот отчего мы смело идем навстречу революции; мы даже желаем ее. Мы верим в свои свежие силы; мы верим, что призваны внести в историю новое начало, сказать свое слово, а не повторять зады Европы. Без веры нет спасения; а вера наша в наши силы велика.

Если для осуществления наших стремлений — для раздела земли между народом — пришлось бы вырезать сто тысяч помещиков, мы не испугались бы и этого. И это вовсе не так ужасно. Вспомните, сколько народу потеряли мы в польскую и венгерскую войну. И для чего? Из капризов Николая, и не только без всяких выгод, но на позор своей страны. Вспомните, что Крым-

ская война стоила нам 300 000 народу, что она разорила целый край, что ввела нас в громадный долг, а разве мы испугались ее? Нет, хоть она и стоила нам лучших сил страны. А разве наше дворянство — лучшая рабочая сила страны? Нет. До сих пор оно стояло враждебно к народу, оно было именно тем осадком общества, куда уходило все сочувствующее царской власти, все лакействующее, все ничего не делающее, все притесняющее народ, все своекорыстное, все вредное для России. Дворянство представляло у нас постоянно элемент более чем консервативный. Но нам могут заметить, что наше образование шло из дворянства, что лучшие люди были из этого сословия. Во-первых, это не совсем правда. А Ломоносов, Кольцов, Белинский? Во-вторых, лучшее, что выходило из дворянства, тотчас же отделялось от него и становилось на сторону угнетенного народа. При разрешении вопроса об освобождении крестьян дворянство, и из него особенно так называемая старая аристократия, показало еще раз, чего может ожидать от него Россия. Мы увидели еще раз и убедились окончательно, что это партия плантаторов, что это помеха России на пути ее развития. Нравственные силы России, если они даже и из этого источника, они не принадлежат и не могут принадлежать дворянской партии; они составляют свое особое сословие, свой круг, не признанный правительством, враждебный ему и дворянству, дружественный народу. Что народное, что сильно своей внутренней силой, что составляет нравственное украшение страны, то не дворянское, не правительственное. Ни один человек, способный различить только серое от черного, не примкнет к правительственной партии, не пойдет в привилегированное сословие, не воспользуется своим дворянским происхождением и титулом для притеснения народа, для своих узких, корыстных целей. Не ту пору мы переживаем. Современный честный русский не может быть другом правительства. Он друг народа. Все же враждебное народу, все эксплуатирующее его есть правительство; а все поддерживающее правительство и стремящееся не к общему равенству прав, а к привилегиям, к исключительному положению, есть дворянство и партия дворянская. Это враг народа, враг России. Жалеть его нечего, как не жалеют вредные растения при расчистке огорода.

И что значит это привилегированное сословие, эта аристократия рождения, аристократия физической силы, одна пользующаяся всеми выгодами, работающая чужими руками? В чем ее способности, в чем ее право на исключительность положения?

Представьте себе, что внезапно, в один день, умирают все наши министры, все сенаторы, все члены государственного совета. Пусть вместе с ними умирают все губернаторы, директоры департаментов, митрополиты, архиереи — одним словом, вся нынешняя служебная аристократия. Что теряет от этого Россия? Ничего. Через час явятся новые министры, новый сенат, новый государственный совет; явятся новые губернаторы, директоры департаментов, архиереи и митрополиты — и колесо государственного управления пойдет до того постарому, что Россия и не заметит никакой перемены.

Представьте, что, в одно время с ними, умирают все тунеядствующие вельможи, великие князья и княжны, все лакированные флигель-адъютанты, фрейлины, все статс-дамы — весь придворный штат. Разумеется, потеря эта, как и всех министров, взятая с общей человеческой точки, принесет много огорчений родственникам, оставшимся в живых, но и только. На место умерших найдется немедленно не меньшее число людей, способных заниматься тем же, и через час такие же лакированные адъютанты и фрейлины наполнят снова двор, и если государь вздумал бы назначить вечером бал, то едва ли бы и сам он заметил перемену в лицах. Новые флигель-адъютанты танцевали бы с не меньшим искусством, как и прежние, шеи новых фрейлин были бы так же пленительны, улыбки их так же очаровательны, разговоры их так же пусты, как и прежних, и в общем характере не было бы заметно никакой перемены.

Представьте, что вместе с министрами и фрейлинами умирает все наше старое дворянство, вся аристократия происхождения, все ничего не делающие помещики. Пусть даже число новых покойников будет сто тысяч. И эту потерю Россия не заметит. Через час царь может создать новых помещиков, наделать новых графов и князей. Разве не всякий на это способен?

Таким образом, внезапная потеря более ста тысяч людей, признаваемых правительством полезными и не-

обходимыми ему, не только не повредит России,— напротив, принесет народу пользу, избавив его от необходимости кормить тунеядцев.

Но вот картина меняется. Министры с их товарищами живы и здоровы, сенат и государственный совет тоже, а с ними и все ничего не делающее столбовое дворянство; фрейлины и флигель-адъютанты танцуют, камер-юнкеры и камергеры прислуживают за царским столом; одним словом, все идет так, как идет теперь; все бесполезное население России живо и здорово, но умирает аристократия мысли, умирают литераторы, поэты, ученые, художники, фабриканты, то есть те люди, которые производят вещи, полезные для страны, и снабжают ее предметами наиболее нужными, в произведениях которых высказывается гений и все способности народа, которые составляют гордость и славу нации. Что станется тогда с Россией? И сколько нужно времени, чтобы восстановить ее потерю? Ни фрейлины, ни сенаторы, ни архиереи, ни митрополиты, ни члены государственного совета и флигель-адъютанты не в состоянии быть литераторами, художниками, учеными, фабрикантами. Что станется с страной, постигнутой таким страшным бедствием, лишенной всей нравственной силы? Что станут делать столбовые дворяне, министры, фрейлины, митрополиты и флигель-адъютанты? Царю останется одно — поселиться с ними особой колонией под Петербургом и возращать картофель. Да, пожалуй, и этого будет не нужно.

И странное дело, эта клейменая неспособность, окружающая царя, эта дворянская партия, представители выгодного для них консерватизма думают, что народ нельзя предоставить самому себе, что ему нужно дать нянек. Жалкие мыслители, хоть и последовательные, вы не хотите дать народу свободу, потому что и для себя самих вы видите возможность только одного положения — холопства. Но кто же дал вам право переносить свое тупоумие и бессердечие на весь народ? Кто сказал вам, что все должны быть лакеями, потому что вы лакеи? Что ни у кого не должно быть собственной воли, потому что ее у вас нет? Что все должны быть тупоумны, потому что вы тупоумны? Вы говорите, что народ не созрел. Да что значит зрелость? Неужели нужна какая-то зрелость, чтобы понимать удовольствие ходить в просторных сапогах, чтобы переменить узкий сапог на широкий?

Неужели нужна какая-то зрелость, чтобы отличить справедливость от бессудия? Чтобы чувствовать потребность дышать свежим воздухом, есть, пить, мыслить и, следовательно, свободно выражать свои желания и мысли? Или вы думаете, что все это не есть органическая потребность человека? Или вы думаете, что наш крестьянин бесчувствен ко всему этому? Что его нужно приучать постепенно к справедливости и правде? Что в деле народного грабежа и разорения нужно сходить *на нет* постепенно? Что если с крестьянина брали в год по лишнему волу, то не следует прекращать грабеж вдруг, а убавлять ежегодно порцию — сначала корову, потом теленка, барана, овцу, курицу, цыпленка, куриное яйцо — и даже в этом деле вести крестьянина путем переходного состояния, как это сделали с волей? Да ведь это бессмыслица!

«Что же вы хотите? — могут наконец спросить нас.— Вы говорите о скудоумии власти, но кто же этого не знает?» Тем хуже для нас. Мы знаем, мы видим все умственное и нравственное ничтожество власти, и мы терпим ее.

Кому нравится это, пусть остается в ярме; но кто проснулся и дозрел до понимания человеческого достоинства, в ком есть хоть искра гражданского мужества, гражданской доблести, пусть сбросит с себя цепи, пусть пристает к людям, ищущим свободы, пусть число свободных людей растет все больше и больше, пусть они теснее и теснее пристают один к другому и, наконец, потребуют перемены существующих порядков.

К этим-то людям свободы мы и обращаемся — они поймут нас.

Чего мы хотим?

Мы хотим, чтобы власть, управляющая нами, была власть разумная, власть, понимающая потребности страны и действующая в интересах народа. А чтобы она могла быть такой, она должна быть из самих нас — выборная и ограниченная.

Мы хотим свободы слова, то есть уничтожения всякой цензуры.

Мы хотим развития существующего уже частью в нашем народе начала самоуправления. Если крестьяне имеют это право, если они избирают сами из себя старшин и голов, если общинам предоставлено право граж-

данского суда и полицейской расправы, зачем же этими правами выборного начала и самоуправления не пользуется вся остальная Россия? Или все остальное население хуже понимает свои потребности и потребности страны? Или в нем меньше смыслу, чем в земледельческом населении? Нет, этого не скажет наше правительство. Оно дало крестьянам волю потому, что боялось крестьянских топоров, но нас никто и никогда не боялся. Теперь же мы сильнее, и мы хотим последовательного развития начал народного управления. Наша сельская община есть основная ячейка, собрание таких ячеек есть Русь. Везде должно проходить одно начало. Вот что нам нужно.

Мы хотим, чтобы все граждане России пользовались одинакими правами, чтобы привилегированных сословий не существовало, чтобы право на высшую деятельность давали способности и образование, а не рождение; чтобы назначение в общественные должности шло из выборного начала. Мы не хотим дворянства и титулованных особ. Мы хотим равенства всех пред законом, равенства всех в государственных тягостях, в податях и повинностях.

Мы хотим, чтобы денежные сборы с страны не шли неизвестно куда, чтобы их не крали; чтобы правительство давало народу отчет в собранных с него деньгах.

Мы хотим открытого и словесного суда, уничтожения императорской полиции — явной и тайной; уничтожения телесного наказания.

Мы хотим, чтобы земля принадлежала не лицу, а стране; чтобы у каждой общины был свой надел, чтобы личных землевладельцев не существовало, чтобы землю нельзя было продавать, как продают картофель и капусту; чтобы каждый гражданин, кто бы он ни был, мог сделаться человеком земледельческой общины, то есть или приписаться к общине существующей, или несколько граждан могли бы составить новую общину. Мы хотим сохранения общинного владения землей с переделами чрез большие сроки. Правительственная власть не должна касаться этого вопроса. Если идея общинного владения землей есть заблуждение, пусть она кончится сама собой, умрет вследствие собственной несостоятельности, а не под влиянием экономического учения Запада.

Мы хотим, чтобы девять миллионов десятин свободных земель Европейской России (оброчные статьи) были отданы дворовым людям, пущенным манифестом 19 февраля по миру.

Мы хотим уничтожения переходного состояния освобожденных крестьян; мы хотим, чтобы выкуп всей личной земельной собственности состоялся немедленно. Если операцию эту не в состоянии взять на себя правительство, пусть возьмут ее все сословия страны. Это путь мирный, и мы хотели бы, разумеется, чтобы дело не доходило до насильственного переворота. Но если нельзя иначе, мы не только не отказываемся от него, но мы зовем охотно революцию на помощь к народу. Если из пустого честолюбия Наполеон I перебил на своем веку восемь миллионов народу, что значит какая-нибудь сотня людей, когда этой жертвой покупается счастье народа! Но и до этой цифры не дойдет. Стоит сделать один пример с теми, кто не идет на добровольную уступку,— остальные согласятся. «Но ведь это насилие»,— скажут сторонники настоящего порядка. А как вы назовете обращение двадцати миллионов свободных людей в крепостных? Или последнюю муравьевскую кражу? Разве это не было хуже, чем грабеж народа? Мы не предлагаем такого грабежа, мы только хотим возвратить вполне права тем, от кого они были отняты.

Мы хотим полного уничтожения следов крепостного права, уничтожения развитого им неравенства в землевладении; мы хотим полного обновления страны.

Мы хотим уничтожения мещанства, этой неудавшейся русской буржуазии, выдуманной Екатериной II. И какие они tiers état![1] Те же крестьяне, как и все остальные, но без земли, бедствующие, гибнущие с голоду. Им должна быть дана земля.

Мы хотим сокращения расходов на бесполезно громадную армию. Она стоит нам более ста миллионов деньгами, да военные натуральные повинности, падающие на народ, стоят почти столько же (девяносто миллионов). А чего стоит потеря в рабочей силе, оторванной от плуга и от верстака? На сколько должен народ усилить свои занятия, чтобы трудящиеся люди работали за ничего не делающую армию? В армию берут

---

[1] третье сословие.

лучших людей, и люди эти делаются совсем бесполезными для своей страны на всю жизнь. Прослужив двадцать пять лет, отставной солдат делается неспособным к сельским занятиям, от которых его оторвали. Он идет или по миру, как искалеченные севастопольские герои, или в сторожа, швейцары, в легковые извозчики. А зачем нам гвардия? Для защиты Зимнего дворца и царской семьи ее слишком много. И что такое гвардия? Военное дворянство! Но это вздор: или все гвардия, или все армия — все граждане равны, обязанности всего военного сословия одинаковы, а потому — нет привилегий.

Мы хотим, чтобы офицеры армии и гвардии поняли свое истинное назначение; чтобы они поняли, что они не царское войско, исполняющее капризы императорской власти, а народная стража; что они служат не на угнетение слабого, а на его защиту против обид сильных и власти, эксплуатирующей его труд и время. Непохвальна роль, какую играло до сих пор русское войско. Оно рубило поляков, рубило венгерцев, оно участвовало во всех злодеяниях русских императоров. Для него не существовало родной земли, родного народа. Его кумиром был царь, и волю его оно исполняло свято — оно резало свой народ, когда того хотелось царю; оно было палачом и тюремщиком России. Солдат прикрывается присягой, которую он не понимает, и солдату это прощается, потому что он не понимает, что́ он делает. Но чем можете оправдывать себя вы, господа офицеры? Вы учились кое-чему, вы развитее рядовых солдат, вы понимаете смысл присяги, вы должны знать, что вас призвали на защиту страны своей, а не на ее угнетение. Вы говорите, что сердце у вас обливалось кровью, когда вам приходилось бить венгерцев,— так зачем же вы их били! Вы не хотели дружиться с австрийцами. Зачем же вы с ними дружились? Мы видели седых казаков, которые до сих пор рыдают, как дети, рассказывая историю с графиней Платер — постыдную казнь, выдуманную злодеем Николаем. А нынче: народу дали полусвободу, не растолковали дела, он недоволен, и вас шлют стрелять и бить безоружных, и вы, храброе русское войско, хладнокровно стреляете в безоружных. Вот на что употреблялось наше войско. Позор ему! Пора кончить эту постыдную роль. Пора вспомнить о службе отечеству. Пора

перестать быть царской стражей. Вот почему мы хотим, чтобы наше войско было не императорская гвардия, а стража народная. Тогда, в минуту восстания угнетенного народа, когда страна потребует своих прав, и войско не забудет, что оно было игрушкой власти, ее слепым и позорным орудием, и оно не забудет предъявить свои требования и встанет на стороне народа, а не на стороне общего врага. И неужели вы думаете, что идти против французов и англичан, как это было в последнюю войну, менее опасно, чем сказать: нет, мы не хотим идти против своих,— и не тронуться с места? Вас гнали на верную смерть, и вы шли, а тут приходится сказать только «нет», и вы не смеете! Никто еще не укорял русских офицеров и солдат в недостатке военного мужества, но зато и никто не находил в них мужества гражданского.

Уж если в вас не найдется силы сказать «нет» — идите; но первый залп, который вам велят сделать в своих, сделайте в тех, кто вам велит его сделать,— и уж за одно это благословит вас народ.

Мы хотим, чтобы срок службы солдату не была целая вечность, убивающая в нем все гражданские способности, все человеческие силы, делающая его никуда не годным в отставке. Мы хотим, чтобы солдат шел в службу охотой, чтобы она представляла ему выгоды, чтобы срок службы был три — пять лет, чтобы солдат не отрывался окончательно от своей родной избы, чтобы он уходил только на время и после службы возвращался в свою семью, чтобы после службы он оставался тем же селянином, как и до рекрутства, чтобы он получал жалованье, не только достаточное для его текущих потребностей, но чтобы он мог посылать кое-что и домой, а не тянуть из дому последнюю копейку. Пусть наше войско будет ополчением; пусть каждая губерния составляет свою дружину. Незачем солдату уходить в мирное время за тысячу верст от своего дома.

Мы хотим сокращения расходов на все управление; мы хотим уничтожения вредных для народа управлений, как министерство государственных имуществ, министерство двора, удельное управление. У народа есть и головы и старшины, есть, наконец, здравый смысл, в который верует и само правительство. К чему после этого еще управляющие палатами и конторами, окружные

и депутаты? А к чему двору целое министерство? Домовые конторы да расходчики — вот все, что нужно для дворцов. Народу все это слишком тяжело — ведь он, а никто другой платит за все это.

Мы хотим сокращения расходов на царскую фамилию. Зачем какому-нибудь великому князю сто тридцать лошадей, когда люди не менее порядочные и, уж разумеется, более полезные довольствуются вполне парой? Зачем на двор тратится пятьдесят миллионов в год, когда за десятую часть этой суммы можно иметь людей, знающих лучше свое дело и действительно полезных стране? Крепостное право кончилось, а с ним должно кончиться и барство, и всякие помещичьи замашки — дворовые, дворцы и дворы.

Мы хотим освобождения из казематов и возвращения из ссылки осужденных за политические преступления; мы хотим возврата на родину всех политических выходцев.

Наконец, мы хотим совершенного изменения основных законов. Например: «Император всероссийский есть монарх самодержавный и неограниченный. Повиноваться верховной его власти, не токмо за страх, но и за совесть, сам бог повелевает». Что за клевета на бога и совесть! В этом можно уверять только китайцев и турок, да и те едва ли верят подобной басне. Странно навязывать подобное верование народу, у которого девять миллионов сектантов, не признающих царя. А между тем во всем своде проходит эта мысль — везде благоговение пред властью и сословное неравенство. Понятно, что мы хотим изменения основных законов и очистки всех остальных.

Но кому мы указываем эту программу? Кто станет ее выполнять? Где у нас люди, понимающие свои гражданские и человеческие права и способные предъявить свои требования? Дворянство? Нет, в дворянство мы не веруем,— оно показало уже свое бессилие, непониманье своих выгод и неуменье пользоваться обстоятельствами. Когда государь сказал им: «Я хочу, чтобы вы отказались от своих прав на крестьян»,— им следовало ответить: «Государь, мы согласны, но и вы должны тоже отказаться от безусловной власти; вы ограничиваете нас, мы хотим ограничить вас». Это было бы последовательно, и в руках дворянства была бы конституция. Дво-

рянство струсило, в нем недостало единодушия, и теперь очередь не за ним.

Надежду России составляет народная партия из молодого поколения всех сословий; затем все угнетенные, все, кому тяжело нести крестную ношу русского произвола — чиновники, эти несчастные фабричные канцелярий, обреченные на самое жалкое существование и зависящие вполне от личного произвола своих штатских генералов; войско, находящееся совершенно в таком же положении,— и двадцать три миллиона освобожденного народа, которому 19 февраля 1861 года открыта широкая дорога к европейскому пролетариату.

Обращаемся еще раз ко всем, кому дорого счастие России, обращаемся еще раз к молодому поколению. Довольно дремать, довольно заниматься пустыми разговорами, довольно бранить правительство втихомолку или рассказывать все одни и те же рассказы об одних и тех же плутнях разных Муравьевых. Довольно корчить либералов, наступила пора действовать. И кто выдумал, что правительство сумеет сделать что-нибудь нужное само по себе? С какой стороны вы ждете еще доказательств способности правительства и желания его сделать что-нибудь полезное для России? Откуда ваши надежды? Или вам мало исторического прошедшего России? Не питайте в себе пустой надежды, этого предательского, усыпляющего чувства; не переносите своих благородных стремлений на ватагу негодяев, называемых русскими министрами и русским правительством. Или вы не видите, что власть и скудоумна и смеется над вами? Вы зовете Муравьева втихомолку трехпрогонным, называете его казнокрадом, заграничные издания публикуют его проделки, а он в то же время прибирает к себе двадцать две тысячи десятин лучшей земли России. Нет, с такими господами нечего церемониться; пора с ними кончить, пора приступить к делу теперь же, не теряя ни минуты.

Говорите чаще с народом и с солдатами, объясняйте ему все, чего мы хотим и как легко всего этого достигнуть; нас миллионы, а злодеев сотни. Стащите с пьедестала, в мнении народа, всех этих сильных земли, недостойных править нами, объясните народу всю незаконность и разврат власти, приучите солдат и народ понять ту простую вещь, что из разбитого генеральского

носа течет такая же кровь, как и из носа мужицкого. Если каждый из вас убедит только десять человек, наше дело и в один год подвинется далеко. Но этого мало. Готовьтесь сами к этой роли, какую вам придется играть; зрейте в этой мысли, составляйте кружки единомыслящих людей, увеличивайте число прозелитов, число кружков, ищите вожаков, способных и готовых на все, и да ведут их и вас на великое дело, а если нужно, то и на славную смерть за спасение отчизны, тени мучеников 14 декабря! Ведь в комнате или на войне, право, умирать не легче!

К СОЛДАТАМ

Много лет русское войско, русские солдаты исполняли службу только царя, а не служили вовсе своей родине; они даже по приказанию царя угнетали ее: например, разве не угнетение это, когда царь из своей прихоти на счет крестьян держит огромное войско, половина которого вовсе бесполезна, и это войско расставляет на квартиры по деревням и селам к мужикам, которым и без солдат тяжело жить, которые и так разорены своими начальниками; разве не угнетение это, скажите, пожалуйста, когда царь, не дав мужикам настоящей свободы и тем заставив их взбунтоваться, посылает солдат для усмирения ничем не виноватых бедных мужиков и солдаты по приказанию царя бьют, угнетают народ?! Хотел бы я знать — неужели между солдатами не найдется таких, которые поняли бы это и растолковали бы другим своим товарищам? Растолковали бы они им, что присяга, которую они произносят при вступлении на службу, обязывает их на служение своей родине, своему русскому народу, а не исполнять несправедливые преступные приказания царя; исполнять эти приказания все равно что делать самому преступления. Ведь никто из солдат не сделает убийства, например, сам по себе: всякий из них чувствует отвращение от этого преступления; а по приказанию начальства они делают преступления хуже этого, например, угнетение народа, следствием которого бывает и голодная смерть, и самоубийство, и грабежи, и убийства, и разврат, и пьянство, которое тоже ведет ко многим порокам; и всем

этим несчастиям, всем этим порокам виною царь и исполняющие его приказания, а солдаты служат во многом царю, следовательно, и они отчасти виновны в несчастиях народа,— лучше бы им не исполнять преступные приказания царя. Сам бог учит, чтобы не повиноваться приказаниям против совести, а неужели совесть не говорит, что грешно убивать безоружный невинный народ, как это было в Бездне, или — что грешно бить палками до полусмерти невинного товарища, убежавшего от горького солдатского житья?

Говорят, что солдаты любят царя! Да за что его любить солдату? Разве за то, что царь отнимает вас вовсе от семьи и приказывает служить ему двадцать пять лет, в продолжение которых он и ест дрянь, и бьют его немилосердно начальники, а случись солдату быть раненым на войне, которую царь ведет не по желанию народа, а по своей прихоти, так и не поблагодарит он его за это, не даст ему куска хлеба, как, например, многим *севастопольцам,* а иди бедный солдат по миру. На службе-то помаялся двадцать пять лет, да и после службы майся. А убеги солдат от горького житья, так поймают, да и сквозь строй прогонят. Нет, если солдат все это поймет, он не будет любить царя и не будет исполнять его подлые приказания. Он не станет стрелять в народ, когда тот восстанет, чтобы облегчить свою горькую долю, а присоединится к нему, чтобы ему помочь, да и свое житье поправить; а как поправить его, ему расскажут, ему укажут, что можно сделать.

Можно сделать, чтобы солдат служил только от трех до пяти лет и во время службы получал бы достаточное жалованье, такое, чтобы мог посылать из него и семье своей на подмогу; можно сделать, чтобы его варварски не били; можно сделать, чтобы он не уходил от семьи далеко, а жил бы поблизости и после службы своей снова приходил бы на помощь семье своей,— одним словом, можно сделать, чтобы солдатское житье было хорошее и всякий с охотой бы шел служить солдатом.

Когда бы все солдаты об этом знали да поняли бы все это, так, наверное, при случае помогли бы себе, да и другим тоже, и сами после были бы счастливы, да и другие бы им были благодарны.

II. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ Н. В. ШЕЛГУНОВЕ

Н. С. Русанов

СОБЫТИЕ 1 МАРТА И НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШЕЛГУНОВ

С Николаем Васильевичем я видался очень часто в течение трех или четырех лет, и одно время обстоятельства заставили меня близко сойтись с ним. Потом некоторое время мы переписывались. А потом, как часто бывает у людей, живущих при совершенно различных условиях, наша переписка стала менее оживленной и наконец совсем прекратилась. Я хочу поделиться с читателями «Былого» кой-какими воспоминаниями о Николае Васильевиче, особенно в связи с Первым марта.

С Шелгуновым я познакомился в конце 1879 года, вскоре после того, как ему было позволено вернуться в Петербург после пятнадцатилетнего скитания по провинциальным городам. Меня ему отрекомендовал один из сотрудников «Дела». С большим смущением и с не меньшим желанием скрыть его я вошел в меблированную комнату одного из громадных домов на Александровской, теперь Пушкинской улице. Мне, человеку семидесятых годов, не хотелось произвести дурного впечатления на человека шестидесятых. А я еще так недавно читал полемику Шелгунова с Скабичевским, в которой Шелгунов слегка иронизировал, между прочим, над большими претензиями семидесятых годов. Но мое смущение и досада на автора этой статьи улеглись почти мгновенно, когда, после первых банальных фраз, Николай Васильевич просто и тепло заговорил со мной о том, как он интересуется теперешней молодежью и как он отстал от ее дум и желаний, живя все время в провинции. Признаться, я не ждал этого и с полной от-

кровенностью высказал Шелгунову, что я думал, входя к нему в комнату, и как я решил дешево не продать своей жизни и любимых мною семидесятых годов... Шелгунов улыбнулся той хорошей и странной улыбкой, которую я потом так любил у него: отчасти коварная, почти мефистофельская, эта улыбка была согрета гуманным отношением к собеседнику и одухотворена деятельной мыслью. Шелгунов своею физиономией мне всегда напоминал именно Мефистофеля, но Мефистофеля доброго, проникнутого любовью к людям. Его низкий посредине лоб, поднимавшийся высоко к обоим вискам; довольно коротко остриженные волосы; тонкие и обширные дуги бровей; небольшие узкие глаза; острый нос; тонкие губы, оттененные негустыми усами, и козлиная бородка на выдающемся подбородке — все это было точно скопировано с классического Мефистофеля. Но выражение было не злое, а лишь чуть-чуть коварное, и добродушный негромкий смех часто прерывал его разговор, в котором звучала постоянно странная, не лишенная приятности нота гуманной иронии. В довершение всего и ходил-то он как-то по-мефистофельски быстро, слегка припрыгивая, и не без своеобразной торопливой грации.

В то время когда я познакомился с ним, по его лицу нельзя было никак определить его возраста: не то сорок, не то пятьдесят лет. Его речь звучала редкой убедительностью. Не могу сказать, чтобы он был заправский оратор, но говорил он просто, плавно и подчас так же хорошо, как были написаны его лучшие статьи. Замечу, между прочим, что почти все его статьи были написаны другими под его диктовку, и диктовал он так же легко, как и говорил. Спорить он не любил, и в особенности не любил запальчивых спорщиков. Но он всегда умел найти в аргументах своего собеседника какой-нибудь мостик, чтобы незаметно перевести противника на свою сторону. Я думаю, здесь играло главную роль его удивительное врожденное чувство такта, которое никогда не позволяло ему оскорблять спорившего. Было бы, впрочем, ошибкою думать, что он был, что называется, человек покладистый на убеждения. Наоборот, по основным вопросам он оставался всегда верен идеалам своей молодости, и если в чем можно было упрекнуть его, так это скорее в том, что в его революционных воззрениях была известная доля традиционного элемен-

та: «Так делали наши прадеды-революционеры — так должны делать и мы». А Шелгунов был убежденный социалист и убежденный революционер. Он не был, пожалуй, тем, что называют теперь «научным социалистом». Самые условия его развития и русская действительность, где ему пришлось жить и бороться, заставляли его придавать большее значение идейному элементу, интеллигенции, чем, может быть, допустил бы это последователь «научного социализма». Но кто из нас, русских людей, был так безгрешен тогда в этом отношении, чтобы мог бросить этот камень в человека, которому только перед смертью удалось услышать сознательный отклик среди русских рабочих? Зато по другому вопросу Шелгунов был гораздо ближе к научному социализму, чем социалисты-утописты прошлого времени. Именно он был страстный политик и полагал, что революционная политическая деятельность, предпринятая организованной партией, может сделать удивительно много в социалистическом смысле.

Я припоминаю один вечер у Шелгунова, когда он жил уже вместе с семьей в большой квартире. Собралось довольно много литераторов-социалистов, офицеров, студентов и студенток и два крупных нелегальных народовольца, которых полиция тщетно пыталась словить. Один из них был покойный Ланганс, другой — ныне здравствующее лицо, которое мне придется, по некоторым соображениям, скрыть под тогдашним его политическим псевдонимом Николая Александровича Зыбина. Роль Зыбина заключалась в пропаганде народовольческих идей и в вербовке сторонников среди «общества», главным же образом в литературных сферах. И эту роль он исполнял с редким мастерством... Дело было в половине февраля 1881 года. Много пили, много танцевали и еще больше говорили о политике. Хорошее это было время: даже тот, кто не верил в близость социальной революции, ждал с часу на час политического переворота. Довольно большое число из гостей Шелгунова знали о том, что «Народная воля» поставила решительный ультиматум правительству: смерть абсолютизму или скорая смерть царю. И кое-кто из нас знал, что катастрофа была ближе, чем думали в публике. За ужином живой, как ртуть, Зыбин, лихо отхватив перед тем мазурку и закончив ее трепаком, сказал несколько

горячих слов о значении современного момента и поднял бокал за «разрушение старой России». Все оживились, и Шелгунов в пылу разговоров провел очень удачную параллель между цивилизаторской деятельностью Петра I и революционной деятельностью народовольцев. Замечу, что Шелгунов, пламенный западник, вообще очень любил Петра: это был в некотором роде герой его исторического романа. «Мне совсем не нравится Петр как царь,— сказал он на этот раз,— но я преклоняюсь пред ним как пред диктатором. В чем была сила его? В том, что он разбил старые формы Московской Руси и ускорил естественный ход вещей, в двадцать лет сделав то, что московские цари тяпали бы да ляпали целых двести. Теперь же я готов кричать «ура» народовольческой диктатуре: дело русских социалистов-революционеров — разбить устарелые для нашего времени нормы петербургской империи и вытащить на свет божий новое общество».

Две недели спустя Шелгунов зашел ко мне в воскресенье — дело было 1 марта 1881 года,— и мы отправились с ним пройтись на Невский. Мы были на углу Екатерининского канала... Вдруг раздался какой-то необычный гул, и мимо нас с гиком, со свистом, давя прохожих, промчалась бешеным галопом сотня казаков, копья вперед, шашки наголо. Обоих нас, точно электрический ток, пронизала одна мысль: должно быть, покушение. Мы не ошиблись. Казаки были вызваны по телеграфу к Зимнему дворцу. Навстречу нам бежал народ, рассыпаясь по улицам, по переулкам, торопясь сообщить что-то друг другу, встречным знакомым и незнакомым, и все это с каким-то таинственным видом. Местами образовались кучки; слышалось: «Убили... нет... спасен... тяжело ранен...» Я до сих пор не могу забыть выражения лица Шелгунова. Его глаза смотрели напряженно вдаль, точно старались разглядеть, что делалось за извилиной канала. Тонкий нос, острый подбородок, казалось, впивались в пространство. Бледен он был смертельно. Я понимал его: неужели новое неудачное покушение и, может быть, новая ненужная кровь и новые ненужные жертвы?..

Нам безумно хотелось бежать вперед, все вперед, *туда,* где совершался великий акт русской трагедии. Не знаю, как Шелгунов, но мне казалось, что я с ума сойду, если сейчас же не узнаю, чем кончилось *там.* Мы

пробежали с ним несколько шагов, как нам навстречу попался знакомый редактор либерального «Церковного вестника», Поповицкий. На его лице было написано какое-то мучительное и пугливое недоумение. Он бежал, как оказалось после, предупредить своих домашних и, тяжело дыша в енотовой шубе, махал меховой шапкой. Должно быть, он упал перед этим: по его лицу катились капли пота, верноподданнические слезы и маленькие ручейки от приставшего к лицу и растаявшего грязного снега. «Сейчас увезли... очень ранен... государя убили, наверно, убили... Сам видел; другого арестовали, а тот сам убил себя»,— лепетал плачущий либерал без шапки. Мы сели на извозчика и доехали до квартиры Шелгунова вместе. О том, что государь тяжело ранен, знали уже почти все прохожие. По улицам бежали городовые и гвардейцы и запирали наскоро портерные, кабаки, харчевни: правительство боялось бунта и думало, что покушение было только сигналом восстания. Один извозчик закричал другому, везшему одного моего приятеля из «Отечественных записок»: «Ванька, дьявол, буде тебе бар возить: государя на четыре части ро́зорвало...»

В шесть часов вечера я был у Шелгунова, где собралось несколько близких друзей его из литераторов и кое-кто из революционеров. Шелгунов был сдержан, но, очевидно, внутренно доволен, и если не показывал большой радости, то по врожденному чувству такта. Но он был гораздо более озабочен, чем его друзья, по большей части младшие по возрасту. Он задавался уже вопросом: «Что же дальше, что делать, что предпринять, на что рассчитывать?» Большинство литературной братии отдавалось, напротив, всецело чувству радости и строило самые радужные планы. Старик Плещеев и соредактор Николая Васильевича по «Делу» Станюкович особенно врезались мне своим оптимизмом в памяти. Странное дело: революционеры представляли на этом собрании единственно серьезный критический элемент и напирали на то, что, мол, нельзя же только ликовать да ликовать, нужно и поразобрать промеж себя работу для возможного давления на правительство в печати, покамест не ушло время. Кстати сказать, даже такой на редкость умный человек, каким был Михайловский, еще несколько дней спустя утверждал, что «на этот раз па

нас идет революция». И ему вторил своими картинными выражениями веселый, как никогда, Глеб Успенский. Но возвращусь к беседе у Шелгунова. Николай Васильевич в своем несколько скептическом, но действенном отношении к событиям был согласен скорее с революционерами, чем с записными литераторами, лишь «сочувствовавшими» движению. К тому времени принесли уже правительственную телеграмму в первом, неисправленном еще издании, которая начиналась курьезными словами: «Воля всевышнего свершилась; господу богу угодно было призвать к себе возлюбленного монарха». Телеграмма была встречена с большим оживлением; кто-то сострил даже: «Народная воля — воля божия...»

Увы, и на этот раз, и с этой узловой точки Россия двинулась в сторону реакции. Восстания не происходило, общество лишь «сочувствовало», пока наконец Александр III не заявил своим манифестом от 29 апреля, что он решил «стать бодро на дело управления... с верою в силу и истину самодержавной власти». В эти два месяца Шелгунов употреблял все усилия, чтобы пресса настойчиво заявила о необходимости нового политического режима. И отчасти благодаря его стараниям, которые опирались на подобную же тактику писателей-социалистов и чистых народовольцев, составлявших тогда радикальную коалицию «Дела», «Слова» и «Отечественных записок», литераторы социалистического и революционного направления временно разобрали между собою в печати роли либерального репертуара. В «Деле», кроме Шелгунова, Станюковича и еще кой-кого из молодых писателей красного оттенка, видное место в выработке плана этой кампании играл Тихомиров, писавший под псевдонимом «И. Кольцов», иногда просто «И. К.», и тогда в публике эти инициалы истолковались так: «Исполнительный комитет». «Отечественные записки» защищали позицию народовольцев в лице самого Михайловского, который писал в то время и в органе партии: я говорю о много читавшихся его письмах, помещенных в «Народной воле» под псевдонимом Гроньяра. «Слово» было совершенно в руках уже упомянутого мною Николая Александровича Зыбина; и этот журнал, благодаря хорошему подбору статей и преобладанию среди сотрудников людей крайнего направления, носил очень определенный социалистический и революцион-

ный характер. Опираясь на это ядро более или менее спевшихся толстых журналов, Шелгунов был в числе самых ревностных пропагандистов уже упомянутого плана воздействия на общественное мнение и давления на правительство в печати. Было решено, что так как русские либералы, в силу своей тогдашней политической неразвитости, не умели как следует выразить свои требования, то радикальные и революционные писатели придут к ним на помощь. Не компрометируя себя писанием статей под своими собственными именами, они должны были надеть на себя временно маски «таинственных незнакомцев» чисто либерального лагеря. В результате получился тот знаменательный факт, что лучшие статьи в газетах этого направления, заговоривших тогда о конституции, были написаны социалистами и кое-какими нелегальными. Так энергичная передовица в «Стране», ясно говорившая о необходимости дать России свободные политические учреждения, принадлежала перу покойного И. Н. Харламова.

Но жизнь, как Шекспир, пускает трагичное вперемежку с комичным, и иного рода воспоминания из этого и хорошего и страшного времени связаны у меня с Шелгуновым. Подобно прочим квартирантам, я был избирателем в знаменитый «бараний парламент», названный так по имени выдумавшего его фигляра и самодура Баранова. В противность обычным порядкам, здесь не избиратель шел к урнам, а к избирателю урны во образе полицейских; гражданам внезапно было предписано весь день сидеть дома и дожидаться полицейских с опросом: «Кого вы желаете выбрать?» Как была понята эта процедура мелкими полицейскими сошками и дворниками, не говоря уже о большинстве населения, видно из следующего. Утром в день выборов прибегает ко мне ни жив ни мертв дворник и лепечет: «Господин, потрудитесь убрать все запрещенные книжки, коли ежели имеются, и ждать полицию: сегодня приказ произвесть повальный обыск, и об этом начальство извещает для верности заранее». Должно быть, я улыбнулся: «Не верите, господин,— вскричал дворник,— ей-богу-с, так! Вон и лавочник все время катает сельдяные бочки да ищет: все боится, что ему скубенты книжку по злобе подбросят». Несмотря на строгое запрещение выходить из дома, многие из нас, знавшие Шелгунова, старались произве-

сти избирательную агитацию в его пользу и ходили по друзьям и знакомым с просьбой давать имя Шелгунова. Николай Васильевич добродушно улыбался, видя наши старания, но отказываться не отказывался. «Считаю долгом заявить избирательному комитету,— говорил он шутя нам,— что программа у меня будет простая: на первом же заседании полицейского парламента я заявлю, что нужно распустить его и приступить к выборам в Земский собор». Избран Шелгунов, конечно, не был. Но начальство, как говорят, очень переполошилось, узнав, что Николай Васильевич на одной Пушкинской улице, где была его квартира, получил шестьдесят голосов...

Здесь не место говорить, почему и отчего не удалось 1 марта. На Шелгунова это сильно подействовало, и когда, после поездки в центральную Россию, я увидался с ним в октябре месяце 1881 года, я нашел его страшно похудевшим, страшно нервным, и его мефистофельская физиономия приняла скорбное выражение. Но в то время как другие начинали примиряться с входившей во вкус да в аппетит реакцией, Шелгунов все оставался на своем посту верным своим идеалам. Тогда я заметил лишь в нем одну новую черту: он значительно скептичнее стал смотреть на роль интеллигенции, чем прежде, и будь в это время мало-мальски возможна деятельность среди рабочих или даже среди крестьян, он уделил бы в своем представлении о революционной диктатуре очень почетное место народным массам. Но, повторяю, бодрым и верующим он оставался неизменно, и в этом его не успела разочаровать тридцатилетняя борьба с русским строем. В последнем письме его,— не помню, ко мне или к одному из моих приятелей,— помеченном Берлином, где Шелгунов был весною 1884 года перед возвращением из короткого путешествия по загранице, он говорит, между прочим: «Через несколько часов переезжаю границу — странное ощущение: точно я снова ученик, идущий на строгий экзамен; и, как во дни своей молодости, машинально я вычистил сюртучок и застегнулся на все пуговицы. Впрочем, мне это дело привычное». Экзамен оказался строже, нежели думал Николай Васильевич: с границы его прямо отправили в Петропавловку, и одним из мотивов его ареста было знакомство с террористами и печатание в «Деле» ста-

тей, которые писались нелегальными, в особенности статей Тихомирова, он же упомянутый И. Кольцов «Дела», он же Иван Григорьевич Каратаев либеральных домов Петербурга. Упоминанием об этой иронии судьбы позволю себе закончить мои воспоминания...

Как бы мне хотелось, чтобы хоть раз с этих бледных страниц глянул на моих читателей живой образ Николая Васильевича, дорогого, милого Николая Васильевича, такого, одним словом, каким я знал его: человека светлого ума и золотого сердца!

ИЗ КНИГИ «НА РОДИНЕ»

Николай Васильевич Шелгунов, тогда пятидесятипятилетний, изрядно претерпевший в провинциальной ссылке человек, в пику своей немножко мефистофельской наружности, обладал золотым сердцем. Он чрезвычайно чутко и гуманно относился к людям, что заставляло его порою, несмотря на ясный ум, подпадать под влияние далеко не стоивших его личностей, но зато позволяло ему с меньшим предубеждением оценивать новые общественные течения, если только ему приходилось встретиться с типичными их представителями. А всякое свежее течение не могло не выдвигать таких людей. Через сердце в ум — так можно было бы охарактеризовать обычный путь, каким совершалось у Шелгунова ознакомление с новым явлением. Этим объясняется, почему Николай Васильевич, если не ошибаюсь, первым из всего твердокаменного благосветловского «Дела» почувствовал потребность допустить живую струю в этот орган застывшего радикализма шестидесятых годов. Как этим же объясняется, почему с такой симпатией он обрисовывал перед своей смертью в «Русской мысли» только что нарождавшийся тип девятидесятника, снова принципиального политика, который шел на смену восьмидесятнику, человеку малых дел и обывательских мыслей.

А между тем теоретическое мировоззрение Шелгунова как раз противоречило этому его душевному строю с перевесом аффективной стороны над рассудочной. Создавшееся у него сравнительно поздно под влиянием господствующего направления умов на рубеже пятиде-

сятых и шестидесятых годов, оно считало главной, можно сказать, исключительной пружиной личного и общественного прогресса мысль, логику, разум. Только бы понять, а там дело само собой пойдет — этот рационализм проводился Шелгуновым в чрезвычайно многочисленных статьях, которые он писал в «Русском слове» и «Деле». Наоборот, прогрессивное течение семидесятых годов, наиболее ярко отражавшееся в революционном движении, если не было прямо иррациональным, то придавало огромное значение общественным условиям, социальной среде и, в частности, скептически относилось к возможности решить великий социальный вопрос одним распространением знания. И если Юзов-Каблиц доходил в этом отношении до крайности, открыто ставя «чувство» выше «ума» в роли «фактора прогресса», то Михайловский хорошо передал настроение эпохи словами, что настоящему общественному деятелю не приходится ставить ни ума на запятках у чувства, ни чувства на запятках у ума.

Таким образом, головным, чисто рассудочным путем Шелгунову было бы столь же трудно воспринять новое мировоззрение, как, скажем, рационалисту-вольтерианцу дореволюционной эпохи во Франции «новое христианство» Сен-Симона и его школы в тридцатых годах XIX века. Но тут на помощь Николаю Васильевичу пришла уже упомянутая мною выше особенность его психологии. Когда я шел к нему в первый раз,— кажется, на Пушкинскую,— я готовился к жестокой борьбе за свои идеи против миросозерцания шестидесятых годов. Такой борьбы, во всяком случае резкого столкновения, между нами не было, и я скоро заметил, что Шелгунов скорее сочувственно вслушивается в мои горячие юношеские слова, которыми я старался, между прочим, поскорее поставить своего собеседника в известность, что молодежь, огромная часть молодежи стоит решительно на стороне «Отечественных записок», атакуемых в «Деле» Ткачевым под псевдонимом «Все того же».

Шелгунов только улыбался милой улыбкой доброго Мефистофеля, а в результате разговора предложил мне войти сейчас же в число постоянных сотрудников «Дела», «сначала по отделу библиографии, а там попробуете себя и на больших статьях». С другой стороны, он отозвался так тепло обо мне некоторым моим знакомым и

своему старшему сыну Мише, скоро ставшему моим личным приятелем на почве стихотворства и восхищения Гейне, и даже сравнил меня с одним из очень крупных прежних друзей, что я усердно принялся за предложенную мне работу, чтобы хоть не совсем осрамиться перед Шелгуновым. Надо ли говорить, впрочем, что я, несмотря на свою молодость, и не мог претендовать оправдать целиком возлагавшиеся им в эту пору на меня надежды? Я знал, кроме того, что его доброе отношение ко мне в значительной степени объяснялось тем, что, получив наконец после долгих скитаний по провинциальной России разрешение поселиться в Питере, Шелгунов сейчас же столкнулся здесь с очень выдающимися представителями семидесятых годов среди революционной молодежи и часть симпатии перенес и на меня. <...>

В начале ноября 1880 года Благосветлов скоропостижно умер <...>. Смерть диктатора «Дела» вызвала большое волнение среди лиц, принимавших близкое участие в издании. Прежде всего можно было опасаться, что исчезновение старого руководителя журнала как раз перед подпиской отразится на материальной стороне: у «Дела» были давнишние читатели, которые привыкли к этому органу, отчасти даже воспитывались на нем, и которые могли покинуть его как раз теперь ввиду неопределенности дальнейшей судьбы журнала, его направления и т. п. После нескольких колебаний жена Благосветлова, становившаяся его наследницей и очень мало понимавшая в литературе, решила вверить судьбу издания Шелгунову, который делался и действительным и формальным редактором журнала.

Человек глубоко идейный, но мягкий и покладистый, Николай Васильевич был поставлен теперь судьбой на трудный пост у руля большого журнала, курсу которого давала направление жесткая и властная рука Благосветлова. Шелгунов чувствовал потребность обновить идейно «Дело», но понимал также, что этого нельзя было осуществить сразу, ввиду аудитории привычных читателей и старого состава редакции. Он решил оставить пока беллетристический отдел журнала в руках

Бажина, который становился его соредактором, но в «серьезном» отделе он сейчас же принялся за реформы.

В то время он очень любил меня, и ему казалось целесообразным обратиться ко мне за содействием в его преобразовательных планах. Привлечь меня к редактированию он, однако, считал рискованным, так как и без того мои теоретические противники, вроде Бажина и других ветеранов «Дела», очень недружелюбно смотрели на меня и создали мне среди своих приверженцев незавидную репутацию самоуверенного всезнайки, который не обращает надлежащего внимания на заслуженных литературных деятелей и повсюду претендует на первые места (этого у меня как раз никогда не было, и враждебное отношение ко мне со стороны немножко старозаветных, но глубоко благородных людей меня сильно огорчало). Зато Шелгунов «отдавал в мое полное распоряжение» какое угодно число страниц второго отдела, где я мог и в больших статьях, и в заметках, и в рецензиях высказывать совершенно свободно свои взгляды.

— Милый Николай Сергеевич,— говорил мне, чуть-чуть улыбаясь своей добродушной и вместе иронической улыбкой Николай Васильевич,— попробуем общими силами освежить «Дело»: вы же все мечтали об органе, где новая теория могла бы найти место... Вы хотите проводить идеи Маркса,— проводите, я даже иду дальше: *будем* проводить Маркса! Не могу сказать, чтобы я целиком разделял его идеи, во всяком случае, они меня не только не пугают, но многому в них я прямо сочувствую... У меня во время оно, как вы знаете, была даже статья в «Современнике» об Энгельсе... Будем только искренне, без всяких умолчаний и оглядываний в сторону, говорить в журнале о том, во что мы верим и что мы считаем истиной: читатель отзовется на слово, проникнутое убеждением. <...>

В Петербурге среди радикальных писателей, как Михайловский, Кривенко, Шелгунов, возникла мысль организовать периодические непретенциозные собрания представителей демократической печати и сочувствующих ей общественных кругов. Так возникли знаменитые в свое

время литературные среды, которые я отметил в своих воспоминаниях о Шелгунове и которые продолжались всю зиму 1881/82 года и перешли на весну (когда я уже уехал за границу). Эти собрания оказались далеко не бесполезными для установления некоей равнодействующей тех практических требований, которые левое крыло общественного мнения думало предъявить становившемуся все более реакционным правительству. И будь в тогдашней России интеллигенция вообще многочисленнее, а массы, даже в городах, не столь отсталы и инертны, кое-что положительное можно было бы отвоевать даже и у послемартовского самодержавия, которое все больше оправлялось от удара, нанесенного «Народной волей», но далеко еще не чувствовало себя господином положения... С другой стороны, литературные среды были настоятельно необходимы для более специальной задачи обмена мнений между писателями, которые держались приблизительно одного и того же радикального направления, но между которыми могли происходить нежелательные, сбивающие читателей с толку недоразумения ввиду тогдашнего сложного и смутного положения вещей.

Один-два примера. Я уже говорил, что Шелгунов был человеком светлого ума и золотого сердца, но поддававшимся порою влиянию лиц, которые были во всех отношениях ниже него. Когда я приехал из деревни, я нашел Николая Васильевича охладевшим ко мне. Он даже сделал мне как-то в разговоре недвусмысленный упрек в том, что я придал «Делу» чересчур марксистский характер. <...> Я не хотел напоминать милейшему Николаю Васильевичу, что сам же он принимал немалое участие в придании «Делу» осуждаемого им теперь отпечатка. Фраза «будем проводить Маркса» была сказана им мне в виде прямого поощрения. Но я знал, что в мое отсутствие Шелгунова старательно обрабатывали против меня и что в данный момент говорит не столько его ум, сколько его доброе, чрезмерно доброе и порою чересчур мягкое и уступчивое сердце...

Каково же было мое удивление, и не только мое, а и удивление многих радикальных литераторов, в том числе Михайловского, у которого это чувство переходило даже в прямое негодование, когда Шелгунов в то же время напечатал в «Деле» (декабрь 1881) курьезную

статейку Z., третьестепенного писателя Ленского-Онгирского, носившую заглавие «Интеллигенция, народ и буржуазия» и доказывавшую, что как мужику, в сущности, не надобны железные дороги, потому что он по бедности не ездит на них, а идет рядом с рельсами пешком, так мужику не надобна и конституционная свобода, потому что ею воспользуется буржуазия и приберет к рукам мужика. «Парламентаризм... необходимо затруднит осуществление всяких серьезных реформ на пользу народа... И как буржуа, один и за себя и за народ, катался по железным дорогам, так точно он один же «обсудит и управит». Это уже выходило хуже всякого моего марксизма, ибо конституции и парламентаризма я нигде в своих статьях не отрицал, и это было как раз на руку шарлатанской «народной политике» графа Игнатьева, истолкователем которой являлся всегда державший нос по ветру Алексей Суворин, и теперь в своем «Новом времени» ужасно предостерегавший друзей русского народа не стремиться к «золотой кровати конституции», ибо на ней эгоистично разляжется сейчас же привилегированный интеллигент и поработит все трудовое население.

На ближайшей же литературной среде Михайловский жестоко напал на Шелгунова за помещение этой чрезвычайно опасной по тому сумбурному времени статьи и в короткой, но очень саркастической речи показал, что теперь в России среди искренних и мыслящих друзей народа нет никого, кто стоял бы на такой точке зрения. Из тридцати человек, присутствовавших на обеде, ни один действительно не поднялся на защиту этой злополучной тезы, и Шелгунов в оправдание ссылался только на свою обремененность редакторской работой, что и вызвало, мол, плачевный недосмотр. Как раз после этого вечера мне пришлось сопровождать на извозчике разогорченного и по случаю огорчения немножко выпившего и охмелевшего Николая Васильевича, и он со свойственной ему искренностью горько каялся в политической оплошности, а меня просил по-прежнему работать исключительно для «Дела». (Шелгунову было известно, что во время размолвки с ним я стал отдавать рецензии в «Отечественные записки».)

Е. Ардов-Апрелева

МУКИ РЕДАКТОРА

(Из писем Николая Васильевича Шелгунова. 1880—1884)

— С вами желает познакомиться Николай Васильевич Шелгунов,— сказали мне в декабре 1879 года, когда я незадолго перед тем приехала в Петербург.

В тот же день, вечером, ко мне вошел сухощавый господин среднего роста, бодрый, оживленный и моложавый, лет сорока пяти на вид,— в действительности ему было лет шестьдесят. Остроконечная бородка, большие уши, глубокие складки вдоль крупного носа, ироническая усмешка в юрких маленьких глазах и характерный выступ на лоб мыском щеткой вверх растущих волос придавали вошедшему некоторое отдаленное сходство с Мефистофелем.

То был редактор журнала «Дело» Николай Васильевич Шелгунов, талантливый публицист, из произведений которого я, однако, знала в то время только статью о вологодских кружевницах,— статью, очень распространенную в обществе шестидесятых годов.

Если не ошибаюсь, незадолго до моего знакомства с ним Николай Васильевич получил разрешение жить в Петербурге. Это и было, несомненно, причиной подъема в нем духа. Он сам говорил, что нигде не чувствует себя так бодро, как в Петербурге; ничто так не оживляло его, как петербургская общественная и даже уличная жизнь.

— Сто́ит мне после продолжительного отсутствия пройтись по Невскому,— говорил он,— я уже чувствую себя обновленным, и провинциальной спячки как не бывало...

Это был убежденный типичный петербуржец с ног до головы. Провинция, деревня были для него олицетворением мертвечины, скуки... По доброй воле выносил он и ту и другую самое короткое время.

Не по доброй воле ему пришлось выносить их много, много и долгие годы подряд.

Да, странная судьба этого остроумного, даровитого журналиста! Добрую половину своего сознательного

земного существования он провел в административной ссылке. Для всех, близко знавших Николая Васильевича, эта кара, так упорно, так последовательно на него налагаемая, казалась каким-то роковым нодоразумением...

Николай Васильевич вошел с небольшой рукописью в руках.

— Ужасно нравится,— заговорил он после первых слов приветствия, стоя у кресла, на которое я ему предложила сесть.— Ни одной любовной сцены... Это ново... Но печатать нельзя... Почему? — быстро, как бы предупреждая мой вопрос, продолжал он.— Отрицательное отношение к эмигрантам!..

— Отрицательное?!

— Прямого порицания нет. Характеры жизненны, верны, но...

— Не герои! — невольно вырвалось у меня.

Николай Васильевич рассмеялся.

— Да уж, далеко от героев!.. Но все-таки борцы за идею... Может ли «Дело» относиться к ним иначе, как с осторожностью, с бережностью...

Я положила рукопись на стол и снова предложила ему сесть. Он со смущенной улыбкой, придавшей особую мягкость и простодушие его характерному лицу, следил за мной и, уступая моему повторному предложению, сел в кресло.

— Вижу, что вам все равно,— сказал он, вздохнув.— Не вы к нам шли. А если бы вы знали, как мне хотелось бы поднять «Дело»... Читатель охладел к нему... Виной, конечно, неудачный подбор статей.

Николай Васильевич горячо заговорил на эту тему. В конце семидесятых годов ежемесячные журналы играли значительную роль как в столицах, так и в провинции. Каждую книжку ждали с нетерпением. Народился в Петербурге и новый журнал «Слово», пытавшийся свежестью материала овладеть — и в первое время не безуспешно — вниманием читателя... Одним словом, несмотря на тяжелые цензурные условия, особенно тяжелые для «Дела», живая мысль, живое слово пробивались на страницах ежемесячников разного направления... Редакторы прислушивались к требованиям общества и пытались привлечь новые силы... Быть может, я ошибаюсь, но мне кажется, что тогда спрос превышал предложе-

ние... Не потому ли, что в то сравнительно еще недалекое время не всякий грамотный мнил себя писателем?..

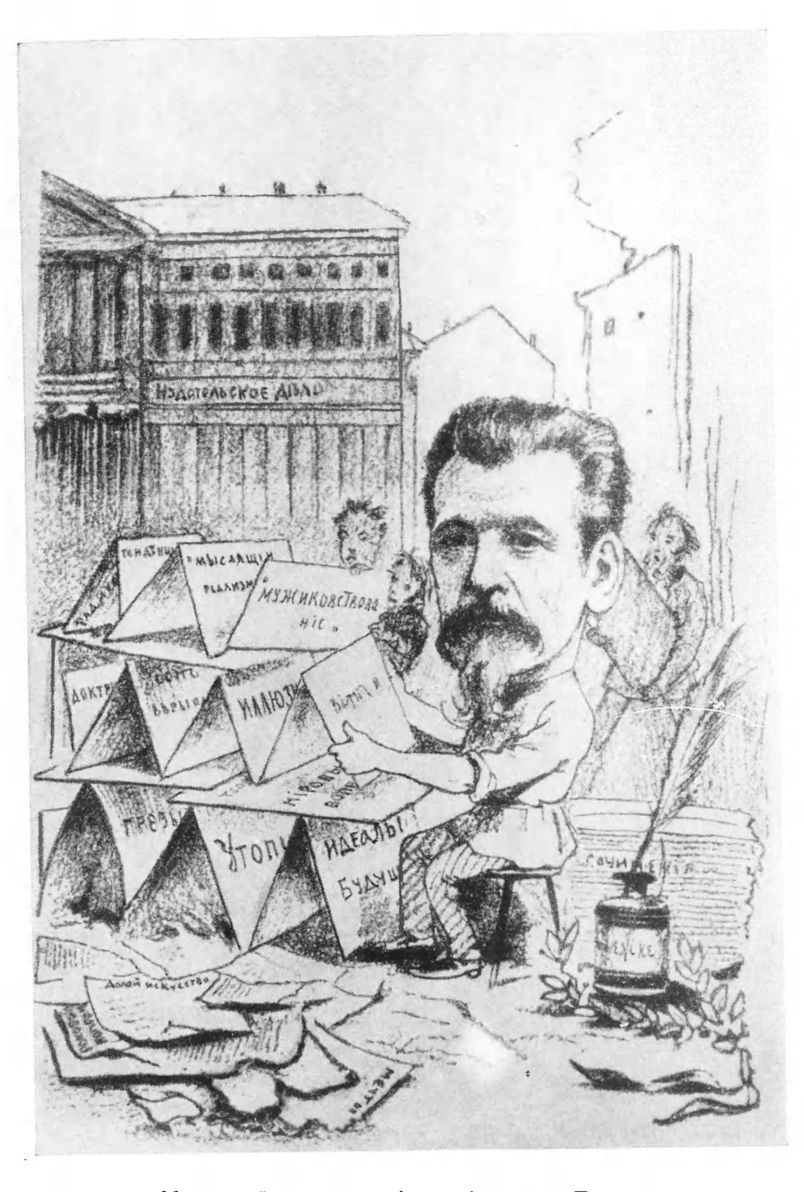
Но думается мне, что никто так страстно не жаждал обновления своего журнала, никто так всецело, так бескорыстно не жил журнальными интересами, никто так бережно не относился к молодым дарованиям и никто одновременно не относился так строго, с такими высокими требованиями к печатному слову, как Н. В. Шелгунов.

В декабре 1879 года и в начале 1880 года я часто, почти ежедневно, видела Николая Васильевича то у себя, то у общих знакомых и в писательских кружках, чаще всего у редактора «Недели» П. А. Гайдебурова на его оживленных субботних сборищах.

Появлению в обществе Николая Васильевича всегда были рады. Он вносил с собой мягкий юмор; умел вызывать этот юмор и в собеседниках. Он любил женское общество и своей мягкостью, бережностью и легким оттенком поклонения женщине привлекал, в свою очередь, женские симпатии; и юные и старые доверчиво любили его и подчинялись, помимо воли, его умственному и нравственному обаянию.

Ранней весной 1880 года я уехала из Петербурга. Мои добрые отношения с Николаем Васильевичем не прервались. Он не был скуп на письма, и в письмах его симпатичная личность рисуется, несомненно, рельефнее, чем в воспоминаниях, яркость которых с течением времени затуманивается и сами воспоминания заслоняются позднейшими встречами и впечатлениями...

«...Позавидовал я вам,— пишет он мне в Дрезден <из Петербурга> 19 августа 1880 года.— Дрезден всегда был моей мечтой... Как измучаешься и наболеешься, ищешь покоя и отдыха, а для покоя и отдыха нет лучшего места. Саксонскую Швейцарию я знаю лучше других мест Германии, потому что исходил ее пешком и прожил некоторое время в Вермсдорфе. Люблю и самый Дрезден... А дурно жить долго на свете. Всегда накапливается много хороших воспоминаний; это — непорядок. Хорошее балует человека, и он зазнается. А впрочем, и худое балует. Право, не знаю, что лучше: гордое ли смирение или самодовольное довольство. Франклин очень остроумно сказал, что между католической



«Маститый столп и обер-публицист «Дела»
Дружеский шарж на Н. В. Шелгунова в фельетонном словаре
В. О. Михневича
«Наши знакомые» (СПб. 1884)

и англиканской церковью только одна разница: католическая говорит, что она непогрешима, а англиканская — что она никогда не ошибается. Должно быть, такая же разница между смирением и гордостью...

А все виноват Достоевский, что я заговорил о гордости и смирении. Опять выступил с «Дневником писателя». Просто невозможный человек! Говорит страшные вещи, и все это искренно, с самым добрым намерением... Л. П. очень верно заметил, что Достоевский не рассуждает, а крестится. Посылаю вам его «Дневник»: это наша самая свежая новость. Покупают нарасхват. Он отпечатал четыре тысячи экземпляров, и все разошлось в неделю. В книжном деле успех небывалый. Зато и в умственном отношении небывалое падение общества. Достоевский — публицист! Недостает, чтобы с проповедью выступили Яков Полонский и Писемский... Достоевский — все тот же стриж, каким он был в шестидесятых годах, но тогда ему, по крайней мере, не целовали рук, а теперь не только целовали, но он сам останавливался перед каждой московской церковью и крестился. Совсем блаженный!..»

«...Раскидался до того, что до сих пор не могу прийти в равновесие,— писал Николай Васильевич <из Петербурга> 12 сентября 1880 года.— Сначала занимался устройством своей судьбы, чем, конечно, должен глубоко обидеть N [1], которая устройство человеческой судьбы, а моей в частности, считает своей обязанностью. О N я сказал только к слову; в действительности я не видел ее с весны, когда я ей наговорил всяких дерзостей за ее постоянные попытки садиться в мою душу и производить в ней шум, пыль и беспорядок...

Теперь я уже не в меблировке, а соединился хозяйством с женой. Разные хозяйственные мелочи, да журнальная работа, да хлопоты с цензурой чуть не причинили мне воспаление легких...

Мы («Дело») хотим выйти из-под цензуры. Бедный Благос [2] от разных рабских чувств, обуревавших его, стал тоньше ниточки. Единственный результат, к которому мы пришли, заключается в очень маленьком ком-

---

[1] Известная писательница. *(Прим. Е. Ардов-Апрелевой.)*

[2] Благосветлов, издатель «Дела». *(Прим. Е. Ардов-Апрелевой.)*

промиссе с цензурой. Нас обвиняют в социализме, хотят, чтобы некоторые сотрудники не участвовали и чтобы «Дело» было еще скромнее, чем оно было до сих пор. Благос хотел объясниться с Лорисом; на это Абаза сказал: «Граф спросит меня, а я скажу, что «Дело» из-под цензуры выпускать нельзя». Вообще теперь в цензуре некоторый переполох. Нельзя говорить ни слова о конституции, о том, что общество должно воздействовать на администрацию, и о социализме. Вопрос о социализме составляет, однако, для цензуры камень преткновения, ибо она не может ни найти, ни установить границы между идеями социалистическими и социальными. Мы тоже не в меньшем затруднении...

На другой день возвращения в Петербург Лорис пригласил к себе редакторов больших газет. Принял он запросто и начал свою речь с того, что со всех сторон ему жалуются на печать. «Вот недавно в Москве был напечатан фельетон против князя Мещерского (московский попечитель). Ну, как наши собственные дети станут относиться после этого к Мещерскому? Я знаю, что подобные вещи делаются часто для усиления подписки».

— Я вам этого себе не позволю говорить,— прервал Полетика.

Лорис сконфузился от подобной непривычной неожиданности, и весь разговор шел затем вперебой; так что ничего не вышло. Лорис — страшный деспот, и еще никогда администрация не была так сконцентрирована, как нынче, но перчатки его из очень мягкого бархата, и его любят».

Неблагоприятные условия личной жизни заставили Николая Васильевича искренно привязываться к своим знакомым. В письмах своих он жалуется, что тесный и очень маленький кружок распался, так как лица, его составлявшие, в Петербург не возвращаются.

«Худо жить в меблированных комнатах,— пишет он <из Петербурга> 19 октября <1880 года>,— но еще хуже жить в меблированности души и бродить, переменяя квартиру... Какая, однако, неотвязчивая мысль и однообразная нотка, точно «Лоэнгрин» Вагнера... Ничего, что я о нем говорю...»

Далее в том же письме Николай Васильевич переходит снова в шутливый тон:

«Видел на улице князя Урусова...[1] Все такой же светлый, улыбающийся... Говорят, что с Корабчевским он затевает журнал для популяризации естествознания и Х. заказал описать в беллетристической форме свору».

Месяц спустя он пишет <из Петербурга> 14 ноября:

«А у нас случилась беда. Умер Благосветлов, да еще так неожиданно. Теперь столько забот и хлопот, что нужно бы иметь три головы и шесть рук. Главное редакторство перешло ко мне, и я от худобы уподобился «человеку без тени»... Хотя «Дело» — орган вполне установленный, но я несколько боюсь, что смерть Благосветлова поколеблет его. Нельзя отрицать, что Благосветлов вносил много своего личного; но многое из этого личного скорее вредило «Делу». Ну, да в последние три года Благосветлов начал уставать и слишком явно гонялся за подписчиком. Только этим и можно объяснить появление в «Деле» базарного романа, чего прежде не было. Когда я в нынешнем году вступил в «Дело» в качестве редактора, то заявил Благосветлову, что нужно поднять тон журнала и обратить внимание на лучший выбор переводной литературы. Кое-что нам и удалось уже сделать. Стал лучше и второй отдел. Если «поправлять — значит вычеркивать», как говорил Шеллер, то, повычеркнув кое-что, что вносилось чисто личного и не было нужно для органа, мы, конечно, «Делу» не повредим и поднимем его достоинство. Но мало сил, да и взять их негде, особенно для отдела русской беллетристики».

Со дня перехода «Дела» к Шелгунову начинаются бесчисленные хлопоты с цензурой и борьба с издательницей.

«Много было хлопот,— пишет он <из Петербурга> 22 января 1881 года,— с выпуском январской книжки, много нужно было обойти подводных камней... Самым большим камнем была цензура... Хотя мне не удалось еще кинуть якорь, но ею уже разрешено подписываться за редактора. Вы можете судить, что пристань недалеко... Теперь я считаю необходимым сообщить вам организацию редакции... С издательницей[2] у меня

---

[1] Московский присяжный поверенный. (*Прим. Е. Ардов-Апрелевой.*)

[2] Вдова умершего издателя «Дела». (*Прим. Е. Ардов-Апрелевой*).

заключено предварительное условие, которое завтра предполагается перенести на гербовую бумагу. Условие заключено лично со мной, и от меня уже зависит приглашать соредакторов и вообще управлять журналом. Свободный во внутренней области журнала, в выборе статей и даже в размере гонорара, я тем не менее связан и ограничен издательницей двумя условиями: книжка не может быть больше тридцати одного листа (в зимние месяцы, а в летние не больше двадцати девяти) и гонорар не может превышать семидесяти рублей за лист по *прежнему* расчету. Это обстоятельство ставит меня иногда невольно в щекотливое и неловкое положение между авторами и издательницей... Относительно покушений новой редакции повысить гонорар у нас уже были разговоры с издательницей... Вообще она — из скупых!..»

Первые шаги на поприще управления журналом были тяжелы для бедного Николая Васильевича. Еще в декабре 1880 года, то есть через месяц по кончине Благосветлова, он писал <из Петербурга>:

«Что делается у нас, если бы вы знали!.. Если бы меня заперли в одну комнату со ста сумасшедшими женщинами, было бы, кажется, легче справиться, чем с одной Благосветловой. Это что-то невозможное, ужасное и больное... Эта женщина может оскорбить вас десять раз в минуту и затем двадцать раз раскаиваться, извиняться, говорить, что она ничего не понимает, что она — необразованная, а за словами раскаяния вам чувствуется коварство и заискивающая трусость... А сколько слез, сколько слез! И все эти оскорбления, и недоверие, и эти слезы, и коварство — все это было по поводу «Дела»!..

Благосветлов накануне смерти, мечтая о поездке в Ниццу, сказал своей жене, что поручил бы «Дело» только мне. Помня этот завет, она просила меня вести «Дело» и говорила всем, что передала мне. И в то же время вступала по поводу того же «Дела» в переговоры со всяким. Уж с кем только она ни говорила: и с Шульгиным (бывший редактор «Дела»), и с Шеллером (ее враг), с Успенским («Сын отечества»), и с адвокатом, который ведет ее дела, с Краевским и Гаевским... Когда я объявил ей, что без формального условия я «Дело»

не возьму, тут в ней явились всевозможные заподозреванья... И эта душевная каторга тянулась целый месяц...

Условие заключено на три года. Я — полный хозяин «Дела» в редакционном смысле, чего тоже было нелегко достигнуть, потому что она хотела вмешиваться даже в приискание переводчиков... В соредакторы пригласил Бажина, который был и прежде, и Станюковича...

Абаза согласился принять заявление о назначении меня ответственным редактором, но сказал, что они спросят департамент государственной полиции. Опять томление...

А как бы нужно, как бы мне хотелось поднять «Дело». Я знаю, что это будет очень, очень трудно. Ему ставят в заслугу его политическую последовательность, и в то же время в Петербурге его никто не читает... Но без людей ничего не поделаешь... Иных бы нужно изгнать из храма, других бы сделать новыми богами... И как нелегко привлечь новых богов... Мне хотелось бы, чтобы у нас, как на Олимпе, были богами тоже и мужчины. Я думаю, что это не помешает доброму согласию сонма богов!..»

То, что пережил Николай Васильевич в борьбе с издательницей, было только началом той жестокой борьбы, которую он вынес за право существования своего журнала.

Совершилось событие 1 марта.

«...Какое ужасное время! — пишет он <из Петербурга> 8 марта 1881 года.— Все чего-то ждут, и у всех опускаются руки. Печать думала было высказываться, но Абаза пригласил редакторов и просил их недели две, то есть до похорон царя, пощадить чувства нового императора и не говорить ничего о прошлом царствовании и лично о царе. Подробная программа запрещений заключалась в следующем: нельзя говорить о бедности крестьян, о наделах, об административных ссылках, о прошлом царствовании, о надеждах на перемены, о тяжелых временах последнего времени».

Месяц спустя, в письме <из Петербурга> от 8 апреля, он снова повторяет:

«...Ах, какие ужасные времена! И вы еще жалеете, что не в Петербурге!.. Мы здесь точно под плитой, едва дышим. И все обрушивается на печать. Воистину козел отпущения!..

Сейчас был у Полонского. Вместо Абазы начальником печати назначен член Главного управления князь Вяземский (Павел Петрович). Это человек, зависящий от влияний; он может быть белым, красным, зеленым и даже желтым... Но нам-то трудно быть всех цветов...

Цензуру переполошил «Студенческий сборник». История этого «Сборника» очень проста...

Еще осенью, чтобы собрать деньги в пользу нуждающихся товарищей, студенты задумали издать «Сборник». Для этого они пошли по писателям и заполучили статьи, которые у тех не имели определенного назначения. Так, Полонский дал «Прометея»; я дал статью, не пропущенную в «Деле», но которая во всяком нецензурном издании прошла бы спокойно; Михайловский дал что-то из своих старых вещей; Шеллер дал рассказ и т. д. Лишь после 1 марта «Сборник» напечатали... и теперь он у Лорис-Меликова, который, вероятно, и будет его единственным читателем... У цензоров есть такое предписание: все пропуски, упущения, недоразумения, которые извинялись до 1 марта, после 1 марта извиняться не будут...

А ведь, кроме цензуры, я не пишу вам ничего. Наболела душа. Ужасно ловят... Бесцензурным, пожалуй, еще труднее».

Летом 1881 года я приглашала Николая Васильевича приехать отдохнуть к нам в Малороссию.

«...Благодарю вас за приглашение,— пишет он <из Петербурга> 7 июня,— но я так нездоров и цензурные дела до того ужасны, что и думать не приходится об отъезде из Петербурга... Простите, что пишу так мало... Я до того слаб и до того истомился, что устаю написать даже записку...»

«...Если бы вы знали, что делает цензура,— говорит он несколько дней спустя в письме <из Петербурга> от 11 июня 1881 года.— Мы просто потеряли головы... Возвратились времена Лонгинова и Шидловского, но на подкладке коварства и лицемерия... Вот только один факт... Существование «Слова» нежелательно, но прямо запретить не желают и изводят его измором... Альбову за редактора подписываться больше не позволяют, а редактором не утверждают, и книжка (майская) лежит в типографии две недели. Нашему цензору сделали замечание за послабление; назначили нового цензора.

Вместе с тем составляется доклад о поведении «Дела» в нынешнем году, и судьба наша будет решена на этой неделе. Я совсем избился и изболелся. Нужно бы ехать на свежий воздух, чтобы хоть немного отдохнуть, а между тем нельзя оставить Петербурга. Еду сейчас опять по цензурным мытарствам».

2 октября 1881 года он писал <из Петербурга>:

«...В умственном отношении мы еще никогда не падали так низко. Критику сменила рецензия и реальную мысль — газетная болтовня. Ужасно болит душа! Теперь-то именно и нужно бороться против всего того, что принижает общественное чувство и общественную мысль, но где эти силы! Я не скажу, чтобы их не было, но их не поймаешь и не поставишь к журнальному делу...»

В письме <из Петербурга> от 10 декабря 1881 года он, между прочим, пишет:

«...Мать меня очень любила и передала мне свои нервы, и в этом мое счастливое несчастье... Томлюсь, болею, устаю, ах, как устаю! И что за странная любовь к людям... Измучают ужасно, так бы, кажется, и убежал от них, а нет,— бежишь к ним. И сколько раз я говорил себе: так жить нельзя, а живешь и повторяешь все старое. Да и разве можно иначе?! Ужасно тяжелый год, и начинается второй, такой же тяжелый!..»

Год действительно оказался еще более тяжелым для Николая Васильевича, в чем я могла лично убедиться, приехав на короткое время в Петербург; здоровье его расстроилось, и, к довершению всего, он снова подвергся административной ссылке. Это, впрочем, случилось уже после моего отъезда.

Мне писали, что в Технологическом институте был концерт и бал в пользу недостаточных студентов, и после ужина Михайловский, уже собираясь уехать, в пальто и шапке, провожаемый восторженными кликами студентов, сказал речь. Николай Васильевич ничего не говорил и только улыбался, глядя на возбужденные молодые лица... Шутники добавляют, что Шелгунова даже вовсе не было при этом, а висело лишь его пальто на вешалке... Как бы там ни было, Шелгунову было предложено избрать местом жительства Выборг, а Михайловскому — Любань.

О своей высылке Николай Васильевич упоминает вскользь в письме <из Петербурга> от 6 сентября 1883 года:

«...События дня у нас — похороны Тургенева,— пишет он.— Препятствий, кажется, не будет...

Другая новость — продажа «Голоса» Циону. Впрочем, Краевский упорно хранит свою сделку в тайне, а «Молва» уверяет, что в компании с Ционом Катков и гр. Толстой.

Есть еще одна новость, но о ней могу говорить только в прошедшем времени. Охрана предложила Михайловскому и мне оставить Петербург, что мы, конечно, и сделали. Затем меня вернули в Петербург, а Михайловский проживает в Любани...»

На мои вопросы он отвечает мне в письме <из Петербурга> от 11 ноября 1883 года:

«...Сведения, полученные вами, не совсем точны. С высылкой меня из Петербурга я *должен* был снять свое имя с обложки. Затем целые полгода хлопотали мы о разрешении нам редактора, и насилу наконец разрешили Острогорского[1]. Для редактора теперь требуется благонадежность не только политическая, но и нравственная... Состав редакции как прежде, так и теперь остается тот же, то есть Бажин, Станюкович и я. Разница против прежнего лишь в том, что Станюкович купил «Дело» у Благосветловой и заведует исполнительной частью. На обложке стоит имя Благосветловой, потому что еще остается последняя уплата. Журнал куплен за пятьдесят тысяч. Отдано сорок тысяч; в январе будут уплачены последние десять тысяч...»

С переходом журнала в собственность Станюковича материальное положение «Дела» не улучшилось; не улучшились и редакционные треволнения Николая Васильевича. Его здоровье окончательно пошатнулось.

«...Мне так нездоровилось, и уже давно,— пишет он <из Петербурга> 2 февраля 1884 года,— все лежу и не могу отлежаться... Упадок сил, спячка... увижу людей — ничего, точно здоров...»

А вслед за тем он пишет <из Петербурга> 25 февраля того же года:

---

[1] Виктор Петрович, известный педагог и редактор впоследствии журнала «Мир божий». *(Прим. Е. Ардов-Апрелевой.)*

«...Доктора мне присоветовали ехать за границу, и завтра я оставляю отечество ради юга Франции. Не решил еще, где остановлюсь, в Ницце или Ментоне... Вернусь к маю...»

Ничего отрадного и утешительного не встретил он по своем возвращении в отечество. 25 мая <1884 года> он пишет <из Петербурга>:

«...21 мая я вернулся из-за границы, а 20 мая арестован Станюкович. «Дело» идет по-прежнему, то есть не совсем, потому что после запрещения «Отечественных записок» велено цензуре обратить на «Дело» внимание. Ну, она и обращает до того, что во втором отделе из двенадцати листов осталось семь...»

Дни «Дела» были уже сочтены, но Николай Васильевич не теряет надежды на возможность дальнейшего существования журнала.

«Станюкович все еще в предварительном,— сообщает он в письме <из Петербурга> от 1 июня 1884 года.— Угрожали и нам допросом и хотели потребовать наши конторские книги, но до сих пор бог еще миловал!.. «Дело» мы продаем и нашли покупателя. Сегодня он должен явиться с окончательным ответом...»

Но бог не помиловал, и Шелгунову не было суждено вести переговоры о продаже «Дела». Он был арестован.

Узнав, по приезде моем в Петербург, об его аресте, я отправилась на Морскую, в жандармское управление, просить разрешения на свидание с Николаем Васильевичем.

Ко мне вышел очень элегантный жандармский полковник и без всякого затруднения согласился исполнить мою просьбу. Любезно вручая мне карточку за его подписью для пропуска, он просил меня передать его нижайшее почтение глубокоуважаемому Николаю Васильевичу. При этом он сообщил мне, что Шелгунов переведен в больничное отделение...

— Он сам этого пожелал... Ему, конечно, там покойнее... И мы охотно готовы исполнить, насколько в наших силах, его желания... Это такой почтенный и такой даровитый, остроумный человек!

С этими словами любезный полковник раскланялся, а я тотчас же поехала на Шпалерную.

В небольшой темноватой приемной с деревянными желтыми лавками по стенам и отделенной от конторы желтого цвета перегородкой с проделанным в ней окошечком собралось многочисленное и разнообразное общество посетителей, ожидающих свидания с заключенными... Тут были изящные дамы с конфетными коробками и корзинами из гастрономических магазинов, тут были женщины в платках с узелками баранок и другой снедью, тут были мужчины в котелках и цилиндрах и мастеровые в картузах...

Все лавки были заняты. За неимением свободных мест большинство ожидающих стояли в тесном пространстве между лавками, нетерпеливо поглядывая на спущенное окошечко, из которого должны были вызывать по фамилиям посетителей. Стояла в ожидании и я. Ждать пришлось довольно долго.

Близ меня в уголочке сидел небритый человек лет пятидесяти, в старой солдатской шинели внакидку.

— Присядьте, барынька,— добродушно предложил он и прижался в угол, освобождая для меня местечко.

Я села. Мой сосед стыдливо запахнул раскинутые полы шинели, прикрывая грязную ситцевую косоворотку.

— У вас тут родственники? — спросила я.

— Сынок сидит, вот уже второй месяц...

— За что же он сидит?

— За кражу, сударынька...

— Он невиновен?

— Как невиновен!.. Третий раз попадается... Нонче, верно, Сибири не миновать... Кража со взломом, да и старушку помял... Может, читали... В газетах было...

Передо мной мелькнул облик Николая Васильевича. «В *одних* стенах»,— подумала я.

Старик по-своему понял мое молчание.

— Виноват, что и говорить... А все он мне — сын родной, кровный... Кому и пожалеть, как не отцу,— прибавил он уже с укоризной.

— Госпожа Апрелева! — подозвал меня из окошечка дежурный чиновник.

Через минуту я шла по двору в сопровождении приставленного ко мне служащего.

Мы подошли к запертым железным воротам. Мой провожатый постучал. Ворота раскрылись и, пропустив

нас, захлопнулись с глухим звуком «ух»! Я невольно вздрогнула. За спиной как бы сомкнулась непроницаемая стена, внезапно отделившая меня от внешнего мира...

Вторые ворота ожидали нас впереди, затем третьи. Наконец мы вошли на довольно обширный двор больничного отделения и поднялись во второй этаж. Здесь, на площадке, стоял часовой с ружьем, и снова пришлось стучать в дверь, снова раскрылось таинственное окошечко, и за окошечком некто невидимый спросил о пропуске... Нас впустили в длинный коридор, на который выходило несколько дверей.

Мы остановились у первой двери. Дежурный служащий заглянул предварительно в неизменное окошечко, вделанное в дверях, и громко произнес:

— Господин Шелгунов, к вам дама.

Я вошла; вслед за мной вошел мой провожатый и встал у двери, прислонившись к ней спиной.

Николай Васильевич весело и оживленно приветствовал меня.

Он не был в больничном халате, как я себе его представляла, а тщательно одет в домашний костюм и крахмальное белье. Но, несмотря на бодрый вид, я нашла в нем большую перемену: он и постарел, и поседел, и похудел, если возможно, еще больше.

При постороннем лице разговор обрывался. Я невольно заговорила по-французски.

— Извините, я не понимаю по-иностранному,— прервал меня мой провожатый...

Николай Васильевич добродушно рассмеялся.

— А розу подарить можно? — спросила я, вынимая из своей бутоньерки розу.

— Можно-с...

Он, однако, подозрительно посмотрел на крупную полураспустившуюся розу.

Я осторожно раздвинула лепестки, показывая, что между ними ничего нет, и, пока Николай Васильевич бережно ставил розу в кружку с водой, мельком оглядела его помещение: железная койка, столик и два раскидных стула, привинченных к стене, полочка для книг и высоко, под потолком, окно...

— Нет, знаете,— после минутного молчания мягко, как бы мне в утешение, заговорил Николай Васильевич.— Я себя здесь не худо чувствую... Я даже отдох-

нул... Последнее время это была не жизнь, а каторга... Меня, в общем, не притесняют.

Я передала поклон и отзыв о нем жандармского полковника. Прежняя язвительная усмешка скользнула по губам Николая Васильевича.

— Да, да, они очень любезны... Я и работать здесь могу сколько хочу, и принимать кого хочу... Я убежден, что меня освободят в непродолжительном времени... Все это еще ничего... А вот «Дело»!.. «Дело» погибло... Это уж непреложный факт...

И я никогда еще так ясно не сознавала, как много себя он отдал своему журналу и каково ему было пережить его гибель.

Прощаясь, он обещал написать мне тотчас же по своем освобождении. Но это случилось далеко не так скоро, как мы предполагали.

«Воробьево, 16 декабря 1884 года[1]. Вот наконец я и на лоне природы, но похож на «кругосветного плавателя», бросившего якорь на пути...

Прокурор судебной палаты сказал Людмиле Петровне[2], что выпустил меня «на все четыре стороны». И действительно, он сделал распоряжение о моем освобождении, но — под особый надзор полиции до окончания дела.

Из предварительного отвезли меня в жандармское управление, где спросили, куда я желаю ехать. Я ответил: «В Смоленскую губернию».— «А где вы родились?» — спрашивает Жолкевич. «В Девятой линии Васильевского острова». Жолкевичу, разумеется, было бы приятнее, если бы я родился в Восточной Сибири!.. Потерпев неудачу, он примирился со Смоленской губернией и попросил меня подписать постановление, что я уезжаю в Смоленскую губернию под особый надзор полиции. Затем меня пригласили в секретное отделение, где объявили, что я должен оставить Петербург в три дня и не могу жить ни в Петербурге, ни в Петербургской губернии. Вид мой отобрали и выдали пропуск и обязали ехать прямым путем, нигде не ночуя и не останавливаясь... «Но когда же я получу свой вид?»— спрашиваю я. «Вы его получите на месте и тогда мо-

---

[1] Смоленск. губ *(Прим. Е. Ардов-Апрелевой.)*
[2] Жена Н. В. Шелгунова. *(Прим. Е. Ардов-Апрелевой.)*

жете ехать куда вам угодно». Распоряжение показалось мне странным, но все так и вышло. Вид мне выдали и взяли с меня подписку, что о каждом моем выезде я буду извещать станового. Таким образом, в конце концов обещанные прокурором «четыре стороны» оказались в моем распоряжении. Но двигаться я, однако, никуда не намерен, ибо на это — воля судьбы!..

Мне пишут, что «Делом» будет заведовать молодой Семевский... Что значит заведовать?

Чего же я сообщаю новости? Вы живете ближе меня к большому свету и, уж конечно, знаете все лучше меня. Я живу совсем в трущобе, в сорока верстах от железной дороги. Но ничего, доволен, ничего не делаю и набираюсь сил! Да для чего они нужны?..»

Этим последним письмом заканчивается «скорбный лист» Шелгунова как редактора ежемесячного журнала... Мой отъезд на многие годы из Центральной России прервал нашу переписку... На далекой окраине узнала я о кончине Николая Васильевича и о пышных похоронах с депутациями, венками и речами...

Грустная награда этому в высшей степени скромному журналисту прежнего времени...

Н. К. Михайловский

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕЛГУНОВА

«Похорон много, крестин нет». Так сострил кто-то на похоронах Елисеева. Острота удачная, хорошо характеризующая, по крайней мере, одну сторону положения дел в современной нашей литературе. Одна за другой с трагическою быстротою убывают старые крупные литературные силы, и что-то не видать им на смену новых. Разумеется, не вечно будет так тянуться. Где-нибудь подрастают новые силы и в свое время ярким блеском озарят сиротеющую литературу. Но когда-то еще это будет, а пока литература только сиротеет,— похорон много, крестин нет. И вот еще похороны...

Не прошло еще, кажется, и двух месяцев с тех пор, как вышли сочинения Шелгунова с моим предисловием,

в котором я старался выяснить значение его как писателя. Мне нечего прибавить к тому, что там сказано, но при жизни Шелгунова я не мог говорить о нем как о человеке; смерть развязывает мне в этом отношении руки.

Хорошенько не помню, когда я познакомился с Шелгуновым. Это было, должно быть, лет пятнадцать тому назад в один из его приездов, кажется, из Калуги, где он тогда постоянно жил, в Петербург. Нас познакомили на каком-то литературном вечере, потом он был у меня, потом скоро уехал. В этот раз мы далеко не сошлись. Впоследствии он рассказывал мне, что я произвел на него впечатление человека холодного, сухого, «головного», как он выражался. Он же, каюсь, показался мне просто неинтересным, я обратил на него мало внимания. Но когда Шелгунов поселился в Петербурге и мы стали чаще встречаться, наши отношения быстро приняли дружеский характер. В конце 1882 года нам пришлось ехать вместе в Выборг, где мы вместе же и поселились. Мы прожили на одной квартире, помнится, с полгода, после чего Шелгунов получил разрешение поселиться в Царском Селе, а потом и в Петербурге. Скоро ему пришлось опять уехать, на этот раз в деревню, в Смоленскую губернию. Оттуда он приезжал изредка в Петербург по делам или для совещаний с врачами, потому что уже давно прихварывал. Тут его и смерть настигла.

Если бы я и раньше не успел приглядеться к Шелгунову, то одного совместного житья в Выборге было бы достаточно, чтобы проникнуться глубочайшим уважением и любовью к этому человеку. Я был так счастлив, что встретил в жизни немало истинно прекрасных людей, но одно из первых мест в этой дорогой для меня портретной галерее принадлежит Шелгунову. Не знаю, сумею ли я выразить словами его удивительную душевную красоту.

Шелгунов говаривал, что есть особенные люди, совмещающие в себе черты мужского и женского характера, и что это-то и есть настоящие люди. В самом Шелгунове действительно совмещались лучшие стороны мужского и женского типа. Судьба не баловала его, и мужественнее, чем он, нельзя было, я думаю, переносить ее иногда жесточайшие удары. Закалился ли он в житейских бурях, которых ему пришлось вынести так много и таких разнообразных, или уж таким уродился, но вся-

кую свою личную беду он встречал не моргнув глазом. Прибавьте к этому истинно женскую нежность сердца, не просто доброго, а ласкового, участливого, тонко-деликатного, и в целом получится нечто столь же редкое, как и привлекательное, настоящий цельный человек. Сочетание мужественной силы и женской нежности придавало какое-то особенное изящество всему обиходу Шелгунова, удерживая его от уклонений как в сторону грубости, которая иногда свойственна силе, так и в сторону слабости, которая часто сливается с нежностью. Я не был при Шелгунове в 1887 году, когда над ним стряслась последняя и горшая беда, тяжелое семейное горе... Но потом мне часто случалось беседовать с ним на эту печальную тему, и прямо говорю: прекраснее того зрелища, которое представляла собою в эти минуты его душа, я ничего в жизни не видал. Именно потому, что сочетание мужественного характера и нежного сердца особенно ярко выступало в этом случае. Но оно явственно сквозило и в мелочах повседневной жизни. Мужественность и нежность в нем постоянно точно контролировали друг друга, и я помню, что в первое время нашего выборгского сожительства это меня даже стесняло. Надо сказать, что в Выборг ему пришлось ехать собственно из-за меня, и мне было перед ним очень стыдно. Мне было бы легче, если бы он хоть пожаловался на судьбу, которая после долголетних мытарств сделала его совершенно безвинным участником моей беды. Но не только ни единой такой жалобы не слыхал я от него хотя бы в намеке, а еще он же утешал меня, придумывал отвлечения и развлечения. Это было донельзя трогательно, но вместе с тем и мучительно для меня, пока мы не «притерлись» друг к другу, как он выразился, пока я не понял, что это уж такой особенный человек, который не к одному ко мне так относится и которого надо брать таким, как он есть.

Еще бы не брать! Если бы таких много было, мы бы в раю жили. Не ум и не талант Шелгунова были в нем особенно характерны, а полнота, многосторонность и уравновешенность души, которая зависела, может быть, от того же сочетания лучших черт мужского и женского типа. Это особенно сказалось во время его болезни. Умер он от воспаления в легких, случайно схваченного на прогулке за неделю до смерти. Но коренною его

болезнью, которая все равно скоро доконала бы его, был рак в почках. Он таял, как свечка, но, как свечка же, и горел и светил ровным светом вплоть до конца. Прошлым летом он ездил на Кавказ, частию лечиться, частию повидаться с сыном. На возвратном пути в Смоленскую губернию он заехал ко мне в Клинский уезд, где я жил на даче. Увидев его, я изумился и испугался. Примерно за год, что мы не видались, он страшно исхудал и побледнел. Что-то мертвенное уже и тогда лежало на его лице. Но это был все тот же мужественно-нежный Николай Васильевич, бодрый духом, полный общественных интересов, занятый планами литературных работ. Тогда готовилось издание его сочинений, и это его особенно занимало. Так как за год я успел немножко отвыкнуть от его обращения, то он не замедлил меня сконфузить. Все мое участие в деле издания его сочинений состояло в том, что я, по его просьбе, сообщил эту мысль издателю Ф. Ф. Павленкову и затем передал Шелгунову благоприятный ответ, выраженный в чрезвычайно симпатичной форме, да еще взялся написать предисловие, что для меня самого составляло удовольствие. Но Шелгунову всегда казалось, что он получает слишком много, а дает слишком мало. «Чем я тебя отблагодарю?» Этот вопрос мне часто случалось от него слышать, и всегда он меня сначала конфузил, а потом смешил, потому что, при всем моем желании, мне в действительности ни разу не случалось оказать ему сколько-нибудь серьезную услугу. Бывало, просидишь у него, у больного, вечер, просидишь с истинным удовольствием, а он — «чем я тебя отблагодарю?» Принесешь ему расстегай в тридцать копеек, о котором он накануне говорил,— «чем я тебя отблагодарю?» И это была не фраза,— он действительно чувствовал себя обязанным благодарностью и за ваше собственное удовольствие или за расстегай обдавал вас нежностью. В последнее время он бывал иногда очень раздражителен, вследствие сильного истощения и периодических жестоких болей в желудке. Раз, на какое-то мое неверное, по его мнению, замечание о ходе его болезни, он сердито ответил, что ему лучше знать, как он себя чувствует, и что, дескать, коль ты чего не знаешь, так не надо и говорить. Через каких-нибудь пять минут он просил у меня прощения. «Да за что, голубчик Николай Васильевич?» — «Я тебе нагрубил...»

Написавши это, я подумал, что рисую перед читателем что-то слащавое, приторное. Но ничего подобного не было в действительности. Эта нежность и деликатность, которая в моей передаче может показаться утрированною и которая была бы такою в другом, в Шелгунове умерялась и уравновешивалась мужественной силой. Болезнь его была ужасно мучительна. Съев что-нибудь, он по прошествии некоторого времени чувствовал страшные боли, которые прекращались лишь выполаскиванием желудка, то есть выведением из него только что принятой пищи. Таким образом, он постоянно либо был голоден, либо страдал от боли, и если бы не случайное воспаление легких, ему грозила бы голодная смерть со всеми ее ужасами. Недели за три до смерти он взвешивался на весах, и оказалось, что за время своего пребывания в Петербурге, около двух месяцев, он, и без того уже исхудалый, потерял один пуд восемь фунтов. Тем не менее посторонние люди находили иногда, что хоть он очень похудал и изменился, но, по-видимому, совсем здоров. Я сам, бывая у него очень часто, видя его в хорошие и в дурные минуты, зная от лечившего его проф. В. А. Манассеина, равно как и от приглашавшихся иногда других врачей, весь ход его болезни, подчас диву давался. Он был весел, спокоен, читал, писал, а когда не мог от физической слабости писать — диктовал, строил планы на будущее. Его умственная жизнь сохранилась во всей полноте и силе, до самого конца властно управляя изможденной плотью. Кто поверит, что его статья в только что вышедшем апрельском нумере «Русской мысли» продиктована (уже не написана) шестидесятишестилетним стариком, умирающим голодною смертью?! Это молодой человек писал, полный жизни, полный веры в жизнь. А это еще не последняя его статья. Он уже начал диктовать свои очередные «Очерки русской жизни» для майской книжки журнала и довольно далеко подвинул их вперед.

Много уроков преподал Шелгунов читателям за свою долгую литературную деятельность. Но ценнее их всех тот, который преподан самою его жизнью, всею жизнью, а пожалуй, и смертью. Говорят, что жар души, великодушные идеалы, широкие горизонты, готовность жертвовать собой, что все это атрибуты только молодости. Говорят, что житейский опыт подавляет и должен подав-

нять все это, клеймит собственные молодые порывы именем «завиральных идей», подменивает идеальные стремления другими, так называемыми практическими, которые, в сущности, все сводятся к наживе и карьере. Правду говорят: так бывает. Но неправда, что так всегда бывает, и вящая неправда, что так должно быть, что это какой-то естественный закон роста. Гроб Шелгунова провожала тысячная толпа, состоявшая главным образом из молодежи, восторженно и умилительно настроенной. Глядя на эту толпу, я думал: что эти молодые лица когда-нибудь избороздятся морщинами, что эти русые и черные головы когда-нибудь поседеют, это верно; но чтобы все эти молодые сердца очерствели и молодые умы заплесневели, это, по крайней мере, не обязательно. Ведь вот умер же человек «со знаменем в руке», как значилось на лентах одного из венков, положенных на гроб Шелгунова. И в этом великий урок. Ни годы, ни невзгоды не победили Шелгунова, житейский опыт не состарил его души... Тысячи народу перебывали на квартире Шелгунова, чтобы поклониться его праху, и все видели, где он жил и умер: в маленьких, низеньких комнатах на втором дворе. Он сам очень точно описал это помещение в апрельских «Очерках русской жизни», говоря о «картине первых, вторых и третьих дворов (в Петербурге); то есть узких, глубоких колодцев, с выгребными ямами на дне, с неподвижным, отравленным воздухом, с грязными, холодными, крутыми лестницами... Квартиры в этих колодцах полусветлые, небольшие, затхлые, в которые не проникают ни воздух, ни солнце». И среди этой жалкой обстановки, среди жестоких физических мук он только и мечтал о дальнейшей литературной деятельности. О смерти он, можно сказать, до последних минут не думал. Он не знал, что его точит неизлечимая болезнь, верил, что скоро поправится, и если говорил о своей смерти, то так же мимоходом, к слову, как всем и здоровым случается говорить. Он думал, что для него только еще наступает период настоящей старости, и за какую-нибудь неделю до смерти говорил, что устроит свою старость «по-молодому»,— подлинное его выражение. Это значило, что он будет работать усиленнее, чем когда-нибудь, соединив в работе житейский опыт старости с горячностью молодости. Зрелый возраст нехорош, говорил он, много соблазнов, много чисто лич-

ной жизни. В старости ничего этого нет, надо только ее устроить по-молодому. Старый, больной, неимущий, он чувствовал себя молодым, здоровым, богатым. Да он и был таким, только все эти эпитеты надо перенести в сферу духовной жизни. По случаю своей тяжкой болезни, слухи о которой давно ходили, он получил множество адресов. Ни у одного богача не найдется столько льстецов, а это были вдобавок и не льстецы. Какого богача провожают тысячи на кладбище? Какому богачу поет «Вечную память» стоголосый хор добровольных певчих? И много ли найдется молодых и здоровых людей, которые могли бы написать такую статью, какую к обычному сроку доставил умирающий Шелгунов для журнала, в котором он работал? Правда, похоронить его было не на что. Но частные лица говорили мне, что хорошо бы похоронить Шелгунова на счет друзей и почитателей. Редакция «Русской мысли» прислала деньги на венок и на похороны, но так как честь похорон уже принял на себя Литературный фонд, то я предложил редакции обратить остаток от присланной суммы на постановку памятника на могиле Шелгунова и получил ее согласие. Конечно, этих денег мало, но надо думать, что не замедлят и другие пожертвования.

Право, как сообразишь все это, то поневоле подумаешь, что измена идеалам добра и правды просто-таки невыгодна, что жить и умереть так, как жил и умер Шелгунов, даже прямой расчет. И в писаниях своих, и в разговоре Шелгунов часто употреблял немножко неуклюжее слово «ячество». Это не эгоизм сам по себе: как и все теоретики шестидесятых годов, Шелгунов,— впрочем, менее последовательно, чем другие,— стоял за эгоизм, как за единственный принцип, к которому в последнем счете сводятся все основания нравственности, под условием известной широты личных горизонтов, способных обнять и чужие интересы, как свои собственные. «Ячество» есть эгоизм узкого и одностороннего человека, который дальше своего нос ничего не видит, которому этот непомерно длинный но. заслоняет собою весь мир. Значительная часть всей литературной деятельности Шелгунова может быть сведена к борьбе с этим «ячеством». Его же подавлял он и в себе, если только ему нужно было что-нибудь в этом роде подавлять в себе. И вот плоды...

Многочисленные сочувственные адресы — естественные цветы и плоды, выросшие из семян, им самим посеянных,— чрезвычайно поднимали дух Шелгунова и много помогали ему бороться с недугом и самою смертью. Я не фразу пишу, а записываю мнение врачей. Не надо было, впрочем, быть специалистом, чтобы понимать, что в маленькой темной комнате на заднем дворе огромного дома на Воскресенском проспекте сильный дух борется с изможденною плотью, борется и побеждает, потому что Николай Васильевич и умер непобежденным. Несмотря, однако, на бодрящее впечатление, которое производили на него сочувственные адресы и письма, он зорко следил за тем, чтобы не «возгордиться». «Вижу,— говорил он,— что прожил не даром, и еще хочу жить не даром, много жить; одного боюсь: как бы не возгордиться. Я уж и теперь замечаю, что стал что-то больно уверенно и властно говорить». Скромность его была поразительна, доходя даже до наивности. Сначала он был изумлен и сконфужен адресами и письмами, а между тем читатели уже давно привыкли с нетерпением ждать его статей в «Русской мысли» и искать в них руководящего отклика на свои сомнения. Исключительно блестящие таланты, рядом с которыми Шелгунову приходилось работать в старые годы — Чернышевский, Добролюбов, потом Писарев,— заслоняли его. И едва ли много найдется людей, которые принимали бы выпавшую им на долю вторую роль с таким спокойным достоинством, с таким искренним и открытым уважением к первым нумерам, как Шелгунов. Однако и тогда его имя было одним из самых заметных и почтенных в литературе. А с тех пор и облик литературы значительно изменился, да и сам Шелгунов вырос. Он совсем бросил компилятивную и популяризирующую работу, которая у него отнимала прежде много времени, и сосредоточился на руководящей публицистике. Для него наступила вторая молодость. Его «Очерки русской жизни», полные света и тепла, читались с жадностью. В них он в необыкновенно живой форме боролся на старости лет за идеалы своей молодости. Эта борьба составляет одну из лучших страниц во всей современной русской литературе. В ней уже сказалась та «старость по-молодому», о которой Шелгунов мечтал лишь как о будущем: молодая вера, молодая надежда, молодая любовь, умудренные житейским опы-

том, или, пожалуй, наоборот — житейский опыт, согретый молодым энтузиазмом и энергией.

Необыкновенная душевная красота Шелгунова окружала его каким-то сиянием даже в таких случаях, которые, казалось бы, ничем нельзя скрасить. Возьмите, например, положение хронически голодного человека, в котором находился Шелгунов в последнее время. Есть хочется, а съест что-нибудь — начинаются боли; для прекращения боли выполощет желудок и опять голоден. Казалось бы, воркотня, стоны, жалобы — вот чего надо исключительно ждать от человека, осужденного вертеться в этом страшном колесе. Бедному Николаю Васильевичу и приходилось иногда ворчать, стонать и жаловаться. Но его изящная, тонкая нервная организация и тут находила выходы или обходы. Первый обход состоял в том, чтобы заглушать боль или голод работой или разговором на тему, способную сильно заинтересовать. Мне не раз случалось заставать Шелгунова в трудном положении: лежит пластом, боится пошевелиться, чтобы не начались боли, еле говорить может. Слабым голосом объявляет: «Говори сегодня ты, я не могу, я слушать буду». Так как я хорошо знал, чем можно его заинтересовать, то мне не трудно было выбрать подходящую тему. Смотришь, Николай Васильевич понемножку говорить начинает, поворачивается, садится и через какую-нибудь четверть часа совсем другой человек стал. Это было поразительно. Другой обход состоял в том, чтобы «есть нервами». Когда он был настолько крепок, что мог выходить, он просил иногда сводить его в трактир. Не всегда он чувствовал себя хорошо в таких случаях, но иногда приходилось удивляться и его аппетиту, и его бодрому расположению духа. Сказал я ему однажды, что дома ему лучше обедать, потому что дома и провизия и приготовление достовернее, чем в трактире, а у него желудок плох. «В том-то и дело, что желудок плох,— отвечал он,— и желудок и кишки, как бессильные тряпки. Я теперь не желудком ем, а глазами, ушами, нервами, воображением,— мне нужно, чтобы кругом оживление было, чтобы людей много было, чтобы музыка играла». И затем пошли нежные, ласковые слова, как только он умел их говорить, в благодарность за то, что пообедал с ним в трактире.

Так боролся Шелгунов с недугом и смертью... Вечная тебе память, милый, дорогой Николай Васильевич! Вечная память мужественному, вечная память нежному, вечная память человеку!

16 апреля.

Вас. Голубев

СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

(Памяти Н. В. Шелгунова)

Вторая половина восьмидесятых годов по справедливости считается самым глухим временем в истории нашего общественно-политического движения. Но в 1889, 1890, а в особенности в 1891 годах можно было заметить уже и нечто свежее, хотя еще и слабое, но уже начинавшее брать верх над пассивным настроением.<...> В многочисленных тогда кружках самообразования наряду с политической экономией, Марксом, Михайловским и Лавровым все еще большое внимание отводилось и вопросам нравственности,— например, «Задачам этики» Кавелина. Рядом с революционными кружками, с кружками самообразования действовали и кружки, подготовлявшиеся к работе в области «малых дел». Вся эта борьба пассивности с активностью превосходно уловлена и с замечательной глубиной разработана у Шелгунова в его «Очерках русской жизни», которые читались тогда едва ли не больше, чем что-либо другое. Борьба эта велась, однако, больше «внутри», не выходя на поверхность, но велась напряженно, до болезненности.

Шелгунов писал, между прочим: «Теперь напряжен каждый, каждый пытается найти какой-нибудь точный руководящий выход для своей мысли». «Теперешний наш умственный момент — великий исторический момент. В нем как бы повторяются сороковые годы, когда в окружающем затишье работало наболевшее чувство и зрела широкая общественная мысль»[1].

---

[1] «Очерки русской жизни», стр. 697, изд. 1895 года. *(Прим. Вас. Голубева.)*

Переходный период конца восьмидесятых и начала девяностых годов, так верно понятый Шелгуновым, выражался в двух вопросах: что *читать* и что *делать?* Шелгунов отвечал на эти волнующие вопросы в полном соответствии со старыми традициями общественности шестидесятников и семидесятников и с замечательной чуткостью отмечал возрождавшиеся и начинавшие преобладать среди молодежи течения широкой общественной и политической борьбы.

Вопросы о том, что читать и что делать, ставились в то время не только относительно интеллигенции, но и относительно народа.

Просветительная работа в народе и вообще стремление к народу были в то время уже довольно сильны: начиналась усиленная работа в вечерних классах, в народных школах и т. д. Но как и все общественное, эти стремления и эта работа находились тогда в периоде смутных исканий и в области все тех же вопросов, что читать и что делать. Между прочим, Шелгунов в одном из последних своих «Очерков» с особенной страстностью напал на стремления интеллигенции опекать народ. Разбирая известный коллективный труд харьковских воскресных учительниц «Что читать народу», Шелгунов отвечал решительно и определенно, что читать народ должен все. Но он ставил другой вопрос: как писать для народа, «удовлетворяя его нравственной правде и относясь к нему с тем уважением, какого требуем для себя мы, интеллигенты и народные проповедники». Этот вопрос Шелгунов переводил на более широкую постановку о том, как «создать живую и нравственную связь с народом, как установить непосредственные отношения с ним»[1]. Отсюда вытекал и ответ на вопрос, что делать. Конкретно решался этот вопрос в различных формах: все еще частью в виде толстовских колоний и культурных скитов, частью в форме чисто культурной просветительной деятельности. Наконец часть интеллигенции конкретно решала его в смысле пропаганды в рабочей среде социализма и организации рабочих масс для борьбы за улучшение ее положения и для завоевания политической свободы. <...>

---

[1] «Очерки русской жизни», стр. 1036. (*Прим. Вас. Голубева*).

Двенадцатого апреля текущего (1906) года исполнилось пятнадцать лет со дня смерти покойного писателя. С этим днем, между прочим, связан как бы конец глухой, совершенно незаметной снаружи работы среди рабочей массы, и едва ли не первое, хотя и робкое, но открытое проявление того могучего движения российского пролетариата, которое имело столь громадное значение в победе народа над старым режимом в прошлом, 1905 году. Мне припомнилось участие на похоронах Н. В. Шелгунова петербургских рабочих, возложивших на его могилу венок с красными лентами и надписью: «Указателю пути к свободе и братству от петербургских рабочих».

Со времени этого выступления в среде петербургских рабочих началась несравненно более интенсивная работа, чем то было раньше, а с 1895 года рабочее социалистическое движение начинает приобретать уже весьма широкие размеры и окрашивает собой, можно сказать, все тогдашнее революционное движение. Период же конца восьмидесятых годов, 1890 и 1891 год, о котором мне хотелось бы припомнить, является, так сказать, слабым началом подготовительного периода рабочего движения. <...> В этот период и в рабочем движении было то, на что по отношению к молодежи указывал, между прочим, покойный Шелгунов на последних страницах своих «Очерков русской жизни», как на действительно отрадное явление. На этих страницах Шелгунов пел отходную «восьмидесятникам» и приветствовал «девятидесятников» с их стремлением к широкому и серьезному научному изучению общественных вопросов и к широкой общественной деятельности. То же движение намечалось и среди рабочей массы. <...> Как раз в это время в центральном рабочем кружке <...> возникла <...> мысль — почтить больного Н. В. Шелгунова.

Покойный писатель в феврале и марте 1891 года сильно заболел и не вставал с постели. К нему ходили выражать соболезнование депутации от студентов, от литераторов, вообще от интеллигенции <...>. Мы обратились к знакомой нам писательнице Е. Т. Бартеневой, хорошо знавшей и семью Шелгуновых, с просьбой, чтобы она узнала, согласится ли Шелгунов принять депутацию от рабочих с выражением ему соболезнования. Шелгу-

нов, как передавала госпожа Бартенева, был необычайно тронут таким сообщением и был несколько удивлен тем, что его знают рабочие. А рабочие его действительно знали по некоторым его статьям и главным образом по статьям его «Пролетариат во Франции и в Англии».

Заручившись согласием на прием депутации, в центральном рабочем кружке стал обсуждаться вопрос об адресе и о составе депутации. Было решено, что адрес напишут сами рабочие, а депутатов пойдет двое, причем одним из них должен был быть непременно Федор Афанасьев, пожилой рабочий ткач[1]. Его мы намечали и за то, что он был умный, весьма уважаемый товарищами и горячо преданный делу рабочий, и за то, что он имел весьма почтенный вид, казался даже стариком, несмотря на то что ему в то время было не больше сорока лет. В таком зрелом возрасте рабочих социалистов было, конечно, очень мало. Вот почему так ценился нами и возраст, и почтенность вида.

На этом, однако, мои личные воспоминания и кончаются. Ни во время отправки депутации, ни на похоронах покойного Шелгунова мне уже не пришлось быть...

Летом 1891 года на одном из сибирских этапов перед Красноярском случайно попался мне апрельский номер «Русских ведомостей», и в нем я прочитал маленькое сообщение из Петербурга о похоронах Шелгунова. В этом сообщении упоминалось и о венке петербургских рабочих... К сожалению о смерти хорошего, честного писателя прибавилось ободряющее чувство... и даже некоторое удовлетворение. Да, это не было уже случайное участие маленькой, маленькой кучки рабочих, скромно скрывавшейся в толпе студентов, как то было на похоронах Салтыкова или на панихиде по Чернышевском, это была хотя и тоже небольшая кучка, но уже открыто заявлявшая о себе <...>.

В заключение своих кратких воспоминаний привожу адрес рабочих, поднесенный Шелгунову незадолго до его смерти.

---

[1] Он был убит черносотенцами в Иванове-Вознесенске в 1905 году, о чем упоминает и М. Александров в своей статье в № 11 «Былого». *(Прим. Вас. Голубева.)*

АДРЕС ПЕТЕРБУРГСКИХ РАБОЧИХ
Н. В. ШЕЛГУНОВУ

Дорогой учитель Николай Васильевич!

Читая Ваши сочинения, научаешься любить и ценить людей, подобных Вам. Вы первый признали жалкое положение рабочего класса в России. Вы всегда старались и стараетесь до сих пор объяснить нам причины, которые отодвигают нас назад и держат нас в том угнетенном состоянии, в котором мы закованы, словно в железные цепи, нашими правителями и капиталистами.

Вы познакомили нас с положением братьев рабочих в других странах, где их тоже эксплуатируют и давят. Картина, которую Вы нарисовали, пробудила интерес сначала не в рабочих, а в других классах; да не для рабочих Вы и писали. Русские рабочие принуждены так много и так постоянно работать, чтобы только жить, что им некогда читать. Да большая часть и не умеет читать, а если кто из них и умеет, что он найдет в книгах, написанных для рабочих? Никто не учит нас, как выбираться из жалкого положения, в котором мы теперь находимся. Нам твердят о терпении, о молчании, о том, чтобы мы не давали воли выражению наших страданий, и за это обещают награду в будущем. Только благодаря людям, которые, по Вашим собственным словам, имеют несчастие смотреть выше общего уровня или выше классовых интересов, научились мы понимать Ваши сочинения и узнали, как наши товарищи рабочие в Западной Европе добились прав, борясь за них и соединяясь вместе. Мы поняли, что нам, русским рабочим, подобно рабочим Западной Европы, нечего рассчитывать на какую-нибудь внешнюю помощь, помимо самих себя, чтобы улучшить свое положение и достигнуть свободы.

Те рабочие, которые поняли это, будут бороться без устали за лучшие условия. Вы выполнили Вашу задачу,— Вы показали нам, как вести борьбу.

Может быть, ни Вы, ни мы не доживем до того, чтобы увидеть будущее, к которому стремимся и о котором мечтаем. Может быть, не один из нас падет жертвою борьбы. Но это не удержит нас от стараний достигнуть нашей цели.

ПРОКЛАМАЦИЯ

«15 АПРЕЛЯ 1891 года. ПО ПОВОДУ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ПОХОРОНАХ ПИСАТЕЛЯ ШЕЛГУНОВА»

12 апреля 1891 года умер Николай Васильевич Шелгунов. Будучи уже давно в опале со стороны правительства за свое якобы «вредное направление» и постоянно живя в провинции, он едва мог выхлопотать себе позволение приехать в Петербург, пребывание в котором, вследствие тяжкой болезни, было так для него важно. Однако, давши свое разрешение, администрация не раз требовала его выезда из столицы, и только благодаря настойчивости окружавших его людей он не был из нее выслан. Да, много пришлось ему испытать от произвола администрации при жизни, и этот же произвол проводил его до могилы. Недаром на одном из лучших венков, возложенных на его гроб, находился терновый крест — эмблема тех гонений, которые он переносил и перенес «со знаменем в руках», как гласила надпись на другом венке. Рассказывают, что петербургская администрация оставила умиравшего Шелгунова в покое только тогда, когда узнала, что жить ему осталось недолго и что умереть он должен летом, когда в Петербурге не будет учащейся молодежи. Но не одной молодежи дорог был этот симпатичнейший, честнейший, талантливый писатель, не одна молодежь увлекалась им: он будил в душе каждого самые святые чувства, самые возвышенные гуманные порывы и стремления. Уже масса венков (38), возложенных на его гроб, и надписи на лентах венков говорят, за что любили Шелгунова и кто его любил. В нем видели «поборника демократических идеалов» (венок от студентов С.-Петербургского университета), «указателя пути к равенству и свободе» (венок от петербургских рабочих), «шестидесятника — борца за лучшие идеалы молодежи» (от объединенных в С.-Петербурге землячеств) и т. д. Все, кто читал задушевные, страстно написанные статьи Шелгунова и кто «благородные порывы не заглушал в душе своей»,— всем он был дорог, все его любили... Но здесь не место давать критическую оценку умершего как писателя и как человека. Желающих мы можем отослать к его недавно вышедшим сочинениям и к статье г. Михайловского («Русские ведомости», № 106). Наша цель — сообщить русскому интеллигент-

ному обществу о происшедшем недавно событии, известие о котором не могло попасть в легальную печать. В России, благодаря крайним цензурным стеснениям, в общество не проникает и десятой доли того, что совершается вокруг. Произвол и насилие боятся гласности: они любят мрак и канцелярскую тайну. Иначе их давно бы не было.

Пятнадцатого апреля происходили похороны Шелгунова.

Все мы, русские, лишены всякой возможности проявлять свои симпатии уважаемым деятелям печатного слова при их жизни. Похороны давно уже стали единственным моментом, когда читатели публично чтут своих учителей, публично выражают свою солидарность с их идеалами и тем оказывают нравственную поддержку живым деятелям. В лице Шелгунова русское общество потеряло одного из последних «шестидесятников», так много сделавших в области общественного самосознания. Не мудрено, что тысячная толпа, провожавшая гроб Николая Васильевича, захотела возможно нагляднее выразить к нему свои симпатии: студенты и литераторы, вынесшие гроб из квартиры, хотели было нести его на руках до могилы, но тут полиция учинила нечто невероятное: она набросилась на гроб и стала его вырывать из рук... Толпа, возмутившаяся этим нахальным изуверством полиции, настаивала, чтобы полицейские ушли прочь, чтоб «они не смели осквернять гроб своим прикосновением», но энергия полиции лишь усиливалась, и тело покойного чуть не вывалилось из гроба. Боясь подобного поругания над трупом, Н. К. Михайловский и другие литераторы, бывшие у гроба, убедили толпу уступить полиции и поставили гроб на погребальную колесницу. Прогнанные от гроба, возмущенные диким насилием, лишенные возможности несением гроба почтить память Николая Васильевича, студенты решили нести венки, возложенные на гроб покойного. Произошло новое замешательство: полиция, увлеченная первой победой, набросилась на державших в руках венки и стала их отбирать. Но толпа, не менее студентов возмущенная поведением полиции, настояла на том, чтобы нести венки, оттеснила полицию, и процессия с торжественным пением «Святый боже» двинулась к кладбищу. Полиция пыталась было запретить и пение, но это ока-

залось выше ее сил, и два хора в несколько сот человек, не умолкая, попеременно пели, сливаясь иногда в один общий величественный хор.

Новое столкновение произошло через несколько шагов от квартиры покойного, когда процессия дошла до угла Воскресенского проспекта и Кирочной улицы. Полиция потребовала, чтобы тело везли по Знаменской и Лиговке, по менее людным улицам,— толпа желала повернуть на Кирочную, пройти по Литейному и Невскому проспектам. Три раза направлялись то в ту, то в другую сторону, и только энергичная настойчивость наэлектризованной и возмущенной толпы вырешила дело.

Не доходя несколько сажен до Волкова кладбища, гроб был снят с колесницы и внесен в церковную ограду на руках студентов и рабочих. На кладбище порядок не нарушался; сказано было несколько речей, довольно бледных по содержанию, и публика мирно разошлась по домам.

Вот и все, что случилось в этот день похорон: публика хотела почтить память дорогого писателя, полиция постоянно вмешивалась, учиняла скандалы, чуть не выбросила труп из гроба...

Вероятно ли, что полиция, сама устроившая целый ряд скандалов, будет еще высылать лиц, бывших на похоронах Шелгунова? Вероятно ли, что министры, не узнав даже от «виновных», в чем дело,— на основании одного показания полиции, исключат из учебных заведений столько молодежи? Все это невероятно, но все это, к сожалению, так: запуганное воображение властей, готовое заподозрить в каждом необычайном событии проявление революционного духа, а в каждом честном человеке — революционера, и эти безобидные похороны любимого писателя и человека приняло за политическую демонстрацию.

Восемнадцатого апреля было выслано из Петербурга несколько десятков из неучащихся; 19 и 20 (в великую пятницу и субботу) высылались исключенные (большинство без права поступления) студенты университета (тринадцать человек), Технологического (пятнадцать человек), Лесного (четыре) институтов, Бестужевских (пять человек) и Еленинских (два) курсов; на днях решится участь многих медиков и остальных лесников (медики по требованию начальства подали список лиц,

бывших на похоронах; в списке находится до ста тридцати человек; полиция показывает, что медиков было меньше; министр требует «доподлинно исследовать дело», в противном случае угрожает исключить всех сто тридцать человек). Не лишне заметить, что некоторые из исключенных совершенно не были на похоронах Шелгунова, некоторые же были только на кладбище.

Кроме того, арестовано и выслано несколько рабочих, исключено несколько гимназистов и высланы литераторы: Н. К. Михайловский, Засодимский, Яковенко и др.

Что же это за дикая расправа? И за что высылают? За что выбрасывают на улицу столько молодежи? За что лишают ее возможности кончить курс, получить развитие, знание, без которых нельзя полезно приложить свои силы? За что лишают родины честных работников? Зачем деморализуют все общество, запугивая малейшее проявление его симпатий и идеалов? Та крайняя правительственная опека, под которой живет каждый русский, кладет свою мертвящую руку не только на поступки, но и на чувства; она требует, чтобы справлялись и о том, что можно любить и что должно ненавидеть!.. Кто дал правительству право губить Россию, заглушая в ней все честное, идейное, живое, и тем давать еще больший простор общественному индифферентизму и произволу?

Из года в год повторяется подобная расправа. Из года в год разбиваются десятки и сотни молодых жизней, выкинутые за борт, гонимые отовсюду... Из года в год систематически правительство само создает кадры недовольных, само расшатывает свое основание. Расходившееся своеволие не знает предела, прикрывая произвол «общим благом»...

Пусть же горячая вера, которою был так полон недавно умерший писатель,— вера в то, что ни единая жертва произвола, ни единая слеза не могут пройти бесследно, что избранный правительством путь, облитый кровью, усеянный трупами, не может быть долог,— пусть эта горячая вера поддержит всех честных людей, уже давно отвернувшихся от своего правительства!

Чем более будет жертв, тем сильнее и громче будут проклятия, тем ближе день, когда русские люди потребуют ответа у своих вчерашних палачей.

А сегодня этим палачам все-таки не следует забывать, что можно на штыки опираться, сидеть же на них — рискованно!!

21 апреля 1891 года, С.-Петербург

Получено известие, что по Н. В. Шелгунове были отслужены панихиды в Тифлисе (учащимися и рабочими), Ковно и Риге; в Москве же и Казани местная администрация не разрешила отслужить панихиды и разогнала студентов.

Е. В. Гешин

ШЕЛГУНОВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

(Воспоминания современника)

I

Н. В. Шелгунов скончался 13 апреля 1891 года, в мрачную, тяжелую эпоху царствования императора Александра III, в эпоху одуряющего ум и душу безвременья, когда торжествующая реакция, казалось, подавила все живое, загнав его в глубокое подполье, из которого она по временам вылавливала ту или иную силу и расправлялась с нею... Так называемая общественная жизнь была скована полицейской уздой до степени полной неподвижности; печать влачила жалкое и робкое существование, как паутиной опутанная всевозможными цензурными учреждениями. Все было пришиблено, все придавлено, и человек пребывал в состоянии какого-то одурения, которому, казалось, и конца-краю нет. Малодушные приходили в уныние и, подобно салтыковскому пескарю, законопачивали себя в свою нору, сосредоточивая на ней все заботы, все помыслы, живя только ее интересами.

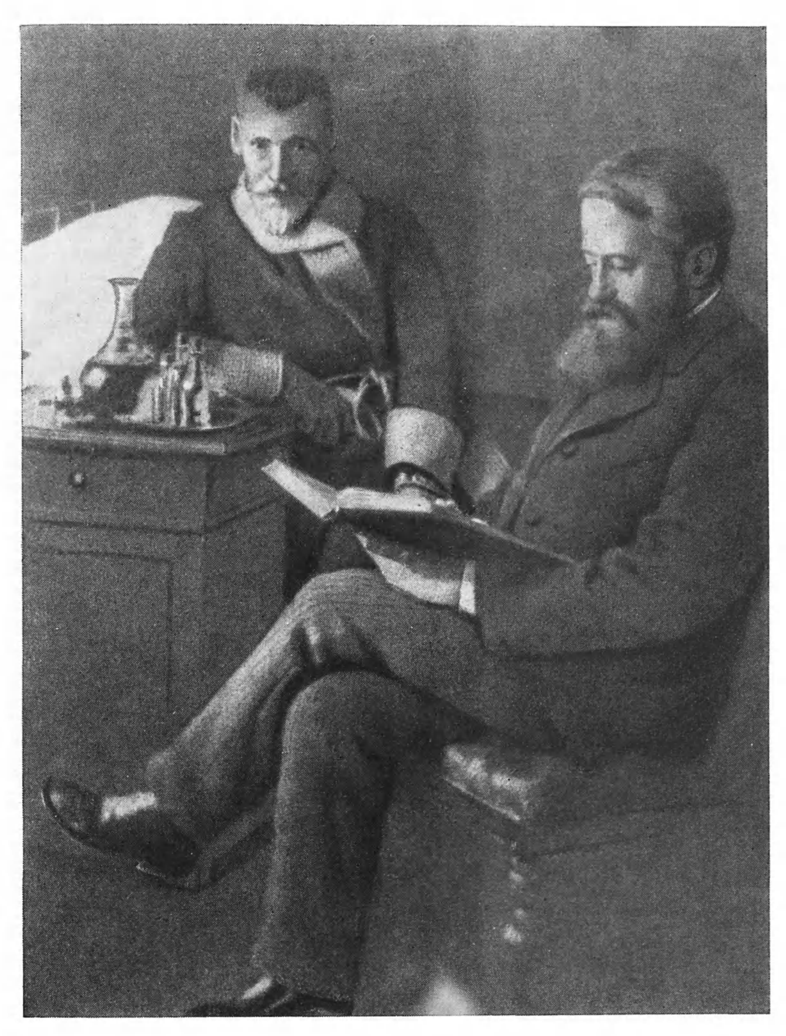
И вдруг — по-видимому, совершенно неожиданно — яркой кометой на сереньком фоне русской жизни сверк-

пула шелгуновская демонстрация, показавшая, что «и под снегом иногда бежит кипучая вода». Я сказал «по-видимому». Да, только по-видимому, ибо, несмотря на весь леденящий ужас безвременья,— тем более ужасного, что ему, как известно, сопутствовал перелом революционной мысли, разбиравшейся в старых, пройденных путях и намечавшей новые,— жизнь, конечно, не могла быть и не была убита. Механически загнанная в подполье, она продолжала существовать, и не просто существовать, но существовать разумно в деятельных поисках выхода на широкий простор. Там, во мраке подполья, шла мучительная работа мысли, полная страсти, ненависти, любви. И все это готово было выйти наружу при первой же возможности, при первом же удобном случае. И от времени до времени такие случаи представлялись [1], подполье раскрывалось, и жители его выходили наружу и воочию доказывали, что жизнь еще теплится, что она протестует против насилия, что с ним она не примирилась и примириться не может, что палачи бессильны убить ее. Реакция принимала этот вызов и, выхватывая из среды протестантов то или иное количество их («зачинщиков»), расправлялась с ними по-своему: тюрьмой, ссылками, высылками, исключением из учебных заведений, и, торжествуя легкую победу, пребывала в сладкой уверенности, что гидра революции подавлена и что теперь ей вновь не воспрянуть. И «на Шипке» становилось, по-видимому, «спокойно» до нового случая, опять выводившего реакцию из ее равновесия.

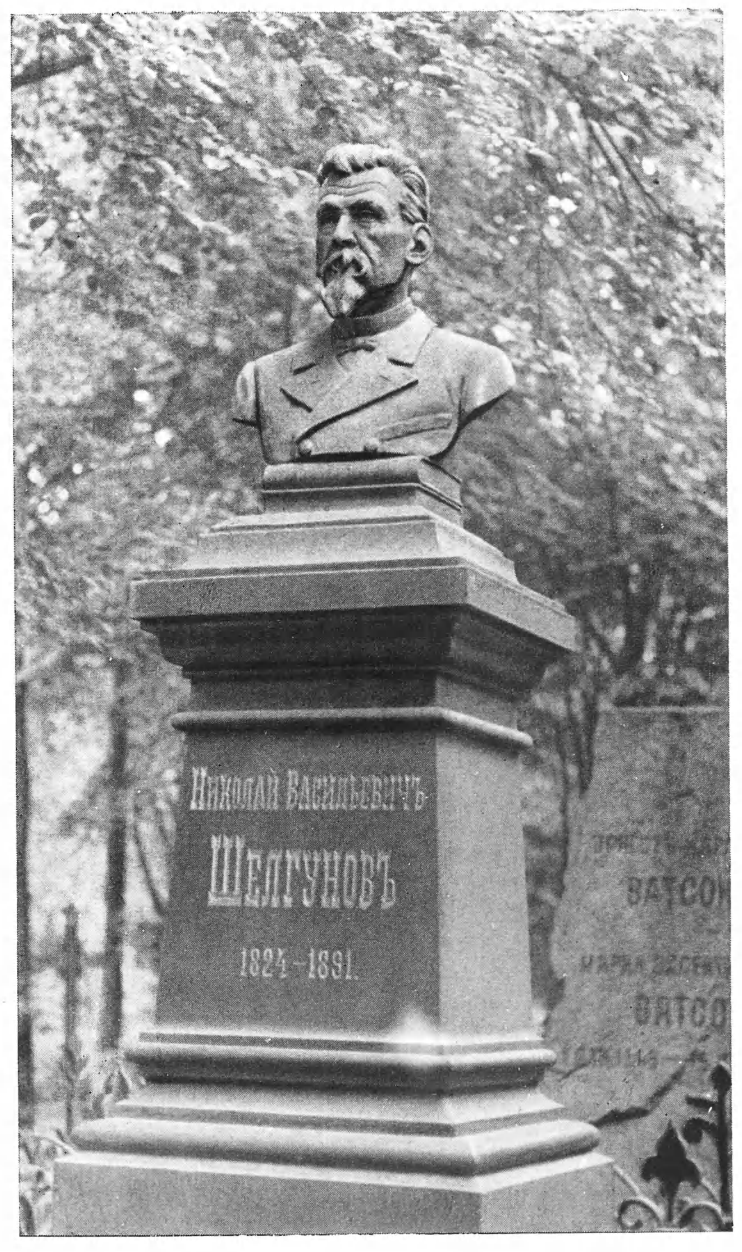
И вот в 1891 году таким удобным случаем, такою возможностью явилась смерть Н. В. Шелгунова, который, не представляя собой литературной силы первой величины, тем не менее, по справедливости и по заслугам, пользовался горячей любовью молодежи, интеллигенции и сознательной части рабочего класса, ибо, несмотря на нависшую над русской жизнью свинцовой тучей реакцию, он в числе очень немногих современных ему писателей умудрялся возвысить свой голос до полных мужественной силы нот; он умудрялся ободрить падающих и унывающих, умудрялся сказать, что мрак не победит жизни, что жизнь не умерла, что она сущест-

---

[1] Например, похороны Салтыкова, панихиды по Чернышевскому etc. *(Прим. Е. В. Гешина)*.



Н. В. Шелгунов и Н. К. Михайловский.
Фотография 1891 г.



Памятник на могиле Н. В. Шелгунова

Фотография 1965 г.

вует, что на смену дряблому восьмидесятнику идет поколение бодрое, жизненное, во всеоружии знания и силы духа[1]. Статьи Шелгунова находили живой отклик. Они толкали, они ободряли, они давали мужество «надеяться и ждать».

И похороны его, известные под именем «Шелгуновской демонстрации», наглядно показали, что жизнь не замерла. Эти похороны или эта демонстрация, которую, по циркулировавшим в то время слухам, император Александр III метко назвал «смотром революционных сил», сыграли свою, конечно, скромную, но тем не менее положительную роль, в значительной степени подняв настроение среди учащейся революционной молодежи и сознательных рабочих. О них заговорила вся мыслящая Россия, о них говорилось в иностранной прессе, они встревожили реакцию.

Поэтому я позволяю себе посвятить им настоящую статью, в которой, как участник этого похоронного шествия, напишу все, что сам видел и что мне рассказывали другие. <...>

II

О смерти Н. В. Шелгунова мне сообщил один из моих товарищей, студентов-медиков. Смерть эта не была для нас неожиданностью, так как ей предшествовала продолжительная, мучительная болезнь. Мы, как я упоминал выше, любили Шелгунова, обращавшегося к нам с ободряющим словом, за статьями которого мы внимательно следили, и потому, без фраз, его смерть нас искренно огорчила. Впоследствии, когда администрация расправлялась с участниками демонстрации, она, по своему неизменному до наших дней обыкновению, усердно старалась найти «агитаторов, зачинщиков», подбивших к этому «противуправительственному акту». Большую услугу ей оказал в этом отношении <...> начальник Военно-медицинской академии В. В. Пашутин. Но нечего и говорить, что ни о каких зачинщиках в том смысле, как это понимает администрация, не было и

[1] Я говорю о статьях Шелгунова в «Русской мысли» за 1890—1891 годы. *(Прим. Е. В. Гешина.)*

речи, что демонстрация состоялась совершенно стихийно, явившись естественным выходом для накопившегося чувства протеста, инстинктивного желания заявить, что мы не миримся с тем ужасом бесправия, в состоянии которого реакция стремилась держать русского гражданина. Подобно мне, другому, третьему, каждый из нас, узнав о смерти любимого писателя, самостоятельно, в силу одного почитания его шел в его маленькую (близ Таврического сада) квартиру, где утром и вечером служились панихиды.

Было экзаменационное время, мы были усиленно заняты, в учреждениях академии бывали редко, почти исключительно только в дни экзаменов, когда мы встречались только с товарищами, входившими в очередные экзаменационные группы; следовательно, уже эти чисто объективные условия указывают на то, что агитация была невозможна. То же положение было и в других учебных заведениях и разных женских курсах.

О панихидах стоит сказать несколько слов, так как они представляли собою картину не совсем обычную. Все комнаты маленькой квартиры бывали заполнены так же точно, как и передняя и лестница. Преобладала учащаяся молодежь, затем шли писатели, среди которых неизменно выделялась стильная фигура Н. К. Михайловского, немногочисленные рабочие, изредка попадались на глаза два-три офицера, представители адвокатуры и других свободных профессий. Постоянно прибывали депутации с венками. Старичок священник, напоминавший по своей скромности и всему своему внешнему виду немудреного сельского батюшку, истово служил панихиду. Пели студенты и курсистки, пели с чувством, со смыслом, и их молодые свежие голоса, сливаясь в стройный хор, звучали как-то особенно торжественно, и в них точно чуялся какой-то вызов кому-то и чему-то. Молящихся, в церковном значении слова, не было. Панихида кончалась, батюшка снимал епитрахиль, но посетители долго не расходились...

Особенно врезалась мне в память одна вечерняя панихида. Народу было, по обыкновению, много. Царило обычное настроение. Среди службы произошло какое-то движение...

— Пропустите, пропустите, товарищи,— несся сдержанный шепот.

— Что такое? Кого?

— Венок... Депутация...

— От кого?

— От путиловских рабочих...

Все спешили расступиться, с любопытством глядя на протискивавшихся к гробу рабочих. Это было новое, еще мало встречавшееся явление — *депутация рабочих*. Пробираясь сквозь расступившуюся, но все же тесную толпу, к гробу приблизились двое молодых рабочих с энергичными, одухотворенными лицами. Они положили на гроб большой венок, на черных (о красных тогда и не мечтали) лентах которого было написано на одном конце *«Поборнику демократических идеалов»* и на другом (если не ошибаюсь) *«от сознательных рабочих Путиловского завода»*. По тогдашним временам эта надпись представлялась не только смелой, но прямо дерзкой. Не удивительно поэтому, что венок этот произвел сильное впечатление. Он точно приподнял завесу другого мира, мира запретного, но желанного. На нас точно нахлынула волна живого моря, точно что-то сильное, сильное охватило наши души, всколыхнуло в них мужество, энергию, жажду борьбы... Венок этот все осматривали по нескольку раз, читая и перечитывая надпись. О нем много и долго говорили...

Но вот наступил день похорон. С самого раннего утра к дому, где жил Шелгунов, группами и в одиночку тянулись желавшие отдать ему последний долг. Около дома стояли два катафалка — один для гроба, другой — для венков. Тут же — сильные наряды полиции. Еще накануне, на последней панихиде, циркулировали смутные слухи, что собравшиеся на похороны будут разогнаны силой, что полиция принимает какие-то меры; всюду шныряли «шпики», внимательно и неуклюже прислушивавшиеся к разговорам в отдельных группах и кучках... Создавалось какое-то особое задорное настроение, хотелось во что бы то ни стало поставить на своем. Накануне же было решено тело Шелгунова нести на руках до Волкова кладбища.

Толпа все прибывала. В квартире, где служилась последняя панихида, было переполнено. Служба кончилась, мы взяли на руки гроб с останками Шелгунова и понесли его вниз под пение концертного «Святый боже». Процессия с гробом вышла на улицу. В это время

к несшим гроб протиснулся, в сопровождении других разных степеней полицейских чинов, пристав и категорически заявил:

— Попрошу поставить гроб на катафалк... Прошу...

— Мы сами понесем,— отвечали ему.

— Я не допущу,— возвысил голос пристав,— я имею распоряжение господина градоначальника... Потрудитесь поставить...

Ему отвечали насмешками. Тон его требований становился все категоричнее. Произошло замешательство. Мнения публики разделились: одни настаивали на несении гроба на руках, другие, более умеренные, находили необходимым уступить. И на этой почве завязались горячие беспорядочные споры. Между тем требования полиции становились все энергичнее. Державшие гроб на руках, не желая подчиниться, двинулись было вперед, но тут, по приказанию пристава, полицейские накинулись и стали вырывать из их рук гроб... Произошла безобразная схватка: городовые и околоточные старались ухватиться за гроб, их не пускали, отталкивали...

— Господа! — крикнул кто-то.— Николай Контантинович Михайловский просит поставить гроб на катафалк!..

— К черту Михайловского! — раздались негодующие голоса.

Все были возбуждены, и между сторонниками Михайловского и его противниками завязался горячий спор, перешедший в перебранку... Полиция старалась вырвать гроб...

Конец этой сцене положила вдова Шелгунова, пробившаяся к гробу и упросившая протестантов поставить его на катафалк. И здесь с поразительной быстротой произошла, неожиданно для всех, не исключая и инициаторов, следующая сцена, которая в значительной степени доставила похоронам Шелгунова наименование *«противуправительственного акта»*.

Дело в том, что в царствование императора Александра III, из опасения похоронных демонстраций, было запрещено несение венков на руках. Ввиду этого оба катафалка (предполагалось нести на руках тело Шелгунова, в чем, конечно, не было ничего «запрещенного») были заполнены возложенными на гроб Шелгунова многочисленными венками. И вот когда, как я только что

упомянул, по просьбе вдовы покойного, было решено подчиниться нелепому требованию полиции и поставить гроб на катафалк, молоденькая курсистка Л. В. М — ва быстро подошла к одному из катафалков и, схватив первый попавшийся венок, высоко подняла его над головой и задорно крикнула:

— Товарищи! Если нам не дают нести тело Шелгунова, так понесем венки!..

И венки были моментально разобраны по рукам; оба катафалка сразу опустели, и на один из них был поставлен гроб. Все произошло чрезвычайно быстро и как-то стихийно. Полиция растерялась. Через мгновение процессия, без всяких воздействий и распоряжений, выстроилась и двинулась вперед. Во главе ее шел растерявшийся пристав с околоточными, затем многочисленный хор, состоявший из студентов и курсисток, за ним целая процессия, несшая высоко над головами венки, далее катафалк и несколько тысяч (до шести-семи) провожавших.

Величественный вид имела эта демонстрация. Громадный, в несколько сот голосов хор стройно, под управлением студента-медика С. Е. К — аго, дирижировавшего студенческой фуражкой, пел могучее, красивое концертное *«Святый боже»*. Венки с развевающимися лентами торжественно плыли над толпой, как победные трофеи, под яркими лучами редкого в Петербурге солнца. Во всей провожавшей Шелгунова толпе чуялась какая-то сила, открытый вызов всеугнетавшей реакции. И толпа эта медленно, спокойно, под громкое, полное силы пение шла, заполняя собою улицу и тротуары, вызывая удивление у прохожих. А во главе и по бокам, в качестве благородных свидетелей, шли полицейские, растерявшиеся, не знающие, что им делать...

Шествие это вызывало со стороны обывателей, которым имя Шелгунова было неизвестно, недоумение и разные нелепые предположения. Так, мне передавали, что в одной кучке любопытных, состоявшей из дворников, мелочного лавочника и тому подобного люда, было окончательно установлено, что это «студенты и другие разные сицилисты своего генерала хоронят», а в другой, не менее компетентной, компании было решено, что это просто «студент бунтует и желает показать, сколь много у него силы»...

Когда прошло много времени и полиция, растерявшаяся, как мы видели, вначале, пришла несколько в себя, она начала обнаруживать некоторую, правда слабую и не лишенную растерянности, самодеятельность. Процессия дошла, кажется, до Кирочной, куда и стала сворачивать по направлению к Литейному (в сторону от пути к Волкову кладбищу). Шедший впереди пристав стал настаивать на том, чтобы она шла прямо, чтобы таким образом не затронуть людных улиц. Но голова процессии, хор решительно повернул на Кирочную, и полиция, не имевшая, очевидно, распоряжения действовать решительно, подчинилась и покорно сопровождала процессию, даже принимая некоторые меры к расчистке ей пути, отгоняя извозчиков, ломовиков и т. д.

Мы свернули на Литейный проспект и пошли по направлению к Невскому. Около известного дома Победоносцева мы демонстративно остановились, громко пропели несколько раз «Со святыми упокой» и, выйдя на Невский, повернули к Лиговке, по которой дальше пошли к Волкову кладбищу. Процессия двигалась очень медленно, и, выйдя около девяти часов утра, у кладбища мы были около часов трех дня.

После отпевания в церкви мы понесли тело Шелгунова к знаменитым литературным мосткам. Было произнесено несколько речей, говорили студенты, писатели... Из всех этих речей мне особенно сильно врезалась в память речь писателя Засодимского. Я вижу его как сейчас. Он стоял высоко на какой-то могиле, под деревом, его далеко и хорошо было видно. Легкий ветер чуть шевелил его седые волосы. Лицо его было в этот момент удивительно красиво, одухотворенное глубокой думой, глубоким чувством. Казалось, он был где-то далеко, далеко, казалось, что он не видел нас, что взор его, его внутренний взор, был устремлен куда-то в далекое будущее...

— Шелгунов умер,— раздался его ясный, далеко разносившийся голос,— Шелгунов жив...

Так, этими точно словами, начал он свою речь. И говорил он так, если можно выразиться, выпукло, так проникновенно, что слова его не были цветами красноречия, а были полны образности и глубокого содержания и силы. Он, казалось, не говорил, а считывал с ка-

кой-то, в душе его написанной, ему одному видимой, книги. Я не скажу, чтобы речь его в каком-либо отношении — техническом или в отношении содержания — представляла собой что-нибудь оригинальное, выдающееся. Нет, он говорил почти трафаретную похоронную речь. Но сила ее, ее обаяние заключались в каком-то созерцательном характере его тона, полного глубокой, чистой, искренной задушевности. Речь его производила сильное впечатление в силу того закона, по которому слова старой избитой молитвы, произнесенные просто искренне верующим человеком, потрясают слушателя. И действительно, он высказал хотя и верные, но глубоко ординарные мысли, сущность которых сводилась к тому, что хотя Шелгунов и умер, но его призыв к борьбе за светлое будущее не умер и не умрет никогда.

Речи кончились. Гроб опустили в могилу. На ней выросла целая гора венков. Но мы долго не расходились. Мы обошли, начиная с Добролюбова, могилы всех наших любимых писателей и на каждой пропели: «Вечная память!»

Когда мы с кладбища шли обратно, разбившись уже на маленькие группы, мы видели, как из ворот разных домов, находившихся по пути следования похоронной процессии, выходили и выезжали сильные пешие и конные отряды полиции и жандармерии. Почему они не были пущены в ход, почему шествие не было разогнано силой, для меня и до сих пор остается загадкой. В то время среди молодежи и в обществе циркулировали двоякие слухи. По одним, демонстрация была допущена ввиду того, что неожиданная дерзость демонстрантов (несение венков с «революционными» лозунгами) привела в состояние растерянности не только полицию, бывшую в наряде, но и «сферы». По другой версии, на мой взгляд более правдоподобной, дело сводилось к сознательному попустительству в интересах доказательства «сферам», что разные чины охраны и жандармерии необходимы для спокойствия государства российского, что иначе гидра революции может снова поднять свою голову. В связи с этим слухом в обывательской и либеральной среде циркулировал и такой слух, что если бы не принятые полицией меры, то демонстрация могла бы разрастись до степени настоящего открытого революционного акта...

П. Л. Лавров

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ О Н. В. ШЕЛГУНОВЕ

(Прочитано на собрании 2 июня 1891 года в Париже)

Для того чтобы надлежащим образом оценить какое-либо общественное движение, не всегда удобно изучать лишь самых крупных, выходящих из ряду его деятелей. Их сильные индивидуальности, незаметно для них самих, окрашивают определенным образом процесс, около них и под их влиянием совершающийся, помимо его существенного содержания; вносят, может быть, и в оценку их эпохи исследователями более индивидуальных нот, чем это было бы желательно. Поколению моих теперешних слушателей пришлось переживать печальную эпоху, когда русская литература и русская мысль вообще понесла в короткий период, не охватывающий и одного десятилетия, ряд самых тяжелых потерь.

<...> В последние месяцы еше двое из прежних бойцов сошло в могилу. Товарищ Некрасова и Салтыкова, один из редакторов журнала, который был лучшим и самым верным представителем русской мысли в эпоху самой тяжелой реакции, один из старших представителей этого энергического поколения русской литературы, Григорий Захарьевич Елисеев добровольно оставался почти всю свою жизнь как личность, мало известная читателям.

<...> Николай Васильевич Шелгунов принадлежал другому отряду той же армии; отряду, военный клич которого был доступен более разнообразным по мысли и по чувству личностям, увлеченным перипетиями борьбы. С первого своего выступления как публицист-популяризатор до последней страницы, написанной тружеником, измученным жестокою болезнью, он бросал публике свое имя, как знакомый всем девиз борьбы. По

поводу ли какого-нибудь нового закона или по поводу влиятельного беллетристического произведения, разбирая экономический, политический или эстетический вопрос в России и за границею и повторяя при этом снова и снова, ясно и между строк, мысли своих более крупных сверстников, волновавшие современников, он не уставал говорить о злобе дня с русскою публикою, как ораторы на митингах Англии и Америки не устают повторять свои агитационные речи. Он отправился в далекую Сибирь посетить друга, осужденного на каторгу, и который должен был умереть там. Он и сам шел в ссылку снова и снова. В 1867 и 1869 годах я встретился с ним в двух городах Вологодской губернии при подобных условиях, и в 1891 году если он умер в Петербурге, то лишь потому, что ему дозволено было приехать туда временно лечиться от смертельной болезни. Как Салтыков, он умер с пером в руках, пытаясь устроить свою старость «по-молодому», то есть продолжая бороться за то, что было и осталось убеждением его жизни. И самые его похороны были боевым кликом из-за гроба, кликом, который подхватили тысячи человек молодежи; их заупокойный хор имел бессознательно для них самих значение революционной песни; намогильные венки в их руках со своими протестующими надписями были символическим кольцом, которым история связывала, независимо от всякого личного настроения, новое поколение деятелей с деятелями старыми в одной и той же ненависти к абсолютизму. И абсолютизм понял это. Нам пишут об арестах, об исключении студентов из университета без права на поступление в какой-либо из них, о ссылке личных друзей и литераторов, которые решились участвовать в христианском обряде похорон умершего товарища. Мы отвыкли уже возмущаться этим, потому что от тупых и озлобленных врагов мы и не можем ожидать даже просто осмысленных действий.

Оба умершие писателя, боровшиеся разными приемами за одну и ту же правду, оставили нам в своих последних произведениях как бы сходные завещания. Последнею статьею Григория Захарьевича Елисеева, напечатанной незадолго до его смерти, было воспоминание о тех научных и литературных деятелях, среди которых

выработалось поколение, главные представители которого сходят теперь один за другим в могилу. Николай Васильевич Шелгунов еще ближе подошел к этому же вопросу. В работе, напечатанной уже после его смерти в журнале, где он работал последнее время, он пытался сравнить последовательные поколения шестидесятых, семидесятых и восьмидесятых годов, пробуя даже угадывать, каково будет поколение девяностых.

ПРИМЕЧАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ Н. В. ШЕЛГУНОВА

ИЗ ПРОШЛОГО И НАСТОЯЩЕГО
(Стр. 49)

Впервые, без глав XVI—XX,— в журнале «Русская мысль», 1885, № 10, стр. 47—69; № 11, стр. 216—237; 1886, № 1, стр. 211—244; № 3, стр. 195—229. Полностью, но с цензурными купюрами — в издании: «Сочинения Н. В. Шелгунова в двух томах», т. II, изд. Ф. Павленкова, СПб. 1891, стр. 619—756.

Рукопись и корректуры не разысканы.

Впервые к воспоминаниям о шестидесятых годах Шелгунов обратился в семидесятые годы, но тогда им были сделаны лишь отдельные наброски, не предназначавшиеся для печати. Вторично Шелгунов намеревался приступить к воспоминаниям в 1883 году в связи с нападками на шестидесятые годы в некоторых некрологах И. С. Тургенева. Им были написаны вступление, где он выражал протест против этих нападок, и, возможно, отрывок о Е. П. Михаэлисе. Эти мемуарные записи семидесятых годов и 1883 года, вошедшие в настоящее издание под заглавием «Первоначальные наброски» (стр. 231—247 наст. тома), были использованы автором при написании «Из прошлого и настоящего».

Зимой 1884 года, после освобождения из дома предварительного заключения, Шелгунов, по совету Михайловского, наконец всерьез принялся за воспоминания. «Завет твой исполняю,— писал он Михайловскому 1 декабря.— Начал воспоминания. Ни плана, ни программы нет: установится в работе. Начал с ближайших фактов, как более свежих. Хочу потом дать небольшие характеристики «известностей», с которыми приходилось сталкиваться»[1]. К концу января 1885 года часть воспоминаний была уже написана, и Шелгунов обратился к редактору «Русских ведомостей» В. М. Соболевскому с предложением о ее напечатании. «Надумался,— сообщал он Михайловскому 22 января,— писать для «Русских ведомостей» «Из прошлого и настоящего». Думаю, что будет интересно, да не знаю, как

[1] ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. Н. К. Михайловского, ф. 181, оп. 1, д. 768, лл. 33—33 об.

«Русские ведомости»; пошлю фельетона два, как пробные шары, к Соболевскому и — если насадятся — буду продолжать, пока не выдохнусь»[1]. Но Соболевский не ответил, и Шелгунов обратился с аналогичным предложением к сотрудничавшему в «Вестнике Европы» А. Н. Пыпину, с которым был знаком еще в пятидесятые годы. 14 февраля 1885 года он писал Пыпину: «...Надумал я написать ряд статей под общим названием «Из прошлого и настоящего» (уже и начал)»,— и одновременно осведомлялся: «Имеете ли в принципе что-нибудь против моего писания вообще, и в частности против печатания моих статей в «Вестнике Европы»?»[2] Пыпин ответил уклончиво, ссылаясь на то, что его мнение «тут ни при чем, потому что эти вопросы решаются редактором» — М. М. Стасюлевичем, который может судить о воспоминаниях лишь по их прочтении[3].

Одиннадцатого марта Шелгунов закончил первую статью и сразу послал ее Стасюлевичу. «Если будет принята — заликую, если же нет — очень упаду духом»,— писал он в тот же день адвокату и журналисту В. П. Гаевскому[4]. Сообщая Михайловскому об отправке статьи в «Вестник Европы», Шелгунов высказывал опасения, что написанное им «не совсем цензурно». Судя по его письму к Михайловскому, в этой статье были воспоминания о приезде в Петербург вместе с П. П. Пекарским в 1851 году, о знакомстве с Пыпиным и Чернышевским, по-видимому взятые из «Первоначальных набросков». Рассказывал он и о событиях более близкого прошлого — о высылке после бала технологов и истории с журналом «Дело» в 1884 году[5]. Судьба статьи очень беспокоила Шелгунова, он жаловался Михайловскому, что не имеет ответа от Стасюлевича. «Я, правда, боюсь,— замечал он по поводу статьи,— что она нецензурна, по крайней мере, местами, а пожалуй, и по общей мысли»[6]. Наконец 3 мая он сообщает тому же адресату, что «Вестник Европы» статьи не взял: «Затрудняемся печатать по некоторым подробностям ее содержания»,— как пишет мне Пыпин»[7]. Текст этих воспоминаний до настоящего времени не разыскан.

В июне того же года, когда Шелгунову удалось договориться о сотрудничестве в московском журнале «Русская мысль», он в письме к его редактору В. А. Гольцеву от 18 июня[8] предлагает туда

---

[1] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, лл. 40—40 об.
[2] «Каторга и ссылка», 1933, № 11 (108), стр. 127.
[3] Там же, стр. 129.
[4] Там же, стр. 132.
[5] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, лл. 43 об.—44.
[6] Там же, л. 47 об.
[7] Там же, л. 51.
[8] «Памяти В. А. Гольцева», М. 1910, стр. 166—167.

свои воспоминания. Однако в «Русскую мысль» он отправил не тот текст, который посылал в «Вестник Европы», а новый, потребовавший не менее двух месяцев работы. Первая статья, охватывающая главы I—III, была послана в редакцию 25 августа 1885 года. «Это как бы предисловие или введение к ряду статей (николаевское время)»,— сообщал Шелгунов Гольцеву [1]. Информируя Михайловского об отправке статьи, он замечал, что сам доволен началом, но опасается и в этом случае, «цензурна» ли она [2].

К этому времени стал устанавливаться и план мемуаров. «У меня три рода воспоминаний,— писал Шелгунов Гольцеву 30 сентября,— служебные, центром которых служит Муравьев (Виленский); политические, центром — Алексеевский равелин и поездка из Сибири в Петербург; и литературные» [3]. Однако даже план беспокоил его с точки зрения цензурности. «О Муравьеве, я знаю, писать можно,— замечал он в том же письме,— но об Алексеевском равелине? <...> Пожалуйста, напишите, и согласно вашему указанию я составлю программу статей. Хотелось бы мне очень писать о равелине в параллели с последним моим заключением в предварилке» [4]. Но этой программы Шелгунову осуществить не удалось, он смог опубликовать только воспоминания о Муравьеве. Возможно, что два других сюжета даже и не были им написаны.

При отправке первого мемуарного очерка в редакцию журнала Шелгунов писал Гольцеву: «Может быть, найдутся в статье места, которые нужно смягчить (не знаю я теперешних цензурных условий, а о московской цензуре и понятия не имею). Не возмете ли вы на себя это смягчение?» [5] Но, несмотря на выражавшуюся им готовность допустить цензурное «оскопление» своего текста, купюры и сглаживания острых мест «Русской мыслью» вызывали каждый раз его возмущение.

В тексте, посылавшемся в «Русскую мысль», редакция вычеркивала целые абзацы и «смягчала» отдельные места. Еще из первой статьи, прошедшей наиболее благополучно через цензуру редакции, были сделаны какие-то изъятия: 28 октября Шелгунов писал Гольцеву о «выемках в III главе», которые «сделали очень заметные просветы, и глава вышла разорванная» [6]. Эти купюры, по-видимому, так и не были восстановлены во втором томе «Сочинений Н. В. Шелгунова».

---

1 «Памяти В. А. Гольцева», стр. 167.
2 ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 53 об.
3 «Памяти В. А. Гольцева», стр. 168.
4 Там же.
5 Там же, стр. 167.
6 «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 255.

Вторая статья (главы IV—VII), освещавшая период от смерти Николая I и до 1858 года включительно, была написана к 1 ноября и тогда же отправлена в редакцию. Она прошла без редакционных выбросок, хотя Шелгунов опасался за «цензурность» своей постановки вопроса о двух течениях. «Я побаиваюсь за общую мысль,— писал он Гольцеву в том же письме,— что освобождение только тогда удалось, когда правительство оперлось на нижнее течение»[1]. Зато в третьей статье (главы VIII—XI), законченной, очевидно, в декабре 1885 года, и в статье четвертой (главы XII—XV), отправленной 16 февраля 1886 года, посвященных собственно событиям шестидесятых годов и характеристике некоторых деятелей эпохи, редакцией было сделано множество крупных и мелких купюр.

Еще до выхода мартовской книжки «Русской мысли», где должна была печататься глава о студенческих волнениях в Петербургском университете, Шелгунов писал Гольцеву: «Ваше извещение, что вынута вся студентская история, совсем меня обидело»[2]. Он винил в этой выброске редакцию, не решающуюся отстаивать статьи перед цензурой.

Должно быть, в результате настойчивых убеждений Шелгунова «студентская история» все же появилась на страницах журнала, однако в «смягченном» и урезанном виде. Получив мартовскую книжку журнала, Шелгунов писал литературному критику А. М. Скабичевскому: «Ах, что они там делают. Вы и представить не можете. Это все, что угодно, а не редакция. Редакция хлопочет о журнале, а значит, бережет статьи, а они берегут свои карманы... Чтобы смягчить, они вынимают отдельные фразы и совсем меняют смысл. Так они поступили с концом главы о студентской истории, где они вынули кусками больше двух страниц»[3]. Изъяты были также воспоминания о встрече с Бейдеманом, о распространении прокламаций Кувязевым, многие места, относящиеся к характеристикам Герцена, Михайлова и др.

Осторожность «Русской мысли» усугублялась усилением цензурных строгостей. Из письма Шелгунова к Гольцеву от 22 января 1886 года видно, что его просили дать продолжение воспоминаний для февральской книжки журнала (третья статья находилась уже в редакции) и, должно быть, не выражали никаких сомнений по поводу цензурности находившихся в редакции глав. Однако после выхода мартовской книжки с четвертой статьей воспоминаний органы цензуры хотели дать редакции «Русской мысли» второе предупреж-

---

[1] «Архив В. А. Гольцева», стр. 255.

[2] Там же, стр. 256.

[3] ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. А. М. Скабичевского, ф. 283, оп. 2, д. 198, лл. 1 об.—2.

дение, как сообщал сам Шелгунов в мае этого года С. Н. Кривенко [1].

Четвертая статья «Из прошлого и настоящего» была последней, печатавшейся в «Русской мысли». Но редакция предполагала, что удастся продолжить печатание воспоминаний. В середине апреля 1886 года Шелгунов отправил в журнал пятую статью (главы XVI—XVII) и рассчитывал сделать перерыв до ноября. Статья эта была набрана и предназначалась для майской книжки, но в ней не появилась. «Гольцев пишет,— сообщал Шелгунов Михайловскому 29 мая,— что редакция *очень* (подчеркнуто у него) дорожит моим сотрудничеством, но не может печатать статей, подвергающих риску существование журнала (поэтому и не напечатали моих воспоминаний в майской книжке)» [2].

Однако еще летом 1886 года редакция «Русской мысли» надеялась завершить публикацию воспоминаний. Судя по письму Шелгунова к Гольцеву от 2 июля, последний хотел получить следующие главы, а Шелгунов соглашался их писать лишь после напечатания пятой статьи. Он просил выслать ему корректуру и отчеркнуть «все сомнительные или нецензурные места» [3]. В письме от 21 августа он сообщал Гольцеву, что по отметкам редакции выправил эту статью [4]. Продолжалась и переписка относительно отдельных деталей воспоминаний, в частности о достоверности описания защиты диссертации Чернышевским [5]. Пятая статья намечалась теперь в октябрьскую книжку журнала. К 17 октября Шелгуновым была закончена шестая статья (главы XVIII—XX). Но, как сообщал Шелгунов Михайловскому 6 ноября 1886 года, пятую статью «будто бы не пропустил председатель московской цензуры. Затем (и опять — будто бы) Бахметьев ездил к Феоктистову, и тот тоже сказал, что нельзя. Нельзя будто бы никакие похвалы шестидесятым годам» [6].

Сомневаясь в правдивости этих сведений, Шелгунов отправил пятую и шестую статьи Михайловскому для напечатания в «Северном вестнике». Автор переменил заглавие на «Из общественно-литературного прошлого», сгладил кое-где резкость тона, заменил слова «шестидесятые годы» словами «литературное движение», «журналистика» и т. п. и предоставил Михайловскому право по своему усмотрению «вычеркивать, смягчать и т. д.» [7]. Но и эта попытка успехом не увенчалась, хотя еще в декабре 1886 года Шелгунов не

[1] «Вестник Европы», 1911, № 4, стр. 227.
[2] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 72 об.
[3] «Памяти В. А. Гольцева», стр. 171.
[4] «Архив В. А. Гольцева», стр. 262.
[5] Там же, стр. 263.
[6] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 83.
[7] Там же.

терял надежды на напечатание последних глав воспоминаний, о чем писал Михайловскому [1].

В конце 1887 года, в связи с работой над «Переходными характерами», Шелгунов снова вернулся к мысли опубликовать пятую статью и просил Гольцева дать ее «на просмотр председателю цензурного комитета. Может быть, и разрешит...» [2]. Но разрешения, очевидно, и на этот раз не последовало.

Когда в 1890 году книгоиздатель Ф. Ф. Павленков предпринял издание двухтомника сочинений Шелгунова, последний включил туда полный текст своих воспоминаний, сохранившийся у него в неурезанных редакцией «Русской мысли» гранках. Издание это должно было выйти не позднее ноября 1890 года, но именно воспоминания и задержали выход сочинений: по напечатании они были арестованы цензурой и лишь после длительных хлопот издателя и автора вышли со значительными цензурными сокращениями.

Целиком были изъяты главы IX, XIII, XV, а также множество отдельных мест из других глав — всего тридцать столбцов или около двух с четвертью листов (см. постраничные примечания). Однако Павленкову удалось сохранить три полных экземпляра второго тома, из которых один был передан им историку В. И. Семевскому [3]. Последний напечатал почти все тексты, подпавшие под цензурный запрет (за исключением двух фрагментов) в «Юбилейном сборнике Литературного фонда» (СПб. 1909). Без купюр, но не всегда исправно, полный текст воспоминаний «Из прошлого и настоящего» был опубликован А. А. Шиловым в 1923 году по имевшемуся в библиотеке Института книговедения доцензурному экземпляру. В настоящее время ни одного из трех экземпляров, сохраненных Павленковым, в государственных книгохранилищах разыскать не удалось. Вследствие некоторых неточностей в публикации Шилова, «Из прошлого и настоящего» печатаются в настоящем издании по тексту второго тома «Сочинений Н. В. Шелгунова» 1891 года с устранением цензурных купюр по публикации Семевского в «Юбилейном сборнике Литературного фонда» и с исправлениями отдельных мест по «Русской мысли» и изданию Шилова. Указания на крупные купюры в «Русской мысли» и на места, подвергшиеся цензурному устранению в издании 1891 года, даются в постраничных примечаниях.

---

[1] Письма от 15 и 25 декабря 1886 г. ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, лл. 88, 89 об.

[2] «Архив В. А. Гольцева», стр. 270.

[3] Письмо В. И. Семевского к Л. Ф. Пантелееву от 30 ноября 1910 г. ЦГАЛИ, ф. 1691, оп. 1, д. 526, лл. 17—18. Сообщено Ю. Н. Коротковым.

I

Стр. 49. *Уже в начале восьмидесятых годов, когда началось преследование Новикова, наступают для русской мысли сумерки...*— То есть реакция, наступившая после крестьянских восстаний 1773—1775 годов. К этому времени относится расправа Екатерины II с сатирическими журналами Н. И. Новикова «Живописец» и «Кошелек», в которых он бичевал жестокие нравы русского крепостнического дворянства. В связи с французской буржуазной революцией 1789 года реакция в России усилилась, и в 1792 году Новиков, после ряда предшествовавших ограничений его деятельности и преследований, был арестован и заключен на пятнадцать лет в Шлиссельбургскую крепость, откуда его освободил в 1796 году после своего вступления на престол Павел I.

Стр. 50. *У Бокля есть любопытное исследование...*— «История цивилизации в Англии» (1857—1861). В шестидесятых — семидесятых годах книга Г. Бокля, горячего приверженца демократических свобод, была исключительно популярна в среде либеральной и народнической интеллигенции России.

Стр. 52. *«Вся ее вина <...> русских писаний обстоятельно разуметь не может».*— Из полемики Новикова с Екатериной II. «Трутень», лист VIII, 16 июня 1769 года (см.: «Н. И. Новиков и его современники», Избранные сочинения, изд. АН СССР, М. 1961, стр. 24).

В «Московском издании» напечатаны Новиковым статьи о государях...— в «Московском ежемесячном издании», издававшемся Новиковым в 1781 году. Шелгунов приводит выдержку из «Письма о государях» (№ 2).

«О, благополучная Россия!..» — Цитата из издания Новикова «Санкт-петербургские ученые ведомости на 1777 год», стр. 12.

...указ <...> запрещающий «ругательную» историю иезуитского ордена.— В «Прибавлениях» к «Московским ведомостям», 1784, №№ 69—71, печаталась «История ордена иезуитов», в которой разоблачались их политические интриги и тунеядство. По протесту представителей этого ордена в Петербурге, Екатерина II издала специальный указ, запрещающий дальнейшее печатание «Истории»; вышедшие номера «Прибавлений» были конфискованы.

...воспрещается сочинение «О влиянии успеха наук в человеческие нравы и образ мыслей»...— Эта статья была напечатана в «Прибавлениях» к № 61 «Московских ведомостей» за 1784 год. В ней содержались вольнодумные рассуждения о схоластическом богословии и о церковниках. Существует мнение, что эта статья подверглась

цензурным урезкам и исправлениям, и вследствие этого ее продолжение не могло быть напечатано («Н. И. Новиков и его современники», Избранные сочинения, изд. АН СССР, М. 1961, стр. 509).

Стр. 53. *Незеленов, «Н. И. Новиков»* — труд А. Незеленова: «Николай Иванович Новиков, издатель журналов 1769—1785 гг.» СПб. 1875.

...даже транспаранты не могли печататься без разрешения цензуры.— Во времена николаевского цензурного террора на линованом листе бумаги (транспаранте) стояла подпись: «Печатать дозволяется. Цензор Елагин. С.-Петербург, 11 марта 1852 г.». Этот факт упоминал Герцен в статье «Лишние люди и желчевики» («Колокол», 1860, л. 83, 15 октября).

Император Павел совсем запретил ввоз иностранных книг.— Павел I издал подобный указ в 1800 году. Это была одна из мер борьбы с революционным влиянием Запада.

II

Стр. 54. *...в нашей внутренней жизни последнего реформационного двадцатипятилетия...*— то есть в период с 1861 по 1885 год.

Четырех лет меня отдали в Александровский малолетний кадетский корпус.— Александровский корпус был открыт в 1829 году, следовательно Шелгунову было тогда пять лет.

Стр. 55. *...меня отдали в Лесной институт.*— Лесной институт был основан в Петербурге в 1829 году, после соединения Лесной школы в Царском Селе и частного Лесного института в Петербурге. В 1837 году институт был преобразован в военизированное высшее учебное заведение, чем и объясняются все те изменения в уставе и внутреннем распорядке института, о которых говорится далее в воспоминаниях Шелгунова.

Стр. 56. *Сохранились у меня воспоминания лишь о <...> Комарове (друге Белинского)...*— В «Воспоминании о Белинском» И. И. Панаев писал о Комарове как о приятеле своем и Белинского. Оба они довольно часто посещали Комарова в начале сороковых годов, там же Белинский встречался с Гоголем и другими литераторами. Анненков в своих «Литературных воспоминаниях» рассказывает, что впервые познакомился с Белинским у Комарова, где по субботам собирался молодой и шумный кружок любителей литературы и искусства (И. И. Панаев, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1950; П. В. Анненков, Литературные воспоминания, Гослитиздат, М. 1960; В. Г. Белинский, Собр. соч. в тринадцати томах, т. XI, изд. АН СССР, М. 1953, стр: 530).

Стр. 57. *...политическая экономия, изгнанная в то время даже из университетов.*— После революции 1848 года в Европе правительство Николая I усилило репрессии против университетов, начавшиеся после восстания декабристов (1825). Из университетских программ были последовательно изъяты философия права, государственное право и политическая экономия.

...Шмальц (кажется, сын дерптского профессора)...— профессор Герман Шмальц. Отец Г. Шмальца — Иоганн, крупный специалист по сельскому хозяйству, был профессором Дерптского университета.

Привет мой вам, столпы созданья...— четверостишие из стихотворения В. Г. Бенедиктова «Горные выси». Впервые было напечатано, под заглавием «Горы», в «Современнике», 1837, № 1.

«Наездница», «Жалоба дня».— Оба стихотворения напечатаны в первом сборнике стихотворений В. Г. Бенедиктова (1835).

«Аммалат-Бек», «Мулла-Нур» — кавказские повести писателя-декабриста А. А. Бестужева (Марлинского), написанные в 1832 и 1836 годах, в которых автор рисует романтические образы мужественных и отважных горцев.

Стр. 58. *«Фоблаз»* — роман французского писателя XVIII века Луве де Кувре «Приключения кавалера Фоблаза» (1787—1790).

Стр. 59. *В России трое есть певцов...*— Неточно цитируется эпиграмма Пушкина. У автора:

Угрюмых тройка есть певцов:
Шихматов, Шаховской, Шишков,
Уму есть тройка супостатов:
Шишков наш, Шаховской, Шихматов,
Но кто глупей из тройки злой?
Шишков, Шихматов, Шаховской!

Эпиграмма направлена против трех писателей — членов кружка «Беседа любителей русского слова», существовавшего в Петербурге в 1811—1816 годах. Большинство членов «Беседы» придерживалось консервативных взглядов, выступало против реформы литературного языка, проводившейся сторонниками Н. М. Карамзина. Впервые эпиграмма была опубликована в «Русском архиве», 1899, № 2.

...похоронной процессии, которая в тот момент совершалась.— Шелгунов имеет в виду отпевание тела Пушкина, которое совершалось утром 1 февраля 1837 года в Конюшенной церкви, недалеко от Мойки. Похороны поэта состоялись в Святогорском монастыре в 6 часов утра 6 февраля.

Стр. 61. *...разбойничьи похождения Ринальдо Ринальдини...*— то есть роман немецкого писателя Х. А. Вульпиуса «Rinaldo-Rinaldini, der Räuberhauptmann», 1797 (в русском переводе «Ринальдо Ри-

пальдини, разбойничий атаман», М. 1802—1804). Роман был очень популярен в России.

Когда вышла «Черная женщина» Греча...— в 1834 году.

Стр. 62. *Медицинская академия* — основанная в 1798 году в Петербурге Медико-хирургическая академия. (В 1881 году была преобразована в Военно-медицинскую академию.)

...правила той капитанской жены, которая говорила...— Неточная цитата из «Капитанской дочки» Пушкина (глава III. Крепость). У Пушкина: «Разбери Прохорова с Устиньей, кто прав, кто виноват. Да обоих и накажи».

Стр. 63. *И вот, запершись в классе <...>, посвящавшими нас теперь в тайны бытия?* — В издании 1891 года изъято цензурой; не восстановлено в Юбилейном сборнике Литературного фонда.

...непристойные песни в барковском стиле...— И. Барков, поэт и переводчик XVIII века, был широко известен как автор скабрезных стихотворений.

Стр. 64. *Поляки были на целую голову выше нас <...>. Тут у нас было больше досуга для разговоров и рассуждений.*— В «Русской мысли» отсутствует фраза: «Начались политические разговоры». В издании 1891 года все изъято цензурой.

Стр. 66. *...кадетские корпуса <...> стали гимназиями...*— В издании 1891 года изъято цензурой. Шелгунов говорит здесь о реформе военных учебных заведений, проведенной в 1863—1866 годах, когда кадетские корпуса были разделены на военные училища (заменившие высшие классы корпусов) и военные гимназии, образованные из низших, общих классов и приравненные по программам и условиям обучения к обычным, гражданским учебным заведениям, где взималась плата за обучение. В таком виде они существовали до 1882—1886 годов, когда, при Александре III, была произведена контрреформа и вновь учреждены кадетские корпуса.

Стр. 67. *...«век нынешний и век минувший»...*— слова Чацкого из комедии Грибоедова «Горе от ума» (действ. 2, явл. 2).

III

Начал я в «Сыне отечества» Масальского.— Двумя статьями: «О разработке торфа» (1848, т. IV) и «Об осушке болот» (1848, т. V).

Затем, в 1845 году (кажется), я поместил ряд статей по лесоводству в «Библиотеке для чтения» <...> «Дерикера».— Здесь печатались статьи Шелгунова «Устройство лесов частных владельцев» (1848, № 1—4) и «Укрепление летучих песков» (1848, № 5);

В. В. Дернкер был помощником редактора «Библиотеки для чтения» О. И. Сенковского, а затем некоторое время и редактором.

...калмыкам, которых император Николай велел выселить в степь, а земли их взять в казну.— С конца XVIII века феодальная Калмыкия была превращена в колонию Российской империи. В 1847 году русским правительством было издано положение об управлении калмыцким народом, по которому вся власть в улусах передавалась русским чиновникам. Была установлена так называемая десятиверстная полоса, запрещавшая кочевки на десять верст от границы «русских поселений». Таким образом, калмыцкие кочевья были отброшены от Волги и моря на пятнадцать — двадцать верст, а их земли поступили в собственность государства.

Стр. 68. *...куролесовские предания...*— Михаил Максимович Куролесов — «дрянь человек и плут», жестокий крепостник, «лютый кровопийца» — один из персонажей «Семейной хроники» (1856) С. Аксакова.

...когда обер-прокурором святейшего синода был военный генерал (Протасов)...— Генерал-от-кавалерии Н. А. Протасов состоял в этой должности с 1836 по 1855 год.

Кто был этот архиерей, я не помню...— По утверждению А. Шилова, речь идет об архиепископе Феодотии (Озерове), епископе симбирском и сызранском с 1842 по 1858 год (Н. В. Шелгунов, Воспоминания, Госиздат, М.— П. 1923, стр. 199).

Стр. 69. *...В. А. Перовского (того самого, который делал поход в Хиву)...*— Перовский возглавлял в 1839—1840 годах поход, предпринятый правительством Николая I в целях уничтожения политических связей Хивинского царства с восстававшими против царского владычества кочевниками-казахами, а также «для обеспечения прав» русских купцов в Хиве. Поход окончился неудачей.

Стр. 70. *...тогда единственный губернатор в чине статского советника.*— Губернаторами в России назначались при Николае I лишь представители высшего дворянства. Статский советник в табели о рангах занимал пятое место — после канцлера, действительного тайного советника, тайного советника и действительного статского советника.

В 1851 году <...> наконец удалось попасть в Петербург...— благодаря переводу на службу в Лесной департамент министерства государственных имуществ.

Стр. 71. *...Чернышевский учительствует в каком-то корпусе <...>. Я пришел после восьми часов...*— Чернышевский переехал в Петербург в первых числах мая 1853 года и некоторое время был преподавателем в кадетском корпусе. Очевидно, знакомство Пекарского и Шелгунова с Чернышевским относится к этому году

(мемуарист именно в связи с этой встречей говорит о начале Крымской войны).

...в политике и на поле битвы.— В «Русской мысли»: «...в политике и в сражениях, несмотря на самоотверженное геройство наших войск».

Стр. 72. *В Петербурге книжной контрабанды было много.*— В издании 1891 года изъято цензурой; не восстановлено в Юбилейном сборнике Литературного фонда.

...оказалось, что защищать Севастополь больше нельзя...— 26 августа 1855 года русские войска по приказу главнокомандующего Южной армией генерала М. Д. Горчакова оставили Севастополь.

IV

Стр. 73. *...Киселев справедливо замечал...*— В своей «Записке», составленной в ответ на «Записку» смоленского губернского предводителя князя Друцкого-Соколинского по поводу указа 2 апреля 1842 года об обязанных крестьянах (А. П. Заблоцкий-Десятовский, Граф П. Д. Киселев и его время, т. II, СПб. 1882, стр. 287).

...записку под таким заглавием: «О возмутительных началах, развивающихся в России вследствие указа 8 ноября».— Автор записки утверждал, что указ (от 8 ноября 1847 года), разрешавший крестьянам при публичной продаже дворянских имений выкупать себя вместе с землей и тем приобретать право собственности на землю, приведет к волнениям среди крестьянства, к «коварству заговоров, так как крестьянам дается законный повод совещаться между собою о средствах к освобождению себя от помещичьей власти; что таким, по-видимому, законным образом народу преподают уроки коммунизма» (А. П. Заблоцкий-Десятовский, Граф П. Д. Киселев и его время, т. II, СПб. 1882, стр. 304—305).

Стр. 74. *В 1834 году, говоря с Киселевым <...> государь сказал...*— Беседа Николая I с графом П. Д. Киселевым об освобождении крестьян имела место 9 мая 1834 года (см. запись о ней: А. П. Заблоцкий-Десятовский, Граф П. Д. Киселев и его время, т. II, СПб. 1882, стр. 2).

Стр. 75. *...с кремневыми ружьями против европейских штуцеров...*— Кремневое ружье применялось с XVI века; оно было снабжено кремневым замком, в курке которого зажимался кремень, ударявший по огниву и воспламенявший порох, насыпанный на полку замка. Штуцеры — первоначальное название винтовок.

Стр. 77. *Барон Корф объяснил <...> свое мнение.*— Цитата из труда А. П. Заблоцкого-Десятовского: Граф П. Д. Киселев и его время, т. II, СПб. 1882, стр. 331—332.

Мнение Корфа поддержали, последовал известный циркуляр Ланского...— Корф в негласном комитете в июне 1857 года предложил создать дворянские комитеты по губерниям для обсуждения вопроса о крепостных крестьянах. Его предложение имело своей целью оттянуть решение вопроса о крестьянской реформе. Это же предложение до Корфа выдвигалось министерством внутренних дел. Шелгунов ссылается на Корфа, чтобы провести через цензуру свою «общую мысль, что освобождение только тогда удалось, когда правительство оперлось на нижнее течение», как это видно из его письма к В. А. Гольцеву от 28 октября 1885 года («Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 255). Под циркуляром Ланского (министра внутренних дел) подразумеваются царский рескрипт виленскому генерал-губернатору Назимову от 20 ноября 1857 года, которым литовским дворянам «разрешалось» приступить к составлению проекта освобождения крестьян на основе изложенных в рескрипте принципов, и приложенное к нему секретное отношение Ланского, уточнявшее некоторые из этих принципов. Оба документа были размножены и разосланы всем губернаторам и губернским предводителям дворянства «для сведения и соображения на случай, если бы дворянство этих губерний изъявило подобное же желание», что практически означало требование правительства учредить повсюду губернские комитеты.

V

...формации, которая выросла из известного московского кружка.— Из московского кружка Герцена — Огарева сороковых годов.

Стр. 78. *«Но <...> хотя чувство страха — одно из могущественных средств <...>, к нему нужно прибегать изредка».*— Шелгунов излагает текст записи в дневнике Е. Ф. Канкрина (изданном на немецком языке) «Aus dem Reisetagebüchern des Grafen Kankrin, russischen Finanzminister» (Брауншвейг, 1865).

...место ученого лесничего в Лисинском учебном лесничестве.— В селе Лисино Царскосельского уезда Петербургской губ.

Стр. 81. *И у нас Н. В. Верещагин мечтал создать время, когда каждый мужик будет есть за завтраком голландский или швейцарский сыр...*— Известный в шестидесятых годах кооперативный деятель Н. В. Верещагин создал первую в России артельную сыроварню в с. Отроковичи Тверской губ. (в 1866 году), а затем первую школу молочного хозяйства в с. Едимоново той же губ. (в 1871 году). Кооперативные сыроварни получили распространение в северных губерниях России.

...наш мужик по-прежнему ест пушной хлеб, живет в избе, изображение которой вы можете найти у Герберштейна...— Пушной хлеб — хлеб с мякиной. С. Герберштейн — немецкий дипломат XVI века, дважды, в 1517 и 1526 годах, побывал в России и оставил описание своих путешествий и наблюдений — «Записки о Московитских делах» (русский перевод А. И. Малеина, 1908), снабженные картами и зарисовками.

Стр. 82. *Бакунина в Саксонии помнили хорошо...*— В мае 1849 года М. А. Бакунин руководил революционным восстанием в Дрездене; после подавления его был брошен в Кенигштейнскую крепость и в апреле 1850 года приговорен саксонским судом к смертной казни, которую заменили пожизненным заключением. Позднее Бакунин был выдан австрийскому правительству, которое, в свою очередь, выдало его правительству николаевской России.

VI

Стр. 83. *...на место Киселева и по его указанию — Шереметев...*— Речь идет о переменах в министерстве государственных имуществ, в ведении которого находился Лесной департамент, место службы Шелгунова.

Стр. 84. *...после 14 декабря имел некоторые поводы сомневаться в верности Муравьева...*— Муравьев был причастен до 1816 года к кружку лиц, основавших впоследствии «Союз благоденствия». В 1825 году его арестовали, но вскоре освободили за отсутствием улик.

Стр. 89. *Отец Муравьева перевел Тэра...*— Труд крупнейшего немецкого агронома А. Д. Тэера «Grundsätze der rationellen Landwirtschaft», 1809 (в русском переводе — «Основания рационального сельского хозяйства», ч. 1—5, М. 1830—1835).

VII

Стр. 92. *...работали губернские комитеты...*— В состав губернских комитетов для подготовки проектов «об устройстве и улучшении быта помещичьих крестьян» входили губернский предводитель дворянства (председатель), выборные представители от дворян каждого уезда и два помещика от губернии по назначению губернатора (см. также прим. к стр. 77).

VIII

Стр. 97. *Венгрия еще далеко не успокоилась...*— после революции 1848—1849 годов.

Стр. 98—100. *В армии Гарибальди было немало русских <...> Кувязева арестовали на следующей станции.*— В «Русской мысли»

это место подверглось частичным выброскам. В издании 1891 года было полностью изъято цензурой.

Стр. 98. *Через два дня адъютант убежал.*— Адъютантом Гарибальди был писатель Кастелаццо. Об участии А. Н. Якоби в его спасении Шелгунов знал, несомненно, от нее самой: он познакомился с ней еще в шестидесятые годы. Откровенно рассказать в печати историю побега Кастелаццо Якоби смогла только после первой русской революции, в воспоминаниях, опубликованных под псевдонимом: А. Толиверова, Джузеппе Гарибальди (из личных воспоминаний).— «Италии». Лит. сб. в пользу пострадавших от землетрясения в Мессине, СПб. 1909, стр. 21, 32—33.

Стр. 99. *...был схвачен, арестован и заключен в Алексеевский равелин <...> не знаю ничего об его дальнейшей судьбе.*— Поручик М. С. Бейдеман, бежавший из полка и эмигрировавший в 1860 году, работал в типографии «Колокола», а затем отправился в Италию и вступил в отряд гарибальдийцев. В 1861 году при попытке тайно вернуться в Россию для цареубийства (которое, по его мнению, одно лишь могло привести к коренному перелому в русской жизни и дать сигнал к народному восстанию) был арестован на границе и без суда, по личному распоряжению Александра II, заключен в Алексеевский равелин Петропавловской крепости. Бейдеман пробыл там двадцать лет — с 29 августа 1861 до 4 июля 1881 года. Умер в Казанской психиатрической больнице 5 декабря 1887 года.

Стр. 104. *Шведы еще не могут забыть русским Аландских островов.*— В 1809 году Аландские острова, подавляющее большинство населения которых составляли шведы, были по Фридрихсгамскому мирному договору уступлены Швецией России.

Стр. 108. *...я <...> ее <...> отвез к Н. В. Калачеву...*— Статья была помещена в «Юридическом вестнике», 1860, вып. VII—XI.

IX

В «Русской мысли», в главе IX, были сделаны частичные купюры. В издании 1891 года глава IX целиком изъята цензурой и за VIII сразу следует X.

Стр. 108. *...я пробыл за границей год...*— С мая 1858 по май 1859 года включительно.

Не припомню точно, когда я познакомился с Михайловым...— Шелгуновы познакомились с Михайловым в 1855 году (см. стр. 59—60 тома II наст. изд.).

Стр. 109. *Первое его печатное стихотворение явилось в 1847 году в «Литературной газете» Зотова...*— В действительности пер-

вые стихотворения Михайлова, одновременно появившиеся в печати — «Ее он безмолвно, но страстно любил...» и перевод из Гейне «Сосна и пальма»,— были опубликованы еще в 1845 году в «Иллюстрации» (№ 11, 16 июня). Происхождение этой ошибки объясняет письмо Шелгуновой к В. Р. Зотову от 1885 года, в котором она пишет: «Не помните ли вы, когда Мих. Михайлов прислал вам в «Иллюстрацию» свое первое стихотворение? Николай Васильевич пишет о нем и просил меня узнать все поподробнее...» (ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. В. Р. Зотова, ф. 548, оп. 1, д. 251). Зотов, в «Иллюстрации» не сотрудничавший, мог ответить лишь о стихах Михайлова, помещенных в «Литературной газете» А. А. Краевского, где он в 1847 году заведовал литературной частью.

Второю вещью была повесть в прозе: «Адам Адамыч».— Напечатана в журнале «Москвитянин», 1851, сент., кн. 2, окт., кн. 1 и 2. Михайлов работал над повестью в Нижнем Новгороде в конце сороковых годов. «Адам Адамыч» не был вторым произведением Михайлова. Незадолго до этого Михайлов опубликовал в «Москвитянине» свои сатирические сцены «Нянюшка».

...Герцен сострил, что в Москве издается только один журнал, да и тот «Москвитянин».— В статье «Москва и Петербург». Написанная Герценом в 1846 году, она, по цензурным условиям, не могла быть напечатана и ходила по рукам в списках. Впервые опубликована в «Колоколе», 1857, л. 2, 1 авг., стр. 17.

Стр. 111. *Для примера приведу «Вопросы».*— Перевод этого стихотворения Гейне из цикла «Северное море» был напечатан в журнале «Русское слово», 1859, № 11. Последняя строка четверостишия цитируется Шелгуновым неточно. У Михайлова: «И ждет безумец ответа» (М. Л. Михайлов, Сочинения в трех томах, т. 1, Гослитиздат, М. 1958, стр. 388).

Стр. 114. *После Парижского мира...*— Парижский мир, которым закончилась Крымская война 1853—1856 годов, был подписан 30 марта 1856 года на Парижском конгрессе представителями Франции, Австрии, Англии, Пруссии, Сардинии и Турции с одной стороны и России — с другой.

Стр. 116. *...кланяюсь тебе за Палласа до земли.*— Очевидно, Шелгунов снабдил Михайлова трехтомным трудом известного немецкого естествоиспытателя и путешественника XVIII века П. С. Палласа, в течение сорока лет изучавшего Россию: «Reise durch verschiedene Provinzen der russischen Reiches», СПб. 1771—1776.

Твои статьи...— цикл статей Шелгунова о лесоводстве в Германии, опубликованных им в «Газете лесоводства и охоты» под общим названием: «Письма русского лесничего из Германии» (1856, № 21—23, 25, 26, 38, 46, 47; 1857—№ 1, 2, 6, 17).

Стр. 119. *«Мишодьерка»* — отель «Мольер» на улице Мишодьер.

Стр. 119—120. *...Женни Д'Эрикур <...> и тоже Женни, но фамилию ее я забыл <...> Прудона забросали письмами, брошюрами и даже целыми книгами <...> Прудон <...> написал «Pornocratie»...* — Книга Прудона «Порнократия, или Женщины в настоящее время» явилась ответом на книгу доктора медицины Женни Д'Эрикур «Освобожденная женщина» (Париж, 1860) и статьи писательницы Жюльетты Ламберт (в замужестве Адан), в которых они выступали за политическую и интеллектуальную эмансипацию женщины, против ретроградных взглядов Прудона, высказанных им в книге «О справедливости» (1858). (См.: П.-Ж. Прудон, Порнократия, или Женщины в настоящее время, М. 1876, стр. IV—V).

Стр. 121. *Статью эту (о женщинах) Михайлов писал в Трувиле...* — Статью «Женщины, их воспитание и значение в семье и обществе» (см. прим. на стр. 9).

...на литературном вечере в Тамбове... — Вечер происходил в Перми.

Михайлов выступил с резкой статьей... — Со статьей «Безобразный поступок «Века» («Санкт-Петербургские ведомости», 1861, № 51, 3 марта). Об этом см. воспоминания П. И. Вейнберга: «Безобразный поступок «Века» («Исторический вестник», 1900, № 5, стр. 472—489).

X

Стр. 123. *...«была звездная книга дана, и с ним говорила морская волна»...* — Перифраза двустишия из стихотворения Е. Баратынского «На смерть Гете»: «Была ему звездная книга ясна, || И с ним говорила морская волна».

Стр. 124. *...у Прудона он был сотрудником по газете.* — Герцен был не только сотрудником, но и соиздателем Прудона по газете «La Voix du peuple» («Голос народа») в 1849—1850 годах.

Стр. 125. *...почему он разошелся с русской заграничной молодежью.* — Взаимоотношения Герцена с «Молодой эмиграцией» — участниками революционного движения шестидесятых годов, эмигрировавшими из России после наступления реакции, были сложными. «Молодая эмиграция» выдвинула требование изменить программу «Колокола», сделать его органом заграничного центра, который руководил бы революционным движением в России. Фактическими руководителями журнала должны были стать «молодые силы», Герцену и Огареву отводилась роль «главной редакции», однако под этим подразумевались в основном финансовые и издательские функции.

Герцен возражал против идеи руководства русским движением из-за границы. В статье «1865», написанной накануне съезда «Молодой эмиграции» и являвшейся ответом на ее требование превратить «Колокол» в общеэмигрантский орган, Герцен говорил, что, по его мнению, «пропаганда явным образом распадается надвое. С одной стороны, слово, совет, анализ, обличение, теория». Эту функцию может выполнить «Колокол», этому, писал Герцен, «мы посвящаем всю нашу деятельность, всю нашу преданность». Вторую же часть — «образование кругов, устройство путей, внутренних и внешних сношений» — то есть практическую революционную деятельность,— надо осуществлять в России. Это, писал Герцен, «не может делаться за границей» (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XVIII, М. 1959, стр. 313; Б. П. Козьмин, Герцен, Огарев и «Молодая эмиграция».— «Литературное наследство», т. 41—42, М. 1941).

...Тургенев встал, развел руками и сказал: «Не понимаю!» — В своих воспоминаниях о Тургеневе Н. С. Русанов вносит следующие поправки к рассказу Шелгунова: он не излагал перед Тургеневым «социальных теорий», а стремился выяснить отношение писателя к «злобе дня», то есть к возможности революции в России (разговор относится к зиме 1879/80 года — начальному периоду второй революционной ситуации). «...Тургенев не развел руками,— пишет Русанов,— не сказал: «Не понимаю»,— но очень заинтересовался если не убедительностью, то убежденностью оратора» и выразил свое мнение о невозможности революции, «пока нет общего мощного течения, в котором сливались бы отдельные оппозиционные ручьи» (Н. Русанов, Литературные воспоминания.— «Былое», 1906, № 12, стр. 43—44).

Стр. 126. *...то, что Герцен называл «бесцеремонным самолюбием, закусившим удила»...* — в «Былом и думах», часть VII, глава III (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XI, М. 1957, стр. 343).

...Тургенев, приехав в Петербург, прожил в нем две недели и уехал за границу навсегда.— Декабрист Н. И. Тургенев, в момент восстания находившийся за границей, не вернулся в Россию по требованию суда и был заочно приговорен к смертной казни. В 1857 году он был помилован Александром II и в том же году ненадолго приезжал в Россию.

Стр. 127. *...Герцен был занят тогда новым изданием: «Былое и думы».*— Здесь Шелгунов вспоминает, очевидно, не о первой, а о второй встрече с Герценом, так как Герцен приступил к подготовке первого отдельного издания «Былого и дум», в которое вошли I—V части, в 1860 году. Первый и второй томы этого издания вы-

шли в Лондоне в 1861, а третий — в 1862 году, четвертый в Женеве в конце 1866 года.

Стр. 128. *Перед стариком стоял Герцен...* — Этот факт относится к лету 1861 года, когда Герцен впервые после 1852 года приехал в Париж, где его посетил С. Г. Волконский. В «Колоколе» (1864, л. 186, 15 июня) Герцен писал: «Старик, величавый старик лет восьмидесяти, с длинной серебряной бородой и белыми волосами, падавшими до плеч, рассказывал мне о тех временах, о *своих*, о Пестеле, о казематах, о каторге, куда он пошел молодым, блестящим и откуда только что воротился седой, старой, еще более блестящий, но уж иным светом. ...Я слушал, слушал его — и, когда он кончил, хотел у него просить напутственного благословения в жизнь — забывая, что она уже прошла...» В л. 212 «Колокола» от 15 января 1866 года Герцен в заметке, посвященной Волконскому, писал, цитируя приведенные выше слова: «С гордостью, с умилением вспоминаем мы нашу встречу с старцем в 1861 году. Говоря о ней в «Колоколе» (л. 186, 1864), мы боялись назвать старца».

Опыт превращения интеллигентов в мужиков — «хождение в народ», массовое движение революционной молодежи в первой половине семидесятых годов в деревню с целью подготовки путем агитации крестьянской социалистической революции, а с середины семидесятых годов — с целью создания поселений интеллигенции для пропагандистской работы среди крестьян.

XI

Стр. 129. *...он пригласил в редакторы Я. П. Полонского.* — Граф Кушелев встретился с Полонским в Риме в конце 1857 года и предложил ему редактирование «Русского слова». Полонский приступил к обязанностям редактора осенью 1858 года, вернувшись из-за границы («Звенья», М.— Л. 1932, т. I, стр. 298).

...помню заметку «Свистка» по поводу критической статьи Аполлона Григорьева о Лажечникове... — Цитируется заметка Добролюбова «О допотопном значении Лажечникова» («Современник», 1859, № 4, отд. III; «Свисток», № 2, стр. 364—365; см. также: Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в девяти томах, т. VII, Гослитиздат, М.— Л. 1963, стр. 345).

Не знаю о причинах, по которым Я. П. Полонский оставил редакторство «Русского слова»... — Это произошло в июне 1859 года из-за разногласий с помощником Кушелева, критиком Аполлоном Григорьевым, идейные позиции которого («почвенничество») западник Полонский считал для себя неприемлемыми. Полонского заменил А. И. Хмельницкий.

Откуда пришел в журналистику г. Хмельницкий — никто не знал... — Полонский писал Фету о Хмельницком, что он «личность темная и в литературе совершенно неизвестная» («А. А. Григорьев. Материалы для биографии», под ред. В. Княжнина, Пг., Пушкинский дом, 1917, стр. 340).

XII

Стр. 132. *...книжный магазин Серно-Соловьевича (впоследствии Черкесова).* — Один из организаторов «Земли и воли» шестидесятых годов, Н. А. Серно-Соловьевич имел в Петербурге библиотеку, читальню, книжный магазин и книжную лавку. Предприятие это носило не столько коммерческий, сколько политико-просветительный характер. После ареста Н. Серно-Соловьевича оно было передано им брату Владимиру. С 1863 года совладельцем дела стал А. А. Черкесов — участник революционного движения и друг А. Серно-Соловьевича. В 1865 году (по возвращении из-за границы) Черкесов сделался единственным владельцем предприятия, а в 1867 году получил разрешение перевести его на свое имя. В магазине Черкесова тоже можно было получить и запрещенную литературу, и даже герценовский «Колокол». Вскоре, однако, Черкесов был арестован, а магазин закрыт (И. Е. Баренбаум, Н. А. Серно-Соловьевич (1834—1866). Очерки книготорговой и книгоиздательской деятельности, Всесоюзная книжная палата, М. 1961).

Стр. 132—133. *Любопытно, что офицеры дали наибольшее число освободившихся людей <...> общие идеи и общечеловеческие понятия.* — В «Русской мысли» из этого текста сделаны частичные выброски. В издании 1891 года он был полностью изъят цензурой.

Стр. 132. *...В Государственном совете.* — Н. А. Серно-Соловьевич получил образование в Александровском лицее. В 1853 году, после его окончания, поступил в государственную канцелярию в отделение дел государственного секретаря.

Стр. 133. *...речь шла о допущении женщин слушать лекции в университете, против чего, замечу кстати, И. Аксаков написал статью в газете «День».* — В редакционном примечании к статье «Педагогические затруднения» («День», 1862, № 22, 10 марта, стр. 6) говорилось: «Мы не верим, чтоб человек, серьезно преданный науке, захотел присутствия женщин и девиц на своих лекциях в университете. <...> Требовать допущения девиц в университет могут только молодые, очень молодые студенты (с их стороны это понятно!) — и те, которые волочатся за популярностью, за фельетонною славою, за современностью, или, правильнее сказать, — за модою, потому что для них только то современно, что *модно*».

Был поднят вопрос даже о вольном университете.— По всей вероятности, Шелгунов имеет в виду проект преобразования русских университетов на манер французского «Collège de France» (со свободным посещением лекций), с которым выступил в конце 1861 года Н. И. Костомаров (см.: Л. Ф. Пантелеев, Воспоминания, Гослитиздат, М. 1958, стр. 214—215). «Этот проект,— замечает Пантелеев,— не встретил сочувствия как у студентов, так и у большинства профессоров».

Стр. 134. *К этим людям принадлежал Николай Серно-Соловьевич <...> требовался не только смелый и энергический ум, но смелый и энергический характер.*— В издании 1891 года изъято цензурой.

...мысль об устройстве воскресных школ принадлежала профессору Павлову.— Воскресные школы в России появились в начале шестидесятых годов, как одна из форм внешкольного образования народных масс. В их организации деятельное участие принимали П. В. Павлов, Н. И. Пирогов. Большинство преподавателей составляла радикально настроенная интеллигенция (студенты, учителя, писатели, журналисты, чиновники, офицеры), рассматривавшая воскресные школы не только как средство просвещения народа, но и как легальную форму антиправительственной пропаганды.

Серно-Соловьевич умер в Иркутске в 1866 году...— 14 февраля 1866 года в Иркутской тюремной больнице («Литературное наследство», т. 62, М. 1955, стр. 568).

Базарова Тургенев списал с живого человека...— Тургенев в статье «По поводу «Отцов и детей» (1868—1869) писал: «...В основание главной фигуры, Базарова, легла одна поразившая меня личность молодого провинциального врача. (Он умер незадолго до 1860 года.) В этом замечательном человеке воплотилось — на мои глаза — то едва народившееся, еще бродившее начало, которое потом получило название нигилизма» (И. С. Тургенев, Собр. соч. в двенадцати томах, т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 346). В разное время были высказаны различные гипотезы о прототипе Базарова, однако до сих пор этот вопрос остается в литературе невыясненным.

Стр. 135—136. *Я помню хорошо то страшное «доброе старое время» <...> против всякого общественного и семейного деспотизма и насилия.*— В издании 1891 года изъято цензурой.

Стр. 136. *Воспитанник умер, но Пущин остался директором...*— История рассказана Шелгуновым неточно. Воспитанник остался жив, но после наказания вышел из училища. Пущин через год был уволен от службы.

Стр. 137. *Небольшая книжка Маутнера о физическом воспитании...*— «Руководство к правильному физическому и нравственному воспитанию детей в первом возрасте, составленное для образованных матерей» А. Маутнера. Перевел с немецкого А. Кашин. СПб. 1856.

«Мать» г. Жука...— Книга В. Н. Жука «Мать» (1855), пользовавшаяся широкой популярностью в России того времени.

Стр. 139. *...отец — старомодный чиновник <...>. Сын потом сделался известным журналистом...*— Шелгунов говорит об отце публициста В. А. Зайцева — А. Зайцеве, советнике казенной палаты в Костроме.

Стр. 140. *...фиктивным мужем был <...> князь Голицын...*— Имеется в виду фиктивный брак участника радикальных кружков Петербурга князя А. С. Голицына с В. А. Зайцевой. В середине шестидесятых годов В. А. Зайцева уехала в Швейцарию, где сблизилась с русской эмиграцией. Выйдя замуж за врача и этнографа П. И. Якоби, она поселилась в Цюрихе.

Стр. 141. *«Кто меня может обидеть?»* — Неточно приводятся слова Тита Титыча Брускова из комедии Островского «В чужом пиру похмелье» (1856), действ. 2, явл. 5. У автора: «Смеет меня кто обидеть?»

Стр. 141—142. *Вопрос о том, легальная или нелегальная у кого жена <...>кому был закрыт законный брак.*— В издании 1891 года изъято цензурой. В Юбилейном сборнике Литературного фонда не восстановлено.

Стр. 143. *...общественного движения не имеет.*— В тексте «Русской мысли» далее следовало: «В последующих главах читатель найдет описание более частных событий, точнее приуроченных к их хронологическим местам и дающих более яркий цвет шестидесятым годам и резко отличающих их от остальных десятилетий».

XIII

В тексте «Русской мысли» в главах XIII и XIV сделано множество купюр. В издании 1891 года обе главы полностью изъяты цензурой и за главой XII сразу следует XV.

Стр. 146. *Мирное течение нарушилось сейчас же с выходом в 1860 году в отставку князя Щербатова.*— Автор несколько идеализирует деятельность Щербатова, приписывая его личности слишком большую роль, в частности связывая волнения в Петербургском университете с уходом Щербатова в 1858 году в отставку с поста попечителя Петербургского учебного округа и назначением нового

попечителя. В действительности же, студенческие волнения в Петербурге и других университетских городах произошли вследствие общего революционного подъема в стране, а введение новых правил (по которым студентам запрещалось собираться на сходки, участвовать в демонстрациях, иметь свои библиотеки, журналы, кассы и устанавливалась обязательная плата за обучение, чем закрывался доступ в университеты для юношей из бедных семей) послужило лишь поводом.

В автобиографии Костомарова...— В тексте «Русской мысли» за этим следует: «(«Русская мысль», 1885, кн. VI)». Цитируемые Шелгуновым строки — на стр. 36.

Стр. 147. *...г. Спасович в своей статье о Петербургском университете.*— В тексте «Русской мысли» за этим следует: «(В. Спасович, За много лет. 1859—1871 гг.)». Эта книга вышла в Петербурге в 1872 году.

Генерал Г. И. Филипсон <...> служивший на Кавказе у Раевского и пользовавшийся его доверием.— В тексте «Русской мысли» за этим следует: «(в «Русском архиве» 1883 г. печатались воспоминания Г. И. Филипсона)».

Стр. 148. *...советовал им заняться науками, а не сходками.*— В тексте «Русской мысли» за этим следует: «(Спасович)».

Стр. 156. *Гейне говорит, что Франция отрубила тогда свои лучшие головы...*— в «Людвиге Бёрне», кн. 2, письмо из Гельголанда от 1 июля 1830 года (см.: Г. Гейне, Собр. соч. в десяти томах, т. 7, Гослитиздат, М. 1958, стр. 34).

После покушения 4 апреля (Каракозова) Суворов оставил петербургское генерал-губернаторство...— 4 апреля 1866 года член Ишутинского революционного кружка Д. В. Каракозов стрелял в Александра II, рассчитывая, что цареубийство приведет к революционным выступлениям в народе. Покушение не удалось. По приговору верховного уголовного суда Д. В. Каракозова повесили 3 сентября 1866 года на Смоленском поле в Петербурге. Генерал-губернаторство в столице было уничтожено, и функции его перешли в канцелярию обер-полицмейстера. Это было сделано для того, чтобы сместить А. А. Суворова, считавшегося в бюрократических сферах либералом.

...Суворов <...> как вологодский помещик...— У Суворова было имение в Вологодской губернии (А. Пругавин, Н. В. Шелгунов в ссылке.— «Русская мысль», 1910, № 3, отд. II, стр. 17).

Стр. 157. *Лаврова <...> надо было сослать в 1862 году, а не теперь <...> ведь это случай...*— Разговор происходил в 1867 году, после покушений Каракозова (1866) и Березовского (1867) на Александра II (см. след. прим.).

...покушение Березовского? — 6 июня 1867 года, во время пребывания Александра II в Париже, в него стрелял участник польского восстания 1863 года, эмигрант А. Березовский. На суде Березовский сказал о причинах своего покушения: «Я имел на то право, он убил наш край. Он погубил его жителей. Одним росчерком пера он ссылал их в Сибирь... Я основывал свою миссию на чувствах своего сердца, удрученного страданиями родины» («100 лет борьбы польского народа за свободу», вольный перевод Б. Лимановского и др., под ред Ю. Подвинского, М. 1907, стр. 181). Сосланный на каторгу в Новую Каледонию, Березовский через сорок лет, в 1906 году, был помилован, но отказался вернуться во Францию.

XIV

Стр. 158. *Осенью или зимою 1860 года приехал из Москвы <...> к Михайлову Костомаров...* — В. Д. Костомаров приехал в Петербург в начале 1861 года. Дата устанавливается письмом А. Н. Плещеева к Михайлову. «Эту записочку вручит вам Всеволод Дмитрич Костомаров, который имеет до вас дело. <...>, прошу не ругать меня слишком — если будете писать в «Современник» разбор моих стихов». Письмо Плещеева, в свою очередь, датировано на основании упоминания о предстоящей рецензии Михайлова на сборник стихотворений Плещеева (дата цензурного разрешения — 19 декабря 1860 года). Рецензия Михайлова появилась в мартовской книжке «Современника» за 1861 год (см. «Литературный архив. Материалы по истории литературы и общественного движения», т. 6, М.— Л. 1961, стр. 245).

...у него дома, в Москве, есть шрифт и все, что нужно для печатанья. — Типографские принадлежности были перевезены на квартиру Костомарова уже после его поездки в Петербург.

...были, говорят, прокламации на Волге. — Имеются в виду: подложный манифест Александра II от 31 марта 1863 года (был опубликован в 1863 году в «Колоколе», л. 166, 20 июня, под заголовком «Волжский манифест и Россия в осадном положении») и прокламация казанской группы членов «Земли и воли»: «Долго давили вас, братцы», распространявшаяся в ноябре 1862 года сначала в столичных и центральных губерниях, а затем уже на Волге (А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XV, П. 1920, стр. 546—548; «Восстание 1863 года. Материалы и документы», изд. АН СССР, т. II, М. 1963, стр. 299).

По своему содержанию прокламации не отличались тоже ничем, что бы заставляло бояться за их воздействие... — Здесь и далее

(«По отношению к обществу они не имели никакого значения» — стр. 160) Шелгунов вставляет подобные фразы исключительно из цензурных соображений.

Стр. 159. *Я, впрочем, не знаю, за что судился Костомаров и за что он был разжалован в солдаты.*— В. Д. Костомаров был арестован 26 августа 1861 года по делу нелегального печатания в Москве, после чего стал на путь предательства и провокации. Вся дальнейшая его история — цепь доносов, подложных писем и инсинуаций (см. подробнее об этом в комментариях к «Запискам» Михайлова, том II наст. изд.).

...слух, что на Костомарова донес брат.— Н. Д. Костомаров действительно 9 августа 1861 года послал в III Отделение донос на участников московской тайной студенческой типографии, в том числе и на своего брата.

Во всей костомаровской истории было что-то темное.— Шелгунов понимал, что Костомаров — предатель, но не располагал достоверными фактами, которые стали известны лишь впоследствии, когда был получен доступ к архивам III Отделения. Тогда были обнаружены все доносы и фальшивки, состряпанные Костомаровым, его расписки в получении денег от III Отделения, выяснена полностью роль предателя и провокатора, которую Костомаров сыграл сначала в деле Михайлова, а затем Чернышевского и Шелгунова.

В зиму 1860/61 года Костомаров приезжал в Петербург раза четыре.— Из показаний В. Костомарова, его письма к Н. И. Соколову и других документов видно, что впервые он был у Михайлова и Шелгуновых в начале 1861 года (см. прим. к стр. 158). Второй раз он приезжал вместе с Сороко и Петровским во второй половине февраля того же года. Третий его приезд относится к 20 августа, а не к зиме.

Летом 1861 года мы с Михайловым уехали за границу...— Письмо Михайлова к Костомарову от 20 апреля 1861 года позволяет уточнить дату отъезда Шелгуновых и Михайлова за границу: 25 апреля (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов, М.— П. 1923, стр. 159).

Стр. 161. *Эгоистка* — легкий экипаж для одного седока.

Вечером я поехал к Добролюбову и передал ему все подробности обыска и ареста.— Добролюбов, как и весь руководящий круг «Современника», был в курсе событий дела Михайлова. 1 сентября 1861 года у Михайлова был первый обыск, о котором Добролюбов писал Некрасову 9 сентября: «У Михайлова был жандрамский обыск с неделю тому назад; с тех пор я каждый день встречаю людей, уверяющих, что он арестован. Третьего дня вечером я видел Михайлова еще на свободе, а вчера опять уверяли меня, что он взят. Оно

бы и не мудрено — в течение ночи все может случиться, да ведь взять-то не за что — вот беда! Михайлова взять — ведь это курам на смех!» (Н. А. Добролюбов, Собр. соч., т. 9, ИХЛ, М.—Л. 1964, стр. 484). Последняя фраза написана, конечно, в виду возможной перлюстрации, а письмо в целом — для предупреждения Некрасова, находившегося в это время в Грешнево.

Толпа была большая, по крайней мере, человек до ста... — В тексте «Русской мысли» далее следовало: «(если я только не преувеличиваю)».

...решили подать министру народного просвещения <...> петицию... — Петиция литераторов была вручена министру народного просвещения Е. В. Путятину 15 сентября 1861 года. В ней содержалась просьба «испросить освобождение г. Михайлова, а если это невозможно, то, по крайней мере, исходатайствуете дозволение назначить к нему в помощь, по нашему избранию, депутата для охранения его гражданских прав во все время судебно-полицейского исследования поступков, в которых он обвиняется». На следующий день такого же характера заявление поступило от членов редакции «Энциклопедического словаря» (во главе с П. Л. Лавровым), в котором сотрудничал Михайлов. (Полный текст заявлений опубликован М. К. Лемке в: А. И. Герцен, Поли. собр. соч. и писем, т. XI, П. 1919, стр. 263—265).

...Громека <...> с силой адской // Все о полиции писал». — С. С. Громека — в то время сотрудник «Отечественных записок», где вел отдел «Современная хроника». Статьи о полиции печатал в «Русском вестнике» в 1857—1859 годах. До вступления на литературное поприще Громека служил железнодорожным жандармским офицером.

...было составлено и наше прошение. — Для организации подобного же адреса от московских литераторов в Москву прибыли Чернышевский и Громека. Однако под давлением С. Соловьева и М. Каткова, у которого собрались московские литераторы на совещание, решено было отказаться от «вмешательства в дело, никому, в сущности, не известное» (Е. М. Феоктистов, За кулисами политики и литературы, Л. 1929, стр. 100).

Стр. 162. *Путятин, уже достаточно искушенный университетскими историями...* — В момент подачи ходатайства литераторов (15 сентября) «университетские истории» еще не начались.

И вот в разных кружках пошла подписка... — Еще в конце ноября 1861 года агент III Отделения доносил: «Дошли сведения, что в городе открыта негласная подписка в пользу Михайлова и что до сих пор собрано уже до пяти тыс. руб. серебром, но кто именно занимается собиранием этих денег — еще неизвестно. Должно пола-

гать, что дело это затеял подполковник Шелгунов» («Политические процессы 60-х гг.», под ред. Б. П. Козьмина, М.—П. 1923, стр. 287). Из перлюстрированного письма Шелгуновой к писателю М. В. Авдееву видно, что именно Шелгуновы организовали подписку и лотерею. Для помощи Михайлову и В. А. Обручеву 2 марта 1862 года в Петербурге был устроен литературный вечер («Звенья», т. II, М. 1933, стр. 450).

Стр. 163. ...*суд по политическому преступлению и над человеком известным* <...> *не мог не повышать впечатлительности* <...> *наэлектризованного общества.*— В агентурном донесении от 5 октября 1861 года сообщалось: «Вчерашнего числа вечером в клубах Купеческом и Немецком много толковали об участи литератора Михайлова. Говорили, что он умер вследствие сильных приемов опиума, данных ему по приказанию графа Шувалова, придумавшего этот новый образ пытки. Михайлову будто бы давали опиум в той надежде, что он, придя в беспамятство, выскажет какие-нибудь тайны. Если, говорили, граф Шувалов не прикажет анатомировать его публично, то на него падет страшное пятно» («Русское прошлое», сб. 2, М.—П. 1923, стр. 149—150). Такого рода слухи беспокоили III Отделение, оно запросило Александра II о разрешении предать Михайлова уголовному суду и поясняло, что «исход этот весьма желателен в опровержение слуха, что Михайлов у нас отравлен и похоронен без вскрытия» («Политические процессы 60-х гг.», под ред. Б. П. Козьмина, М.— П. 1923, стр. 284).

Дело Михайлова <...> *кончилось в два месяца.*— Сенатское следствие по делу Михайлова закончилось к 31 октября. Определение сената было вынесено 13 ноября, в Государственном совете оно рассматривалось 21 ноября и было утверждено царем 23 ноября. Михайлову окончательный приговор был зачитан в сенате 7 декабря (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов. М.—Пг. 1923, стр. 122, 131—132).

...*государь помиловал и уменьшил срок до семи лет.*— По приговору сената, Михайлов подвергался лишению всех прав состояния, ссылке в каторжные работы на двенадцать лет и шесть месяцев и, после отбытия каторги, к поселению в Сибири навсегда. Александр II уменьшил срок каторги до шести лет (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х годов, М.— Пг. 1923, стр. 131).

Стр. 164. ...*и только со станции Шальдихи* <...> *Михайлова повезли в его возке...*— Вблизи этой станции находилось имение Михаэлисов — Подолье. Власти ожидали нападения на жандармов для устройства побега Михайлова и расстояние от Петербурга до Шальдихи считали наиболее опасным.

...написал <...> к кому именно — я не знаю. — Суворов писал о Михайлове генерал-губернатору Восточной Сибири М. С. Корсакову. Об этом сообщает в главе «Иркутская тюрьма» своих «Записок» Михайлов (см. том II наст. изд.).

...недоразумения, имевшие печальный конец... — Шелгунов намекает на следственное дело о послаблениях, оказывавшихся Михайлову во время его пребывания в Тобольском остроге (см. том II наст. изд., комментарий к «Запискам»).

Стр. 165. *...Герцен не одобрял прокламации «К молодому поколению», и мне думается, что он боялся за Михайлова.* — Свое отношение к печатанию прокламации Герцен выразил и лично автору — Шелгунову, который был у него в Лондоне летом 1861 года. В статье «Нашим врагам», напечатанной во французском «Kolokol» (1868, № 14—15, 1 декабря), Герцен писал о Михайлове: «Мы заклинали его не печатать своей прокламации. Правительство убило его, но *остались живые свидетели*». Говоря о «живых свидетелях», Герцен имел в виду, конечно, в первую очередь Шелгуновых (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XX, кн. 1, изд. АН СССР, М. 1960, стр. 421).

...некто Николай Иванович Соловьев. — Ошибка: не Соловьев, а Соколов.

...и меня (следовало обвинение тоже в прокламации). — Костомаров выдал Шелгунова раньше, чем сфабриковал это письмо. Последнее датировано 5 марта 1863 года, а распоряжение об аресте Шелгунова в Иркутске и доставке в III Отделение было сделано 21 февраля.

Это письмо <...> дало основание для двух новых судебных дел. — Шелгунов имеет в виду дело Чернышевского и свое, но это верно только в отношении Чернышевского.

Стр. 166. *Раз мы <...> с Костомаровым <...> оба должны были писать поочереди.* — На очной ставке в 1863 году, когда Костомаров уличал Шелгунова в написании прокламации «Русским солдатам...», а Шелгунов отвергал это показание.

XV

Стр. 167. *Я приведу отзыв о «Веке» Добролюбова (в «Свистке»)...* — Из статьи «Свисток», восхваляемый своими рыцарями» («Современник», 1862, № 1; «Свисток», № 8).

Стр. 168. *Как и кому пришла мысль издавать артельный журнал, не припомню...* — Еще в 1861 году организовалась артель писателей для издания газеты «Мирской толк», независимой от литературных предпринимателей, но власти не дали разрешения на изда-

ние. Тогда был приобретен журнал «Век», издававшийся П. И. Вейнбергом. Первый номер артельного «Века» вышел 18 февраля 1862 года. В состав артели входило двадцать шесть писателей: Елисеев (редактор), Шелгунов, Н. Серно-Соловьевич, А. Энгельгардт, Щапов, Помяловский, Лесков, братья В. С. и Н. С. Курочкины, Н. Успенский и другие. Вскоре среди членов артели возникли разногласия на политической почве, так как наряду с литераторами радикального направления в редакции находились и либералы умеренного толка, как, например, К. К. Арсеньев. «Век» просуществовал очень недолго — последний его номер (17) вышел 29 апреля (Б. П. Козьмин, Артельный журнал «Век».— «Из истории революционной мысли в России», М. 1961, стр. 68—98; К. К. Арсеньев, Из далеких воспоминаний.— «Голос минувшего», 1913, № 1).

Стр. 169. *Из воспоминаний Шашкова я знаю, что <...> слово Г. З. Елисеева <...> создавало новое направление.*— Будущий писатель С. С. Шашков в 1860 году слушал лекции Елисеева, занимавшего в Казанской духовной академии кафедру русской истории (С. С. Шашков, Автобиография.— «Восточное обозрение», 1884, № 30).

Стр. 170. *Лекция эта начиналась так...*— Первая лекция Щапова в Казанском университете — «Общий взгляд на историю великорусского народа» — состоялась 12 ноября 1860 года. Полностью ее текст впервые опубликован лишь после Октябрьской революции («Известия общества археологии, истории и этнографии при Казанском государственном университете им. В. И. Ульянова-Ленина», т. XXXIII, вып. 2—3, Казань, 1926). «Главный фактор в истории есть сам народ, дух народный, творящий историю <...>,— подчеркивал Щапов,— сущность и содержание истории есть жизнь народная». (Там же, стр. 12).

...Щапов должен был оставить Казань...— 12 апреля 1861 года студенты Казанского университета устроили панихиду по жертвам крестьянских выступлений в селе Бездна, Спасского уезда Казанской губернии, руководимых Антоном Петровым. В речи на панихиде Щапов сказал, обращаясь к погибшим участникам восстания: «Вы первые нарушили наш сон, разрушили своей инициативой наше несправедливое сомнение, будто народ наш не способен к инициативе политических движений. <...> Земля, которую вы возделывали, плодами которой питали нас, которую теперь желали приобрести в собственность и которая приняла вас мучениками в свои недра, эта земля воззовет народ к восстанию и к свободе». Свою речь Щапов закончил возгласом: «Да здравствует демократическая конституция!» По личному указанию Александра II, Щапова арестовали и отправили в Петербург. Синод постановил подвергнуть его

«вразумлению и увещеванию в монастыре». Лишь под давлением демократической общественности и печати (в частности, выступлений «Колокола»,— 1861, л. 102, 1 июля, стр. 860; 1862, л. 119—120, 15 января, стр. 1000) приговор был отменен. В начале 1863 года Щапов, «как человек неблагонамеренный», по постановлению особой комиссии был выслан в Иркутск «с учреждением за ним в месте нового жительства секретного надзора и с воспрещением въезда в столицы» («А. П. Щапов в Иркутске. (Неизданные материалы)», Иркутск, 1938, стр. 89). Щапов умер 27 февраля 1876 года, после двенадцати лет сибирской ссылки.

Стр. 171. *...в мае я уехал из Петербурга...*— В двадцатых числах мая 1862 года Шелгуновы выехали из Петербурга в Сибирь к сосланному Михайлову. Приблизительная дата отъезда —24—25 мая — устанавливается числом, которым помечен Некрасовым отрывок из стихотворения «Рыцарь на час», с припиской Михайлову: «24 мая, 6 ч. утра». Стихотворение это было переслано Некрасовым Михайлову через Шелгуновых и, по всей вероятности, вручено им 24 мая, накануне их отъезда.

XVI

Стр. 172. *...Кельсиев оставил Россию, чтобы ехать на службу в Ситху.*— В. И. Кельсиев служил чиновником в Российско-американской кампании. Ситка (Ситха) — главный город Аляски до продажи ее царским правительством Соединенным Штатам Америки в 1867 году.

Стр. 173. *«Сборник о расколе»* — «Сборник правительственных сведений о раскольниках», составленный Кельсиевым. Был издан в Лондоне в 1860—1862 годах Трюбнером в четырех выпусках.

Стр. 174. *Работу эту он, кажется, и не кончил.*— Перевод Библии был Кельсиевым выполнен и под псевдонимом «Вадим» в 1860 году издан в Лондоне Трюбнером с предисловием самого Кельсиева.

Стр. 175—178. *Я жил в то время на Царскосельском проспекте (Михайлов был уже увезен в Сибирь) в доме Серно-Соловьевичей <...> на пути куда-нибудь подальше.*— В издании 1891 года изъято цензурой. После осуждения Михайлова Шелгуновы оставили свою квартиру, в которой жили вместе с ним, и переехали в дом братьев Серно-Соловьевичей — сначала один Шелгунов, а затем, после ликвидации имущества, и Шелгунова с ребенком. В очередном агентурном донесении от 2 января 1862 года сообщалось: «Подполковник Шелгунов переехал к Серно-Соловьевичу; жена же его осталась еще с одною служанкою на прежней своей квартире, у Харла-

мова моста. Они продали много вещей, но об отъезде их еще ничего не слыхать. Доску свою на дверях, равно и доску Михайлова, сняли только на днях» («Красный архив», т. I (XIV), М.—Л. 1926, стр. 106).

Стр. 176. *...место интеллигентного лакея занял деревенский парень <...> а в кухарки была отрекомендована девушка (уже немолодая) из верной и хорошей мещанской семьи.*— О кухарке (Леоновой), лакее (Михаиле Игнатьеве) и об их показаниях по делу Н. А. Серно-Соловьевича см.: Мих. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб. 1908, стр. 151—153.

...Николай Серно-Соловьевич был арестован.— В связи с перехваченными письмами к нему от Герцена, Огарева, В. Кельсиева, свидетельствовавшими о его участии в революционных конспирациях, а не из-за слухов о приезде Кельсиева в Россию (Мих. Лемке, Процесс 32-х.— «Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб. 1908).

Стр. 178. *...у Краевского...*— В издании 1891 года: «у одного известного журналиста». Печатается по тексту «Русской мысли».

...их не постигли никакие неприятности.— Не совсем так. У Д. Е. Кожанчикова по делу «о сношениях с лондонскими пропагандистами» был сделан 22 ноября 1862 года обыск, он привлекался к дознанию и был отдан под негласный надзор («Деятели революционного движения в России», т. I, ч. 2, М. 1928, стр. 174).

...приехал к нему брат, убежавший из России...— И. И. Кельсиев, один из деятелей студенческого движения шестидесятых годов, член «Земли и воли», одаренный юноша, которого высоко ценили Герцен и Огарев. Он 25 мая 1863 года бежал из тюрьмы в Москве (в Пречистенском частном доме) с помощью Центрального комитета «Земли и воли» и был переправлен через границу («Литературное наследство», т. 62, М. 1955, стр. 220—222).

...еще два эмигранта (офицеры)...— П. И. Краснопевцев и М. С. Васильев, офицеры русской армии в Польше, не пожелавшие поднять оружие против участников польского восстания 1863 года и эмигрировавшие во Францию. П. И. Краснопевцев был членом революционной военной организации.

Стр. 179. *Получив прощение, Кельсиев издал брошюру, возмутившую всех резкостью перехода от одного берега к другому...*— «Кельсиева простить. Полагаю, что действительно может быть с пользою употреблен»,— начертал в августе 1867 года Александр II на прошении Кельсиева о помиловании. Кельсиев занялся литературной деятельностью, издал, в частности, книгу «Из пережитого и передуманного» (СПб. 1868). Русская радикальная пресса осудила эту ренегатскую книжку. Так, например, в «Неделе» появились ста-

ты Д. Минаева «Для чего люди иногда эмигрируют» (1868, № 27); «Осенние листы русской журналистики» (1868, № 46); «Журнальные арабески» (1869, № 4). В них содержалась резкая критика поведения Кельсиева, для которого, по словам Минаева, теперь «закрыты двери всякого порядочного дома».

Стр. 180. *Некрасовцы* — секта донских казаков-старообрядцев, в XVIII веке ушедших под предводительством атамана Игнатия Некрасы от гонений царского правительства сначала на Кубань, затем в Турцию. Некрасовцам предоставили в Турции различные льготы, за которые они обязаны были принимать участие в войнах против России.

Пользуюсь характеристикой Гончара, сделанной Герценом. — В «Былом и думах» (часть VII, глава 2). Гончар пробыл у Герцена не три дня, а более — с 14 по 19 августа 1863 года. В дальнейшем Гончар обратился с адресом к Александру II, пытаясь добиться прекращения преследований старообрядцев. Проект этого адреса, посланный Гончаром Герцену и Огареву, вызвал их возражения. Во время пребывания в Париже Гончар был на приеме не у Наполеона III, как ниже сообщает Шелгунов, а у министра иностранных дел Франции Э. Тувенеля («Литературное наследство», т. 41—42, М. 1941, стр. 367—369).

Стр. 181. *Кельсиевскую «коммуну» <...> московская охранительная печать раздула в какую-то «агенцию»...* — 2 сентября 1865 года в газете Каткова «Московские ведомости» появилась статья «Агенция Герцена в Тульче», в которой Герцен и его «агенты» (Кельсиев и его товарищи) обвинялись в организации пожаров в России в 1865 году. Герцен разоблачил эту клевету в статьях: «Агентство Герцена в Тульче и «Московские ведомости» и «Агентство в Тульче» («Колокол», 1865, л. 204, 15 сентября, и л. 207, 1 ноября).

Стр. 182. *Я плыл на пароходе от Тюмени до Томска.* — В Сибирь, к сосланному в каторгу Михайлову.

...я ему говорил о «точке жизни» Флуранса... — то есть об открытии французского физиолога Ж.-П. Флуранса, экспериментальным путем установившего в 1846—1847 годах функции различных отделов головного мозга. В частности, Флуранс выяснил, что дыхательный центр («точка жизни») организма находится в продолговатом мозгу.

Стр. 184. *...лица официальные сообщали о намерениях <...> правительства тем, кому это менее всего следовало знать (известное дело о тринадцати тверских мировых посредниках).* — В феврале 1862 года тверское губернское дворянство обратилось с прошением к Александру II, где говорилось, что закон от 19 февраля 1861 года

несостоятелен и землю необходимо передать крестьянам в собственность. В прошении отмечались «несостоятельность сословных привилегий и несостоятельность правительства удовлетворять общественным потребностям». Тринадцать мировых посредников Тверской губернии, во главе с Н. А. и А. А. Бакуниными, подписавших это прошение, послали его в главный комитет по крестьянскому делу и во все мировые съезды. По распоряжению правительства все тринадцать человек были отрешены от должности, арестованы и отправлены в Петербург, где заключены в крепость. После освобождения их оставили под строгим полицейским надзором. Официальным лицом, сообщившим тверским посредникам намерения правительства, был, по предположению С. А. Макашина, М. Е. Салтыков, занимавший в то время пост тверского вице-губернатора. Именно связь с делом мировых посредников, не оставшаяся тайной для правительства, и заставила, видимо, Салтыкова совершенно неожиданно уйти в отставку с занимаемого им поста. (Прошение об отставке датировано 9 февраля 1862 года.)

Стр. 185. *...кроме некоторых органов, стоящих зато и среди печати изолировано...*— Намек на издания Каткова «Русский вестник» и «Московские ведомости», а также на «Гражданин» князя Мещерского, занявший в восьмидесятых годах крайне реакционные позиции.

Стр. 185—186. *Кроме канцелярских тайн литературного характера <...> сила уходит на мелочи, а подчас на дрязги.*— В издании 1891 года изъято цензурой.

Стр. 185. *Так, был предупрежден Н. Утин, убежавший за границу, был предупрежден и Александр Серно-Соловьевич, поступивший так же.*— В письме к отцу Н. Утин сообщал из Брюсселя 5 июля 1863 года: «Почти за неделю до моего ухода из Петербурга я был предупрежден как частными лицами, так и одним из лиц, которым почти всегда известно, кого правительство намерено арестовать <...>. Наконец в среду 1 мая <...> меня остановил один господин: «Вы — Николай Утин?» — «Я».— «Вам угрожает опасность слишком серьезная, вас решились погубить... Вы избраны жертвой...» («Литературное наследство», т. 62, М. 1955, стр. 617). Сведения о побеге за границу А. А. Серно-Соловьевича неверны. Его отъезд весной 1862 года не носил вынужденного характера, и он предполагал скоро вернуться в Россию, что видно из двух писем. Шелгунов в перехваченном письме к Н. А. Серно-Соловьевичу от 29 июля 1862 года (из Иркутска) запрашивал: «Что делает и где А. А.? Когда вы ждете его возвращения?» (Мих. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб. 1908, стр. 99. На это место письма обратил наше внимание И. Б. Володарский.— *Э. В.* и *Л. Р.*). Брат Серно-Соловьевичей **Кон-**

стантин писал А. А. Серно-Соловьевичу, что его по возвращении ждет арест, и просил его покуда не приезжать в Петербург (Там же, стр. 94).

Он был именно способен ехать среди белого дня на рысаке по Невскому и разбрасывать направо и налево прокламации.— Речь идет о распространении прокламации «К молодому поколению». В «Первоначальных набросках» (см. стр. 246 наст. тома) Шелгунов указывает на А. А. Серно-Соловьевича как на участника распространения этой прокламации. А в главе XIV «Из прошлого и настоящего» этот факт рассказывает так: «...Про прокламацию «К молодому поколению» говорили, что какой-то господин ехал на белом рысаке по Невскому и раскидывал ее направо и налево» (см. стр. 160 наст. тома). А. Серно-Соловьевич продолжал и позже заниматься распространением прокламаций, как свидетельствует его собственное признание в письме к Н. А. Тучковой-Огаревой (письмо относится к сентябрю — октябрю 1865 года): «В формулярный список мой можно записать, что все то время, когда в России господствовал террор, когда на каждом перекрестке Петербурга стоял часовой, никто не решался разносить прокламации,— один я взялся за это» («Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 739).

Вначале Серно-Соловьевич сблизился с Герценом, но потом разошелся и кончил печатной с ним полемикой.— В брошюре «Наши домашние дела» (1867) А. Серно-Соловьевич дал крайне резкую и в ряде положений глубоко ошибочную и несправедливую оценку политической деятельности Герцена. В частности, Серно-Соловьевич утверждал, будто Герцен во второй половине шестидесятых годов превратился в «мертвого человека», не верящего в революцию,— что, как известно, не соответствовало действительности. В брошюре Серно-Соловьевича сказалось непонимание огромной исторической роли Герцена в русском революционном движении второй половины XIX века, свойственное и некоторым другим деятелям «Молодой эмиграции» (см. прим. к стр. 125).

Стр. 186. *...и кончилась его боевая, деятельная и рано погибшая, несчастная жизнь.*— Узнав от врача о том, что у него нет надежды на выздоровление, А. Серно-Соловьевич бежал из больницы и покончил жизнь самоубийством 4 августа 1869 года. В своем предсмертном письме к друзьям он писал: «Я люблю жизнь и людей и покидаю их с сожалением. Но смерть — это еще не самое большое зло. Намного страшнее смерти быть живым мертвецом» («Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 707).

Стр. 187. *...он среди оглушительных криков публики кончил чтение и сошел со сцены.*— П. В. Павлов в своей речи на вечере 2 марта 1862 года, посвященной тысячелетию России, охарактеризовал ее

состояние в последние два столетия как чрезвычайно тяжелое. Заявив, что «чаша бедствий преисполнилась», что настала пора «современных правительственных реформ», Павлов призвал «образованные, достаточные классы» к сближению с народом, так как это единственный выход, могущий «спасти Россию от великих бедствий» («Сборник статей, недозволенных цензурою в 1862 г.» СПб. 1862, т. II, стр. 351—354). Свою речь Павлов закончил фразой, отсутствовавшей в тексте, представленном на предварительную цензуру: «Имеющий уши — да слышит». На третий день после своего выступления он был арестован и выслан в Ветлугу, где пробыл до 1864 года, а затем еще два года провел в ссылке в Костроме.

XVII

Стр. 188. *...слух мог быть пущен даже намеренно кем-нибудь...*— Реакционная русская пресса пыталась связать петербургские пожары с появившейся в эти дни прокламацией «Молодая Россия» и обвиняла в поджогах студентов и поляков, а их вдохновителями объявила «лондонских зажигателей» — издателей «Колокола» Герцена и Огарева. Герцен сразу заподозрил в этой кампании политическую провокацию и неоднократно спрашивал в «Колоколе», найдены ли «зажигатели». В своем четвертом запросе от издателей «Колокола» он писал: «Зажигателей вне полиции не нашли, а в полиции *не искали»* (А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XVI, изд. АН СССР, М. 1959, стр. 262). В. И. Ленин впоследствии писал: «...Есть очень веское основание думать, что *слухи о студентах-поджигателях распускала полиция»* (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 29).

...в дорожном мешке <...> Костомарова нашлась забытая им записка <...> «Вместо срочнообязанные, наберите везде временнообязанные Н. Ч.».— Полный текст сфабрикованной Костомаровым фальшивки следующий: «В. Д. Вместо «срочно-обяз.» (как это по непростительной оплошности поставлено у меня) набирите везде «временнообяз», как это называется в положении. Ваш Ч.» М. К. Лемке, доказывая поддельность записки, обратил внимание на то, что слово «наберите» было написано с грубыми орфографическими ошибками (Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.—Пг. 1923, стр. 297). Ю. М. Стеклов, также считавший записку фальшивкой, заметил, что это слово может быть прочитано и как «набирайте» или «набирать» и что именно так оно было прочитано в сенате (Ю. М. Стеклов, Н. Г. Чернышевский, т. II, М.— Л. 1928, стр. 416). Сам Чернышевский отвергал принадлежность ему этой записки на основании различия с его почерком.

Стр. 189—190. *Начиная с Шедо-Ферроти <...> и кончая Николаем Карло́вич <...> не имеется о шестидесятых годах ничего, кроме полемических увлечений и памфлетов.*— Шедо-Ферроти — псевдоним барона Ф. И. Фиркса, реакционного публициста, чиновника особых поручений министерства финансов, выступившего в 1861—1862 годах против Герцена с брошюрой: «Письмо А. И. Герцена к русскому послу в Лондоне с ответом и некоторыми примечаниями Д. К. Шедо-Ферроти» (см.: А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, т. XV, изд. АН СССР, М. 1958, стр. 402—403, и т. XVI, М. 1959, стр. 87, 381). Книжка Фиркса, о которой говорит Шелгунов,— «Le Nihilisme en Russie», Berlin — Bruxelles, 1867. Николай Карло́вич — псевдоним русского эмигранта И. Г. Головина, выпустившего в Берлине в 1879—1880 годах книгу «Die Entwicklung des Nihilismus». О Головине см. в «Былом и думах» Герцена (часть VII, глава 63).

Стр. 190. *Полемические брошюрки г. Цитовича* — клеветнические памфлеты профессора Одесского университета П. П. Цитовича «Ответ на письма к ученым людям» (1878), «Что делали в романе «Что делать?» (1879), «Разрушение эстетики» (1879) и другие, направленные против прогрессивной литературы и журналистики. Деятельность Цитовича была оценена правительством: в 1880 году он получил субсидию на издание антиреволюционной газеты «Берег», которая, однако, вскоре потерпела крах, не найдя достаточно подписчиков.

Стр. 191. *«Трагикомедия человеческой истории»* — «Комедия всемирной истории. Исторический очерк событий с 1848 по 1851 год» немецкого историка И. Шерра.

Стр. 192. *«О эстетических отношениях искусства к действительности».*— Диссертация Чернышевского называлась «Эстетические отношения искусства к действительности».

...рядом со мной стоял Сераковский...— В литературе имеются указания на ошибочность этого утверждения: защита Чернышевским диссертации происходила 10 мая 1855 года, когда Сераковский находился в Оренбурге, в ссылке (Д. Косарик, Життя і діяльність Т. Шевченка, Киев, 1955, стр. 141, 146).

...в польском восстании...— в восстании 1863 года.

...Плетнев <...> обратился к Чернышевскому с таким замечанием: «Кажется, я на лекциях читал вам совсем не это!» — П. А. Плетнев с 1832 года занимал кафедру русской словесности в Петербургском университете, с 1840 по 1861 год являлся его ректором. Чернышевский учился в Петербургском университете с 1846 по 1850 год.

Стр. 193. *Я напомню читателям главное содержание диссертации.*— С 1865 по 1905 год этот труд Чернышевского не печатался

(в 1888 году была сделана попытка к переизданию, не увенчавшаяся успехом). Таким образом, изложение основных положений диссертации, данное Шелгуновым в его воспоминаниях, представляло огромную ценность для читателей того времени.

Стр. 196. *...о подвигах Разина* <...> *монография Н. Костомарова была уже в продаже.*— Книга «Бунт Стеньки Разина» (1858).

...я принялся за популярную статью из русской истории: «Россия до Петра Великого».— Напечатана в «Русском слове», 1864, №№ 1 и 2.

Стр. 197. *...ряд статей о гоголевском периоде русской литературы...*— «Очерки гоголевского периода русской литературы» Чернышевского печатались в «Современнике», 1855, № 12; 1856, №№ 1, 2, 4, 7, 9—12.

...ряд статей по Шлоссеру из его «Истории XVIII столетия».— По поводу труда немецкого историка Ф. Шлоссера «История XVIII столетия и XIX до падения французской империи» (1823) в «Современнике» были напечатаны три статьи: Добролюбова (1858, № 12; 1859, № 6) и Чернышевского (1860, № 6).

Стр. 198. *Особенную услугу оказал «Современник» общественному сознанию своей полемикой с «Экономическим указателем»...*— Имеются в виду две статьи Чернышевского «О поземельной собственности» («Современник», 1857, №№ 9 и 11), написанные по поводу статей И. В. Вернадского в «Экономическом указателе» (1857, №№ 22, 25, 27 и 29).

«Современник» же познакомил русское общество с исследованием Гакстгаузена.— Шелгунов говорит о статье Чернышевского («Современник», 1857, № 7) по поводу трехтомного «Исследования о внутренних отношениях народной жизни и, в особенности, сельских учреждениях России» (1847—1852) немецкого ученого А. Гакстгаузена.

...«Современник» дал перевод Стюарта Милля...— В 1860 году в «Современнике» печатались «Основания политической экономии» Д. Милля (1848) в переводе и с примечаниями Чернышевского (приложения к №№ 2—4, 6—8, 11). В 1861 году Чернышевский опубликовал «Очерки из политической экономии (по Миллю)» (№№ 6—10, 12), где приводились большие выдержки из Милля.

«Полемические красоты» — статья Чернышевского «Полемические красоты. Коллекция первая. Красоты, собранные из «Русского вестника» («Современник», 1861, № 6).

Стр. 199. *Итальянский поход императора Павла* — участие русской армии в войне союзников против Франции в 1799 году, происходившей на территории Италии.

Венский конгресс — собрался в сентябре 1814 года, после разгрома наполеоновской Франции коалицией европейских держав и закончился в июне 1815 года. Конгресс ставил своей задачей восстановление феодальных порядков и ряда прежних династий в государствах, ранее покоренных Наполеоном, борьбу с революционным движением, удовлетворение территориальных притязаний основных стран-победительниц и, наконец, передел Европы и колоний.

Священный союз — реакционный союз Австрии, Пруссии и России, заключенный в Париже 26 сентября 1815 года с целью обеспечить незыблемость решений Венского конгресса. В дальнейшем к союзу присоединились и другие страны Западной Европы.

Добролюбов <...> его «Темное царство» <...> Бессознательное творчество Островского... — Отголосок существовавшего в шестидесятых годах у некоторых критиков ошибочного представления о том, что Добролюбов будто бы «открыл» объективный смысл творчества Островского не только читающей публике, но и самому писателю. Между тем Добролюбов считал Островского мыслящим и зрелым художником, народным писателем, обладавшим глубоким чувством человеческой и художественной правды. В «Темном царстве» (1859) критик говорил о «полноте изображения русской жизни» Островским, о его способности «заглянуть в самую глубь души человека и подметить не только образ его мыслей и поведения, но самый процесс его мышления», указывая, что Островскому присуще «чрезвычайно гуманное воззрение на самые, по-видимому, мрачные явления жизни и глубокое чувство уважения к нравственному достоинству человеческой натуры» (Н. А. Добролюбов, Собр. соч. в девяти томах, т. V, Гослитиздат, М.— Л. 1962, стр. 56).

Стр. 200. *...замечание Гейне о неподвижном взгляде богов.* — В статье «Романтическая школа»: «...Глаза богов всегда неподвижны. Это свойство имели глаза Наполеона» (Г. Гейне, Собр. соч., т. 6, Гослитиздат, М. 1958, стр. 186). Шелгунов пользовался изданием: «Сочинения Г. Гейне в переводе русских писателей под редакцией П. И. Вейнберга», т. 5, СПб. 1865, стр. 243.

Я был у него за три-четыре дня до его смерти, когда он лежал у Некрасова. — Добролюбов находился у Некрасова с начала или середины октября до 3 ноября, когда был перевезен к себе на квартиру. Следовательно, Шелгунов посетил Добролюбова в последних числах октября — начале ноября («Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, Л. 1961, стр. 470, примечание С. А. Рейсера).

XVIII

Стр. 202. *В 1862 году я оставил Петербург <...> видимо, старался облегчить ему его одиночество.*— В издании 1891 года изъято цензурой.

Писарев не доверял Полисадову и приписывал его посещения причинам, которых нельзя было бы оправдать, если бы Писарев не ошибался.— В оценке В. П. Полисадова, настоятеля собора при Петропавловской крепости, Писарев был, несомненно, прав. О доносительской роли Полисадова и иезуитских приемах «увещаний», применявшихся им в отношении политических заключенных, в частности Д. В. Каракозова, см. в статье П. Е. Щеголева «Каракозов в Алексеевском равелине» («Музей Революции», 1923, № 1).

Я <...> получил в ответ следующее письмо...— Автографы настоящего и последующих писем Писарева к Шелгунову, приводимых в данных воспоминаниях, неизвестны.

Стр. 203. *Историю заключения Писарева я слышал в таком виде.*— Сведения Шелгунова неточны. В действительности Писарев был арестован 2 июля 1862 года, после того как при обыске у студента П. Д. Баллода, организовавшего подпольную типографию, был обнаружен оригинал статьи Писарева против Шедо-Ферроти, где содержалась резкая критика самодержавия. Баллод признался, что Писарев принес ему эту статью для напечатания. Писарев поплатился за нее четырехлетним заключением в Петропавловской крепости.

Месяца через два я получил от Писарева еще письмо...— В предисловии к сочинениям Г. Е. Благосветлова Шелгунов приводит текст этого письма, начиная словами: «Теперь я пишу к вам», и датирует его июнем 1867 года (Г. Е. Благосветлов, Сочинения, СПб. 1882, стр. III—IV).

Стр. 204. *...поступил невежливо с одною из моих родственниц...*— С писательницей Марко Вовчок (псевдоним М. А. Вилинской-Маркович, двоюродной сестры Писарева).

Стр. 205. *Журнал только что начинался...*— Первый номер журнала «Дело» вышел в конце 1866 года (цензурное разрешение — 27 сентября).

«Вы пишете мне...» — Это письмо Благосветлова впервые опубликовано Шелгуновым в его предисловии к сочинениям Г. Е. Благосветлова (СПб. 1882, стр. IV). Автограф данного и цитируемых ниже писем Благосветлова неизвестны.

Стр. 207. *...остались только такие журналы, как <...> «Библиотека для чтения»...*— Этот журнал упоминается Шелгуновым ошибочно: он был прекращен изданием еще в апреле 1865 года.

В «Деле» печаталась и печатается до сих пор моя большая историческая работа... — «Очерки из истории европейских народов», «Дело», 1867, №№ 6—11.

...«Женский вестник», которого издательница ведет постоянно до сорока процессов в мировых судах по поводу отжиливанья денег. — Писарев, несомненно, имеет в виду «конфликт» В. А. Слепцова с издательницей «Женского вестника» А. Мессарош и судебное разбирательство этого дела у мирового судьи 8 марта 1867 года. Позднейшие исследования показали («Литературное наследство», т. 71, М. 1963, стр. 205—210), что это судебное разбирательство и заявление Слепцова о прекращении сотрудничества в журнале явились мистификацией, целью которой было скрыть дальнейшее участие Слепцова в нем. В заблуждение были введены многие современники Слепцова, в том числе и Писарев.

Стр. 208. *Все, что здесь доступно оку...* — Из стихотворения Лермонтова «Спор».

10 июля Благосветлов мне писал... — Впервые письмо опубликовано Шелгуновым в предисловии к сочинениям Г. Е. Благосветлова (СПб. 1882, стр. IV—V).

Стр. 209. *Тридцатого июля Благосветлов мне писал...* — Опубликовано там же, стр. V.

Стр. 210. *...сказал на могиле его Благосветлов.* — В письме к Шелгунову Благосветлов писал: «Когда я над гробом Писарева сказал, что в каземате, среди смрадных стен крепости, в безвыходном уединении, он проповедовал свою честную идею, что он шел прямо, не оглядываясь ни назад, ни вперед, к своей цели,— все, что было на могиле, заплакало навзрыд... Не Писарев нужен мне был в эту минуту, а его деятельность, его мысль, и это было понято многими» (там же, стр. V).

На могиле другого такого же эгоиста, Добролюбова, Некрасов сказал... — Здесь и далее Шелгунов приводит цитаты из речей Некрасова и Чернышевского, произнесенных ими на похоронах Добролюбова 19 ноября 1861 года («Н. А. Добролюбов в воспоминаниях современников», Гослитиздат, Л. 1961, стр. 385—386).

XIX

Стр. 211. *...умер Зайцев...* — в 1882 году в эмиграции (в Швейцарии), где находился с 1869 года.

Неизвестный корреспондент настаивал, чтобы были изданы сочинения Зайцева... — Письмо, о котором сообщает Шелгунов, было прислано из Пскова. В настоящее время находится в Отделе рукопи-

сей Государственной публичной библиотеки им. М. Е. Салтыкова-Щедрина (арх. Е. П. Казанович, ф. 326, дело № 274).

Стр. 216. *В «Схоластике XIX века», написанной года два спустя после «Аполлония Тианского» и напечатанной в «Русском слове» в одно с ним время*...— «Схоластика XIX века» была напечатана в №№ 5 и 9 журнала за 1861 год. Первая часть статьи датирована: «1861. 12 мая»; вторая — «1861. 3 сентября». Затем статья целиком вошла в т. 9 первого издания сочинений Писарева (1868). Статья об Аполлонии Тианском опубликована в №№ 7, 8 журнала за тот же год (в сочинения не вошла).

Стр. 217. *...в «Петербургском сборнике» <...> автор статьи «Капризы и раздумье» (Герцен)*...— Статья Герцена «По разным поводам», впервые напечатанная под заглавием «Капризы и раздумье» в качестве самостоятельной статьи в «Петербургском сборнике» (1846), позднее вошла как часть в единый цикл «Капризы и раздумье» (1. «По поводу одной драмы». 2. «По разным поводам». 3. «Новые вариации на старые темы»).

Стр. 218. *«Задача, действительно, мудреная...»* — В цитате из статьи Писарева «Схоластика XIX века» после слов: «Бесполезных усилиях;» пропущена фраза: «она хочет сделать слишком много и потому ровно ничего не делает» (Д. И. Писарев, Сочинения в четырех томах, т. 1, Гослитиздат, М. 1955, стр. 107—108).

Стр. 219. *В «Реалистах» он говорит: «Кто в Англии считается дураком...»* — См. там же, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 93—94.

«А если бы мы (Писарев) поговорили...» — цитата из статьи «Реалисты» (см. там же, стр. 35).

«Вся жизнь Катерины состоит из <...> противоречий...» — цитата из статьи «Мотивы русской драмы» (см. там же, т. 2, Гослитиздат, М. 1955, стр. 366—367).

Стр. 220—222. *«Литературные противники нашего реализма <...> его почти совсем забыли»*...— цитаты из статьи «Реалисты» (см. там же, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 104, 94—95, 105, 107—109).

Стр. 223. *«Такая обширная задача...»*— цитата из статьи «Реалисты» (см. там же, стр. 107).

...то, что он говорит о Белинском...— в статье «Пушкин и Белинский» (см. там же, стр. 306—307).

XX

Стр. 225. *...сколько мне помнится, он был медик*...— Зайцев учился сначала на юридическом факультете Петербургского университета, затем перешел на медицинский факультет Московского, но учился там только до четвертого курса.

Стр. 226. *Приостановление «Современника» и «Русского слова» на полгода* — было сделано правительственным распоряжением от 15 июня 1862 года. Чернышевский 19 июня 1862 года писал Некрасову: «Мера эта составляет часть того общего ряда действий, который начался после пожаров, когда овладела правительством мысль, что положение дел требует сильных репрессивных мер» (Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, М. 1949, стр. 454).

...один московский поэт сказал, что нигилист обязан уважать корову как свою родственницу... — Б. Н. Алмазов в стихотворении «Бескорыстный реформатор», где пытался высмеять революционных демократов — последователей Дарвина:

Открыть всем зверям объятья:
Все птицы, все даже скоты
По крови нам меньшие братья,
Но мало еще развиты.

(Б. Н. Алмазов, Сочинения в трех томах, т. 2, М. 1892, стр. 217).

«Взбаламученное море», «Некуда», «Марево» — романы Писемского, Лескова и В. Клюшникова, печатавшиеся в 1861—1864 годах и представлявшие собой пасквили на революционное движение шестидесятых годов.

Стр. 227. *...«Библиотека для чтения» печатала в одно время и «Некуда», и статьи Евгении Тур...* — В 1864 году одновременно с «Некуда» в журнале были помещены две статьи Евгении Тур (псевдоним Е. В. Салиас де Турнемир): «Сисмонди и графиня Альбани, Альфиери и г-жа Сталь» (№№ 11 и 12) и «Испания и Америка по кн. L. Colet и A. Trollope» (№ 12). Сопоставлением этих статей о жизни великосветского общества Западной Европы с антинигилистическим романом Лескова «Некуда» Шелгунов подчеркивает отсутствие определенного идейного направления в редакции «Библиотеки для чтения». Так оно в действительности и было: двадцативосьмилетний Боборыкин, незадолго до этого ставший редактором-издателем «Библиотеки для чтения», стремился привлечь на ее страницы литературные «имена». Не обладая твердыми политическими убеждениями, он печатал в журнале самые разноречивые по характеру и направлению произведения. Справедливость требует отметить, что роман «Некуда», который «всего более повредил журналу» (П. Д. Боборыкин, Воспоминания, изд-во «Художественная литература», т. 1, М. 1965, стр. 355), Боборыкин начал печатать, не ознакомившись с содержанием всего произведения, соблазнившись «именем» Лескова. Отсутствие четкой идейной позиции помешало Боборыкину прекратить печатание романа. Но когда Лесков выступил в № 12 «Библиотеки для чтения» с «Объяснением» по поводу «Некуда», на паск-

вильный характер которого возмущенно указывала пресса, Боборыкин от имени редакции заявил: «Не имея права отказать автору, мы сообщаем его объяснение, хотя далеко не разделяем высказанных в нем мнений».

...«Эпоха» сказала, что «славянофилы победили», а «Московские ведомости» — что общество отрезвилось.— Здесь и далее цитируется статья Зайцева «Славянофилы победили» («Русское слово», 1864, № 10, отд. II, стр. 59—76), где автор в резкой форме полемизирует с реакционной прессой, ополчившейся на «журналы с направлением».

Стр. 228. *Журнал этот сказал, что «Русское слово» <...> пережевывает мертвую слюну Добролюбова.*— В статье Е. Ф. Зарина «Начало конца», опубликованной за подписью «Incognito» в «Отечественных записках», 1864, № 6 (стр. 816).

Критик «Современника» и Писарев резко разошлись во взглядах на этот роман.— Имеются в виду статья М. А. Антоновича «Асмодей нашего времени» («Современник», 1862, № 3) и статья Писарева «Базаров» («Русское слово», 1862, № 3).

...разбирая «Взбаламученное море» Писемского...— Шелгунов говорит о статье Антоновича «Современные романисты» («Современник», 1864, № 4).

Стр. 229. *«Русское слово» <...> на этот раз <...> ответило короткой заметкой...*— «Нам нечего бояться этой полемики и угроз «Современника»,— говорилось в «Русском слове»,— но мы не желаем полемизировать с ним потому, что сознаем всю бесполезность полемики, особенно в такое время, когда она, кроме удовольствия нашему журнальному стаду, не может оказать существенных услуг литературе». Ответ заканчивался следующими словами: «Русское слово» может расходиться с «Современником» на частных и отдельных вопросах, но оно всегда настолько уважало общую идею, что не решится пожертвовать этой идеей в пользу какого бы то ни было личного самолюбия» («Русское слово», 1864, № 10, отд. II, стр. 104).

«Причина разъединения лежит не во мне...» — Впервые это письмо Благосветлова, отрывок из которого приводит Шелгунов, опубликовано им в сочинениях Благосветлова (СПб. 1882, стр. VI).

Стр. 230. *...намерение сотрудников «Современника» свершить нечто подобное с Некрасовым.*— Антонович в своих воспоминаниях рассказывает, что однажды Некрасов пожаловался своим сотрудникам на бедность доходов «Современника». Почувствовав недоверие с их стороны, он предложил Елисееву, Антоновичу и Ю. Г. Жуковскому самим проверить конторские книги. Елисеев, по словам Антоновича, сказал: «А знаете что,— возьмем эти долги на себя, уплатим их Некрасову, но с условием, чтобы он передал нам весь журнал». И самый факт «ревизии», и предложение Елисеева (если оно

было сделано), конечно, были поступком неэтичным по отношению к Некрасову («Шестидесятые годы. М. А. Антонович, Г. З. Елисеев. Воспоминания», «Academia», 1933, стр. 225).

В 1866 году «Современник» и «Русское слово» были запрещены совсем... — После каракозовского выстрела (см. прим. к стр. 156) была образована «особая комиссия» под председательством П. П. Гагарина, задачей которой являлась борьба с революционным движением. 23 мая 1866 года было принято решение, устанавливающее, что «из всех существующих журналов и повременных изданий «Современник» и «Русское слово» принадлежат, бесспорно, к числу таких, которые постоянно, с давнего времени, развивая на своих страницах учение социализма и нигилизма, более прочих способствовали развращению молодого поколения. <...> При доказанном постоянно вредном направлении сих журналов, временное изменение тона и приостановление издания лишь на некоторое время — недостаточны, чтобы отвратить наносимое ими зло и остановить его на будущее время». 28 мая 1866 года вышло «повеление» о закрытии обоих журналов («Северная почта», 1866, № 118, 3 июня).

〈*ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЕ НАБРОСКИ*〉

(Стр. 231)

Очерк представляет собой наброски первоначальной редакции «Из прошлого и настоящего». Авторского заглавия не имеет. При жизни Шелгунова не публиковался. Фрагменты очерка с небольшими стилистическими изменениями были использованы автором в книге «Из прошлого и настоящего».

Впервые очерк был опубликован В. Мияковским в журнале «Голос минувшего», 1918, № 4—6, стр. 55—69. под заглавием «Воспоминание Шелгунова», с примечанием в конце: «Сообщил Л. Ф. Пантелеев». По тексту «Голоса минувшего», с неточностями, перепечатан А. А. Шиловым в книге: Н. В. Шелгунов, Воспоминания, М.— П. 1923, стр. 23—36, под заглавием «Отрывок из воспоминаний Н. В. Шелгунова (Первоначальный набросок)».

Местонахождение автографа и списка неизвестно.

Печатается по тексту «Голоса минувшего».

«Первоначальные наброски» состоят из трех отрывков. Первый имеет авторскую дату написания — 20 сентября 1883 года и представляет собой вступление к ранее написанному тексту. Второй можно датировать 1875—1876 годами на основании сообщения самого Шелгунова, содержащегося в первом отрывке, о том, что воспоми-

нания о знакомстве с Пекарским, Михайловым, Чернышевским писались в Выборге. Здесь он проживал с апреля 1875 года до апреля 1876. Данных для датировки третьего отрывка (о Е. П. Михаэлисе) не имеется. Второй отрывок писался, несомненно, не для печати.

Хотя некоторые фрагменты из «Первоначальных набросков» вошли в воспоминания «Из прошлого и настоящего», тем не менее они представляют самостоятельный интерес. В них сообщаются подробности создания и авторства прокламаций «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» и «К молодому поколению». Кроме того, в «Первоначальных набросках» содержатся и некоторые намеки, относящиеся к другим революционным конспирациям.

Так, слова Шелгунова: «Секретари сената предупреждали о вопросах, которые будут задаваться политическим преступникам», очевидно, относились к обер-секретарю сената Сабурову, который, занимаясь делами Н. Серно-Соловьевича и Чернышевского, действовал «с преднамеренною целью предоставить обвиняемому все способы путать дело как ему угодно...» [1]. Фраза «плац-адъютанты устраивали свидания с заключенными, передавали им записки» намекала на помощь плац-адъютанта Петропавловской крепости штабс-капитана И. Ф. Пинкорнелли заключенным там Михайлову и Писареву (см. прим. к стр. 328 тома II наст. изд.). Говоря о событиях 1861 — первой половины 1862 годов, Шелгунов упоминает о подаче Н. Серно-Соловьевичем проекта конституции Александру II. Между тем известно (в частности, и из воспоминаний Шелгуновой), что Н. Серно-Соловьевич вручил царю не конституционный проект, а записку об освобождении крестьян и что было это не в 1861—1862 году, а еще в 1858. Проект конституции был написан Серно-Соловьевичем весной 1862 года и обнаружен у него при аресте 7 июля вместе с незаконченным письмом к Александру II, из которого видно намерение автора повторить свой опыт личного обращения к царю. Это смещение в памяти Шелгунова двух известных ему разновременных фактов говорит не только об его осведомленности насчет замысла Н. Серно-Соловьевича, но и о том, что этот замысел был частью продуманной тактики формировавшегося тайного общества. В том же русле шли и «Письма без адреса» Чернышевского, писавшиеся в феврале 1862 года в поддержку конституционного движения, и переписка Огарева по поводу конституционного адреса с русскими студентами, обучавшимися в Гейдельберге [2].

---

[1] «Литературное наследство», т. 67, М. 1959, стр. 756.
[2] Там же, т. 63, М. 1956, стр. 122—125.

Ошибка памяти Шелгунова служит дополнительным доказательством намерения и попытки революционеров использовать адресную конституционную кампанию дворянства для демократизации конституционного движения.

Все эти сведения о деятельности революционного подполья и о связях с ним официальных лиц Шелгунов не мог, естественно, включить в свои печатные труды.

Впервые о существовании очерка — в рукописи — было сообщено после смерти Шелгунова Пантелеевым в заметке «Не лишнее разъяснение» [1], где, отвечая на сомнения, выраженные Лемке относительно принадлежности Шелгунову прокламации «К молодому поколению», Пантелеев сообщал: «Сведение это взято мною из записки самого Шелгунова об обстоятельствах, касающихся начала шестидесятых годов. Эту записку я получил в 1901 от Н. К. Михайловского» [2].

В 1908 году во втором томе мемуаров «Из воспоминаний прошлого» Пантелеев привел выдержку из упомянутой им «записки» о принадлежности Шелгунову прокламации «Русским солдатам», а Чернышевскому — «К народу», высказав предположение, что «К народу» — это и есть воззвание «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон», и повторив, что записка получена им от Михайловского [3]. В связи с этим историк В. И. Семевский обратился к Пантелееву с запросом, представляет ли собой имеющийся у него отрывок рукопись или же печатную вырезку из издания Павленкова [4]. Из следующего письма Семевского видно, что Пантелеев располагал рукописью, но не автографом, а копией, так как Семевский писал ему: «Крайне важно было бы найти подлинную рукопись Шелгунова ввиду огромного значения приведенного вами места» [5]. В бумагах Пантелеева имеется выписка из рукописи Шелгунова с надписью: «Оригинал я передал В. И. Семевскому» [6]. Однако из вводной статьи В. Мияковского к публикации набросков в «Голосе минувшего», в которой подтверждается факт получения Семевским рукописи от Пантелеева, видно, что это была копия, а не автограф [7].

---

[1] «Былое», 1906, № 2, стр. 286—287.

[2] Там же, стр. 286.

[3] Л. Ф. Пантелеев, Из воспоминаний прошлого, т. II, СПб. 1908, стр. 180.

[4] Письмо от 30 ноября 1910 года. ЦГАЛИ, ф. 1691, оп. 1, д. 526, лл. 17—18. Сообщено Ю. Н. Коротковым.

[5] Письмо от 3 декабря 1910 года. ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 224, д. 304, л. 177. Сообщено Ю. Н. Коротковым.

[6] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 224, д. 484.

[7] «Голос минувшего», 1918, № 4—6, стр. 55.

Вероятно, Шелгунов, поддерживавший с Михайловским тесные дружеские отношения, послал ему копию «Первоначальных набросков» как не подлежащий опубликованию комментарий к воспоминаниям «Из прошлого и настоящего». Но не исключена возможность, что Михайловский и сам снял для себя копию уже после смерти друга, когда копировал некоторые письма Шелгунова для своих воспоминаний о Николае Васильевиче.

Пантелеев при подготовке своих мемуаров «Из воспоминаний прошлого» обращался за материалами и справками ко многим участникам общественного движения шестидесятых годов [1] и, таким образом, мог получить копию очерка от Михайловского.

Стр. 231. *...о моей поездке в Сибирь...* — см. стр. 20—22 и 182.

Убийство Александра II — см. прим. к стр. 294.

...молодой Тургенев, поклявшийся когда-то бороться против крепостного права... — Тургенев во «Вступлении» к «Литературным и житейским воспоминаниям» так объясняет причины своего отъезда за границу: «Я не мог дышать одним воздухом, оставаться рядом с тем, что я возненавидел; для этого у меня, вероятно, недоставало надлежащей выдержки, твердости характера. Мне необходимо нужно было удалиться от моего врага затем, чтобы из самой моей дали сильнее напасть на него. В моих глазах враг этот имел определенный образ, носил известное имя: враг этот был — крепостное право. Под этим именем я собрал и сосредоточил все, против чего я решился бороться до конца — с чем я поклялся никогда не примириться <...> Это была моя Аннибаловская клятва...» (Собр. соч. в двенадцати томах, т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 261).

Стр. 232. *Человек <...> обвиняющий Добролюбова, что он статьей против Кавура сыграл в руку врагам...* — Остирополемические статьи Добролюбова «Два графа» (1860), «Из Турина» и «Жизнь и смерть графа Камилло Бензо Кавура» (1861) были направлены именно против либералов, которые сначала выдвигают широкие планы реформ, а затем, из боязни народной революции, переходят в лагерь реакции. Таким либеральным «вождем», возведенным сторонниками в ранг освободителя Италии, был Кавур, о котором Маркс писал, что вместе с ним шла «вся буржуазная и аристократическая сволочь Италии» (К. Маркс и Ф. Энгельс, Сочинения, т. 30, Госполитиздат, М. 1963, стр. 467).

---

[1] Это подробно освещено в докладе Ю. Н. Короткова, зачитанном на заседаниях Группы по изучению революционной ситуации в России в 1859—1861 годах, руководимой акад. М. В. Нечкиной (Институт истории АН СССР), в 1964 году.

Тургенев подошел к статьям Добролюбова с позиций отечественной либеральной прессы, прекрасно понявшей, в чей адрес были направлены эти статьи, и возмутившейся ими. Сравнивая Добролюбова с Белинским, который, по его словам, никогда не вмешивался в политику, не выходил за рамки литературной критики, и «никогда бы не позволил себе той ошибки, в которую впал даровитый Добролюбов», Тургенев добавил: «Даже допустив справедливость упреков, заслуженных Кавуром, он бы понял всю несвоевременность (у нас, в России, в 1862 году) подобных нападений» (И. С. Тургенев, Воспоминания о Белинском.— Собр. соч. в двенадцати томах, т. 10, Гослитиздат, М. 1956, стр. 285).

...защитники Тургенева позволяют себе клеветать на Лаврова <...> уверяют, что Тургенев с сожалением смотрел на политическое движение молодежи...— В настоящее время в 73 т. «Литературного наследства» (книга 2-я, М. 1964, стр. 18—62) опубликовано семьдесят девять писем Тургенева к Лаврову (из них шестьдесят — впервые), из которых становится ясно сочувственное отношение Тургенева к борьбе русских революционеров с самодержавием.

После смерти Тургенева Лавров рассказал в письме в редакцию парижской газеты «Justice» о сочувствии, с которым Тургенев относился к деятельности русской революционной эмиграции, и о финансовой поддержке им народнического журнала «Вперед!». Сообщение Лаврова было встречено негодованием либеральных «защитников» Тургенева, М. Стасюлевич назвал его «лживой провокацией». Продолжая полемику, Лавров опубликовал в «Вестнике Народной воли» (1884, № 2) статью: «И. С. Тургенев и развитие русского общества». В ней приводились выдержки из писем, подтверждающие факты субсидирования Тургеневым революционных изданий и сочувствия им. Так, в письме к Лаврову от 1 июля 1873 года Тургенев писал о журнале «Вперед!»: «Программу вашу я прочел два раза со всем подобающим вниманием: со всеми главными положениями я согласен». 9 февраля 1874 года Тургенев сообщал: «...с удовольствием буду давать ежегодно 500 франков до тех пор, пока продержится ваше предприятие, которому желаю всяческого успеха. 500 франков за 1874-й год при сем прилагаю» («Литературное наследство», т. 73, кн. 2-я, стр. 21, 24).

...нас разбили под Черной...— Черная — речка, впадающая в большую бухту Севастополя. Во время Крымской войны, 4 августа 1855 года, накануне штурма Севастополя союзниками, в сражении на Черной русские потерпели поражение от англо-французской армии.

Тогда он еще не был академиком.— С ноября 1851 года по февраль 1862 года П. П. Пекарский служил в канцелярии министерства

финансов, одновременно занимаясь научной работой. С 1864 года — экстраординарный академик, с 1868 — ординарный.

Стр. 233. *Новая формация <...> составляла <...> массу «тайных учеников» и «Никодимов».* — То есть тайных сторонников. Никодим, согласно Евангелию,— фарисей, сочувствовавший учению Христа, но не решавшийся открыто заявить об этом (Иоанн, III, VII, XIX).

...Николай Серно-Соловьевич передал государю <...> проект конституции. — «Записку» (а не проект конституции), содержавшую план освобождения крестьян (см. стр. 117—118 тома II наст. изд. и прим. к ним). О ней он в 1862 году упомянул в черновом письме к Александру II, составленном во время заключения в Петропавловской крепости: «Почти четыре года, в сентябре 1858 года, я подал вам записку о крестьянском вопросе и вообще о положении дел в нашем отечестве» (см.: М. К. Лемке, Очерки освободительного движения «шестидесятых годов», СПб. 1908, стр. 50). В проекте конституции, написанном позднее, в Петропавловской крепости, и названном «Проект уложения императора Александра II», Н. Серно-Соловьевич предлагал, в частности, всю законодательную власть передать собранию представителей всех сословий.

Пожар Щукина двора — см. прим. к стр. 188.

Россия изображалась в виде штофа <...> на пробке сидел император. — Несколько иное содержание карикатуры приводит в своих «Записках» М. Корф: бутылка русского пенника закупорена пробкой, которая обтянута бечевкой. Поверх нее наложена казенная печать с орлом («Русская старина», 1900, № 3, стр. 569).

Стр. 234. *...распевали патриотическую песню, сочиненную актером Григорьевым...* — Подлинным автором этой песни является поэт В. П. Алферьев (см.: «Критико-биографический словарь русских писателей и ученых» С. А. Венгерова, т. I, стр. 442).

Стр. 235. *...вот характеристика его, сделанная женою Суворова, княгиней Александрой Аркадьевной...* — Александром Аркадьевичем звали самого Суворова, а его жену — Любовью Васильевной. Характеристика Николая была сделана ею, очевидно, в личной беседе с кем-нибудь из Шелгуновых: мать Шелгуновой, Е. Е. Михаэлис, училась вместе с Л. В. Суворовой в Смольном институте, и Шелгуновы и Суворовы были знакомы домами.

Стр. 237. *Кавелина, который был опасным профессором, Николай сделал начальником отделения.* — В 1853—1857 годах К. Д. Кавелин служил в Петербурге начальником отделения в канцелярии комитета министров. «Опасным» профессором Кавелин не был, а кафедру в Московском университете оставил по личным причинам

(из-за резкого столкновения на семейной почве с профессором того же университета Н. И. Крыловым, женатым на свояченице Кавелина).

Стр. 238. *...перефразируя Сийеса, можно сказать, что он «прочитал все, он знал все, он помнил все».*— Шелгунов имеет в виду ставшую крылатой фразу Э. Сийеса: «Что такое третье сословие? — Все. Чем оно было до сих пор в политическом отношении? — Ничем. Чем оно желает быть? — Чем-нибудь» (Э.-Ж. Сийес, Что такое третье сословие, СПб. 1905, стр. 6).

Стр. 239. *Как и при каких обстоятельствах я познакомился с Михайловым, не припомню.*— См. прим. к стр. 108 наст. тома и стр. 59—60 тома II наст. изд.

Стр. 240. *Я буду потом говорить еще о Берви.*— Свое намерение Шелгунов не осуществил. О В. В. Берви см. в воспоминаниях Шелгуновой (стр. 216—217 тома II наст. изд.).

Статья была напечатана в «Современнике».— См. прим. 4 на стр. 9.

Стр. 241. *...у сената толпились массы, чтобы встретить и проводить его...*— Михайлова судили в сенате. Подробно об этом см. в «Записках» Михайлова (т. II наст. изд.).

Стр. 243. *...Костомаров знал, что писал я.*— См. прим. к стр. 165.

Памфлет Сен-Симона-отца — «La Parabole» (1808) К.-А. Сен-Симона.

Стр. 244. *Герцен не одобрил прокламации...*— См. прим. к стр. 165.

В 1861 году несколько литераторов задумали издавать артельный журнал.— См. прим. к стр. 168.

Стр. 245. *Этот маленький эпизод <...> случился <...> когда судился Михайлов.*— Это было позже, в феврале 1862 года, когда Михайлов уже находился на каторге.

Михайлов с прокламациями уехал в Россию — это было в августе (1861 года) <...>. Возвратившись в Петербург <...>, застал в нем Костомарова.— Михайлов возвратился в Петербург в середине июля 1861 года, а 20 июля и 5 августа писал В. Костомарову в Москву, после чего — 20 августа — Костомаров приехал в Петербург.

Из Наугейма мы писали к Костомарову... — Из всех писем этого времени известны только письмо Шелгунова к Костомарову из Парижа от 1 июля 1861 года и письмо Шелгунова (без даты) с рисунками, хранящиеся в деле Шелгунова (ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1861 г., д. 230, ч. 28 «А», лл. 175—177 об.).

Стр. 246. *По приезде в Петербург, в сентябре, я видел Костомарова...*— Это было не в сентябре, а между 20 и 25 августа, так как 26 августа Костомаров был уже арестован.

Стр. 247. *...Добролюбова «Иллюзии, разрушенные розгами» <...> Чернышевского «Антропологический принцип в философии»...* — Шелгунов говорит о статье Добролюбова «Всероссийские иллюзии, разрушаемые розгами» («Современник», 1860, № 1), направленной против Н. И. Пирогова, высказавшегося за применение в отдельных случаях розог при наказании гимназистов, и о статье Чернышевского «Антропологический принцип в философии» («Современник», 1860, №№ 4, 5), написанной по поводу книги П. Лаврова «Очерки вопросов практической философии». I. Личность», СПб. 1860.

...как это было впоследствии с книгой Берви «Азбука социальных наук»... — «Азбука социальных наук» (1871) В. В. Берви (Флеровского) была очень популярна среди революционеров семидесятых годов.

ПЕРЕХОДНЫЕ ХАРАКТЕРЫ

(Стр. 248)

Впервые — в журнале «Русская мысль», 1888, № 3, стр. 72—114, с подзаголовком: «(Из прошлого и настоящего)». Перепечатано во втором томе «Сочинений» Н. В. Шелгунова (стр. 757—788), изданных Ф. Ф. Павленковым (СПб. 1891). Печатается по тексту второго тома указанных «Сочинений».

Рукопись и корректуры не разысканы.

Воспоминания «Переходные характеры» были задуманы Шелгуновым летом 1886 года одновременно с работой над последней статьей «Из прошлого и настоящего» и первоначально готовились для «Северного вестника». В письме к Михайловскому от 28 июля 1886 года он упоминал: «Из воспоминаний хочу написать о «переходных характерах». Как напишу, пришлю к тебе на просмотр. Если одобришь — печатай, не одобришь — возврати, и отдам в «Русскую мысль» [1]. Как видно из другого письма Шелгунова к тому же адресату (от 13 октября 1886), он намеревался подготовить «Переходные характеры» для январской книжки «Северного вестника» на 1887 год и рассматривал их как продолжение «Из прошлого и настоящего» [2]. Однако написаны они были не ранее второй половины 1887 года. Сообщая в письме к Гольцеву от 6 августа, что он продолжает работать над «Переходными характерами», Шелгунов прибавил: «о которых вы с добродушным ехидством заметили, что я «говорю давно» [3]. Очевидно, начало этих очерков было уже передано в «Русскую мысль», так как в этом же письме Шелгунов писал:

---

[1] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 80 об.
[2] Там же, л. 81 об.
[3] «Памяти В. А. Гольцева», М. 1910, стр. 172.

«Жду от вас нетерпеливо мои воспоминания с соответствующими указаниями. Чем раньше получу, тем лучше, чтобы раньше статьи были у вас... Отметьте, пожалуйста, и противоречия. Вам они виднее»[1].

Должно быть, к октябрю эти очерки были закончены, но не во всем одобрены редакцией. «Насчет же «Переходных характеров»,— писал Шелгунов Гольцеву 28 октября,— я в смущении и даже доволен, что они пойдут в будущем году. При обратном проезде я выслушаю ваши замечания, возьму статью в деревню и там ее отделаю и закончу»[2]. В декабре он просил Гольцева отправить ему XVI—XX главы «Из прошлого и настоящего» (не печатавшиеся), чтобы использовать их частично «для статьи о характерах. (Прихватил бы Писарева.)»[3] Работу над «Переходными характерами» Шелгунов продолжал еще и в январе 1888 года, обещая выслать очерки в середине месяца[4].

Редакция «Русской мысли» намеревалась разбить «Переходные характеры» на два номера журнала, что вызвало протест со стороны Шелгунова: «Я волновался до того, что заболел. Ночь не спал. Ведь статья только цельной и имеет смысл. Ну как мысль разбить на две половины?»[5] В результате очерк был опубликован целиком в одной мартовской книжке журнала.

При подготовке «Переходных характеров» для «Сочинений» в издании Павленкова они подверглись некоторой смысловой и стилистической правке. Наиболее существенные из опущенных фрагментов приводятся в постраничных примечаниях.

Стр. 251. *Наш страх усиливался еще и тем, что граф Ламсдорф говорил певучим тенором.*— В «Русской мысли»: «и что граф Ламсдорф говорил очень громко. Ламсдорф сильно картавил и говорил певучим тенором».

Стр. 253. *...солдаты внесли скамейку и розги...*— В «Русской мысли» далее следовало: «(розги «настоящие», тонкие и длинные)».

Стр. 254. *Директора департамента Брадке...*— Е. Ф. Брадке, директора 3-го департамента министерства государственных имуществ.

Стр. 255. *...Булгаков <...> предложил <...> тост за первого освободителя крестьян — Пугачева...*— На обеде, данном 14 мая 1860

1 «Памяти В. А. Гольцева», стр. 172.
2 «Архив В. А. Гольцева», М. 1914, стр. 268.
3 Там же, стр. 270.
4 Там же, стр. 270.
5 Там же, стр. 274.

года херсонским губернским предводителем дворянства членам редакционных комиссий по крестьянскому делу, предводитель калужского дворянства князь А. В. Оболенский предложил тост за деятелей крестьянской реформы и заключил его так: «Не имея возможности наименовать всех полезных деятелей предстоящей реформы, позволяю себе напомнить вам, господа, имена Кавелина и Унковского». Тост был встречен криками «ура!». Исправлявший должность председателя редакционных комиссий П. А. Булгаков, присутствовавший на обеде, «считал себя обязанным парализировать этот тост. Не вставая с кресла, он обратился к Оболенскому и сказал: «Почему же после этого не предложить тост за здоровье Пугачева?» («Колокол», 1860, л. 76, 15 июля). Как рассказывается в статье «Колокола» «Тост Пугачеву», в Петербурге ходили слухи, что «Булгаков, в качестве Робеспиера, провозгласил следующий тост: «Господа! За здоровье первого эмансипатора Эмельяна Пугачева и последнего — Александра Второго». <...> Неизвестно, в какой степени государь поверил этому нелепому доносу, но достоверно то, что верноподданный Петр Булгаков <...> находится в опале».

Стр. 256. *...чтобы подчиненные проникались чувством почтения к начальству.* — В «Русской мысли» далее следовало: «Один управляющий петербургскою палатой государственных имуществ на мое замечание, что подчиненные за его высокомерное с ними обращение не будут его любить, ответил: «А мне совсем и не нужна их любовь, лишь бы боялись». И он был прав. Заставить себя полюбить или уважать совсем не так просто, и он это понимал, а заставить себя бояться может всякий, он это тоже понимал». (Ср. стр. 78).

Стр. 259. *Времена Куролесовых* — см. прим. к стр. 68.

Стр. 261. *Я уже говорил, как ехал раз ночью из села Майны в Самару...* — см. стр. 69.

Стр. 268. *Из числа этих людей среднего уровня...* — В «Русской мысли»: «Из числа этих людей, но выше обыкновенного среднего уровня».

...с последующим умственным влиянием. — В «Русской мысли» далее следовало: «Человек этот еще жив, состоит в правящем поколении».

Я познакомился с К. ... — Кто из знакомых Шелгунова скрыт под этим криптонимом (а также ниже под криптонимом «Т»), установить не удалось.

Стр. 270. *И он именно вырос под влиянием подобного давления.* — В «Русской мысли» далее следовало: «оставившего в нем самые горькие воспоминания. Воспоминания эти, впрочем, относились только к его домашнему воспитанию, а не к корпусу».

Стр. 272. *...его кто-нибудь рассердил.*— В «Русской мысли» далее следовало: «Но этот тон он никогда не принимал с теми, кого считал выше или от кого зависел».

Стр. 275. *Известен ответ Диогена <...> Александр понял Диогена.*— Плутарх рассказывает, что Александр Македонский, посетивший философа Диогена в окрестностях Коринфа, спросил, нет ли у него какой-нибудь просьбы. Диоген, гревшийся на солнце, сказал: «Отступи чуть в сторону, не заслоняй мне солнца». «Говорят,— пишет Плутарх,— что слова Диогена произвели на Александра огромное впечатление и он был поражен гордостью и величием души этого человека, отнесшегося к нему с таким пренебрежением. На обратном пути он сказал своим спутникам, шутившим и насмехавшимся над философом: «Если бы я не был Александром, я хотел бы быть Диогеном» (Плутарх, Сравнительные жизнеописания, т. II, изд. АН СССР, М. 1963, стр. 404).

Стр. 280. *Р.*— Как утверждает Б. Веселовский («Современный мир», 1911, № 5, стр. 147), под этим криптонимом Шелгунов вывел своего знакомого, Александра Николаевича Попова (см. о нем подробно в прим. к стр. 244 и 246 тома II наст. изд.).

Стр. 283. *...граф Кушелев пригласил его в редакторы «Русского слова».*— Благосветлов принял дела журнала «Русское слово» в июне 1860 года (см. также стр. 114 тома II наст. изд. и прим. к ней).

О Благосветлове, как редакторе, <...> я напишу когда-нибудь особо...— Намерение это не было осуществлено. Известна лишь более ранняя статья Шелгунова о Благосветлове — предисловие к «Сочинениям Г. Е. Благосветлова» (СПб. 1882), в котором содержится оценка его журнальной деятельности.

Стр. 284. *...Писарев делает такую характеристику Благосветлова...*— По-видимому, письмо написано уже после разрыва Писарева с Благосветловым (см. подробнее в комментарии к гл. XVIII «Из прошлого и настоящего»). Автограф неизвестен.

Стр. 285. *Эта характеристика <...> то, что было в действительности.*— В «Русской мысли» вместо этого текста следовало: «Я привел это письмо потому, что им жизненнее и полнее обрисовывается характер Благосветлова, да, кроме того, мне казалось, что письма эти и сами по себе представляют интерес. Правда, что Писарев и Благосветлов писали их в минуту еще не совсем успокоившегося раздражения. Но, устранив выражения, в которых оно сказывалось, получается то, что было в действительности».

...мне приходилось примирять его еще с одним членом редакции...— с Зайцевым. О конфликте его с Благосветловым см. в томе II наст. изд. стр. 195.

Я, впрочем, не слышал о случаях, когда бы Благосветлов изви-

нялся.— П. В. Быков в своих воспоминаниях приводит как раз такой случай, о котором, видимо, забыл Шелгунов. Однажды, пишет он, «мы — Благосветлов, Шелгунов, Бажин и я — сидели в редакции «Дела» и вели разговор о сборнике Гюго «Les Orientales» <Восточные мотивы>. Шелгунов похвалил переводы, сделанные из этой книги Шеллером». Благосветлов отрицательно отозвался о переводах Шеллера, заявив, что в них много вранья. Однако присутствующие с этим не согласились, взяли книгу Гюго и переводы Шеллера, сличили, все оказалось «блестяще». Благосветлов тут же написал Шеллеру письмо с извинением (П. В. Быков, Силуэты далекого прошлого, М.— Л. 1930, стр. 39).

...история с П. И. Вейнбергом, которому Благосветлов послал рублевую бумажку.— Благосветлов, вообще неохотно расстававшийся с деньгами (о методах его расчета с сотрудниками см. в томе II наст. изд., стр. 216) и раздраженный настойчивыми просьбами Вейнберга об уплате гонорара, послал ему рублевую бумажку с надписью: «На бедность».

Стр. 286. *Что же все это было? Барство? Нет!* — В «Русской мысли» далее следовало: «Называя Писарева «барином», Благосветлов дальше сам объясняет, что он понимает под «барскими замашками». Он боится, что Писарев «сядет на него верхом» и потребует от него всяких послуг (он даже и говорит — каких, но выражается несколько неудобно относительно г-жи Марко Вовчок)».

...не «буржуем», как обозвал Г. И. Успенский русского разжиревшего и грубого кулака...— в рассказе «Буржуй» (1885).

...три года прожил в Лондоне и в Париже у Герцена домашним учителем его детей...— Благосветлов жил за границей с 1857 года до 1860. Находясь в Лондоне, занимался переводами, литературной работой, одно время был учителем дочерей Герцена.

Стр. 287. *...к фактору...*— В дореволюционной России факторами (комиссионерами) называли в типографиях посредников, поставлявших бумагу, краску и типографское оборудование.

...умер у него почти в типографии...— В «Русской мысли» далее следовало: «а вслед за Корольковым, простудившись на его похоронах, умер недели через две и Благосветлов».

...Благосветлов и доходил иногда до столкновений, кончавшихся у мирового.— В апреле 1867 года у одного из мировых судей Петербурга рассматривалось скандальное дело: типографские рабочие Быков и Котович подали жалобу на Благосветлова за нанесение им побоев. Причиной «гнева» Благосветлова был отказ Быкова и Котовича приступить к работе ввиду задержки жалованья (Б. П. Козьмин, Г. Е. Благосветлов и «Русское слово».— «Современник», 1922, № 1, стр. 232—233).

...Благосветлов <...> не изменял своим политическим убеждениям... — См. об его аресте прим. к стр. 203 тома II наст. изд.

Стр. 289. *...слова одного умного немца...* — Шелгунов цитирует в собственном переводе «Жизнь Иисуса» (1835—1836) Д. Штрауса.

...они такие же люди, как другие. — В «Русской мысли» далее следовало: «Об этих простых и истинно умных людях я поговорю в другой раз, если это окажется возможным».

‹*АРЕСТ И ВЫСЫЛКА 1884 ГОДА*›

(Стр. 290)

Незаконченный очерк. Публикуется впервые по автографу, хранящемуся в Институте русской литературы АН СССР (Пушкинский дом) [1].

Рукопись черновая, занимает семнадцать листов разного формата. Состоит из двух фрагментов. Ни один из них не имеет названия. Второй фрагмент не завершен.

В настоящем издании текст очерка воспроизводится в последнем чтении рукописи с приведением в примечаниях наиболее значительных зачеркнутых отрывков.

Фрагменты написаны, как явствует из текста, 27 ноября 1884 года и в апреле 1885 года. Оба они должны были войти составной частью в воспоминания «Из прошлого и настоящего», как это видно из письма Шелгунова к Михайловскому от 1 декабря 1884 года (см. подробнее на стр. 30 и 413). Воспоминания написаны по горячим следам недавних событий — в письме к Михайловскому Шелгунов сообщал: «Работаю по урокам: каждый день страничку» [2]. В части, касающейся ответов его на допросах, мемуары почти дословно воспроизводят текст письменных показаний Шелгунова [3].

История рукописи устанавливается на основании письма Н. И. Попова, в прошлом народовольца, оказавшегося в тридцатых годах обладателем копии, снятой с автографа Шелгунова. Письмо не имеет даты, адресат также не указан. В письме говорится, что рукопись первоначально принадлежала Г. А. Войно, воспитаннику известной издательницы О. Н. Поповой, в имении которой жил Шелгунов после высылки 1884 года. Рукопись была обнаружена вдовой Войно после его смерти в 1901 году среди других автогра-

[1] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 266 (архив «Русского богатства»), оп. 2, ед. хр. 702.

[2] Там же, арх. Н. К. Михайловского, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 768, л. 34 об.

[3] ЦГИА, ф. 1405, оп. 85, 1884 г., ед. хр. 10922, лл. 24—26 об.

фов Шелгунова. В начале девятисотых годов жена томского профессора С. И. Солнцева сняла копию (неточную) с этой рукописи и передала ее участнику революционного движения восьмидесятых годов Вс. М. Крутовскому, а брат последнего передал ее в 1934 году И. И. Попову. Машинописные копии с рукописной копии Солнцевой вместе с письмом И. И. Попова хранятся в Отделе рукописей Библиотеки им. В. И. Ленина (фонд Б. П. Козьмина) и в ЦГАЛИ. Подлинник мог быть передан вдовой Войно в редакцию «Русского богатства» или же Михайловскому.

Стр. 290. *...отправился в редакцию...*— в редакцию «Дела».

...обедать к Палкину.— В ресторан Палкина.

С А. М. Скабичевским я переговорил окончательно...— Скабичевский должен был заменить в «Деле» Шелгунова (см. «Современный мир», 1911, № 5, стр. 152).

...мне хотелось кончить с Вольфсоном.— В письме Михайловскому от 17 июня 1884 года Шелгунов сообщал: «Дело» мы наконец запродали» (ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. Н. К. Михайловского, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 768, л. 17). Однако из письма от 21 июня 1884 года выясняется, что продажа была отложена из-за попыток каких-то подставных лиц, скупивших векселя редактора-издателя журнала К. М. Станюковича, объявить последнего несостоятельным должником и «учредить над «Делом» конкурс» (там же, лл. 19 об.—20). Затем Главное управление по делам печати отказало Вольфсону в праве приобрести журнал «Дело» (там же, л. 23) на основании сведений о политической неблагонадежности Вольфсона, поступивших из департамента полиции (ЦГИА, ф. 776, оп. 3, д. 89, ч. II, лл. 131, 136). «Дело» приобрел в 1885 году И. С. Дурново, редактором утвердили Д. И. Цертелева (там же, лл. 153, 184). См. также стр. 239 тома II наст. изд. и прим. к ней.

«Домашняя хроника» — постоянный раздел журнала в 1883—1885 годах «Из домашней хроники», заменивший собою внутреннее обозрение. Его длительное время вел Шелгунов под разными псевдонимами.

Адикаевский — цензор, наблюдавший за «Делом».

Стр. 291. *...забыл подробности этого любопытного документа...*— В прошении, которое подал Вольфсон в Главное управление по делам печати, он обязался совершенно изменить состав сотрудников журнала, «придать журналу направление открытое и честное, чуждое затаенной интриги и замаскированной противогосударственной агитации...» (ЦГИА, ф. 776, оп. 3, ед. хр. 89, ч. II, л. 127).

...поступает, как Галилей.— Отказавшись под давлением церковных властей от признания учения Коперника о вращении Земли вокруг Солнца, Галилей после этого написал книгу в защиту учения Коперника.

«Народная политика» — официальная демагогическая формула, которой правительство в начале царствования Александра III прикрывало свою политику, включавшую шовинизм, насильственную русификацию, подавление малых народностей и ограничение их прав, антисемитизм.

...Вольфсон был просто нравственный и умственный карапузик.— В письме от 17 июня 1884 года к Михайловскому Шелгунов характеризует Вольфсона следующим образом: «...Магистр естественных наук, жил за границей, работал в «Знании» <Критико-библиографич. журнал.— *Е. О.*>, читал курс биологии в Соляном городке. Одним словом, ученый. Боюсь, что его ученая голова не скоро научится думать публицистски» (ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. Н. К. Михайловского, ф. 181, оп. 1, ед. хр. 768, лл. 17—17 об.).

Вернулся я домой из Петербурга...— на дачу в Парголове, где Шелгунов жил летом 1884 года.

Стр. 292. *...чтобы он выслал <...> адресуя на имя Михайлова.*— Дознанием было установлено, что находившийся на нелегальном положении член Исполнительного комитета «Народной воли» Л. А. Тихомиров с января 1881 года по апрель 1884 печатал в «Деле» свои статьи под псевдонимами «Каратаев», «Кольцов», «И. К.» и «Григорьев». Прожив с семьей первую половину 1882 года в Ростове-на-Дону, Тихомиров летом того же года эмигрировал. Денег на поездку у него не было, поэтому 23 июня 1882 года Шелгунов послал телеграмму Станюковичу, который и перевел деньги для Тихомирова на имя ростовского телеграфиста П. М. Михайлова (ЦГИА, ф. 1405, оп. 85, 1884 г., ед. хр. 10922, лл. 13 об., 14 об.). Позже Тихомиров писал в своих воспоминаниях: «Спасибо покойному Н. В. Шелгунову. Я попросил у него вперед под статьи, он выслал моментально» («Воспоминания Льва Тихомирова», М.— Л. 1927, стр. 141).

Стр. 294. *Кривенко, ответы которого им не нравились...*— Сотрудник «Отечественных записок» С. Н. Кривенко был арестован 3 января 1884 года. По этому делу была арестована С. Е. Усова и целая революционная группа, выданная провокатором С. П. Дегаевым. Им было предъявлено обвинение в помощи Красному Кресту «Народной воли» и даже в «революционной деятельности выдающегося значения». Однако принадлежность их к Исполнительному комитету «Народной воли» доказать не удалось. Высочайшим повеле-

нием 3 июля 1885 года Кривеико выслали в Вятку на три года под надзор полиции, а Усову — на пять лет в Западную Сибирь (ЦГИА, ф. 1405, оп. 85, 1884 г., ед. хр. 10944, лл. 1, 30, 31, 105 об., 106, 106 об., 107 об., 108).

Ваничку (фамилию не помню, это был четвертый метальщик)... — Речь идет о И. П. Емельянове, участнике покушения на Александра II 1 марта 1881 года. Царь был убит бомбами, брошенными Н. И. Рысаковым и И. И. Гриневицким. Т. М. Михайлов и И. П. Емельянов были запасными метальщиками. Последний был арестован 14 апреля 1881 года, полгода содержался в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, затем в доме предварительного заключения, снова в крепости и опять в доме предварительного заключения. Летом 1884 года его отправили в одно из самых страшных мест царской каторги — на Кару.

Стр. 294—295. *Павленков по поводу каких-то статей Кольцова (Тихомирова)...* — Откровенными показаниями секретаря «Дела» М. Паршекова было установлено, что книгоиздатель Ф. Ф. Павленков не только знал о связях редакции с Тихомировым, но и передавал через редакцию литературу для пересылки Тихомирову в Париж (ЦГИА, ф. 1405, оп. 85, 1884 г., ед. хр. 10922, л. 26 об.).

Стр. 295. *...получить от нее конторские книги за 1881 год...* — Е. А. Благосветлова, вдова Благосветлова, некоторое время после смерти мужа являлась издательницей «Дела» (см.: Г. В. Прохоров, Судьба литературного наследства Г. Е. Благосветлова.— «Литературное наследство», т. 7—8, М. 1933, стр. 316). Конторскими книгами полиция интересовалась для установления связей редакции журнала с народовольцами и политическими эмигрантами.

...по инструкции <...> жандармы должны уподобляться по кротости первым христианам. — Инструкция, составленная шефом жандармов А. X. Бенкендорфом при образовании III Отделения собственной его императорского величества канцелярии (3 июля 1826 года), каждому чиновнику Отделения вменяла в обязанность «узнавать о бедных и сирых, служащих верой и правдой и нуждающихся в пособии». Заметив же незаконные поступки, он должен был «сначала предварять начальных лиц и тех самых людей и употреблять старания для обращения заблудших на путь истины». Инструкция опубликована в «Русском архиве», 1889, вып. 2, кн. 7.

Прошло ровно двадцать лет, как явились «Судебные уставы»... — введенные судебной реформой и начавшие действовать в ноябре 1865 года.

Стр. 296. *Но Жолкевичу было желательно <...> нечто <...> вроде «Истории Государства Российского»...* — Этот труд

Н. М. Карамзина состоял из двенадцати томов и был снабжен обширным документальным комментарием.

Я <...> действительно никогда не знал адреса Кольцова.— Несомненно, Шелгунов в данном случае говорил правду. Едва ли адреса членов Исполнительного комитета «Народной воли» были широко известны. Однако при необходимости Шелгунов всегда мог увидеться с Тихомировым при посредстве близких к нему в то время видных народовольцев.

Стр. 299. *В Вологде, когда я жил в ней...*— с июля 1867 года по май 1869.

Стр. 300. *Запрещение «Отечественных записок»* — состоялось в апреле 1884 года на номере четвертом. В правительственном сообщении было сказано, что «в редакции «Отечественных записок» группировались лица, стоявшие в близкой связи с революционной организацией» («Правительственный вестник», 1884, № 87, 20 апреля).

...посадили в тюрьму почти всю его редакцию.— В нее входили, по показаниям Станюковича, он сам, Шелгунов и Н. Ф. Бажин. Арестованы были Станюкович и Шелгунов.

...Плеве <...> отлично знал, что <...> с удалением Острогорского «Дело» остановится.— В. П. Острогорский, с начала восьмидесятых годов активно сотрудничавший в «Деле», с 23 августа 1883 года формально считался редактором журнала. В письме к Михайловскому от 21 июня 1884 года Шелгунов писал: «Острогорскому Плеве велел отказаться от редакторства, если не желает сидеть на скамье подсудимых. <...> Дело, очевидно, расширяется и грозит принять грандиозные размеры, если верить Острогорскому. Сам он не показывается и передавал разговор с Плеве через других. Оказались две редакции, одна на другую непохожие, хотя обе ужасные» (ИРЛИ, Отдел рукописей, арх. Н. К. Михайловского, ф. 181, оп. 1, д. 768, лл. 19—19 об.). Об этом инциденте сообщал Н. Ф. Бажин в письме от 19 сентября 1884 года к Д. Н. Мамину-Сибиряку: Плеве «после хорошей нотации» объявил Острогорскому, «что если он не хочет быть привлеченным к процессу о государственном преступлении, то пусть немедленно, не выходя из комнаты, подает заявление в Главное управление по делам печати, что он отказывается от редактирования «Дела» (В. П. Вильчинский, К. М. Станюкович, изд. АН СССР, М.— Л. 1963, стр. 215). Официально Острогорский заявил Главному управлению по делам печати, что он «слагает с себя звание редактора означенного журнала» 18 сентября 1884 года (ЦГИА, ф. 777, оп. 2, 1881 г., ед. хр. 76, ч. VIII, лл. 47, 81).

Стр. 301. *...что ему прикажут.*— Далее зачеркнуто: «Я помню, как Герцен смеялся над Петрашевичем, который вздумал убеждать сенат, что его судили неправильно и незаконно». (Очевидно, у

Шелгунова описка: он имел в виду процесс М. В. Буташевича-Петрашевского в 1849 году.)

...после судебной реформы и нового суда — «скорого, милостивого и равного для всех». — Шелгунов иронизирует по поводу «высочайшего указа» от 20 ноября 1864 года, где Александр II выражал желание «водворить в России суд скорый, правый, милостивый и равный для всех» (Полн. собр. законов Российской империи, собр. II, т. XXXIX, отд. 2, 1864, СПб. 1867, стр. 180).

Стр. 302. *...<Степняк-Кравчинский> <...> переводил у нас под фамилией Штейна, Бэльдинского...* — Кравчинский вел переписку с редакцией и получал гонорары под фамилией Штейна, но под этим псевдонимом, как и под псевдонимом Бэльдинского, в «Деле» не печатался (сообщено Е. А. Таратутой). Бэльдинская, Бельдинский — псевдоним известной революционерки Веры Засулич, близкой к семье Кравчинского.

Вот эта записка. — Автограф записки разыскать не удалось, в следственных делах она также не обнаружена.

Стр. 304. *...с напечатанием «Правительственного сообщения» <...> явилось официальное указание...* — Связывая в идейном отношении легальные демократические органы печати, в первую очередь «Отечественные записки», с деятельностью «Народной воли», сообщение указывало и на практические сношения членов редакций этих органов с подпольными революционными кружками. В сообщении заявлялось, что правительство не может допустить, чтобы легальный орган печати имел «ближайшими своими сотрудниками лиц, принадлежащих к составу тайных обществ» («Правительственный вестник», 1884, № 87, 20 апреля).

Стр. 306. *...в Сибирь <...> был выслан из Петербурга Щапов.* — См. прим. к стр. 170.

...убитого Судейкина... — Главного инспектора царского политического сыска в начале восьмидесятых годов Г. П. Судейкина убил 16 декабря 1883 года свой же агент, провокатор С. П. Дегаев. По требованию заграничного Исполнительного комитета «Народной воли» он должен был искупить этим актом свое предательство.

Стр. 308. *...в Любани <...> думал пробыть у Михайловского...* — Михайловский переехал в Любань из Выборга, куда он вместе с Шелгуновым был выслан в декабре 1882 года.

...по поводу Драгоманова <...> и насколько Чубинский поступил умнее, не уехав за границу... — Деятели украинофильского движения П. П. Чубинский и М. П. Драгоманов, занимавшиеся сбором этнографического материала и украинского фольклора, неоднократно подвергались преследованиям. Драгоманов в 1876 году эмигрировал; Чубинский остался в России.

Стр. 309. *...пришла рукопись <...> и при ней письмо, подписанное Тилло.*— Во время следствия выяснилось, что редакция «Дела» заказывала статью об Успенском Тихомирову, и для этой цели ему было отправлено собрание сочинений Успенского, которое Паршеков по поручению Станюковича получил от Павленкова. Рукопись статьи Тихомиров якобы передал П. Лаврову, а тот своему знакомому в Париже — русскому студенту Альберту Тилло, по показаниям последнего. Рукопись и письмо были переписаны Анной Поповой и пересланы брату Альберта — студенту Петербургского университета Альфреду Тилло. Статья намечалась для июньской книжки «Дела» за 1884 год за подписью «А. Т — о», хотя Альберт Тилло разрешил Тихомирову подписаться своим полным именем. За эту статью, так и не увидевшую света, Тихомирову еще в декабре 1883 года было выслано 100 р. (ЦГИА, ф. 1405, оп. 85, 1884 г., ед. хр. 10922, лл. 14 об., 26 об., 27 об., 28). На самом деле, как это видно из различных материалов, опубликованных в 1923—1926 годах в сборниках группы «Освобождение труда», Альберт Тилло, уезжая из Петербурга за границу в 1883 году, получил от вернувшегося в Россию из Швейцарии революционера Я. В. Стефановича явку к Л. Г. Дейчу, а тот познакомил Тилло с Тихомировым и Лавровым.

Стр. 310. *...она была написана Протопоповым.*— Из зачеркнутой незаконченной строки рукописи видно, что речь идет о статье «Талантливый неудачник» («Дело», 1884, № 3), посвященной выходу в свет первого тома полного собрания сочинений Ф. М. Достоевского (СПб. 1883).

...и никаким либерализмом не отличался.— Котляревский, служивший в семидесятых годах помощником прокурора Киевского округа, прославился своими притеснениями политических заключенных, и 24 февраля 1878 года на него было совершено покушение. Его участникам — В. Осинскому, И. Ивичевичу и А. Фомину — удалось скрыться.

Стр. 311. *Ариман* — дух зла (древнеиранск.), подобный сатане в христианской религии.

...статья о доме предварительного заключения...— Ни этой, ни упоминаемой ниже статьи в «Новом времени» разыскать не удалось.

...похожий несколько на того майора Томского острога, о котором пишет Достоевский...— то есть на плац-майора Омского острога Кривцова, выведенного в «Записках из Мертвого дома» под именем «Кр — в»: «Этот майор был какое-то фатальное существо для арестантов, он довел их до того, что они его трепетали. Был он

до безумия строг, «бросался на людей», как говорили каторжные» (Ф. М. Достоевский, Собр. соч. в десяти томах, т. 3, Гослитиздат, М. 1956, стр. 401).

Стр. 312. *...он пожелал в Восточную Сибирь...*— Станюкович был сослан в Сибирь в июне 1885 года и пробыл там три года. См. также прим. к стр. 377.

Стр. 313. *...говорил мне полковник.*— Далее зачеркнуто: «Во всем этом он был, конечно, прав, но он забывал, что он сам теперь уже не сибирский казак, а начальник этой тюрьмы».

...показать, что он не тюремщик, а образованный человек...— Начальник дома предварительного заключения, полковник Ерофеев, по свидетельству И. И. Попова, был гуманным и просвещенным человеком, «оказывал немало услуг арестованным»: осведомлял их о ходе следствия, сообщал, кто вновь арестован и за что, кто отправлен в Сибирь, разрешал внеочередные свидания с родственниками. В разговорах с Поповым, Вершининым, Флеровым, Бурцевым он порицал жандармское управление и через несколько лет был вынужден выйти в отставку. В 1889 году в Париже Бурцев даже убеждал Попова, что Ерофеев «вполне наш», то есть предан делу революционеров (И. И. Попов, Минувшее и пережитое, ч. 1, Л. 1924, стр. 137—139).

...в книге Никитина («Тюрьма и ссылка»).— Книга В. Н. Никитина, одного из директоров Петербургского тюремного комитета, вышла в Петербурге в 1880 году.

Стр. 315. *При императоре Николае тюрьма была тюрьмой.*— Далее зачеркнуто: «без всякой той новой фальши, которую создал прокурорский надзор. Именно эта ложь, отводящая глаза у власти, порядки дома предварительного заключения возмутительны мне».

Стр. 316. *...никакой причины говорить неправду.*— Далее зачеркнуто: «Не проходило дня, чтобы Дубецкий не плакал, говоря с другими заключенными о своем деле (политические заключенные и подследственные уголовные гуляли одиночно в клетках, построенных посредине двора, а уголовные, над которыми следствие кончилось, на дворе вместе)». Зачеркнута также неоконченная фраза о том, как Шелгунов подсчитывал число гуляющих, и рисунок тюремной галереи.

Стр. 317. *Нас, лазаретных...*— Шелгунов некоторое время содержался в лазарете дома предварительного заключения (см. стр. 377, 379).

Стр. 318. *Вы государственный?* — то есть государственный преступник.

В Забайкалье, в Нерчинском округе...— см. стр. 21—22 наст. тома и стр. 123—125 тома II наст. изд.

Стр. 321. *...они были из арестантов Литовского замка...*— Литовский замок с 1830 года служил тюрьмой, пока не был сожжен в феврале 1917 года.

Стр. 323. *...было немало офицеров, и в особенности артиллеристов...*— Среди участников организации «Народной воли» было немало военных и офицеров-артиллеристов (кружки артиллеристов существовали в Петербурге, Кронштадте, несколько кружков в Гельсингфорсе, Вилькомире, Кобеляках). Многие из них в 1883 году подверглись правительственным репрессиям. По свидетельству участника военной организации М. Ю. Ашенбреннера, арестовано было до двухсот офицеров, которыми, однако, состав военной организации «Народной воли» не исчерпывался (М. Ю. Ашенбреннер, Военная организация «Народной воли», М. 1924, стр. 170—171).

Кайенна — городок во Французской Гвинее, в семидесяти пяти километрах от которого расположена каторжная тюрьма, куда ссылались «государственные преступники» Франции.

ПРИЛОЖЕНИЯ

В настоящее издание включены в виде приложений материалы, документы, а также свидетельства современников (значительная часть которых в советское время не публиковалась), позволяющие с бо́льшей полнотой представить духовный облик, общественно-политическую, революционную и литературную деятельность Шелгуновых и Михайлова. В первую очередь это относится к документам, принадлежащим перу самих мемуаристов. Так, в первом томе публикуются прокламации Шелгунова «Русским солдатам от их доброжелателей поклон», «К молодому поколению», «К солдатам». Во втором томе печатаются письма М. Л. Михайлова к Шелгуновым из Петропавловской крепости, существенно дополняющие его «Записки», а также письмо брата М. Л. Михайлова — Петра Ларионовича — к Шелгуновой о последних днях жизни поэта-революционера и об обстоятельствах его смерти.

Кроме того, в обоих томах представлены документы, отражающие отношение революционно-демократических кругов России к деятельности Шелгунова и Михайлова. К числу таких документов относятся: Прокламация петербургских студентов по поводу демонстрации на похоронах Шелгунова 15 апреля 1891 года, явившейся крупнейшим политическим событием того времени (первый том); статьи, заметки и стихи из «Колокола», в которых нашла выражение высокая оценка революционного подвига Михайлова и глубокие симпатии к нему издателей «Колокола» Герцена и Огарева; брошю-

ра о Михайлове, выпущенная за границей деятелями русской революционной эмиграции (второй том).

И наконец, в число приложений к обоим томам входят воспоминания современников о Шелгуновых и Михайлове. Их авторы касаются многих событий и фактов, о которых сами мемуаристы по тем или иным причинам не упоминают.

Так Шелгунов заканчивает свои воспоминания началом шестидесятых годов (мемуарный набросок об аресте 1884 года фрагментарен и не окончен). Между тем с 1885 года начинается последний и наиболее значительный этап деятельности Шелгунова — зрелого, прогрессивного публициста, к слову которого в его «Очерках русской жизни» прислушивалась вся читающая Россия. Об этом периоде жизни Шелгунова и об антиправительственной демонстрации на его похоронах рассказывают помещенные в первом томе мемуарные свидетельства Н. К. Михайловского, П. Л. Лаврова, Е. В. Гешина и др. Они существенно дополняют представление о личности Шелгунова — литератора и революционного бойца, не сложившего пера до последних дней жизни.

«Записки» Михайлова повествуют лишь о событиях, связанных с его арестом, заключением в Петропавловскую крепость и следованием на каторгу в Восточную Сибирь. Поэтому крайне интересны и важны воспоминания П. В. Быкова, рисующие творческий и жизненный путь Михайлова с первых шагов в литературе до начала шестидесятых годов, воспоминания Е. А. Штакеншнейдер, относящиеся к 1855—1857 годам, и наконец, Е. О. Дубровиной, являющиеся, по существу, единственным свидетельством современника о пребывании Михайлова на каторге, и др.

Небольшой объем всех этих воспоминаний не вызывает необходимости издания специального сборника, как это принято в серии литературных мемуаров, а их тесная, органическая связь с мемуарами Шелгуновых и Михайлова обусловливает публикацию этих воспоминаний в качестве приложения к ним. Расположение воспоминаний определяется хронологией основных событий и периодов жизни и деятельности Шелгуновых и Михайлова, освещаемых в них.

I. ПРОКЛАМАЦИИ Н. В. ШЕЛГУНОВА

РУССКИМ СОЛДАТАМ ОТ ИХ ДОБРОЖЕЛАТЕЛЕЙ ПОКЛОН

(Стр. 327)

Прокламация не была отпечатана и не распространялась. Впервые текст ее опубликован в 1923 году Б. П. Козьминым в журнале «Красный архив», т. III — по автографу Шелгунова,—

и А. А. Шиловым в приложении к «Воспоминаниям» Шелгунова, М.— П. 1923 — по неисправной писарской копии.

Рукопись Шелгунова[1] содержит вставку взамен зачеркнутого места, сделанную почерком Михайлова (см. постраничные прим.). Рукопись не датирована.

Печатается по публикации Б. П. Козьмина (стр. 236—239), сверенной и исправленной по подлиннику.

Авторство Шелгунова, помимо автографической рукописи, устанавливается его собственным признанием (см. «Первоначальные наброски», стр. 243) и подтверждается свидетельством А. А. Слепцова, опубликованным М. К. Лемке (см. стр. 12), а также сообщением Н. С. Русанова о том, что Шелгунов рассказывал ему о своем авторстве[2].

Прокламация «Русским солдатам...» писалась, как и «Барским крестьянам...» Чернышевского, в расчете на неизбежность крестьянского восстания. Она имела своей целью не только убедить армию не выступать против революционного народа, но и присоединиться к нему.

Рукописи прокламаций «Русским солдатам...» Шелгунова и «Барским крестьянам...» Чернышевского, пересланные Н. Д. Костомаровым вместе с доносом в III Отделение (см. прим. к стр. 159), послужили поводом для ареста Михайлова: В. Д. Костомаров, встав на путь предательства, заявил, что оба воззвания были получены от Михайлова. Опасаясь дальнейших предательских показаний Костомарова, Михайлов, чтобы спасти Шелгунова и Чернышевского, признался на следствии, что обе рукописи ему известны. Он утверждал, будто они ходили в Петербурге по рукам и будто прокламацию «Русским солдатам...», написанную неразборчиво, он переписал измененным почерком, а вставку сделал своим обычным[3]. В. Костомаров (еще не выдавший Шелгунова и Чернышевского) менее чем через полтора года по договоренности с III Отделением сфабриковал письмо к мифическому лицу — Н. И. Соколову, в котором подробно изложил историю создания обеих прокламаций. Письмо это, якобы перехваченное политическим сыском, фигурировало в делах Чернышевского и Шелгунова как главная улика. Оба они, разумеется, не могли не отвергать версию Костомарова и отрицали свою причастность к прокламациям.

История написания прокламаций в письме Костомарова излагается так: «...Михайлов, знавший уже от меня, что в Москве есть возможность печатать без цензуры на гом станке, на котором от-

---

[1] ЦГИА, ф. 1582, оп. 14, д. 72088/К.
[2] «Голос минувшего», 1915, № 6, стр. 233.
[3] «Красный архив», 1923, т. III, стр. 230.

печатана была книга Корфа [1], и предварительно переговорив с Чернышевским, привез меня к Чернышевскому именно с той целью, чтобы переговорить о возможности напечатания воззвания». Чернышевский, по словам Костомарова, передал ему и Михайлову рукопись прокламации «Барским крестьянам от их доброжелателей поклон». Тогда же, в прямой связи с этим воззванием, Шелгунов написал прокламацию «Русским солдатам от их доброжелателей поклон» [2]. Это совпадает с признанием Шелгунова в «Первоначальных набросках»: «Больше всего нас, конечно, пленял его станок и готовность печатать — у нас же оказалась готовность писать <...> я написал прокламацию «К солдатам», а Чернышевский прокламацию «К народу» и вручил их для печатания Костомарову». Это совпадает также со свидетельством Слепцова, в котором хотя и не содержится никаких сведений о Костомарове, но говорится об одновременности замысла обратиться с воззваниями к крестьянам, солдатам и раскольникам. (В письме Костомарова, между прочим, сообщается, что Чернышевский продиктовал ему текст прокламации к раскольникам, который Костомаров позже уничтожил [3].)

Далее Костомаров пишет, что, прочитав вместе с Шелгуновым и Михайловым воззвание Чернышевского, он якобы отказался его печатать, если не будет смягчено содержание прокламации. Михайлов поэтому возвратил рукопись Чернышевскому для переделки, а Костомаров, не дождавшись нового варианта, уехал в Москву, захватив с собой только рукопись прокламации «Русским солдатам...». Воззвание Чернышевского несколько позже привез в Москву студент Московского университета и участник тайного печатания И. К. Сороко, ездивший в Петербург вместе с Костомаровым [4].

Действительно ли прокламация «Барским крестьянам...» переделывалась Чернышевским, а главное, по какой причине,— остается неизвестным. Но тот факт, что рукопись Чернышевского увез Сороко и что он уехал из Петербурга позже Костомарова, подтверждается Михайловым в «Записках» (см. том II наст. изд., стр. 284) и в его показаниях на следствии [5], а также признанием самого Сороко в получении от Михайлова для передачи Костомарову запечатанного конверта, содержимое которого ему якобы было неизвестно [6].

На основании письма и показаний Костомарова, Сороко и др. нельзя установить время написания прокламаций. Шелгунов в «Пер-

[1] См. ниже, см. также стр. 158.

[2] Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.— П. 1923, стр. 285, 288.

[3] Там же, стр. 289—290.

[4] Там же, стр. 285—286.

[5] Там же, стр. 89.

[6] Там же, стр. 34.

воначальных набросках» утверждает, что он и Чернышевский написали свои прокламации зимой 1861 года и что Костомаров уехал с рукописями «в половине зимы» (стр. 243). Сведения эти, однако, не точны. Вопрос о датировке этих воззваний давно уже является предметом спора советских исследователей.

Между тем в архиве III Отделения имеется дело «Относительно открытия в Москве частной литографии...», материалы которого дают возможность определить время пребывания Костомарова и Сороко в Петербурге, а следовательно, установить и приблизительную дату написания воззваний Шелгунова и Чернышевского. Как видно из этого дела, 24 февраля 1861 года московский обер-полицмейстер А. Л. Потапов доносил управляющему III Отделением А. Е. Тимашеву, что в Москве тайно печатается брошюра Огарева «14-е декабря 1825 г. и император Николай. (По поводу книги барона Корфа)», но печатание приостановлено, так как «машина испортилась», и за покупкой новой машины выехали в Петербург студент Сороко с уволенным из университета П. П. Петровским[1]. Более подробные данные были сообщены в III Отделение 27 февраля московским жандармским офицером Н. В. Воейковым. По его сведениям, 15 февраля в Петербург выехали отставной офицер Костомаров, Сороко и Петровский, причем последний отправился раньше. (не ясно — до 15-го или именно 15-го) и должен был по телеграфу известить своих товарищей о благополучном прибытии, но Сороко и Костомаров, не дождавшись известия, уехали вслед за ним. Они повезли с собой литографированные издания «Колокола» и печатные брошюры Огарева[2]. Следовательно, Костомаров мог видеться с Михайловым и рассказать ему о тайной типографии не ранее 16—17 февраля.

28 февраля для наблюдения за уехавшими был отправлен из Москвы агент — мещанин Дмитриев «под видом посланного от их товарищей». Наконец 9 марта, должно быть на основании сведений, полученных от Дмитриева, Воейков телеграфировал шефу жандармов, что «известные лица 10—11 марта отправляются в Москву», и просил задержать их на железной дороге[3]. В ответной телеграмме от 10 марта упоминались только Сороко и Петровский, из чего можно заключить, что Костомарова уже в Петербурге не было. Однако и эти двое возвратились в Москву лишь 28 марта, находясь до этого числа все время в Петербурге[4].

---

[1] ЦГАОР, ф. 109, 1 эксп., 1859 г., д. 258, л. 22.
[2] Там же, л. 27.
[3] Там же, л. 33.
[4] Там же, лл. 55—55 об.

В показаниях Чернышевского говорится, что он познакомился с Костомаровым, которого привез к нему Михайлов, в одну из сред (приемный день Чернышевского)[1]. Это могло быть 22 февраля, 1 или 8 марта. Последняя дата отпадает, если считать, что Костомаров до 10 марта выехал в Москву. Следовательно, прокламация «Русским солдатам...» и первоначальный текст «Барским крестьянам...» писались до обнародования документов о крестьянской реформе, но в момент напряженного ожидания их публикации, а переделывались в течение марта, после оглашения манифеста 19 февраля, происходившего в Петербурге 5 марта.

Возможно, что Чернышевский перерабатывал свою прокламацию не с целью смягчения, как утверждал Костомаров, всячески выгораживавший себя, а для внесения корректив на основании положений и манифеста 19 февраля. Возможно, что и отъезд Сороко задержался в связи с ожиданием прокламации от Чернышевского. Это подтверждается упоминанием о «воле», как о свершившемся факте, в воззвании «Русским солдатам...», и началом прокламации «Барским крестьянам...»: «Ждали вы, что даст вам царь волю, вот вам и вышла от царя воля». В показаниях Михайлова об этих воззваниях также говорилось как о пореформенных. «Они ходили здесь по рукам в рукописи вскоре после манифеста об освобождении крестьян»[2],— писал он.

Стр. 327. *Война польская, война венгерская* — восстание в Польше 1830—1831 годов и ввод царских войск в Венгрию для подавления революции 1848—1849 годов.

Стр. 328. *Польшу взяли к России при императрице Екатерине II...* — в результате трех разделов Речи Посполитой (Польши) между Австрией, Пруссией и Россией после захватнических войн 1772, 1793 и 1795 годов.

...малороссийских казаков сделала крепостными.— В 1783 году произошло юридическое оформление крепостного права на Украине.

...их забрали немцы (австрийцы).— Австрия постепенно захватывала венгерские земли и к концу XVII века установила свою власть над всей Венгрией.

Стр. 331. *А теперь говорят крестьянину — откупи от помещика землю...*— Усадьбы и полевые наделы крестьян по реформе 19 февраля признавались собственностью помещиков и должны были

---

[1] Н. Г. Чернышевский, Полн. собр. соч., т. XIV, Гослитиздат, М. 1949, стр. 740.

[2] «Красный архив», 1923, т. III, стр. 230.

выкупаться крестьянскими общинами по расценкам, в несколько раз превышавшим рыночную стоимость земли.

Вспомните тогда, братцы, что и вы родились <...>, и вздохнет вся Русская земля спокойно! — Весь абзац написан почерком Михайлова взамен зачеркнутого: «Вспомните тогда нашу грамотку, вспомните, что вы не французы и не англичане, что вы не враги страны родной, что вы такие же русские, как все мы, что вы призваны не на погибель народа, а на защиту его, что вы давали клятву на дела добрые, а не на злые. Вспомните все это и спасите народ от его притеснителей — от помещиков и от начальства».

...забитых и засеченных... — Слово «засеченных» было ошибочно прочитано переписчиком как «заколоченных» и так перешло в публикацию Шилова. Козьмин в своей публикации в «Красном архиве» воспроизвел другое ошибочное чтение: «заключенных».

К МОЛОДОМУ ПОКОЛЕНИЮ

(Стр. 332)

Прокламация отпечатана в Вольной русской типографии в Лондоне в июне 1861 года. Распространялась 3—4 сентября в Петербурге. Рукопись не разыскана. Печатается по лондонскому изданию.

Прокламация написана Шелгуновым, как это следует из его признания в «Первоначальных набросках» (стр. 243), но, должно быть, и при участии Михайлова, о чем свидетельствует рассказ А. А. Слепцова (см. вводную статью в наст. томе, стр. 12—15). Время написания — между 5 марта и серединой апреля 1861 года, то есть после обнародования манифеста и положений 19 февраля, упоминаемых в прокламации, и до кровавых событий в Бездне и Кандеевке, ставших известными после 15 апреля, мимо которых авторы прокламации, без сомнения, не могли бы пройти.

«К молодому поколению» — один из элементов возникшего в кругу «Современника» замысла об обращении с воззваниями к разным слоям населения. Прокламация имела своей целью активизировать и объединить молодежь, прежде всего студенческую, как наиболее отзывчивую и энергичную часть радикальной интеллигенции. Изложенная в ней программа содержит все основные черты идеологии революционного народничества: ориентацию на общину как основу социализма, представление о революции как об акте, решающем одновременно и вопросы политического, и вопросы социалистического переустройства России.

Для напечатания прокламации Михайлов и Шелгуновы выехали 25 апреля 1861 года за границу [1]. Задержавшись в Берлине прибли-

вительно до начала мая[2], они проехали затем в Наугейм, где Шелгунова осталась для лечения, а Михайлов через Голландию отправился в Лондон, куда прибыл в начале июня, перед поездкой Герцена в Париж. Герцен был против печатания прокламации[3], однако считал себя не вправе отказать Михайлову, и в Вольной русской типографии было отпечатано шестьсот экземпляров воззвания. В двадцатых числах июня в Лондон приехал и Шелгунов, и они с Михайловым увезли весь тираж в Париж. Из неопубликованного письма Шелгуновой к Костомарову от 1 июля 1861 года видно, что Михайлов возвратился в Париж из Лондона 29 июня[4] и до 7 июля отправился через Берлин, Штеттин и далее морем в Петербург[5]. Приехал он, по его собственным словам, «в средних числах июля месяца»[6]. 20 июля и 5 августа он писал Костомарову и выслал ему деньги, возможно, для приезда в Петербург. В августе возвратились Шелгуновы, а 20 августа прибыл Костомаров. Ему показали прокламацию, и Михайлов просил его взять в Москву сто экземпляров для распространения, но Костомаров, по неизвестной причине, отказался[7].

В связи с обыском, произведенным у Михайлова 1 сентября по доносу Н. Д. Костомарова (см. вступит. статью в наст. томе и прим. к стр. 159), было решено немедленно распространить прокламацию, что и было сделано 3—4 сентября. Послали «К молодому поколению» и официальным лицам, в частности, управляющему III Отделением начальнику корпуса жандармов П. А. Шувалову. Тот 4 сентября телеграфировал главному начальнику III Отделения и шефу жандармов В. А. Долгорукову, находившемуся, как и Александр II, на юге России: «В Петербурге показалось у разных лиц и в войсках возмутительное воззвание к молодому поколению, печатанное в Лондоне, шрифт «Колокола». Сейчас сообщаю Тучкову[8]. По почтамту и со стороны полиции приняты меры. С Милютиным[9] лично

---

[1] «Литературный архив», т. 6, М.— Л. 1961, стр. 193.

[2] 2 мая датирована статья Михайлова «Из Берлина», опубликованная в «Современнике», 1861, № 5.

[3] См. статью «Нашим врагам».— А. И. Герцен, Собр. соч. в тридцати томах, изд. АН СССР, т. XX, кн. 1, М. 1960, стр. 421.

[4] ЦГАОР, ф. 109, 1 экс. 1862 г., д. 230, ч. 28 «А», л. 175.

[5] Это следует из письма Шелгуновой к Н. В. Гербелю от 7 июля 1861 г. («Историко-литературный сборник. Посвящается В. И. Срезневскому», Л. 1924, стр. 228).

[6] Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.— П. 1923, стр. 103.

[7] Там же, стр. 104.

[8] Московский генерал-губернатор.

[9] Управляющий военным министерством.

говорил <...> Принимаю все возможные меры к обнаружению»[1]. Но хотя, как писал Шувалов Долгорукову, он вместе с петербургским обер-полицмейстером А. В. Паткулем «поднял на ноги всю петербургскую полицию»[2], обнаружить распространителей так и не удалось. Только из воспоминаний Шелгунова («Первоначальные наброски») выяснилось, что, кроме Михайлова, распространением прокламации занимались А. А. Серно-Соловьевич и Е. П. Михаэлис (см. стр. 246).

В. Костомаров, арестованный 26 августа по делу тайной студенческой типографии в Москве, выдал причастность Михайлова к прокламации «К молодому поколению» уже после ее распространения (см. вступит. статью в наст. томе и прим. к стр. 277 и 284 тома II наст. изд.). Однако, опасаясь дальнейшего предательства Костомарова и привлечения к следствию Шелгуновых, Михайлов принял на себя не только печатание воззвания, но и авторство.

Об этой жертве Михайлова знал только очень узкий круг людей — Чернышевский, Добролюбов, Герцен, Огарев, братья Серно-Соловьевичи. Знал об этом и близкий к революционным конспирациям того времени В. О. Ковалевский (муж С. В. Ковалевской, впоследствии выдающийся палеонтолог). В письме к Герцену от 14 сентября 1866 года он напоминал ему, что «знал в подлинности все Михайловское и Шелгуновское дело»[3] и умел свято хранить эту тайну. Он мог знать об этом от семьи Шелгуновой, так как одно время был женихом ее сестры, М. П. Михаэлис. Николадзе писал в своих воспоминаниях, что о принадлежности прокламации «К молодому поколению» Шелгунову узнал «из вполне достоверного источника» спустя пять лет после ареста Михайлова[4], то есть, очевидно, в то время, когда он, Николадзе, жил за границей. Тобольский прокурор Жемчужников, которого Михайлов посещал во время пребывания в Тобольском остроге, утверждал, что, по словам Михайлова, «он осужден был за найденное у него сочинение, автором которого был не он, но принял его на себя, чтоб отстранить от ответственности действительного автора»[5]. Впервые же об авторстве Шелгунова стало широко известно из книги Л. Ф. Пантелеева «Из воспоминаний прошлого» (СПб. 1905). Однако сообщение Пантелеева не было подтверждено документально и вызвало сомнения и возражения Лемке, как раз в это время печатавшего в журнале «Былое» ста-

---

[1] «Политические процессы 60-х гг.» Под редакцией Б. П. Козьмина, М.— П. 1923, стр. 272.

[2] Там же, стр. 274.

[3] «Литературное наследство», т. 62, М. 1955, стр. 268.

[4] «Каторга и ссылка», 1927, № 4 (33), стр. 43.

[5] «Колокол», 1866, л. 218, 15 апреля, стр. 1786.

тью «Дело М. И. Михайлова» (1906, № 1). В следующем номере этого же журнала Пантелеев напечатал заметку «Нелишнее разъяснение», сообщив в ней о существовании неопубликованной записки Шелгунова, то есть о «Первоначальных набросках», где последний сам говорит о своем авторстве (см. стр. 458).

Стр. 332. *Печатано без цензуры в С.-Петербурге, в сентябре 1861 года.*— Заведомо неверные сведения о месте печатания прокламации сообщались, чтобы продемонстрировать возможность подпольного бесцензурного печатания. Прокламация помечена сентябрем, так как в этом месяце, после возвращения студентов с каникул, намечалось ее распространение.

Я ль буду в роковое время...— Стихотворение К. Рылеева, известное под названием «Гражданин»; 14 строка у автора: «На бедствия своей отчизны».

...решили объявить народу волю в великом посту...— В Петербурге и Москве манифест 19 февраля был обнародован 5 марта — в последний день масленицы и накануне великого поста. В большинстве же провинциальных городов и в сельской местности манифест оглашался уже во время поста.

Стр. 332—333. *...организацией комиссий, составлявших и рассматривавших «Положение», государь показал полнейшее презрение ко всему народу...*— Для составления положений были созданы редакционные комиссии, сосредоточившие у себя все сведения губернских комитетов — выборных организаций дворянства, и на их основе выработавшие текст положений.

Стр. 333. *Романовы <...> выбраны народом, потому что их считали способнее <...> польских и шведских королевичей.*— После длительного периода междуцарствия и польско-шведской интервенции был созван в 1613 году Земский собор для выборов нового царя. В нем, помимо бояр и духовенства, были представлены дворяне, посадские люди, стрельцы, казаки и, видимо, часть черносошных (не закрепощенных) крестьян. На престол было выдвинуто несколько кандидатур, в том числе п о л ь с к и й королевич Владислав и ш в е д с к и й принц Карл Филипп. Борьба завершилась избранием сына митрополита Филарета — Михаила Романова, родоначальника дома Р о м а н о в ы х.

Стр. 334. *..что сделали крестьяне одного именья Тамбовской губернии с своими управляющими из немцев.*— Об этом факте нет никаких сведений в официальных документах, опубликованных в сборниках по крестьянскому движению, что, однако, не лишает данное сообщение достоверности.

...называя себя первой помещицей.— Екатерина II, подчеркивая полное единство интересов трона и дворянства, называла себя казанской помещицей.

Стр. 336. *В последнее время расплодилось у нас много <...> экономистов, взявших свой теоретический опыт из немецких книжек.*— Подразумеваются проф. Вернадский и другие буржуазно-либеральные авторы «Экономического указателя», выступавшие против общинного землевладения.

Нет, нет, наш путь иной || И крест не нам нести — из стихотворения А. Григорьева «Героям нашего времени» (1845). Вторая строка у Григорьева: «И крест не вам нести».

Стр. 338. *...1848 год должен был привести к неудаче.*— То есть к поражению революции 1848 года в европейских странах.

...у тридцати миллионов крестьян есть своя земельная собственность...— Имеются в виду государственные крестьяне, бывшие, однако, не собственниками своих наделов, а феодальными владельцами, платившими оброк. Земельные наделы они получили в собственность лишь по реформе 24 ноября 1866 года, и притом за установленный казной выкуп.

Стр. 339. *...в польскую и венгерскую войну.*— См. прим. к стр. 327.

Стр. 345. *Оброчные статьи* — казенные земли, рыбные ловли, мельницы, соляные варницы и т. п., отдававшиеся казной в арендное пользование.

...дворовым людям, пущенным манифестом 19 февраля по миру.— Дворовые освобождались от крепостной зависимости без наделения землей.

Переходное состояние — двухлетний срок, отведенный на составление уставных грамот, определявших количество надельных земель и повинности крестьян за пользование ими.

...чтобы выкуп всей личной земельной собственности состоялся немедленно.— По положениям 19 февраля, обязательным был только выкуп усадеб, выкуп же полевых наделов предоставлялся на усмотрение помещиков и мог быть оформлен только по их требованию, а не по требованию крестьян.

Обращение двадцати миллионов свободных людей в крепостных — широко практиковавшаяся при Екатерине II и позже раздача казенных земель с населявшими их государственными крестьянами в собственность дворянам, главным образом фаворитам и особам, имевшим важные «заслуги» перед троном.

Последняя муравьевская кража — оценочная инструкция 1859 года, выработанная при Муравьеве в министерстве государственных имуществ, по которой значительно повышались оброки с государственных крестьян: вместо прежних 12% с чистого дохода,

установленных при П. Д. Киселеве, до 25—33,5% (Н. М. Дружинин, Государственные крестьяне и реформа П. Д. Киселева, т. II, М. 1958, стр. 546).

...мещанства, этой неудавшейся русской буржуазии, выдуманной Екатериной II.— По «Городовому положению» 1785 года, в составе городского населения было образовано мещанство — низшее сословие, не освобожденное, в противоположность высшим городским сословиям (купцам, почетным гражданам), от уплаты подушной подати и от телесных наказаний. Его составляли мелкие ремесленники и мелкие торговцы.

Стр. 346. *...историю с графиней Платер...*— Об участнице польского восстания 1831 года Эмилии Плятер в прокламации «Льется польская кровь, льется русская кровь...» (1863, начало февраля) сообщалось: «Молодая девушка была взята в плен и отдана русским казакам на растление и потом уже, окровавленная, измученная, полумертвая, была расстреляна» («Русско-польские революционные связи», т. II, М. 1963, стр. 78).

Стр. 349. *Вы зовете Муравьева втихомолку трехпрогонным <...> заграничные издания публикуют его проделки...*— Кличку «трехпрогонный» объясняет сообщение, содержащееся в заметке «Вешающий Муравьев» в л. 63 «Колокола», 1860, 16 февраля, где говорится, что Муравьев для образования управлений по ведомству уделов и министерству государственных имуществ, которые он возглавлял, получил прогоны одновременно от обоих ведомств в сумме 24 тыс. руб. В «Колоколе» неоднократно печатались материалы, разоблачавшие деятельность Муравьева как министра государственных имуществ и как человека, устраивавшего личные дела за счет казны (см. «Колокол», 1858, л. 25, 1 октября, и л. 28, 15 ноября; 1859, л. 46, 22 июня; 1860, л. 63, 15 февраля, и л. 76, 15 июля). Кроме того, в журнале П. В. Долгорукова «Будущность» (1860, № 5, 25 декабря), выходившем в Лейпциге, была напечатана памфлетная биография Муравьева. О путешествии Муравьева по России с целью ревизии сразу трех ведомств см. на стр. 86, в воспоминаниях самого Шелгунова.

...прибирает к себе двадцать две тысячи десятин лучшей земли...— Очевидно, речь идет о награждении арендой сына Муравьева по хлопотам последнего. Подобные награждения заключались в сдаче земель в аренду на длительные сроки (до семидесяти лет) по заниженным расценкам на основании особых списков, утверждавшихся царем. В упоминавшейся заметке «Вешающий Муравьев» сообщалось, что землю, полученную сыном Муравьева, торговали купцы, предлагая за нее до трехсот тысяч рублей.

Стр. 350. *Мученики 14 декабря* — декабристы.

К СОЛДАТАМ

(Стр. 350)

Впервые — как листовка — размножена осенью 1861 года. Текст перепечатан М. К. Лемке в комментариях к «Полному собранию сочинений и писем» А. И. Герцена, т. XI, П. 1919, стр. 321—323. Рукопись и печатные экземпляры не разысканы. Печатается по публикации Лемке.

В 1898 году Шелгунова сообщила Лемке о том, что осенью 1861, после ареста Михайлова, Шелгунов написал прокламацию «К солдатам», как сокращенный вариант воззвания «Русским солдатам от их доброжелателей поклон». Прокламация была отпечатана вручную, в небольшом количестве экземпляров, и распространена в петербургском гарнизоне. В Москву и некоторые другие города попали лишь рукописные копии, отступающие от печатного текста воззвания. Единственный сохранившийся у Шелгуновой экземпляр был подарен ею библиографу и собирателю материалов по истории русской литературы П. Я. Дашкову. По этому экземпляру и делалась публикация Лемке[1]. В настоящее время в архиве Дашкова прокламация «К солдатам» не обнаружена.

Стр. 351. *...как это было в Бездне...* — См. прим. к стр. 170.

II. ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ Н. В. ШЕЛГУНОВЕ

Н. С. Русанов

СОБЫТИЕ 1 МАРТА И НИКОЛАЙ ВАСИЛЬЕВИЧ ШЕЛГУНОВ

(Стр. 352)

ИЗ КНИГИ «НА РОДИНЕ»

(Стр. 360)

Николай Сергеевич Русанов (1859—1939) — народнический публицист, примыкавший к народовольцам. Позднее вошел в партию социалистов-революционеров и был редактором ряда эсеровских газет. В 1879—1882 годах Русанов близко соприкасался с Шелгуновым, как начинающий публицист с ведущим сотрудником, а затем

---

[1] А. И. Герцен, Полн. собр. соч. и писем под ред. М. К. Лемке, т. XV, П. 1920, стр. 124. Ср.: Мих. Лемке, Политические процессы в России 1860-х гг., М.— П. 1923, стр. 149—150, 151—152.

и редактором журнала «Дело». Между ними установились отношения большого политического и личного доверия, Шелгунов признался Русанову, что был автором прокламации «Русским солдатам...»[1], рассказал ему об отношении Чернышевского к конспиративным замыслам подготовки восстания в России. В статье «Н. Г. Чернышевский и Россия 60-х годов» Русанов замечал, что Чернышевский, видевший «слабость и неподготовленность демократических элементов для <...> решительного столкновения со старым строем», все же «бесповоротно остановил свой выбор на активном вмешательстве в ход событий. Это решение было им принято,— говорил, например, мне Шелгунов,— не без долгого колебания, не без самого тщательного взвешивания аргументов *за* и *против*. Но, раз став на эту точку зрения, он уже не сходил с нее»[2].

Мемуары Русанова вскрывают некоторую идейную близость Шелгунова к народовольчеству[3] и объясняют, почему он привлек к участию в «Деле» видных деятелей этого движения.

На формирование воззрений Русанова значительное влияние оказал марксизм. Однако он, как и некоторые другие народники, не стал марксистом, а лишь пытался приспособить учение Маркса — Энгельса к народнической идеологии. Это, естественно, сказалось и на освещении Русановым деятельности Шелгунова как редактора «Дела», и размолвок между ними на идейной почве.

Мемуарный очерк «Событие 1 марта и Николай Васильевич Шелгунов» впервые был опубликован как приложение к брошюре П. Л. Лаврова «Последовательные поколения» (Женева, Кружок народовольцев, 1892), без подписи, а затем в журнале «Былое», 1906, № 3, за подписью «Н. Р.»[4] Печатается по этой публикации, стр. 41—47.

После Октябрьской революции Русанов эмигрировал. В 1923 году в Берлине вышла книга его воспоминаний «На родине». В 1931 году ее переиздали в Москве. Фрагменты из этих воспоминаний печатаются по изданию 1931 года, стр. 213—214, 260—262, 275—276.

---

[1] «Голос минувшего», 1915, № 6, стр. 233.

[2] «Критическая литература о произведениях Н. Г. Чернышевского», вып. 1, М. 1908, стр. 146.

[3] Кроме воспоминаний Русанова, об этом имеются и другие свидетельства. Так Н. Я. Николадзе упоминает об участии Шелгунова в совещании у Г. И. Успенского весной 1882 года по поводу подачи адреса Александру III в пользу печати и политических узников («Былое», 1906, № 9, стр. 255).

[4] В «Истории русской литературы XIX века. Библиографический указатель» под ред. К. Д. Муратовой (М.— Л. 1962) он ошибочно приписан Н. Рубакину.

Стр. 352. *Меня ему отрекомендовал один из сотрудников «Дела».*— Позднее Русанов вспоминал, что его фельетоны в газете «Новости» привлекли внимание «порою писавшего в них Станюковича, который замолвил доброе слово о них Шелгунову, а этот передал мне через свою жену, работавшую в «Новостях» по переводной части, желание повидаться со мной» («На родине», М. 1931, стр. 212).

Стр. 353. *...почти все его статьи были написаны другими под его диктовку...*— Недостоверные сведения: с 1863 года по 1877 Шелгунов почти все время находился в тюрьме или ссылке и, разумеется, не имел никаких личных секретарей.

Стр. 354. *...только перед смертью удалось услышать сознательный отклик среди русских рабочих?* — См. воспоминания В. Голубева и Е. Гешина.

Николай Александрович Зыбин — псевдоним народника А. И. Иванчина-Писарева.

...«Народная воля» поставила решительный ультиматум правительству: смерть абсолютизму или скорая смерть царю.— Это требование было после казни Александра II официально предъявлено 10 марта 1881 года Александру III в письме Исполнительного комитета «Народной воли». Народовольцы ставили царя в известность, что террористические акты могут быть прекращены только на следующих условиях: 1. Амнистия политических «преступников». 2. Созыв представителей всего народа на основе всеобщего избирательного права и свободы выборов, обеспеченных свободой печати, слова и избирательных программ.

Стр. 356. *...одного моего приятеля из «Отечественных записок»...*— Вероятно, С. Н. Кривенко, с которым Русанов был дружен.

Стр. 358. *...энергичная передовица в «Стране»...*— в газете «Страна», 1881, № 70, 16 июня, где провозглашалась необходимость «развития земских учреждений до высшего предела, до учреждений всероссийских», то есть требование конституции. Передовая заканчивалась словами: «Вся будущность России — в живой силе созидательного земства, свободного слова, обеспеченной законом личности и способности русского народа к самоуправлению».

«Бараний парламент» — временный совет из двадцати пяти членов при петербургском градоначальстве, созданный «для ограждения общественной безопасности» по инициативе градоначальника столицы генерал-майора Н. М. Баранова. Совет избирался выборными от петербургского населения, правом голоса пользовались лишь домовладельцы, квартиросъемщики и владельцы промышленных и торговых заведений. Фактически члены совета были заранее

указаны градоначальником. Голосование производилось по квартирам, с чрезвычайной поспешностью и «нарушением азбучных правил всех избирательных систем» (подробно см.: П. А. Зайончковский, Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880 годов, М. 1964, стр. 306, 311).

Стр. 359. *В последнем письме его,— не помню, ко мне или к одному из моих приятелей,— помеченном Берлином...*— Это письмо не разыскано.

Стр. 359—360. *...с границы его прямо отправили в Петропавловку, и одним из мотивов его ареста было знакомство с террористами и печатание в «Деле» статей, которые писались нелегальными...*— Шелгунова арестовали не на границе, а через два месяца после прибытия в Петербург, и поместили не в Петропавловскую крепость, а в дом предварительного заключения. О причинах ареста см. в его воспоминаниях «Арест и высылка 1884 года» и комментарии к ним.

Стр. 360. *...Николай Васильевич <...> почувствовал потребность допустить живую струю в этот орган застывшего радикализма шестидесятых годов.*— Шелгунову удалось политически оживить «Дело», и в первую очередь благодаря привлечению новых сотрудников из числа революционеров-подпольщиков и политических эмигрантов — Тихомирова, Кравчинского, Русанова, Драгоманова и др. (см. подробнее на стр. 26—27, а также в очерке «Арест и высылка 1884 года» и комментарии к нему).

...он обрисовал перед своей смертью в «Русской мысли» только что нарождавшийся тип девятидесятника...— Этот очерк был напечатан после смерти Шелгунова (см. так же стр. 401).

Стр. 361. *...если Юзов-Каблиц доходил <...> до крайности, открыто ставя «чувство» выше «ума» в роли «фактора прогресса», то Михайловский хорошо передал настроение эпохи...*— Взгляды Юзова на вопрос о соотношении чувства и ума были развиты им в анонимно напечатанной статье «Ум и чувство как факторы прогресса» («Неделя», 1878, №№ 6 и 7). Его концепция была подвергнута Михайловским резкой критике в «Литературных заметках» («Отечественные записки», 1878, № 4). «Неделя» «давно уже затянула песню о необходимости держать разум на запятках»,— иронизировал Михайловский, а между тем ум, знание и чувство «это совсем не такие предметы, которые не могут ужиться рядом. Тяжба между умом и чувством безобразна и не имеет решительно никакого raison d'être <смысла>» (Н. К. Михайловский, Сочинения, т. IV, СПб. 1897, стр. 539, 546).

Стр. 362. *...жена Благосветлова <...> решила вверить судьбу издания Шелгунову...*— См. об этом в письмах Шелгунова к Е. Ардов-Апрелевой (стр. 371—373).

Стр. 363. *У меня <...> была даже статья в «Современнике» об Энгельсе...* — «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции» (см. о ней подробнее во вступит. статье, стр. 9—10).

Стр. 364. *...литературные среды, которые я отметил в своих воспоминаниях о Шелгунове...* — В очерке «Событие 1 марта и Николай Васильевич Шелгунов» (см. стр. 354).

...послемартовского самодержавия, которое все больше оправлялось от удара, нанесенного «Народной волей»... — После казни народовольцами 1 марта 1881 года Александра II правительство находилось сначала в полном смятении. Император Александр III без всякой огласки покинул столицу и жил в Гатчине. Лишь через два месяца, когда в правящих кругах несколько улеглись страхи перед террористическими актами революционеров, Александр III обнародовал 29 апреля сочиненный Победоносцевым манифест, где заявлялось о намерении царя навсегда сохранить принципы самодержавной власти. Однако «правительство Александра III, даже после выступления с манифестом об утверждении самодержавия, не сразу еще стало показывать все свои когти, а сочло необходимым попробовать некоторое время подурачить «общество». «...Дипломатом, имевшим назначение прикрыть отступление правительства к прямой реакции, явился сменивший Лорис-Меликова министр внутренних дел граф Игнатьев» (В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 5, стр. 46). Через год, в мае 1882 года, окрепшее правительство перешло к политике открытой реакции: Игнатьев — этот «чистейший демагог и обманщик» (там же), уступил министерский пост мракобесу и реакционеру графу Д. А. Толстому.

Стр. 365. *Шарлатанская «Народная политика» графа Игнатьева* — выдвинутая этим министром внутренних дел демагогическая славянофильская идея «единения царя с народом» (см. также прим. к стр. 291). Игнатьев предлагал воплотить ее в акте коронации Александра III на «земском соборе», который должны были составить «высшие иерархи церкви православной, высшие члены правительства, высшие избранники дворянства и городов и нарочито выборные от земли» (П. А. Зайончковский, Кризис самодержавия на рубеже 1870—1880-х годов, М. 1964, стр. 462). Однако проект Игнатьева не получил поддержки в высших сферах из опасения, что он может привести к нежелательным для правительства результатам.

...во время размолвки с ним я стал отдавать рецензии в «Отечественные записки»... — Очевидно, Русанов писал для отдела «Новые книги», в котором рецензии печатались без подписи авторов. Установить, какие из них принадлежат Русанову, не удалось.

Е. Ардов-Апрелева

МУКИ РЕДАКТОРА

(Стр. 366)

Елена Ивановна Апрелева (рожд. Бларамберг; псевдоним — Е. Ардов-Апрелева; 1846 — после 1913) пришла в литературу в 1871 году, когда, после преподавания в воскресных школах, начала работать в журнале «Семья и школа», а вскоре стала одним из постоянных авторов «Дела». «Более из дружбы к Николаю Васильевичу,— писала она в своей автобиографии,— чем из сочувствия к журналу, в то время не популярному благодаря неумелой деятельности предшествующего редактора, заполнявшего его рыночными шаблонно-тенденциозными произведениями, я поместила в «Деле» в январе 1881 года четыре эскиза: «Вечер», «Ручей», «Ночь» и «Чижик», весной того же года — повесть «Васюта» и в 1884 году — первую часть романа «Руфина Каздоева» [1].

28 июня 1884 года Шелгунов был арестован. Желая спасти журнал, он предложил Апрелевой приобрести «Дело». На первых порах нужно было достать тридцать тысяч рублей, и писательница согласилась это сделать. Но когда она обратилась в Главное управление по делам печати за разрешением, Феоктистов (начальник управления) «частным образом» посоветовал ей «не рисковать своими деньгами», так как участь «Дела» предрешена. «Я не поручусь,— сказал Феоктистов,— что первая же выпущенная вами книжка не будет арестована» [2]. Впоследствии «Дело» перешло в руки И. С. Дурново и стало откровенно реакционным органом.

В своих воспоминаниях Ардов-Апрелева рассказывает о мало освещенном в мемуарной литературе периоде жизни и деятельности Шелгунова: конец семидесятых — начало восьмидесятых годов, когда писатель после смерти Благосветлова становится официальным редактором «Дела» (с января 1881 по декабрь 1882). Она приводит отрывки из восемнадцати писем Шелгунова тех лет. Другими письмами конца семидесятых — начала восьмидесятых годов мы пока не располагаем. Автографы писем, цитируемых Ардов-Апрелевой, неизвестны.

Воспоминания Ардов-Апрелевой впервые были опубликованы в газете «Русские ведомости», 1909, № 12, 16 января, и впоследствии не перепечатывались. Печатаются по «Русским ведомостям».

---

[1] «Русские ведомости». 1863—1913», сб. статей, М. 1913, стр. 13.
[2] Там же, стр. 14.

Стр. 366. ...*в действительности ему было лет шестьдесят.*— В декабре 1879 года Шелгунову было пятьдесят пять.

...*знала <...> статью о вологодских кружевницах...*— «Вологодские кружевницы», «Дело», 1867, № 11.

...*Николай Васильевич получил разрешение жить в Петербурге.*— 21 июня 1877 года Шелгунову было разрешено жительство в столицах и столичных губерниях (О. П. Пресняков, Н. В. Шелгунов в Новгороде (Материалы для биографии).— «Ученые записки Новгородского гос. пед. ин-та», т. II, вып. 2, Новгород, 1957, стр. 33—50).

Стр. 366—367. *Добрую половину своего <...> существования он провел в административной ссылке.*— С момента первого ареста (28 сентября 1862 г.) и до освобождения из-под надзора полиции и разрешения повсеместного жительства (см. предыдущ. прим.) Шелгунов провел два года и два месяца под арестом (из них девятнадцать с половиной месяцев в Петропавловской крепости) и двенадцать лет — в ссылке.

Стр. 367. ...*с небольшой рукописью в руках.*— Какое произведение, касающееся русской эмиграции, Апрелева предлагала Шелгунову для «Дела», установить не удалось.

Народился в Петербурге и новый журнал «Слово»...— вместо приостановленного в 1877 году цензурой «Знания»; «Слово» было близко к либеральным народникам.

Стр. 368. *Ранней весной 1880 года я уехала из Петербурга.*— За границу, в Дрезден, откуда вернулась весной 1881 года.

Саксонскую Швейцарию <...> исходил <...> пешком и прожил некоторое время в Вермсдорфе.— Во время своей первой поездки за границу в 1856 году (см. письма Шелгунова к жене на стр. 67—69 тома II наст. изд.).

Стр. 369. *Опять выступил с «Дневником писателя».*— Шелгунов имеет в виду «Речь о Пушкине» Достоевского («Дневник писателя», год III, 1880; август).

Л. П. очень верно заметил...— Возможно, что под инициалами «Л. П.» скрыта Людмила Петровна, а мужское окончание в слове «заметил» (вместо «заметила») — опечатка.

Достоевский — все тот же стриж...— «Стрижом» Достоевского назвал Салтыков-Щедрин в своей сатирической сценке «Стрижи» (1864), где высмеял религиозный обскурантизм «унылого беллетриста» и верноподданнические чувства сотрудников журнала «Время».

...*тогда ему, по крайней мере, не целовали рук...*— Намек на истерически восторженный прием, оказанный Достоевскому в Москве, куда он приехал в качестве делегата Славянского благотворительного общества и выступил на Пушкинских празднествах 8 июня

1880 года. Г. И. Успенский в статье «Праздник Пушкина. (Письмо из Москвы — июнь 1880 г.)» писал: «...Тотчас по окончании речи г. Достоевский удостоился не то чтобы овации, а прямо идолопоклонения; один молодой человек, едва пожав руку почтенного писателя, был до того потрясен испытанным волнением, что без чувств повалился на эстраду». Достоевскому поднесли огромный венок, его чествовали «как героя этого дня». О «неизобразимом, непостижимом ни для кого, кто не был его свидетелем», восторге слушателей писал в своих воспоминаниях Н. Н. Страхов («Ф. М. Достоевский в воспоминаниях современников», т. II, изд-во «Художественная литература», М. 1964, стр. 341, 350, 352).

N — очевидно, писательница М. К. Цебрикова, с большой симпатией относившаяся к Шелгунову. Будучи приятельницей О. Н. Поповой, Цебрикова вместе с ней принимала большое участие в судьбе Шелгунова, была с ним в переписке (известны письма к ней Шелгунова с 1876 года), навещала его в выборгской ссылке (см. письмо Шелгунова к жене от 17 февраля 1883 года на стр. 238 тома II наст. изд.), посещала арестованного писателя в доме предварительного заключения (1884) и, наконец, продолжительное время жила в имении Поповых Воробьеве, когда там находился ссыльный Шелгунов. В письмах к сыну в 1887 году Шелгунов неоднократно сетовал по поводу навязчивой внимательности к нему со стороны Цебриковой (И Р Л И, Отдел рукописей, ф. 21203/cxLVIБ [2]).

Стр. 370. *Лорис* — М. Т. Лорис-Меликов, с февраля 1880 года председатель «Верховной распорядительной комиссии по борьбе с революционным движением», с августа того же года — министр внутренних дел и фактический диктатор до последних дней царствования Александра II.

Абаза — Н. С. Абаза, начальник Главного управления по делам печати при Лорис-Меликове.

Полетика — В. А. Полетика издавал и редактировал петербургскую либеральную газету «Молва», фактически продолжившую закрытые цензурой в 1879 году «Биржевые ведомости». В письме к П. В. Анненкову от 20 сентября 1880 года Салтыков-Щедрин писал, что Лорис-Меликов «оскорбил <...> Полетику, сказав, что *ради подписчиков* «Молва» смущает публику. Полетика попросил его так не выражаться. На это Лорис-Меликов возразил, что с такими идеями <конституционными.— *Э. В.* и *Л. Р.*> не только издавать газету нельзя, но и жить в России невозможно, а Полетика сказал: если считаете себя вправе, то высылайте меня, а газету закройте» (М. Е. Салтыков-Щедрин, Полн. собр. соч., т. XIX, М. 1939, стр. 170).

Стр. 371. *Видел <...> Урусова <...> с Корабчевским он затевает журнал <...> и X. заказал описать в беллетристической форме свору.*— Журнал — «Новое обозрение», начавшее выходить под редакцией Д. А. Коропчевского с января 1881 года, но прекращенное цензурой после третьего, мартовского, номера. X.— возможно, В. С. Хомяковский, петербургский литератор, сотрудник журнала «Природа и охота».

Умер Благосветлов...— 7 ноября 1880 года.

«Человек без тени» — персонаж «Необычайных приключений Петера Шлемиля» немецкого писателя А. Шамиссо, продавший свою тень и скитавшийся в поисках ее по всему свету.

...появление в «Деле» базарного романа...— то есть переводного чтива, в том числе романов Ж. Кларети «Заброшенный дом» (1878, №№ 1—7), Г. Муррея «Жена или вдова?» (1878, №№ 1, 3, 4), А. Маттен «Месть Кладиона» (1878, №№ 8—12), Ж. Ришпэна «Госпожа Андре» (1879, №№ 2—8) и др.

Шеллер — писатель А. К. Шеллер (Михайлов), сотрудничавший в «Деле».

Стр. 373. *Совершилось событие 1 марта.*— То есть народовольцы казнили Александра II (см. прим. к стр. 294 и 364).

Стр. 374. *Студенты задумали издать сборник <...> Полонский дал «Прометея»...*— Сборник, очевидно, запретила цензура. Стихотворение «Прометей» было напечатано в Полном собрании сочинений Полонского, т. I, СПб. 1885, стр. 447.

Бесцензурным, пожалуй, еще труднее...— 6 апреля 1865 года Александр II утвердил проект нового устава о цензуре и печати, по которому, в частности, освобождались от предварительной цензуры в Петербурге и Москве «все выходящие в свет повременные издания, коих издатели сами заявят на то желание». Освобождение в этих случаях от предварительной цензуры не означало, разумеется, ликвидации цензуры, а лишь еще больше развязывало руки произволу властей. В то время как в подцензурных журналах цензор попросту запрещал печатание того или иного материала, в бесцензурных он действовал по инструкции Валуева, «властью последовательною, в смысле пресечения совершенного уже нарушения закона и преследования виновных», то есть арестовывал тираж книги и привлекал к судебной ответственности редактора и издателя (М. К. Лемке, Эпоха цензурных реформ 1859—1865 гг., СПб. 1904, стр. 406). Устав был введен с 1 сентября того же года.

Возвратились времена Лонгинова и Шидловского...— то есть самые жесткие цензурные ограничения, введенные Главным управлением по делам печати, когда его возглавляли М. Р. Шидловский (1870—1871) и М. Н. Лонгинов (1871—1875).

Стр. 375. *...я <...> приехав на короткое время в Петербург...*— Ардов-Апрелева с семьей в это время жила в провинции и в столице бывала только наездами.

...он снова подвергся административной ссылке.— О посещении вместе с Михайловским бала технологов см. также прим. к стр. 236 тома II наст. изд.

Стр. 376*....похороны Тургенева <...> препятствий, кажется, не будет...*— Тургенев умер во Франции, в Буживале, 22 августа 1883 года. Лишь в середине сентября было получено разрешение царского правительства привезти тело Тургенева в Петербург. Власти опасались демонстраций, волнений и принимали секретные полицейские меры. 17 сентября редакции всех столичных газет получили циркуляры следующего содержания: «Не сообщать решительно ничего о полицейских распоряжениях, предпринимаемых по случаю погребения И. С. Тургенева, ограничиваясь сообщением лишь тех сведений по этому предмету, которые будут опубликованы в официальных изданиях» («И. С. Тургенев в воспоминаниях революционеров-семидесятников», «Academia», М.— Л. 1930, стр. 8). Похороны Тургенева состоялись 27 сентября 1883 года.

...продажа «Голоса» Циону.— Слух о продаже «Голоса» реакционному публицисту И. Ф. Циону оказался недостоверным.

С высылкой меня из Петербурга я должен был снять свое имя с обложки <...> разрешили Острогорского.— Шелгунов был выслан из Петербурга в декабре 1882 года. Острогорский, как редактор, подписывал №№ 7—12 за 1883 год (см. также прим. к стр. 300).

Стр. 377. *...завтра я оставляю отечество ради юга Франции.*— См. прим. к стр. 236 тома II наст. изд.

...20 мая арестован Станюкович.— Он был арестован 20 апреля. См. также прим. к стр. 312.

«Дело» мы продаем <...>. Но <...>. Он был арестован.— См. воспоминания Шелгунова «Арест и высылка 1884 года» и комментарий к ним.

Стр. 380. *Воробьево.*— См. прим. к стр. 244 и 246 тома II наст. изд.

...я должен оставить Петербург в три дня...— См. воспоминания «Арест и высылка 1884 года» и комментарий к ним.

Стр. 381. *...«Делом» будет заведовать молодой Семевский...*— В. И. Семевский. Слух этот не подтвердился.

Мой отъезд на многие годы из Центральной России...— В конце 1889 года Апрелева переселилась с семьей в Среднюю Азию, где прожила около семнадцати лет.

Н. К. Михайловский

ПАМЯТИ НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА ШЕЛГУНОВА

(Стр. 381)

Николай Константинович Михайловский (1842—1904), публицист, идеолог народничества, с начала восьмидесятых годов был в тесной дружбе с Шелгуновым, особенно после совместного пребывания в Выборге, куда они оба были высланы в конце 1882 года. Михайловскому принадлежит вводная статья к двухтомному изданию сочинений Шелгунова, в которой он очень высоко оценил его публицистическую деятельность. Ознакомившись с этой статьей по рукописи, Шелгунов писал Михайловскому 25 октября 1890 года: «Статья твоя обо мне превосходна. Немного панегирична, и чувствуется, что шестидесятые годы и меня ты нахваливаешь преусиленно в упрек времени теперешнему»[1]. Из этой статьи цензура вырезала около трети ее объема.

В некрологе о Шелгунове выражена оценка его как человека и гражданина в характерном для Михайловского этическом аспекте. Некролог написан в форме «литературного портрета» Шелгунова с использованием личных воспоминаний о нем Михайловского.

Некролог «Памяти Николая Васильевича Шелгунова» был опубликован в газете «Русские ведомости», 1891, № 106, 18 апреля, и перепечатывался в VI томе «Сочинений» Михайловского (СПб. 1909). Печатается по газете «Русские ведомости».

Стр. 381. *...на похоронах Елисеева.*— Елисеев умер 18 января 1891 года в Петербурге.

Стр. 382. *...я познакомился с Шелгуновым <...> в один из его приездов, кажется, из Калуги...*— Шелгунов отбывал ссылку там с 22 мая 1869 года по 28 февраля 1874.

В конце 1882 года нам пришлось ехать вместе в Выборг...— Намек на ссылку за участие в вечере студентов-технологов (см. об этом подробнее в воспоминаниях Е. Ардов-Апрелевой, стр. 375 наст. тома, и в воспоминаниях Шелгуновой, в томе II наст. изд., стр. 236 и прим. к ней).

Стр. 383. *...в 1887 году <...> над ним стряслась последняя и горшая беда, тяжелое семейное горе...*— арест и ссылка Н. Н. Шелгунова, младшего сына Шелгуновой (см. прим. к стр. 247 тома II наст. изд.).

Стр. 384. *Прошлым летом он ездил на Кавказ, частию лечиться, частию повидаться с сыном.*— Летом 1889 года Шелгунов жил в Пятигорске (см. стр. 251 тома II наст. изд. и прим. к ней).

---

[1] ИРЛИ, Отдел рукописей, ф. 181, оп. 1, д. 768, л. 147.

...я, по его просьбе, сообщил эту мысль издателю Ф. Ф. Павленкову...— Из переписки Шелгунова и Михайловского явствует, что инициатива принадлежала последнему.

Стр. 386. *Гроб Шелгунова провожала тысячная толпа...*— По свидетельству Е. В. Гешина, провожающих было несколько тысяч (см. стр. 405 и прим. к ней).

Стр. 387. *...я предложил редакции обратить остаток от присланной суммы на постановку памятника на могиле Шелгунова...*— Впоследствии на этой могиле на Волковом кладбище был установлен памятник. Имя скульптора теперь неизвестно.

Вас. Голубев

СТРАНИЧКА ИЗ ИСТОРИИ РАБОЧЕГО ДВИЖЕНИЯ

(Стр. 390)

Василий Семенович Голубев (1867—1911) был первым представителем от интеллигентов в Центральном комитете рабочих кружков Петербурга, созданном в конце восьмидесятых годов. Вместе с другими членами этого комитета он составил адрес рабочих Шелгунову. Вскоре Голубев был выдан провокатором и выслан весной 1891 года на пять лет в Иркутскую губернию. По окончании ссылки Голубев поселился в Саратове, где служил секретарем земской управы, был связан с саратовским Комитетом РСДРП. Имя его упоминается в приписке Н. К. Крупской к письму В. И. Ленина, адресованному к Л. А. Фотиевой (конец августа 1904 г.) [1].

Позже Голубев примкнул к либералам. Однако в его воспоминаниях о Шелгунове выражена оценка жизни и деятельности публициста той группой народничества, которая перешла на позиции социал-демократии, а также отношение к нему передовых рабочих Петербурга начала девяностых годов, и тем самым раскрывается преемственность демократической традиции в русском освободительном движении.

Эти воспоминания о Шелгунове составляют часть мемуарного очерка Голубева, посвященного пропагандистской работе в рабочих кружках на рубеже восьмидесятых — девяностых годов, напечатанного в журнале «Былое», 1906, № 12, Печатается по этому журналу, стр. 105—107, 119—121.

---

[1] В. И. Ленин, Полное собрание сочинений, т. 46, стр. 372.

Стр. 391. *Разбирая известный коллективный труд харьковских воскресных учительниц «Что читать народу»...* — в статье «Что читают народу» («Дело», 1884, № 5), где Шелгунов писал о первом томе этого труда, вышедшем в 1884 году. Второй том появился в 1889 году.

Стр. 393. *«Пролетариат во Франции и в Англии»* — точное название труда: «Рабочий пролетариат в Англии и во Франции». См. о нем во вступит. статье, стр. 9—10.

...упоминает и М. Александров в своей статье в № 11 «Былого». — Статья М. С. Александрова (Ольминского) называлась «Группа народовольцев» («Былое», 1906, № 11).

На этом, однако, мои личные воспоминания и кончаются. — О посещении Шелгунова рабочими и беседе с ним есть свидетельство М. С. Александрова (Ольминского): «Приветливый, чуткий к запросам читательской души, ветеран освободительного движения, на вершине своей славы умирающий в убогой квартире где-то на втором дворе, очаровал посетителей, которые слишком хорошо знали, что такое нужда» («Былое», 1906, № 11, стр. 11).

...попался мне апрельский номер «Русских ведомостей» <...> маленькое сообщение <...> о похоронах Шелгунова. — В № 105, 17 апреля 1891 года.

...случайное участие <...> кучки рабочих <...> на похоронах Салтыкова или на панихиде по Чернышевском... — Основными участниками этих событий были студенты (см. прим. к стр. 400).

Стр. 394. *Адрес петербургских рабочих. Н. В. Шелгунову* — известен в двух редакциях, различающихся между собой только стилистически. Одна редакция, совпадающая с текстом, приводимым Голубевым, была напечатана в приложении к брошюре «Четыре речи рабочих 1 мая 1891 г.» (Женева, 1892), другая — в подпольном гектографированном издании народовольцев «1 мая 1891 с приложением адреса Н. В. Шелгунову» (СПб. 1892).

ПРОКЛАМАЦИЯ

«15 АПРЕЛЯ 1891 ГОДА. ПО ПОВОДУ ДЕМОНСТРАЦИИ НА ПОХОРОНАХ ПИСАТЕЛЯ ШЕЛГУНОВА»

(Стр. 395)

Шестнадцатого мая 1891 года начальник петербургского жандармского управления получил из департамента полиции двадцать четыре конверта с литографированными экземплярами прокламации «15 апреля 1891 года. По поводу демонстрации на похоронах писа-

теля Шелгунова», перехваченные полицией. На конвертах значились адреса редакций газет, земских управ и отдельных лиц в разных городах России: в Москве, Твери, Нижнем Новгороде, Астрахани, Оренбурге, Казани, Орле, Воронеже, Вильно, Баку, Екатеринославе и других. Адрес отправителя на конвертах отсутствовал.

Восемнадцатого мая было заведено дело «О рассылке из С.-Петербурга прокламаций, озаглавленных: «15 апреля 1891 года. По поводу демонстрации при похоронах писателя Шелгунова» [1]. Однако розыски авторов и распространителей прокламации ни к чему не приводили в течение двух лет.

В июне 1893 года в Петербурге был привлечен к дознанию по делу о революционной пропаганде среди рабочих чертежник Николай Осипович Алюшкевич, бывший студент Технологического института. При обыске у него обнаружили рукописный текст прокламации «15 апреля 1891 года...» На допросах Алюшкевич утверждал, что писал ее не он, но автора назвать отказался. Путем сличения почерков экспертиза установила, что прокламация написана рукой Алексея Васильевича Тарасова, бывшего петербургского студента, привлекавшегося в 1892 году к следствию по делу о революционной пропаганде. 13 августа 1893 года Тарасов был разыскан в Харьковской губернии, арестован и препровожден под конвоем в Петербург, в дом предварительного заключения. 17 августа, на первом допросе, он признал, что написал эту прокламацию в апреле 1891 года вместе со своим товарищем, Дмитрием Михайловичем Головачевым, так же, как и он, исключенным из Петербургского университета за участие в похоронах Шелгунова.

В поисках «типографии», которая могла бы напечатать прокламацию, Тарасов и Головачев обратились к своим знакомым из революционно настроенной молодежи. Алюшкевич переписал текст «чернилами, годными для размножения», а другой студент-технолог — Лев Петрович Клобуков — отпечатал его. Адреса на конвертах надписывали Тарасов и Головачев [2].

Захваченные полицией студенты не назвали никого из своих «соучастников», кроме уже арестованного В. А. Якиманского, через которого они вначале пытались организовать печатание. Решительно «не помнил» Тарасов и количества отпечатанных прокламаций, назвав лишь приблизительную цифру: «Около тридцати». Очевидно, не без влияния Тарасова, подтвердил эту цифру и Клобуков, признавший, однако, что отпечатал всего около двухсот экземпляров, оказавшихся, однако, настолько плохими, что из них «отобрали

---

[1] ЦГАОР, ДП, 7-е делопроизводство, 1891 г., дело № 133.
[2] Дело № 133, л. 32.

Тарасов с Головачевым штук тридцать»[1]. Разумеется, все эти показания нельзя считать вполне достоверными.

По делу о печатании и распространении прокламаций, кроме названных выше Тарасова, Головачева, Алюшкевича, Клобукова и Якиманского, были еще привлечены студенты и курсистки П. П. Румянцев, В. Н. Тиц, С. П. Пята, С. М. Серебровский, М. А. Ковригина, Я. П. Коробко, О. К. Витмер, С. И. и Р. Э. Классоны, всего четырнадцать человек.

Следствие длилось до 22 февраля 1895 года и было «разрешено административным порядком». Головачев после месячного заключения подлежал «негласному полицейскому надзору на срок по усмотрению министерства внутренних дел»[2]. Клобуков и Тарасов «по вменении им в наказание предварительного ареста» подлежали: первый — гласному надзору полиции на два года в избранном месте жительства, за исключением столиц, а второй — негласному надзору полиции на срок по усмотрению министерства внутренних дел[3]. Алюшкевич, как привлеченный по делу о революционной пропаганде среди петербургских рабочих, из настоящего дела был выделен, и дальнейшая его судьба в документах данного дела не отражена. Дело Р. Классона было прекращено 3 марта 1895 года с оставлением его под негласным надзором полиции[4]. Большинство остальных также было оставлено под гласным и негласным полицейским надзором.

Остается неизвестным, удалось ли студентам распространить остальные экземпляры прокламации, или все они были перехвачены полицией. Но значение прокламации выходит далеко за рамки задачи, сформулированной ее авторами: «Сообщить русскому интеллигентному обществу» правду о «Шелгуновской демонстрации». Прокламация отразила процесс революционного брожения в среде студенчества начала девяностых годов. Написание, печатание и распространение ее явилось для причастных к этому делу лиц первым практическим шагом в революционной борьбе. Как указывалось выше, Тарасов в 1892 году привлекался к следствию по делу о революционной пропаганде среди рабочих. Алюшкевич в 1893 году уже активно работал в революционном подполье и был связан с социал-демократами. У Клобукова при обыске в 1893 году нашли рукопись брошюры революционного содержания. Коробко и Р. Классон занимались сбором средств для нужд подполья и распростра-

---

[1] Дело № 133, лл. 49—49 об.
[2] Там же, л. 183.
[3] Там же.
[4] Там же, л. 183 об.

няли нелегальную литературу, получаемую ими из-за границы от марксистской группы «Освобождение труда».

Ни рукопись, ни печатные экземпляры прокламации до настоящего времени не разысканы. Текст прокламации печатается по машинописной копии, снятой в департаменте полиции с литографированного экземпляра, пересланного 9 августа 1893 года из петербургского жандармского управления [1].

Стр. 395. *...масса венков <...> надписи на лентах...*— Подробнее см. об этом на стр. 402 и 403.

Стр. 396. *...известие <...> не могло попасть в легальную печать.*— Краткую информацию о похоронах напечатали «Русские ведомости», подробный отчет появился в русской эмигрантской прессе (см. прим. к стр. 393 и 401).

...тысячная толпа, провожавшая гроб...— Более определенные сведения о числе участников похорон сообщает Е. В. Гешин (см. стр. 405 и прим. к ней).

Стр. 399. *...можно на штыки опираться, сидеть же на них — рискованно!!* — Выражение, приписываемое то Талейрану, то Кавуру и восходящее к испанской пословице: «Штыки годятся для всего, на них только нельзя сидеть».

Е. В. Гешин

ШЕЛГУНОВСКАЯ ДЕМОНСТРАЦИЯ

(Стр. 399)

Воспоминания Е. В. Гешина (псевдоним Георгия Александровича Соломона; 1868—?) представляют исключительную ценность в освещении так называемой «Шелгуновской демонстрации», в которую вылились похороны Шелгунова 15 апреля 1891 года. Гешин, в то время студент Петербургской военно-медицинской академии, был участником этой демонстрации и одним из немногих, оставивших о ней воспоминания.

---

[1] Дело № 133, лл. 24—26 об. В советское время прокламация была перепечатана Г. А. Казакевич в статье «Шелгуновская демонстрация» и студенчество Петербургского университета» («Вестник Ленинградского университета», 1949, № 11, стр. 128—131). Однако приводимый там текст неполон и неисправен.

Третье отделение направило на похороны своих агентов, которые сфотографировали многих участников демонстрации. Когда начались полицейские репрессии, подверглись преследованию и студенты-медики, которых, по донесениям агентов, было около сорока. Одиннадцать из них, в том числе и Гешин, были отчислены из академии, другие наказаны гауптвахтой на разные сроки.

Участие в «Шелгуновской демонстрации» оказало влияние на всю дальнейшую жизнь Гешина. Он не стал медиком. В 1892 году он поступил в Петербургский университет, а в дальнейшем ушел в журналистику и литературу. В 1908 году в журнале «Минувшие годы» появился его мемуарный очерк о похоронах Шелгунова. Впоследствии этот очерк не перепечатывался.

Печатается в сокращении по журналу «Минувшие годы», 1908, № 11, стр. 25—31.

Стр. 400. *...похороны Салтыкова, панихиды по Чернышевскому...*— Похороны Салтыкова происходили 30 апреля 1889 года на Волковом кладбище в Петербурге при огромном скоплении народа. Несмотря на запрет полиции, разгонявшей толпу, произносились речи, студент университета С. А. Захарьин прочел над могилой свое стихотворение («Литературное наследство», т. 13—14, М. 1934, стр 241—242; «М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников», Гослитиздат, М. 1957, стр. 676—677, 838). Панихиды по Чернышевском, заказанные студентами, состоялись в Москве, в церкви св. Дмитрия Солунского, и в Петербурге — во Владимирском соборе, а также в Дерпте, Астрахани, Харькове. В Москве толпа из трехсот человек (на две трети — из студентов) хотела отслужить панихиду, кроме того, в университетской церкви, но получила отказ и разошлась с пением «Со святыми упокой». В Одессе сто пятьдесят студентов Новороссийского университета пытались устроить демонстрацию, но неудачно. Ряд студентов был подвергнут репрессиям. Двадцать семь студентов были исключены из университета (В. Н. Шульгин, Очерки жизни и творчества Н. Г. Чернышевского, Гослитиздат, М. 1956, стр. 384—388; «Н. Г. Чернышевский. Труды научной сессии к пятидесятилетию со дня смерти», изд. Ленинград. госуд. университета, 1941, стр. 338—353; «Былое», 1907, № 8, стр. 136, 138).

Стр. 401. *...о них говорилось в иностранной прессе...*— в частности, в журнале «Free Russia» («Свободная Россия») издававшемся в Лондоне Степняком-Кравчинским. «На панихиду собралось много народа,— сообщал петербургский корреспондент журнала,—

а на похоронах присутствовало от двух до трех тысяч человек. Было очень много венков,— мне кажется, от всех без исключения высших учебных заведений <...> Мы приведем лишь несколько надписей на лентах венков — от студентов Петербургского университета: «Борцу за демократические идеалы»; от петербургских рабочих: «Человеку, указавшему путь к свободе и братству»; от студентов-медиков: «Нашему дорогому учителю, неутомимому борцу за свободу и истину»; от студентов-технологов: «Любимому писателю»; от издателя Павленкова: «Он умер со знаменем в руках». (1891, № 6. Сообщено М. Е. Ермашовой.)

Я говорю о статьях Шелгунова в «Русской мысли» за 1890—1891 годы.— То есть об «Очерках русской жизни».

Стр. 405. *Л. В. М — ва.*— Кто скрыт под этим криптонимом, как и под криптонимом С. Е. К.— аго (см. ниже), установить не удалось.

...несколько тысяч (до шести-семи) провожавших.— Точную цифру участников похоронного шествия установить трудно. В цитированной выше статье петербургского корреспондента «Free Russia» говорится, что «у кладбищенских ворот процессию ожидала огромная толпа народа».

Стр. 406. *Знаменитые литературные мостки* — так называемые «литераторские мостки» Волкова кладбища, где похоронены Белинский, Добролюбов, Салтыков-Щедрин и многие другие писатели.

Было произнесено несколько речей...— В цитированной выше корреспонденции в «Free Russia» сообщалось: «У могилы было произнесено много речей. Первым выступил известный писатель Засодимский. «Шелгунов умер, но его идеи продолжают жить,— сказал он,— ибо идеи правды и справедливости, которым он служил всю жизнь, будут жить среди нас, если только мы будем верными хранителями наших великих традиций прогресса и нерушимых уз, связывающих старое с новым». Речь у могилы «дорогого и незабвенного учителя» произнесла молодая девушка, по-видимому курсистка. Молодой человек, воспитанник Петербургского университета, напомнил слова Н. В. Шелгунова о том, что долг каждого человека быть прежде всего гражданином, в самом широком и лучшем смысле этого слова. Несколько страстных слов произнес у могилы петербургский рабочий. Один из ораторов говорил о том, что Н. В. Шелгунов со всей силой своего ясного ума и здравого смысла решительно отвергал толстовское учение непротивления злу насилием и выступал за непоколебимую борьбу против тьмы и невежества».

«За день до погребения,— говорилось далее в корреспонденции,— полиция принудила одного из самых популярных и почитаемых петербургских литераторов <Михайловского.— *Э. В.* и *Л. Р.*>

дать письменное обязательство не произносить речь на похоронах. Но вот один анонимный оратор, начав говорить, объявил, что он произнесет не свою речь, но речь «публициста и критика, стоящего здесь, у могилы».

Краткое изложение одной речи — Засодимского — было напечатано также в «Русских ведомостях», 1891, № 105, 17 апреля.

П. Л. Лавров

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ПОКОЛЕНИЯ

Из воспоминаний о Н. В. Шелгунове

(Стр. 408)

Петр Лаврович Лавров (1823—1900), идеолог революционного народничества, начал свою политическую деятельность как участник освободительной борьбы эпохи падения крепостного права, член «Земли и воли» шестидесятых годов. Тогда же он познакомился с Шелгуновым. В 1867 году Лаврова сослали в Вологодскую губернию, где отбывал ссылку и Шелгунов. В 1868 году, когда Лавров и Шелгунов одновременно проживали в Вологде, они часто встречались. П. В. Засодимский, неоднократно посещавший «небольшой серенький дом в три окна» на Архангельской улице в Вологде, где жил тогда Шелгунов, свидетельствует, что там часто разгорались жаркие споры о будущем России, в которых Шелгунов выступал в роли горячего западника [1].

В 1870 году Лавров бежал за границу. Воспоминания написаны им в Париже, через несколько месяцев после смерти Шелгунова. Кроме личных впечатлений, автор пользовался частными сведениями, полученными из русского революционного подполья, особенно в отношении «Шелгуновской демонстрации». Его мемуары посвящены в основном не встречам и беседам с Шелгуновым, а оценке его деятельности как публициста с точки зрения революционного народничества.

Свои воспоминания о Шелгунове, а также об умершем незадолго до него Елисееве, Лавров объединил в одну статью — «Последовательные поколения», которую прочитал на собрании революционеров-эмигрантов в Париже 2 июня 1891 года. На следующий год эта работа была издана в Швейцарии под заглавием: «П. Л. Лавров. Последовательные поколения. В память Г. З. Елисеева и Н. В.

---

[1] П. В. Засодимский, Из воспоминаний, М. 1908, стр. 202—208.

Шелгунова. Из воспоминаний о Н. В. Шелгунове. Издание кружка народовольцев, Женева, Новая русская типография, 1892». Впоследствии она не перепечатывалась. Печатается в сокращении по женевскому изданию, стр. 2—6.

Стр. 409. *Он отправился в далекую Сибирь посетить друга...*— Михайлова. См. вступит. статью, стр. 19—22.

...его похороны были боевым кликом из-за гроба...— См. о них в воспоминаниях Е. В. Гешина, в прокламации «15 апреля 1891 г.» и в комментариях к ним.

Стр. 410. *В работе, напечатанной уже после его смерти...*— См. стр. 401 и прим. к ней.

СПИСОК ИЛЛЮСТРАЦИЙ

СОДЕРЖАНИЕ

Н. В. Шелгунов, Л. П. Шелгунова,
М. Л. Михайлов

ВОСПОМИНАНИЯ

Том 1

Редактор *В. Панов*

Художественный редактор *С. Данилов*

Технический редактор *Л. Заселяева*

Корректор *Т. Лукьянова*

Сдано в набор 17/V 1966 г. Подписано в печать 9/VIII 1966 г. Бумага типографская № 2 $84 \times 108^1/_{32}$. 16 печ. л. 26,9 усл. печ. л. 28,06+10 вкл.=28,56 уч.-изд. л. Тираж 50.000. Зак. № 466
Цена 1 р. 08 к.

Издательство
«Художественная литература»
Москва, Б-66, Ново-Басманная, 19

Ордена Трудового Красного Знамени
Первая Образцовая типография
имени А. А. Жданова
Главполиграфпрома Комитета
по печати при Совете Министров СССР
Москва, Ж-54, Валовая, 28